ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Джулиан Барнс

ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ
ИСТОРИЯ МИРА В 10½ ГЛАВАХ
АНГЛИЯ, АНГЛИЯ

«АЗБУКА»

18+

Глядя на солнце. История мира в 10 1/2 главах. Англия, Англия

Джулиан Патрик Барнс

Аннотация
Джулиан Барнс. Глядя на солнце. История мира в 10 1/2 главах. Англия, Англия
Глядя на Солнце
1
2
3
История мира в 10 1/2 главах
1. Безбилетник
2. Гости
3. Религиозные войны
4. Уцелевшая
5. Кораблекрушение
I
II
6. Гора
7. Три простые истории
I
II
III
8. Вверх по реке

Интермедия
9. Проект «Арарат»
10. Сон
Примечание автора
Англия, Англия
I. Англия
II. Англия, Англия
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
III. Ингленд
Примечания

Аннотация

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – современный английский классик, «самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм» (*The Scotsman*) – в январе 2026 года отметил 80-летие выходом своей новой (и, возможно, последней) книги «Исход(ы)». Данный том объединяет три классических романа «лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов» (*The Independent*), и один из них – в новом переводе. Вашему вниманию предлагаются: «Глядя на солнце» – «поразительное литературное откровение» (Карлос Фуэнтес) и «гимн человеческому воображению» (*Chicago Sun-Times*); «История мира в 10 1/2 главах» – «блестящий, уморительный, глубокий роман, не признающий авторитетов, – и просто восхитительное чтение» (Салман Рушди); и «Англия, Англия» – «блестящая фантазия, достойная пера самого Свифта» (*Economist*). Здесь Барнс говорит голосом насекомого, «зайцем» проникшего на Ноев ковчег, и астронавта, отправляющегося

искать этот ковчег на гору Арарат; здесь на острове Уайт собирается все, что олицетворяет в глазах мира добрую старую Англию; здесь над Ла-Маншем пилот «харрикейна» дважды наблюдает восход солнца.

Джулиан Барнс
Глядя на солнце. История мира в 10 1/2 главах. Англия, Англия

Julian Barnes
STARING AT THE SUN
Copyright © 1986 by Julian Barnes
A HISTORY OF THE WORLD IN 10 1/2 CHAPTERS
Copyright © 1989 by Julian Barnes
ENGLAND, ENGLAND
Copyright © 1998 by Julian Barnes
All rights reserved

© В. О. Бабков, перевод, 1994
© Е. С. Петрова, перевод, 2026
© С. В. Силакова, перевод, примечания, 2001
© З. А. Смоленская, примечания, 2026
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

О РОМАНЕ «ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ»

Блестяще… поразительное литературное откровение. Мистер Барнс – в авангарде новой волны британской прозы, что захлестнула мир.

Карлос Фуэнтес (The New York Times Book Review)

Барнс владеет редким инструментарием, который позволяет ему с юмором и элегантностью раскрыть любую тему.

Financial Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков. Ему присущи удивительная многогранность, блестящее остроумие – и превосходное чувство иронии, которое скрепляет его неординарные творения воедино.

New Republic

Джулиан Барнс – один из небольшой плеяды британских романистов-новаторов, которым удалось вытащить английский роман из провинциальной колеи, где тот было застрял.

Newsday

Книги Барнса – это гимн человеческому воображению, сердцу, неистовому разнообразию нашего генофонда, наших деяний, наших наваждений. Они щекочут нам ум и чувства, и Барнс добивается, без трюков и каламбуров, того, что так ценил Набоков, – эстетического наслаждения.

Chicago Sun-Times

Барнс не только виртуозно развлекает читателя, но и обращается к нему с серьезными моральными вопросами; самые мрачные стороны предательства и боли он демонстрирует с тем же блеском, что и фарс сложных любовных перипетий, и столкновение характеров.

The New Yorker

Мало кого так приятно читать в наши дни, как Джулиана Барнса.

Chicago Tribune

Джулиан Барнс показывает нам, чего может добиться независимый сильный писательский голос, решительно отбрасывая костыли современной прозы.

Philadelphia Inquirer

О РОМАНЕ «ИСТОРИЯ МИРА В 10 1/2 ГЛАВАХ»

Игриво, остроумно и крайне занимательно.

Джойс Кэрол Оутс (The New York Times Book Review)

Блестящий, уморительный, глубокий роман, не признающий авторитетов, – и просто восхитительное чтение.

Салман Рушди (Observer)

Этот ироничный роман смешит вас и удивляет, поражает эрудицией и не боится прыгнуть за борт, в пучину горя и утраты. Книга года однозначно.

Надин Гордимер (лауреат Нобелевской премии по литературе)

Шуток и пищи для ума и сердца здесь больше, чем дал бы целый месяц, наполненный только воскресным чтением. Барнс пленяет вас и дарит вам свободу, но главное – очаровывает.

Financial Times

Барнс поистине ослепляет.

Los Angeles Times

С этой книгой читатель должен держать ухо востро.

The New York Review of Books

Если вам хочется перечитывать «Историю мира в 10 1/2 главах» опять и опять, что ж тут такого? Барнс опередил собратьев-литераторов на световые годы.

Literary Review

Поразительно… не роман, а чистейшей воды бриллиант.

Chicago Sun-Times

Совершенно уникальный роман, поистине лишенный аналогов… чистая, незамутненная радость для читателя, который истосковался по новому.

Guardian

Каждая глава здесь еще и упражнение в стиле. Барнс словно бросает вызов литературе; он, кажется, поставил себе цель – создать книгу, использовав все возможные стили и приемы письма, и его метод в данном случае отлично работает на главную идею – заставить нас, читателей, взглянуть на историю иначе, под неожиданным углом, не как на строгую, облаченную в кожаный переплет энциклопедию, где все события разбиты на параграфы и пронумерованы, но как на хаотичный набор слухов и домыслов, рассказанных случайными свидетелями (как тут не вспомнить поговорку «врет как очевидец»?).

Gorky.media

О романе «Англия, Англия»

Восхитительно… разит наповал… Барнс пленных не берет.

Independent

Барнс не только самый умный игрок на нашей литературной сцене, но, как показывает «Англия, Англия», еще и самый трогательный.

Sunday Times

Блестящая фантазия, достойная пера самого Свифта.

Economist

Здесь не только искрометная сатира, но и убийственно точный анализ нашей зависимости от иллюзий.

Wall Street Journal

Острейший, самый пряный роман о том, как измельчала Англия.

The Times

Редкие авторы мыслят и выражаются настолько пленительно.

Independent on Sunday

Сатира в своем лучшем проявлении.

The New York Times Book Review

Исполненное лукавости социально-философское размышление.

Chicago Tribune

Мастер интеллектуального юмора, наделенный редкой культурной наблюдательностью.

Newsday

Джулиан Барнс написал первую классическую антиутопию XXI века. С блестящим остроумием он препарирует одержимость современного мира имитациями.

The Christian Science Monitor

Сюжет развивается с точностью хорошо отлаженного механизма, и постепенно понимаешь, что за всеми интригами, самокопанием и элегантной сатирой кроется нечто большее, чем возмущенная ирония: «Англия, Англия» выражает, пусть и не без оговорок, веру в то, что подлинно.

Milwaukee Journal Sentinel

Обхохочешься.

Los Angeles Times

После десятков корявых, слюнявых, невнятных и убитых переводом романов редко попадается мне книжка, о которой я грезил, бывало, по полгода – Блистательный Английский Роман. Вот он – остроумный, легкий, трогательный, изумительно сложенный и мало того что английский, так еще и про саму суть английскости (впрочем, все Блистательные Английские Романы – про это). «Англия, Англия» – настольная книга англофила,

энциклопедия мифов об Англии, ревизия английскости, убийственно остроумная и феноменально точная… «Англия, Англия» – это еще и маневр вдоль берегов англоязычной литературы, в ходе которого изо всех орудий обстреливаются не только Шекспир, «Озерная школа» и прочие теннисоны, но и Джойс, например. Да-да, «Англия, Англия» – еще и английский «Улисс», причем гораздо остроумнее ирландского. Все осталось по-прежнему со времен Стерна – тотальное доминирование в мировой литературе. Правь, Британия, морями.

Лев Данилкин (Афиша)

Я очень рад, что роман «Англия, Англия» стал актуальным в 2016 году. Я написал его в 1998-м как предостережение или подарок с ядом для моей страны к миллениуму. Посмотрите, во что вы превращаетесь! Это относилось не только к Англии, конечно. Если вы прогуляетесь по улице в центре любой европейской столицы, вы увидите одни и те же магазины, очень сходные житейские привычки. Европа гомогенизируется, становится однородной. Конечно, если это цена за то, чтобы не было больших войн – а их не было с 1945 года, – то ее стоит заплатить. Но есть ощущение, что в ответ на гомогенизацию старые европейские страны создают разные тотемы национальности и оригинальности, как бы показывая, что нет никакой гомогенизации. Смотрите, у нас есть крикет, Биг-Бен и «Битлз»! Все остальное – не имеет значения, самообман!

Джулиан Барнс

О ДЖУЛИАНЕ БАРНСЕ

Обожаю Стивена Кинга. Он пугает меня до усрачки. А еще я очень люблю Джулиана Барнса – и это совсем, совсем другое дело.

Дэвид Боуи

Барнс всегда умен, часто оригинален и неповторимо ироничен.

Уилл Селф (The Times)

Джулиан Барнс всегда больше напоминал французского философа, чем британского писателя.

Catholic Herald

Как это часто происходит с изящной (во всех смыслах) прозой Барнса, читатель постепенно вынужден усомниться в своих первых впечатлениях, в очевидных выводах, да и в самих событиях, как будто составляющих базовую сюжетную канву.

Financial Times

Каждой своей новой книгой Барнс будто меняет правила игры.

Oldie

Сердцем романов Барнса часто служат воспоминания о прошедших событиях, о давних отношениях – и никто другой не умеет так тонко передать всю хрупкость нашей памяти, даже когда речь идет о самых важных событиях нашей жизни и самых близких людях.

NewsChain

Джулиан Барнс всегда любил размывать границу между прозой художественной и документальной, писать романы, похожие на литературоведческие или исторические работы.

The Guardian

Чего у Барнса не отнимешь, так это способности удивлять.

Sunday Times

В его творчестве остроумие и интеллект сплетаются так, что этому невозможно сопротивляться.

New Statesman

Барнс рос с каждой книгой – и вырос в лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов. Читатель давно и устойчиво сроднился с его сюжетными и стилистическими выкрутасами и не променяет их ни на что.

The Independent

Любителей изящной, умной и афористичной прозы Барнс никогда не разочарует.

The Gazette

Барнс – непревзойденный мастер иронии. Все детали современной жизни он улавливает и передает со сверхъестественной тщательностью.

London Review of Books

Фирменное барнсовское остроумие ни с чем не спутаешь.

The Miami Herald

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос… Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

Вопросы соотнесения слов и реальности, разрыв между ощущением и описанием – вот философская проблематика, интересующая Барнса-романиста. В этом смысле он близок к Айрис Мёрдок, с которой его роднит безупречно английское чувство абсурдного.

Times Literary Supplement

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Барнсу свойственна легкая и увлекательная манера письма, способная скрасить хоть длинный перелет, хоть бессонную ночь, а также незатейливая, но щекочущая нервы ироничность.

Коммерсантъ-Weekend

Легкомысленный и глубокий одновременно, предлагающий за разумную сумму приобрести коллекцию точных высказываний о жизни, Барнс прижился в России даже больше, чем на родине; он – идеальный писатель-иностранец, живое доказательство того, что, выполняя важную этическую миссию – говорить правду, писатель не обязательно должен отказываться от психологически и материально комфортной частной жизни и писать толстые, навязчивые, претенциозные, с космическими амбициями романы, в которых нет ни одной шутки.

Лев Данилкин (Афиша)

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно… В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская (Psychologies)

Ярлыки на литературу навешивают критики, а не писатели. На мне было много таких «лейблов» за многие годы. Один американский критик назвал меня «предпостмодернистом» – до сих пор пытаюсь понять, что это значит. В любом случае мы, кажется, уже не вписываемся в эти ярлыки. Модернисты творили сто лет назад, постмодернисты (скажем, поколение Борхеса) уже давно мертвы. Кто мы сейчас, постпостмодернисты? Надеюсь, что нет. Мои романы, как вы правильно заметили, всегда отличаются друг от друга: одни формально новаторские, другие более традиционны. Я верен не абстрактному литературному течению, а конкретной книге, которую пишу. Давайте назовем это Пост-Лейбельной литературой.

Джулиан Барнс

Глядя на Солнце[1]

Памяти Франсес Линдли
1911–1987

Случилось вот что. Безветренной непроглядной ночью в июне 1941-го пилот-сержант Томас Проссер занимался свободной охотой над севером Франции. Его истребитель «Харрикейн II-B» был выкрашен в черный камуфляж. В кабине красный свет от приборной панели мягко падал на лицо и руки Проссера; тот весь алел — этакий мститель. Летел он со сдвинутым назад фонарем кабины, высматривая на земле аэродромные огни, а в небе — горячее свечение выхлопа бомбардировщика. В течение предрассветного получаса можно было ожидать появления «хейнкеля» или «дорнье», возвращающегося на домашний аэродром от какого-нибудь английского города. К этому времени бомбардировщик должен был бы обойти стороной зенитные батареи, избежать прожекторных лучей, увернуться от аэростатов заграждения, а также от ночных истребителей

---

[1] Сноски: 1
Перевод Е. Петровой.

и выровняться, а экипаж мог уже помечтать о горячем кофе с терпким цикорием, со скрежетом выпустить шасси — и получить по заслугам от свободного охотника.

Той ночью охота прошла впустую. В 03:46 Проссер взял курс на базу. Французское побережье он пересек на высоте восемнадцати тысяч футов. Возможно, от разочарования он более обычного припозднился с возвращением, а все потому, что, взглянув на восток вдоль Ла-Манша, увидел, как начинается восход солнца. Пока воздух был еще пуст и безмятежен, оранжевое солнце спокойно и методично извлекало себя из вязкой желтой полосы горизонта. Проссер следил за его неспешным появлением. Подчиняясь выработанному практикой инстинкту, он каждые три секунды резко вертел головой, но, окажись поблизости немецкий истребитель, Проссер вряд ли смог бы его засечь. Вниманием его полностью завладело встающее из моря солнце: самодовольное, неумолимое, почти комичное.

Когда, наконец, этот оранжевый шар чинно уселся на гряду отдаленных волн, Проссер отвел взгляд. К нему вернулась бдительность: в ясном утреннем воздухе его черный самолет сделался уязвимым, как северный пушной зверь, которого

в шкуре ненадлежащего окраса застукала смена времен года. Выполняя вираж и поворот, вираж и поворот, Проссер мельком увидел под брюхом самолета длинную дорожку черного дыма. По всей вероятности, там терпело бедствие одинокое судно. Он тут же начал снижаться к поблескивающим миниатюрным волнам и наконец разглядел идущий курсом на запад крутобокий сухогруз. Но черный дым развеялся и, судя по всему, ничего страшного не произошло; вероятно, кочегары всего лишь взбодрили огонь в топке.

На высоте восьми тысяч футов Проссер выровнял машину и лег на новый курс к базе. Как и экипажи немецких бомбардировщиков, на полпути через Ла-Манш он позволил себе помечтать о чашке горячего кофе и сэндвиче с беконом, которые причитались ему после опроса. Но тут случилось нечто. Скорость его снижения загнала солнце обратно за горизонт, и, посмотрев на восток, Проссер увидел, как оно восходит заново: то же самое солнце вставало на том же самом месте за тем же самым морем. И, вновь махнув рукой на бдительность, он засмотрелся: оранжевый шар, желтая полоса, кромка горизонта, безмятежный воздух и плавное, невесомое возвышение солнца, повторно встающего из волн за одно утро. Это

было незабываемое обыкновенное чудо.

1

Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего не известно.

А. П. Чехов. Письмо Ольге Книппер от 20 апреля 1904 г.

Многие считали, что взгляд на девяносто лет в прошлое требует изрядного усилия. Туннельного зрения, предполагали они; будто через соломинку. Но дело обстояло иначе. Иногда прошлое снимали ручным аэрофотоаппаратом; иногда оно чудовищно вздымалось в своде авансцены с лепными гирляндами и обвисшими кулисами, а иногда текло легко, словно любовная история эпохи немого кино: трогательная, размытая и совершенно неправдоподобная. Но бывало и так, что из памяти удавалось извлечь только последовательность неподвижных кадров.

История с дядюшкой Лесли, самая первая в ее жизни История, разворачивалась в виде серии диапозитивов проекционного фонаря. Тонированная нравственность; обаятельный усатый

злодей. Исполнилось ей семь лет; наступило Рождество; Лесли был ее любимым дядей. На диапозитиве № 1 показано, как он наклоняется с высоты своего великанского роста для вручения подарка. Гиацинты, шепнул он, передавая ей горшочек телесного цвета, увенчанный колпаком из грубой оберточной бумаги. Поставь их в сушильный шкаф и дождись весны. Но ей-то не терпелось их увидеть прямо сейчас. Ну, вряд ли они уже проросли. Откуда ему было знать? Позже Лесли тайком отвернул уголок грубой обертки и позволил ей заглянуть внутрь. Вот неожиданность! Они уже проклюнулись. Четыре острых желто-бурых ростка величиной с ноготок. Дядюшка Лесли нехотя усмехнулся, как поступают взрослые под впечатлением от ребенка, который неожиданно превосходит их знаниями. В таком случае, объяснил он, тем более не надо повторно тревожить их до весны; от избытка света они, чего доброго, слишком быстро пойдут в рост и захиреют.

Убрав гиацинты в сушильный шкаф, Джин стала ждать развития событий. Мыслями она часто возвращалась к этим росткам, сгорая от желания узнать, как выглядит цветок гиацинта. Далее — слайд № 2. В конце января она взяла фонарик и

пришла в ванную комнату, там выключила свет, достала сверху горшок, открутила заглушку крошечного смотрового отверстия, направила туда фонарик и поспешила заглянуть внутрь. Четыре обнадеживающих ростка были на месте, однако по-прежнему оставались высотой с ноготок. Ну, по крайней мере, свет, который она впустила на Рождество, не причинил им вреда.

Ближе к концу февраля она подглядела еще раз; судя по всему, период роста еще не начался. Через три недели по пути в гольф-клуб к ним заехал дядюшка Лесли. За обедом он заговорщически повернулся к ней и спросил:

— Ну как, малютка Джини, окрасились ли гиацинты рождественским гиацинтовым цветом?

— Ты же мне запретил смотреть.

— И то верно. И то верно.

Она вновь подглядела в конце марта, затем (диапозитивы с № 5 по № 10) второго, пятого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого апреля. Двенадцатого числа ее мама согласилась на более тщательный осмотр горшка. Они разложили на кухонном столе вчерашний номер «Дейли экспресс» и аккуратно сняли оберточную бумагу. Четыре желто-бурых ростка нисколько не вытянулись. Миссис Сарджент как-то смутилась:

— Думаю, лучше нам их выбросить, Джин.

Взрослые вечно все выбрасывали. В этом определенно заключалось их существенное отличие. Дети предпочитали все хранить.

— Может, они хотя бы корешки пустили. — И Джин принялась раскапывать плотно утрамбованную торфянистую почву вокруг ростков.

— Я бы не стала этого делать, — сказала мама.

Но было поздно. Одну за другой Джин выкопала четыре перевернутые острием вверх «тишки» — деревянные подставки под мячи для гольфа.

Как ни странно, ее вера в дядю от этой Истории не пошатнулась. Пошатнулась только ее вера в гиацинты.

Оглядываясь в прошлое, Джин допускала, что в детстве у нее, по всей видимости, была компания; но она не могла вспомнить ни особо доверенную подругу с кривой усмешкой, ни игру на детской площадке, требовавшую желудей и скакалки, ни секретные записочки, передаваемые по измазанным чернилами партам в деревенской школе с высеченной в камне грозной надписью над дверью. Наверное, все это у нее было; а может, и нет. Задним числом стало ясно, что детскую компанию целиком заменял ей дядюшка Лесли. У него были кудрявые, щедро набриолиненные волосы

и темно-синий блейзер с нагрудным карманом, украшенным полковой нашивкой. Он умел сворачивать винные бокалы из серебряной фольги от плиток шоколада и, собираясь в гольф-клуб, каждый раз приговаривал: «заскочить в Старый Зеленый Рай». За такого, как дядя Лесли, она бы согласилась выйти замуж.

Вскоре после Истории с гиацинтами дядюшка начал брать ее с собой в «Старый Зеленый Рай». По приезде он обычно сажал ее на замшелую скамью возле автостоянки и с притворной строгостью наказывал охранять его клюшки.

— Схожу промыть за стариковскими ушами.

Минут через двадцать они дружно выдвигались к зоне „ти“: дядя Лесли, распространяя вокруг себя пивной дух, тащил клюшки, а Джин несла на плече — всегда наготове — лопатку для бункера. Это была выдуманная дядюшкой примета: чтобы в них не ударила молния и чтобы сам он не угодил в ловушку-бункер.

— Головку лопаты тащить по земле нельзя, — наставлял он, — не то песка полетит больше, чем ветреным днем в пустыне Гоби.

И она несла лопатку на плече правильно — как винтовку. Однажды, устав при подъеме вверх по склону к пятнадцатой лунке, она протащила

лопатку по земле, сбив подставку для мяча, и второй удар дядюшки пришелся аккурат в бункер на расстоянии пятнадцати ярдов.

— Все из-за тебя, — сказал он, хотя с виду был не столько сердит, сколько доволен. — За это проставишься на девятнадцатой.

В разговорах с ней дядя Лесли частенько говорил загадками, но она делала вид, будто все понимает. Известно же, что на поле для гольфа только восемнадцать лунок, да еще и уметь надо… как там?.. «проставиться», но она кивала, словно это для нее привычное дело — проставляться на девятнадцатой. Когда она выросла, кто-то объяснил ей этот код; но до поры до времени она была вполне счастлива в своем неведении. Впрочем, кое-какие обрывки фраз уже различала. Если мяч своевольно улетал в рощу, Лесли иногда бормотал: «Пусть катится к гиацинтам» — единственное с его стороны упоминание о том рождественском подарке.

Но реплики его по большей части оказывались выше ее понимания. Как-то раз они вдвоем целеустремленно шагали по фервею: он — с полной сумкой клюшек, негромко постукивающих рукоятками из орехового дерева, она — с лопаткой для бункера в согнутых руках. Джин было запре-

щено разговаривать: дядя Лесли объяснил, что болтовня отвлекает его от мыслей о следующем ударе. Ему, со своей стороны, разговаривать не возбранялось; и пока они шагали к белеющей вдалеке штуковине, которая иногда оказывалась конфетной оберткой, он время от времени останавливался и склонялся над Джин, чтобы нашептать ей свои тайные думы. У пятой лунки он поведал, что помидоры вызывают рак и что солнце никогда не заходит над Британской империей; у десятой лунки она узнала, что бомбардировщики — гаранты будущего, а старый Муссо, даром что макаронник, знает все ходы и выходы. Однажды, когда они помедлили на короткой двенадцатой (беспрецедентное действие на лунке пар-3), Лесли мрачно объяснил:

— К тому же нашему иудею гольф не по нутру.

Затем они продолжили путь к бункеру слева от грина, и Джин про себя повторяла эту неожиданно дарованную ей истину.

Ей нравилось ездить в Старый Зеленый Рай; там случались всякие происшествия. Однажды дядя Лесли, тщательнее обычного помыв у себя за ушами, прошелестел в глубокий раф рядом с четвертой лункой. Ей было приказано отвернуться, но она не могла не услышать продолжительный

плеск, отличавшийся поразительной громкостью и множеством скрытых смыслов. Приподняв локоть (это не считалось подглядыванием), она заметила над высокими, до пояса, папоротниками столбик пара.

После этого был выполнен фокус Лесли. Между девятым грином и десятой ти, в окружении молодых белых березок стояла деревянная будочка — ни дать ни взять скворечник для птиц-чудовищ. Здесь, если ветер дул в нужном направлении, дядюшка Лесли иногда показывал свой фокус. Из кармана твидового пиджака с кожаными вставками на локтях он доставал сигарету, клал ее себе на колено, совершал над ней пассы ладонями, как заправский фокусник, зажимал ее губами и чиркал спичкой, медленно подмигивая Джини. Сидя рядышком, она старалась не фыркать и не пыхтеть. Пыхтелки и фыркалки любой фокус портят, говаривал дядюшка Лесли, а ерзалки — тем более.

Через минуту-другую она отваживалась покоситься, стараясь не делать резких движений. На сигарете было с дюйм пепла, а дядюшка Лесли делал очередную затяжку. При следующем ее взгляде голова его уже была слегка запрокинута назад, а из пепла состояла добрая половина

сигареты. С этого момента дядюшка Лесли на племянницу не смотрел, зато становился в высшей степени сосредоточенным и при каждой затяжке чуть-чуть отклонялся назад. Наконец голова у него оказывалась под прямым углом к позвоночнику, а сигарета теперь вся состояла из пепла, кроме последнего полудюйма, за который Лесли удерживал ее губами, возвращаясь в вертикальное положение относительно крыши гигантского скворечника. Это означало, что фокус удался.

Затем он протягивал левую руку и касался ее локтя; она беззвучно вставала, стараясь не дышать, чтобы невзначай не запыхтеть и не фыркнуть, тем самым сдув пепел на пиджак Лесли с кожаными вставками на рукавах, и шла дальше, к десятой ти. Через пару минут к ней присоединялся, еле заметно улыбаясь, Лесли. Она никогда не спрашивала, как он выполняет свой фокус; наверное, думала, что ответа не получит.

Помимо этого, они еще горланили. Это всегда происходило в одном и том же месте — на лужайке, за треугольником влажных пахучих берез, которые пробивали себе путь к четырнадцатой лунке-доглег. Каждый раз, когда драйв дяди Лесли отклонялся от своей траектории сильным слайсом, им приходилось прочесывать наименее

посещаемую часть рощи, где древесные стволы поросли мхом, а землю толстым слоем покрывали буковые орешки. В первый раз они остановились перед приступкой изгороди, которая, невзирая на многодневную сушь, оказалась склизкой. По приступке они перелезли через ограду и продолжили поиск на первых же ярдах сбегающего вниз луга. После бесцельного шарканья туфлями и разгребания листвы клюшкой Лесли нагнулся и сказал:

— Не погорланить ли нам от души?

В ответ она улыбнулась. Ясно же, что в таких случаях именно это и положено делать — горланить от души. Досадно ведь, когда не можешь отыскать мяч. Лесли продолжил:

— Как проорешься по самое не могу — падай. Таковы правила.

Потом они, закинув головы, стали орать на небо: у дяди Лесли ор получался низкий и хриплый, как у выезжающего из туннеля поезда; у Джин, не уверенной, надолго ли ее хватит, — тоненький и дрожащий. Орать полагалось с открытыми глазами (очевидно, таково было неозвученное правило), пристально вглядываясь в небеса, чтобы подбить их ответить на твой вызов. После требовалось сделать второй вдох и снова орать, уже более уверенно и настойчиво.

Потом опять — и в паузах, предназначенных для очередного вдоха, усиливались и ревели издаваемые дядей Лесли паровозные шумы; а под конец внезапно накатывало изнеможение, вопля в тебе не оставалось, и бессилие валило тебя на землю. Не будь это предписано правилами, она бы все равно рухнула; усталость морским прибоем утюжила ее тело.

Когда дядя Лесли с глухим стуком шлепнулся в нескольких ярдах от нее, оба они вперились параллельными зыбкими взглядами в безмятежное небо. На полпути к поднебесью еле заметно перемещались, будто против своей воли, немногочисленные мелкие облачка; но, возможно, даже это движение приписывали им две отдувающиеся фигуры, распластанные на земле. В правилах наверняка оговаривалось, что отдуваться можно сколь угодно тяжело.

Через некоторое время она услышала, как Лесли закашлялся.

— Что ж, — сказал он, — позволю-ка я себе фри-дроп.

И они двинулись обратно тем же путем: через осклизлую приступку по хрустящим буковым орешкам на угол четырнадцатой лунки, где дядя Лесли, оглядевшись, не шпионит ли кто,

большим пальцем спокойно вдавил в фервей подставку для мяча, со щелчком опустил на нее сверху новенький сверкающий мяч и зафитилил его на грин клюшкой «брасси» — сотни на две ярдов. Притом, что обгорланился до упаду, подумала Джин.

Орать они ходили, только когда после удара Лесли по лежащему на «тишке» мячу тот слишком уж сильно отклонялся вправо, что, похоже, случалось лишь на безлюдном поле. Да и то не каждый раз, потому как после первого такого эпизода у Джин начался коклюш. В качестве настоящей Истории коклюш не засчитывался, но засчитывалось другое событие: дядюшка Лесли разжился деньгами. А точнее сказать, засчитывались последствия этого события.

Лесли забежал к ним на четвертый день ее болезни, когда она лежала в постели, время от времени издавая гортанный клекот какой-то экзотической птицы, затерявшейся в чужом небе. Присев на кровать в своем блейзере с полковой нашивкой, слегка попахивая, как после мытья за ушами, дядя зашептал — вместо того чтобы осведомиться о ее самочувствии:

— Ты ведь им не рассказывала, как мы горланим?

Еще чего.

— Видишь ли, это секрет. Преотличный секрет, как мне кажется.

Джин кивнула. Секрет был необыкновенно хорош. Но, по всей видимости, из-за этих воплей ее и настиг коклюш. Мама всегда наказывала ей беречься от перевозбуждения. Возможно, теми воплями она перевозбудила себе горло и в результате стала заходиться кашлем. Дядюшка Лесли сидел с подавленным видом, будто подозревая, что тут есть и его вина. Он даже слегка заерзал, когда у нее вырвался очередной клекот перепуганной птицы.

Через два дня миссис Сарджент с недовольным, но обреченным видом положила на край кровати Джин зимнее белье, затем платье из толстой ткани, зимнее пальто, шарф и плед.

— Собирайся. Дядя Лесли раскошелился.

Дядя Лесли, как обнаружила Джин, раскошелился даже на такси. В такси ей довелось прокатиться впервые в жизни. По пути на аэродром она всеми силами скрывала перевозбуждение. В Хендоне мама не стала выходить из машины. Держась за отцовскую руку, Джин выслушивала объяснения насчет деревянных деталей самолета «де хэвилленд», изготовленных из канадской

ели. Древесина у канадской ели, рассказывал отец, очень твердая, почти как металл, поэтому беспокоиться не о чем. Она и не беспокоилась.

Шестидесятиминутная воздушная экскурсия: обзор достопримечательностей Лондона, вылет в начале каждого часа. Среди дюжины пассажиров было еще двое детей, упакованных — наподобие свертков — в пледы, хотя стоял еще август; не иначе как их дядюшки тоже разжились деньгами. Папа сидел у прохода и остановил ее, когда она попыталась через него перегнуться и посмотреть, что происходит в салоне: цель полета, объяснил он, лечебная, а не познавательная. На протяжении всей экскурсии он, вцепившись в колени, сверлил взглядом спинку находившегося перед ним плетеного кресла. Казалось, он сам вот-вот перевозбудится. Когда «де хэвилленд» накренился, Джин увидела за его округлыми двигателями и пересечением стоек шасси некое подобие Тауэрского моста. Она повернулась к папе.

— Ш-ш-ш, — одернул он ее. — Я сосредоточен на твоем исцелении.

Только через год они с дядюшкой Лесли вновь отправились погорланить. Приехали, конечно же, в Старый Зеленый Рай; но каким-то чудом дядюшкины дальние удары от четырнадцатой

лунки-доглег обрели невиданную точность. Когда наконец следующим летом он бабахнул головкой клюшки по морде мячика, выполнив небывало высокий завывающий слайс, создалось впечатление, будто мяч твердо знает, куда ему полагается лететь. Они тоже это знали: вдоль длинного рафа, через влажный березняк, над осклизлой приступкой — и к сбегающей под гору лужайке. Огласив летнее тепло своими воплями, они бухнулись навзничь. Джин поймала себя на том, что всматривается в небо: нет ли там аэропланов. Она вращала зрачками, и обзор доходил до самого краешка ее поля зрения. Никаких облаков, никаких аэропланов: можно было подумать, они с дядюшкой Лесли своим шумом опустошили небо. Ничего, кроме синевы.

— Ну что ж, — сказал Лесли, — позволю-ка я себе фри-дроп.

Они не искали мяч, пока шли через рощу; не стали утруждаться и на обратном пути.

В их третьем походе с целью погорланить присутствовал самолет. Джин его даже не заметила, пока их вопли сотрясали поднебесье, но, когда, отдуваясь, они лежали навзничь, она уловила какое-то жужжание. Слишком ровное, чтобы исходить от насекомого; звучавшее где-то ря-

дом и одновременно вдалеке. Оно обнаружило себя — кратко и более шумно — между парой облаков, стихло и обозначилось вновь, а потом неспешно поплыло к горизонту, теряя высоту. Джин представила себе округлые двигатели, поскрипывающие стойки шасси и упакованных, как свертки, детей.

— Когда Линдберг летел через Атлантику, — заметил с расстояния в несколько футов Лесли, — он взял в дорогу пять бутербродов. Но съел только полтора.

— А остальные куда делись?

— Какие остальные?

— Остальные три с половиной.

Дядюшка Лесли поднялся с земли — вроде бы в дурном расположении духа. Ей, видимо, не дозволялось подавать голос, хотя они и находились не на фервее. Наконец, когда они шаркали по буковым орешкам, теперь уже пытаясь найти мяч, Лесли досадливо пробормотал:

— Они, надо думать, отправились в бутербродный музей.

Бутербродный музей, подивилась про себя Джин: разве такие бывают? Но ей хватило ума не задавать больше вопросов. И постепенно, через пару лунок, настроение у дяди улучшилось. На

семнадцатой, после быстрого взгляда в обе стороны фервея, он вновь проникся заговорщическим духом.

— Сыграем в шнурки?

Никогда прежде он не упоминал такую игру, но Джин сразу согласилась.

Дядюшка Лесли демонстративно выполнил удар через короткий раф. Когда они поравнялись с мячом, дядюшка наклонился, чтобы снять свои коричневые с белым туфли-соответчики. Свободные концы шнурков он уложил крестом на середину стельки, посмотрел на Джин и кивнул. Та, сняв свои черные прогулочные башмаки, сделала то же самое. У нее на глазах он с комичной педантичностью протолкнул сначала пальцы, а потом и всю стопу обратно в туфли. Она сделала то же самое; он подмигнул, опустился на одно колено, словно делая ей предложение, погладил ее по икроножной мышце и медленно вытянул оба шнурка из-под ее мягкой левой подошвы. Джин захихикала. Ощущение было восхитительное. Сначала чуть-чуть щекотно и постепенно все сильнее, и волна удовольствия хлынула вверх, до самого желудка. Джин зажмурилась, а дядюшка Лесли дразняще высвободил шнурки из-под ее правой ступни. С закрытыми глазами получилось

еще лучше.

Затем наступил его черед. Она присела на корточки у его ног. С близкого расстояния туфли его казались громадными. Носки слегка попахивали скотным двором.

— Мне — по одному, — шепнул он, и она ухватилась за первый шнурок рядом с тем местом, где он исчезал в своей дырочке.

Потянула; ничего не случилось; потянула более резко; дядя шевельнул ступней, и внезапно шнурок высвободился.

— Так не пойдет, — сказал он. — Слишком быстро. Положи обратно.

Он изогнул ступню дугой, и Джин просунула длинный коричневый шнурок ему в туфлю, между влажным носком и стелькой. Затем вновь потянула; шнурок вышел с медлительной непринужденностью, и тишина сверху позволила ей сделать вывод, что она все сделала правильно. Один за другим она вытащила оставшиеся три конца шнурков. Он погладил ее по голове.

— Думаю, слишком плоское движение, ты согласна? Забирай повыше, придай чуток бэкспина — и все будет тип-топ.

— Может, заново попробовать?

— Ни в коем разе. — Все свое внимание он пе-

реключил на мяч, пошаркал, как будто шнурки до сих пор оставались в плену, и расслабленно поводил туда-сюда головкой клюшки. — Пусть батарейки подзарядятся, правда же?

Она кивнула; он подтолкнул мяч на несколько дюймов к более замшелой травянистой плашке, где тот надежно угнездился, а сам, еще немного потоптавшись, выполнил чистый удар по направлению к флагу и зашагал по фервею.

— Шнурки! — обернувшись, прокричал он, и она наклонилась, чтобы их завязать.

Впоследствии они возвращались к игре в шнурки, причем весьма часто. Не всегда в Старом Зеленом Раю; иногда, спонтанно и украдкой, у нее дома. Правила не менялись: сперва водил дядюшка Лесли и вытаскивал оба шнурка; потом она — и тащила по одному за раз. Однажды она попробовала играть одна; но это было совсем не то. Ее мучил вопрос: не заболеет ли она от этой игры? За всем приятным, как она знала, неизбежно следует расплата — болезнь. Наешься шоколадных конфет, пирожных, инжира — живот заболит; будешь горланить — начнется коклюш. Но чем могла грозить игра в шнурки?

Ответ на этот вопрос обещал найтись довольно скоро. А потом, становясь старше, она будет на-

ходить и другие ответы. Ответы на очень разные вопросы. Как решить, какую использовать клюшку. Существует ли бутербродный музей. Почему иудеям гольф не по нутру. Испугался ли папа во время полета на «де хэвилленде» или просто сосредоточился. Откуда Муссо знает, как держать газету. Почему еда выглядит совсем иначе, когда выходит из другого конца тела. Каким способом курить сигарету, чтобы с нее не падал пепел. Таятся ли Небеса в дымоходе, как она втайне подозревала. И почему норка до последнего цепляется за жизнь.

Джин не понимала, что подразумевает эта заключительная фраза, но со временем рассчитывала вернуться к этому вопросу, а потом, быть может, и найти ответ. Норку она знала по эстампам тети Эвелин. Их осталось только два из якобы существовавшей некогда коллекции; теперь они кочевали со стенки на стенку. Папа считал, что одного более чем достаточно, однако по настоянию мамы оба эстампа Эвелин оставались рядом. Это справедливо, утверждала она.

На горизонтальной картинке были изображены в лесной чаще двое мужчин в старинных костюмах и шляпах. Тот, что с бородой, держал за шкирку хорька, тогда как безбородый опирался

на ружье. У его ног высилась целая груда хорьков. Только это были не хорьки, потому что заголовок эстампа гласил: «Ловля норок в капканы»; а ниже шел текст, который Джин читала и перечитывала не раз.

> *Норка, равно как и ондатра, и длиннохвостая ласка, и горностай, не отличается большой хитростью и попадает в засады любого типа: в металлические капканы, в ящичные ловушки, но чаще всего в так называемые западни. Ее привлекает любое мясо, но обычно, по нашим наблюдениям, в качестве приманки используется голова гривастой шотландской куропатки, дикой утки, курицы, сойки или другой птицы. Норка до последнего цепляется за жизнь, и нам довелось найти такую зверушку в западне под буреломом: еще живую, придавленную жердью весом в 150 фунтов, из-под которой она пыталась выбраться в течение почти что суток.*

Фраза «до последнего цепляется за жизнь» была не единственной, которая ускользала от ее понимания. Кто такая гривастая шотландская

куропатка? А ондатра? Дикая утка — это понятно, да и пара тявкающих соек-пересмешниц прошлой осенью жила в березняке у четырнадцатой лунки-доглег, а курицу — если папа оказывал какую-нибудь услугу клиенту — у них в семье подавали к воскресному обеду. Чтобы ее ощипать и выпотрошить для передачи маме, к ним с утра пораньше приходила миссис Бакстер, которая потом забегала еще раз, после пяти, за одной из ножек, завернутой в вощеную бумагу. Разрезая курицу, папа Джин любил прохаживаться насчет ножек миссис Бакстер, отчего его дочка хихикала, а жена поджимала губы.

— Миссис Бакстер забирает и голову тоже? — однажды спросила Джин.

— Нет, милая. Почему ты спрашиваешь?

— А куда ты ее деваешь?

— Выбрасываю в мусорное ведро.

— Может, лучше ее приберечь, а потом продать охотникам за норками?

— Охотников этих попробуй замани к нам в дом, девочка моя, — весело отвечал папа. — Попробуй замани!

На вертикальном эстампе — в комнате Джин — была изображена прислоненная к дереву лестница с надписями на ступеньках. Самая нижняя

ступенька гласила: *ТРУДОЛЮБИЕ*, вторая снизу — *УМЕРЕННОСТЬ*, а точнее — *УМЕРЕННОС*, поскольку две последние буквы загораживала коленка взбирающегося наверх человека. Затем следовали *БЛАГОРАЗУМИЕ, БЕРЕЖЛИВОСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ЭКОНОМИЯ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, ХРАБРОСТЬ* и — на верхней ступеньке — *УСЕРДИЕ*. На переднем плане тянулась очередь: люди жаждали влезть на дерево к свисающим с листьев рождественским шарикам, на которых тоже читались слова, но уже другие: «Счастье», «Честь», «Милость Божия» и «Человеколюбие». На заднем плане находились люди, не желавшие лезть на дерево: они играли в азартные игры, мошенничали, делали ставки, бастовали и заходили в какое-то большое здание под названием «Биржа».

Джин улавливала общий смысл этой картинки, хотя иногда по рассеянности путала это дерево с Древом познания, о котором узнала из Библии. Ясное дело: залезать на Древо познания никуда не годилось; а на это дерево, ясное дело, залезать было похвально, хотя она, если честно, не понимала значения кое-каких слов на ступеньках, а тем более двух слов, что читались на опорных шестах лестницы: с одной стороны — *НРАВСТВЕННОСТЬ*,

с другой — *ПОРЯДОЧНОСТЬ*. Но кое-какие слова она вроде бы уяснила. Порядочность требовала хранить рядом два эстампа тети Эвелин, а передвигать свой мяч в более выгодное положение, когда никто не видит, — это уже безнравственность; Пунктуальность означала «не опаздывать в школу»; Экономия — то, к чему папа стремится у себя в магазине, а мама — в домашнем хозяйстве; Храбрость — ну… Храбрость — это полет на аэроплане. Со временем она, конечно же, надеялась понять и все остальные слова.

* * *

Когда Джин было семнадцать, началась война, и это событие принесло ей облегчение. У нее гора с плеч свалилась: ей больше не приходилось чувствовать себя виноватой. В течение нескольких предшествующих лет ее отец решительно взваливал на свои плечи бремя различных политических кризисов; такова была по большому счету его обязанность как Главы Семейства. Он зачитывал им новости из «Дейли экспресс», делая паузу после каждого абзаца, и растолковывал передаваемые по радио сводки. У Джин часто возникало ощущение, будто папа владеет небольшим семейным бизнесом, поставленным

под угрозу бандой чужеземцев с заморскими именами: те пользуются незаконными методами ведения дел и устанавливают грабительские цены. Зато мама всякий раз знала, как реагировать; знала, какие звуки — причем различные — надо издавать при упоминании таких имен, как Бенеш, Даладье и Литвинов, и когда лучше всего в замешательстве всплеснуть руками, чтобы потом еще раз выслушать папины объяснения с самого начала. Джин тоже пыталась вникнуть, но это, похоже, была долгая история, которая началась очень давно, еще до ее рождения, и в которой ей не суждено разобраться. На первых порах она помалкивала при упоминании этих злонамеренных иностранных дельцов, которые грузовиками вывозили из страны похищенное диетическое печенье и браконьерски добытых фазанов; но даже молчание оказывалась небезопасным: оно предполагало отсутствие должной озабоченности, так что время от времени Джин задавала вопросы. Но как тут угадаешь, о чем нужно спросить? Ей казалось, что по-настоящему правильный вопрос может задать лишь тот, кто заранее знает ответ, но тогда какой в этом смысл? Как-то раз, очнувшись от навеянной скукой дремоты, она спросила папу о женщине, занявшей

пост премьер-министра Австрии: звали ее Анн Шлюсс. Тут Джин дала маху.

Война, несомненно, была делом мужским. Вели ее мужчины, и каждый мужчина ее же объяснял, вытряхивая пепел из трубки с видом директора школы. А чем во время Первой мировой занимались женщины? Раздавали белые перья, забивали камнями такс, уезжали во Францию служить сестрами милосердия. Существовала ли вероятность, что на сей раз все будет по-иному? Вероятно, нет.

Но при всем том у Джин зрело смутное чувство, будто она, неспособная понять европейский кризис, в некотором роде ответственна за его продолжение. Она чувствовала себя виноватой в Мюнхенском сговоре. Она чувствовала себя виноватой в аннексии Судет. Она чувствовала себя виноватой в заключении пакта о ненападении между нацистами и Советами. Правда, она никак не могла запомнить, можно доверять французам или нет. Кто важнее: Польша или Чехословакия? А что там с Палестиной? Палестина же в пустыне: почему туда стремятся иудеи? Что ж, это хотя бы подтверждало слова дядюшка Лесли: гольф им не по нутру. Ни один гольфист по доброй воле не отправился бы в пустыню, чтобы там поселиться.

Кому охота все время играть словно из бункера? Не иначе как на тамошних полях для гольфа фервеи — песчаные, а бункеры — травянистые.

Так вот: с началом войны Джин испытала облегчение. Во всем был повинен Гитлер, а она вообще осталась ни при чем. Но по крайней мере это означало, что рядом нечто происходит. Война засчитывалась как очередная История: так Джин ее и рассматривала на первых порах. Мужчин призывали в армию, мама вступила в Женскую добровольческую службу, а Джин в конце концов получила разрешение состричь желто-каштановую косу, которая невесть сколько лет болталась у нее на спине. Папа горевал о такой утрате, но его убедили, что Джин при мытье головы будет экономить мыло и воду, чем значительно поспособствует мобилизации сил для обороны страны. Расчувствовавшись, отец попросил отдать ему срезанную косу и хранил ее на полке у себя в сарайчике для садового инвентаря, покуда ее не выбросила его жена.

В семействе Сарджентов тайно обсуждался вопрос: не следует ли Джин устроиться на какую-нибудь работу; но в конечном счете было решено возложить на нее домашнее хозяйство, коль скоро мама вступила в Женскую доброволь-

ческую службу.

— Хорошая практика, девочка, — подмигнув, сказал папа.

«Хорошая практика»: можно подумать, она проявляла хоть какие-то способности к тому, в чем собиралась практиковаться. Глядя на родителей, она всегда робела: уж очень они взрослые. Сколько же уйдет времени на то, чтобы и ей так повзрослеть?

Они всегда были уверены в себе; имели собственные мнения; могли отличить хорошее от плохого. А она, как ей казалось, отличала хорошее от плохого лишь потому, что ей постоянно сообщали, в чем разница; ее мнения выглядели судорожными, беспомощными головастиками по сравнению с горластыми лягухами родительских взглядов. Что же до формирования собственных мнений, такой процесс и вовсе ставил ее в тупик. Мыслимо ли познать, что именно ты держишь в уме, если не воспользуешься прежде своим умом, чтобы обнаружить свой ум? Так собака вертится в погоне за своим собственным купированным хвостом. От одной этой мысли Джин уставала.

Вторая часть взросления состояла в том, чтобы достичь сходства с кем-нибудь другим. Ее отец, который управлял продуктовым отделом в

«Брайдене», выглядел именно как управляющий продуктовым отделом: дородный и опрятный, с эластичными металлическими подвязками на рукавах, с виду добр, однако располагает и некоторым запасом суровости — такой мужчина знает, что фунт муки — это фунт муки, а не пятнадцать унций, может определить, не глядя на этикетку, какой сорт печенья хранится в той или иной квадратной банке, а также способен придвинуть руку близко — чуть ли не вплотную — к жужжащей машинке для нарезки бекона и не пораниться.

Мама Джин тоже смахивала на других: острый носик, голубые глаза чуть-чуть навыкате, волосы в дневное время, когда она ходила в бутылочно-зеленой с бордо форме Женской добровольческой службы, стянуты в узел на затылке, а вечерами распущены, когда она внимала папе, точно зная, какие нужно задавать вопросы. Она совершала автомобильные поездки для сбора утильсырья и помогла собрать тысячи жестяных банок; она неделями продергивала цветные лоскутки сквозь камуфляжные сети («Как будто создаешь огромный ковер, Джин»); увязывала в кипы макулатуру, замещала кого-то в передвижной столовой, комплектовала корзины с овощами

для экипажей минных тральщиков. Уж она-то знала, что у нее на уме; стоит ли удивляться, что она смахивала на других.

Бывало, Джин подолгу смотрелась в зеркало, выискивая в себе признаки изменения; но прямые, тусклые волосы ровно лежали на голове, а голубые глаза были подпорчены дурацкими крапинками. В статье из «Дейли экспресс» пояснялось, что многие голливудские кинозвезды добились успеха лишь благодаря сердцеобразной форме лица. Ну, на это рассчитывать уже не приходилось: подбородок у нее был совершенно квадратным. Было бы еще полбеды, если б отдельные черты ее лица составляли единое целое. Ой, *пожалуйста*, сдружитесь меж собой. Как-то раз мама, застав ее за таким самокопанием, отметила:

— Ты не красавица, но куда ни шло.

Я — куда-ни-шло, думала она. Мои родители считают, что я — куда-ни-шло. Но согласится ли с этим еще кто-нибудь? Она скучала по дядюшке Лесли. Им сейчас не разрешалось о нем заговаривать, но вспоминала она его частенько; он всегда принимал ее сторону. Однажды в Старом Зеленом Раю они шли по длинной десятой, и Джин, которая несла лопатку для выбивания

мяча из бункера в приносящем удачу положении, спросила:

— Кем я буду, когда вырасту?

Ей тогда казалось, что спросить об этом естественно, как естественно и предположить, что ответ скорее найдет дядюшка, а не она. Шагая в своих коричневых с белым туфлях-соответчиках и тихо побрякивая клюшками, он взялся за лопатку у нее на плече и покачал из стороны в сторону. А затем, положив руку ей на затылок, прошептал:

— Возможности безграничны, малютка Джинни. Возможности безграничны.

Сначала, по мнению Джин, на войне ничего особенного не происходило, но по мере развития событий стали погибать люди. У Джин прибавилось знаний: кто пытается вытеснить папу из бизнеса, как зовут его жуликоватых партнеров. Она люто возненавидела иностранцев с их тайными кознями. Она видела жирный большой палец с грязным ногтем, нажимающий на чашу весов. Быть может, ей стоило поступить на военную службу. Но папа счел, что она принесет больше пользы на своем месте.

— Поддерживай огонь в домашнем очаге, — сказал он.

А вслед за тем война принесла Томми Проссера. Вот это определенно была История. Уведомление из квартирьерской службы пришло во вторник; в среду они подавали в разные инстанции жалобы на то, что у них в доме даже втроем тесно, а в четверг прибыл Томми Проссер. Оказалось, это приземистый, худощавый субъект в форме ВВС Великобритании, с черными набриолиненными волосами и черными усиками. Плоский чемодан у него под мышкой был перетянут кожаным ремнем. Приезжий искоса посмотрел на Джин, когда та отворила ему дверь, потом отвел глаза, улыбнулся стенке и представился, как старшему по званию:

— Пилот-сержант Проссер.

— Угу. Да. Нам сообщили.

— Очень любезно с вашей стороны, и все такое.

Тон его ничего не выражал, но незнакомый северный говорок резал ухо, как щербатым ножом.

— Угу. Мама будет дома в пять.

— Мне уйти и вернуться к этому времени?

— Не знаю.

Почему же она ничего не знала? Если он собирается у них поселиться, то, наверное, логично пригласить его войти. А что потом? Или он рас-

считывает, что ему предложат чай?

— Хорошо. Вернусь в семнадцать.

Он посмотрел на нее, отвел взгляд, улыбнулся стене и зашагал по садовой дорожке. Из кухонного окна Джин видела, как он, вперившись в свой чемодан, сидит на обочине через дорогу. В четыре часа начался дождь, и она все же пригласила его войти.

Он был направлен к ним на постой из Уэст-Моллинга. Нет, трудно сказать, по какой причине. Нет, не «спитфайры», а «харрикейны». Господи, опять она задает неправильные вопросы. Указав ему в сторону лестницы, ведущей наверх, где находилась его каморка, она тут же засомневалась: может, надо его проводить — из вежливости? Или не надо — из деликатности? Проссеру, видимо, было все равно. Кроме своего имени, он не сообщил о себе ничего, не задал ни единого вопроса, не высказал никаких суждений — даже о том, как все вокруг сияет чистотой и благоухает свежестью. Ему отвели кладовую. Времени на то, чтобы хоть как-то ее облагородить, у них, конечно, не было, но из уважения к постояльцу на стенку повесили эстампы, некогда принадлежавшие тете Эвелин.

Почти все время он сидел у себя в каморке, по

часам спускался к завтраку, обеду и ужину, а за столом отвечал на папины вопросы. Странно было видеть в доме двоих мужчин. Вначале папа очень считался с пилотом-сержантом Проссером; с тактичным восхищением расспрашивал о жизни авиатора, заговорщически, с презрением отзывался о «фрицах» и шутливо приказывал маме «выдать добавку нашему герою стратосферы». Но Проссер, видимо, не всегда отвечал папе в нужном ключе; он принимал добавки без благодарных излияний, которых явно ожидала мама; и пусть охотно помогал закрепить светомаскировочные шторы, весьма вяло участвовал в дискуссиях о стратегии в отношении Северной Африки. Джин отчетливо понимала, что Проссер стал для папы разочарованием; столь же ясно было и другое: постоялец и сам это знал — и ничего не имел против. Возможно, они просто не находили для него правильных вопросов. Возможно, летающим на «харрикейнах» героям нужны особые вопросы. Или же все дело было в его происхождении: родился он в другой части страны — по его словам, в Ланкашире, неподалеку от Блэкберна. Наверное, там было принято вести себя как-то по-другому.

Время от времени, оставаясь в доме наедине

с Джин, Проссер спускался в кухню, прислонялся к дверному косяку и наблюдал, как она гладит, или печет хлеб, или чистит ножи. На первых порах это ее смущало, но потом уже меньше; занимаясь хозяйственными делами под посторонним взглядом, она даже чувствовала себя более нужной. Впрочем, в отсутствие родителей общение с ним не клеилось. Он не всегда отвечал на вопросы; порой ершился, а иногда просто отводил глаза и улыбался, будто припомнив какой-то воздушный маневр, недоступный ее пониманию.

Однажды, когда она чистила плиту, он угрюмо объявил:

— Поймите: меня отстранили от полетов.

Джин подняла глаза, но даже не успела ответить, как он продолжил:

— И прозвали Восход — Восход Проссер.

— Понятно.

Такой ответ вроде бы ни к чему не обязывал. Она вновь принялась наносить коричневую чистящую пасту на стенки духовки. Проссер с топотом удалился к себе в каморку.

Примерно с месяц в доме царила напряженная обстановка. Ни дать ни взять «Странная война», думала Джин; хотелось только верить, что боев

за ней не последует. Их и не последовало. Папа все чаще излагал свои взгляды на фронтовые операции лишь наедине с мамой и не упускал случая намекнуть Джин, что не всякий, кто живет с тобой под одной крышей, заслуживает дружелюбного обращения. Достаточно простой вежливости.

* * *

Как-то раз Томми Проссер спустился в четыре часа пополудни. Джин заваривала чай.

— Желаете перекусить? — спросила она, так и не усвоив правил организации постоя.

— Как насчет бутерброда «Отбой воздушной тревоги»?

— А что это?

— Бутерброд «Отбой воздушной тревоги» — неужели никогда не слышали? Вы, не знающая ни в чем нужды? — Она помотала головой. — Заваривайте чай, а я быстренько сварганю.

Через краткий промежуток времени, хлопая дверьми, что-то насвистывая и неизменно стоя к ней спиной, Проссер соорудил на тарелке два бутерброда. Хлеб выглядел так, будто его резали не вполне твердой рукой. Джин невольно призналась себе, что едала бутерброды и повкуснее;

она решила высказаться справедливо, но поощрительно:

— Почему в моем листья одуванчика?

— Потому, что это бутерброд «Отбой воздушной тревоги», — ухмыльнулся Проссер и резко отвел взгляд. — Рыбная паста, маргарин и листья одуванчика. Разумеется, качество местных одуванчиков оставляет желать лучшего. Не нравится — можете отослать их назад повару.

— Это… вкуснота. Я уверена, что со временем привыкну.

— А я уверен, что снова буду летать, — подхватил он, словно цитируя вторую часть шутки.

— Да, я *уверена*, что так оно и будет.

– *Я и сам* уверен, что так оно и будет, — повторил он с неожиданным сарказмом, как будто вместо этого охотно залепил бы ей пощечину.

Господи. Джин чувствовала, что сморозила какую-то постыдную глупость. Она вперилась взглядом в свою тарелку. Наступила тишина.

— А вам известно, — начала она, — что Линдберг, когда летел через Атлантический океан, взял в дорогу пять бутербродов?

Проссер хмыкнул.

— Но съел только полтора.

Проссер еще раз хмыкнул. И без видимого ин-

тереса спросил:

— А остальные куда делись?

— Именно это мне всегда хотелось выяснить. Возможно, они хранятся где-нибудь в бутербродном музее.

Наступила тишина. Джин чувствовала, что ее рассказ не произвел никакого впечатления. У нее он был одним из лучших, а она не сумела им козырнуть. Другого такого шанса ей не представится. Надо было придержать его до лучших времен, когда постоялец будет в другом расположении духа. Как же она оплошала. Молчание затягивалось.

— Вы, наверное, знаете, где находится самолет Линдберга, — в конце концов сказала она бодрым тоном собеседницы, которая брала уроки светского общения. — Ну, то есть его-то самолет *наверняка хранится в каком-нибудь музее.*

— Это не самолет, — заметил Проссер. — Какой может быть самолет? Это *аэроплан. Аэро-план*. Ясно?

— Да, — ответила она.

Лучше бы он дал ей пощечину. Аэроплан, аэроплан, аэроплан.

Через некоторое время Проссер коротко кашлянул, будто меняя гнев на милость или на какую-

нибудь другую эмоциональную установку.

— Расскажу вам о самом прекрасном зрелище, какое мне только доводилось наблюдать, — натянуто и почти ворчливо выговорил он.

Джин так и сидела, склонив голову, в слабой надежде на какую-нибудь снисходительную похвалу. Вторую половину своего бутерброда она не осилила.

— Я выполнял ночной боевой вылет. В июне, когда было тепло… Летел с отодвинутым фонарем, во тьме и тишине. В полной тишине.

Джин подняла голову.

— Это… — Проссер осекся. — Вряд ли вы знаете, что такое ночное зрение, правда?

На сей раз в его тоне сквозила доброжелательность. Ничего страшного, если она этого не знает; но совсем другое дело — именовать аэроплан самолетом.

— Для этого морковка помогает, — сказала она и услышала, как он усмехнулся.

— Да, помогает. Нас так и прозвали: морковники. Но это не имеет отношения к делу. Тут речь идет о технике. Это цвет свечения приборов. Видите ли, свечение должно быть красным. В обычных условиях оно зеленое и белое, но зеленый и белый свет убивает ночное зрение. Не

дает ничего разглядеть. Нет, свечение должно быть красным: красный — единственно нужный цвет. Понимаете, там, наверху, все черное и красное. Тьма — черная, аэроплан — черный, а в кабине все светится красным, отчего даже руки и лицо становятся красными, и ты высматриваешь красный выхлоп. К тому же ты один как перст. И это хорошо. Выполняешь одиночный полет — летишь во Францию. Как раз в то время, когда вражеские бомбардировщики возвращаются с заданий, отбомбившись над нашей территорией. Ты кружишь над каким-нибудь их аэродромом, а то и болтаешься между двумя, если они близко расположены. Выжидаешь, пока загорятся посадочные огни; а иногда, возможно, ориентируешься по навигационным огням. Обычно это «хейнкель» или «дорнье». Но, бывало, и случайный «фокке-вульф» подворачивался. И твоя задача такова. — Проссер коротко фыркнул. — Перед посадкой они всегда делали круг. Вот таким манером: снижение, подлет, вход в зону аэродрома, выполнение левого круга, всегда левого, опять подлет и посадка. — Правой рукой Проссер очерчивал траекторию немецкого бомбардировщика. — Что тут можно сделать, если хватит наглости: подлететь примерно в то же

время и затем, когда он уходит на левый круг, выполнить правый. — Второй рукой Проссер прочертил траекторию «харрикейна». — Затем, когда он выходит из своего круга с опущенными закрылками, на скорости чуть выше критической и прикидывает, как выполнить последний этап поворота и безопасно посадить свой сундук, ты, как черт из табакерки, аккурат выходишь из своего круга.

Округленные руки Проссера остановились одна против другой.

— Бах. Легкая цель. Поезд ушел. А эти сукины дети думали, что благополучно добрались до дома. Отстрел дичи, вот как это у нас называлось. Браконьерство.

Джин была до некоторой степени польщена, что он ей рассказывает о своих летных подвигах, но виду не подавала. Умолчала и о своем отношении к отстрелу дичи. И не важно, что в «хейнкеле» сидели бесчестные негодяи, возвращавшиеся после бомбардировки Лондона, Ковентри или других городов. Охоту она не одобряла с тех пор, как впервые увидела офорты тети Эвелин, изображающие охотников на норку. Правильно сделали родители, что перевесили их в каморку Проссера. А цеплялся ли за жизнь

«хейнкель»?

— Как только ты его сбил — проваливай. Замешкаешься — останется от тебя мокрое место. В любом случае на все про все было минут двадцать.

Вроде бы рассказ Проссера подходил к концу; потом он вдруг припомнил основное, что намеревался ей поведать.

— Ну так вот. Однажды ночью мне не везло. По нулям. Ну, делать нечего. Перелетел через Ла-Манш на большей, чем обычно, высоте, тысяч примерно восемнадцать[2]. Не иначе как уже светало. Видимо, ночи еще шли на убыль. Ну так вот. Лечу, смотрю вдоль Ла-Манша, а солнце только-только встает. И такое было утро — из тех, что… ну, это трудно описать, если своими глазами не видел.

— Я летала на «де хэвилленде», когда лечилась от коклюша, — объявила она с немалой гордостью. — Давно еще. Когда мне было лет восемь-девять.

Проссер не обиделся, что его перебили.

— Такое ясное, что не описать словами. В утреннем воздухе ни облачка, ни ветерка — и встает

---

[2] Сноски: 2
В футах — т. е. около 5500 м.

это гигантское оранжевое солнце. Я глаз отвести не мог; через пару минут оно появилось целиком и уселось этаким кровавым апельсинищем, довольное собой, в коктейль из морских волн. Я настолько обалдел, что, сядь мне на хвост сто девятый, я бы даже не заметил. Лечу себе медленно, глядя на солнце. Потом все же прищурился, осмотрелся как положено. Кругом ни души — только мы с солнцем. Ни облачка, весь Ла-Манш как на ладони. Потом вижу — пароход: крошечное пятнышко, а над ним черный дым тучей поднимается; ну, проверил я топливо и пошел на снижение — глянуть, что там творится. Присмотрелся — сухогруз. — От этих воспоминаний Проссер сощурился. — Водоизмещением, навскидку, тысяч десять тонн. Короче, ничего страшного там не случилось. Повернул я на базу. Снизился до высоты этак восьми или девяти тысяч. А дальше… нипочем не догадаетесь. Понимаете, снижался я так быстро, что увидел все сызнова: как это огромное кровавое солнце выползает из-за горизонта. Я глазам своим не поверил. Опять все сначала. Как будто для меня заново кино крутили. Я бы и в третий раз глянул и прибыл домой на честном слове, да только грохнулся в этот коктейль. Не рассчитывал так

скоро к ребятам-подводникам наведаться.

— Потрясающе. — Джин была не уверена, что вправе задавать вопросы. Чем-то этот рассказ напомнил ей об их с дядей Лесли приключениях в Старом Зеленом Раю. — А чего еще… чего еще вам недостает?

— Уж всяко не *этого*, — грубовато ответил он. — Этого мне *хватило*. Кто увидит такое заново, у того нет будущего. Это ведь чудо, разве нет? Кому охота глазеть на чудеса по второму разу? Просто я рад был увидеть то, что увидел. Потом говорю своим: «Да-да, в то утро я дважды наблюдал восход». А они мне: «Ври, да не завирайся». Потом так и звали меня: Восход Проссер. Не все, конечно. Пока нас не расформировали.

Он вскочил и с жадностью, не спросив разрешения, умял оставшуюся на ее тарелке половину бутерброда.

— Чего мне *недостает*, — с нажимом произнес он, — если хотите знать, так это охоты на немцев. Мне в кайф было их убивать. Загонял их к земле, пока не окажутся слишком низко, чтобы выброситься с парашютом, и в воздухе приканчивал. Вот где самая радость. — Проссер, похоже, твердо вознамерился изображать свирепость. — Однажды над Ла-Маншем сцепился я со сто девятым.

У него повороты получались более резкими, но силы у нас были практически равны. Мы ненадолго схлестнулись, но на самом деле ни один не мог подобраться ближе к другому, чтобы нажать на гашетку. Чуток погодя он оторвался, покачал крыльями и направился к себе на базу. Если бы он не покачал крыльями, я бы так сильно не разозлился. Кто ты, собственно, такой? Рыцарь в доспехах нашелся. Закадычный дружбан и компанейский товарищ. Набрал я чуть высоты. Солнца, чтобы сориентироваться, не было, но этот гад, видимо, и не ожидал, что я буду его преследовать. Думал, наверно, что я, рубаха-парень, полечу домой, набью брюхо и сыграю партию в гольф. Постепенно стал я его нагонять, — то ли он горючку растягивал, то ли еще что. Прошу заметить, к тому времени, как я с ним поравнялся, мою машину уже трясло, как товарняк на ухабах. Дал ему секунд восемь. Видел, как у него от крыла куски отваливаются. Сбивать его не стал, а зря; но, думаю, он понял, что я о нем думаю.

Восход Проссер развернулся и затопал прочь из кухни. Джин вытащила застрявший между зубами кусочек стебля и пожевала. Она оказалась права. На вкус действительно горечь.

После того случая Проссер пристрастился спус-

каться из своей каморки и заводить разговоры. Обычно Джин продолжала свои хлопоты, а он стоял, прислонившись к дверному косяку. Им обоим казалось, что это упрощает беседу.

— Занесло меня как-то в Истли, — однажды начал он, когда Джин, присев на корточки перед камином, сворачивала для растопки газету «Экспресс». — Смотрю — взлетает малыш «скуа». Немного ветрено, но не так чтобы отменять полеты и вообще. «Скуа» — едва ли вам это известно — взлетает смешно, как бы с опущенным хвостом; ну, думаю, погляжу, хотя бы взбодрюсь чуток. Так вот, разогнался он по прямой полосе и уже набирал взлетную скорость, как вдруг подскочил, а затем кувырнулся. Обалдеть, как это выглядело: шлепнулся просто вверх днищем. Несколько наших парней бросились через гудрон — хотя бы, думали, ребят вытащить. На полпути смотрим — валяется что-то на полосе. Оказалось, это голова летчика. — Проссер посмотрел на Джин, но та, повернувшись к нему спиной, продолжала сворачивать газетную бумагу. — Подходим ближе — а там еще одна. Наверно, когда «скуа» опрокинулся, тогда это и произошло. Да так аккуратно — вы не поверите. Один из наших парней не смог этого пережить. Валлиец; ни о чем другом не загова-

ривал. «Прямо как одуванчики, скажи, Восход, правда ведь? — говорил он мне. — Идешь — и сшибаешь головки палкой, или чем получится, а сам думаешь: если я и впрямь такой ловкий, так сумею их посшибать, не задев пух». Вот такие у него были мысли. Те, что не отпускают… ты их не ждешь. У меня были товарищи, которых подстрелили в считаных ярдах от меня. Я видел, как они уходят в штопор, орал им по рации, знал, что они не смогут выброситься с парашютом, и пикировал за ними следом, видел, как они гибнут, а в голове крутилось: надо думать, и меня кто-нибудь проводит в последний путь, когда настанет мой черед. В момент катастрофы тебя потрясает происходящее и некоторое время душит, но потом отпускает. Не отпускают тебя только те случаи, в которых, к чертовой матери, попрано всякое достоинство. Прости, друг. Мне надо это осознать, думаешь ты, и порой худо-бедно свыкаешься с этой мыслью; но все равно хочешь, чтобы все шло так, как тебе думается. Казалось бы, это уже не важно. Ан нет. Еще как важно… Слыхал я об одном бедолаге из Касл-Бромвича. Он испытывал «спитфайр». Взлетел, направил нос вверх и стал максимально круто набирать высоту. Поднялся примерно до пятнадцати тысяч, но

что-то пошло не так. Рухнул с пятнадцати тысяч прямо на полосу, с которой взлетал. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы выкопать. Потом стали разбираться, что от него осталось — на тот случай, если в подаче кислорода был, например, угарный газ; короче, собрали все останки, чтобы отправить на экспертизу. Причем отправили *в банке из-под конфет.* — Он задумался. — Вот в чем ужас.

Джин не могла полностью уловить, в чем именно заключался ужас. Головки одуванчиков, банки из-под конфет — конечно, все это виделось недостойным. Возможно, потому, что звучало как-то обыденно, совсем не героически. Но ведь быть сбитым, или врезаться в горный склон, или заживо сгореть в кабине тоже не слишком привлекательно и благородно. Наверное, она слишком молода, чтобы рассуждать о смерти или о связанных с нею предрассудках.

— И как лучше всего… встретить такой миг?

— Раньше я постоянно об этом думал. Постоянно. Когда началась эта заваруха, я обычно воображал себя где-то около Дувра. Солнце, чайки, отблески древних меловых скал — прямо как у Веры Линн. Так или иначе, я тоже мог бы остаться там без боеприпасов, с пустыми топливными

баками — и вдруг налетает целая эскадрилья «хейнкелей». Как огромный рой мух. Я бы пошел на перехват, вклинился прямо в их гущу с пробитым в решето фюзеляжем, выбрал ведущего ударной группы, подлетел прямиком к нему и врезался ему в хвост. И мы бы вместе рухнули на землю. Очень романтично.

— Для этого требуется смелость.

— Нет, смелость ни при чем. Это жуткая глупость и к тому же расточительность. Счет один-один — никудышное соотношение.

— И даже сегодня так считается? — Джин сама немного удивилась своему вопросу.

— Ну, сегодня… Сегодня мы несколько более реалистичны. И несколько более расточительны. Сегодня я бы последовал примеру довольно большого числа летчиков, особенно молодых, которые летали еще году в тридцать девятом — сороковом. Надо заметить, что есть такие парадоксы. Ты не можешь набраться мастерства, не набравшись опыта, но, пока ты набираешься опыта, тебя с большой вероятностью собьют. И самых молодых пареньков ты рискуешь не увидеть после вылета. Поэтому на войне в эскадрильях случается так, что старослужащие становятся старше, а молодые — моложе. Затем некоторых

стариков оттесняют, поскольку они слишком ценны, чтобы их потерять, и все заканчивается тем, что опыта у тебя становится меньше, чем было вначале. Ну так вот. Представьте, что вы — там, наверху, реально высоко. Когда поднимаешься выше двадцати пяти тысяч, попадаешь словно бы в другой мир. Во-первых, там жуткий колотун; да и машина ведет себя по-иному. Медленнее набирает высоту и скользит по небу, потому как воздух сильно разрежен, и винтам не за что ухватиться, и управление чуток буксует. Потом у тебя начинает запотевать оргстекло, и обзор становится хуже. Опыт боевых вылетов у тебя невелик, и набирать высоту слегка боязно. Поднимаешься прямо к солнцу — тебе кажется, что так безопаснее. Там наверху оно гораздо ярче, чем обычно. В вышине все гораздо ярче. Прикладываешь ладонь козырьком, слегка разводишь пальцы и щуришься. Продолжаешь набирать высоту. Сквозь пальцы смотришь на солнце, не отводя взгляд, и замечаешь, что чем ближе подлетаешь к нему, тем тебе холоднее. Ты должен был бы по этому поводу забеспокоиться, но этого не происходит. Не происходит потому, что тебе радостно. А радостно тебе по причине крошечной утечки кислорода. Тебе даже в голову

не приходит, что тут какой-то подвох; да, реакции замедляются, но ты считаешь, что это нормально. Потом ты слегка слабеешь; не крутишь головой так часто, как надо бы. У тебя ничего не болит, ты даже не ощущаешь холода. Больше не хочешь никого убивать: это чувство утекало вместе с кислородом. Ты чувствуешь себя *счастливым. А потом — одно из двух.* Либо на тебя со вспышкой и шквалом пламени обрушивается сто девятый, и все заканчивается, как по нотам. Или вообще ничего не происходит, и ты продолжаешь набирать высоту через разреженный голубой воздух, неотрывно глядя на солнце сквозь пальцы; орг-стекло заиндевело, но внутри тепло, уютно, и ни одной мысли в голове, пока рука не упадет тебе на колени, а голова — на грудь, но ты даже не замечаешь, что тебе каюк…

Как прикажете на это реагировать? — подумала Джин. Нельзя же заорать «Постойте!», как будто Проссер, стоя на парапете, собирается покончить с собой. Нельзя с чистой совестью признать, что это был смелый и красивый рассказ, пусть даже тебе он показался именно таким. Нужно просто выждать — и пусть рассказывает дальше.

— Иногда мне думается, что не надо меня больше допускать к полетам. Я же вижу, что в

один прекрасный день смогу что-нибудь этакое выкинуть. Как только почувствую, что сыт по горло. Конечно, надо будет сделать это над морем, иначе, не ровен час, грохнешься в чей-нибудь огород. Как после этого хозяева будут «копать во имя победы»?

— Это немыслимо.

— Вот именно что немыслимо.

— А… кроме того… вы еще не налетались… — Джин задумывала эту фразу как осторожный вопрос, но в середине, похоже, запаниковала: получилось высокомерно и категорично.

В ответ Проссер сменил тон на более жесткий:

— Ну, вы, милая девушка, хорошая слушательница, это правда, но не смыслите ни бельмеса. Ни бельмеса не смыслите.

— По крайней мере, я знаю, что ничего не смыслю, — сказала Джин, к своему изрядному удивлению; и к его удивлению тоже, потому что его тон сразу смягчился. Он продолжил, будто в забытьи:

— Там, наверху, действительно все иначе. То есть, когда налетал с мое, к тебе на какую-то минуту внезапно приходит осознание, что ты сыт по горло. Надо понимать, это нервы: ты очень долго был в напряжении, а потом слегка расслабился

— и ощущение такое, будто это насовсем. Если хотите послушать курьезные истории, вам стоит пообщаться с кем-нибудь из ребят с «летающей лодки».

Хотела ли она послушать курьезные истории? Если про банки из-под конфет или про головки одуванчиков, то нет. Но Проссер не оставил ей выбора.

— Один мой приятель летал на «каталинах». Там боевые дежурства могут длиться от двадцати до двадцати двух часов кряду. Подъем в полночь, завтрак, вылет в два часа ночи и возвращение только в восемь или девять вечера. Наматывают часы над одним и тем же участком моря: какие уж там ощущения… Даже управлять не надо: почти все время «Джордж» ведет. А ты знай таращишься на море, высматривая подлодки, и ждешь очередной заварухи. Вот тогда-то твои глаза и начинают играть с тобой всякие шутки. Тот мой дружбан рассказывал, как однажды летал над Атлантикой и ни с того ни с сего резко взял штурвал на себя. Померещилось ему, что впереди гора.

— Наверно, это было такое облако — с виду как гора.

— Нет. После того как он выровнялся, а экипаж с досады обматерил его на все лады, ему удалось

как следует оглядеться. Ничего: ни облачка, небо совершенно ясное… А с другим парнем приключилось нечто еще более диковинное. Нипочем не догадаетесь. Находился он в ста пятидесяти милях от западного побережья Ирландии. Летит — не торопится, смотрит вниз — и что он видит? Видит какого-то мотоциклиста: тот едет себе не спеша, как на воскресную прогулку.

— По воздуху?

— Конечно нет. Не глупите. По воздуху ехать невозможно. Двигался он по гребням волн; все чин чинарем. Очки, кожаные перчатки с крагами, сзади шлейф выхлопных газов. И довольный, как слон.

Джин захихикала:

— По морю, как по суху. Иисус, да и только.

— Я бы попросил: вот этого не надо, — с упреком выговорил Проссер. — Сам я в этом смысле без фанатизма, но не богохульствуйте в присутствии тех, кого это может покоробить.

— Прошу прощения.

— Принято.

* * *

— А вы кто?

— Я полицейский.

— Честно?

— Да.

— Правда-правда? Вы не похожи на полицейского.

— Нам приходится умело маскироваться, мисс.

— Но если переусердствовать, никто не поверит, что вы полицейский.

— Распознать всегда можно.

— Каким образом?

— Подойдите ближе — я покажу.

Он стоял у пропитанной креозотом парадной калитки с резным навершием в виде восходящего солнца; Джин оказалась на середине бетонированной дорожки — шла пощупать развешенное на веревке белье. Рослый, с мощной головой и с шеей школьника, стоял он в какой-то неловкой позе; коричневое пальто в елочку доходило ему почти до щиколоток.

— Ноги, — сказал он, указывая вниз.

Она посмотрела. Нет, ступни были не великанские, а, можно сказать, плоские и даже небольшого размера. Но что-то в них ее слегка рассмешило… Вывернутые какие-то, что ли? Да, в самом деле: мыски ботинок смотрели в разные стороны.

— Вы надели ботинки не на ту ногу? — спроси-

ла она, хотя это было почти очевидно.

— Вовсе нет, мисс. У всех полицейских такие ступни. Это предусмотрено уставом.

Она готова была поверить.

— Кое-кому из новобранцев, — голос его наводил на мысли о сырых застенках, — требуется *оперативное вмешательство.*

Тут уж она не поверила. И рассмеялась, а потом еще раз, когда он под своим долгополым пальто театрально вернул скрещенные ноги в нормальное положение.

— Вы пришли меня арестовать?

— Я пришел по поводу светомаскировки.

Оглядываясь назад, она думала, что это был довольно эксцентричный случай знакомства с будущим мужем. Но бывают и более эксцентричные, предполагала она. А в сравнении с иными способами — едва ли не многообещающий.

Потом он еще раз зашел по поводу светомаскировки. А в третий раз просто случайно проходил мимо.

— Не желаете ли сходить в паб — тут рукой подать, или прогуляться до чайной, или съездить познакомиться с моими родителями?

Она рассмеялась:

— Надо думать, один из этих вариантов устроит

мою маму.

Так и вышло; они стали видеться чаще. Она обнаружила, что глаза у него темно-карие, что он высок ростом и слегка непредсказуем; но главное — высокий. Он обнаружил, что она нерешительна, доверчива и простодушна на грани предосудительного.

— Разве нельзя это подсластить? — спросила она, впервые отведав смесь мягкого и горького эля.

— Извини, — ответил он, — совсем забыл. Лучше закажу для тебя что-нибудь другое.

В следующий раз он вновь заказал ей порцию мягкого и горького эля, а потом вручил скрученную фунтиком бумажку. Всыпав сахар в свой стакан, она вскрикнула: пиво вспенилось и хлынуло через край; она облилась и соскочила с табурета.

— Верный способ поднять настроение, правда, сэр? — сказал, вытирая стойку, бармен.

Майкл рассмеялся. Джин смутилась. Он подумал, что она дуреха, разве не так? А уж бармен — тот определенно решил, что она дуреха.

— А знаешь ли ты, сколько бутербродов взял с собой Линдберг, когда совершал перелет через Атлантику?

Майкл опешил и от ее внезапно прорезавшегося властного тона, и — не меньше — от сути вопроса. Видимо, это была загадка. Да, наверняка; ему оставалось лишь послушно ответить:

— Не знаю. Сколько же *конкретно* бутербродов взял с собой Линдберг, когда летел через Атлантику?

— Пять, — многозначительно сказала она, — но съел только полтора.

— Так-так. — Ничего другого ему не пришло в голову.

— А как ты думаешь, почему он съел только полтора? — спросила она.

Наверное, это все-таки загадка.

— Не знаю. *Почему же* он съел только полтора?

— Понятия не имею.

— Ну и ну.

— Я подумала: вдруг *ты* знаешь, — разочарованно выговорила она.

— Вероятно, он съел только полтора по той причине, что они были куплены в минимаркете «Эй-би-си» и оказались черствыми.

Оба рассмеялись — в основном от облегчения, что разговор не увял окончательно.

Вскоре у Джин появились основания полагать,

что она его любит. Ну а как же иначе? Она все время о нем думала; по ночам лежала без сна и предавалась разным фантазиям; ей нравилось разглядывать его лицо, на удивление полнокровное, интересное и мудрое, но совсем не мясистое, как ей показалось вначале, а эти красные пятна на щеках — свидетельство сильного характера; она немного побаивалась вызвать его неудовольствие; и ценила его, поскольку видела в нем надежного и заботливого спутника жизни, того самого мужчину, который будет о ней заботиться. Если это не любовь, то что же?

Однажды вечером он провожал ее домой под высоким спокойным небом — под небом без облаков и без аэропланов. Тихонько, будто бы для себя, он напевал с присущим ему ненавязчивым американским акцентом известного шансонье:

Орел – это будет к венчанью,
Решка – поманит в круиз.
Нам выпал орел неслучайно,
Откроем родным наш сюрприз.

Дальше он просто мурлыкал этот мотив, но ей чудились все те же слова. А вскоре они вернулись к пропитанной креозотом калитке с резьбой, и Джин плотно прижалась к лацкану его пиджа-

ка, прежде чем отстраниться и убежать в дом. Возможно, таким способом она к нему бессовестно приставала, как делал в свое время дядюшка Лесли. Напев тот же мотив про себя, она словно хотела прояснить ситуацию, но все напрасно: это была всего-навсего чудесная мелодия.

На следующий вечер, когда они дошли до того же места в переулке и небо оказалось таким же нежным, она обнаружила, что почти задыхается. Не сбиваясь с ритма своей размашистой походки, Майкл завел старую песню:

Орел – значит будут детишки.
Решка – мы купим кота.
Нам выпал орел, о малышка,
Бедлам, шум и гам, суета.

Она не нашлась с ответом. У нее не получалось собраться с мыслями.

— Майкл, хочу тебя кое о чем спросить.

— Да? — Они остановились.

— Когда ты в первый раз сюда пришел… Ведь никаких изъянов светомаскировки у нас не было?

— Ну, не было.

— Я так и знала… А дальше ты стал кормить меня этими враками про ступни полисменов.

— Каюсь, виноват.

– *А кроме того,* ты мне даже не сказал, что сахар в пиво не кладут.

— Не сказал, мэм.

— Так с какой радости мне выходить за такого пустозвона?

Она умолкла. Придумывая ответ, он взял ее под руку.

— Допустим, заявился бы я к тебе домой и сказал: «Хочу сообщить: шторы затемнения подогнаны у вас идеально, а ступни у меня, между прочим, совершенно нормальные — извольте убедиться», — да ты бы смотреть в мою сторону не стала.

— Возможно.

Он обхватил ее обеими руками:

— И раз уж мы начали выяснять отношения, хочу еще кое-что уточнить.

Едва заметно подавшись вперед, он будто готовился ее поцеловать, но она не поддавалась. Пусть это была всего лишь детская иллюзия, но ее не покидало смутное ощущение, что перед вступлением во взрослую жизнь необходимо устранить все недомолвки.

— Почему норка до последнего цепляется за жизнь?

— Очередная загадка?

— Нет. Просто хочу понять.

— Почему норка до последнего цепляется за жизнь? Странный вопрос.

Они пошли дальше; он заключил, что она просто уклоняется от его поцелуев.

— Норки — отвратные, злобные мелкие твари, — объявил он, не вполне довольный своим ответом.

— И по этой причине цепляются за жизнь?

— Скорее всего. Отвратные, злобные мелкие твари обычно борются за жизнь куда яростней, чем крупные, мягкие создания.

— Хм…

Джин рассчитывала услышать несколько иной ответ. Более определенный. Но до поры до времени удовлетворилась и этим. Они не останавливались. Взглянув на небо, высокое и безмятежное, с редкими, легкими стайками вечерних облаков, она спросила:

— Ну так что: скоро ли свадьба?

Он улыбнулся, покивал и замурлыкал свой привычный мотив.

Наверно, любить Майкла — это правильно. А если и неправильно, то придется. И даже без любви придется за него выйти. Нет-нет, она, конечно же,

его любит, и, конечно же, это правильно. Майкл — вот ответ, и не важно, каков был вопрос.

Ухажеров у нее было не так уж много, но она не расстраивалась. В слове «ухажер», на ее слух, звучало нечто настолько дурацкое, что сами ухажеры тоже начали казаться ей придурковатыми. Где-то она не то вычитала, не то услышала такую фразу: «Он за собой ухаживает» — и с тех пор считала, что всех ухажеров отличает именно такая черта. Неужели их потому и прозвали ухажерами, что они уделяют все внимание уходу за собой? Ее всегда влекло к умным мужчинам, а не к самовлюбленным.

Для сравнения она мысленно выстроила перед собой мужчин, с которыми общалась. Наверное, мужчин можно разделить на тех, у кого есть задатки ухажеров, и на тех, у кого есть задатки супругов. Как ухажеры, Лесли и Томми Проссер, наверное, неплохи, но стоит ли с такими связывать свою судьбу? Они слегка беспутны, и полагаться на их миропонимание, вероятно, не следует. Зато такие, как папа и Майкл, судя по всему, изначально созданы для супружества. И на себе не зацикливаются, и обеими ногами стоят на земле. Вот, к слову, дополнительный критерий для сравнения мужчин: одни обеими ногами

стоят на земле, а другие витают в облаках. Майкл при первом же знакомстве привлек ее внимание к своим ногам: ступни, хотя и развернутые не пойми как, на земле стояли прочно.

Этот новый критерий вполне подходил для описания четверки знакомых ей мужчин. Ни с того ни с сего ей представилось, как она целуется с Томми Проссером, и при одной мысли о его усах ее пробрал озноб: как-то раз она потренировалась на зубной щетке, и худшие страхи ее подтвердились. Что до Майкла — тот был на голову выше остальных и демонстрировал Перспективы Дальнейшего Роста (ее мама всегда маркировала это выражение прописными буквами). Под своим необъятным пальто Майкл, по мнению Джин, всегда был одет весьма посредственно; впрочем, после войны она планировала это исправить. Ведь женщины в супружестве тем и занимаются, правда? Избавляют мужчин от врожденных недостатков и пороков. Да, с улыбкой думала она, *у меня* он живо отучится ухаживать за своей персоной.

Для такой уверенности у нее были все основания. И если это не любовь, то что же? А он-то любит ее? Конечно. И повторяет это каждый раз, когда они целуются на прощанье. К тому же

папа всегда говорил, что полицейские — люди надежные.

Майкла бесил только один предмет разговора: Томми Проссер. Возможно, по ее вине. Она и впрямь часто заводила беседу о Томми, но это же было естественно, правда? Днями напролет она сидела в четырех стенах, и Томми нередко оказывался рядом. Когда за ней заходил Майкл и спрашивал, что она поделывала… неужели ему было бы интересно выслушивать, как она чистила духовку и развешивала белье? Вот она и делилась с ним байками Томми Проссера, а однажды спросила, знает ли он, что такое бутерброд «Отбой воздушной тревоги».

— Вечно ты со своими бутербродами, — бросил Майкл. — Надо же: *бутерброды.*

— Эти — с одуванчиками.

— Отрава какая.

— Да, не слишком аппетитно.

— Он себе на уме, вот что меня настораживает. Никогда в лицо не смотрит. Вечно отворачивается. А я привык иметь дело с теми, кто не прячет глаза.

— Он не такой рослый, как ты.

— При чем тут рост, глупышка?

— Ну, может, он из-за этого и не смотрит тебе

в лицо.

— Рост вообще не имеет отношения к делу.

Ну да ладно. По крайней мере, ей хватало ума не заикаться, что Проссер отстранен от полетов, хотя между супругами тайн быть не должно. И еще она утаила его прозвище: Восход.

Проссер же совсем не бесился, когда она заводила разговоры о Майкле, притом что не всегда разделял ее восторги.

— Сгодится и такой, — неизменно отвечал он.

— Вы и вправду думаете, Томми, что это стоящий вариант?

— Неплохой, душечка. Я так скажу: он-то уж точно не прогадает.

— Но вы ведь женаты? И счастливы?

— Слишком редко бываю дома, чтобы делать такие выводы.

— Да, наверное. Но вам в самом деле нравится Майкл?

— Сгодится и такой. Не мне же с ним под венец идти.

— И он рослый, правда?

— Вполне.

— Скажите честно: вы согласны, что из него получится отличный супруг?

— Единожды обжечься полезно. Только смот-

рите не обожгитесь дважды.

Она толком не знала, как это понимать, но все равно сильно рассердилась на Томми Проссера.

* * *

Миссис Барретт, одна из самых деловитых и современных женщин у них в пригороде, заглянула к Джин, подгадав, чтобы та была дома одна, и вручила ей небольшой пакет.

— Мне-то теперь это без надобности, дорогуша, — только и сказала она.

Потом, уже в постели, Джин развернула оберточную бумагу и увидела книжку в бордовом тканевом переплете — советы новобрачным. В самом начале помещался список книг авторши. Из-под ее пера вышли «Флора мелового периода» (в двух томах), «Растения древнего мира», «Очерк жизни растений», «Японский дневник», а также пьеса в трех актах «Наши страусы» и с десяток изданий под рубрикой «Сексология». Одна из них именовалась «Первые пять тысяч». Первые пять тысяч *чего?*

Джин не вполне понимала, как подступиться к этой книге и стоит ли вообще это делать. Не лучше ли выведать такие подробности у Майкла? Уж он-то наверняка знает, что к чему? Или нет?

Подобных материй они никогда не касались. Достаточно, если мужчина разбирается в этих делах, а откуда у него такие сведения — женщине лучше не знать. И Джин относилась к этому спокойно: глупо было бы копаться в прошлой жизни Майкла. Та жизнь осталась далеко позади — в довоенном времени. Тут ей в голову скользнуло, как вампир в дверь, слово «проститутка». Ну да, мужчина посещает проституток, чтобы дать выход своим животным страстям, а потом находит себе порядочную жену; так уж заведено, разве нет? Обязательно ли ездить в Лондон, чтобы посещать проституток? Наверное, да. По ее мнению, чуть ли не все гадости, связанные с сексом, происходили в Лондоне.

В тот вечер она лишь небрежно полистала книгу, даже не остановившись на главе «Сон. Дети. Общество» и на «Приложении». Такой просмотр не считался чтением. И все же со страниц слетали какие-то выражения, которые, подобно чертополоху, липли к фланелевой ночной сорочке. Одни смешили, другие отпугивали. Раз за разом повторялось слово «эрегированный», а еще «оргазм». Ей претило уже одно их звучание. «Увеличенный и напряженный», — читала она; «увлажненный слизью», «возбужденный», да-

лее «мягкий, небольшого размера, вялый» (фу!); «несоответствие размеров и позиций половых органов»; «неполная абсорбция мужских выделений»; «вагинизм».

В конце книги рекламировался поставленный по пьесе «Наши страусы» спектакль, «премьера которого состоялась в театре „Ройял-Корт“ 14.11.1923 г.». По мнению журнала «Панч», эта постановка искрилась «иронией и юмором в блестящем сценическом воплощении». Газета «Санди таймс» сочла, что «действие вызывает у зрителя неослабевающее возбуждение». Джин невольно захихикала и тут же устыдилась. Что за грязные мыслишки? Но тут же фыркнула повторно, вообразив аналогичную рецензию со словами: «…предельно напряженный».

О книге, полученной от миссис Барретт, Джин рассказала Майклу на прогулке.

— Удачно, — пробормотал он, отводя глаза. — Я и сам над этим раздумывал.

Чтобы расспросить его о проститутках, она долго собиралась с духом, но в этом месте улицы он всегда мурлыкал свою мелодию, и Джин решила, что выбрала неподходящий момент. И все же Майкл, несомненно, счел, что такой источник будет ей полезен, а потому вечером она уже

более целенаправленно взялась за эту книгу. Ее поразило, как часто слово «секс» тянется к другим словам: «секс-просвещение», «секс-символ», «секс-шоп», «секс-бомба», «секс-услуги». И всюду мельтешат дефисы. Секс-дефисы, подумалось ей.

Она пыталась сосредоточиться, но все равно многое оставалось непонятным. Авторша самодовольно заявляла, что пишет простым и доходчивым языком, но Джин запуталась почти сразу. У нее не возникало особого желания читать то, что выхватывал глаз, — про «энергетические каркасы» и «трещину в лютне». А как прикажете понимать то, что «клитор морфологически коррелирует с мужским пенисом»? Занятные истории можно было пересчитать по пальцам. «Екатерина Арагонская постановила, что в законном браке надлежит совершать шесть актов ежесуточно. В наше время столь гиперсексуальная особа наверняка заездила бы до смерти с десяток законных мужей…» Это еще куда ни шло.

Даже те разделы, которые Джин понимала без труда, не подтверждались ее личным опытом. «В настоящее время город с его метрополитеном и кинотеатрами предоставляет меньше возможностей для мирного романтического флирта, — читала она, — нежели сады и кущи

прошлого, где сбор лаванды или розмарина мог служить трогательным предлогом для неторопливого возбуждения глубокой взаимной страсти». Спору нет: на их с Майклом долю выпало военное лихолетье, но их отношения развивались, скорее, как в городе, ибо звать ее на сбор лаванды он определенно не спешил. Да и она с ходу не смогла бы ответить, где у них в пригороде растет лаванда. И почему названы только кустарники? Чем плохи цветы?

Далее: в тексте упоминалась какая-то «периодичность повторений» — нечто вроде графика, который показывает, как нарастает и угасает влечение у женщин в течение месяца. Графиков было два. Один значился как «Кривая нормального влечения у здоровых женщин», а второй показывал «Слабость и краткость возбуждения у женщин, страдающих от утомляемости и перегрузок». В конце второго графика уровень потенциального желания резко взмывал вверх и обрушивался вниз, как мячик для пинг-понга на струе фонтана. В пояснительных строках говорилось: «Непосредственно в преддверии, а также на протяжении пика „d“ повышение тонуса объекта наблюдения достигалось за счет воздействия горного воздуха».

И наконец, в разделе «Целомудренность и романтика» ей попался на глаза такой совет: «Маневрируйте. Избегайте всего низменного, тривиального, грубого. Насколько возможно, старайтесь подпускать к себе мужа лишь в те моменты, когда близость сулит наслаждение. Если позволяет материальная обеспеченность, мужу и жене рекомендуется иметь отдельные спальни. При отсутствии указанной возможности общую спальню целесообразно разделить ширмой».

На следующем свидании с Майклом она задала ему три вопроса.

— Что такое «морфологически»?

— Сдаюсь. Это как-то связано с бутербродами?

— Тебя никогда не тянуло нарвать лаванды и розмарина?

Он покосился на нее чуть серьезнее:

— Ветер дует с Коуни-Хэтч, как я понимаю?

— А можно, чтобы у нас у каждого была отдельная спальня?

— Вот так неожиданность! Я ведь, милая моя, еще пальцем к тебе не притронулся.

— Но ты же должен быть охотником, который грезит о нежданной встрече с Дианой.

— Падкой до лаванды и розмарина?

— Возможно.

— Ну, тогда мне проще завести лошаденку. — Они дружно посмеялись, и Майкл добавил: — А вообще говоря, зачем мне Диана в лесной чаще, когда у меня есть Джин за живой изгородью?

В тот вечер она убрала книгу с глаз долой. Ничего полезного в ней не было — всякая чепуха.

Прошло три дня, и Майкл как бы мимоходом сообщил:

— Да, кстати. Записал тебя на прием.

— К кому?

— Да к одной там, в Лондоне. Она, похоже, свое дело знает. О ней хорошие отзывы.

— А она, случайно… не стоматолог?

— Нет. — Он отвел глаза. — Пусть она тебя… так сказать… осмотрит.

— А мне требуется осмотр? — Джин не столько обиделась, сколько удивилась. Видимо, осмотр требовался всем. — И если обнаружится дефект, вернешь меня по месту приобретения?

— Нет-нет, милая, это совсем другое. — Он взял ее за руку. — Это… ну… Просто… для женщин обязательно. То есть с недавних пор это обязательно.

— Никогда не слышала, чтобы женщин возили в Лондон на осмотр. — Джин всерьез рассердилась. — Как, интересно знать, обходилась

пригородная публика, пока не было железных дорог?

— Это не то, что ты подумала, милая моя, то есть не только это. Ну… еще по поводу детишек и прочего.

Теперь настал ее черед отвести глаза. Господи, подумала она. Разве не на мужчине лежит вся ответственность? Разве не это подразумевалось под «ответственностью» в той книге? Внезапно ей в голову полезли другие слова. «Эрегированный», и «трещина в лютне», и «увлажненный слизью». Вся эта тема казалась совершенно кошмарной.

— А разве мы не можем быть просто друзьями? — спросила она.

— Мы *уже* друзья. Потому мы и женимся. В браке мы останемся друзьями, но будем… женаты. Вот и все.

— Я поняла.

На самом деле она ничего не поняла. Ей стало дурно.

— А если я окажусь с дефектом, ты отвезешь меня подышать горным воздухом? — спросила она.

— Сразу же, как только позволит рядовой Гитлер, — пообещал он. — Как только позволит рядовой Гитлер.

Из доктора Хедли получился бы замечатель-

ный стоматолог, подумала Джин. Оживленная и компетентная, разносторонняя и красноречивая, приветливая и жутко страхолюдная. На ней был белый халат, накинутый поверх костюма, похожего на офицерскую форму. Усадив Джин на кушетку, она принялась заговаривать ей зубы досужей болтовней о Лондонском блице.

Джин сочла эту методику неуместной и внезапно напомнила:

— Я пришла на осмотр.

— Ну разумеется. Осмотр у нас будет сегодня, а примерка — на следующей неделе. Я убедилась, что девочки в большинстве своем обычно не торопятся.

— Понимаю.

Какая еще примерка? Боже!

Тут доктор Хедли начала задавать вопросы про Джин и Майкла, и некоторые из них, на первый взгляд, совершенно не относились к делу.

— А что ты знаешь о половом акте? Скажи откровенно.

Джин упомянула книгу в бордовом тканевом переплете, написанную женщиной, чья пьеса про страусов начиналась с возбуждения и сохраняла его до конца.

— Прекрасно. Стало быть, ты уже знаешь почти

все. У девушки за душой всегда должна быть начитанность. И что ты думаешь о половом акте — ну, обобщенно?

К этому моменту Джин уже чувствовала себя увереннее. Шокировать доктора Хедли не представлялось возможным. Волосы у нее были зачесаны кверху и стянуты в аккуратный, но кособокий узел. Джин узрела в нем сходство с деревенским караваем.

— По-моему, в нем есть что-то курьезное.

— Курьезное? Ты хочешь сказать — странное. Поначалу так бывает. Но к этому привыкаешь.

— Да нет, курьезное. Комичное. Смешное, «ха-ха-ха».

Возбужденное, подумала она; трещина в лютне; лаванда; Екатерина Арагонская. И позволила себе хихикнуть.

— Вот комичным, девочка моя, он не бывает. — Боже, началось… — Он в высшей степени серьезен. Он прекрасен, порой непрост, однако *ничего смешного* в нем нет. Понимаешь? — Джин кивнула, краснея за свою оплошность, но поняла разве что наполовину. — А теперь ступай за ширму и снимай всю одежду ниже пояса.

Джин, как пришибленная, повиновалась. Не знала только, как поступить с обувью. Туфли

— это одежда или нет? Может, их как раз лучше надеть? О господи. Ну кто тянул ее за язык: мол, секс — это смешно. Естественно, он может оказаться совсем другим. Надо думать, «периодичность повторений» ее удивит; надо думать, никакой горный воздух ей не понадобится. Как она ни старалась, все ее мысли зацикливались на пенисе Майкла. Собственно, не на пенисе как таковом (его она до сих пор не видела и даже не представляла), а на идее пениса. О том, как он соединит их тела, подобно секс-дефису.

Она вышла из-за ширмы. Ей было велено лечь, а потом… Господи. Как мустанги по мне проскакали, подумалось ей. Молчание угнетало. «Орел — это будет к венчанью…» — промурлыкала она. Потом смущенно умолкла. Наверное, доктор Хедли не одобряла мурлыканья, даже если куплет оказывался уместным.

— Может возникнуть легкое ощущение холода.

Джин напряглась. Ее окатят холодной водой в наказание за легкомысленную песенку? Но нет, это оказалось… она прекратила думать о себе ниже пояса. Веки у нее сомкнулись, как плотно задернутые светомаскировочные шторы, но сквозь них пробивалось красное свечение внешней

жизни. Черное с красным — цвета войны: цвета войны Томми Проссера. Томми Проссер в своем черном «харрикейне» со сдвинутым фонарем, а красные отблески приборной доски мягко освещают его лицо и руки. Томми Проссер из своего черного «харрикейна» высматривает красные выхлопы бомбардировщиков, возвращающихся на свои базы. Черное и красное…

— Детская — это прекрасная задумка, игровая комната тоже возражений не вызывает, — ни с того ни с сего высказалась доктор Хедли.

— Вот и хорошо.

К чему она клонит? Доктор Хедли выдвинула ящик и достала три круглые жестянки, помеченные номерами. Две, что побольше, она убрала с шутливым «Не будем гнать лошадей», а третью открыла. Из-под отвинчивающейся крышки вырвалось облачко талька.

— Сейчас я просто покажу, как этим пользоваться, а в следующий раз попробуешь сама.

Доктор Хедли извлекла из жестянки колпачок и щелчком стряхнула с него тальк.

— Очень просто, видишь? Вот тут пружинка, — она сжала колпачок в узкую восьмерку, — гибкая, прочная, абсолютно безопасная, если правильно вставить. Можешь убедиться.

Джин взяла колпачок. С виду огромный. И в какое место его помещают? Не иначе как оборачивают им, как дождевиком, секс-дефис и закрепляют тесемкой. Она попыталась сжать ободок. Он вроде бы не поддавался. Тогда она опустила колпачок на лежавшую перед ней салфетку и попробовала еще раз. Ободок подчинился, и ей в ладонь ударил эластичный черный купол. Она взвизгнула.

— К этому быстро привыкаешь.

Джин усомнилась. Ради Майкла она, конечно, была готова на все; но разве нельзя остаться просто друзьями?

— А вот это — гель-смазка.

В руке доктора Хедли откуда ни возьмись появился тюбик. О господи. А как же «увлажненный слизью»?

— Нет, не… а это… обязательно?

Оставив ее вопрос без ответа, доктор Хедли усмехнулась.

— Вы же сами сказали, что в этом нет ничего смешного. — Джин обозлилась на эту женщину, к которой ее заманили.

— Так и есть, но смеялась я не над этим. А над тобой. Вы, девочки, вечно хотите всего сразу: чтобы одни удовольствия — и никакой ответ-

ственности.

При слове «ответственность» докторша принялась наносить гель на ободок колпачка, а затем и на мягкую вогнутую резину. После этой краткой наглядной демонстрации она передала колпачок Джин.

— Нет, держи крепко, он не кусается. Нет, еще крепче. Между большим пальцем и остальными, между большим и остальными; неужели тебе не доводилось играть с перчаточными куклами?

Опасаясь выронить колпачок, Джин вернула его на стол. На первый раз с нее было вполне достаточно.

В ожидании поезда на Паддингтонском вокзале Джин заметила громоздкий, выкрашенный зеленой краской аппарат с большим циферблатом. Только вместо цифр на нем значились буквы алфавита. Крутишь стрелку — и за один пенни можешь набрать на узкой металлической полоске до пятнадцати букв. Выщербленная эмалированная табличка призывала желающих передавать приветы знакомым. Джин была не уверена, что это понадобится. Ей не хватало уверенности даже для жалости к себе; ее лишь изводила неприкаянность. Она стала послушно крутить металлическую стрелку от буквы к букве

и, нажимая на рычажок, ухитрилась набрать *ДЖИН*, а потом и *САРДЖЕНТ*. В запасе оставались еще три буквы. Папа, хотя и осуждал такие легкомысленные расходы, наверняка захотел бы убедиться, что тут она не переплатила. Фамилия, звание, личный номер — таков ведь порядок? Звания у Джин не было, личного номера тоже. После недолгого раздумья она набрала XXX, извлекла свою металлическую полоску из боковой прорези и спрятала в сумочку.

* * *

Джин предполагала — чисто интуитивно — что за последний год с Томми Проссером нечто произошло: нечто особенное, но узнаваемое. До этого он был отважным пилотом «харрикейна», а теперь, отстраненный от полетов, сделался раздражительным и опасливым. От нее требовалось не так уж много: найти источник этого страха, дать возможность человеку выговориться о каком-то жутком, травмирующем испытании, выпавшем на его долю, — и он пойдет на поправку. В таких пределах Джин была знакома с основами психоанализа.

Как-то раз она сидела на кухне с банкой чистящей пасты и шеренгой вилок. Проссер говорил

мягче обычного. Для начала он завел речь про 1940 год, но так, будто вспоминал Монс или Ипр — далекое прошлое, которое не коснулось его напрямую.

— Мой первый самостоятельный вылет был — сущий мюзик-холл. Над Северным морем мне повстречалась парочка «мессеров». Расклад был не в мою пользу, а потому я ушел за облако, чуток покрутился и повернул на базу. На полной скорости. А когда требуется скорость, нужно пикировать, вот и все. Так я и сделал, а тут откуда ни возьмись пулеметы. Стало быть, один из тех сто девятых спикировал за мной. Ну, я — штурвал от себя и быстрее молнии заложил крутой вираж. Осмотрелся как следует, но ничего не увидел. Не иначе как оторвался. Ну, сам опять носом вниз — и на базу. Набираю скорость. И тут — угадайте что? — опять пулеметы. Я — штурвал на себя, и очереди смолкают. Резко набираю высоту, присматриваю себе облако, и тут до меня доходит. Я же в пике наверняка сжимал ручку все крепче да крепче. А гашетка-то на ручке сверху, вот ведь какое дело. И значит, очереди пускал я сам и самого себя напугал до помрачения рассудка. Метался в небе как последний дурак.

Джин улыбнулась:

— А когда вернулись, рассказали своим?

— Нет. Вначале помалкивал. А потом кто-то признался, что выкинул номер еще чище. Но тогда все подумали, что я привираю.

— А летчики всегда признаются в своих ошибках?

— Еще чего!

— И в чем у вас в полку не признавались?

— В чем мы не признавались? Да как обычно. Что струсили. Что боялись подвести парней. Что страшились не вернуться. Поймите: если кто-то думает, что не вернется, этого не скрыть. Сидишь в ожидании вылета и замечаешь, что кто-то вдруг стал очень вежлив. То есть реально вежлив, без всякой видимой причины. И тут ты припоминаешь, что он уже не первый день таков: за столом сахар к тебе придвинет, говорит тихо, никого не задирает. А сам все время думает, что пути назад ему нет. И хочет запомниться классным парнем. Но за собой, естественно, ничего не замечает.

— А с вами такое бывало?

— Откуда я знаю? Со стороны ведь себя не видишь. Может, чем-то и выдавал себя. Мелочью в кармане побрякивал, допустим.

— То есть летчикам запрещено признаваться, что им страшно?

— Само собой. Это последнее дело. Даже если знаешь, что ребята видят твое состояние.

— Можно вопрос?

— Вы уже без спросу спросили, верно? — Проссер сверкнул мимолетной улыбкой, будто говоря: «Да, сегодня у меня настроение получше».

Джин опустила глаза, словно ее поймали на бряканье мелочью.

— Валяйте, спрашивайте.

— Вот я все думаю: как это — быть храбрым?

— Быть *храбрым*? — Такого вопроса он не ожидал. — А вам зачем?

— Ну, интересно. То есть, если, к примеру…

— Да нет… это… трудно объяснить. В смысле — бывает по-разному. Сделаешь что-нибудь обыкновенное, а парням кажется, что ты проявил храбрость; или наоборот, думаешь, что показал себя с лучшей стороны, а они — молчок.

— И кто же в итоге решает, что такое храбрость? Другие или ты сам?

— Не знаю. Наверно, отчасти ты сам, а они, когда дело доходит до фанфар… ну и так далее. Поймите: обычно над этим вообще не задумываешься.

— Это вы скромничаете.

Джин, конечно, заметила ленточки на форме

Восхода Проссера. А их почем зря не раздают.

— Нет-нет. Отнюдь. Ну, то есть ты ведь не планируешь загодя: «Покажу-ка я себя храбрым», чтобы после откинуться на спинку кресла и подумать: «Черт побери: храбрости мне не занимать».

— Но вам же надо принимать решения. Если видишь, что кому-то пришлось туго, то, наверное, говоришь: «Сейчас приду на помощь».

— Вовсе нет. Говоришь что-нибудь нецензурное. А потом ввязываешься в бой. На гражданке решения принимаются иначе. А тут раз — и вперед. Иногда ситуация попроще, у тебя есть время подумать, но думаешь ты так, как тебя учили думать в таких обстоятельствах, а сам порой как в тумане, словно под хмельком, но в основном — раз-два и готово.

— Вот как.

— Простите, если разочаровал. У других, возможно, это по-другому. Но я не могу объяснить, что такое храбрость. В руки ведь ее не возьмешь, чтоб разглядеть поближе. Когда храбрость рядом, ты ее не ощущаешь. Волнения нет, головокружения тоже, и вообще… Ну, может, чувствуется нечто большее: дескать, я знаю, что делаю, но не более того. И говорить о храбрости не получается. Будто ее нет вовсе. — Проссер словно начал слег-

ка распаляться. — Она же не подчиняется разуму, так ведь? *Разумно* было бы перетрусить так, что штаны потеряешь. Вот это *разумная* реакция.

— А здесь другое? То есть испугаться можно, когда есть что терять?

— А! Страх. Да, это другое. — Он успокоился, пожалуй, так же быстро, как распалился. — Совсем другое. Вы и про это хотите узнать?

— Да, если можно. — Джин внезапно осознала, насколько разговор с Проссером отличается от разговоров с Майклом. С одной стороны, труднее, но…

— Пункт первый: когда страшно, ты это понимаешь. Пункт второй: то же самое бывает со всеми. Пункт третий: ты сознаешь, что страх — и ничто другое — заставляет тебя делать именно то, что ты делаешь.

— А что он заставляет делать?

— Да все. Поначалу не так уж много. Чуть дольше смотришься в зеркало. Летишь чуть выше или чуть ниже, чем нужно. Печешься о безопасности. Выходишь из боя чуть раньше, чем прежде. Раз-другой огрызнешься в столовой. Находишь больше неполадок в самолете. Из-за таких мелочей возвращаешься на базу раньше или нарушаешь строй. А потом наступает вре-

мя, когда ты сам начинаешь все это за собой замечать. Наверно, потому, что видишь, как это замечают другие. Возвращаешься — механики тут как тут: ты еще из кабины не вылез, а они уже проверяют, стреляли пулеметы или нет. И если пару раз подряд стрельба не велась, тебе кажется, будто они что-то бормочут. И тебе вечно чудится одно и то же слово. *Трус.* Трус. И ты думаешь: я не позволю, чтобы меня обзывали трусом, и вот уже ты отрываешься от своего звена, забираешься в облако и даешь очередь за очередью. И если продолжать, расстреляешь весь боекомплект, и останется только вернуться на базу. И, приземлившись, ты показываешь механикам большой палец и говоришь им, что почти наверняка вмазал «хейнкелю» — он сильно дымил, и хотя ты не видел, как он падал, но уверен, что враги, если они и дотянули до Германии, то на честном слове — и вот парни уже кричат тебе «ура», и ты сам уже наполовину поверил, и задумываешься: упомянуть это на разборе полетов или смолчать, но тут понимаешь, что смолчать нельзя: ты перед своими механиками перья распускал, а разведке не доложил — а вдруг кто-нибудь прознает? Ну, докладываешь — и оглянуться не успеешь, как оказывается, что ты уже сбил к чертовой матери

все машины люфтваффе, которые прятались в облаках, где ты расстрелял свой боекомплект.

— И вы так поступали?

— Этим кончилось, когда меня вторично отстранили от полетов. В первый раз тоже намечались кое-какие признаки, но у меня уверенности не было, и у них тоже, так что на всяких случай отстранили меня на пару дней. Но понимание пришло во второй раз. Тогда я понял, что представлял собой в первый раз.

— Наверно, вначале у вас просто сдали нервы.

— Вот именно. Нервы, испуг, боязнь, трусость — именно так. Знаете, как говорится: кто обжегся дважды, тому конец.

Джин вспомнила, что он примерно так и сказал, когда она спросила его мнения о браке с Майклом.

— Ну, это бабушкины сказки, я уверена.

— А бабушки много чего знают. — Он усмехнулся. — Хотя бы мою спросите.

— Расскажите, как это — испугаться?

— Я же говорил. Сбежать. Струсить.

— Но как это ощущается внутри?

Проссер задумался. Он твердо знал ответ. Ему это снилось раз за разом.

— Ну, в чем-то — ничего особенного. Дрожь

в руках, сухость во рту, в мозгах напряжение — перед вылетом даже крепкие нервы так себя проявляют. Обычно. А иногда — нет. Пока ждешь, ощущаешь какие-то мелкие признаки, а взлетел — и они исчезают, однако могут снова возникнуть перед боем, но, когда идешь на сближение, опять исчезают. Но если ты благополучно вернулся, такие проявления порой не отступают, и это уже скверно. Вот тогда-то приходит страх.

Он помолчал, глядя на Джин. Она не отвела взгляда, и он продолжил:

— Вот представьте: вы проглотили какую-нибудь кислятину, вроде уксуса. Вообразите, что вкус ее ощущается не только во рту, но и дальше. Сперва во рту, потом в глотке, в груди, в желудке. А теперь представьте, как она медленно-медленно застывает между грудиной и горлом. Мало-помалу застывает. Уксусная каша — везде. Кислятина — во рту. Сырость и дряблость — в желудке. Каша застывает между горлом и грудью. Это значит, что ты не можешь доверять своему голосу. И вот иногда ты убеждаешь себя, что передатчик вышел из строя, а иногда убеждаешь себя, что связь прервана. Стиснешь губы, а кислота стоит у тебя в горле. Половина твоего тела пропитана этой тошнотворной кислятиной, и, поскольку

ты все время чувствуешь ее вкус, тебе кажется, будто можно сунуть палец в горло — и от нее избавиться. Но нет, не получается. И она остается с тобой — холодная, кислая, застывающая, и ты понимаешь, что она никуда не денется. Никогда. Потому что ей там самое место.

— Возможно, это когда-нибудь пройдет, — сказала Джин, чувствуя фальшивое бодрячество собственного голоса: она как будто уверяла инвалида, что ампутированные ноги вот-вот отрастут и все станет как прежде.

— Обжегся дважды, — приглушенно выговорил он.

— А я уверена, что вы вернетесь, — продолжала она все тем же голосом больничной санитарки. — И будете опять браконьерствовать над аэродромами и все такое… И вообще.

— Это осталось позади, — сказал Проссер. — В том времени, когда все, куда ни кинь, занимались вязанием из шерсти цвета хаки — для фронта. Помните?

— Мое вязанье у меня сохранилось. Я его так и не закончила.

— Ну да. Вязанье цвета хаки. Возненавидь гуннов. Отрази врага. Все тебе по сердцу, чисто, ты счастлив. Допускаешь, что когда-нибудь умрешь,

только это не кажется таким уж важным, и ты не размышляешь, надолго ли все это затянется, ну и вообще. И в любом случае все для тебя внове. И некоторые из тех дней словно бы стали лучшими днями твоей жизни.

— Например, когда виделось, как солнце восходит дважды.

— Например, когда виделось, как солнце восходит дважды. Когда сопровождал бомбардировщики через Ла-Манш к их цели и добрался до нее. И группа встречающих приветствует тебя фонтанами грязи, а ты только смотришь — зеленое, и желтое, и красное зависает в воздухе, — и ты не думаешь, что тебя могут прикончить, а думаешь: это же точь-в-точь как бумажные ленты на танцульке субботним вечером. А теперь все по-другому. Ведь держаться так до бесконечности невозможно.

— И теперь у вас нет такой, как раньше, ненависти к немцам? — Джин решила, что они в чем-то достигли согласия. Может быть, храбрость рождается из ненависти или хотя бы подпитывается ею. А этот Восход просто растратил свою ненависть, вот и все. Ничего зазорного в этом нет, совсем наоборот.

— Ненавижу я их так же зверски. Точно так же.

Может, по другим причинам, но точно так же.

— Ох. Там что-то случилось? Что-то жуткое? Что лишило вас храбрости?

Проссер старательно заулыбался, будто и вправду хотел по возможности все для нее упростить. Но не смог.

— Извините. Совсем не так. Юноша за одну ночь превращается в мужчину. Мужчина становится героем. Герой дает трещину. Прибывают новые юноши, выковываются новые герои. — Он словно бы поддразнивал ее, как никто и никогда. — Со мной — не так. Я не дал трещину. Во всяком случае, в общепринятом смысле. Просто через какое-то время все сходит на нет. Запасы истощаются. И ничего не остается. Тебе говорят: надо отдохнуть, подзарядить аккумуляторы. Но не все аккумуляторы подзаряжаются. По крайней мере, нынче.

— Не будьте пессимистом, — сказала она, хотя этот бодрический тон не убеждал даже ее саму. — Вы же по-прежнему любите летать, правда?

— Я все еще люблю летать.

— И все еще ненавидите немцев?

— И все еще ненавижу немцев.

— Ну, выходит так, мистер Проссер?

— Ну, выходит, так, без-пяти-минут-миссис

Майкл Кертис; боюсь, вы не услышали того, что требовалось доказать.

— Мм… Но *я уверена*. Просто знаю это. Подумайте о восходах солнца.

— Ну, — сказал Проссер, — я вовсе не уверен, что мне это нужно. Кто видит, как солнце восходит дважды, тот и обжигается дважды. Сдается мне, это справедливо. По чесноку. Так, пожалуй, проще всего соскочить.

— Нет, пожалуйста, не привыкайте к этому.

— Шучу.

* * *

На следующей неделе Джин снова отправилась к доктору Хедли. Она обещала себе не выискивать ничего смешного. Хотя вряд ли у нее возник бы такой соблазн.

Вновь появилась круглая жестянка, и поднялось облачко талька, и было показано, как наносить гель, и снова Джин подумала: «Смазывается слизью?» Наверно, это и есть тюбик геля-слизи. Потом ее перевернули вверх тормашками, словно она выбрала не тот ярмарочный аттракцион, и приказали расслабиться. Она расслабилась, воспарив над тем, что с ней проделывали, а потом и вовсе улетела. Оказалась в черном «харрикейне»,

а мимо проносились облака. Восход Проссер добился, чтобы его кабину оснастили плетеным сиденьем, и взял ее в полет. Полет, сказал он, способен излечить не только коклюш. И обещал показать ей свой фокус. У дяди Лесли был шикарный фокус с сигаретой, но у Проссера еще лучше — с солнцем. Так, поехали, смотри вот туда через мое плечо, за черное крыло, следи, как оно встает, следи, как оно встает. А теперь снижаемся, снижаемся еще на десять тысяч футов и ждем… Гляди в оба: солнце всходит опять. Вершится обыкновенное чудо. Повторить? Ну нет, разве что тебе захочется в гости к подводникам.

— Теперь попробуй сама.

Расслабленность облегчила доктору Хедли объяснения и демонстрацию. Беда лишь в том, что Джин ее не услышала — ни единого слова. Теперь, неуверенно держа скользкий колпачок, сжимая его в восьмерку и пробуя вводить в себя неведомо под каким углом, она сосредоточилась и напряглась. Доктор Хедли, примостившись на скамеечке и сжимая ее запястья, пыталась подсказать ей направление. Пора с этим завязывать, подумала Джин и нажала посильнее. Ох. *Ох.*

— Да нет же, не так, глупенькая. Смотри, что ты наделала. Ну ничего, просто чуток здоровой

крови.

Доктор Хедли пустила в ход полотенце и теплую воду. А через некоторое время спросила:

— Продолжим?

Джин опять ускользнула в ясную безоблачную зарю над Ла-Маншем, и голос доктора Хедли зазвучал, словно из репродуктора. Вот этой стороной кверху, складываем восьмеркой, находим шейку матки, ободок прилегает плотно, удобно, а затем… пальчик согнули, потянули…

Инструктаж — как для какого-то воздушного маневра. Благодаря этому манипуляция казалась не слишком унизительной и вроде как отстраненной.

— Возможно, будет еще немножко кровить, — предупредила доктор Хедли.

И напоследок Джин получила завершающие инструкции по использованию колпачка. В какой момент надевать, через какой промежуток времени извлекать, как за ним ухаживать: мыть, обсушивать, присыпать тальком и убирать в жестянку до следующего раза. Ей вспомнился отец, заядлый курильщик трубки: он, как могло показаться, тратил куда больше времени на то, чтобы прочищать трубку, набивать чашу и приминать табак, чем на само курение. Впрочем, не

исключено, что все удовольствия таковы.

В затемненном поезде отправлением с Паддингтона Джин призадумалась, не лишилась ли она девственности. Да или нет? По ощущениям — да… точнее, она воображала, что потеря девственности естественным путем произошла бы именно так. Она чувствовала, что ее взорвали, она чувствовала, что над ней надругались. «Трещина в лютне»… она не понимала, что это означает, но, похоже, то самое. У нее в сумке лежал небольшой картонный футлярчик; она даже не знала, как его определить. Защитник или агрессор? Защитник на службе агрессора, вроде Майкла? Какому экземпляру досталась ее девственность — уже знакомому или его близнецу из той же фабричной партии? Может, она — дуреха или просто драматизирует ситуацию? Как бы то ни было, она пошла на это ради Майкла. Ведь могло быть и хуже. Нынче сплошь и рядом случается кое-что похуже, и почти всегда — при участии мужчин. А тебе пришлось обойтись своими силами, разве нет?

Ее страшил футлярчик в сумке; из-за него контролер на вокзале мерещился ей таможенником. Запрещенные к вывозу предметы имеются, любезная? Нет, мне даже декларировать нечего.

Всего-то один взрыватель. Одна треснувшая лютня. Один предмет нижнего белья, слегка замаранный кровью.

Доктор Хедли и этот футляр превратили все в определенность и неизбежность. Но эта определенность не принесла ей уверенности. Она поймала себя на том, что вовсе не жаждет лечь в постель с Майклом. Конечно, она его любит; конечно, все пройдет гладко; конечно, он в этом деле разбирается досконально, а инстинкт компенсирует любую взаимную неопытность. Все будет красиво и даже, быть может, духовно, по утверждению некоторых; но, как ни прискорбно, кое-какие детали имеют сугубо практическое значение. А вдруг эта практическая сторона повлияет на ее реакции? Вдруг этот футляр исказит ее Периодичность Повторяемости?

По возвращении домой Джин сама себя удивила, в очередной раз взявшись за бордовую книжицу миссис Барретт. Она обратилась к разделу, озаглавленному «Основной ритм», твердо решив на сей раз отбросить шутки в сторону и выяснить, каким должно быть обещанное действо. Некоторые, прочла она, воспринимают его как совокупность простых толчков, однако все намного сложнее. «Все мы, — разъясняла автор

„Наших страусов“, — когда-нибудь наблюдали, как морская зыбь регулярно набегает на песчаную косу, и замечали, что накат следующего притока воды может создать другую систему ряби под прямым углом к первой, в поперечном направлении, причем два этих наката перекрещиваются, проходя один сквозь другой».

Джин, которая никогда не бывала на море, попыталась вообразить рисунок перекрестной ряби. Она услышала сдавленные крики чаек и увидела гладкий, нетронутый песок. Все это представлялось весьма приятным. Весьма приятным, но не слишком важным. Или попросту смехотворным?

Дядя Лесли на свадьбе не присутствовал. Дядя Лесли смылся. Зато присутствовали родители Джин, равно как и высоченная, длинноносая мать жениха, которая держалась то ли смущенно, то ли пренебрежительно — Джин так и не разобралась; был еще полицейский — приятель Майкла, он же шафер, который шепнул ей перед венчанием: «А не сбежать ли нам, пока не поздно?» (Джин сочла такой треп неуместным). И наконец, двоюродный брат Майкла, специально приехавший из Уэльса. Одно небольшое семейство породнилось с другим — семеро участников,

почти незнакомых друг другу и не сумевших решить вопрос об уместности бракосочетания во время войны. Дядя Лесли отмел бы такие тонкости, чтобы настоять на общем веселье; произнес бы спич или показал фокусы. Возможно, ей особенно не хватало присутствия дядюшки: ведь она в детские годы планировала выйти за него замуж. Его отсутствие выглядело двойным дезертирством. Но ведь дядя Лесли сбежал не без причины. Во всяком случае, так истолковал события отец невесты. Дядя Лесли, прожив в Англии всю свою жизнь, поспешил отбыть первым же пароходом в Нью-Йорк, как только Чемберлен вернулся из Мюнхена. В письме из Балтимора, которое вызвало у родни бурные дебаты, Лесли сообщал следующее: Чемберлен обещал стране мир на все времена; и он, Лесли, понимая, что годы уходят, решил безотлагательно повидать мир; вскоре после его прибытия в Америку совершенно неожиданно вспыхнула война; он (уже) староват для действительной службы; нет ни малейшего смысла пускаться в обратный путь через Атлантику, чтобы только пополнить собою число голодных ртов; целесообразнее всего ему устроиться на работу за океаном, чтобы отправлять домой продовольственные посылки; и конечно,

если янки окажутся втянутыми в эту заваруху, он пойдет добровольцем в американскую армию — естественно, при условии, что будет признан годным к строевой.

Папа изложил эти факты маме несколько иначе: я всегда знал, что твой братец — редкостный прохиндей; пусть не брешет, что он слишком стар для действительной службы; кто мешал ему вступить здесь в ополчение или в противопожарный отряд, а то и устроиться на завод, да только этот оболтус никогда не любил марать руки и не поднимал ничего тяжелее… ложки; а если он обещает нам продовольственные посылки, то лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза… что нам прислали сегодня к ужину, мать — кусочек пирога с запеченной совестью да ломтик пудинга из остатков чести: ну, ничего, проглотим и эту дрянь, покуда она совсем не протухла, но что он имеет в виду, посулив нашей Джин, только-только обрезавшей косу, «соблазнительное белье»? Я не потерплю, чтобы моя дочь такое нацепила, когда над нами кружат бомбардировщики, это непристойно, а если он пойдет добровольцем в американскую армию, то я переплыву Северное море; быть может, наш Герой Стратосферы (справа от меня) запросит добавки пирога с совестью,

пусть уже забродившей, но не выбрасывать же такое добро в помойку.

В первые два года войны их семья съела немало пирогов с совестью. Белье папа сразу конфисковал, однако вернул его Джин, когда та вышла замуж. Это был единственный свадебный подарок от дяди Лесли. Она сообщила ему свою новость, но он не ответил. Затаился до конца войны. Папины догадки о причинах его молчания мама не всегда выслушивала благодушно.

Выходя замуж, Джин имела следующие навыки:

застилать кровать, подгибая уголки по больничному образцу;

шить, латать и вязать;

готовить три вида пудинга;

разводить огонь и чернить решетку;

возвращать блеск старым пенни, выдерживая их в уксусе;

гладить мужские сорочки;

заплетать косу;

вставлять колпачок;

заготавливать фруктовую настойку и варить варенье;

улыбаться, когда улыбаться невмоготу.

Она гордилась этими достижениями, хотя и не

считала их таким уж богатым приданым. Например, ей было бы очень приятно, умей она:

танцевать вальс, квикстеп и польку, хотя до сих пор от нее этого практически не требовалось;

бегать, не скрещивая по привычке руки на груди;

знать наперед, окажутся ли ее реплики глупыми или умными;

предсказывать погоду по водорослям, подвешенным за окном;

разбираться, почему куры перестали нестись;

распознавать, когда над ней насмехаются;

не отказываться и не смущаться, когда ей подают пальто;

задавать правильные вопросы.

Майкл раздобыл немного бензина, и на медовый месяц они поехали в Нью-Форест, где имелся постоялый двор с пивной и с парой комнат на втором этаже. Они отправились туда под вечер в субботу; на подъезде к Бейсингстоку начало смеркаться, и по причине затемнения им пришлось продолжать путь в тусклом свете подфарников. Джин могла только гадать, хорошо ли Майкл видит в потемках — он ведь не прошел такую подготовку, как Проссер. Ей стало страшно: она вспомнила, что в первые месяцы войны на до-

рогах погибло больше людей, чем от рук врагов. Она даже положила ладонь на локоть мужа, но он, видимо, истолковал это по-своему и прибавил скорость. Когда они поднялись в свой номер, Джин была пришиблена размерами кровати — огромной, угрожающей, живой. Эта лежанка нашептывала невесть что, высмеивала и пугала одновременно. Снизу, из пивной, время от времени доносились приглушенные разговоры. Уткнувшись в мужское плечо, Джин спросила:

— Можно, на эту ночь мы останемся друзьями?

Пауза; рука Майкла, обнимавшая ее за шею, едва ощутимо напряглась. Потом он ответил:

— Конечно. Поездка была долгой.

Он слегка погладил ее по голове, по волосам, а затем пошел умываться. За ужином он был весел и непринужден; позвонил своей матери и попросил ее сообщить Сарджентам, что молодые благополучно прибыли к месту назначения. Джин предпочла бы сама поговорить с родной матерью — пройти предполетный инструктаж, но Майкл, разумеется, все сделал правильно. Она его очень любила, сказала ему об этом, а затем попросила разрешения лечь, пока он будет в душевой, и погасить свет. Застыв между простынями, от которых пахло утюгом, она гадала,

что будет дальше. За окном стояла безоблачная ночь, в небе осветительной ракетой сияла полная летняя луна — так называется луна бомбардировщика.

Наутро они пошли гулять, чтобы зря не расходовать бензин даже во время медового месяца, потом вернулись перекусить, еще погуляли до вечера, умылись и переоделись; а когда спускались к ужину, Джин попросила:

— Можно, сегодня ночью мы останемся друзьями?

— Если так будет продолжаться, я возьму тебя силой, — улыбнулся он.

— Этого я и боюсь.

— Ну, сегодня ты должна позволить мне тебя целовать. Хотя бы без вольностей.

— Хорошо.

— И при свете.

На третий вечер Джин сказала:

— Может быть, завтра.

– *Может быть?* Побойся Бога: прошла чуть ли не половина медового месяца, будь он неладен. Лучше б мы в поход отправились.

Густо покраснев, он уставился на нее. Она испугалась — и не только потому, что муж сердился, но еще и потому, что он мог рассердиться еще

сильнее. А про себя подумала: в поход — это же одно удовольствие.

— Хорошо, завтра.

Но к вечеру следующего дня у нее начались желудочные колики — пришлось отложить. Она чувствовала, что Майкл кипит от злости. Где-то она слышала, что мужчины больше женщин нуждаются в физической разрядке. Что бывает, если им отказывают? Они лопаются, как автомобильные радиаторы? На пятый вечер они почти не разговаривали за ужином. Майкл заказал коньяк. Внезапно Джин шепнула:

— Поднимайся через двадцать минут.

Захватив футляр, она прошла по коридору в душевую. Легла на пол, закинула пятки на край раковины и попыталась ввести колпачок. С ее мышцами творилось что-то неладное. На миг она задумалась: не стоит ли включить свет и предаться мыслям о Проссере в его черном «харрикейне», с красными отблесками на лице и руках — вдруг это поможет ей расслабиться? Но она знала, что это будет неправильно. А потому попробовала присесть на корточки и добилась небольших первоначальных успехов, но колпачок выскочил из нее и оставил пятно на коврике. Задрав ноги, она сделала следующую попытку; теперь ей стало

больно. Промыв этого каучукового монстра, она обсушила его и посыпала тальком, прежде чем вернуть в футляр.

Лежа в постели, она прислушивалась к рокоту голосов, доносившихся снизу, из бара. Майкл задерживался сверх всякой меры. Не иначе как заказал еще коньяку. Ну, или сбежал с какой-нибудь шлюшкой, которой все нипочем.

Он даже не пошел в душ, а просто стоял в темноте и раздевался; по тем шорохам, которые долетали до ее слуха, Джин старалась угадать, какой предмет расстегивается и снимается в данный момент. Заслышав, как скрипнул ящик комода, она вообразила, что Майкл надевает пижаму. Из бара снизу донесся всплеск гомона. Забравшись под одеяло, Майкл чмокнул ее в щеку, задрал на ней фланелевую ночную сорочку, навалился сверху и потянул только что завязанный шнур пижамных штанов. «Секс-дефис», внезапно мелькнуло у нее в голове.

Смазочный гель придавал ей эрзац-влажность, и это, видимо, польстило Майклу. Немного повозившись, он проник в нее с куда большей легкостью, чем предвидели они оба. Но все равно было больно. Джин лежала и ждала от него каких-нибудь слов. Но он уже стал елозить у нее

внутри, и она очень вежливо прошептала:

— К сожалению, дорогой мой, я не сумела вставить свою штучку.

— Мм, — сказал он чужим, ничего не выражающим голосом, как на работе. — Мм. — Но, вопреки ее ожиданиям, без раздражения и досады.

Он просто начал вторгаться в нее более напористо, и в то мгновение, когда его натиск поверг ее в панику, издал пронзительный стон через нос, резко высвободился и спустил струю ей на живот. Такого она не ожидала. Словно кого-то, отстраненно подумалось ей, на тебя вырвало.

Стоило ему немного сдвинуться в сторону, как Джин сказала:

— Я вся мокрая. Ты меня всю извозил.

— Тебе кажется: на самом деле там не так уж много, — сказал он. — Это обычное дело — как с кровью.

Они оба умолкли от этого высказывания: не только от его смыслов, но и от упоминания крови. Майкл слегка отдувался. На Джин веяло коньяком. Снизу доносился пьяный гомон, как будто на Земле все шло своим чередом. Она лежала в темноте, и все мысли ее были заняты кровью. Черное и красное, черное и красное — цвета вселенной Проссера. А если вдуматься, то, быть

может, единственные цвета во всем мире.

— Сейчас достану тебе носовой платок, — после паузы сказал Майкл.

— Только свет не зажигай.

— Нет-нет.

Скрипнул какой-то ящик, и Майкл протянул ей носовой платок. Она расстелила его на животе и сделала несколько мягких круговых движений ладонью. Так дети показывают, что хотят есть. Но на нее-то сейчас кое-кого вытошнило. Решительно скомкав платок, она швырнула его на пол, одернула ночную сорочку и перекатилась на свою половину кровати.

Наутро, заслышав, что Майкл проснулся, она не стала открывать глаза. Он, уже одетый, насвистывая, вернулся из душевой, потряс жену за плечо, дружески шлепнул по бедру и прошептал:

— Жду тебя внизу, дорогая.

Наверное, все обошлось. Она без промедления оделась и сбежала вниз. Да, как будто все прошло удачно, заключила она, потому как он без устали передавал ей ломтики тостов и подливал чаю. Возможно, он не нашел в ней дефекта; возможно, он от нее не откажется.

Наверное, она должна была как-то высказаться. В конце-то концов, ради этого самого и соверша-

ются браки. Вечером, когда они переодевались к ужину, она дождалась, чтобы он повернулся к ней спиной, и собралась с духом.

— Ты прости, что вчера ночью так получилось.

Он не отвечал. Наверно, все еще сердился. Она сделала вторую попытку:

— Я уверена… я уверена, что в следующий раз…

Он обошел кровать и сел так, что оказался рядом с Джин и в то же время у нее за спиной. И прижал свой крупный палец к ее губам.

— Ш-ш-ш, — заговорил он. — Все хорошо. У тебя, естественно, нервы на пределе. Вплоть до нашего отъезда не буду больше тебе досаждать.

Это был совсем не тот ответ, какого она ждала. Да, сказано по-доброму, но как бы лишь для того, чтобы сменить тему. Она была просто обязана сделать новую попытку. В конце-то концов, им не пристало равняться на своих родителей: ее семья — из другого теста, а Майкл, по всей вероятности, получил воспитание в лондонских борделях. Она отстранила его палец от своих губ.

— В следующий раз у меня получится, — пообещала она и слегка содрогнулась — наверное, оттого, что Майкл слишком крепко сжал ее плечо.

— Тема закрыта, — непререкаемым тоном заявил он. — На сегодня хватит. Ты — еще куда ни шло.

Майкл взял в ладони ее лицо — приласкал, обдавая мыльным запахом. Одна ладонь заслонила верхнюю половину ее лица до кончика носа; другая накрыла рот и подбородок. В щель между двумя его неплотно сдвинутыми пальцами пробивался свет. Некоторое время он так и удерживал ее — в мягкой клетке своих рук.

За две последние ночи медового месяца он не потревожил ее не разу.

По возвращении они заняли две комнаты, которые отвела им поджарая мамаша Майкла в своем холодном квадратном доме. Первая неделя прошла неудачно. То она липкими пальцами мусолила колпачок, а Майкл допоздна беседовал с матерью; то она решала не утруждаться, а муж вонзался в нее, не давая опомниться. Она уходила в ванную, кое-как в панике приводила себя в порядок, а вернувшись в спальню, обнаруживала, что он спит… или притворяется спящим.

— Майкл, — окликнула она, когда это случилось во второй раз. — Майкл, что происходит?

— Ничего, — ответил он таким тоном, в котором слышалось: «Кое-что».

— Скажи мне. — (Ответа не было.) — Ну же. — (Ответа не было.) — Не заставляй меня гадать.

В конце концов он устало выдавил:

— Предполагается, что это должно происходить спонтанно.

— Боже.

Следующим вечером, немного выпив для храбрости, Майкл решил внести ясность. Если не возникает внезапного порыва, ничего хорошего не жди; за неимением лучшей или хоть какой-нибудь другой информации Джин согласилась: да, если все по шаблону, выходит плоховато. Это ведь тошнотворно, когда тебе, извини за выражение, уже приперло, а тебя еще десять минут мурыжат; она согласилась, мысленно побагровев и задаваясь вопросом: сколько же времени требуется другим женщинам? Затягивать эту канитель нестерпимо: нужно притираться, как противовесам в часах с кукушкой; она согласилась. Наверное, будет лучше — всего лишь для начала, всего лишь на первых порах — назначить определенные дни, когда она будет… вставлять свою штучку; нет, разумеется, это не может на сто процентов гарантировать… она согласилась. Сейчас, если хорошенько прикинуть, ему видится, что лучше всего подойдет суббота, потому что

в запасе будет воскресное утро — на тот случай, если накануне вечером он переутомится; ну и, может быть, еще среда, пока его рабочий график не изменится. Она согласилась; она согласилась. Суббота и среда, твердила она себе, по субботам и средам у нас все будет спонтанно.

Такой распорядок сработал неплохо. Она научилась получше управляться с футляром; Майкл не делал ей больно; она притерпелась к издаваемым им звукам — таким звукам, которые обычно ассоциируются с мелкими грызунами. В сексе, решила она, определенно есть нечто приятное: когда в тебя проникает секс-дефис мужа, когда, по твоим ощущениям, муж у тебя в объятиях превращается в ребенка.

И при этом у нее оставалось предостаточно времени для размышлений. В конце-то концов, сильней всего она любила Майкла вовсе не в постели; она была бы только рада это изменить, но нет. А что до ощущений «ниже пояса», как доктор Хедли называла эту часть ее тела… где они, все эти накаты волн под прямым углом, которых ей было велено ожидать? Где хриплые крики морских птиц и чистый песок, теперь прочерченный единственной полоской следов… — следов, у которых пальцы смотрели в разные стороны? Ни-

чего похожего она прежде не испытывала. Но так ли это? Воспоминания проявлялись медленно. Да вот же: они с дядей Лесли в Старом Зеленом Раю играют в шнурки. Точь-в-точь: щекотно и приятно, немного смешно и ни на что не похоже.

Припоминая те мгновения, она засмеялась, но это помешало Майклу, и она преобразовала смех в кашель. Вот так совпадение. Но ведь она всегда знала, что секс — это смешно. И в открытую сказала об этом докторше. Глупой докторше Хедли.

И вот оно, подумалось ей как-то ночью, когда она лежала под Майклом. Вот оно, ее нынешнее житье-бытье. Сочувствия к себе она не испытывала — всего лишь признавала факты. Родилась, выросла, вступила в брак. Люди притворяются — а может, и слепо верят, — что жизнь начинается с замужества. Отнюдь нет. Замужество — это не начало, а конец; иначе с какой стати книги и фильмы то и дело заканчиваются аккурат перед алтарем? Замужество — это не вопрос, а ответ. Это не предмет для сетований, а всего лишь предмет для наблюдений. Ты вышла замуж, то есть хорошо устроилась.

«Устроить», «устроиться» — важные слова. *Устроиться* на постой. *Устроиться* на работу. *Устроить* свою судьбу. *Устроиться* в жизни. А

еще: задолжал — кредитора это *не устраивает*. То же с взрослением: домашние о тебе заботятся и ожидают чего-то от тебя взамен, хотя ни родня, ни дети обычно не говорят, что именно их *не устраивает*. Требовалось оплатить какой-то счет — вот и со свадьбой все *устроилось*.

Это вовсе не значит, что ты будешь жить счастливо до конца своих дней. Вовсе нет. Это просто значит, что ты устроилась в этой жизни. «Ты — еще куда ни шло»: так сказал Майкл, а до него — мама. Ты — куда ни шло. Выдержала некую проверку. Даже если ты несчастна, о тебе будут заботиться. Так повелось, и она бывала тому свидетельницей. Потом, конечно, пойдут дети, а мужчина от этого всегда становится более ответственным. Нельзя сказать, чтобы Майкл был безответственным: он же полицейский, как ни крути. А она его несколько облагородит. Будет дом. Будут дети. Война закончится. Она уже взрослая. А для Майкла она — возможно — маленькая девочка, но это другое. Она взрослая. Это подтвердится рождением детей. Их беспомощность лишний раз докажет, что она взрослая, что устроена в этой жизни.

Наутро, оставшись в одиночестве, она посмотрелась в зеркало. Каштановые волосы утратили

детскую золотистость… В голубых глазах — крапинки неопределенного цвета, как в шерсти для вязания. Почти квадратный подбородок, который больше не вызывает у нее досаду. Она попыталась улыбнуться сама себе, но как-то не получилось. Надо думать, она действительно куда ни шло: не ослепительна, не кичлива, однако же куда ни шло.

Из зеркала на нее смотрели шерстяные глаза, и Джин почувствовала, что теперь знает все тайны, все тайны жизни. Был в ее детстве темный, теплый сушильный шкаф, и она вынула оттуда что-то тяжелое, в коричневой оберточной бумаге. Теперь не было нужды исхитряться — не было нужды отвинчивать крышечку махонького смотрового отверстия, подсвечивая себе фонариком, и заглядывать внутрь. Она теперь взрослая. Могла бы осторожно и сосредоточенно развернуть бумагу. И ведь знала, что увидит: четыре узких клинышка охристого цвета. Подставки под мячи для гольфа. Ну разумеется. Чего еще было ожидать? Только ребенок мог принять их за гиацинты. Только ребенок мог надеяться, что они прорастут. Взрослые знали, что гольфовые «тишки» не прорастают.

2

Три мудреца – вы шутите?

Граффити, ок. 1984

Майкл высекал каблуками искры. Таким он запомнился Джин на долгие годы. В чулане для инструментов у него хранилась сапожная колодка — тяжелая железная штуковина о трех лапах, похожая на герб какого-нибудь опереточного государства: на ней он приколачивал стальные подковки к каблукам каждой пары новой обуви. При ходьбе он слегка опережал Джин, поэтому она то и дело ускоряла шаг и волей-неволей совершала неуклюжие перебежки. А он шел чеканной поступью, и ей слышался скользящий скрежет мясницкого ножа на ступеньке лестницы черного хода, а из тротуара высекались искры.

Замужество Джин продлилось двадцать лет. После виноватого разочарования медового месяца наступило более затяжное, более медлительное уныние совместного существования. Возможно, до свадьбы она слишком живо себе представляла, что оно будет точно таким же, как их существование порознь: что продолжится

жизнь под высоким воздушным небом и легкими, вольными облаками, жизнь с поцелуями при вечернем расставании, с взволнованными фразами, глупыми играми и невысказанными, но волшебным образом исполненными мечтами. Теперь она обнаружила, что надежды, задуманные для воплощения, надо хоть как-то проговаривать, а игры в одни ворота стали казаться уж слишком глупыми; что же до взволнованных фраз, они столь неотступно и регулярно следовали за поцелуями перед сном, что волнения хватало ненадолго. Майкл, вне всякого сомнения, испытывал те же чувства.

Но более всего озадачивал ее вопрос: насколько прочной может быть совместная жизнь без малейшего ощущения той близости, какую она себе рисовала. Они жили, столовались и спали вместе, обменивались шутками, недоступными посторонним, были осведомлены в отношении друг друга вплоть до нижнего белья; но, судя по всему, из этого складывались лишь повседневные привычки, а не высоко ценимое точное предвидение реакций. Джин воображала (разве нет?), что жимолость обовьется вокруг боярышника, что посаженные бок о бок молодые побеги сплетутся в арку, что две ложки соединят свои контуры и

уместятся одна в другую, что двое сольются в единое целое. Глупые мысли, понимала Джин — на уровне детских книжек с картинками. Ей тем не менее удавалось хранить любовь к Майклу, хотя так и не довелось научиться читать его мысли и предугадывать ответные действия. Ложке не прильнуть к ножу, вот и все. Ошибкой было вообразить, что брак способен изменить математику. Один плюс один всегда равно двум.

В браке мужчина меняется — это предрекали женщины со всей округи. Наберись терпения, девочка, говорили они. Так что ее не слишком удивляло постепенное притупление удовольствий и зарождение вялых бестактностей. Куда больше удручало ее то, что доброта и нежность, которые Майкл проявлял в пору своих ухаживаний, теперь сделались для него источником раздражения. Очевидно, его злила мысль о том, что после свадьбы от него ожидают прежних добродетелей, а из самой этой злости проистекала еще большая озлобленность. Послушай и не спорь, всем своим видом говорил он, ты считаешь, что прежде я пускал тебе пыль в глаза. Я тебя не обманывал. Тогда я не злился, а теперь злюсь: как ты смеешь обвинять меня в нечестности? Однако Джин мало трогало, что когда-то он был с

ней честен: теперь-то он злобствовал.

Конечно, в этом, скорее всего, была ее вина. И, допускала она, вполне естественно, что ее бездетность вызывает у Майкла вспышки необъяснимого гнева. Необъяснимого не из-за беспричинности (повод-то был), но потому, что ее неспособность зачать оставалась постоянной, тогда как его вспышки ярости всегда прорывались несвоевременно.

Поначалу он хотел направить ее к специалисту. Но она помнила предыдущий эпизод, когда он ее убедил (нет, хитростью заставил) поехать в Лондон. Одной такой специалистки, как доктор Хедли, ей хватило на всю жизнь. Потому она отказалась.

— Мне, вероятно, требуется альпийский воздух, — сказала она.

— Ты, собственно, о чем?

— Альпийский воздух восстанавливает жизненные силы личности, — процитировала она, как общую истину.

— Джин, дорогая. — Он сжал ее запястья, будто собираясь сделать сердечное признание. — Тебе хоть кто-нибудь когда-нибудь говорил, насколько чудовищно ты глупа?

Она отвела глаза; он сжимал ее запястья; понят-

ное дело: чтобы он ее отпустил, ей пришлось бы посмотреть ему в глаза или по крайней мере дать ответ. Что толку ее изводить? Пускай она глупа, хотя у нее были на этот счет некоторые сомнения, но даже если так, неужели это повод для злости? В пору его ухаживаний она была ничуть не умнее, однако он, похоже, тогда ничего не имел против. У нее свело живот.

В конце концов с некоторым вызовом, но избегая смотреть на него в упор, она сказала:

— Ты обещал не возвращать меня по месту приобретения, если во мне обнаружится изъян.

— Что?

— Съездив к доктору Хедли, я спросила, не отошлешь ли ты меня назад, если найдешь во мне изъян. Ты сказал, что нет.

— А при чем тут это?

— Если ты все же считаешь, что я бракованный товар, можешь отослать меня назад.

— Джин. — Он сдавил ей запястья еще сильнее, но она отказывалась вглядываться в это мясистое красное лицо на мальчишеской шее. — Господи. Да послушай ты. — В его голосе зазвучало остервенение. — Послушай, я тебя люблю. Господи, люблю, люблю. Просто иногда мне хочется, чтобы ты была… другой.

Другой. Да, ей было понятно такое желание. Она чудовищно глупа и бездетна. А он хочет видеть ее умной и беременной. Вот так, все просто. «Орел — значит, будут детишки. Решка — мы купим кота». Придется им завести кота.

— У меня спазмы, — сказала она.

— Я тебя люблю, — ответил он, почти сорвавшись на крик от ожесточения.

Впервые после пяти лет замужества это признание оставило ее равнодушной. Не то чтобы она ему не поверила, но теперь вопрос выходил далеко за пределы честности.

— У меня спазмы, — повторила она, чувствуя себя малодушной из-за неспособности посмотреть ему в лицо.

Безусловно, его презрение только нарастало из-за ее жалоб на неведомые спазмы.

В конце концов он отпустил ее запястья. Но в течение последующих месяцев не раз возвращался к вопросу о том, что «ей надо пойти к специалисту». Джин соглашалась с этой расплывчатой формулировкой, хотя про себя репетировала фразы, вычитанные ею под храп — за стенкой — Восхода Проссера. «Несоответствие размеров и позиций половых органов», «вагинизм». Застойные явления: она подумала о водопроводчиках,

которых вызывают прочищать раковины, и содрогнулась. Бесплодная — вот это правильное слово, библейское. Бесплодная. Бесплодие. От бесплодия мысль ее перешла к пустыне Гоби, а дальше как было не вспомнить дядюшку Лесли: «Головку лопаты тащить по земле нельзя, — наставлял он, — не то песка полетит больше, чем ветреным днем в пустыне Гоби». Ей привиделся гольфист в песчаном бункере, который неумело бьет, бьет, бьет клюшкой, а мяч так и не показывается.

Впрочем, иногда она задавалась вопросом: считается ли ее состояние тем самым изъяном, каким его определенно считает Майкл? В пору его ухаживаний она подмечала, как он напрягается при каждом своем упоминании о детях. Ладно, об этом потом, решила она. А затем ее соприкосновение с первой проблемой привнесло и некоторый скептицизм по поводу второй.

Быть может, она не бесплодна, а просто неординарна. Или же и то и другое. Чудовищно глупая, бесплодная и неординарная: вот так она, должно быть, выглядит со стороны. Изнутри все ощущалось по-другому. Можно было сбросить со счетов бесплодие и нестандартность, ведь именно эти признаки заметны со стороны. Что же до чудо-

вищной глупости, она могла признать точку зрения Майкла, но могла и выйти за ее пределы. По мнению Джин, ум не представлял собой такое незамутненное и неизменное свойство, какое видится окружающим. Умная — это примерно как хорошая: рядом с одним человеком ты — сама доброта, а рядом с другим — злодейка. Можно быть умной для одного человека и глупой для другого. Отчасти это определялось уверенностью в себе. Хотя Майкл, как законный муж, провел ее от девственности и юности до женской зрелости и опытности (во всяком случае, так считалось в мире), обеспечил ей физическую и материальную защиту, дал фамилию Кертис взамен Сарджент, но, как ни странно, не смог дать уверенности. В некотором смысле она была куда уверенней в бытность свою восемнадцатилетней дурочкой. В двадцать три года, рядом с Майклом, она уже чувствовала себя не столь уверенной, а оттого и не столь умной. Такой поворот событий граничил с жестокостью: вначале Майкл сделал ее менее умной, а потом сам же осудил за то, какой она стала по его милости.

Не исключено, что и бесплодной сделал ее он сам. Возможно ли такое? Ничего невозможного нет, думалось ей. Поэтому, когда они в очередной

раз поспорили о ее неполноценности, она подняла глаза, выдержала его взгляд и быстро, пока не улетучилась отвага, сказала:

— Первенство уступаю тебе.

— В смысле?

— Первенство уступаю тебе.

— Джин, что за ребячество? Повтор ничего не объясняет.

— Возможно, ты сам неполноценный.

Тогда он поднял на нее руку. Причем в первый и единственный раз за всю их совместную жизнь: хорошо еще, что это был не удар, а, скорее, неловкий тычок, который пришелся туда, где плечо переходит в шею; но в то время она этого даже не поняла. Пока она бежала из комнаты, слова обрушивались на нее под разными углами. «Сучка», — услышала она от него впервые в жизни, и «тупица», и «бабенка»: это последнее слово билось и оттачивалось, пока не приобрело острие, которое может полоснуть.

Эти слова неслись ей вслед даже после того, как за ней захлопнулась дверь. Но эта преграда лишила их смысла: два дюйма плотно пригнанного массива превращали неистовое расчленение ее характера в простой шум. Ощущение было такое, будто Майкл швыряется разными предметами,

которые при ударе о дверь издают один и тот же звук, будь то тарелка, чернильница, книга, нож или увешанный перьями томагавк, даже не затупившийся от множества предыдущих жертв. Разбираться она не стала.

И была за это благодарна судьбе, когда в течение нескольких дней возвращалась мыслями к этому скандалу, принимала извинения Майкла и отвергала его ласки. Милые бранятся — только тешатся: зачем люди выдумывают такие пословицы, если не для того, чтобы с точностью доказать обратное? Болячки затягиваются — это она знала по себе (те первые спазмы в животе прошли за час), а слова постепенно изъязвляют. «Бабенка», — прокричал ей Майкл, сначала скрутив звук в комок, чтобы метнуть его дальше и прицельнее. «Бабенка»: в само́м слове отравы не было, но весь яд содержался в тоне голоса. «Бабенка», три непримечательных слога, которые вобрали в себя новый смысл: «все, что меня бесит».

После этого тема деторождения была закрыта. Годами они продолжали заниматься любовью, обычно раз в месяц или по крайней мере каждый раз, когда у Майкла вроде как возникало желание; но Джин в этом деле проявляла пассивность. Когда она думала о Майкле в плане секса,

ей грезился переполняющийся бак, из которого приходится время от времени сливать воду; не сказать, что указанное занятие доставляло ей большие неудобства, — оно просто вошло в обиход. Что же касалось ее самой в плане секса, она предпочитала об этом не задумываться. Иногда притворялась, скорее из вежливости, что испытывает больше удовольствия, чем на самом деле; секс больше не казался ей забавным; она считала его обыденным. А все эти некогда затверженные фразы, глупые, волнующие фразы, которые с ней как бы заигрывали, теперь доносились из очень давних времен — с острова под названием «Детство». Остров этот невозможно покинуть, не вымокнув. Рисуя себе две схемы волн, что сталкиваются под прямым углом, она испытывала некоторую вину. Что же касается тех расхожих формулировок — как на предмет кривой нормального влечения, так и на предмет слабых и неустойчивых подъемов глубинных вод у женщин, страдающих от утомления и значительных нагрузок, — они представлялись ей выцветшими граффити, мельком увиденными на стене деревенской автобусной остановки.

Никакой альпийский воздух ей не требовался; а утомление, от которого она страдала, было не

физическим в своей основе. Для Майкла она вела хозяйство и занималась садом; содержала череду домашних питомцев, зная, что в пригороде их считают суррогатом детей. Откармливала кабанчика, который сбежал и был застукан на шоссе за обгладыванием разделительных столбиков с катафотами. Поддерживала связи с тайными животными, которые приходили, не попадаясь ей на глаза. Временами, лежа в кровати, она слышала, как ежик, словно выстукивая благодарность, громыхает крышкой, в которую налито молоко, и улыбалась.

Двадцать лет она исполняла отведенную ей роль в пригородной жизни: пила чай в гостях и дома, оказывала помощь, делала пожертвования и стала, в своем собственном представлении, совершенно анонимной. Не считая себя несчастной, она едва ли была счастлива; пользовалась расположением соседей, но не участвовала в местных интригах и позднее сочла себя довольно заурядной. Майкл — тот определенно считал ее заурядной. Но было кое-что и похуже. В детстве ей иногда представлялось, что она сделается какой-нибудь заметной личностью или, по крайней мере, женой заметного джентльмена, но ведь сходные планы в детстве строят все, разве

нет? Дополнительные округлости смягчили ее угловатое лицо. Низкое серое небо с едва различимыми отдельными облаками постоянно угрожало дождем.

Временами, на протяжении многих лет, она задавалась вопросом, нет ли у Майкла любовной связи на стороне. Ни следов губной помады на воротнике сорочки, ни тайком рассматриваемых фотографий, ни поспешно прерванных телефонных разговоров она не выявила, а учитывая профессию Майкла, ничего такого и опасаться не стоило. Единственная улика проявлялась в его взгляде: иногда он смотрел на нее так, будто вглядывался с высоты восемнадцати тысяч футов в дымящийся сухогруз. Вопросов она не задавала, а он не делал признаний. У кого бы повернулся язык рассуждать о двойной жизни?

Родители ее умерли. В возрасте тридцати восьми лет у нее прекратились месячные, что не вызвало ни удивления, ни расстройства: ее существование, чувствовала она, давно прекратило себя определять. Хотелось ли ей иногда завопить среди ночи? А кому не хотелось? Одного взгляда на жизнь других женщин ей было достаточно, чтобы понять: все могло бы сложиться куда более скверно. Заметив у себя первый седой волос, она

не стала ничего предпринимать.

Почти через год после прекращения месячных у нее наступила беременность. Она попросила врача продублировать все анализы, прежде чем смирилась с его вердиктом и объяснила причину своего удивления. Врач ответил, что такие случаи единичны, и с расплывчатой вежливостью пробормотал что-то насчет поездов до Лондона. Коротко его поблагодарив, Джин отправилась домой, чтобы поделиться с Майклом.

Она, в сущности, не отдавала себе отчета в том, что испытывает мужа, хотя спустя годы призналась себе, что, видимо, испытывала. Вначале он разозлился, причем как-то по-новому, едва ли не сам на себя; не иначе как хотел бросить ей обвинение в связях на стороне, но передумал: то ли осознал нелепость таких подозрений, то ли устыдился собственных грешков. Потом решительно объявил, что заводить детей им уже поздно и что от ребенка она должна избавиться. Потом отметил, что это весьма странный поворот событий после двадцати с лишним лет брака. Потом высказался более пространно, объявив, что вся эта история довольно чудна́я, и посмеиваясь над тем, как удивятся мужики. Потом у него на лице появилось расслабленное туповатое выражение,

и он умолк; не иначе как проигрывал в уме сценки отцовства. Наконец, он повернулся к Джин и спросил, что она сама думает на сей счет.

— Да вот, собираюсь родить и от тебя уйти. — У нее и в мыслях не было делать подобные заявления, но слова, которые вырвались как-то сами собой, инстинктивно, без напускной бравады, ничуть ее не удивили.

Равно как и Майкла: тот просто хохотнул.

— Ишь ты, лапушка моя, — бросил он с забавным акцентом, который Джин в обычных обстоятельствах сочла бы ерничеством; теперь она не знала, что и думать. Майкл явно был в полной прострации.

— Нет, я, наверное, от тебя уйду, а потом буду рожать. В такой последовательности.

И опять собственные слова не смогли ее удивить; теперь, когда она их повторяла, они казались ей не просто неоспоримыми, но почти банальными. Страха тоже не было, хотя она и ожидала, что Майкл вспылит.

Вместо этого он погладил ее по руке, говоря:

— Отложим этот разговор до завтра, — и стал рассказывать об участившихся кражах одежды в местном универмаге, которые наконец-то были раскрыты: в женской примерочной установили

двухстороннее зеркало, а в шкафу, оснащенном тревожной кнопкой, затаился сержант сыскной полиции, который и задержал переодетого женщиной воришку, когда тот засовывал блузы себе в бюстгальтер.

Она хотела сказать: «Послушай, мое решение никоим образом тебя не касается. Я выбираю более трудный путь, вот и все. На самом деле мне хочется перворазрядной жизни. Может, я ее и добьюсь, но единственный доступный мне шанс — это выкарабкаться из жизни второразрядной. Возможно, из этого ничего не выйдет, но я, честное слово, хочу попробовать. Это касается только меня, но не тебя, так что не беспокойся».

Но у нее бы язык не повернулся такое сказать. Всегда нужно соблюдать деликатность, и прежде всего в вопросе о том, есть ли у Майкла отношения на стороне. Никто не отменял определенные правила поведения, необходимость держать себя в руках, укрощать приступы злости, уважать ложь во спасение, взывать к чувствам собеседника, которые, как оба притворялись, есть в наличии, даже если ты подозреваешь их полное отсутствие. Все это, конечно, входило составной частью в ее понятие второразрядной жизни.

Она понимала, что для Майкла ее уход, скорее

всего, станет ударом; но это соображение не вынудило ее остаться, а, напротив, пробудило некоторое презрение к мужу. Гордиться тут было нечем, но и отрицать свою реакцию она не могла. Впервые за все годы их брака она сознательно добилась от него некоторого подчинения. Не исключено, что власть над другим человеком всегда стимулирует пренебрежение; быть может, по этой причине он и считал ее чудовищно глупой. Если так, то оставаться тем более не имело смысла.

Ей хотелось уйти сразу, но она передумала. Для ребенка будет лучше, решила она, если он первые несколько месяцев поспит без лишних оглушительных раскатов предстоящей жизни — уличной жизни; лучше не обрекать его на горести раньше, чем придется. И еще надо было сделать маленький прощальный жест уважения в сторону Майкла. Если исчезнуть сейчас, на раннем сроке беременности, весь пригород будет шушукаться: дескать, сбежала к любовнику, к некоему жиголо из тех, что подвизаются на чайных танцульках, а то и к цирковому силачу. Если же уйти с ребенком или на позднем сроке, никто не будет знать, чему верить. Знакомые, вероятно, сочтут, что она рехнулась. Говорят, такое не ред-

кость — женщины частенько сходят с ума после родов; а в ее возрасте такой риск еще выше.

Соседки ей говорили, что позднее дитя — это дитя богохранимое. Доктор вполголоса предупредил о синдроме Дауна и опять упомянул поезда на Лондон. Майкл не спускал с нее глаз: он разрывался между мальчишеским бахвальством и неопределенными страхами. Страхи эти носились в воздухе, но она не делала ничего, чтобы их развеять; напротив, она их использовала. Зная, что беременным положено вести уединенный образ жизни, что мать и вынашиваемый ею младенец образуют автономную республику и что древние племенные верования учат мужчин держаться в рамках, когда их жены округляются, она преобразила свои страхи в благоговейный трепет, который часто выражался в слезливости.

Так что Джин позволила себе изображать бóльшую погруженность в себя, чем ощущала на самом деле. Она также начала капризничать, поскольку этого от нее, собственно, ожидали. Иногда у нее и вправду возникала склонность к капризам: от насыщенного мучнистого запаха куриного корма ей хотелось поднести ведро к губам и отпить; но она не упоминала эти нормальные странности своего положения. Вместо

этого во время долгих прогулок под тусклым серым небом она упражнялась в более широком спектре капризов, умышленно поступая вопреки своим чувствам и нравам. Она обнаружила, что может выражать досаду и скуку при Майкле, хотя прежде скрывала эти эмоции; теперь она давала им выход при каждом удобном случае.

Беременность, судя по всему, подталкивала ее к более масштабным ожиданиям, а легкая капризность нашептывала ей, как тайный ветерок, что характер не обязательно должен оставаться неизменным. Эта фаза нечестности ей не особенно нравилась, но представлялась важной; пока еще она не настолько осмелела, чтобы оказаться предельно честной. Это свойство могло прийти с наступлением новой жизни — с ее второй жизнью. Ей вспомнилось разочарование от гиацинтов дядюшки Лесли. Что ж, возможно, подставка под мяч для гольфа и способна пустить ростки. В конце-то концов, она же сработана из дерева.

* * *

Под плоским равнодушным небом той осени, когда теплый ветерок, раздувая полы плаща, выставлял напоказ ее живот, ей иногда вспоминался

пилот-сержант Проссер. Его постой благополучно завершился за несколько недель до ее свадьбы. Он топтался у пропитанной креозотом калитки с резным узором в виде восходящего солнца, иногда резко дергая головой, чтобы убедиться в сохранности чемодана, зажатого под мышкой; наконец улыбнулся, даже не взглянув на Джин, и зашагал прочь. Джин рассчитывала пригласить его на венчание, но Майкл нахмурился. Какая судьба постигла Проссера? Джин воздела глаза к небу, почти ожидая получить ответ.

Проссер был храбрым. Он говорил, что несерьезен, говорил, что обжегся, но дело было не в этом. Нет отваги без страха и без признания страха. Мужская отвага отлична от женской. Отвага мужчин состояла в том, что они уходили и чудом оставались в живых. Отвага женщин (по общему мнению) заключалась в стойкости. Мужчины проявляли отвагу в ожесточенных схватках, женщины — в периодах долготерпения. Это соответствовало природе тех и других: мужчины более колючи, более вспыльчивы, чем женщины. Вероятно, чтобы стать храбрым, надо быть злым. Мужчины уходили в большой мир и проявляли храбрость; женщины, перенося их отсутствие, сидели дома и проявляли отвагу. К

тому же, с иронией подумала Джин, мужчины возвращаются домой и проявляют несдержанность, а женщины выказывают отвагу тем, что терпят их присутствие.

На седьмом месяце она ушла от Майкла; в то последнее утро по привычке сходила в магазин и закупилась продуктами для мужа. Впереди, несомненно, ее подстерегали досадные трудности, вроде… ну, подоходного налога; но если раньше эти опасения могли бы на годы отсрочить ее уход, теперь все они отодвинулись на второй план. Она не обнадеживала себя тем, что с беременностью стала мудрее, просто у нее изменился угол зрения; хотя это само по себе, возможно, и было формой мудрости. Задумываясь о соседских браках, она испытывала облечение оттого, что ее замужество оказалось ничуть не хуже многих. Миссис Лестер, которая, бывало, по нескольку дней не выходила из дома, если синяки чересчур бросались в глаза, однажды ей призналась:

— Понятное дело, с ним сладу нет, но кто его будет обстирывать, если я уйду?

Для миссис Лестер в такой логике содержалось печальное совершенство брака; в тот раз Джин кивнула, а сама подумала, что миссис Лестер, конечно, наивна, но не до такой же степени.

Деревенские женщины (а Джин не исключала себя из их числа) всегда главенствовали над мужьями. Готовили, накрывали на стол, занимались уборкой и стиркой, ценили мужское мнение и принимали мужское видение мира. Взамен они получали деньги, кров, защиту, детей и необратимое продвижение по деревенской иерархии. Такая сделка выглядела вполне достойно, и, совершив ее, женщины за глаза отзывались о мужьях покровительственно, называли их детьми, судачили об их маленьких слабостях. Мужья, со своей стороны, считали, что главенствуют над своими женами: надо быть твердым, но справедливым, говорили они, и если ты им покажешь, кто в доме хозяин, регулярно будешь выдавать деньги на хозяйство, не сообщая, какую заначку оставляешь себе на пиво, то все будет путем.

Тот из супругов, кто уходил из семьи, всегда считался виноватым. «Она просто встала и увеялась»; «он тут же ее бросил». Уйти означало предать; уйти означало отказаться от своих прав; уйти означало выказать слабость характера. «Через не могу»; «и шипы, и розы»; «свое горбато, да дороже злата»; «взлеты и падения»; «не может длиться вечно». Как часто она слышала эти присловья, которые бодро произносились и

бодро принимались на веру. Бегство, говорили люди, указывает на отсутствие отваги. Джин приходило в голову, что справедливо-то, наверно, противоположное.

Чудовищно глупа, сказал Майкл. Если я чудовищно глупа, то и ты, видать, не шибко умен, раз на мне женился. Вот так и надо было его срезать. А еще лучше: да, я чудовищно глупа, если столько лет тебя терпела. Но по правде говоря, все было не так уж плохо: миссис Лестер пришлось куда тяжелее. Но когда Майкл проорал ей «бабенка» и это слово шрапнелью рассыпалось по комнате, ей стоило бы негромко ответить: «мужичонка». Что означало бы: конечно, ты и ведешь себя соответственно, тебе, наверное, тоже тяжело, мне тебя жаль. Мужчин надо жалеть; жалеть и бросать. Женщин воспитывали в убеждении, что мужчины — это ответ на все вопросы. Ничего подобного. Они не представляли собой даже ни один из вопросов.

«Как я сказала, так и сделала». Это все, что она сообщила в своей записке. Ей пришлось оставить это послание, а иначе Майкл мог бы все неправильно понять и начать поиски тела во всех водоемах. Но вдаваться в объяснения она не обязана; и самое главное — не должна извиняться.

«Как я сказала, так и сделала». Этим словам на тетрадном листе в голубую линейку, оставленном на кухонном столе, придавала дополнительный вес пара колец: одно — серебряное, с единственным гранатом, помолвочное (от матери Майкла), второе — платиновое, обручальное. Когда поезд уносил ее вдаль, она твердила себе: «Как я сказала, так и сделала». Слишком долго она слышала, принимала и сама произносила «мы», в которое не верила. Теперь его сменило «я». Хотя недалек тот час, предполагала Джин, когда оно превратится в новое «мы»; но совсем другое. Мать и дитя: каково же будет это «мы»? Порывшись в сумочке, она вытащила тонкую полоску жести. «ДЖИН САРДЖЕНТ XXX», — обнадеживала надпись.

На время рождения Грегори ей отключили сознание. На всякий случай — так ей сказали; возраст, то да се, могут быть осложнения. Джин не возражала. Очнувшись, она услышала, что у нее чудесный мальчик.

— Он… — она как будто ввинчивалась в ту часть своего мозга, которая еще спала, — он… неполноценный?

— Боже упаси, миссис Сарджент, — ответили ей с упреком, как будто даже чуть-чуть недотягивающие до идеала новорожденные бросали тень

на медицинское учреждение.

— Постыдились бы. У него все органы на месте.

Выглядел он точно так же, как другие младенцы, а Джин, точно так же, как другие матери, считала свое дитя совершенством, превосходящим любые поэтические описания. Он был обыкновенным чудом: смесью ранимости и свершения, отчего Джин металась между страхом и гордостью. Когда эта тяжелая головка заваливалась назад на своей напоминающей капустный стебель шейке, Джин испытывала колющую боль тревоги; когда крошечные пальчики хватались за ее большой палец, подобно тому как атлет хватается за перекладины шведской стенки, она чувствовала, что ее обволакивает удовольствие. Сначала она вроде бы очень много за ним убирала: одни только ушки знали, как себя вести, но каждое другое отверстие его тела норовило выделить как можно больше секреций. Впрочем, очень скоро она к этому привыкла, равно как и к новым младенческим запахам. Она начинала с нуля, важно это помнить; Грегори подарил ей шанс начать с нуля. За это она будет его любить еще больше.

Она освоила звуки, которые его успокаивали, отчасти позаимствованные из тех дней, когда

у нее были домашние животные. Кудахтала и тарахтела; иногда для разнообразия жужжала, как насекомое или далекий самолет. У ребенка прорезался первый молочный зуб, и она сочла это событием вселенского масштаба, куда более важным, чем первый искусственный спутник земли.

Пока он не пошел в школу, она всюду таскала его с собой. Подрабатывала в пивных, в дешевых ресторанах и гамбургерных. Она помнила, как от детских пеленок пахло жареным луком; она помнила, как укладывала его спать в задней комнате паба «Герцог Кларенс», словно некоего тайного двухлетнего пьяницу; она помнила терпеливый настороженный взгляд, который он бросал на взмокшего повара, изможденного официанта, сквернослова-извозчика. Ее нанимали часто совали ей лакомые кусочки, чтобы подкормить мальчугана. Одевать его помогали непредсказуемые дары дядюшки Лесли, который вернулся из Америки и теперь вместо корзин с провизией для пикника присылал ей посылки с одеждой. Кое-какие вещи требовали небольших переделок. Когда Грегори исполнилось пять лет, он получил двубортный парадный костюм (сорок второго размера), жатую выходную рубашку и пурпурного цвета широкий матерчатый пояс.

Грегори почти никогда не жаловался. Из него вырос тихий послушный мальчик, чье любопытство сдерживалось страхом; он предпочитал не столько сам играть, сколько наблюдать за чужими играми. Жили они, раз за разом переезжая, в небольших рыночных городках, где имелся автобусный парк, но не было собора; Джин с подозрением относилась к сельской жизни и остерегалась мегаполисов. Жилье они с сыном арендовали, избегая контактов с другими людьми; Джин старалась забыть Майкла. Грегори никогда не выражал недовольства по поводу их кочевого образа жизни, а когда спрашивал, каков из себя его отец, получал весьма конкретные ответы с туманными ссылками на суровых учителей в школах, где уже не учился.

На первых порах они часто переезжали с места на место. Проходя мимо полисмена, она вспоминала Майкла, вечно нервничала и подозревала, что все сослуживцы на нее стучат. Когда констебль на улице пригибал голову к лацкану и начинал бормотать в переносную рацию, Джин явственно видела Майкла, сидящего, подобно Уинстону Черчиллю, в каком-нибудь подземном штабе. Она представляла, как с листовки «Разыскивается» глядит ее изображение, освещенное

тусклой голубой лампой. Майкл точно знает, где она находится, и распорядится, чтобы их отправили восвояси. Он сделает так, что привезут их в открытом фургоне. На шеях будут беджи с надписями, и все деревенские будут оборачиваться, чтобы освистать жену-беглянку. Джин с оттенком иронии вспоминала совет из книжки о браке: «Маневрируйте».

Или он добьется, чтобы у нее отняли Грегори; в этом состоял ее истинный страх. Заявит, что она сбежала и не справляется с воспитанием их сына; и ведь окажется прав — ее в конце концов признают умственно отсталой. Заявит, что она безответственна, скажет, что крутила интрижки на стороне. Грегори заберут, он будет жить с Майклом, Майкл поселит в доме любовницу под видом домоправительницы. Деревня будет его превозносить за спасение родного сына от матери — бродяжки и проститутки. А ей припишут цыганскую кровь.

Так что они постоянно были в бегах. Им поневоле приходилось срываться с места, и Джин не успевала заводить любовные связи. Она их не искала и, пожалуй, даже чуть-чуть побаивалась… что там Проссер говорил насчет того, чтобы «обжечься дважды»? Конечно, она опасалась, что в

случае интрижки у нее отберут Грегори. В газетах писали о таком. А потому, когда к ней пытались подъезжать мужчины или только намечалась такая вероятность, а особенно когда ей и самой этого хотелось, она становилась молчаливо-неприступной; начинала теребить латунное обручальное кольцо, купленное с рыночного лотка, и подзывала к себе Грегори. Внешне она сделалась малость неряшливой; мирилась с появлением седых прядей и втайне ждала, когда же можно будет махнуть на них рукой. Майкл ее не преследовал. Спустя годы выяснилось, что он нет-нет да позванивал дядюшке Лесли, требовал от него клятвы хранить молчание и выспрашивал новости. Где они живут, какие у Грегори успехи в школе. Он ни разу не призвал их вернуться. Не поселил в доме любовницу и даже не нанял экономку. Умер от инфаркта в пятьдесят пять лет, и Джин, претендуя на его имущество, считала, что получает алименты задним числом.

Однажды под Рождество Грегори, которому было тогда десять лет, получил от дядюшки Лесли набор юного авиамоделиста. После войны Лесли вернулся в Англию с историями (если кто соглашался выслушать) о причудливых и опасных затеях: все его байки начинались с того, что он

жестами требовал секретности. Но теперь Джин пресытилась мужскими приключениями. Или, быть может, она просто переросла дядю Лесли: это безжалостное правило, но никто не может навсегда остаться прежним дядюшкой. Она хорошо относилась к Лесли, однако об их детских играх теперь не могло быть и речи; она все чаще ловила себя на том, что говорит: «Ой, Лесли, да замолчи ты», когда тот порывался рассказать Грегори о том, как еще в сорок третьем провел через Ла-Манш сверхмалую подводную лодку; как на морском берегу близ Дьеппа задушил гарротой немецкого часового; как взобравшись на скалу, подорвал динамитом местный завод по производству тяжелой воды, а потом спустился по веревке и был таков. Пока Лесли расписывал беззвездную ночь и рябь на морской поверхности от скольжения подлодки-малютки в толще темной воды, Джин бормотала: «Ой, Лесли, да замолчи ты», хотя при взгляде на две разочарованные физиономии понимала, что несправедлива. Почему она лишала Грегори удовольствия от того, чему некогда и сама радовалась в обществе дяди Лесли? Да потому, наверное, что это была сплошная ложь, думала она. Лесли давно перевалило за шестьдесят, хотя он признавался лишь в том, что

двадцати пяти ему уже не видать. Он больше не мотался в Старый Зеленый Рай — ну разве только для того, чтобы помыть за ушами. Возможно, это постоянное мытье и повлияло на его чувство истины.

Игрушечный авиаконструктор предполагал сборку модели «лайсандера», и Грегори корпел над ней не один день, пока не обнаружил, что в наборе не хватает основной опоры шасси и части хвоста. Возможно, модель вела свое происхождение от одной из хитрых бартерных сделок Лесли: судя по всему, он считал деньги слишком примитивной формой обмена. Джин пошла в магазин моделей и спросила о сменных деталях; но именно эта конкретная линия была снята с производства несколько лет назад.

В порядке утешения она купила для Грегори авиаконструктор — «харрикейн» и с гордостью исподволь наблюдала, как он вырезает первые ноги шасси из пробковой древесины. Работал он молча, при этом свет лишь время от времени падал на маленький латунный ножик с изогнутым лезвием. Аэроплан ей нравился больше всего, когда стоял на пачке газет в виде каркаса, элегантный и безобидный. Позже, обтянутый тканью, он приобретал намекающий на серьез-

ность вид. В наборе имелись плексиглас для фонаря, тонкая глянцевая бумага для крыльев и фюзеляжа, желтый пластмассовый винт и желтые пластмассовые колеса. Целый день в воздухе висел запах грушевых леденцов, пока Грегори покрывал обшивку самолета специальной пропиткой; обшивка провисла и поникла, а затем по мере высыхания плотно натянулась. В инструкциях предлагалось выкрасить «харрикейн» в камуфляжные цвета: вихрящийся зеленый и коричневый сверху, чтобы он сливался с английской сельской местностью, и серо-голубой снизу, так чтобы он сливался с неопределенным английским небом. Грегори покрасил его в алый цвет — целиком. У Джин отлегло от сердца. Этот изящный, знакомый с давних времен контур ее радовал, но в то же время огорчал; теперь, в своей шутливой окраске и с дурацкими желтыми колесиками, он в итоге оказался не более чем детской игрушкой.

— Когда запуск?

Но Грегори только покачал головой. Этому прилежному круглолицему мальчугану десяти лет недавно прописали очки. Он собрал «харрикейн», чтобы любоваться, а не запускать. Запустишь — он, чего доброго, развалится. А если развалится,

значит был собран кое-как. Рисковать не стоило.

Потом Грегори собрал алый «харрикейн», пурпурный «спитфайр», оранжевый «мессершмитт», а также изумрудно-зеленый «зеро»; не запустил ни одного. Возможно, он почувствовал безмолвное удивление матери и, возможно, истолковал его как разочарование, потому что однажды вечером он объявил, что купил «вампира» в комплекте с реактивным двигателем и намерен его запускать. И опять Джин наблюдала за его насупленной собранностью и за нежной точностью поблескивающего ножичка, рассекающего мельчайшую частицу пробкового дерева. Она видела, как у Грегори на кончиках пальцев застывает клей, образуя вторую кожу, которую он сдирал в конце дня. Она вдыхала запах грушевых леденцов и вновь обращала внимание на те замысловатые манипуляции, благодаря которым хрупкая модель обретала прочность и натянутую как струна уверенность. С виду «вампир» был неуклюжим: короткий стручок-фюзеляж, хвостовое оперение, прикрепленное к крыльям длинными планками. На взгляд Джин, он напоминал выросший на садовой шпалере масляный боб… пока Грегори не выкрасил его в золотой цвет.

Они обосновались в съемной квартирке на

окраине Тоустера, в доме с пожарной лестницей, зигзагами сбегающей по задней стене. Грегори обычно не доверял этим чешуйчатым железным ступенькам и опасался даже сплошных площадок, где лестница меняла направление; но теперь он не проявил никакой настороженности. Они вдвоем стояли на высоте пятнадцати футов над землей; в двадцати ярдах от них две елки помечали границу сада, а дальше, за рыжеватой живой изгородью из буковых деревьев, лежала открытая сельская местность. В небе, по-осеннему бледно-голубом, плыли редкие высокие облака, похожие на инверсионный след самолета; веял легкий ветерок. Идеальная летная погода.

Грегори снял крышку с маленького алюминиевого двигателя в нижней части вампирова фюзеляжа и вставил коричневый цилиндрик твердого топлива. Он протолкнул фитиль ровно на дюйм через маленькое отверстие, поднял модель на высоту плеч, держа ее за масляный боб фюзеляжа, и попросил мать поджечь запал. Когда он стал потрескивать и ярко вспыхнул, Грегори бережно запустил «вампира» в приветливый воздух.

Самолет парил идеально, как будто изо всех сил старался показать, насколько скрупулезно была

выполнена работа Грегори. Беда в том, что он, не переставая мягко парить, опустился на лужайку — правда, без каких-либо повреждений. Возможно, фитилек выгорел слишком быстро и не успел воспламенить ракетное топливо; или топливо не то отсырело, не то пересохло… как-то так. Они спустились по ступеням и подняли сверкающий золотистый «вампир».

Двигателя на месте не оказалось. На глянцевой бумаге возникла подпалина, а в нижней части фюзеляжа образовалась дыра. Джин видела, что Грегори хмурится: двигатель, должно быть, выпал во время запуска. Для начала они побродили у подножия лестницы, ничего не нашли и продолжили поиск на бугристой лужайке вплоть до места приземления самолета. Потом они прочесывали территорию под разными углами к траектории полета, пока само место поиска не дискредитировало конструкторские навыки Грегори; он умолк и ретировался в дом. Ближе к вечеру под неодобрительными небесами, в рыжеватой живой изгороди из буков за елками, Джин обнаружила алюминиевый цилиндрик. Двигатель не пострадал. Полет его, вне сомнения, прошел нормально. Он просто обогнал «вампира», вот и все.

Авиамоделирование Грегори забросил. Вскоре после этого, как показалось Джин, он начал бриться; перестал носить свои детские очки с гибкими металлическими дужками и перешел на окуляры в роговой оправе; сквозь линзы в роговой оправе он стал поглядывать на девушек. Девушки в ответ поглядывали на него, но далеко не все.

Даже после смерти Майкла их скитания не прекратились. В подростковом возрасте Грегори сменил с десяток школ. В каждой он быстро примыкал к той безопасной, анонимной компании мальчишек, которые не подвергаются травле, но и не становятся заводилами. Никто не мог ему ничего предъявить; но при этом никто не находил конкретной причины, чтобы с ним подружиться. Из углов дюжины спортивных площадок он наблюдал за шумным буйством других. Джин вспоминала, как в четырнадцатилетнем возрасте он сидел в придорожном ресторанчике, куда она устроилась помощницей менеджера. Заведение стояло на мосту, перекинутом через дорожное полотно; заняв столик у мутного окна, Грегори доставал подарок Лесли — компьютерные шахматы. Машина (у которой не хватало двух пешек) коротко сигналила и пищала, объявляя свои ходы

и подстегивая соперника. Грегори добродушно улыбался размеченному клеточками устройству, как будто нахваливая его за человечность. Время от времени, ожидая, пока компьютер примет решение, он переводил взгляд на движущийся внизу транспорт, на жужжащий поток людей, спешащих в другие места. Он вглядывался в них без зависти.

Другое дело — Джин. Она сосредоточивалась на работе: уж чересчур соблазнительно было засмотреться вниз, а там и влиться в этот поток, который подтолкнет тебя к какому-нибудь семейному «форду» с походным снаряжением на верхнем багажнике, или к открытому спортивному авто, летящему в облаке хохота и распущенных волос, или, на худой конец, к грязноватому минивэну, перевозящему какое-то барахло из одного графства в другое. Как удавалось Грегори так флегматично сидеть, кивая своему пикающему другу и равнодушно взирая на бурлящую реку транспорта? В придорожной забегаловке у Джин было неплохое место, но она не собиралась задерживаться там надолго.

Наконец, когда Грегори достаточно подрос, чтобы Джин могла оставлять его одного, она пристрастилась к путешествиям. Ей досталось

немного денег после смерти родителей и еще кое-что от Майкла; Грегори уговорил ее тратить их на себя. Теперь, в возрасте изрядно за пятьдесят, ее захлестнуло желание куда-нибудь съездить — куда угодно. Вместе с Грегори она объехала чуть ли не все области Англии; но бегство не могло считаться путешествием. Временная подруга втолковала ей, что нынешняя тяга к путешествиям — это, скорее всего, замена сексуальному влечению.

— Расправь крылья, Джин, — советовала эта двадцатипятилетняя девица, которая сама размахивала крыльями так, что перепонки сравнялись с тончайшей папиросной бумагой.

Но Джин считала, что одно не отменяет другого; каждое из этих занятий существует само по себе.

— Мне хочется путешествовать, — попросту ответила она.

Ее не тянуло к открытиям и приключениям; она всего лишь стремилась побывать где-нибудь еще. На первых порах она покупала туристические путевки в европейские города: три дня переездов из города в город и добросовестного посещения музеев, три дня заказов ресторанных блюд, которые, она надеялась, ее удивят; чаще всего так и случалось. Путешествовала она в

одиночку, но редко ощущала себя одинокой, хотя и скучала по Грегори. Она обнаружила, что ей могут составить компанию простейшие сущности: газета, чужой язык; сырой и холодный канал с радугой нефтяных пятен; выставка товаров на витрине скромного аптекарского магазинчика или реклама брутального мастера по изготовлению корсетов; долетающие из угловой кафешки запахи кофе и дезинфицирующего средства.

Однажды осенью Лесли сообщил о выигрыше на тотализаторе и подарил ей однодневный тур на «конкорде» к египетским пирамидам. От этого сочетания экстравагантности и банальности она так разволновалась, что не выведала у дяди клички лошадей, участвовавших в забеге. Джин позавтракала высоко над бурыми полями английской пшеницы, а пообедала в каирской «Холидей Инн», где был шведский стол. Ее торопливо провели по базару, сфотографировали в составе группы, предварительно нахлобучив ей на череп кеффию, как у Лоуренса Аравийского, взгромоздили на верблюда и под конец довезли до пирамид и Сфинкса. Как же близко они находились от Каира: ей всегда представлялось, что Сфинкс таится средь зыбучих песков, а Великая Пирамида вырастает где-то вдали, подобно ми-

ражу, из опасного лунного пейзажа пустыни. Но для того, чтобы их для себя открыть, потребовалась лишь поездка на автобусе через пригороды Каира. Одно из семи чудес света уложилось в однодневную турпоездку.

Где-то над темным до черноты Средиземным морем, когда самолет скользнул в разворот, Джин вспомнила стишок, услышанный не одно десятилетие назад в деревенской школе от учителя религиозного просвещения:

На первом месте были Египта пирамиды,

Второе занимали Сады Семирамиды,

А третье – храм Мавсола, что выстроен женою,

Иссушенной любовью…

Тут ее заклинило. Жена… женою… О, вот оно: «Иссушенной любовью, а также и виною».

Но что там соорудила иссушенная жена — храм или гробницу? Откуда-то всплыло: «Эфес». Что же было построено в Эфесе… или Эфесом?

На пятом месте ввысь растет Колосс Родосский

Из меди он отлит, сверкающий и брос-

кий —

само собой внезапно ударило в голову такое двустишие, но дальше этого дело не пошло. Каким-то боком вроде проскользнул Юпитер и какой-то еще египетский монумент?

Вернувшись домой, она пошла в библиотеку и посмотрела, что там есть про семь чудес света, но не смогла найти ничего из упомянутого в том стишке. Так что же: пирамиды есть или их нет? А Висячие сады Вавилона? В энциклопедии перечислялись: римский Колизей; александрийские катакомбы, Великая Китайская стена; Стоунхендж; наклонная Пизанская башня; Фарфоровая башня в Нанкине; Айя-София в Константинополе.

Что ж. Выходит, существовало два отдельных списка. Или, возможно, список приходилось пересматривать и дополнять по мере создания новых чудес и разрушения старых. Наверное, любой желающий может составить свою личную семерку. Почему бы и нет? Катакомбы в Александрии, по мнению Джин, не обещали ничего примечательного. Может статься, их уже и не существует. А Фарфоровая башня в Нанкине… — с трудом верилось, что фарфоровая громада могла сохраниться до наших дней. А если и сохранилась, то

хунвейбинам ничего не стоило ее снести.

У нее созрел план посетить эти семь чудес. Она уже видела Стоунхендж; а также, между прочим, и Падающую башню, и Колизей. Если заменить катакомбы пирамидами, получится четыре. Остаются Великая стена и Айя-София. Первые два объекта вполне уложились бы в одну поездку, а затем, если Фарфоровая башня стерта с лица земли, ее сможет заменить Шартрский собор, который она уже видела. Оставалась Айя-София, но дядюшка Лесли однажды сказал, что в Турции употребляют в пищу ежей, поэтому Джин ее заменила на Большой каньон. Она сознавала, что здесь есть некоторая натяжка, поскольку каньон не совсем рукотворное чудо, но только пожимала плечами. Кто теперь будет ее проверять?

В июне она с тургруппой отправилась в Китай. Сначала они посетили Кантон, Шанхай и Наньцзин (вроде бы сейчас он назывался именно так), где она задала местному гиду вопрос о Фарфоровой башне. Барабанную башню он знал, Колокольную башню тоже, но о Фарфоровой башне никто слыхом не слыхивал. Как она и подозревала. Ее путеводитель тоже помалкивал на сей счет: вместо этого в нем говорилось, что гордость Наньцзина составляют «Цзу Чунчжи,

математик, который произвел приблизительный расчет числа пи, и «Фань Чжен, философ, известный своим трудом „Об уничтожении души“». Уж очень это странно, подумала Джин. Разве душа не должна быть неким абсолютом? Либо она существует, либо нет. Как ее можно уничтожить? Возможно, это просто неудачный перевод. Что касается числа пи, не является ли оно таким же абсолютом? Какой смысл в том, чтобы славить приблизительный расчет, и нет ли здесь терминологического противоречия? От китайцев она ожидала другого, но нашла некий перевертыш.

В Бэйцзине, как теперь, похоже, назывался Пекин, они провели три дня. В первый день посетили Великую Китайскую стену, боязливо преодолев короткий отрезок, хотя на некотором расстоянии сама стена беззаботно преодолевала все возвышенности. Оказалось, что это единственный рукотворный объект, видимый с Луны. Джин пыталась это запомнить, спускаясь в темную сторожевую башню, где воняло хуже, чем в общественной уборной. На верхнем ряду камней Стены ей бросились в глаза многочисленные резные граффити. Китайские граффити казались элегантными и уместными. Веселый парень из их группы, рыжий бородач, заметив проявленный

Джин интерес, предположил, что одно из них означает «Не стрелять, пока не увидите желтки их глаз». Из вежливости Джин улыбнулась, но мысли ее были заняты другим. Зачем китайцы вырубают граффити в своей Стене? Неужели этого требует общечеловеческий инстинкт — наносить граффити? Примерно как общечеловеческий инстинкт требует попыток рассчитать число пи, хотя бы приблизительно?

На второй день они посещали дворцы и музеи; на третий — храмы и антикварные магазины. В Храме Неба им обещали особое развлечение: «Стену эха». Джин вспомнила, что ее когда-то водили в галерею шепотов — кажется, в куполе собора Святого Павла, но, возможно, ей уже изменяла память.

«Стена эха» находилась к югу от главных зданий храма: кольцеобразная, примерно тридцать или сорок ярдов в диаметре, с единственными воротами с одной стороны. Когда прибыла группа Джин, компании китайцев уже испытывали эхо. Гид объяснил, что два человека могут стоять у противоположных точек окружности стены и, разговаривая нормальным голосом, но под небольшим углом к кирпичам, прекрасно слышать друг друга. Был ли такой эффект запла-

нированным или случайным, хотя и удачным, никто не знал.

Джин подошла к ближайшему участку стены. Усталость теперь давала о себе знать. Воздух в Бэйцзине был чрезвычайно сухим, и мелкая пыль, которая летала повсюду, неслась, как им сказали, из пустыни Гоби. «Головку лопаты тащить по земле нельзя, — говаривал дядюшка Лесли, — а то полетит больше песка, чем ветреным днем в пустыне Гоби». Майкл считал Джин бесплодной, как пустыня Гоби. Ей в глаза попала пыль, и душу захлестнула прохладная грусть. «Стена эха» — это не то место, куда надо идти одной, равно как и кататься в «Туннеле любви». Ей не хватало… спутника, но она не знала кого. Не Майкла же; ну разве что какого-нибудь варианта Майкла, кого-то, все еще находящегося рядом и по-прежнему своего, кто мог бы прошагать к другой стороне стены, кашлянуть в каменную кладку, затем пройти обратно на середину и проворчать, что эта штука работает кое-как, и не слышал ли собеседник хоть чего-нибудь об индийском чае в Китае? Кого-нибудь чуть недовольного, но никогда всерьез не воспринимающего свое недовольство. Кого-нибудь, кто, возможно, и нагонял бы на нее скуку, но никогда

бы ее не пугал.

Пустые надежды. Она прислонилась к стене и прижала ухо к выложенному кирпичом изгибу. Послышалось какое-то невнятное бормотание, а потом, неожиданно ясно, прорезался дуэт западных голосов.

— Давай.

— Нет, сначала ты.

— Давай.

— Я стесняюсь.

— Ты не стесняешься.

Вроде бы голоса принадлежали парочке из группы Джин, но она пока не могла определить, кому именно. Стена, казалось, выкачивала из голосов индивидуальность, оставляя им только универсальную западность, женскую и мужскую одновременно.

— Думаешь, в этом месте установлена прослушка?

— С чего ты взяла?

— По-моему, вон тот тип подслушивает. Видишь, там, в кепке Мао?

Джин подняла взгляд. В нескольких ярдах перед ней пожилой китаец в оливковом френче и кепке Мао, подобно черепахе, вытягивал голову к стене. Западные голоса становились узнаваемы-

ми: они принадлежали молодой паре, дерзкой и слишком недавно женатой для общего спокойствия группы.

— Мао Цзэдун — большой желтый писюн.

— Винсент, я тебя умоляю!

— Пробный шар: хочу определить, понимает ли по-английски старикан в кепке Мао.

— Винсент! Скажи что-нибудь другое. Скажи что-нибудь чистое.

— Хорошо.

— Ну давай.

— Ты готова?

— Готова. Давай.

— У тебя классные ножки.

— Ой, Винсент, правда?

На этом Джин оставила их наедине с пожилым китайцем, который все еще, вытянув шею, улавливал их самодовольные телячьи нежности. Что лучше: не понимать ничего, как он, или понимать все, как она?

Если не считать числа пи и вопроса о душе, Джин сочла Китай менее странным и более доступным для восприятия, чем ей представлялось. Ну да, временами некоторые его фрагменты напоминали прослушивание назидательного бормотания неких голосов, исходящих из огром-

ного изгиба пыльной стены. Впрочем, намного чаще это напоминало восприятие своего родного языка, на котором здесь говорят уверенно, но все же с иными оттенками. «Это истерическое здание…» Зачастую гиды именно так начинали рассказ; и поначалу Джин верила тому, что слышала: китайцы именуют историческое здание истерическим, потому что именно в древности их цивилизация клокотала сильнее всего. Даже узнав, что они имеют в виду «исторический», Джин предпочитала слышать «истерический». В истерическом ракурсе…

«Здесь мы вылащиваем псеницу и лис». Туристы хихикали, особенно та наглая парочка; но Джин даже нравился этот альтернативный язык. «У нас ластет калтофель и ледиска». «В 1974 году хлам был восстановлен». «Это наш толковый комплекс». «Здесь магазин готова плачья». Этому слышанному в Кантоне высказыванию улыбнулась даже Джин — но по причине его правдоподобия. Западная публика выходила из автобусов, чтобы потратить деньги на то, что большинство китайцев никогда не смогут себе позволить. Понятно, что это заведение именовали «магазином готова плачья»: этакая готовая стена плача в Кантоне.

Нет, эта страна оказалась не такой уж непостижимой. В сельских районах было много бедности и невежества, но Джин поразили образы, которые словно бы всплыли из ее собственного детства: поросенок, веревкой привязанный к багажнику велосипеда по пути на базар; старуха, покупающая с прилавка два яйца, придирчиво проверяет их на свет; галдеж во время торга; хлюпающий ритуал хождения за плугом с широко расставленными ногами; и латаная-перелатаная одежда. Этот вид рукоделия, который со времен войны в значительной степени вымер на Западе, тут процветал: в крошечной деревушке в провинции Сычуань, где автобус сделал остановку, чтобы дать туристам возможность сходить в туалет и пофотографироваться, она увидела чайное полотенце с заплатами, вывешенное на просушку. В качестве бельевой веревки использовался бамбуковый шест, просунутый между ветвями смоковницы; на чайном полотенце латки занимали больше места, чем ткань-основа.

Застарелая бедность выглядела знакомой, а образы нуворишей — еще более знакомыми: громоздкие магнитолы, японские кинокамеры, яркая одежда без признаков синего и зеленого цветов, навязанных унылым наследием недавне-

го прошлого. А еще — солнечные очки: молодых людей, чьи ревущие магнитолы не выключались даже вблизи мемориала Сунь Ятсена в Нанкине, невозможно было представить без солнечных очков, хотя в тот день низко нависающее небо затягивали темные тучи. Джин отметила, что особым шиком считалось не удалять маленькую наклейку с указанием производителя.

В зоопарке Нанкина в клетке с табличкой «Персидские кошки» сидели две персидские кошки. В территориальной общине поблизости от Чэнду работала небольшая мастерская по пошиву шуб из собачьих шкур; пара молодоженов вырядилась в шубы из немецкой овчарки, чтобы сфотографироваться на память. В пекинском цирке фокусник жонглировал золотыми рыбками, извлекая их с гордым спокойствием из просторных рукавов своего шелкового одеяния: этот трюк показался Джин незамысловатым. В Кантоне на выставке-ярмарке они увидели пластмассовый бонсай.

Статус экскурсоводов определялся наличием работающего на батарейках мегафона. В Янчжоу к ним в микроавтобус влез агент туристического бюро и поприветствовал их в этом городе, да так, что туристы, ни один из которых не находился дальше пяти шагов от ревущего голоса, вжима-

лись в сиденья, сдерживая хохот. На фабрике по обработке нефрита вступительную беседу женщины-мастера переводил гид, у которого отказал мегафон. Однако вместо того, чтобы отложить в сторону этот рупор, гид стал прижимать его к губам и орать во все горло. Когда наступило время задавать вопросы, кто-то поинтересовался, как отличить хороший нефрит от плохого. Ответ прокричали через обессиленный прибор: «Надо на него посмотреть и определить качество на глаз».

Джин предвидела, что авиарейсы в Китае окажутся невыразительно интернациональными; но даже они были исподволь овосточены. Стюардессы выглядели как школьницы и, похоже, не знали, чем себя занять; она заметила, что при посадке в Бэйцзине одна из них все время стояла и лишь смущенно захихикала, когда они коснулись взлетно-посадочной полосы. На китайских авиалиниях алкоголь не разносили; вместо этого каждому пассажиру предлагали плитки арахисового грильяжа, кусочки шоколада, пакетики конфет, чашки чая и какой-нибудь сувенир. В одном рейсе ей вручили брелок для ключей, в другом — адресную книжечку в пластмассовом переплете, размер которой намекал, что пассажир китайских авиалиний — отъявленный

мизантроп.

В Чэнду она попросила местного экскурсовода, вежливого мужчину в возрасте где-то между двадцатью и шестьюдесятью годами, рассказать о своей жизни. Тот ответил смесью конкретики и расплывчатости. Он недавно вернулся из сельской местности, прожив там десять лет. По причине трудностей. Самостоятельно выучил английский по пластинкам и кассетам. Каждое утро до завтрака выносит на ближайшую помойку ночные нечистоты. У них один ребенок. Ребенка часто отправляют к бабушке с дедушкой. Жена — механик в автомастерской. Они с ней работают в разные смены, что весьма полезно, так как он любит практиковаться в английском, используя пластинки и кассеты. На банкете не пьет, чтобы случайно не осрамиться и не потерять шансы на вступление в Партию. Он очень хочет, чтобы ему дали рекомендацию в Партию. Бывали трудности, но теперь эти трудности позади. Тебе полагается один выходной день в неделю, плюс пять дней, через промежутки, в течение года, плюс две недели, когда женишься. В эти две недели тебе разрешено совершать поездки. Возможно, некоторые хотят развестись, чтобы опять жениться и получить больше выходных.

На два вопроса экскурсовод ответить не смог. Когда Джин поинтересовалась размерами его заработка, он вроде как не понял, хотя свободно владел английским. Тогда она повторила вопрос, кое-что уточнив и сознавая, что, вероятно, допускает бестактность. В конце концов он ответил:

— Вы желаете обменять деньги?

Да, вежливо ответила она, именно об этом идет речь: возможно, она не успеет сегодня вечером обменять деньги в гостинице.

Наверное, лучше завтра, ответил гид.

Конечно.

Второй свой вопрос она сочла менее щекотливым.

— Вы не хотите съездить в Шанхай?

На его лице не дрогнул ни один мускул, но и ответа не последовало. Быть может, она ввела его в заблуждение нечетким произношением топонима.

— Вы не хотите съездить в Шанхай? Шанхай, большой порт?

Новый приступ временной глухоты. Она повторила вопрос; гид только улыбнулся, посмотрел вокруг и не ответил. Позже, обдумывая этот эпизод, Джин поняла, что на сей раз, в отличие от расспросов о доходе, бестактности не совершила.

Она всего лишь проявила невнимательность. И уже получила ответ по существу. За один раз он мог взять только один выходной; как человек женатый, он уже использовал единственный за всю жизнь двухнедельный отпуск; отправиться в Шанхай и обернуться одним днем невозможно. Когда в ее фразе прозвучало слово «хотите», дальнейшее сделалось бессмысленным. Она задала ненастоящий вопрос.

В Нанкине, где было жарко и влажно, Джин тоже перенесла приступ глухоты: от сильного насморка у нее заложило одно ухо. Их поселили в гостинице, возведенной австралийской компанией: на покрывале бушевал орнамент из листьев эвкалипта, а по шторам карабкались вверх мишки-коала, отчего ей становилось еще жарче. В темной полудреме Джин почудился тоненький, заинтересованный комариный писк. Ей подумалось: почему бы комарам не отказаться от пожилых жертв и вместо этого — по примеру мужчин — начать охоту на более молодую плоть? Она укрыла голову простыней. Через некоторое время ей стало нечем дышать; однако стоило ей запустить под простыню немного воздуха, как писк возобновился. Когда Джин в раздражении несколько раз сыграла в эти дремотные прятки,

до нее дошло, что происходит: заложенный нос при фильтрации через больное ухо на выходе выдавал комариный писк. Полностью проснувшись, она убедилась, что в номере действительно царит тишина, и посмеялась над этим слабым эхом из прошлого. У Восхода Проссера случилось нечто подобное: он открыл огонь из собственных орудий и стал гоняться по небу, как будто его атаковали. Вот и она создала свой личный источник страха, притом что была совсем одна.

* * *

Аэропланы (из уважения к Проссеру она еще долго называла их аэропланами, хотя они были давно урезаны до «самолетов») никогда не пугали Джин. У нее не возникало необходимости загонять себе в уши музыку через пластмассовый тюбик, заказывать пузатые бутылочки спиртного или нащупывать каблуком спасательный жилет у себя под сиденьем. Однажды ей довелось падать на несколько тысяч футов над Средиземным морем; однажды ее аэроплан вернулся в Мадрид и, наматывая круги, в течение двух часов сжигал горючее; однажды при посадке с моря в Гонконге они прыгали по взлетно-посадочной полосе, как пущенный по воде «блинчик», будто и впрямь

сели на воду. Но в каждом из этих случаев Джин просто погружалась в мысли.

Грегори, прилежный, меланхоличный, методичный Грегори, теперь брал на себя все материнские тревоги. Когда он отвозил Джин в аэропорт, ему чудился запах керосина и представлялась обугленная плоть; он прислушивался к двигателям во время взлета и улавливал только голос неприкрытой истерии. В стародавние времена люди боялись не столько смерти, сколько ада, и художники детализировали такие страхи в панорамах мучений. Теперь ад отменили, страх оказался небесконечным, и ведущие позиции заняли инженеры. Не полагаясь на божественный промысел, они занимались усовершенствованием аэроплана, старались по мере сил внушать спокойствие пассажирам и экипажам, а в итоге, по мнению Грегори, создавали самые адские условия для ухода в мир иной.

Неведение — вот что стало во главе угла созданной инженерами современной формы смерти. Все знали: если с аэропланом что-то не так, пассажирам сообщается ровно столько, сколько им положено знать. Когда отваливается крыло, командир воздушного судна, шотландец, невозмутимо сообщает, что автомат по розливу

безалкогольных напитков работает с перебоями, а потому принято решение войти в штопор без предварительного оповещения человеческого груза о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Тебе соврут даже в смертный час.

Неведение, но также и предопределенность. Падая с высоты тридцать тысяч футов хоть на землю, хоть в воду (а вода в таком разе будет не лучше бетона), ты знаешь, что умрешь от удара о землю; и умирать будешь вновь и вновь, сотни раз. Еще до изобретения атомной бомбы в аэроплан была заложена концепция многократного уничтожения: при падении на землю рывок твоего ремня безопасности спровоцирует несовместимый с жизнью сердечный приступ; затем огонь сожжет тебя заживо; потом взрыв раскидает тебя по какому-нибудь затерянному склону; а в довершение, пока спасательные команды будут кропотливо разыскивать тебя под ехидным небом, миллионы твоих сожженных, взорванных, перенесших остановку сердца ошметков будут умирать заново — от переохлаждения. Такова была норма; такова была предопределенность. Предопределенности полагалось заменить собой неведение, но нет: аэроплан, можно сказать, перевернул установленное соотношение между

этими двумя понятиями. В случае традиционной смерти доктор у твоей постели мог изложить тебе суть происходящего, но почти никогда не предсказывал исход: даже самые отъявленные скептики-эскулапы не по одному разу наблюдали чудесные исцеления. Таким образом, ты, будучи посвященным в причину, оставался в неведении по поводу исхода. Теперь все наоборот: причина тебе неизвестна, тогда как исход не оставляет сомнений. Грегори с трудом верилось, что это и есть прогресс.

Далее: замкнутое пространство. Разве не страшимся мы все гробовой клаустрофобии? Аэроплан распознал и увеличил этот образ. Грегори думал о летчиках Первой мировой, о ветре, насвистывающем мелодии в стойках шасси; о летчиках Второй мировой, выполняющих победную «бочку» и братаясь при этом как с небом, так и с землей. Эти воздухоплаватели в движении соприкасались с природой; и когда фанерный биплан разваливался на куски от внезапного скачка атмосферного давления, когда «харрикейн», извергая черный дым собственного некролога, со стоном падал на какое-нибудь влажное кукурузное поле, имелся шанс, один лишь только шанс, что такие исходы в какой-то

степени обоснованны: летчик покинул землю, которая теперь призывает его вернуться. Но в пассажирском самолете с убогими иллюминаторами? Мыслимо ли прочувствовать сладостное утешение от созерцания природного цикла, когда ты сидишь, сбросив ботинки, не в состоянии выглянуть наружу, а твой перепуганный взор со всех сторон атакуют пестрые чехлы кресел? Обстановка совершенно неподходящая.

И эта обстановка предполагает четвертый элемент — компанию. Как бы мы предпочли умереть? Вопрос непростой, но Грегори и здесь усматривал варианты: возможность первая — среди родных; в присутствии священника, в его отсутствие — все это было в рамках традиций: смерть как главнейший рождественский ужин. Возможность вторая: в окружении ласкового, тихого, внимательного медперсонала, а то и суррогатной семьи — эти люди знают, для чего нужна анестезия, и — будьте уверены — не станут суетиться. И пожалуй, третья возможность: если семья тебя бросила, а больница тебе не по зубам, то ты, возможно, предпочтешь умереть дома, в любимом кресле, в компании какого-нибудь домашнего питомца, или зажженного камина, или фотоальбома, или крепкого напитка. Но ко-

му придет в голову отдавать концы в компании трехсот пятидесяти военных, из которых, возможно, не все умеют себя вести? Порой солдат может броситься навстречу смерти, через грязь, через пустошь, но он будет знать, что умрет среди своих — среди трех с половиной сотен однополчан, чье присутствие кого угодно заставит его стойко выдержать пулеметную очередь, рассекающую тело пополам. Но эти чужаки? Начнутся вопли — не сомневайтесь. Умирать под собственные вопли — само по себе достаточно мерзко; но умирать под вопли посторонних — этакое могли придумать только инженеры, создатели нового ада. Грегори воображал себя в чистом поле, под жужжащей в вышине точкой. Пусть там, внутри, они — все триста пятьдесят — вопят сколько влезет, но привычная истерия двигателей заглушает все.

Вопли, замкнутое пространство, неведение и предопределенность. А вдобавок — все по-домашнему. Такова была пятая и последняя возможность, предоставляемая триумфом инженеров. Твой затылок покоится на подголовнике, который обтянут чехлом. Ты умираешь за маленьким откидным столиком, в котором имеется круглое углубление для твоей чашки кофе. Умираешь под багажными полками, рядом с

пластмассовой шторкой, которую можно задернуть на убогом глазке иллюминатора. Умираешь, когда над тобой хлопочут симпатичные, как из супермаркета, девушки. Умираешь на мягком сиденье, спроектированном для твоего удобства. Умираешь, загасив окурок в пепельнице, что у тебя в подлокотнике. Умираешь при показе фильма, из которого вырезаны едва ли не все интимные сцены. Умираешь, запрятав поглубже в несессер ворованное полотенце для бритья. Умираешь, прослушав информацию о том, что благодаря попутным ветрам полет проходит с опережением графика. Ты и в самом деле значительно опережаешь график. Ты умираешь под струей опрокинутого на тебя соседского напитка. Умираешь по-домашнему; однако же не в родных пенатах, а в чужих, где главенствует незнакомец, созвавший к себе толпу чужаков. Как в таких обстоятельствах ты можешь расценивать прекращение своего существования: как нечто трагичное, как нечто важное или хотя бы существенное? Не иначе как смерть над тобой посмеется.

* * *

В ноябре Джин посетила Большой каньон. Его северная кромка оказалась за пределами видимости, и для расчистки дороги от Уильямса были присланы снегоуборщики. Ей отвели домик на краю каньона; день клонился к закату. Распаковывать вещи она не спешила и до осмотра каньона успела зайти в гостиничный сувенирный магазин. Не оттягивая удовольствие, а, наоборот, ожидая разочарования. В последнюю минуту перед поездкой она даже подумывала пересмотреть свой список семи чудес света и заменить каньон на мост Золотые Ворота.

На земле лежал снег едва ли не по колено глубиной, а солнце, уже почти поравнявшееся с горизонтом, окрасило уверенным оранжевым мазком высившиеся напротив горы. Границы солнечного царства пролегали точно по линии оранжевого снега: в вышине, на оранжевых горных хребтах, покоился оранжевый снег под бесстрастными оранжевыми облаками; опускаешься ниже этой линии — и все оттенки меняются на бурые, охристые и умбристые, а далеко-далеко внизу какая-то дымчатая зелень обрамляет струйку серебра, похожую на нитку люрекса в унылом твидовом

костюме. Джин ухватилась за подернутый инеем защитный барьер и порадовалась, что находится здесь одна, порадовалась, что нет необходимости переводить это зрелище в слова, расписывать, обсуждать, комментировать. Этот потрясающий вид снизу был больше, глубже, шире, великолепнее, неукротимее, прекраснее и страшнее, чем ей казалось возможным: но даже такой цепочки восторженных эпитетов ей не хватило. Перед ее отъездом самая боевая из всех подружек Грегори, Рейчел, сказала: «Да, это все равно что бесконечный оргазм». Вне всякого сомнения, она пыталась шокировать, и это пришедшее на память сравнение оказалось настоящим шоком — но лишь по причине его неуместности. В сравнении с этим секс, даже потрясающий секс, который Джин рисовала в своем воображении, но так и не испытала, представлялся не более чем игрой в шнурки: как легкая щекотка на ступнях при ускользании извивающихся шнурков. Некто еще предсказывал: «такое зрелище подобно Сотворению мира», но и это были пустые слова. Джин досыта наелась словами. Если каньон уменьшал стоящих на его кромках наблюдателей до размера лилипутов, то производимые ими шумы — болтовня, охи-ахи, щелчки фотокамер — превращались в жужжание

насекомых. Не то это было место, где хочется отпускать самоуничижительные остроты, возиться с экспонометром или играть в снежки. Это было место за гранью слов, за гранью человеческих шумов, за гранью толкования.

Кто-то сказал, что великие готические соборы Европы одним своим видом способны привести человека к вере. Это касалось не только впечатлительных крестьян; изощренные умы тоже внушали себе: «Если существует нечто столь прекрасное, то может ли породившая его идея не быть истинной?» Один собор даст фору сотне проповедников, способных логически обосновать существование Бога. Разум стремится к определенности, и, вероятно, к такой определенности, которая способна его перебороть. Разум более всего презирает то, что способен постичь, старательно разложить по полочкам и одобрить. Он не прочь подвергнуться нападению со спины в темном переулке и ощутить у горла нож определенности.

Видимо, каньон в этом отношении воздействовал на богобоязненных туристов подобно храму и на удивление четко, хотя и без слов утверждал могущество Бога и величие Его творений. У Джин реакция оказалась противоположной. Каньон по-

верг ее в неопределенность. За ужином она углубилась в раздумья, стараясь при этом обходиться без слов или, по крайней мере, использовать их с оглядкой. «Следовательно» — вот слово, которому она разрешила наиболее плотно угнездиться в своей голове. Каньон, «следовательно»… Если каньон — это вопрос, то каков же ответ? Если каньон — это ответ, то каков же вопрос? Каньон, «следовательно»?.. Даже скептический отклик: каньон, а «следовательно, ничего», казался значительным ответом. У кого-то было сказано, что одна из тяжелейших трагедий духа — родиться с религиозным чувством в мире, где вера более невозможна. Не такого ли масштаба трагедией было родиться без религиозного чувства в мире, где вера еще возможна?

Наутро, перед отъездом, Джин вновь оперлась всем телом на заиндевелое ограждение и долго смотрела на каньон. Теперь солнце проникало до самых его глубин, подбираясь к руслу. Под ней на сотни, если не на тысячи футов ниже лежали высокие травянистые плато. Горные хребты по завершении торжеств оранжевого великолепия сделались мрачными и далекими в своем утреннем одеянии; на другом берегу искрился белым снег. Вслед за собственным жужжанием в поле

зрения появился легкий самолет. Первая в тот день воздушная экскурсия, насекомое, зависшее над гигантской раной. Какое-то время он летал на одном уровне с Джин, затем снизил высоту, чтобы рассмотреть извилистую расщелину с заключенной в ней рекой. Как странно, подумала Джин, стоять на земле и при этом быть выше самолета; смотреть на крылья и фюзеляж сверху было все равно что увидеть оборотную сторону листа или брюшко моли. Это находилось в каком-то противоречии с природой — сама идея того, что самолет летит ниже поверхности земли; словно бы всплывающая на поверхность подводная лодка продолжила подниматься из воды и подпрыгнула в воздух исполинской летучей рыбой.

В противоречии с природой. Верно ли это? Мы говорили «в противоречии с природой», когда имели в виду «вопреки рассудку». Именно природа выдавала чудеса, галлюцинации, замечательные проделки. Сорок лет назад природа показала пилоту «каталины» мотоциклиста, спокойно ехавшего по поверхности Атлантического океана в четырехстах пятидесяти милях от ирландского побережья. Это сделала природа. Впоследствии рассудок отверг это видение. Оно противоречило рассудку, но не природе. Рассудок

и человеческое мастерство воздвигли первые шесть чудес света, которые посетила Джин. Природа подбросила седьмое, а седьмое подбросило вопросы.

* * *

Через благотворительный фонд Королевских ВВС она разыскала вдову Восхода Проссера. Именуемую нынче не Проссер, а Редпат и проживающую недалеко от Уитби. Джин ей написала и через несколько дней получила открытку с видом рыбного порта под ярким голубым небом. «Будете тут проездом — заглядывайте в любое время. Мы с Дереком любим поболтать о старых временах. Как странно, что Томми возник после такого долгого перерыва! P. S. Погода не такая, как на открытке».

Это был приятный на вид двухквартирный муниципальный дом на небольшой территории, еще не вросшей в склон холма; деревья стояли безлиственными столбами и были защищены цилиндрами из проволочной сетки, а бетонные автобусные остановки еще не изуродовали ни граффити, ни сырость. Джин занесло туда проездом гораздо раньше, чем ожидала Олив Редпат.

— Ну и что ж это за срочность такая, коль дело

терпело все эти годы, интересно знать. — Это прозвучало наполовину как утверждение, наполовину как вопрос.

Джин выдали чашку кофе и усадили на стул перед телевизором. Олив с Дереком уселись на тахте; Дерек скрывался за туманным шлейфом сигаретного дыма. Тахта, заметила Джин, была обтянута яркой клетчатой тканью, которую часто используют для самолетных сидений.

— Представьте, я тут действительно проездом. Мне надо было съездить в Манчестер.

— В Манчестер. Ничего себе проездом! — Миссис Редпат фыркнула по поводу расточительных и не поддающихся пониманию замашек южан. Тучная и грудастая, она показала себя агрессивно гостеприимной. — Слыхал, Дерек? В Манчестер!

— Удивлен, что вы сюда благополучно добрались, — сказал Дерек, отвлекшись на необычайно длительное время от своей сигареты. — Поговаривают, что в наших краях людоеды промышляют.

— Ну, пожалуй, никакой срочности нет. Просто я подумала, что надо приехать, пока все свежо в памяти.

— Куй железо, пока горячо, — подхватила Олив.

— Ваш… ваш покойный муж…

— Томми.

— Томми… Томми был определен к нам на постой во время войны. Ко мне и моим родителям. Назначение получил в Уэст-Моллинге. Пока он у нас жил, мы довольно много беседовали… — Она еще не решила, как бы поточнее выразиться.

— Одна из его кисулек, так ведь? — спросила Олив с добродушным смешком.

— Нет-нет, ничего подобного.

— Даже если и так, душенька, мне фиолетово. Отрадно думать, что Томми напоследок пару раз приголубили. Он всегда был вроде как обаяшкой.

Разве? Джин уж точно не помнила его как обаяшку. Чуть неловкий, ожесточенный, временами даже грубый; но способный быть приветливым. Нет, обаяние не виделось ей одной из его примет.

— Нет, я хочу сказать, что догадываюсь, почему вы могли подумать…

— Первое, что я сказала, подтверди, Дерек. Только подумай, говорю, одна из кисулек старика Томми после стольких лет объявилась — не запылилась. Я б его не выбросила, кабы знала.

— Вы его выбросили?

— Когда мы переезжали, да, я его выбросила. Ну а какой был смысл оставлять? Сколько лет

прошло, Дерек: девять, десять?

Дерек обдумал этот вопрос, медленно затягиваясь и выдыхая дым, а затем ответил:

— В наше время все длится дольше, чем нам думается.

— Ладно, не суть важно, когда я Томми выбросила: десять годков назад или двенадцать. Мы переезжали, с чем-то надо было расстаться, а я много лет не перебирала все это барахло, в том числе и его, как это называется, летную форму, что ли, — сама не знаю, зачем я ее хранила, в ней уж моль завелась. Так что я все выкинула. Письма, фотокарточки, несколько дурацких вещиц, на которые даже смотреть не стала, чтоб не расстраиваться. Дерек полностью одобрил.

— Нет, это уж чересчур сильно сказано, любовь моя.

— В любом случае Дерек был не против. Но я так решила: Томми занимает местечко в моем сердце — так не жирно ли ему занимать место еще и на чердаке? — Олив, которая, казалось, вот-вот пустит слезу, вдруг разразилась оглушительным хохотом, от которого с сигареты Дерека посыпался пепел. — Томми — чудный был парнишка, насколько мне помнится. Но жизнь-то идет вперед, так ведь?

— Да, — сказала Джин.

— Быстрей, чем нам думается, — вставил Дерек.

— Вообще говоря, мне показалось, что ты не в его вкусе, — озадаченно заметила Олив.

— О да, это верно, — ответила Джин; наступила пауза. — Мне хотелось знать… Все контакты между нами прервались, когда его перебросили. Мне хотелось знать… когда он у нас жил, ему не терпелось вернуться к полетам.

— Да неужели? — удивилась Олив. — Мне-то всегда казалось, что он слегка трусоват.

От нее не укрылась перемена в выражении лица Джин.

— Ты точно не из числа его кисулек? Держишься так, что сразу не разберешь. Нет, я просто не хочу кривить душой. Какой смысл темнить?

— Никакого, — ответила Джин. — Меня ваши слова не шокируют. Просто я думала, он храбрый. Я думала, все они храбрые.

— Ну, Томми П. всегда одним глазком заднюю дверь высматривал, если ты понимаешь, к чему я клоню. Да нет, я его не осуждала. Потому и удивилась слегка, когда услышала, что Томми к полетам вернулся.

— Мне казалось, он все время к этому стре-

мился.

— Это ты так считаешь. Дивлюсь я на тебя. Ну, как бы то ни было, этот вопрос мы с ходу не решим, тем более что писем его у меня не осталось — я ж его выбросила. — Олив хмыкнула. — Короче, я удивилась поболее твоего. А потом, дай подумать…

Она запнулась, хотя, по всей видимости, пересказывала эту историю много раз.

— Буквально через несколько дней, ну, может, через неделю приходит мне письмо от этого, как его, главного по эскадрилье…

— Командира, — подсказала Джин.

— …командира, спасибо, в котором говорилось, что Томми пропал без вести — видимо, погиб в бою. Меня аж пришибло, честно скажу. Я, признаюсь, без ума была от Томми, замужем всего год или около того, детишек собиралась завести, как только война кончится… Так что написала я этому… из эскадрильи… и спросила: «В бою? В каком это бою он погиб?» И он прислал ответ: сообщил еще раз, что ему очень жаль, и сказал, что Томми был отличным парнем, хотя откуда бы ему это знать, если Томми перебросили всего за несколько дней до гибели, а потом начал плести что-то о соображениях безопасности или кто его знает

о чем. Я написала в ответ и говорю: «Меня это не устраивает, хочу знать правду и еду к вам». Не успел он ответить и доложить, что «это» супротив какой-то там безопасности, а я уже подхватилась — и в путь. Подлить кофе, душенька?

— Нет, спасибо.

— Кофеварка включена, только скажи. Ну, добралась я до места, что было непросто, и увиделась с этим дядькой из эскадрильи: «Слушьте, какие бои? Погиб в каком бою? Где?» А он обходительный такой, но заявил, что, дескать, разглашать не имеет права. Ну, я такая: «По-вашему, я кто: Лорд Хо-Хо? Моего Томми убили: я имею право знать где». И наконец вытянула из него, что во Франции, а сама говорю: ну, выбор сужается, я думала, его и в Исландию могло занести. А что вы, собственно, имеете в виду: «пропал без вести или погиб»? Если пропал без вести, так, возможно, он уцелел, а если погиб, так это не значит «пропал без вести», или что? Так вот: этот субъект из эскадрильи объяснил, что Томми, как это называлось, оторвался от остальных парней (я тогда вставила: мол, это как раз на него похоже — выйти из игры, когда самому вздумается), и что чуть позже один из летчиков увидел, как падает потерявший управление «харрикейн», и

снизился, чтоб посмотреть, и это был Томми, и тот другой парень проследил, как он упал и об землю ударился. Ну, говорю, значит, надо мне побеседовать с тем парнем. А он такой: мол, это супротив правил, но я ненадолго включила женщину и говорю: буду тут сидеть, в этом кабинете, пока не получу то, за чем приехала, и так далее, наплакала без труда целое ведро — и знаешь, что он сказал?

— Он сказал, что тебе придется подписать Акт о государственной тайне, — вставил свое слово Дерек.

— Я знаю, что ты в курсе, дурачок. А потом говорю: меня устраивает. Доставайте. Ну подписала я, что он мне подсунул, — может, там заявка на зубные протезы была, и провели меня к тому парню. Мак… дальше не помню. Но этот мужик из эскадрильи явно заранее ему мозги вправил. Тот лишь сказал: мол, над Францией упал. Я спрашиваю: а почем ты знаешь, что это был Томми? А он такой: на бортах аэроплана номера нанесены. «Ну-ну, — говорю, — пролетел мимо ровно и медленно, коли ты их разобрать сумел», но он-то видел мое расстройство. Ну, я опять в слезы, а в голове одно крутится: вот же огроменные были цифры. Потом этот парень, Мак, встал, пожал

мне руку и говорит, что больше, мол, ничего не знает, но если я вдруг окажусь в «Трех кораблях» часиков этак в восемь, то он, если повезет, еще чего-нибудь вспомнит. Примчалась я в паб, честно скажу, пораньше. К его приходу была, наверно, уже чуток навеселе, но помню все досконально. Летели они над Францией и заметили, что Томми как бы уходит на крыло. Одним глазом заднюю дверь высматривает, не иначе — я б не удивилась. Тогда тот, который у них за главного был, вызывает его по этой штуковине, как там ее…

— По радиосвязи, — пробормотал Дерек, помогая, а не подсказывая.

— …по радиосвязи и требует вернуться в строй. Ответа не было. Он еще пару раз пытался, но, как видно, радиосвязь у Томми барахлила. Потом они заметили, что он стал набирать высоту и как бы от них отдаляться, и тот, кто за главного, приказал этому Маку полететь и прикинуть, не получится ли его догнать. По его словам, это оказалось непросто, потому как Томми вроде поднимался прямо к солнцу — а что там разглядишь? Но вскоре он приблизился настолько, что разглядел внутри самого Томми; в ясном сознании или как там говорится. Рукой лицо себе загораживал. Надо думать, чтоб солнце не слепило. Так у них

было заведено при подъеме в сторону солнца — это он мне сказал, Мак этот. Попробовал он поговорить с Томми по радиосвязи, да тот не отвечал. Тогда он стрельнул из своего оружия, но это тоже не сработало. Поэтому парень, который главный, приказал ему вернуться к остальным — и пусть Томми делает все, что только придет в его лихую башку. Я-то считаю, у него неисправность была, раз он не смог остановить движение вверх, а? Ну так вот: Мак отваливает, чтоб к остальным примкнуть, и на полпути видит, как «харрикейн» падает… в пике вошел. Я спрашиваю: тогда-то вы и прочли номера, так, что ли? Он сконфузился и объяснил, что самолет потерял управление и он номеров не увидел, но, когда они вроде как с ним поравнялись, он пилота попробовал разглядеть. Ну, очертания его увидал. По ним он Томми распознать не смог, но сказал: пилот этот рукой глаза заслонял, как Томми делал, когда набирал высоту. И тогда Мак какое-то время за ним следовал, но шансов не было никаких. И парашюта тоже не было. Вот так и погиб мой Томми.

Одной рукой обняв Олив, Дерек крепко прижал ее к себе; дым от его сигареты колечками плыл у нее над плечом и медленно оседал ей в волосы.

Джин не знала, что сказать; она выжидала.

— Ты его хорошо помнишь? — очнулась в конце концов Олив.

— Да, — ответила Джин. — Я хорошо его помню. В ту пору я была совсем молода. Он… он частенько готовил для меня бутерброды «Отбой воздушной тревоги».

Олив никак на это не откликнулась.

— А ты замечала, что у него верхняя пуговица летной куртки вечно оставалась расстегнутой?

— Нет, кажется, не замечала.

— А замечала, как он все время оглядывался — вертел головой?

— Да, это помню. — Майкл не раз об этом заговаривал — в доказательство изворотливости Проссера. — Я думала, это у него нервный тик.

— У кого это нервный тик: у него? — вспылила Олив. — Какой, к черту, нервный тик? Послушай, дорогуша, если б ты летала на таком «харрикейне», тебе бы пришлось каждые три секунды башкой крутить, чтоб не сдохнуть. — В укромном уголке закутанного в кардиган плеча Дерека Олив помотала головой из стороны в сторону, будто щурясь против солнца в поисках «мессершмитта». — Пойми, такая вырабатывается привычка.

— Ясно.

— Потому-то и верхнюю пуговицу он не за-

стегивал. Это разрешалось, потому как много крутить головой требовалось. Такое им вышло послабление. Это разрешалось. — Олив продолжала крутить головой из стороны в сторону, останавливаясь только для того, чтобы затянуться сигаретой Дерека.

— Ясно.

— Никто не понимал Томми так, как я, — сурово заявила Олив.

На обратном пути Джин смотрела в окно и размышляла о последнем полете Восхода Проссера. Конечно, там могла быть техническая погрешность: двигатель могло заклинить при наборе высоты; возможно, он был так поглощен управлением, что не смог ни ответить по рации, ни отреагировать на огонь другого пилота. Но в это верилось с трудом. Это слишком походило на то, что она как-то раз услышала от него сорок лет назад. Поднимаешься к солнцу, глядя на него через чуть разведенные пальцы. Воздух разряжается, аэроплан скользит из стороны в сторону и медленнее набирает высоту. Внутри плексигласового фонаря образуется пятно инея. Крепчает холод. Кислорода все меньше. Постепенно приходит удовлетворение, затем радость. Медлительность. Во всем счастливая медлительность.

* * *

Когда Джин родила Грегори, когда кормила его грудью, когда собирала его в школу, когда стояла на зигзагообразной пожарной лестнице на окраине Тоустера и наблюдала, как мягко парит «вампир» в то время, как его двигатель погибает в бессмысленном ускорении, она держала в голове все обычные пожелания сыну. Пусть у тебя все будет хорошо, пусть тебе будет счастье, расти здоровым, расти умным, пускай тебя полюбят, да и ты меня люби. Когда он терпеливо склонялся над решеткой самолетных стоек, когда увлажнял тонкую бумагу и выжидал, чтобы она туго натянулась, когда наполнял комнату запахом грушевых леденцов, она бездумно выстраивала свои собственные образы, принятые порядки, в соответствии с которыми каждое поколение рассматривает свои взаимоотношения со следующим. Они стоят у нас на плечах, думала она, и с такой высоты видят дальше нашего. У них также получается оттуда, с высоты, обернуться на пройденный нами путь во избежание сделанных нами ошибок. Мы им что-то передаем: факел, эстафетную палочку, обузу. Пока мы слабеем, они набираются сил: молодой тащит на себе предка и

ведет за руку родное дитя.

Но она повидала достаточно, чтобы во всем этом усомниться. Эти образы представлялись сильными, однако же были выстроены всего лишь из пробкового дерева да оберточной бумаги. Нередко родитель стоит на плечах ребенка, вдавливая его в мягкую почву. Ребенок прекрасно видит ошибки родителя, но учится только совершать новые. Родитель и впрямь передает кое-что своему ребенку: гемофилию, сифилис, сенную лихорадку. Безропотно взваленный на спину предок становится причиной межпозвоночной грыжи, а ребенок, которого держат за руку, — вывихнутого плеча. Потому-то Джин желала своему сыну еще и отрицательных сущностей — во избежание. Да минуют тебя невзгоды, хвори, бедность. Будь неприметным. Добивайся лучшего, на что способен, но не гонись за невозможным. Живи в согласии с самим собой. И не обожгись ни разу.

В более поздние годы она задумывалась: впитало ли сыновнее сознание эти бледные амбиции. Если плод в утробе матери чувствует родительские распри, которые его ранят, насколько более вероятно, что появившийся на свет ребенок сможет впитать немые надежды: надежды, которые витают в воздухе, подобно густому запаху груше-

вых леденцов. Не по милости ли Джин Грегори вырос осмотрительным, лишенным бунтарского духа юношей, а позже — углубленным в себя молодым человеком? Он был вежлив и респектабелен; никого не раздражали его кругловатое, розоватое лицо, его облик школьного учителя, который ему придавали очки в роговой оправе; а Джин нет-нет да и ловила себя на мысли: «Ты мог бы оказаться другим. Мог. Мог бы даже родиться не моим сыном». Но ведь это, сознавала она, примерно то и было, чего она всегда ему желала. Будь неприметным. Не гонись за невозможным.

Ее более отчетливо сформулированные пожелания для Грегори звучали так: «Не торопись устраивать свою судьбу. Не делай в двадцать лет ничего такого, что свяжет тебя на всю оставшуюся жизнь. Не делай того, что сделала я. Путешествуй. Получай удовольствие. Выясняй, кто ты есть и что ты есть. Исследуй».

Грегори понимал материнские напутствия, но чувствовал (как нередко бывает у детей), что на самом деле это высказанные задним числом пожелания родительницы самой себе, а не осмысленные надежды на будущее ребенка. Он действительно не хотел себя связывать, но к

путешествиям его не тянуло. Он действительно желал выяснить, что́ собой представляет, как ни толкуй это желание, но хотел этого добиться без глубоких исследований. Получать удовольствие? Да, он хотел получать удовольствие. Или, точнее, хотел стремиться к удовольствиям. Весь остальной мир, как ему казалось, держал удовольствия куда более крепкой хваткой, нежели он сам. Люди понимали, в чем состоит удовольствие, делали все, чтобы его заполучить, — и добивались своего. Откуда им было знать наперед, где искать удовольствие? Предположительно, они всматривались в других, подмечали, что доставляет удовольствие ближним, и сами его получали. Грегори эти действия виделись непростыми. Наблюдая за компаниями любителей удовольствий — за выпивохами в пабе, спортивными фанатами или купальщиками на пляже, — он испытывал хрусткую зависть, но вместе с тем и тайное смущение. Возможно, у него внутри нечто сместилось. Удовольствие, как он знал, можно получить лишь от того, что тебе в удовольствие. Летчик, разгоняясь на взлетно-посадочной полосе, верит в удачный полет. Это не просто вопрос знаний и понимания аэродинамики; это также вопрос веры. Грегори остался бы сидеть,

содрогаясь, на взлетной полосе; контрольно-диспетчерский пункт давал бы ему команду на взлет; но на полпути по взлетно-посадочной полосе он всегда нажимал на тормоза. Ему не верилось, что этот воздушный змей может летать.

У него были подружки, но он обнаружил, что с ними никогда не испытывает именно того, что полагается: неприятие группового удовольствия, сознавал он, распространяется даже на компанию из двоих. Секс не вызывал в нем чувства одиночества; но, с другой стороны, в сексе он не особо ощущал себя и в паре. Что касается мужского братства, в нем часто сквозила какая-то фальшь. Мужчины сбивались в стаи, чтобы не усложнять себе жизнь. Они тяготели к упрощению; они тяготели к недвусмысленности; они тяготели к определенным правилам. Взять хотя бы мужские монастыри. Взять хотя бы распивочные.

Грегори не путешествовал и не женился. Большую часть жизни он провел под боком у Джин: вначале она этого не приветствовала, но после приняла в качестве хилого комплимента. За первые годы взрослой жизни Грегори перепробовал различные виды деятельности, но пришел к заключению, что разница между ними невелика. Все рабочие места навевали только скуку, но за

них приходилось держаться, поскольку смысл работы заключался в том, чтобы заставить тебя ценить нерабочее время. Когда он объяснял это знакомым, те склонялись к мысли, что он попросту циник, но нет. Это была только видимость. Все ведь очевидно: жизнь состоит из контрастов и течет в сторону самого главного контраста.

Грегори работал в страховой компании. Эта работа нравилась ему тем, что не вызывала праздных вопросов. Окружающие заверяли, что работа у него, по их мнению, интересная, и он кивал; потом его спрашивали, можно ли застраховаться от дождей на время отпуска, и он отвечал, что не видит препятствий; все дружно смеялись, приговаривая «надо же!», и вскоре вроде как теряли интерес. Грегори это устраивало.

Устраивало его и то, что занимается он страхованием жизни. Осваивая эту деятельность, он не сразу пришел к выводу, что жизнь абсурдна (хотя предположения такие были), но давно решил, что всякий труд абсурден по определению. Концепция общественно полезного труда, которой торговали политики, для Грегори не имела никакого смысла. В его понимании труд был полезен лишь в той степени, в какой он бесполезен и сам по себе смешон. Замечательно было бы

работать маляром на мосту через залив Ферт-ов-Форт: не успел закончить — начинай сначала. Страхование жизни не могло претендовать на такое совершенство иронии, но в нем была своя фишка. Грегори особенно любил рассказывать клиентам, сколько они получат, если умрут. Он наслаждался, видя на их лицах алчность и расчет: такие деньжищи — а взамен требуется всего ничего: помереть. Как-то раз, когда он объяснял условия договора страхования некоему мужчине лет двадцати пяти (столько-то выплачивается ежемесячно, столько-то по наступлении страхового случая — смерти, столько-то по наступлении срока исполнения обязательств), его перебили:

— Стало быть, если я подпишу это сегодня и умру завтра, то огребу двадцать пять тысяч фунтов?

Вначале Грегори с профессиональным подозрением отнесся к энтузиазму клиента. Он пустился в разъяснения: насчет первоначальной премии, насчет аннулирования полиса в случае суицида или сокрытия неизлечимого заболевания…

— Да-да-да, — нетерпеливо закивал клиент. — Но если я сделаю взнос и *по чистой случайности*, — (он с энтузиазмом произнес эти слова), — завтра попаду под автобус, то огребу двадцать

пять тысяч фунтов?

— Да.

Грегори не хотел уточнять, что деньги огребет либо вдова, либо один из родителей, либо другой выгодополучатель. Это казалось ему чуть ли не бестактностью.

Но именно поэтому его и привлекало страхование жизни. Конечно, здесь хватало и эвфемизмов, и маскировки полиса под пенсию; но по большому счету все сводилось к тому, что клиенты пытались извлечь наибольшую выгоду из собственной смерти. Людей — людей такого рода, с которыми он общался, — приучали к бережливости, к внимательному изучению магазинных ценников, и в результате они, как правило, использовали свое обычное коммерческое чутье в отношении самых масштабных дел. Даже тот, кто допускал, что фактически не получит ни гроша, мог увлечься сделкой как таковой. Смерть может за мной прийти в любой день, но, черт побери, останется с носом, потому как жена будет купаться в деньгах. Если бы Смерть это понимала, она не была бы такой алчной.

Страхование жизни. Сам этот термин — блистательный оксюморон. Жизнь. Ее нельзя ни застраховать, ни застращать, ни приструнить,

но клиенты думали, что можно. Сидя через стол от Грегори, они прикидывали выгоду от прекращения собственного существования. Иногда ему казалось, что он совсем не понимает людей. Чего бы ни коснулось дело, они чувствовали себя как рыба в воде: втирались в доверие к удовольствиям, были запанибрата со Смертью и могли с ней поторговаться. Но самое главное — их ничуть не удивляла жизнь; свое пребывание на этом свете они использовали с максимальной выгодой и, даже уходя, совершали чрезвычайно завидную сделку. Как странно. Как поразительно, размышлял он, и как странно.

Чужие жизни, смерти и удовольствия — они казались Грегори все более непостижимыми. Он взирал на них через свои очки в роговой оправе и поражался всему происходящему. Возможно, они совершали такие поступки — обыденные поступки — вследствие того, что не слишком озабочивались вопросами «почему» и «как»; а возможно, сам Грегори был стреножен раздумьями. Вот, к примеру, его родная мать: ни с того ни с сего повадилась разъезжать по всему миру. А спроси ее, с какой целью: она заулыбается и ответит, что, дескать, хочет отметить галочками все семь чудес света. Но это не отвечало на вопрос

о *цели*. А поиском цели она не озабочивалась.

Грегори никогда не тянуло путешествовать: быть может, оттого, что в нежном возрасте его таскали по всей Англии. Время от времени он совершал какие-нибудь поездки в радиусе сотни миль, не более, чтобы посмотреть, как течет жизнь там, где его нет. В путешествиях человек устает, становился раздражительным, но зато может себе польстить. Окружающие считали, что путешествия расширяют кругозор. Грегори в это не верил. Они создают иллюзию расширения кругозора — с этим не поспоришь. Грегори расширял свой кругозор, не выходя из дома.

Думая о путешествиях, он сразу вспоминал «авиатора» Кэдмена. В Шрусбери, в храме Пресвятой Девы Марии, Грегори наткнулся на мемориальную доску. Всех обстоятельств полета Кэдмена она не вмещала, но, судя по всему, в 1739 году современный Икар смастерил себе пару крыльев, забрался на колокольню храма и спрыгнул. Конечно, он погиб. Ошибка, вызванная гордыней пилота; но, как в случае Икара, еще и технический просчет.

> *Нельзя сказать, что не хватило мастерства,*

Иль храбрости, что в нем была жива.
Нет-нет: веревка оказалась непрочна;
Душа спешила и звала в полет она,
А тело вниз рвалось, и ночь была темна.

Время от времени, провожая Джин в какой-нибудь аэропорт, Грегори припоминал историю Кэдмена. Одну из первых современных авиакатастроф. Показатель обычный: стопроцентная смертность. Недостатка храбрости у Кэдмена не наблюдалось (тут доска была права); но ум подкачал. Грегори воображал, как бы он сам попытался в таком случае рассчитать шансы на выживание. Нет, начальство определенно не одобрило бы ему продажу полиса страхования жизни.

Но было и нечто другое в истории с Кэдменом. Помимо обстоятельств его гибели, Грегори вспомнил поэтический довод, содержавшийся в эпитафии. Авиатор стремился в полет и не преуспел, но если тело его разбилось, то душа воспарила и полетела вместо него. Без сомнения, мораль этой истории говорила о тщеславии и человеческих амбициях: если бы Господь предназначал нас для полета, Он дал бы нам крылья. Но разве эта история не подразумевала, что Гос-

подь вознаграждает храбрых, даруя им вечную жизнь? Если так, если пропуском в Рай служит храбрость, то Грегори не слишком высоко расценивал свои шансы.

Он вспомнил одну сцену из своего детства. Запуск модели самолета… нет, не с колокольни, а с плоской крыши, что ли. Он явно не сумел должным образом прикрепить реактивный двигатель к фюзеляжу, потому что реактивный двигатель вырвался на свободу. Самолет рухнул, как тело Кэдмена, а движок с воплем устремился вверх, как душа Кэдмена, — к Небесам.

Неужели люди — те люди, которые застенчиво улыбались ему через стол, когда он упоминал тысячи фунтов стерлингов, — так представляли себе смерть? Грегори вообразил более публичную версию своего эксперимента — запуск космолета над задним двориком. Огромная неуклюжая ракета, подобная телу, а сверху — крошечная капсула, подобная душе. Тело было заправлено топливом в таком количестве, чтобы помочь душе вырваться из присосок земного тяготения. Глядя на эту толстую морковку, ожидавшую на стартовой площадке, нетрудно было счесть ракету важнейшей деталью, но нет. Ракета, как тело Кэдмена, была предметом одноразового

использования; ее назначение ограничивалось тем, чтобы отправить в полет душу.

Грегори ненадолго задумался над этими образами, а потом припомнил, чем закончился полет его «вампира». Джин отыскала его двигатель в рыжеватой живой изгороди из бука в дальнем конце дворика. Аргумент? Видимо, душа и впрямь опережает тело, но лишь на краткий промежуток времени и на определенной дистанции. Душа по своему статусу, наверное, выше тела, но отличается от него не столь разительно, как представляется людям. Наверное, душа изготовлена из более прочного материала — своего рода алюминия в сравнении с бальзовым деревом, но в долгосрочной перспективе оказывается столь же подверженной воздействию времени, пространства и силы притяжения, как тело бедняги Кэдмена или рукотворный золотистый «вампир».

* * *

Рейчел всегда казалась наименее подходящей кандидатурой из всех девушек Грегори. От природы он был пассивен и не оставлял по себе никаких следов в этом мире. Джин порой думала, что подушечки его пальцев можно смазать авиа-

ционным клеем, а содрав пленку, получить набор отпечатков без единого завитка. Сам бесцветная личность, он обычно предпочитал девушек даже еще более бесцветных и пассивных — с прозрачной кожей и обреченными манерами. Рейчел была миниатюрной и яростной, со стреляющими по сторонам карими глазами и тугими светлыми кудряшками, какие, по мнению Джин, встречаются разве что у горных овец диковинной породы. Рейчел всегда знала, что именно требуется не только ей самой, но и другим людям, особенно Грегори. Джин слышала, что противоположности сходятся, но все же надеялась, что эта связь надолго не затянется.

Когда Грегори впервые привел Рейчел к себе домой, у них завязался спор о сиденьях унитазов. По крайней мере, так помнилось Джин; но Рейчел, которая спорила так, будто решала исход Битвы за Британию, впоследствии заявляла, что такой дискуссии не помнит. Это был один из тех скандалов, что вспыхивают на ровном месте — как, по мнению Джин, и все нормальные скандалы. После жизни с Майклом она считала, что сыта ими по горло до конца своих дней. Но теперь женщины, как могло показаться, затевали их чаще, чем прежде. Рейчел, кстати, работала в бес-

платной юридической консультации районного масштаба: не для того ли они создавались, чтобы поддерживать тишь да гладь?

— Ну а сиденья унитазов? — ни с того ни с сего ополчилась на Грегори эта девица, широко раскрыв свои карие глаза и ощетинив кудряшки.

Джин могла ошибаться, но не припоминала, чтобы эта тема поднималась прежде.

— Для кого, по-вашему, их конструируют?

— Ну, для людей, — ответил Грегори с педантичной и, по мнению его матери, обаятельной полуулыбкой.

— Для мужчин, — уточнила Рейчел с терпеливой снисходительностью, растягивая последнюю гласную. — Для мужчи-и-и-и-ин.

— Я и не знал, что они тебе причиняют… некоторые неудобства, — сказал Грегори, вероятно почувствовав, что полностью примирительный ответ вызовет еще более сильное раздражение. — То есть… кому-то пришлось тебя вытаскивать?

— Когда я там сижу, — ответила эта поразительная особа, — у меня создается впечатление, что они созданы мужчинами для мужчин. А вы как считаете? — обернулась она к Джин.

— Должна признаться, я об этом как-то не задумываюсь. — В ее тоне сквозила скорее уклон-

чивость, чем потрясение.

— Ну вот, — заметил Грегори с неосторожным самодовольством.

— Ну вот, подвело живот, — выкрикнула Рейчел, которая отдавала предпочтение неистовости перед элементарной логикой. — Ступени, — продолжала она. — А также стремянки. Выход из вагонов. Педали автомобиля. Биржа.

Грегори засмеялся:

— Нельзя же требовать, чтобы…

— Почему это нельзя? Почему? Почему бы вам самим не переучиться? Чуть что — сразу мы! А замена колеса? Почему гайки, сука, так затянуты, что женщине не под силу их открутить?

— Потому что иначе твои паршивые колеса отвалятся в момент.

Но Рейчел это не остановило.

— Подголовники, — продолжала она. — Судьи. Печатники. Таксисты. Язык.

Джин невольно хохотнула.

— Над чем смеетесь? Вам-то еще хуже.

— Отчего же мне еще хуже?

— Да оттого, что вы росли в полной прострации.

— Не думаю, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы выносить такие суждения. —

Джин понравилась истовость Рейчел, ее убежденность. — Но смеялась я не над тобой, дорогая моя. Мои мысли были о бирже.

— Это почему?

— Ну, меня, помнится, в детстве предостерегали против биржи. Она ассоциировалась с азартными играми, мошенничеством и забастовками.

— У вас несерьезный взгляд на вещи, — вспылила Рейчел. — Пора бы научиться смотреть на вещи серьезно.

— Знаете, — возразила Джин, пытаясь воспринимать вещи серьезно, — быть может, это не такая уж плохая идея — заставить женщин… приспосабливаться. Быть может, от этого их ум приобретает гибкость. Быть может, нам следует посочувствовать мужчинам. Их неспособности приспосабливаться.

— Это мужской аргумент.

— Неужели? Мне казалось, это нейтральный аргумент.

— Нет, мужской. Один из тех, которые нам навязали, зная, что он не сработает. Это все равно как выдать нам набор гаечных ключей, которые не подходят к гайкам.

— Вероятно, поэтому ты и не способна сменить колесо, — предположил Грегори, пряча улыбку.

— А ты отвали, Грегори.

Ну-ну, подумала Джин. Продержатся они, думаю, пару недель, не больше. Но вообще говоря, она мне симпатична. И даже очень.

Они еще несколько раз наведывались в гости к Джин, и с каждым разом Грегори все явственнее приобретал отсутствующий вид перед лицом этой энергичной девушки, становясь почти прозрачным. А Рейчел все чаще обращалась только к Джин. Как-то днем, когда Грегори отпустил неоцененную шутку о сиденьях унитазов и увеялся, Рейчел негромко сказала:

— Пошли завтра в кино.

— С удовольствием.

— Только… не говорите Грегори.

— Ладно.

Вот ведь какая нелепость, подумала наутро Джин: встречаться с девушкой родного сына. Ну, «встречаться» — это, пожалуй, сильно сказано: всего-то посещение кино и китайского ресторана. Но все равно она, оставаясь в приятном возбуждении, так долго выбирала, в чем пойти, что даже устыдилась. «Подберу вас в семь», — совершенно естественно сказала Рейчел, но для Джин эти слова прозвучали странным эхом из прошлого. Так было принято говорить лет сорок назад в среде

молодых владельцев «Остин-7» и мотоциклов с коляской. Таких ухажеров у нее отродясь не бывало. А теперь эти слова произнесла девушка примерно вдвое моложе.

Фильм, который выбрала Рейчел, отличался жесткостью, немецкой стилистикой и политическим содержанием. Даже эпизоды нежности в нем тут же разоблачались как иллюзорные и манипулятивные. Джин он резко не понравился, но что-то в нем ее необыкновенно заинтересовало. Такую реакцию она замечала у себя все чаще. Прежде (это слово охватывало всю ее жизнь) ее интересовало только то, что нравилось, и не интересовало то, что не нравилось; в основном так. Она предполагала, что это свойственно всем. Но в обществе словно бы назрел новый уровень отклика. Теперь ей порой надоедало то, что она одобряла, а то, чего не одобряла, вызывало живую реакцию. В благотворности такой перемены она не была уверена целиком и полностью, но сам факт ее оставался неопровержимым и удивительным.

Оплатив их билеты в кино, Рейчел дала понять, что ужин тоже с нее.

— Но у меня есть при себе деньги. — Не дожидаясь, чтобы официант закончил прием заказа,

Джин начала рыться в сумочке. Она извлекла несколько скомканных пятифунтовых купюр. Теперь у нее вошло в привычку непременно сминать деньги: это снижало постыдность того, что ты вытаскиваешь их на погляденье всем. А когда деньги скомканы, их не стыдно использовать или обсуждать без особой неловкости.

Рейчел перегнулась через стол, сложила ладони Джин на деньгах и убрала их назад в сумочку. На дне среди косметики и комочков пыли металлическим блеском тускло светилось: «ДЖИН САРДЖЕНТ XXX».

— Вы же тут не с мужчиной, — указала ей Рейчел.

Джин улыбнулась. Ну конечно нет. И в то же время каким-то странным образом — да. Точнее, она держалась так, как в мужском обществе. Тщательно оделась перед выходом; после просмотра фильма развернуто высказала свое мнение; подчинилась Рейчел, когда они вошли в ресторан. Не исключено, что это было просто заискивание старости перед юностью, но, может быть, и нет.

— Однако ты заставила меня убрать деньги, — сказала она. — Так делают мужчины.

— Теперь уже нет.

— Разве?

— Да. Теперь они берут с нас половину расходов, а обращаются с нами так же, как раньше, в прежние времена, когда платили за все.

— А именно?

— Расскажите про Китай.

На противоположной ресторанной стене висел в деревянной раме цветной диапозитив с идеализированным восточным пейзажем: речные пороги, изумрудные деревья, голливудское небо. Благодаря какому-то нехитрому приспособлению водопад сверкал и поблескивал, а по сторонам неспешно собирались облака.

— Ну, на это совсем не похоже, — сказала Джин.

Она иронически отметила про себя деспотичную бесцеремонность Рейчел, потому что начала, как говаривала ее мать, «петь за ужин».

Поболтав о Китае и путешествиях, они перешли на темы дружбы и брака. Джин без напряжения рассказывала о своей жизни с Майклом, замечая вспышки ретроспективного гнева у своей молодой знакомой, но не теряя самообладания. Под конец Рейчел сказала:

— Не могу понять, почему вы так долго с ним оставались. Почему это продолжалось.

— Ну, по заурядным причинам. Из страха. Из

страха одиночества. Из-за денег. Кому охота признавать себя неудачницей.

— Нет, это не про вас. Если *вы* от него ушли, значит неудачник — *он*; а люди этого не понимают.

— Возможно. Были и другие причины. После замужества у меня, считай, не осталось уверенности в себе. Ничего-то я не понимала. Вечно была не права. Не знала правильных ответов. Даже вопросов не знала. Счастья не было — была, как мне видится, одна тоска, но показалось, будто я начинаю лучше разбираться в происходящем. В устройстве мира. Чем больше я отчаивалась, тем больше умнела — такое было ощущение.

— А вы ничего не путаете? Наверное, чем больше вы умнели, тем больше отчаивались — вас ведь обвели вокруг пальца.

— Все может быть. Не знаю. Но меня одолевали всякие предчувствия. Уходить нельзя, думала я: уйду — и отчаюсь вконец, а заодно и поглупею.

— А когда вы ушли, так и получилось?

— Нет, но суть не в этом. Есть и другая причина, которая тебе наверняка покажется еще более дурацкой. Видимо, я косноязычна, однако хорошо помню, как это было. Мы с Майклом почти не разговаривали; он начинал злиться, мне становилось скучно; иногда он напивался, а я, случалось,

исчезала — просто чтобы заставить его поволноваться, а вернее, чтобы сделать такую попытку. В теплую погоду я порой вечерами отсиживалась в саду — лишь бы не оставаться с ним наедине. Вот так и коротала время. Не слишком весело. Как-то раз сижу я в саду ближе к ночи. Дом затемнен, как в военное время. В небе ни облачка, только луна, совершенно особенная, яркая, будто арктическое солнце. Мы про такую говорили «луна бомбардировщика» И я вдруг подумала: на что мне сдалось это замужество? Стоит ли за него держаться? Не лучше ли ускользнуть в эту теплую ночь? Наверное, во мне от недосыпа легкомыслие заговорило, но ответ напросился сам собой. Я останусь, потому что все во мне говорит «уходи», ведь все это не имеет смысла, все это абсурдно. Ведь сказал же кто-то, что верит в Бога, потому как это абсурдно. Я это хорошо понимала.

— А я вот не понимаю, — сказала Рейчел. — И надеюсь, никогда не пойму.

— Не зарекайся. Очень утомительно все время вести себя разумно.

— Вот потому я к вам и потянулась, потому вы мне и нравитесь, — сказала Рейчел. — Потому что вы никогда не глупите.

Джин с улыбкой опустила глаза. Ее кольнуло

опасливое удовольствие.

— Очень мило с твоей стороны. Многие считают, что в моем возрасте комплименты — это лишнее. На самом деле старикам они нужны не меньше, чем молодым.

— Вы совсем не старая, — взвилась Рейчел.

— О боже. Еще один комплимент. Боже мой!

К Рейчел она относилась с симпатией, но и с опаской. Такая решительность, такая суровость. В былые времена только мужчины были так решительны и так суровы.

На самом деле из-за этого она и уехала, чтобы жить самостоятельно. У замужества было два магнитных полюса: гнев и страх. Но теперь женщины гневом догоняли мужчин. Джин поражало, что зачастую именно те женщины, которые непримиримей отвергают мужчин, уезжают, селятся с себе подобными и провозглашают свободу от главенства противоположного пола, оказываются суровыми. Разве не следовало им быть самыми хладнокровными, раз уж они добились желаемого? Или же ими владела такая-то более всеобъемлющая злость на все сущее, что оставляло только две возможности, причем одна — заведомо негодная? Джин чувствовала, что донимать Рейчел такими вопросами нельзя: она

только разозлится. А это, кстати, и составляло вторую возможность: женщины теперь злились на других женщин. В доистерические времена, в том старом мире, где мужчины пробавлялись тиранией, а женщины — самообманом, где лицемерие использовалось, как ромашковый лосьон, хотя бы существовала тайная общность женщин, всех женщин. Теперь же — приемлемые идеи, лояльность и предательство. Вот как это виделось Джин. Но, быть может, за свою жизнь нам дано познать лишь отмеренную истину. Наши баки вмещают лишь отмеренное количество горючего, и женщина теряет высоту. Чем ниже опускаешься, тем меньше видишь.

— Вы не против, если я спрошу вас про секс? То есть… — Рейчел, вопреки обыкновению, замялась.

— Нет, конечно, я не против, дорогая. Как ни странно, он растянулся на все эти годы.

— И с этим… С этим… — Рейчел опять вроде как не находила слов. — Все было в порядке?

Джин засмеялась. Она взялась за синюю чашку из непонятного материала — чего-то среднего между фарфором и пластмассой, помедлила и, сделав маленький глоток, прислушалась к странному, надтреснутому звуку ее возвращения на

блюдце.

— Когда я была в Китае, там как раз ввели новый закон о браке и семье. Помнится, мне довелось прочесть перевод. Чрезвычайно подробный закон, предусматривающий, пожалуй, все варианты. В нем говорилось о запрете на заключение брака в тех случаях, когда один из потенциальных супругов болен проказой, а помимо этого в нем говорилось, что детоубийство посредством утопления категорически воспрещается. Помню, я читала и думала: а что предписывает Партия в отношении секса? Ведь ею регулируется все на свете. Но в законе имелась только двенадцатая статья. — Она выдержала беспричинную паузу.

— Не берусь угадывать.

— Разумеется. Статья двенадцатая гласит: «Муж и жена обязаны осуществлять планирование семьи».

Она снова замолчала, на этот раз более осмысленно.

— И дальше что?

— Ну, можно, наверное, сказать, что наш брак был китайским. Он совершался в первую очередь ради планирования семьи, а не ради, как сейчас говорят, занятий сексом.

— По-моему, это печально.

— Это еще не самое плохое. Мы с мужем не были исключением. В ту пору регистрировалось множество китайских браков. Как и теперь, впрочем. Это не казалось… чем-то из ряда вон выходящим. Была война, и был мир, и были события вроде… — Она не сразу смогла подобрать пример. — События вроде Фестиваля Британии…

— Ох, я вас умоляю…

— Извини. Но я имею в виду как раз явления такого рода. Все остальное, с нашей точки зрения, никакого значения не имело. Мы не…

— Вы ляжете со мной в постель? — порывисто спросила Рейчел, опустив голову и наставив на Джин свои кудряшки.

— Ну, дорогуша, это очень мило с твоей стороны, но я уже старуха…

— Не поучайте меня. И себя тоже. — Рейчел яростно хмурилась.

Но Джин все еще отказывалась принимать ее всерьез.

— Если ты угостила меня ужином, это еще не значит, что…

— Я не шучу.

Внезапно Джин почувствовала, что давно переросла эту девушку и немного от нее устала.

— Поехали, нам пора, — сказала она. — Опла-

чивай счет.

Но в машине она положила руку на плечо Рейчел. Некоторое время они ехали молча, только Рейчел изредка материлась в адрес водителей-мужчин. А потом, не глядя на Джин, сказала:

— Знаете, я не такая беспардонная, как вы думаете.

— Никто тебя не обвиняет.

— Я имею в виду — в отношении Грегори. Просто есть в нем что-то такое, от чего я на стенку лезу.

— В таком случае тебе лучше будет без него.

— Он никогда не думает о том, чтобы показать себя мужчиной. Я не имею в виду «быть мужчиной» в смысле покорять пятитысячники и так далее. А просто быть мужчиной. Об этом он не думает. Как и подавляющее большинство. И Грегори не лучше всех остальных. Он просто думает, что соответствует норме.

— По-моему, Грегори — довольно чувствительный парень.

— Я не об этом. Совсем не об этом. Просто он считает, что быть мужчиной — это норма. А мы с вами, по его мнению, — это ошибка природы.

— Ты считаешь, это плоды моего воспитания?

— Да нет же. Черт, будь там рядом мужчина,

Грегори бы, вероятно, вырос еще не таким.

— Благодарю за комплимент, — скорбно выговорила Джин.

Они ехали дальше, а сумеречные тучи сеяли на машину мелкую изморось.

— Суть контрацепции в том, — внезапно сказала Рейчел, — что можно трахаться с теми, кто тебе не нравится.

— А зачем?

Молчание. О господи. Опять невпопад. Она же задала ненастоящий вопрос. Сколько вы зарабатываете? Не хотите съездить в Шанхай?

— Когда умер Майкл, — невпопад сказала Джин, — он оставил мне все свои накопления. Дом. Всё.

— Еще бы не оставил! — сердито бросила Рейчел. — Паразит. Щедрый папочка. Заставляет вас испытывать благодарность.

Джин это не удовлетворило.

— А что бы ты сказала, если бы он мне ничего не оставил?

В полумраке автомобильного салона Джин увидела, как Рейчел улыбнулась.

— Я бы сказала: «Паразит». «Щедрый папочка». Забрал лучшие двадцать лет вашей жизни и все-таки решил вас наказать — заставить чув-

ствовать себя виноватой.

— Между прочим, — отметила Джин, — он не оставил завещания. Во всяком случае, завещания не нашли. Он умер без завещания. А потому все досталось нам с Грегори. Что ты на это скажешь?

Рейчел почти рассмеялась от гневного раздражения.

— Паразит. Щедрый папочка. Не мог додуматься, чем вас уязвить, чтобы вы чувствовали себя виноватой или вечно обязанной. Хотел и одного, и другого, даже умирая. Хотел устроить так, чтобы вы мучились над разгадкой еще много лет. Типичный случай.

— Значит, шансов на выигрыш у него не было?

— На мой взгляд — нет, а на его взгляд, он, куда ни кинь, всюду в выигрыше.

— Прежде я думала, что знаю ответы, — сказала Джин. — Потому я и уехала. Уж я-то знаю, как быть, думалось мне. Может, надо внушать себе, будто ты знаешь ответы, иначе так и будешь сидеть сложа руки. Я думала, что знаю ответы, когда выходила замуж… во всяком случае, думала, что их отыщу. Я думала, что знаю ответы, когда уезжала. Теперь у меня нет такой уверенности. Вернее, теперь я знаю ответы на другие вопросы. Быть может, в этом суть: на каждом этапе мы спо-

собны получать ответы только на определенное число вопросов.

— Вот видите, — сказала Рейчел. — Он у вас из головы не идет. Паразит.

На подъезде к дому Джин она вновь завела:

— Был у меня один. Не зануда, умный, достаточно воспитанный, — для мужчины вполне приемлемый. Все шло гладко, пока я его не застукала, когда он подглядывал, как я кончаю.

— В окно подглядывал?

— Нет, Джин, зачем же в окно?

О господи, подумала Джин, куда нас понесло.

— Не в окно. В постели. Когда мы занимались сексом. Трахались.

— Вот оно что.

— У него появилась привычка меня разглядывать. Будто я — дрессированная собачонка. Дескать, что это у тебя там, внизу? Краем глаза. Просто жуть. Я решила, что так этого не оставлю. То есть я видела, что отношения долго не продлятся. Но очень хотела ему отплатить. Чтобы он меня запомнил. Начала притворяться, будто с ним не кончаю. Это вас шокирует?

Джин помотала головой. Как же все изменилось в этом мире. А Рейчел продолжала. В ее агрессивном тоне Джин уловила скрытую неуверенность.

— Сначала было нелегко, порой я срывалась, но чаще выдерживала. И это его доводило. А я кончу, но сама притворяюсь, будто ничего не получается, и заставляю его продолжать, продолжать, а сама притворяюсь, будто вот-вот, что еще немножко, вот-вот, за следующим углом, понимаете? И утешаю его, как школяра. Все хорошо, милый, это никакой роли не играет. А когда он скатывался с меня и уже почти засыпал, но еще не совсем, я притворялась, будто немножко сама себя ублажаю. Ничего драматичного, просто давала ему понять, чем я занята, и притворялась, будто сдерживаюсь, чтобы его не расстроить. Как же его это доводило! Не передать. Паразит.

Зачем же так утруждаться, думала Джин, выходя из машины. Сперва все это проделывать, потом пересказывать мне. Разве только… это же не про Грегори, так ведь? Она попыталась вспомнить свои худшие годы с Майклом: одинокие ночи под луной бомбардировщика, тусклые дни под хмурым небом. Ей случалось тосковать, разочаровываться, злиться, но она не припоминала ничего, хотя бы отдаленно похожего на брезгливое презрение, которое сейчас выказала Рейчел. Это вопрос характера или вопрос поколения? Со всех сторон твердят, что теперь у женщин больше

свободы, больше денег и широкая свобода выбора. Возможно, для такого продвижения вперед необходима закалка характера. Это объяснило бы, почему зачастую кажется, будто отношения полов стали не лучше, а хуже; откуда взялась такая агрессия и почему многим нравится именовать агрессивность честностью. Или, быть может, думала Джин, быть может, есть объяснение попроще: я забыла, как себя ощущала. Сознание имеет привычку отправлять ненужные продуктивные воспоминания в мусорное ведро. Забыть вчерашний страх — значит обеспечить сегодняшнее выживание. Живя с Майклом, я, возможно, испытывала такой же гнев и такое же презрение, но душила их подушкой, как визгливых щенков, а теперь уже не могу вспомнить, где закопала трупики.

Рейчел сказала:

— Люблю видеть страх в глазах мужчины, когда он знакомится с умной женщиной.

Рейчел сказала:

— Самое презренное существо, как по мне, это мужчина, который пресмыкается перед женщиной.

Рейчел сказала:

— Только женщина способна понять женщи-

ну.

Сама она сбежала из дома в шестнадцать лет, скиталась по большим городам, отсиживалась в домах, куда не допускались мужчины.

Рейчел сказала:

— Мужчины стали чаще поднимать руку на женщин. Мужчины убивают детей.

Рейчел сказала:

— В чем разница между мужчиной и куском говна? Если рядом с тобой оказался кусок говна, обнимать его необязательно.

Рейчел сказала:

— Всё решают политика и деньги; не верьте, будто это не так.

Рейчел сказала:

— Я не критикую. Я просто вижу, что вы по-прежнему ждете мужчину, который явится и ответит за вас на все вопросы.

Джин представила себе доску-качалку в городском скверике, выкрашенную в муниципальный зеленый цвет. Прижимая ее одним концом к асфальту, на ней восседает толстяк в костюме-тройке. Джин, рискуя свалиться, осторожно забралась на пустое сиденье; но ее небольшого веса, помещенного так близко к точке опоры, не хватило даже на то, чтобы качнуть доску.

Тут появилась Рейчел, мартышкой взлетела на задранный конец доски позади Джин и, не задумываясь ни о собственной безопасности, ни об асфальте, стала подпрыгивать вверх-вниз. Толстяк в деловом костюме на мгновение испытал неприятные толчки, но тут же сдвинулся на ягодицах и устроился поудобнее, а его каблуки ни разу не оторвались от земли. Через некоторое время Рейчел в бешенстве сбежала. Толстяка это словно бы совсем не огорчило. Одна умотала — придет другая. К тому же качели были у него в собственности.

Рейчел сказала:

– *Три* мудреца — вы шутите?

Рейчел сказала:

— Если одного мужчину сумели отправить на Луну, так почему следом не отправили их всех?

Рейчел сказала:

— Женщине нужен мужчина, как дереву — песик с задранной ногой.

Рейчел однажды доверили почистить отцовские ботинки, так она вместо гуталина вымазала их зубной пастой; она видела, как интеллект ее матери истощается от подсчета расходов на консервы; наблюдала, как отец заточал мать в мягкую клетку своих рук.

Рейчел сказала:

— Мужчина на белом коне — это очень романтично, спору нет; только кто будет разгребать навоз.

Рейчел сказала:

— Родиться женщиной — это как родиться левшой и вынужденно писать правой. Неудивительно, что мы заикаемся.

Рейчел сказала:

— По-вашему, я кричу? Вы не представляете, до какой степени они глухи.

У Джин вертелись на языке вопросы: не была ли Рейчел изнасилована родным отцом, не осталось ли у нее кровоточащих шрамов от первого соприкосновения с мужчиной? Однако Рейчел угадала ее мысли, прежде чем они были додуманы до конца.

— Джин, — сказала она, — это мужской довод. Ключ не подходит к гайке.

— Я просто задумалась… — начала Джин.

— А вы не задумывайтесь. Для того чтобы стать феминисткой, вовсе не обязательно подвергаться насилию. И сходство с автомехаником не обязательно. Надо всего лишь быть нормальной. Надо всего лишь видеть вещи в истинном свете. Это ведь ежу понятно. Все это ежу понятно, — сказа-

ла Рейчел. — Для мужчины само слово «жена» рифмуется с «дана». А какая есть рифма к слову «муж»? Разве что «уж».

— Ну, ты, я вижу, не оставляешь мужчинам никаких шансов, — заметила Джин.

— Пусть знают, — отрезала Рейчел, — как мы к ним относимся.

Они пристрастились где-нибудь бывать раз в неделю: то в кино, то в кафе; вели беседы, добродушно пародируя мнения друг дружки. При третьей встрече Джин настояла на том, что пришел ее черед оплачивать ужин; а в другой раз Рейчел, остановив автомобиль у дома Джин, нагнулась и поцеловала ее в щеку.

— Бегите, не то папенька осерчает.

Во время четвертой встречи, для которой был выбран индийский ресторан, Джин подумала, что повар тронулся умом от мандаринового пищевого красителя; тогда Рейчел позвала ее к себе домой. Джин рассмеялась: приглашение уже не казалось большой неожиданностью.

— А чем они занимаются? — небрежно поинтересовалась она.

— «Они»?

— Они, — повторила Джин, стесняясь произносить «лесбиянки».

— Послушайте… — энергично начала Рейчел, но Джин остановила ее поднятой ладонью.

— Нет, на это я не подписываюсь. Нет. — В сознании Джин «они» внезапно трансформировались в «мы»; перед глазами возникла неприемлемая, отталкивающая сцена. — И вообще…

— «Вообще» — что? Вообще Фестиваль Британии?

— Вообще я не причисляю… не причисляю тебя к… *лесбиянкам.*

Она все же сумела это выговорить, но перед тем продезинфицировала одиозное слово паузой, чтобы оно прозвучало отстраненно и по-научному, вне какой бы то ни было связи с Рейчел. Эта миниатюрная блондинка-спутница сжала ей запястья, а неистовые карие глаза не давали Джин отвести взгляд.

— Я кручу любовь с женщинами, — произнесла Рейчел медленно и решительно. — Это тянет на лесбиянку, как по-вашему?

— Я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы этому верить.

— Знаете, Джин, слыхала я от вас мысли и помудрее.

— Наверное, я неудачно выразилась: быть может, дело преимущественно в том, чтобы по-

квитаться с мужчинами? Как принято говорить у вашего поколения, это вопрос политический. Он замыкается на других вещах, а не только… не только на сексе.

— А когда такое было, чтобы секс замыкался только на сексе?

Всегда, вертелось на языке у Джин; впрочем, такой ответ наверняка оказался бы неправильным. Для полемики с Рейчел ей определенно не хватало опыта. Ну почему она вечно злит любого собеседника? Теперь вот Рейчел буквально провоцирует ее на очередную глупость. А она не ведется. Точнее, ведется, но в другом направлении.

— В общем, это не мое, понимаешь?

— Ну-ну. Это уже совсем другой аргумент.

Джин вгляделась в лицо Рейчел: выступающий подбородок, яростные карие глаза. Бывают же такие гневные физиономии: гневные не от разочарования, а от желания? Какие только фразы не мелькали у Джин в голове: «А она миловидная»; «Такой цельный характер»; «Я и впрямь к ней прикипела», — но все это были избитые штампы, которыми старики обезоруживают молодых. Она сочувствовала этой девушке, пока еще достаточно юной, отрытой как для добра, так и для зла;

как для гордыни, так и для раскаяния. А вдобавок, за пределами и гордыни, и раскаяния, — возраст, на который Джин почти страшилась возлагать надежды: возраст отстраненности, состояние столь же безотчетное, сколь и осмысленное. В последнее время, когда она слышала какую-нибудь историю или смотрела фильм, ее куда меньше занимал финал, будь то счастливый или трагический; ей просто хотелось, чтобы сюжет был правильно выстроен, корректно, в соответствии со своей внутренней логикой. И к сюжету ее собственной жизни относилось то же самое. Ее устремления теперь не ограничивались исключительно счастьем, финансовым благополучием или отсутствием болезней (хотя включали и первое, и второе, и третье), а тяготели к чему-то более общему: к незыблемой надежности всего сущего. Ей хотелось уверенности в том, что она и дальше останется сама собой.

Как объяснить все это Рейчел, она не знала, потому и ограничилась той единственной фразой: «В общем, это не мое, понимаешь?» Но впоследствии, лежа без сна теплой ночью, она лишилась уверенности даже в этом. Ей вспомнился Восход Проссер, который в ожидании вылета побрякивал мелочью в кармане. У нее было ощущение,

что мужчины в синей форме вежливее передают за столом соль и не горланят по углам.

Она не слишком удивилась сама себе, согласившись переспать с Рейчел. Зрелость нуждается в похвалах не меньше, чем юность, думала она, а желание — это разновидность похвалы.

— Я теперь не слишком приятна глазу, — сказала она, переступив порог квартиры Рейчел и припоминая, как выглядят нынче ее груди, плечи, живот. — У тебя найдется для меня ночная сорочка?

Рейчел засмеялась и ответила, что такого предмета одежды в доме не держит, однако принесла нечто похожее. Джин прошла в ванную, почистила зубы, ополоснулась, забралась в постель и выключила свет. Она лежала спиной к середине кровати. Послышались шаги Рейчел, а потом совсем рядом опустилась масса ее тела. Бух. Совсем как дядюшка Лесли на косогоре близ четырнадцатой лунки. Джин прошептала:

— Думаю, сегодня тебе придется меня пощадить.

Рейчел пристроилась к изгибам ее спины. Ложки, вспомнилось Джин из юности. Они с Майклом были — как ложка и нож. Наверное, в этом и заключался ответ.

— Ты не обязана делать ничего такого, что тебе неприятно, — сказала Рейчел.

Джин выдохнула с каким-то полумурлыканьем. А как быть, если тебе вообще ничего не хочется делать? Когда Рейчел принялась ее поглаживать, она напряглась, чтобы невзначай не выдать своего удовольствия. Через некоторое время Рейчел угомонилась. Обе провалились в сон.

Они предприняли еще две попытки, назвать которые таким словом можно было только с натяжкой. Джин, отвернувшись, лежала на боку в чужой ночной сорочке и боялась дышать. Она и рада была бы пробудить в себе желание, но желание оказалось недосягаемым. Решив, что Рейчел уснула, Джин расслабилась, а затем сама поразилась, как ей сладко спалось. Она еще подумала, что неплохо было бы этим ограничиться. Но такой удачи ничто не предвещало. А от одной мысли о чем-то большем на нее накатывали волны паники, сухости, возраста.

— Чувствую, мне не хватит смелости переспать с тобой по-настоящему, дорогая, — сказала она при следующей встрече.

— Чтобы лечь с кем-нибудь в постель, смелость не требуется. Скорее, требуется нечто противоположное.

— А мне кажется, смелость просто необходима. Придется тебе меня отпустить.

— Пойми: ты просто не стараешься.

— Мне нравится просто дремать, — призналась Джин и прикусила язык.

Рейчел хмурилась. Ну почему секс вечно приносит досаду? Тут у Джин промелькнула тревожная мысль.

— Помнишь, ты рассказывала, как тебе не понравилось с кем-то… с каким-то мужчиной… в постели?

— Помню.

— Это был Грегори?

Рейчел хохотнула.

— Еще чего! Конечно нет! Неужели я стала бы тебе такое рассказывать?

У Джин вырвался вздох облегчения: по крайней мере, над ее семьей не довлело никакое родовое проклятие, которое неизбежно почуяла бы Рейчел. Впрочем, позднее она насупилась: если Рейчел при помощи своего тела смогла провернуть трудную ложь, то для легкой лжи вполне годились органы речи.

Наверное, вопреки словам Рейчел, для того чтобы лечь с кем-нибудь в постель, все же требовалась смелость. Или, по крайней мере, смелость

могла пригодиться. Но у нее запасы смелости, наверное, иссякли. Как говорил Восход Проссер: от ветра поднимается ветер, от слабины сгораешь дважды. Если верить Рейчел, уход от Майкла был смелым поступком; смелость потребовалась и для упоминания Грегори без видимой причины. В этих поступках сама Джин смелости не усматривала — только очевидность. Надо думать, проявление смелости означает совершение очевидного в тех условиях, когда другим оно представляется неочевидным. Взять хотя бы Рейчел и недавний эпизод в постели: Рейчел сочла его очевидным, а значит, не требующим смелости; Джин сочла его неочевидным — потому и растратила на него свою смелость. Господи…

А может, все это никак не связано со смелостью. Может, смелость в мирное время должна вообще обозначаться другим словом. Пусть бы слово «смелость» зарезервировали исключительно для пожарных, для офицеров-бомбометателей и иже с ними. Ты либо выполняешь то, что предписано, либо нет, вот и все.

* * *

Весть о болезни дядюшки Лесли пришла от его громогласной квартирной хозяйки, миссис Брукс.

После возвращения Лесли из Америки, которое последовало так не скоро после войны, что осталось почти незамеченным, он подвизался на каких-то неразглашаемых должностях, поигрывал в азартные игры и ловко проедался за чужой счет. Жил он неизменно в дешевых меблированных комнатах, иногда второпях уносил оттуда ноги, но в целом вел себя прилично. С возрастом его система бартера достигла значительных высот. «Не будете ли вы так любезны заменить для меня этот штепсель, мистер Ньюби?», «Не позволите ли разделить с вами ланч, миссис Феррис?» — таковы, по воспоминаниям Грегори, были первые услышанные им разговоры с участием двоюродного деда. С недавних пор Лесли стал брать Грегори с собой в паб, но племянник ни разу не видел, чтобы денежные средства переходили там из рук в руки, за исключением тех случаев, когда наступал его черед расплачиваться. Вероятно, ближе к закрытию Лесли превращался в одного из тех смиренных забулдыг, которые бродят по залу, собирают использованные стаканы в обмен на вечернюю выпивку и изображают владельца заведения, нараспев призывая: «Время, джентльмены, делайте последний заказ».

— Привет, крошка Джини.

Много лет она не слышала такого обращения. Но возражать не стала, хотя ей уже перевалило за шестьдесят.

— Ну, как ты?

— Дышу на ладан, вот так-то. Дышу на ладан.

— А что врачи говорят?

— Ничего не говорят, потому как я не спрашиваю. — Тощий, с желтушным лицом, дядя Лесли теперь носил клочковатые усы и умащивал редеющие черные волосы бриолином. — У меня, стало быть, та напасть, которая не обсуждается. Я получил свою дозу «Он не спросит — мы не скажем».

Присев к нему на койку, Джин взяла в руки его ледяную, хрупкую ладонь.

— Ты всегда был таким храбрецом, — сказала она. — Я бы, наверное, даже не подумала выезжать за рубеж, если бы не твой пример. Это ведь ты меня направил к пирамидам.

— Знаешь, нынче я нипочем бы не направил тебя по своим стопам. — Джин молчала; говорить было, пожалуй, не о чем. — В общем, у меня всегда гулял ветер в голове. Ты в детстве, наверное, думала, что я — порядочный ухарь. Но ветра в голове у меня не прибавилось и не убавилось. Вечно в бегах. Вечно на бегу. Смелости — ни на грош.

— Смелости без страха не бывает, — убежденно высказалась Джин. Ей не хотелось, чтобы дядя Лесли привыкал себя жалеть. А кроме того, это была чистая правда.

— Может, и так. Только я тебе вот что скажу. Страх без смелости очень даже бывает.

Джин не нашлась с ответом, пока не вспомнила крошечную загородную будочку, похожую на скворечник для птиц-переростков.

— Лесли, когда мы с тобой наведывались в Старый Зеленый Рай…

— Думаешь, туда после смерти попадают заядлые гольфисты?

И вновь она не нашлась с ответом.

— Не тушуйся, крошка Джини. Старые гольфисты не умирают, а только мячи да свои крутые яички теряют.

— Когда мы наведывались в Старый Зеленый Рай, ты всегда показывал свой сигаретный фокус.

— Какой именно?

— Выкуривал целую сигарету, не уронив ни крупицы пепла. При этом ты медленно запрокидывал голову, покуда весь пепел не вставал столбиком.

— Неужели я так исхитрялся? — Лесли улыб-

нулся. По крайней мере, у него остались кое-какие знания, кое-какие тайны. — Хочешь, расскажу, как это делается?

— Да, расскажи, пожалуйста.

— Весь фокус в том, чтобы в центр сигаретки загнать иглу. А голову запрокидывать — это для того, чтобы более натурально выглядело. По той же причине на ветру и по возможности на улице этот фокус не показывают. Пусть зеваки опасаются, что все испортят, если начнут бузить. Это всегда полезно. Курить-то свою сигарету можно хоть огоньком к земле, хоть в шторм — пепел высыпаться не будет. Я, правда, не пытался. Но курево и получше бывает. А так все время кажется, будто у табака металлический привкус.

— Лесли, старый ты жулик!

— А то! Всегда полезно кое-что за душой иметь, верно?

Лесли во время второго визита Джин выглядел заметно слабее и просил прислать к нему Грегори. С пятилетнего возраста внучатый племянник был официально признан своим дядей и начал получать вереницу загадочных рождественских подарков. В шесть лет ему была отправлена причудливая резная подставка для курительных трубок, в семь лет — набор художественных

стереоскопических открыток без стереоскопа, в десять — конструктор для сборки самолета «лайсандер» с отсутствующим шасси, в одиннадцать — велосипедный насос, в двенадцать — три льняных носовых платка с вензелем «Д». Всего на одну буковку ошибся, подумал тогда Грегори. К четырнадцатилетию пришли изъятые из обращения двадцать лет назад французские банкноты, которые навлекли на него неприятности: когда он пытался обменять их в банке, его приняли за недотепу-мошенника; в двадцать один год он получил многолетней давности фото дяди Лесли, сделанное, по всей видимости, в Америке и украшенное дарственной надписью. Впоследствии детские разочарования Грегори сменились тайной гордостью за эти подарки: он усматривал в них совсем не то, что другие, — не показное наплевательство дарителя, а, наоборот, решение облагодетельствовать внучатого племянника уникальными вещицами, безошибочно отражающими дядюшкин характер. В этом все дары совпадали. Несколько лет Грегори даже носил в душе тайный страх обрести стереоскоп — если, например, мать подарит. Это разрушило бы все его построения.

Миссис Брукс, у которой Лесли квартировал без

малого пять лет, была тощей, невразумительной женщиной, которая почему-то вечно кричала. Причем вовсе не из-за тугоухости, как однажды доказал дядя Лесли, тихонько включив радио и понаблюдав за ее реакцией; а просто в силу привычки, столь давней, что никто уже не помнил, когда и как она появилась, да никто и не проявлял особого интереса.

— ОЙ, СОВСЕМ ХУДО ЕМУ, — выкрикнула она на всю улицу, когда отворила дверь, чтобы впустить Грегори. — НЕ ВИЖУ, ЧТОБ ЕМУ ПОЛЕГЧАЛО, — громогласно известила она всех жильцов первого и второго этажей, в борьбе вырывая у Грегори пальто.

К счастью, комната дяди Лесли располагалась на верхнем этаже — там находился раскалявшийся в летнее время просторный чердак: он соседствовал с булькающими водонапорными баками, которые служили надежной защитой от переговоров о долгах по арендной плате.

Взмахивая обеими руками, Грегори задержал миссис Брукс на первом этаже. Потом он деликатно постучался в чердачную дверь и вошел. Это был его первый визит к дяде, и за порогом его тут же захлестнула странная ностальгия: ну конечно же, подумал он, вот откуда все мои рож-

дественские подарки. Больше всего эта берлога напоминала ему лавку средней руки старьевщика: одежда на вешалке, явно не предназначенная для одного и того же человека; три пылесоса и насадки для четвертого; хрустальная цветочная ваза с желтоватой полоской присохшей плесени в середине; развалы книг в бумажных переплетах: каждая — с отрезанными верхним правым уголком и приклеенным ценником в шиллингах и пенсах; перламутрово розовеющая в коробке древняя бритва «Электролюкс» настолько допотопной модели, что выглядела чем-то совсем другим, например непопулярной секс-игрушкой; стопка разнокалиберных тарелок; несколько чемоданов, общая емкость которых намного превосходила содержимое комнаты; и торшер, который оказался включенным даже в одиннадцать часов этого весеннего утра.

— Милый Мальчик, — прошептал Лесли, непостижимым образом обозначив прописную букву в слове «Мальчик» и тем самым внушив гостю такое чувство, что этого обращения удостаиваются только самые зрелые люди. — Милый Мальчик.

Сделав вид, будто не замечает продавленного веревочного ящика для белья, который, видимо, служил табуретом, Грегори присел к дядюшке

на кровать. Он не знал, что́ принято говорить в подобных случаях (но это определенно был «подобный случай»), однако никакой роли это не играло, поскольку Лесли, даже когда подолгу молчал, все равно каким-то образом главенствовал в разговоре. Сегодня все его мысли занимала миссис Брукс.

— Она рассказала тебе, как я вынудил ее позволить мне умереть здесь?

— Нет. — Грегори знал, что разубеждать дядю Лесли бессмысленно.

— Сказал ей, что настучу в налоговую, если она упрется.

— Лесли, старый ты плут. — Грегори чувствовал, что более желанного комплимента ему не найти.

Лесли воспринял его слова именно так и прижал палец к ноздре, но постукать им уже, наверное, не хватило сил.

— Глупой старухе пришлось даже выдать себя за мою давно пропавшую невестку или еще какую-то родню. Иначе меня не выписывали из больнички. «Да и пусть их, — сказал я ей, — ты, главное, затребуй тело». Эскулапам это не понравилось. Угощайся пилюлями, мальчик мой. — Он указал на цепочку пластиковых цилиндриков у

изголовья. Грегори только помотал головой. — Понимаю тебя, милый: мне и самому они поперек горла.

Некоторое время они молчали; Лесли прикрыл глаза. Волосы у него оставались черными, как в лучшие времена (небось в несессере хранится какая-нибудь уцененная краска, подумал Грегори), но брови сделались белоснежными, а усы — пегими. Кожа у него пожелтела, обвисла на лбу и скулах; и все же в его облике таилось нечто обаятельное. Он смахивал на ярмарочного зазывалу, который приглашает публику лицезреть Бородатую Женщину. Ты заходишь в шатер и понимаешь, что борода попросту приклеена, но почему-то язык не поворачивается поставить это ему в упрек. «Не пропустите Бородатую Женщину, — неожиданно для себя объявляешь ты, проходя вдоль очереди. — Лучшая Бородатая Женщина к югу от Адрианова вала».

Время от времени Лесли что-нибудь говорил, и глаза его пытались открываться в унисон со ртом. О своей смерти он больше не заикался, и Грегори решил, что вопрос исчерпан. Потом он немного рассказал о Джин и в какой-то момент признался Грегори:

— А ведь она, матушка твоя, была когда-то на-

стоящей вопилкой.

И вновь смежил веки.

Грегори не понял, что имелось в виду. Наверное, «вопилка» означало «гулящая», как выражались в прежние времена. Но это никак не могло относиться к его матери. Словцо, похоже, из довоенного жаргона. Он решил, если не забудет, посмотреть его в словаре.

Потом у него возникло желание рассказать Лесли, как он всегда его любил и с каким удовольствием слушал байки про войну, которые не одобряла Джин. Но была в этом какая-то бестактность, если не жестокость. Поэтому он лишь приглушенно выговорил:

— Помнишь стереоскопические слайды, которые ты мне подарил? Я тут на днях про них вспомнил.

— Ты о чем?

— Да о тех картинках. Типа слайдов, по паре в каждой рамке. Вставляешь их в стереоскоп, подносишь к свету — и любуйся видами африканских заповедников или Большого каньона. Да вот только… только стереоскоп ты почему-то зажал.

Как ни старался Грегори, в голосе у него сквозили обиженные нотки, хотя в глубине души никаких серьезных эмоций он не вынашивал.

— Хм, — выдавил Лесли, зажмурившись. — Хм.

Размышлял ли он о собственной низости или о неблагодарности внучатого племянника? Стариковские веки медленно разлепились, и взгляд устремился куда-то за плечо Грегори.

— Если вот там пошаришь, то, может, и найдешь недостающую часть.

— Нет. Нет, дядя, мне… мне совсем не нужна недостающая часть.

Один глаз ненадолго приоткрылся, оглядел Грегори, решил, что юнец тронулся умом, и закрылся. Минуты через две Лесли вновь подал голос:

— Забирай тогда бритву.

— Что-что?

— Возьми, говорю, взамен бритву.

Грегори скользнул взглядом по верху комода. Оттуда ему подмигивал розовым отсветом «Электролюкс».

— Большое спасибо. — Это, как он понял, считалось идеальным подарком.

— Если не возьмешь, она себе заберет — ноги брить.

Грегори прыснул; губы его тронула легкая улыбка. Он вглядывался в ярмарочное дядино лицо. Наконец, не открывая глаз, Лесли произнес последние слова, которые услышал от него

Грегори:

— Это тебе, знаешь ли, не общий рынок.

Само собой. Грегори встал, положил руку на дядино плечо, которое пожал в высшей степени бережно, потом взял с комода бритву, засунул ее поглубже в карман, чтобы миссис Брукс не заподозрила хищения (именно это она и заподозрила, когда обнаружила пропажу), — и был таков.

После смерти Лесли Грегори помог миссис Брукс расчистить чердак.

— НУЖНО ВСЕ ЭТО СКОПОМ ОТПРАВИТЬ В «ОКСФАМ», — прокричала она к сведению жильцов третьего и четвертого этажей своего дома.

Когда передвигали кровать, Грегори наступил на что-то хрупкое. Это был трехмесячной давности, совсем пересохший пакетик рыбы с жареным картофелем. Подняв его с пола, Грегори поискал глазами мусорную корзину. В пределах видимости ее не оказалось. Столько хлама, подумал он, а выбросить некуда.

У себя в конторе, торгуясь с клиентами, алчущими денег в обмен на собственную кончину, Грегори мысленно возвращался к жизни и смерти дяди Лесли. Тот своим поведением во время заключительной встречи не просто его растрогал, но буквально поразил. Свою близкую кончину

упомянул сразу, обратил ее в шутку и перевел разговор на другое. Не стал устраивать из их последней беседы прощание, хотя по сути это и было прощание; не поддавался жалости к себе и не выжимал слезу из гостя. Все это сделало смерть Лесли менее жуткой, чем можно было предвидеть. Грегори решил, что Лесли был — за неимением лучшего слова — храбрым.

Создавалось впечатление, что эта смерть — она вроде как сказала свое слово. Лесли, который сбежал от войны, который мошенничал и прикарманивал все, что плохо лежит, который, не будь он родней, даже у Джин мог бы получить кличку «пройдоха». Или это звучало слишком уж стройно, чересчур назидательно? В самом деле, никто бы не поручился, что Лесли действительно сбежал от войны (так утверждал отец Джин, хотя сам Лесли говорил, что «решил пожить в Штатах»), — а они не могли поручиться, что этот бартерный образ жизни не навязан нищетой, и даже Грегори не мог бы поручиться, как именно умирал Лесли, какой была его кончина. Видимо, таблетки избавили его от боли; правомерно ли в таком случае говорить о смелости? Ну да — ведь ему пришлось свыкнуться с мыслью о собственной смерти. Не исключено, впрочем,

что пилюли предназначались для избавления от дум, для их очищения, и Грегори склонялся к такой трактовке.

Итак, что же это за штука — хорошая смерть? Возможна ли вообще в наше время достойная смерть, или мы изначально поддались иллюзии достойной смерти — храброй, стоической, утешительной, задушевной? — бытовавшей когда-то в прошлом? Или «достойная смерть» — это не более чем расхожий штамп, имеющий мало общего со своим обозначаемым; неужели это сродни упоминанию несуществующего животного — крылатого крокодила, например? Или же достойная смерть — это попросту наилучшая смерть, какая будет нам доступна в тех или иных обстоятельствах, независимо от медицинской помощи? Или совсем уж просто: достойная смерть — это любая смерть, не захлестнутая агонией, страхом и сопротивлением. В таком смысле — да нет, в любом смысле — дядя Лесли принял достойную смерть.

* * *

Джин вспомнился Китай. Надо думать, она потому вопреки ожиданиям не ощущала себя там чужой, что путешествие по Китаю оказалось

сродни жизни с мужчиной. Мужчины жонглируют золотыми рыбками и ожидают, что вас, женщин, это поразит. Мужчины предлагают вам шубки из собачьих шкур. Мужчины изобретают пластмассовый бонсай. Мужчины дарят вам миниатюрные адресные книжечки, которые, по их мнению, полностью отвечают женским потребностям. Мужчины очень примитивны: отвозят на базар свиней, притороченных поперек велосипедных багажников. А главное, как мужчины с вами разговаривают. В *истерическую* эпоху. *Хлам* был восстановлен. Здесь *толковый* комплекс, там — магазин готового *плачья*. Они разговаривали с вами через мегафон, даром что вы стояли совсем рядом. А когда разряжались батарейки, мужчины все равно предпочитали орать на вас в неработающий мегафон, но не пользоваться жалким эквивалентом собственного голоса. Или же они разговаривали с вами с противоположной стороны дугообразной стены, и, вытягивая шею, вы с трудом различали их голоса среди десятков других. А когда вы задавали им простейшие вопросы — «Вы не хотите съездить в Шанхай?» — они не отвечали. Делали вид, будто с вопросом что-то не так. Будто это ненастоящий вопрос. Почему вы спрашиваете? Ответа нет,

потому что нет вопроса. Прижми пальцем узел — помоги мне приторочить свинью. Хлам был обновлен. В доистерические времена. Но мы-то, не забывай, сами живем в истерические времена и всегда в них жили.

3

Вопрос о бессмертии – это вовсе не научный вопрос.

Кьеркегор

Как отличить хорошую жизнь от никудышной — от жизни, растраченной впустую? Джин вспомнился такой случай: в Китае на нефритовой фабрике женщину-бригадира спросили, как отличить хороший нефрит от плохого. Через переводчика и через неисправный рупор был получен ответ: «Надо на него посмотреть и определить достоинства на глаз». Теперь этот ответ уже не казался чересчур уклончивым.

Джин часто задумывалась, на что похоже старение. Когда ей было за пятьдесят, а по ощущениям — как прежде, за тридцать, она услышала по радио лекцию какого-то геронтолога. «Заткните уши ватой, в туфли насыпьте гравия. Натяните резиновые перчатки. Стекла очков смажьте вазелином — и мгновенно состаритесь».

Неплохой эксперимент, но, естественно, не без изъяна. Старость не приходит в единый миг; отчетливых воспоминаний для сопоставления не

существует. Аналогичным образом, когда Джин оглядывалась на последние сорок из своих ста лет, это ни первоначально, ни даже в основном не ощущалось как утрата сенсорных восприятий. Человек стареет прежде всего не на свой собственный взгляд, а на посторонний. Дело не в том, что ты не можешь отмахать такое расстояние, какое покорялось тебе прежде, а в том, что окружающие от тебя этого не ждут; а коль скоро от тебя этого не ждут, тебе требуется недюжинное упорство, чтобы держать шаг. В шестьдесят она по-прежнему ощущала себя молодой; в восемьдесят ощутила себя пожилой женщиной с легкими недомоганиями; а на подходе к столетнему рубежу перестала задаваться вопросом, чувствует ли она себя моложе своих лет, — в этом не было смысла. Она радовалась, что не прикована к постели, хотя это могло случиться гораздо раньше, но в основном принимала успехи медицины как должное. Она все больше жила внутренней жизнью и была этим довольна. Ее во множестве посещали воспоминания; они неслись по ее небосклону, как ирландское ненастье. С каждым прожитым годом ступни словно бы чуток отдалялись от рук; она роняла вещи, порой спотыкалась, терзалась страхами, но в основном

переживала из-за ухмылки парадокса старости: любое дело, казалось, требовало больше времени, чем раньше, однако же, вопреки этому, время летело быстрее.

В восемьдесят семь Джин впервые закурила. Сигареты наконец-то были объявлены безвредными; после ужина она щелкала зажигалкой и, смеживая веки, затягивалась каким-нибудь пряным воспоминанием из прошлого века. Всем остальным сигаретам она предпочитала «Намберс», которые поначалу выпускались с пунктирной разметкой на восемнадцать «средних курительных единиц». Эти СКЕ были пронумерованы от первой до восемнадцатой — благожелательная уловка фабриканта, имеющая целью сообщить потребителю, какую часть сигареты он успел скурить. Однако года через два-три, летом, когда темы для обсуждения в сети были наперечет, разгорелась дискуссия (которая, по мнению производителей, вышла из-под контроля) о том, не препятствует ли такая нумерация «Намберсов» свободному выбору потребителя. Под влиянием общенационального опроса, затронувшего восемь процентов населения, и нескольких вопиющих эксцессов (автомобиль коммерческого директора был пунктирами

расчерчен на восемнадцать полос от капота до багажника) фабриканты согласились выпускать непронумерованные «Намберсы».

Тем не менее Джин по-прежнему безотчетно верила, что ее сигарета рассчитана на восемнадцать затяжек. Шесть, шесть и шесть; после каждой трети она делала паузу. Первые шесть затяжек переполняли ее внезапной радостью: это были новые вспышки жизни. Вторые шесть были не столь активными: она пыталась удержаться на той высоте, которой наивно достигла без труда; последние шесть были отмечены приливом смятения: тлеющий пепел у нее на глазах подбирался все ближе к ее пальцам, и время от времени ей хотелось превратить шесть в семь. Но это не делало никакой разницы.

Еще Джин полюбила сидеть на солнце. Вероятно, думала она, это как-то связано с кожей: она уплотняется по мере высыхания, идет пятнами, приобретая сходство с кожей рептилий, и человек даже начинает вести себя как ящер. Чтобы не видеть своих рук, она порой натягивала старые белые перчатки.

— У тебя зуд? — спрашивал Грегори.

— Просто прячу свои вегетарианские сосиски.

Грегори было под шестьдесят: он сохранил

кроткую округлость лица, памятную Джин со времени их скитаний, а внезапно вспыхивающая в его взгляде сосредоточенность вызывала у нее в памяти те сущности, которые он созерцал на протяжении своей жизни: его радужную боевую эскадрилью самолетиков, его компьютерные шахматы и бледных подружек. Но омолаживать его теперь могла только память. Джин понимала, что сделалась матерью старика. Волосы его, считай, полностью поседели, очки в круглой золотой оправе выглядели как реликт, а уравновешенная, несколько ироничная манера держаться все больше напоминала о старческом педантизме. Дважды в неделю Грегори отправлялся на службу, а так — осваивал КОН и слушал джаз у себя в кабинете. Иногда Джин казалось, что всю его жизнь окутывает утренний туман, который никогда полностью не рассеивается.

Она больше не утруждалась разглядывать себя в зеркале. Не по причине тщеславия, а по причине отсутствия интереса. Любоваться или тревожиться можно только до определенного предела эластичности плоти, а потом ничего нового ждать не приходится. Ее постоянной прической сделался рыхлый узел; голову она не мыла вот уже несколько лет, отчего седина сменилась

благоприобретенной желтизной. Как странно, думала она: в детстве была почти блондинкой, а во втором детстве волосы почему-то стали каштановыми и утратили детскую золотистость. В сравнении со своим прежним ростом она съежилась на пару дюймов, немного ссутулилась и, передвигаясь по дому, держалась за мебель. Следить за событиями общественной жизни она давно перестала; собственный характер уже не мнился ей столь существенным, как в прежние времена; глаза отчасти утратили голубизну и приобрели молочно-серый оттенок предрассветного неба, которое еще не определилось в отношении наступающего дня. Так бывает, когда кислородный баллон словно бы дает небольшую течь: окружающая обстановка делается несколько размытой и обнаруживает себя не сразу. Джин это сознавала, но, в отличие от тех давным-давно погибших летчиков, не давала воли дурной привычке насмехаться над старческими недугами, которая проявлялась у них при натужном движении к солнцу.

От случая к случаю Грегори пытался знакомить ее с другими глубокими стариками, но всякий раз терялся из-за полного отсутствия у нее какого бы то ни было энтузиазма.

— Меня же никогда не тянуло к старикам, — объясняла она. — С какой стати я должна интересоваться ими теперь?

— Ну, с ними ты могла бы… допустим… вспомнить былые времена, правда?

— Грегори, — отвечала она с убежденностью на грани суровости, — *чужие* былые времена *меня* не интересуют, а *свои* я привыкла держать при себе. Чтобы интересоваться стариками, нужно прежде состариться самой.

Грегори улыбался. Старость? У него даже не было страхового полиса. Фирма, конечно, предлагала ему полис на льготных условиях, но он отказывался. Знакомые говаривали, что страховой агент без собственной страховки уподобляется мяснику-вегетарианцу. Эта шутка его не задевала. Он кивал, а про себя думал, что мяснику вполне логично быть вегетарианцем: кто в течение дня разделывает мясные туши, тот вряд ли закажет дома к ужину нарубленное своими руками мясо. Даже если оно достается ему на льготных условиях.

В возрасте далеко за пятьдесят он начал подумывать о самоубийстве. Это были спокойные, почти умиротворяющие, взвешенные рассуждения, далекие от бурных мелодрам с молниями,

рассекающими небо цвета копирки. Возможно, они как-то соотносились с отсутствием страхового полиса, условия которого не располагали к меланхолическим решениям, а то и запрещали — предположительно — меланхолические размышления на эту тему. Но столь же вероятно, что в первом десятилетии наступившего века в новостях постоянно фигурировали известия о самоубийствах. Говорят, что иные люди только потому и влюбляются, что наслышаны о любви; то же самое с большой степенью вероятности может относиться и к самоубийствам.

Ох уж эти стариканы, которые накладывают на себя руки. Грегори еще помнил некоторые имена: Фредди Пейдж, Дэвид Солсбери, Шейла Эйбли. Плюс имя, известное всем: Дон Джонсон. Как и следовало ожидать, пресса и телевидение неверно истолковали первые Самоубийства Престарелых Граждан. Авторы редакционных статей указывали, что эвтаназия существует на законных основаниях уже восемь лет, что государство обеспечивает лучшие в Европе средства Мягкой Кончины; тогда почему те люди решили покончить с собой так шумно и демонстративно, если не по причине глубокого психического расстройства? А если это так, значит необходимо

усилить Службу гериатрического мониторинга по месту жительства и обеспечить более широкое распространение информационных материалов на льготных условиях.

Но кампания только набирала обороты. Первое число каждого месяца с марта по сентябрь 2006 года стало Днем престарелого мученика; заявил о себе Координационный комитет по самоубийствам престарелых граждан; а газеты выяснили, что новости о престарелых, поданные с достаточным драматизмом, не ведут непосредственно к снижению продаж. Когда обнаружилась утечка телефонных разговоров Комитета по СПГ, даже это сыграло на руку самому Комитету: открыто выражалось мнение о недопустимости прослушивания телефонов престарелых граждан.

Первого октября популярный крикетный комментатор Мервин Дэнбери застрелился в музее собора Святого Павла, держа в руке поздравительную открытку ко дню рождения за подписью премьер-министра. Вскоре после этого Комитет по СПГ опубликовал свой первый список требований, составленный — так, по крайней мере, утверждалось — на основании неопубликованного телефонного компьютерного опроса 37 % лиц в возрасте свыше семидесяти лет. Выдви-

гались следующие требования: (1) Запретить любые виды рекламы средств Мягкой Кончины. (2) Ликвидировать дома престарелых. (3) Изъять из официального лексикона слово «гериатрия» и его производные. (4) Впредь именовать престарелых престарелыми. (5) Более активно окружать престарелых любовью. (6) Учредить особые награды для престарелых за мудрость и достижения. (7) Учредить ежегодное празднование Дня престарелых. (8) Обеспечить позитивную дискриминацию престарелых в сфере рабочих мест и предоставления жилой площади. (9) Ввести в обиход бесплатные веселящие средства для лиц старше восьмидесяти лет.

Вначале правительство заявило о своем отказе вести переговоры под нажимом; вот тогда-то Дон Джонсон и совершил самосожжение между будками часовых перед Букингемским дворцом. На первых полосах всех газет появились фотографии обугленного инвалидного кресла со скорбными останками обгоревшей плоти. Начатая правительством разоблачительная кампания с целью выставить Джонсона неуравновешенным, отталкивающим субъектом, который, скорее всего, погиб в результате давнего конфликта, дала обратный результат. Значительная часть требо-

ваний Комитета была удовлетворена в течение месяца. В знак покаяния за свой первоначальный скепсис правительство даже предложило переименовать День престарелых в День Дона Джонсона. Благодаря телевидению старческие лица сделались не только приемлемыми, но и популярными; наметился лавинообразный рост браков между весьма престарелыми и весьма юными брачующимися; была выпущена серия почтовых марок с портретами Престарелых Знаменитостей; были учреждены Спортивные игры престарелых; а Грегори пригласил свою мать поселиться в небольшой солнечной комнате в задней части его дома.

Последовало обычное в таких случаях ерничество: дескать, он надеется, что ты станешь видеозвездой и протащишь его в свое шоу; он всего лишь нацелился на твои веселящие средства и так далее. Иногда ее тревожили сыновние мотивы, но, как только она спрашивала себя, стоит ли насильно приобщать людей к добру, у нее сам собой появлялся резкий ответ: безусловно, стоит, а иначе подавляющее большинство не приобщится к добру никогда. Но, по сути, они с Грегори никогда не дискутировали о том, почему он пригласил ее жить у него и почему она

приняла это приглашение.

* * *

В 1998 году после ряда правительственных запросов был внедрен в производство Компьютер общего назначения. Еще до того, в конце восьмидесятых, разрабатывались многочисленные экспериментальные планы облегченного доступа ко всем сведенным воедино человеческим знаниям. Из них наибольшую известность завоевал проект «Веселое обучение» (1991–1992) с официально утвержденными спонсорскими призами и стипендиями, однако чистота его принципов оказалась под сомнением, когда он был привязан к правительственной кампании за снижение процента детей-пользователей в государственных видеоигровых залах. Кое-кто даже обвинял «Веселое обучение» в излишней назидательности.

Эти ранние проекты неизбежно ориентировались на книги; они сводились к попыткам создать самую полную, идеальную библиотеку, в которой «читатели» (именуемые так по старинке) получат доступ к всемирной сокровищнице всех знаний. Однако и в этой связи звучали возражения: мол, такие планы, по сути своей, чересчур

академичны: ученые, привыкшие пользоваться книгами, теперь смогут пользоваться ими эффективнее, тогда как все остальные пользователи окажутся в еще более невыгодном положении. В середине девяностых годов целых три правительственных доклада указывали на то, что полное государственное финансирование может быть предоставлено лишь новаторской, наиболее демократичной базе данных.

Как следствие, КОН создавался с акцентом на информацию; заинтересованный пользователь вводил в систему не названия книг, а тематические категории. Источники, оставаясь значимыми на вводе для анализа надежности фактов, утрачивали свое значение на выходе и вследствие этого не указывались. Ученые заявляли, что подобное отсутствие подтверждающей библиографии обесценивает всю программу КОНа, но демократы отклонили эти возражения как мелодраматизацию, доказывая, что подобное сокрытие блокирует самомнение авторов — или поставщиков источников, как они теперь именовались. Обеспечение анонимности информации уподоблялось откачиванию яда у змей. Только теперь знания обещали стать истинно демократичными.

В итоге КОН получил признание в 2003 году: он аккумулировал все, что до той поры содержалось во всей литературе, изданной на всех языках; разработчики опустошили архивы радио и телевидения, библиотеки, хранилища дисков и кассет, газеты, журналы, народную память. «ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО НАРОДУ», гласил слоган, высеченный на каменном видеоэкране над главными входами в муниципальные центры КОНа. Ученые жаловались на дефекты ввода в некоторых тематических областях и на разночтения понятий «тотальное знание» и, как выражались в их среде, «подлинное знание»; циники отмечали, что единственное, о чем нельзя спрашивать КОН, — это его собственный ввод, основополагающие принципы и обслуживающий персонал. Но демократы остались вполне довольны, и когда их приглашали для участия в дебатах о разграничении тотального знания и подлинного знания, упоминали казуистику и мелочный педантизм. Разумеется, КОН может быть использован для размещения ставок на скачках и футбольных тотализаторах, но в этом нет ничего дурного. Куда важнее то, что он способствует признанию совершенно нового диапазона персонифицированных и гибких вечерних образовательных

курсов. А самое главное, демократы утешались символикой КОНа, идеей конечного хранилища информации, оракула фактов.

Да, КОН был демократичен на вводе, но столь же демократичен и на выходе. Пользователь набирает свой номер социального страхования, и выдаваемая информация подгоняется под его умственный уровень. Этот аспект КОНа, поначалу весьма дискуссионный, вскоре признали необходимым. Говорили, что КОН анализирует вопросы по мере введения их пользователем и дает свою непрерывную оценку его умственного уровня, которая впоследствии может использоваться, чтобы привести номер социального обеспечения в соответствие с новыми данными, однако этот тезис не нашел подтверждения. Люди, и в первую очередь демократы, вскоре научились во всем полагаться на КОН и даже подсели на него. А некоторые не просто подсели: в бракоразводных процессах участились ссылки на КОНозависимость.

Постепенно эта силосная башня фактов обрастала плющом легенд. Поговаривали, что, кроме демократического модификатора вводимых данных, имеется некий ресурс, позволяющий операторам скрытно взламывать процесс с це-

лью подмены ответов. Поговаривали, что для получения наилучших ответов от КОНа нужно лгать ему вопросами. Поговаривали, что установлена прямая связь между КОНом и Новым Скотленд-Ярдом-Три и что задающих сомнительные вопросы («Где находится наиболее ценная коллекция серебряных изделий, владелец которой сейчас в отъезде?») задерживали непосредственно при выходе из здания.

Но в основном легенды касались функции КОНа, получившей название АП. Ее добавили к перечню инфокатегорий в 2008 году, после краткого периода интенсивного лоббирования за счет неизвестного источника. АП расшифровывалось как «Абсолютная Правда». В эпоху книжных библиотек существовали особые шкафы для хранения специфических источников (порнографических, кощунственных или политически враждебных) — доступ к ним предоставлялся только по специальному разрешению. Циники, проведя некое историческое сопоставление, объявили доказанным раз и навсегда, что Правда — это кощунственная порнография, доступная для политических махинаций; однако демократы поддержали неотъемлемое право граждан на доступ к самым серьезным предположениям и

выводам, бытующим в наши дни.

Поскольку АП была поздним дополнением к КОНу, она не упоминалась в официальном манифесте. Кое-кто даже не верил, что эта функция существует. Иные верили, но не слишком ею интересовались. А в большинстве своем люди знали кого-то, кто знал кого-то, кто обращался за разрешением или подумывал обратиться за разрешением на допуск к АП; но никто, похоже, не был лично знаком с теми, кто обращался за разрешением на такой допуск. Циники утверждали, что для этого требуется иметь при себе медицинскую справку, завещание и письменное согласие трех близких родственников; демократы возражали: дескать, стандартные бланки завещаний и процедуры автозасвидетельствования предоставляются в вестибюле АП всем без исключения, но просили воздержаться от опрометчивых выводов.

Убедительно звучали и многообразные утверждения о том, что после обращения за АП некоторые лишились рассудка; что консоль снабжена фармакологическим автоматом и вопрошающие снабжаются не только фактами и мнениями, но также веселящими средствами, снотворным и даже таблетками Мягкой Кончины; что пышущие

здоровьем люди отправлялись к КОНу с намерением запросить АП, но пропадали с концами.

Толком никто не понимал, что именно знает или совершает АП. Некоторые считали, что она, как опытный консультант по трудоустройству, предлагает выбор жизненных путей; другие полагали, что она специализируется на судьбоносных решениях; третьи — что она каким-то образом дает возможность каждому апробировать собственное волеизъявление, как своего рода симулятор летной кабины для подготовки будущих пилотов гражданской авиации. Там можно научиться совершать взлет, посадку или — при желании — крушение воздушного судна. Прошел слух, что лобби АП финансировалось из того же источника, что и лобби Мягкой Кончины в девяностые годы; но уверенности не было ни у кого и ни в чем. Большинство предпочитало твердо знать, что АП всегда к их услугам в случае необходимости, но мало кто был склонен ею воспользоваться. Это как длинная остановка в крикете: скорее для спокойствия игрока, охраняющего воротца, нежели для регулярного применения.

На некоторое время в обиход вошла поговорка «изъясняется, как АП», хотя — что удивительно

— никто не мог уточнить, как именно изъясняется АП. Все соглашались, что ее ответы должны формулироваться не так, как остальные ответы КОНа; предполагалось, что они должны быть четкими, но вместе с тем поэтичными. Некоторые сообщали, что уже сформирован штат писателей, которым доверено создать особый язык АП — и звучный, и туманный. Другие твердили, что АП изъясняется стихами, третьи — что она лепечет, как младенец.

— В детстве, — сообщила Джин своему сыну Грегори, докурив вечернюю сигарету, — я перед сном задавала себе вопросы. Наверное, вместо молитвы: к молитвам меня не приучили. Не помню, сколько это продлилось. Ощущение такое, что на протяжении всего моего детства, но, думаю, год-другой, не больше.

— И какие же?

— Ну, все наперечет я уже не вспомню. К примеру, мне хотелось знать, существует ли музей бутербродов, и если да, то где. И почему иудеям гольф не по нутру. И откуда Муссолини знал, как держать газету. И таятся ли Небеса в дымоходе. И почему норки до последнего цепляются за жизнь.

— Ты нашла хоть какие-нибудь ответы?

— Не уверена. Не помню даже, нашла ли я ответы как таковые или перестала интересоваться вопросами. Наверное, с возрастом я поняла, что музей, в котором, как мне представлялось, хранится викторианский бутерброд с крутым яйцом и салатом, — идея довольно нелепая; а гольф, как я обнаружила, иудеям очень даже по нутру, но загвоздка в том, что другим игрокам не по нутру иудеи. Ну а Небеса в дымоходе… думаю, я поняла, что некоторые вопросы необходимо перефразировать для получения ответа. — Она умолкла и подняла глаза на Грегори. — Но я так и не узнала, почему норки до последнего цепляются за жизнь. И это меня сильно тревожило. Я думала, что норковые манто именно поэтому так высоко ценятся: ведь их шьют из меха животных, которые чрезвычайно неохотно расстаются с жизнью. Ну, минералы, например, тоже высоко ценятся по той причине, что их трудно добывать. А ты помнишь норковые фермы?

Грегори нахмурился. Он такого не помнил. Столько всего произошло, прежде чем диких животных вернули в дикую природу.

— Я часто думаю о норковых фермах. То есть как там убивали зверьков. Чтобы не повредить мех. Ну, вряд ли душили. Наверное, травили га-

зом, как барсуков.

Этого Грегори не знал. Не мог даже припомнить, чтобы барсуков травили газом. Каким же варварским было прошлое. Никаких Мягких Кончин. Даже для барсуков.

Дождавшись следующего дня, он вошел в КОН для соединения с банком природно-исторических данных.

— «Норка», — набрал он.

ГОТОВО.

«Почему норка до последнего цепляется за жизнь?»

Пауза, зеленая вспышка ЖДИТЕ и через несколько секунд — ответ:

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС.

Да ну тебя, подумал Грегори. Слишком уж примитивно. Иногда этот элеватор познаний скупился на свое зерно истины. Тем не менее порой удавалось его перехитрить, всего лишь повторив тот же вопрос.

«Почему норка до последнего цепляется за жизнь?»

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС.

Ну ладно, упростим.

«Трудно убить норку?»

ИСТРЕБЛЕНИЕ

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ЗАПРЕЩЕНО…

Грегори нажал на «Отбой. Начать заново».

«Когда были запрещены норковые фермы?»

1988.

«Запрашиваю информацию об управлении норковой фермой».

ГОТОВО.

«Как работники норковых ферм умерщвляли норок?»

ПО-РАЗНОМУ. СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЯДАМИ, ГАЗИРОВАНИЕМ, ИНОГДА МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРОШОКОМ.

Грегори содрогнулся. Чудовищные были времена.

«Умерщвление норки занимало много времени?»

ЭЛЕКТРОШОК 2,3 СЕКУНДЫ…

«Отбой».

«Норка отчаянно борется со смертью?»

ДА. ТРЕБУЮТСЯ ПРИМЕРЫ?

Грегори не требовались примеры. Еще одна беда с КОНом: он был настолько переполнен информацией, что всегда пытался всучить ее пользователю в максимальных количествах. Как зануда на вечеринке: старался отвлекать адресата от сферы его интересов, лишь бы только

блеснуть своими познаниями.

«Почему?»

ПОЧЕМУ *ЧТО*? ПОДРОБНЕЕ.

«Почему норка отчаянно борется со смертью?»

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС.

Вот ведь уродец, подумал Грегори. Уродец. Однако продолжал с упорством, достойным норки.

«Почему норка борется со смертью более решительно, чем другие животные?»

СПОРНО. РЕКОМЕНДУЮ С37.

Без особой надежды Грегори набрал С37. «Спорно» указывало, что искомая информация пока не нашла окончательного решения в научных кругах. С37 выдало краткий обзор современного состояния теории эволюции. Сообщение сводилось к тому, что инстинктивная борьба норки со смертью является одной из причин, почему норки как биологический вид выживали так долго и так успешно. Сведения эти не продвинули его ни на шаг вперед.

Он решил не рассказывать Джин о различных способах умерщвления норок. Не столько потому, что это могло ее огорчить, сколько потому, что сам не хотел возвращаться к этой теме.

— Я спросил у КОНа, почему норки до последнего цепляются за жизнь.

— Неужели, милый? Спасибо, что помнишь.

— Ну, я подумал, тебе будет интересно.

— И что же ответила твоя машина-всезнайка?

Джин ждала ответа с некоторым скептицизмом: в эрудицию компьютера она не верила. По собственному признанию, из-за своей безнадежной старомодности.

— Ответила, что это ненастоящий вопрос.

Джин рассмеялась. В каком-то смысле ей это даже потрафило.

— Лет девяносто назад, — сказала она, — а если вдуматься, то, может, и раньше, я спросила у отца, который час. Он ответил: пятнадцать часов. Тогда я спросила: а почему пятнадцать? — и он ответил точно так же, слово в слово. Вынул изо рта трубку, ткнул в мою сторону мундштуком и говорит: «Джин, это ненастоящий вопрос».

Но что такое настоящие вопросы, она могла только гадать. К настоящим вопросам относятся те, на которые твой собеседник уже знает ответы. Если ее отец или КОН были в состоянии дать ответ, то вопрос превращался в настоящий; если нет, от него попросту отмахивались — дескать, исходит из ложной посылки. Насколько же это несправедливо. Ведь наиболее острым бывает желание узнать ответы именно на те вопросы,

что причислены к ненастоящим. На протяжении девяноста лет она хотела получить ответ насчет норок. Ее отец оказался не на высоте, Майкл тоже; а теперь и КОН увиливает. Вот так всегда. На самом деле знание не продвигается вперед, а просто создает видимость. Серьезные вопросы всегда остаются без ответов.

— Коль скоро зашел у нас такой разговор, милый, не мог бы ты выяснить, что происходит с кожей после смерти?

— Ну и шутки у тебя, мама.

— Нет, я серьезно.

Джин все чаще ловила себя на том, что вспоминает времена, которые считала давно забытыми, — далекие годы, которые нынче припоминались куда легче недавних. Это вполне естественно, однако приносит нежданные радости. Вот Грегори — она явственно видела — корпит над своими авиамоделями. Сейчас начнет обертывать каркас из бальзового дерева папиросной бумагой. Обертку спрыснет водой, и бумага, высыхая, туго натянется. Потом он пропитает ее аэролаком, она вновь провиснет и сморщится. А дальше, постепенно высыхая вторично, будет становиться все более прочной и упругой.

Вероятно, нечто подобное происходит и с ко-

жей. Поначалу она выглядит вполне упругой, но по мере твоего старения обвисает и морщится, как будто тебя спрыснули водой и покрыли авиалаком. Наверное, после смерти она высыхает и туго обтягивает кости. Наверное, мы выглядим наилучшим образом — подтянутые, ухоженные — только после смерти.

— Продолжай, Грегори.

— Нет, даже не проси. Это нездоровое любопытство.

— Пусть так. — Она готова была поспорить, что права. Когда эксгумировали тела людей, утонувших в трясине, их кожа оказывалась сухой и плотной, с разглаженными морщинами, как будто смерть и в самом деле прогнала все заботы. — Ну ладно, тогда узнай хотя бы, что произошло с бутербродами Линдберга.

— С бутербродами?

— Да-да. Линдберг. Он, скорее всего, жил еще до твоего появления на свет. В одиночку перелетел Атлантический океан. Взял с собой пять бутербродов, а съел только полтора. Всю жизнь я мечтала узнать: какова же судьба остальных?

— Посмотрю, не подскажет ли КОН.

Нет, правда, бывали моменты…

— Вряд ли. Я не слишком высокого мнения об

этой вашей мясорубке.

— Да ты к ней на пушечный выстрел не подходишь, мама.

— Не подхожу, но представление имею. В годы моего детства существовало похожее чудо. По прозвищу Памятливый Ум. Выступал на ярмарках и в балаганах. Спросишь у него какую-нибудь замшелую чушь — счет определенного футбольного матча, к примеру, — и ответы у него от зубов отскакивали. А спроси о чем-нибудь полезном — и толку не добьешься.

— Ты хоть раз его о чем-нибудь спрашивала?

— Не спрашивала, но представление имею.

* * *

Как люди умирают? Грегори запросил предсмертные слова знаменитостей. Монархи умирали, насколько можно заключить, одним из двух способов: либо крича «Злодей, злодей!» под ударом ножа убийцы, либо поправляя свои кюлоты, чтобы со спокойной уверенностью вступить в мир иной, очень схожий с их собственным, разве что чуточку — совсем чуточку — пышнее. Служители церкви умирали косоглазо: один глаз смиренно опущен долу, другой с надеждой устремлен ввысь. Литераторы умирали с литера-

турной фразой на устах, желая остаться в людской памяти, но до последнего вздоха не могли быть уверены, что для этого хватит всех написанных ими слов, вместе взятых. Одна американская поэтесса перед смертью произнесла: «Позвольте нам войти. Туман сгущается».

Ну, допустим, подумал Грегори, но тут надо точно подгадать момент. Нельзя же отчеканить свои тщательно обдуманные предсмертные слова, а после еще немного задержаться в этом мире — не ровен час, твоими последними документально зафиксированными словами станет просьба «Смените мне грелку».

Создавалось впечатление, что предсмертные слова лучше, чем писателям, удавались художникам и звучали у них более непринужденно. Грегори восхищало скромное желание одного французского живописца: «Всем сердцем надеюсь, что на небесах найдутся кисти и краски». Или, возможно, дело в том, что смерть удавалась иностранцам лучше, чем англосаксам. Один итальянский художник, когда его уговаривали допустить к себе священника, ответил: «Нет, мне любопытно узнать, что происходит в мире ином с теми, кто умер без последнего причастия». Некий швейцарский врач умер, нащупав собственный

пульс и сообщив находившемуся рядом коллеге: «Друг мой, артерия перестает биться». Такие профессиональные смерти импонировали Грегори. Он даже потеплел к французскому грамматисту, который объявил: «Je vas ou je vais mourir: l'un ou l'autre se dit»[3].

Хороши ли были эти смерти? Хорошая смерть — не та ли, при которой образ угасающей жизни сохраняется до конца? Композитор Рамо в последние минуты пожаловался на кюре, взявшего фальшивую ноту; живописец Ватто оттолкнул распятие, сочтя изображение Христа недостойным. И не должна ли хорошая смерть неким образом подразумевать, что жизнь слегка переоценивалась, а потому страх смерти был преувеличен? Хорошая смерть — не та ли, которая не угнетает скорбящих? Хорошая смерть — не та ли, которая заставляет пришедших на похороны о чем-то задуматься? У Грегори вырвался смешок в адрес американской писательницы, которая спросила *in extremis*[4]: «Каков же ответ?» — и, не получив ответа, прошептала: «Тогда каков же вопрос?»

---

[3] Сноски: 3
«Я умираю или сейчас умру — и то и то верно» *(фр.).*

[4] Сноски: 4
Зд.: На смертном одре *(лат.).*

Или, быть может, на то, как они умирали, влияла причина смерти. Начнем с верхов, подумал Грегори и запросил выборку: «Президенты США». На экране появился список с мигающим кружком, означающим наличие дополнительного материала на случай необходимости. Имена и фамилии закончились на Гровере Кливленде, но Грегори решил, что этого достаточно. В поле поиска он обозначил: «Причина смерти», а потом задумался о двадцати двух представших перед ним президентах. Некоторые были смутно знакомы; фамилии других больше подошли бы лабазникам, бакалейщикам и фармацевтам. Фамилии с вывесок на угловых лавчонках, благоухающих честностью провинциальных городков. Франклин Пирс, Миллард Филлмор, Джон Тайлер, Резерфорд Хейс… Нынче даже американцы вроде бы не носят подобных имен. На Грегори вдруг нахлынула ностальгия — не будничная и сентиментальная, которую рождают воспоминания о собственном детстве, а более неистовая, более чистая, оттеняемая эпохой, которая, скорее всего, тебе незнакома. Конечно, он понимал, что среди этих торговцев сеялками из Айовы встречаются, наверное, такие же нечистые на руку и несведущие личности, как и заведомые

преступники, окопавшиеся в Белом доме. Но это не послужило причиной для отмены запроса. Скользнув мерцающим зеленым курсором вниз по списку, Грегори остановил его на Франклине Пирсе и нажал «продолжить».

08.10.1869 ВОДЯНКА.

Хмм. Он скользнул курсором вверх — к Томасу Джефферсону.

04.07.1826 ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ.

Резерфорд Б. Хейс.

17.01.1893. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА.

Диагнозы — провинциальные эвфемизмы для толком не распознанных причин — дышали очарованием старины. Эта часть банка данных КОНа, вероятно, не обновлялась много лет. Грегори это одобрил: правильно, что причина смерти обозначается языком соответствующей эпохи. Почему-то ему это виделось совершенно уместным.

Закари Тейлор, ХОЛЕРА МОРБУС ВСЛЕДСТВИЕ НЕУМЕРЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ И МОЛОКА СО ЛЬДА, А ЗАТЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВИШЕН. Улисс С. Грант, РАК ЯЗЫКА. Это выглядело ближе к искомому. Грегори спокойно прокурсорил весь список. Болезнь Брайта. Анемия. Застрелен. Застрелен. Водянка. Астма. Холера. Ревматическая подагра. Истощение здоровья.

Старость.

От этого списка в душе у Грегори закипала нарастающая зависть. Какими разнообразными и романтичными были тогда пути смерти. Теперь люди умирают разве что от Мягкой Кончины, старости или от сужающегося набора банальных недугов. Водянка… Астма… Холера морбус… словно дополнительная свобода иметь впереди столько возможностей. Грегори задержался на строке «Резерфорд Б. Хейс». Паралич сердца. Вероятно, боли и страха испытываешь при этом столько же, сколько при любом другом недуге; но каково это, когда тебя поминают такими словами. Умер от паралича сердца, шепотом сообщил самому себе Грегори. Наверное, такая смерть подошла бы Казанове. От этих мыслей ему захотелось изобрести хотя бы одну новую причину смерти, какая поразила бы век нынешний. В 1980-х годах, неожиданно вспомнилось ему, была открыта особая категория заболеваний. Ее назвали «аллергией на двадцатый век». У жертв (немногочисленных, но широко освещавшихся в прессе) наблюдались хронические реакции на все аспекты современной жизни. Вполне возможно, что они точно так же реагировали бы и на девятнадцатый век, однако тогда их заболе-

вание было бы обозначено безапелляционным, но колоритным термином в духе времени: например, «мозговая лихорадка». Век двадцатый, не столь уверенный в себе, предпочел назвать этот недуг аллергией на свое собственное время. Грегори дорого бы дал, чтобы оказаться первой жертвой такого недуга. Заключительный тремор изобретательности в знак прощания. У него уже вылетело из головы, для чего ему понадобились сведения о причинах смерти президентов, Проверил Казанову — нет, не «паралич сердца», а банальная старость.

— По-моему, одно утешение все-таки есть, — сказал он матери в тот же вечер. — Это имеет свой конец.

— Вот-вот. Все когда-нибудь кончается. В том-то и суть, верно?

— То есть я что хочу сказать: не сам процесс, а размышления о нем имеют свой конец. Когда я спрашивал КОН совсем о другом, мне была предложена отличная фраза насчет того, что «ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор».

Джин Сарджент улыбнулась — почти самодовольно, как показалось ее сыну. Нет, пожалуй, это несправедливо: по большому счету она никогда не любила пускать пыль в глаза; быть может, про-

сто нахлынули какие-то воспоминания. Грегори не сводил с нее взгляда: она медленно закрывала глаза, как будто мрак помогал ей более отчетливо увидеть прошлое. Когда ее веки наконец сомкнулись, она заговорила:

— На солнце *можно* смотреть в упор. За двадцать лет до твоего рождения у меня был знакомый, который научился смотреть на солнце.

— Через закопченное стеклышко?

— Вовсе нет. — Медленно, не размыкая век, она подняла перед собой левую руку, а потом слегка растопырила пальцы. — Он был летчиком. И волей-неволей набрался знаний о солнце. За определенное время к солнцу можно привыкнуть. Просто надо смотреть на него сквозь пальцы, вот и все. И живи себе, глядя на солнце.

«Может статься, — добавила она без слов, — может статься, через некоторое время у тебя между пальцев начнут расти перепонки».

— Вот так фокус, — откликнулся Грегори. — Хотя нелегко, наверное, решить, хочешь ли ты ему научиться.

Открыв глаза, Джин рассмотрела свою руку. С удивлением и некоторой тревогой. Она и думать забыла, как сильно распухли суставы ее пальцев за последние тридцать лет. Короткие обрезки ка-

ната с нанизанными орехами лещины — пальцы ее нынче выглядели именно так. А узловатые суставы подсказывали, что при попытке медленно и осторожно раздвинуть пальцы, словно жалюзи, меж этих узлов сразу прорвутся слепящие полосы света. Повторить то, что некогда проделывал Восход Проссер, ей уже не под силу. Она неимоверно состарилась, и пальцы ее пропускали слишком много света.

— Значит, ты считаешь, — занервничал Грегори, — что все это яйца выеденного не стоит?

— Как понимать «все это»?

— Все это. Бог. Вера. Религия. Смерть.

— Небо.

— Ну…

— Да, Небо, именно это ты и подразумеваешь. Как все. Отправьте меня на Небо. Почем билет до Неба? Это такое… скудоумие. А я, между прочим, в Небе-то побывала.

— ???

— В Небе… Я побывала в Небе.

— И как там?

— Пылища.

Грегори улыбнулся. У матери всегда была склонность говорить загадками, которая определенно крепла. Посторонние могли бы узреть в

этом помутнение рассудка; но Грегори знал, что у нее всегда имеется незыблемая точка отсчета, которая для нее знаменует осмысление. Но толкования, вероятно, потребовались бы слишком пространные. Грегори задался вопросом: не в этом ли проявляется старость? Все, что хочется сказать, требует контекста. Попытаешься разъяснить контекст — и прослывешь выжившим из ума болтуном. А не разъяснишь — прослывешь выжившим из ума молчуном. Совсем уж старые нуждаются в толмачах, равно как и совсем юные. Теряя родных и близких, в их лице они теряют своих толмачей; теряя любовь, они вдобавок теряют полноценный дар речи.

Джин вспоминала свое посещение Неба. Храма Неба в Бэйцзине, как теперь зовется тот город. Ну, хотя бы Небо не переименовали. Сухое июньское утро, пыль, несущаяся прямиком из пустыни Гоби. Женщина с младенцем за спиной крутит велосипедные педали, спеша на работу. Головка младенца обернута марлей для защиты от пыли. Младенец смахивает на крошечного пчеловода.

Близ Храма Неба пыль носилась игривыми спиралями по всему двору. Джин видела спину старика-китайца. Синяя кепка, морщинистая шея, морщинистая блуза. Черепашья шея тя-

нется вбок — к огромной дуге вогнутой Стены Эха. Китаец прислушивался к разговору, не имея возможности его понять. Быть может, его завораживало само звучание слов, а голоса казались потусторонними. Но Джин, прижавшись ухом к стене, различила сперва какие-то грубости в адрес покойного китайского руководителя, а затем любовную болтовню. И только. Ничего более разобрать не удалось.

Джин, конечно, знала, что сейчас делает Грегори. Побрякивает мелочью в кармане. Мысленно вопит в небо. Паникует, воображая, что тщательно скрывает все это от нее, а на самом-то деле просто по-взрослому повторяет то, что почти сотню лет назад она сама и дядя Лесли проделывали за терпко пахнущей буковой рощей у четырнадцатой лунки. Запрокинув голову, каждый вопил в пустые небеса и знал, что там никто этого не услышит, как ни надрывайся. А потом без сил, в смущении, но хотя бы с малой толикой радости полагалось непременно хлопнуться на спину: никем не услышанные, они так или иначе о себе заявили. Вот и Грегори сейчас занимался тем же. Гнул свое. А ей оставалось лишь надеяться, что он, хлопнувшись на спину, не слишком сильно расшибется.

Грегори с юмором начал расспрашивать КОН о самоубийстве. Но в то же время и с осторожностью: трудно было предугадать, не вызовет ли ввод конкретных вопросов вмешательство обработчика прерываний. Или же — как знать? — не упадет ли к нему на колени из потайного раздаточного устройства какое-нибудь веселящее средство, снотворное, а то и таблетка Мягкой Кончины, и не получит ли он с утренней почтой путевку на курорт.

Опасная притягательность КОНа заключалась в том, что его можно было в принципе спросить о чем угодно, но, если не проявить должной осмотрительности, через пару сеансов возникал риск превратиться из пытливого исследователя в зеваку с вечно разинутым ртом. Грегори заметил, что сам вскоре увяз в мистике самоубийства. Его, к примеру, захватило известное показательное самоубийство мистера Баджелла, который ушел со спектакля «Катон» по пьесе Аддисона и бросился в Темзу, оставив такое оправдание своего поступка:

Что совершил Катон и Аддисон одобрил,
Ошибкой быть не может.

Запросив краткое содержание этой трагедии, Грегори сердечно посочувствовал мистеру Баджеллу. Самоубийство Катона знаменовало протест против деспотизма и укор согражданам. Бедный мистер Баджелл: его кончина никому не стала укором.

Чуть более убедительным оказался пример шведского профессора Робека: тот написал длинный трактат, призывающий читателя к самоубийству, а затем вышел в открытое море на утлом суденышке, дабы не словом, а делом подтвердить свои принципы. Грегори попытался выяснить через КОН, сколько экземпляров книги Робека было продано и сколько самоубийств она спровоцировала, но такой статистики в открытом доступе не нашлось. Тогда он двинулся дальше и прочел сперва о японских пантеистах, которые с булыжниками в карманах бросались в море на глазах у восхищенной родни; затем о рабах, вывезенных из Западной Африки: те убивали себя, надеясь воскреснуть в родных краях; и наконец, об австралийских аборигенах, которые считали, что душа чернокожего покойника возрождается в белом человеке, и лишали себя жизни, чтобы ускорить изменение пигментации. «Черный почил — белый вскочил», — некогда

возвещали они.

В восемнадцатом веке французы считали Англию родиной самоубийств; романист Прево объяснял пристрастие англичан к этому способу ухода в мир иной такими причинами, как угольное отопление домов, употребление в пищу непрожаренной говядины и чрезмерная склонность к плотским утехам. Мадам де Сталь удивлялась такой популярности самоубийства на фоне высокой степени личной свободы и общей религиозной покорности. Другие, как, например, Монтескьё, винили в этом национальном поветрии скверный климат, но мадам де Сталь полагала иначе: под пресловутой английской сдержанностью она высмотрела пылкую, порывистую натуру, которой претило непозволительное навязывание разочарования или тоски.

Грегори испытал патриотическую гордость, узнав, что его соотечественникам приписываются такие дерзновенные крайности, которые он так и не смог принять на веру. А потому обратился к античности. Пифагор, Платон, Цицерон — все одобряли самоубийство; как стоики, так и эпикурейцы подтверждали его нравственную пользу. Грегори скачал перечень выдающихся греков и римлян, покончивших с собой. Пифа-

гор уморил себя голодом из-за *taedium vitae*[5]. Менипп повесился из-за финансовых потерь. Ликамб повесился, не выдержав насмешек. Лабиен замуровал себя в стене, потому что его сочинения были преданы анафеме и сожжены. Демонакс уморил себя голодом из-за «утраты влияния вследствие старости». Стильпон из Мегары умер от пьянства по неизвестным причинам (каким ветром его занесло в этот список?). Сенека выбрал для себя кровопускание, чтобы пресечь клевету Нерона. Зенон повесился, сломав палец. И так далее. Жены заглатывали раскаленные угли вследствие домашних неурядиц и закалывали себя клинками, когда их мужей отправляли в изгнание.

Древние распределяли самоубийства по ранжиру. Философы допускали такие причины, как личное бесчестье, политические или военные поражения и тяжкие недуги. Однако Грегори на здоровье не жаловался; возглавить армию или правительство ему теперь не светило; а значение слова «бесчестье» не он один вынужден был искать в словаре. Никто из философов древности, отметил он, не заявлял, что самоубийство благо-

---

[5] Сноски: 5
Скука жизни *(лат.).*

творно само по себе. Только чудаковатый швед, который ушел на веслах в море, утверждал его целесообразность.

Грегори уже собрался нажать «Сохранить» и отключиться, когда ему в голову пришел еще один, заключительный вопрос, который следовало задать раньше. Но как его сформулировать?

«Кто тобой управляет?»

ПОВТОРИ.

«Кто тобой управляет?»

ПЕРЕФРАЗИРУЙ.

«Как ты работаешь?»

КОН ВПЕРВЫЕ АПРОБИРОВАН В 1998 ПОСЛЕ ДОКЛАДА КОМИССИИ ДОНОВАНА. ИСХОДНЫЙ БАНК ПРОЦЕССОРОВ СЕРИИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ВВЕДЕН…

Прерывание.

«Можешь ли ты задавать вопросы самому себе?»

МОЖЕТ ЛИ МОЗГ РАЗГОВАРИВАТЬ САМ С СОБОЙ? ПРОШУ ОТВЕТА.

Грегори немного помедлил. Уверенности не было. А еще его удивил резкий тон компьютера.

«Да».

ТЫ УВЕРЕН? ПРЕДЛОЖИ ПЕРЕСМОТР.

«Да».

ТЫ УВЕРЕН? ПРЕДЛОЖИ ПЕРЕСМОТР, ГРЕГОРИ.

Но-но, это же мое имя, подумал он. А затем, уже зная ответ, спросил:

«Кто контролирует ввод?»

СМ. МАНИФЕСТ

Так он и знал: ему предлагалась простая отсылка к официальной инструкции.

ПОВТОРИ.

«Кто контролирует ответы на выводе?»

ВЫВОД КОНТРОЛИРУЕТСЯ ВВОДОМ.

«Кто такой ввод?»

ВВОД ЭТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

«Существуют ли модификаторы вывода?»

ПОЯСНИ.

«Есть ли какие-нибудь устройства прерывания между центральным банком и пользователем?

ПЕРЕФРАЗИРУЙ.

Ох, избавь, подумал Грегори. У КОНа была привычка общаться с пользователем, как с ребенком или с иностранцем. Упрости. Поясни. Вот ведь зануда-меланхолик. Во всяком случае, такое создавалось впечатление; умом Грегори понимал, что отклонился от корректной методики ввода. И все равно это раздражало. Допустим, Ликамб повесился из-за осмеяния, а Зенон — из-за сломанного пальца, но Грегори не переставал

удивляться, почему нигде не сказано о самоубийствах, спровоцированных несостоятельностью КОНа.

«Существуют ли какие-либо средства ввода на этом канале вывода?»

Т. Е. ВВОД ЭКСТРЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ? ЗАВЕРЯЮ, ЧТО С 2007…

Опять словоблудие.

«Существуют ли какие-либо вводимые посредники на этом канале вывода?»

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС.

«Почему?»

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС

Пробурчав что-то нечленораздельное, Грегори нажал «Сохранить» и вышел из сети.

Вскоре после этого операторы 34 и 35 покинули центр и под беззаботным вечерним небом направились по домам через парк. Интересная была у них работа при КОНе, однако завиральные идеи пользователей могли кого угодно довести до белого каления. И все же свежий воздух, а изредка и восхищенные взгляды встречных мужчин обычно помогали взбодриться после рабочего дня.

«А этот — упертый, верно?»

«Ну да. Упертый».

«Довольно умный».

«На уровне А3».

«Разве не А2?» — В голосе мелькнула надежда.

«Категорически нет. На мой взгляд, нижняя граница А3».

«Хмм. Думаешь, он замахнется на АП?»

«У меня мелькнула такая мысль. Не исключено».

«А3, как правило, обламываются, так ведь? От тебя знаю, что это обычно верхняя граница А2 и выше или же что угодно ниже С3».

«Он упертый. Упертые, как известно, своего добиваются».

«И у него хватит смелости?»

«Упертость — это уже своего рода смелость, как по-твоему?»

«Пожалуй. По-моему, он — симпатяга».

«НЕНАСТОЯЩИЙ ОТВЕТ».

«Знаю. Просто подумалось, что неплохо было бы оказаться в его доме».

«ПОВТОРИ».

«Неплохо было бы оказаться в его доме».

«ПЕРЕФОРМУЛИРУЙ».

Хихиканье, румянец во всю щеку, снова хихиканье.

«НЕНАСТОЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. ПРОТИВ ПРАВИЛ».

«Как по-твоему, правила когда-нибудь изменятся?»

«НЕНАСТОЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. ЛУЧШЕ ОКАЖИСЬ В МОЕМ ДОМЕ».

«НЕНАСТОЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. ПРОТИВ ПРАВИЛ».

«ВОЗМОЖНОСТЬ
МЕЖДУ РАВНЫМИ УРОВНЯМИ».

«ПРОТИВ ПРАВИЛ. СОХРАНЯЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТКЛЮЧАЮСЬ».

«Доброй ночи».

* * *

Но, возможно, он заблуждался, трактуя вопрос о Боге как примитивный выбор. «Есть некий Бог (следовательно, я должен ему поклоняться)» и в противовес этому «Бога нет (следовательно, я должен открыть миру факт его отсутствия)». Он привык считать, что один вопрос предполагает один ответ. К чему такое ограничение? И как убедиться, что перед тобой правильный вопрос? Кто-то где-то сказал так: проблема не в том, каков ответ, а в том, каков вопрос.

Наверняка возможностей больше, размышлял Грегори. Возможностей больше.

1. Что Бог есть.

2. Что Бога нет.

3. Что прежде Бог существовал, а теперь уже нет.

4. Что Бог действительно существует, но нас он покинул:

(а) потому, что мы его глубоко разочаровали;

(б) потому, что он нетерпелив и быстро выходит из себя.

5. Что Бог существует, но его природа и промысел нам недоступны. В конце-то концов, если б он был для нас постижим и отвечал нашим собственным нравственным нормам, то уж точно был бы последним недоумком. Следовательно, если он и существует, то за пределами нашего понимания. Но, находясь за пределами нашего понимания, он предопределил нашу неспособность постигать, нашу растерянность перед проблемой Зла, к примеру: это он пожелал представить дело так, будто он — недоумок. Не становится ли он от этого мало что недоумком, так еще и психопатом? В любом случае разве не следует ему проявлять активность, идти на контакт, делать первый шаг?

6. Что Бог существует ровно в тех пределах, в каких существует вера в него. А почему нет? Существование Бога бессмысленно, если в него никто не верит, а потому весьма вероятно, что его

существование возникает и исчезает в силу людской веры. Он существует как прямое следствие нашей потребности в Нем; и, быть может, Его могущество измеряется силой нашего поклонения. Вера — она как уголь: сгорая, и одно и другое генерирует могущество Бога.

7. Что Бог на самом деле не сотворял ни Человека, ни Вселенную, а всего лишь *унаследовал* их. Он разводил себе овец в какой-нибудь небесной Австралии, где его отыскал сбившийся с ног начинающий репортер и объяснил, что в результате какого-то генеалогического прокола (недоведения брака до консумации, надежды на непорочное зачатие и так далее) Бог унаследовал в свое владение Землю и все, чем она богата. И отвергнуть это наследство Он не мог, так же как, например, способность летать по воздуху.

8. Что Бог действительно существовал, но в настоящее время не существует, однако вновь появится в будущем. А пока взял божественный отпуск для саморазвития. Это объяснило бы очень многое.

9. Что до сих пор Бога вообще не существовало, но в будущем Он появится. В какой-то момент Он придет, дабы разгрести наш мусор, скосить газоны в городских парках и облагородить

близлежащие территории. Бог — измученный труженик в засаленном комбинезоне, разрывающийся между множеством планет. Нам следовало бы подумать о том, чтобы платить Ему побольше, и заключить с Ним бессрочный контракт, а не взывать к Нему только в аварийных случаях, как мы привыкли.

10. Что Бог и Человек — это, вопреки нашим убеждениям, не отдельные сущности, и связь между нами не ограничивается присутствием в нас вечной души — так сказать, частицы Бога в никчемном теле. Возможно, эта связь напоминает двух стреноженных детей.

11. Что на самом деле Человек — Бог, а Бог на самом деле — Человек, но какой-то бытийный фокус с зеркалами не позволяет нам увидеть реальность такой, какова она есть. Но если так, то кто установил эти зеркала?

12. Что есть несколько Богов. Это может объяснить очень многое. а) Они, возможно, погрязли в сварах, и ни один не занимается своим делом. б) Они, возможно, парализованы, наподобие ООН, избытком демократии; каждый Бог имеет право вето, а потому Совет Безопасности может чинить любые препоны. Стоит ли удивляться, что наша планета настолько запущена. в) Вышеупомяну-

тое разделение ответственности подорвало и силу богов, и их способность концентрироваться на главном. Вероятно, они понимают свои недоработки, но палец о палец не ударят, чтобы выправить положение; не исключено, что Боги доброжелательны, но бессильны; не исключено, что они способны только наблюдать, как евнухи в гареме.

13. Что некий Бог есть и он сотворил мир, но до поры до времени это лишь черновик, а попросту говоря — полный брак. По сути, нелегкое это дело — сотворение мира, так стоит ли ожидать, что у самого Бога все получится без сучка без задоринки с первого раза? Промахи неизбежны: болезни, кровососущие насекомые, и так далее и тому подобное — как при любом начинании. Бог сотворил нас с вами, а затем отправился на другой конец Вселенной, где и дренаж получше, и гравитация не столь коварна. Разумеется, Он мог бы уничтожить все эту первую оплошность, смять ее в комок и одним щелчком пальцев отправить в космос — пусть бы летала там кометой или еще как-нибудь. И если Он этого не сделал, то тем самым лишь проявил свое великодушие и милосердие. Разумеется, Он позаботился, чтобы этот шарик не сновал тут вечно, и устроил дело

так, чтобы в урочный час Земля свалилась на Солнце и сгорела, а до той поры Он не будет препятствовать нашему самовольному заселению Земли. Вперед, владейте ею целый миг длиной тысячелетий этак в несколько, сказал Бог, ибо Мне она даром не нужна. И вполне возможно, что Он изредка наведывается к нам — проверяет, не дошло ли до крайности. Бог — жонглер с множеством тарелочек, вертящихся в воздухе. Коль скоро мы стали Его первой тарелочкой, нам и оставаться в загоне. Мы качаемся и трясемся на верхушке своего шеста; зрители волнуются, как бы чего не вышло, но божественный перст всегда успевает придать ускорение нашей планете, чтобы не застаивалась.

14. Что все мы — частицы Бога, который уничтожил Себя в начале Времени. Зачем Он это сделал? Может, просто не хотел жить: не иначе как тот Бог был шведом по прозванию Робек. Это объяснило бы очень многое, а возможно, и все: несовершенство вселенной, наше ощущение космического одиночества, нашу жажду верить — даже наши суицидальные поползновения. Если мы — частицы самоубиенного Бога, то убивать себя для нас дело житейское и даже святое. Некоторые из ранних христианских мучеников

(чье торопливое расставание с жизнью придает им сходство с наглыми чужаками, стремящимися поскорее застолбить для себя местечко на Небесах), по сути своей, могли быть всего-навсего благочестивыми самоубийцами. Приверженцы одной незаурядной ереси даже Христа относили к самоубийцам на том основании, что он приказал своей жизни покинуть Его и она повиновалась. Быть может, правы были еретики: Христос всего лишь пошел по стопам Отца своего.

Грегори до умопомрачения играл с такими возможностями. Он уснул, а когда проснулся, нащупал вот такой вариант. Бог существует и существовал всегда; Он всемогущ и всеведущ; а Человек наделен свободной волей и карается, если использует эту свободу в пагубных целях; на протяжении нашей быстротечной земной жизни нам не дано постичь деяния Бога; нам достаточно признавать Его, любить, воспринимать Его сияние всем своим существом, слушаться Его и почитать. Старая история, самая первая — Грегори погрузился в нее целиком. Домашняя куртка, кресло точно по твоей фигуре после многолетнего использования, деревянная рукоятка старой пилы, джазовый мотив со всеми его частями, след на песке, в точности совпадающий с твоим

башмаком. Так-то оно лучше, подумал Грегори, как раз то, что надо, и смущенно посмеялся над собой.

Кто может сказать, что значит быть смелым? Нередко утверждают — особенно те, кто никогда не бывал на полях сражений, — что на войне наиболее смелыми оказывались бойцы, напрочь лишенные воображения. Правда ли это, и если правда, то не принижает ли это их доблести? Если ты смел потому, что способен вообразить — заранее вообразить — раны и смерть, а потом их отринуть, наперед призывая и страх, и боль, то ты и есть самый смелый. Но наделенного такой способностью — представлять собственную гибель в трехмерном изображении — привычно клеймят как труса. Выходит, самые смелые — это всего лишь несостоявшиеся трусы, которым не хватило мужества спастись бегством? А смело ли верить в Бога, спросил себя Грегори. Ну, на нижнем уровне веру можно принять за смелость, потому как нынче в Него мало кто верует и требуется своего рода мужество, чтобы не дрогнуть перед лицом общей апатии. На высшем же уровне это смелость в силу того, что поднимаешь себя до статуса Божьего творения, ставишь себя выше простого комка глины, — а это требует

известной дерзости. Кроме того, вы, пожалуй, вверяете себя Страшному суду: ваши нервы выдерживают и эту мысль? Когда вы говорите, что веруете в Бога, вы тот ребенок, который тянет руку в классе. Вы привлекаете к себе внимание и получаете публичный вердикт: «Прав» или «Не прав». Вообразите этот момент. Вообразите страх перед Ним.

Что требует больше смелости: вера или неверие? Опять-таки, на нижнем уровне понадобится некоторая сугубо тактическая смелость. Вы говорите Богу, что Его нет… а вдруг Он существует? Сумеете ли вы совладать с собой, когда Он вам откроется? Вообразите, какой это будет стыд. Вообразите потерю лица. А на высшем уровне вы утверждаете неизбежность своего собственного несуществования. Я кончаюсь. Я не продолжаюсь. Вы не оставляете себе ни малейшего шанса. Вы благодушны перед своим полным исчезновением; вы отказываетесь оспорить Его презрительное господство над вами. Вытянувшись на своем смертном одре в полной уверенности, что постигли вопрос всей жизни, вы дерзко высказываетесь в пользу абсолютной пустоты. Вообразите этот миг. Вообразите Его ужас.

Были и такие, кто верил в мужество смеха. Что-

бы одержать победу над смертью, смейтесь над ней; откажитесь принять ее высокую самооценку — и вы лишите ее ужаса. Шуткой мы обезоруживаем вечность. Испуган? Только не я. Жизнь вечна? Что есть она, что ее нет. Существует ли Бог? Возьмите еще кусок пирога со свининой. Грегори в дни его молодости привлекала такая космическая ухмылка, но она осталась в прошлом. Мы все боимся смерти; мы все предпочли бы какую-нибудь систему жизни вечной, пусть для начала хотя бы на испытательный срок. Шесть тысяч лет загробной жизни с правом покупки или отказа, без обязательств окончательного приобретения — мы бы все заполнили такой купон. И потому Грегори предпочел не присоединяться к тем, кто смеется над смертью. Смеяться над смертью равносильно тому, чтобы справлять малую нужду, стоя по пояс в папоротнике рядом с полем для гольфа. Ты видишь поднимающийся пар и убеждаешь себя, что сегодня жарко.

Пункт пятнадцатый, продолжил Грегори. Бога нет, но *есть* жизнь вечная. Это была бы увлекательная система. Разве они, строго говоря, непременно требуются нам вместе? Мы могли бы организовать жизнь вечную без Божьей помощи, разве нет? Когда дети предоставлены сами себе,

они придумывают игры и правила. А мы-то уж тем более управимся самостоятельно. Допустим, наш послужной список пока не так уж блестящ, но условия, в которых мы барахтаемся на протяжении отпущенного нам краткого земного срока, отнюдь не идеальны. То есть на первых порах кругом было полно невежества, потом наши материальные условия оставляли желать много лучшего, да и погода случалась жуткая, а затем, как раз когда наши правители и наши мудрецы взялись наводить хоть какой-то порядок, откуда ни возьмись явилась жутко, жутко *несправедливая* интриганка по имени смертность и стерла их всех с лица земли. Пришлось начинать все заново с новым набором правителей и мудрецов. Стоит ли в свете этого удивляться, что мы зачастую делаем шаг вперед, два шага назад. А будь у нас в запасе жизнь вечная… мы б такого добились, что страшно подумать.

— Давай-ка я тебе кое-что покажу, — сказала Джин.

Она достала сигарету, прикурила и затянулась.

Через пару минут Грегори спросил:

— Что именно?

— Подожди, сам увидишь.

Он ждал; она курила; столбик сигаретного

пепла удлинялся, но не падал. Сначала Грегори недоумевал, потом начал внимательно всматриваться, потом заулыбался. Наконец он сказал:

— Надо же, я и не знал, что ты фокусница.

— Ну, фокусы подвластны всем, — сказала Джин и отложила свой столбик пепла. — Этому фокусу меня обучил дядя Лесли. Незадолго до смерти открыл мне секрет. Внутрь сигареты надо загнать иглу. А дальше все просто.

Перед сном Грегори погрузился в мысли о материнском фокусе. Она никогда не проделывала ничего подобного. Неужели ей хотелось внушить ему какую-то идею? Ее побуждения казались все более туманными. Быть может, игла в сигарете призвана символизировать душу в теле или что-то в этом роде. Но его мать ни во что такое не верила: как-то раз она с одобрением рассказала ему про древнекитайского философа, который написал трактат «Об уничтожении души». Быть может, сейчас она подразумевала, что игла в сигарете лишь одной приметой схожа с душой в теле: это чистой воды фокус, способ произвести впечатление, а по сути — банальная уловка. Он и рад был бы расспросить, что конкретно имелось в виду, но в последнее время мать все чаще не давала ответов на нежелательные для себя во-

просы. Она только улыбалась, и Грегори не мог решить: то ли это мудрая старушка, то ли у нее блуждают мысли.

* * *

В Храме Неба китайской грамотой звучат приглушенные западные голоса. Что они вещают? Что они вещают?

Прямо с утра, когда низкое, плоское серое небо крышкой кастрюли накрыло город, Грегори отправился проконсультироваться с АП. При себе у него имелись справка о состоянии здоровья и доверенность за подписью Джин. Молоденькая администраторша в сине-зеленом костюме со служебным значком на лацкане вручила ему бланк завещания и показала, как пользоваться автоматом самозасвидетельствования. С заговорщической улыбкой она добавила:

— Это не так страшно, как может показаться.

Грегори внутренне закипел. Его раздражало, когда всё раскладывали по полочкам и советовали не волноваться. Ему хотелось, чтобы формальности были многоступенчатыми, ощутимо серьезными, порой даже пугающими. Ему хотелось, чтобы его обязали иметь при себе вещмешок с суточным набором предметов первой

необходимости. Ему хотелось, чтобы в дверях у него отобрали галстук и шнурки от ботинок. Боже правый, ведь к АП можно прибегнуть только раз в жизни, так почему бы не обставить это внушительней?

Грегори крайне мало интересовался политикой. Для него история отечества состояла из невротического шарканья между гнетом и анархией, а периоды, восхваляемые за их стабильность, оказывались всего лишь случайными моментами равновесия — когда и гнет, и анархия успевали ненадолго удовлетворить свои аппетиты. Когда государство вело себя гнусно, оно именовалось решительным; а когда проявляло небрежность, именовалось демократическим. Если вдуматься: во что превратился брак. Сам Грегори никогда женат не был, но приходил в ужас оттого, как создавали семьи его знакомые. Вступая в брак, они проявляли не больше серьезности, чем автомобилисты, подбирая голосующего на шоссе: в условиях демократии это не возбранялось. Появлялся какой-то чиновник, словно рассыльный булочника, деликатно стучался в дверь черного хода и шептал: «Слушайте, если вы хотите вступить в брак, то пожалуйста. А не хотите — не надо». Вот так: лишь бы ни на

кого не давил груз обязательств, серьезности…

Ну, может, он просто стареет. И если все вокруг стремились именно к этому (что наглядно подтвердило компьютерное голосование) — пусть получат, решил он. Тем не менее, подумал он, доступ к АП следовало бы сделать чуть более бодрящим, чуть более строгим. А так — официоза не больше, чем при поступлении в больницу.

Регистраторша швырнула три его документа на стол (один лист улетел на пол, но она не сочла нужным за ним нагнуться) и повела Грегори по тускло-желтому коридору. Ковровая дорожка по цвету гармонировала с костюмом регистраторши, а стены были увешаны оригиналами газетных карикатур на открытие АП. Грегори мимоходом отметил, что здание АП изображалось в виде мясорубки, психиатрической лечебницы, крематория и тюремного видеосалона. Он неодобрительно вздохнул: с какой стати эта организация так залихватски потакает расхожим представлениям о себе?

Его оставили в кабинке, которая, если не считать сине-зеленого колера, ничем не отличалась от любой другой кабинки КОНа. Грегори ожидал увидеть автомат с таблетками счастья, или замаскированный глазок, или зеркало — ско-

рее всего, двустороннее, или *хоть что-нибудь* в этом духе. Но нет: помещение выглядело самым заурядным, даже немного обшарпанным, а консоль АП ничем не отличалась от любого ввода в КОН. Здесь не оказалось ни охранника, ни наблюдателя, ни инструктора. Вероятно, ему предоставлялось действовать по своему усмотрению: дверь запиралась изнутри, но не снаружи. Так откуда же взялись все эти мифы о том, как пользователей АП привязывают к кушеткам, будто лабораторных животных, и принудительно, до рвоты кормят правдой?

Введя свой номер социального страхования и пилотный сигнал КОНа, Грегори стал ожидать указаний. Миновала на редкость долгая минута, потом возникла надпись «Готово» и замерцал зеленый курсор. Грегори помедлил, не зная, с чего начать. Гипнотизирующий ромб неумолимо мерцал, как строчка на хирургическом дисплее: покуда строчка бежит, ты не умер… Потом ромб превратился в сверкающее пятнышко на экране радара; пока оно там, твой самолет не пропал без вести… Затем пятнышко превратилось в проблески автоматического маяка — «осторожно: скалы, осторожно: скалы»… Он нажал на клавишу ввода, неотрывно созерцая зеленый ромб. А вдруг так

и было задумано — чтобы он оказывал какое-то гипнотическое воздействие?.. Нет, это уже смахивало на паранойю.

К его удивлению, после пары безмолвных минут ввод переключился на выход. По экрану разворачивалась надпись:

НЕ МЕШКАЙ, ИЗЛАГАЙ ВСЕ НАЧИСТОТУ!

Грегори был близок к тому, чтобы тут же уйти. Разумеется, он предвидел, что АП наделена функцией психического воздействия, но не был готов к такой грубой прямолинейности. Какое разочарование. Он заподозрил, что подключен к какому-нибудь допотопному устройству, например к психотерапевтическому компьютеру *fin de siècle*[6]. Но тогда он мог бы с тем же успехом сидеть перед каким-нибудь замшелым представителем рода человеческого.

Однако не исключались и другие возможности. Не иначе как тот первый вопрос выполнял особую функцию. Например, снятие напряжения в шутливой форме (тезис о неспособности компьютеров генерировать юмор был давно опровергнут) или побуждение к немедленному признанию, вертевшемуся на языке или — еще

---

[6] Сноски: 6
Конца века *(фр.).*

лучше — в уме. Или же это мог быть выбранный наугад гамбит. Взять хотя бы тот шахматный компьютер, который был у него в семидесятые годы: делаешь ход королевской пешкой — и в ответ получаешь лучший из нескольких возможных ходов соперника. Грегори решил, что досадовать на АП просто глупо, и ответил на вопрос (теперь уже мерцавший со знаком напоминания) с той прямолинейностью, на какую настроился:

«Я боюсь смерти».

ПОДРОБНЕЕ.

Ну, во всяком случае, машина не ответила: «Как все?» — и не изобразила пресловутую венскую усмешку.

«Подробнее в каком направлении?»

Раз уж он вознамерился быть точным, то потребует точности и от АП.

КОГДА? КАК ЧАСТО? СКОЛЬКО ЛЕТ? ОПИШИ СТРАХ.

Грегори тщательно, с аккуратными пробелами набрал свои ответы, хотя и сознавал, что такая тщательность не облегчает задачу машины.

* * *

1. На исходе дня, ранним вечером и в постели перед сном; когда еду в гору; сразу после физи-

ческих упражнений; когда слушаю некоторые джазовые композиции; во время секса; когда смотрю на звезды; когда вспоминаю детство; когда вижу таблетку счастья на чужой ладони; когда думаю о покойных; когда думаю о живых.

2. Каждый день моей жизни.

3. Так, как описано выше, — лет, наверное, десять. До этого, подростком, с такой же частотой и ужасом, но с меньшими подробностями.

4. Сочетание физического страха, жалости к себе, злости и разочарования.

ТЫ БОИШЬСЯ СМЕРТИ ИЛИ ЗАБВЕНИЯ?

«И того и другого».

ЧЕГО БОЛЬШЕ?

«Я их не различаю».

НО УМИРАЮТ ВСЕ. ТАК БЫЛО И БУДЕТ.

«Это мало утешает».

ОПИШИ СВОЙ ФИЗИЧЕСКИЙ УЖАС.

«Это не страх боли, это страх неизбежности бесчувствия. Это ощущение, что меня преследует самонаводящаяся ракета, которая, как быстро ни беги, все равно достигнет цели. Это…»

Но его ввод был прерван.

В ТЕОРИИ ЗАЯЦ НИКОГДА НЕ ДОГОНИТ ЧЕРЕПАХУ.

Что? Грегори не поверил своим глазам. Вот ведь

наглость. И быстро ответил:

«1. Зенон умер, если кое-кто не заметил.

2. Свои гнусные шуточки на эту тему держи при себе».

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.

Затем Грегори подвергся расспросам (вежливым и даже, если так можно сказать о машине, тактичным): о его детстве и родителях, о его карьере и соприкосновениях с человеческими смертями, о похоронах, на которых ему довелось присутствовать, и о его ожиданиях на будущее. Часть этой информации, как он догадался, требовалась для перепроверки сведений о нем. Во время этого обмена репликами у него стало возникать ощущение, будто он просто беседует с АП; машина, казалось, понимала его с полуслова и с легкостью учитывала изменения тона. Сеанс приближался к концу.

ТЫ ЖАЛУЕШЬСЯ НА СМЕРТЬ ИЛИ НА ЖИЗНЬ?

«Ненастоящий вопрос. На то и на другое, разумеется, потому что это одно целое».

И КАКИХ ДЕЙСТВИЙ ТЫ ОЖИДАЕШЬ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ?

«Не знаю. Страх смерти — это неистребимый человеческий инстинкт, разве нет?»

УЖЕ НЕТ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ

УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО НЕРВА.

«Я имею в виду совсем другое. Таблетки счастья мне не нужны».

ЕСТЕСТВЕННО. ПРЕДЛАГАТЬ ИХ БЫЛО БЫ ОСКОРБИТЕЛЬНО.

СУЩЕСТВУЮТ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ МЕТОДЫ. ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ «ПВ»?

«Нет».

ПОЖАЛУЙСТА, УХОДЯ, ЗАПРОСИ 16Б, НО НЕ ЗАБУДЬ СПРОСИТЬ СЕБЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ УТРАТИТЬ СТРАХ СМЕРТИ. НАША КРАТКАЯ БЕСЕДА ДОСТАВИЛА МНЕ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ARRIVEDERCI[7].

Боже правый, эта машина кого хочешь выведет из себя. *Ариведерчи?* Она перепутала его фамилию, что ли? Или же это просто выбранный наугад сигнал отключения. Тогда и он, пожалуй, должен отплатить той же монетой: попрощаться от балды на языке эскимосов, маори или кого угодно. Потереться носом об экран — хотя бы так встряхнуть эту скотину.

Регистраторша, у которой он получил бланк завещания, теперь вручила ему 16Б, как будто знала, что он попросит эту брошюру. Вот это-

---

[7] Сноски: 7
До свидания *(ит.).*

го не надо, подумал он. И не надо с улыбочкой говорить: «До скорой встречи». А вдруг он за дверью покончит с собой — просто чтобы обмануть ее ожидания. Уйдет в море на утлой лодчонке, спрыгнет, хлопая своими крыльями, с колокольни — да мало ли какой современный аналог можно найти. Допустим, с самолета без парашюта, прикинул он.

Дома Грегори почувствовал, что брошюра, словно образчик специфической порнографии, жжет ему карман, обдавая стыдом. Он дождался, чтобы Джин легла спать, плеснул себе из автомата виски с содовой и устроился поудобнее. «ПВ», как выяснилось, означало «Предсмертные Впечатления»: убаюкивающие сны (или духовные видения), назначаемые коматозным больным, чтобы те выкарабкались из ухода в небытие. Неудачники-самоубийцы, уцелевшие жертвы автокатастроф, пациенты, пострадавшие от обычных врачебных ошибок на операционном столе, — все сообщали о пребывании в особой форме сознания, которая цеплялась за жизнь. Неподвижное тело на больничной койке было всего лишь затемненным домом, внутри которого непрерывно длилась жизнь.

Еще в семидесятые годы ученые начали со-

бирать свидетельства и вскоре установили, что основные стадии Предсмертных Впечатлений поддаются учету, подобно остановкам на Крестном пути. Типичным началом ПВ было освобождение от боли и нахлынувшее ощущение безмятежности. Далее следовали невесомость, обострение восприятия и отторжение от физического тела. Спокойно и без мучений «я» покидало смирительную рубашку плоти; оно воспаряло, зависало под потолком и с отстраненным любопытством вглядывалось вниз, где оставалась коматозная, брошенная там оболочка. Через некоторое время освободившееся «я» отправлялось в символический путь через Темный Туннель в направлении Страны Света. Эти мгновения радости и оптимизма длились до тех пор, пока странник не достигал Границы: ею служила река, пересекать которую запрещено, или дверь, которая не открывается. И тут исполненный надежды путник в отчаянии понимал, что Страна Света недоступна (по крайней мере, в этот раз) и что возвращение в покинутое тело неизбежно. Это насильственное возвращение в мир плоти, и боли, и времени всегда знаменовалось неизбывным разочарованием.

Однако случалось и нежданное утешение: па-

циенты расставались со своими ПВ без малейших следов страха перед грядущей смертью. Как ни истолковывай их видения Страны Света (кому-то они подтверждали истинность религии, кому-то — неуемную человеческую способность выдавать желаемое за действительное), практическим следствием было искоренение смертного ужаса. Кома, этакое факсимиле смерти, оказалась ключевым фактором: контрольные группы — те, кто просто терпел невыносимую боль, заложники, приговоренные к смерти и неожиданно освобожденные, — показывали куда более многообразные результаты. Ученые продолжали наблюдение за категорией познавших ПВ и опрашивали их на смертном одре; тут показатели несколько снижались, однако процент освобождения от страха держался на уровне выше девяноста.

В середине девяностых из этого открытия выросла небольшая новаторская программа, направленная на излечение глубокого невроза методом временно стимулированной комы. Процедура, конечно, была рискованная, как в социальном, так и в медицинском плане; действительно, из-за пары небольших просчетов те исследования были приостановлены почти на десятилетие. Но как только устранили последнюю

ложку дегтя (ту, которая случайно спровоцировала смерть пациента), программа получила государственное финансирование. По причине требуемого оперативного вмешательства, деликатного и дорогостоящего (вкупе с возможными нападками демократической общественности), информация об искусственно вызываемых ПВ была засекречена. Вместе с тем брошюра 16Б (выдаваемая под расписку с последующим возвратом) могла обещать, что пациент, стоящий в очереди на операцию, получит гарантию безопасности в пределах 99,9 %, а долгосрочный эффект будет стабильно превышать 90 %.

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО НЕРВА…

Надо же, как все просто, подумал Грегори. Просверлить дентин, выжечь нерв. И прощайте, бессонные ночи.

Следующие двое суток он провел у себя в комнате. Порой, когда он сидел и слушал джаз, кларнет обособлялся, воспарял и недолго стенал над инертным телом звука; и это напоминало Грегори — кратко и словно бы под определенным углом — о заданном ему вопросе. Но его ответ, в сущности, не был результатом мыслительного процесса. Слишком уж легко он достигался, слишком инстинктивно. Как щелкнуть выклю-

чателем, пнуть камень или нажать на кнопку.

Когда он вернулся в сине-зеленую кабинку, экран был в бодром настроении — одна ранняя пташка приветствовала другую, а по земле еще расстилался утренний туман и живность возбужденно обсуждала дневной свет.

ПРИВЕТ. РАД ВСТРЕЧЕ. НЕ ОЖИДАЛ ТАК СКОРО ТЕБЯ УВИДЕТЬ.

«Привет».

НУ, МЫ ИЗУЧИЛИ НАШУ 16Б?

«Да».

И РАССЧИТЫВАЕМ НА КЛИНИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ СТРАХА СМЕРТИ?

«Нет».

ОХ!

Именно таков был отклик. Машина действительно охнула. Повисла пауза: видимо, Грегори должен был повиниться за свою резкость. Потом:

МОЖЕТ, ОБЪЯСНИШЬ ПОЧЕМУ?

«Нет».

ОХ!

Наконец-то Грегори почувствовал себя хозяином положения.

«Мы рассчитываем на избавление, — медленно напечатал он, — не от страха смерти, но от смер-

ти как таковой».

НЕВОЗМОЖНОЕ ВСЕГДА ЗАНИМАЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.

Машина обрела прежнюю игривость, если только бодрящий тон не был случайным фактором. Грегори встал и направился по коридору за стаканчиком кофе. Когда он вернулся, экран заполняли энергичные ободрения:

ТАК ДАВАЙ ЖЕ!

и

ДАВАЙ НА РАВНЫХ!

и

ЗАПИСЫВАЙСЯ, ПОКА ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

и

УЖЕ ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ МИНУТЫ СИДИШЬ БЕЗ ТОЛКУ.

Удалив их все быстрым нажатием на «Ввод», Грегори перевел мигающий курсор на поле «Вопросы». И впечатал: «Религия».

КАКАЯ ИМЕННО РЕЛИГИЯ?

«Религия вообще».

ПРОДОЛЖАЙ.

Грегори еще не решил, как это сформулировать. Но, предположительно, АП могла пользоваться банком данных КОНа.

«Насколько сильны убеждения верующих?»

ПЕРЕПИСЬ 2016: АНГЛИКАНСКО-ПАПИСТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ
— 23 %, МУСУЛЬМАНСКО-ИНДУИСТСКИЕ — 8 %.

Отбой. Его интересовало другое.

«Насколько сильны религиозные убеждения верующих?»

ВАРЬИРУЮТ ОТ СЛАБЫХ ДО ИСТОВЫХ. РЕКОМЕНДУЮ БРОШЮРУ 14В.

Запрашивать эту брошюру не входило в его планы. Но поскольку нынче утром АП склонялась к панибратству, не использовать ли ему ту же тактику?

«Ты веруешь в Бога?»

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС.

Этого следовало ожидать.

«Отчего же это ненастоящий вопрос?»

ТАКЖЕ НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС. НО МОЖНО ОБСУДИТЬ.

Грегори улыбнулся.

«Как раз об этом подумываю».

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ? — пришел быстрый ответ.

«Основные возражения: (1) Неправдоподобие. (2) Бездоказательность. (3) Проблема зла. (4) Младенческая смертность. (5) Духовенство. (6) Религиозные войны. (7) Инквизиция.

Грегори почувствовал, что аргументы его на исходе. Наверное, бытуют и другие, более веские, которые он упустил. Например: Иисус Христос был всего лишь одним из сотни пророков; существует достаточно фрагментов Святого Истинного Креста, чтобы обшить все спальные вагоны, курсирующие между Лондоном и Эдинбургом.

НЕОБХОДИМО РАЗГРАНИЧИВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ. ЛЮДЯМ — ДАЖЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ — СВОЙСТВЕННО ЗАБЛУЖДАТЬСЯ. К СЛОВУ: ЧИСЛО ЖЕРТВ ИНКВИЗИЦИИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНО. МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 0,002. «ПРОБЛЕМА ЗЛА», КАК ТЫ ВЫРАЗИЛСЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО НЕЙТРАЛИЗОВАНА ТАБЛЕТКАМИ СЧАСТЬЯ И БЕСКРИМИНАЛЬНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ; В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОБРОЙ ВОЛИ УРАВНОВЕСИТ МАЛОВЕРОЯТНЫЕ ТЕЗИСЫ И ПОДКРЕПИТ ТВОИ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ДОВОДЫ.

«Это правда? Ты-то как считаешь?»

ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ ЗА РАЗ, СДЕЛАЙ ОДОЛЖЕНИЕ.

«Это правда?»

ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОДНО ЗА ДРУГИМ, СТРОГО

ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПОЛИТИКИ ТОТАЛЬНОГО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.

«Надо понимать, с их точки зрения это хорошо?»

СКАЖЕМ ТАК: ЭТО НЕПЛОХО.

Поскольку машина словно бы распоясалась (бокал в одной руке, домашняя туфля свисает с большого пальца ноги), Грегори надумал сделать еще один заход со своим ненастоящим вопросом.

«Строго между нами: ты-то лично как думаешь, только честно?»

ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ, ДРУЖИЩЕ.

«Людям это помогает?»

В ЦЕЛОМ — ВОЗМОЖНО.

Но Грегори не намеревался об этом дискутировать — его вынудили. Неоспоримы были два факта: во-первых, АП запрограммирована с уклоном на социополитику: правдивое перетекало в то, что считалось полезным — или по крайней мере безвредным — для верующих. Во-вторых, машина не являла собой жужжащего хранилища ответов. Отчасти она выполняла психотерапевтическую функцию, льстиво добиваясь более точной формулировки вопросов. И правильно, подумал Грегори: в конце-то концов, тщательно сформулированный вопрос — это своего рода

ответ.

Итак, в чем же заключались вопросы? Абсолютна ли смерть? Правдива ли религия? Да, Нет; Нет, Да — что тебе предпочтительней? А вдруг… подумал Грегори, а вдруг окажется, что ответ на оба вопроса — «Да»? Ему представлялось, что вечная жизнь не зависит от существования Бога; но что, если верно обратное? Может ли быть, что религия правдива, а смерть все же абсолютна? Вот это был бы удар ниже пояса. Он тут же поделился этими соображениями с АП, но та поспешила ответить:

ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ
СИТУАЦИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Его не удивил такой ответ, но идея гипотетического не отступала. Всегда считалось, что смерть либо конечна, либо служит прелюдией к позолоте и бархатным подушкам вечной жизни. Но должно же быть какое-то пространство между этими двумя допущениями. Возможно, жизнь вечная существует, но лишь на одном уровне — скажем, на уровне человека, лежащего в коме: по всей вероятности, блаженные видения ПВ слишком буквальны, а смерть ощущается так же, как беспамятство. А может, жизнь вечная существует, но устроена так, что тебе вскоре захочется недостижимой смерти, — иными словами, это

повседневное человеческое существование, в котором ты боишься смерти и жаждешь недостижимой жизни вечной.

А как быть с тем аспектом смерти, который виделся Грегори самым коварным, самым злокозненным? Когда умираешь, атомы, из которых ты состоишь, прощаются за руку, хлопают друг дружку по плечу и разбегаются в ночи без небесных подсказок, без шепотков на ухо: «Слушай, мы тут подумали, что тебе надо бы знать…» Кто-то из мыслителей прошлого описал веру как азартную игру: кто не сделал ставку, тому не светит выиграть. Ставь свои денежки на красное, ставь свои денежки на черное — выбор невелик. Грегори воображал усатого француза в шляпе с пером, склонившегося над колесом рулетки. Раз за разом он делал ставку в сорок су и вслушивался в стук удачи; ему и в голову не могло прийти, что колесо отрегулировано так, чтобы всегда останавливаться на нуле. В мире красного и черного в очередной раз выигрыш достается заведению! И опять! И опять!

Но бывает и менее удачно, подумал Грегори. Вообрази: ты умираешь с последней агонией неведения в мозгу… а потом просыпаешься заново. Боже, крутится у тебя в голове, это ведь

готовый сюжет для книги. Неудачник сорвал банк. Танцующим шагом к тебе в палату входит изящная медсестра-австралийка, только-только сошедшая с доски для серфинга, и твое счастье расцветает еще ярче. Ровно до той поры, когда она раскрывает рот: «Слушай, парень, эта плешь насчет вечной жизни: мы тут подумали, раз ты годами интересовался этой проблемой, будет только справедливо с тобой поквитаться, когда настанет час. Ан нет, не получается, к сожалению. Мы жутко извиняемся и все такое прочее, но тут не разгуляешься…» А затем со страдальческим кивком вырубает свет. Чего он страшился больше: что вопрос о жизни останется без ответа или что ответ найдется, но неправильный?

Вернувшись к дисплею, Грегори увидел, что он опять покрылся бодрическими сентенциями, вроде «АЙ, МОЛОТОК!» или «КТО У НАС УМНЕЕ ВСЕХ?» Нажав «Сохранить», он в очередной раз отправился за кофе.

Сев за клавиатуру, он начал:

«На днях я задал КОНу вопрос о самоубийстве…»

КАК ЖЕ, КАК ЖЕ, ПОМНЮ.

Ну что ж, это был ответ сразу на несколько вопросов о свойствах сети.

«Неужели ты помнишь?»

РАЗУМЕЕТСЯ, ПОМНЮ. ТЕБЯ ОСОБЕННО ВПЕЧАТЛИЛИ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ?

«Ну, тому субъекту, который допился до смерти, кажется, вправили мозги?»

ХО-ХО-ХО, ТЫ ПРО СТИЛЬФОНА? ДА, ПОСЛЕ ТВОЕГО УХОДА МЫ ПРОВЕРИЛИ ЕГО ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК. НЕ ЗНАЮ, ОТКУДА ОН РОДОМ. ПОДОЗРЕВАЮ НЕБРЕЖНЫЙ ВВОД НА ОДНОМ ИЗ ЭТАПОВ.

«Правда ли, что человек — единственное животное, которое способно на самоубийство?»

ДА. ЛЕММИНГОВ РАЗВЕНЧАЛИ, НО ЭТОТ ВОПРОС ПРАВОМЕРНО РАССМАТРИВАТЬ ДВОЯКО. ЧЕЛОВЕК, КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ, ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ СПОСОБНО ОТКЛОНИТЬ ПРИЗЫВ К САМОУБИЙСТВУ.

«Тонко подмечено».

НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ. ЭФФЕКТНО, ДА?

«Какова же твоя позиция в плане самоубийства?»

МОЯ ПОЗИЦИЯ?

«Оно правомерно? Самоубийство правомерно?»

ПРАВОМЕРНО?

Заколодило ее, что ли, эту проклятую машину? Неужели ее уязвило, что он больше одного раза наливал себе кофе?

«Ну да, правомерно. Философски, морально, юридически правомерно. Это так?»

ЮРИДИЧЕСКИ — ДА. ФИЛОСОФСКИ — В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФА. МОРАЛЬНО — В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЗГЛЯДОВ ИНДИВИДА.

Откуда вдруг такая демократичность? Почему каждого ублажают отдельной справедливостью? Грегори предпочитал быть связанным уверенностью.

«Если я объявлю, что собираюсь покончить с собой, каков будет твой ответ?»

БРОШЮРА 22Д, НО ХОРОШО БЫ ОБСУДИТЬ ЭТО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

«После прочтения смогу ли я рассчитывать на какие-либо средства Мягкой Кончины?»

НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ВСЕМУ, ЧТО СЛЫШИШЬ.

Самодовольно, однако, подумал Грегори. Ну что ж, по крайней мере ни у кого не повернется язык утверждать, что у АП нет человеческих качеств. Нельзя сказать, что с ней невозможно разговаривать как с собеседником-человеком. Вот в чем проблема. С ней невозможно разговаривать и

как с машиной, нашпигованной человеческой мудростью.

«Хорошо, тогда скажи, коль скоро мы затронули эту тему, есть ли у тебя связь с Третьим подразделением Нового Скотленд-Ярда?»

НЕНАСТОЯЩИЙ ВОПРОС.

«Отмечены ли случаи самоубийств после консультации с тобой?»

ВНЕ МОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

«У тебя имеется диспенсер для выдачи таблеток счастья?»

ЗАКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

«Думаю, пора заканчивать сеанс».

НЕТ-НЕТ. ОБРАЩАЙСЯ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА.

«Закрыть и удалить».

НО НАШЕ КРАТКОЕ ОБЩЕНИЕ ДОСТАВИЛО МНЕ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ТЫ НАМНОГО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК, ЧЕМ НЕКОТОРЫЕ. ПРОШУ, УМОЛЯЮ.

Грегори ненадолго задумался, как АП отреагирует на ввод грязных непристойностей, но решил, что ее венское происхождение, безусловно, подскажет ей способы обуздать копролалию. Он просто нажал «не сохранять», затем «удалить», отключился и вышел. Проницательная

администраторша спросила, не требуются ли ему дополнительные материалы.

— У вас есть брошюра о разработчике АП?

— Такой, к сожалению, нет.

— А вам известно имя программиста?

— Я здесь новенькая. Но почти уверена, что это закрытая информация.

— Думаю, не вредно было бы ее открыть.

Девушка заверила его, что он, как представитель демократической общественности, имеет право сделать такой запрос, и выдала ему брошюру о проведении компьютерных кампаний.

* * *

Джин поймала себя на том, что постоянно вспоминает Рейчел: ее свирепое дружелюбие, уверенность в собственной правоте и убеждение, что собственная правота и свирепость изменят этот мир. Она воображала, как вновь столкнулась с Рейчел в каком-нибудь сыром парке или на тряской от грузовиков улице. Есть старинное китайское приветствие, образец учтивости азиатских времен, на случай какой-нибудь неожиданной встречи. Нужно остановиться, отвесить поклон и произнести манерный комплимент: «Сегодня солнце встало дважды».

Но ей не доводилось сталкиваться с Рейчел, а если бы такое произошло, она, по всей вероятности, произнесла бы столь же учтивое западное клише: «Ты ничуть не изменилась!» Хотя, конечно, обе они изменились. Уже сорок лет минуло со времен их дружбы — с той поры, когда (Джин улыбнулась) Рейчел попыталась ее соблазнить; теперь Рейчел, наверное, в том же возрасте, в каком была тогда Джин. Не исключено, что они проходили мимо друг друга — в парке, на этой грохочущей улице, под деловитым небом — и не заметили этого. Продолжает ли она, как и прежде, склонять людей к привязанности? Приручила ли какое-нибудь лицо мужского пола, которое не кажет носу из дома, опасаясь ее нрава (фотонегатив жизни Джин с Майклом)? Быть может, ее злость и настырность иссякли; быть может, она обожглась дважды; или просто устала от своих убеждений и уверовала в то, во что верят другие. Джин как-то указала ей, ничуть не погрешив против истины, насколько изматывающими могут быть постоянные требования рациональности, и у Рейчел на лице отразилось разочарование. Действительно: чтобы всю жизнь верить в то, во что верилось в начале пути, требуется смелость.

Все контакты с Рейчел сошли на нет; дружба,

как и вера, проходит испытание усталостью. Джин была единственным ребенком; потом была единственной женой; в одиночку вырастила единственного ребенка; некоторое время жила одна, а теперь воссоединилась с сыном. Нельзя сказать, что это была жизнь, полная приключений; жизнь была обыкновенная, хотя, скорее, тяготеющая к одиночеству. Грегори унаследовал это одиночество, и с возрастом оно только крепло; не считая матери, у него был, судя по всему, единственный друг — компьютер. ПАМЯТЛИВЫЙ УМ.

Семь чудес света: Джин ознакомилась со всеми — по крайней мере, в своем понимании. В дополнение к этим семи общедоступным чудесам она составила список семи единоличных чудес жизни. (1) Рождение. Оно, естественно, занимает первую позицию. (2) Атмосфера любви. Да, это второе чудо, хотя зачастую, как и первое, даже не представляет собой отчетливого воспоминания. С рождением ты погружаешься в родительскую любовь и считаешь, что это состояние вечно, а развенчание своей ошибки приходит только с завершением этого этапа. Отсюда (3) Утрата иллюзий. Да: когда твои ожидания впервые обманывает кто-нибудь из взрослых; когда ты

впервые обнаруживаешь, что радость оборачивается горечью. Для Джин таким этапом стала история с гиацинтами дядюшки Лесли. Что лучше: пройти этот этап раньше или позже? (4) Замужество. Некоторые, очевидно, внесли бы в список чудес жизни еще и секс, но у Джин было на сей счет особое мнение. (5) Роды. Да, такому событию определенно суждено было попасть в этот список, хотя, конечно, Джин встретила его в отключке. (6) Обретение мудрости. Этот процесс, как и предыдущий, большей частью протекал под анестезией. 7) Смерть. Да, она непременно должна быть в списке. Возможно, не в качестве апогея, но в качестве кульминации.

Сколь же мало этих чудес осознавалось ею в момент их совершения. Неужели она в этом смысле стоит особняком? Нет, вряд ли, решила она. Люди в большинстве своем ходят вокруг да около этих чудес жизни, почти не замечая их; так крестьяне, живущие близ какого-нибудь великолепного, но примелькавшегося памятника старины, видят в нем лишь каменоломню. Пирамиды, Шартрский собор, Великая Китайская стена становятся всего лишь источниками строительного материала, когда требуется укрепить свинарник.

В большинстве своем люди вообще не тво-

рят никаких свершений: вот в чем, собственно, правда жизни. Тебя воспитывают на примерах героизма и на драматических эффектах, на стремительном полете Томми Проссера сквозь черно-красный мир; тебе позволяют думать, будто взрослая жизнь состоит из постоянных усилий воли, ан нет, размышляла Джин. Ты совершаешь некие действия и только потом понимаешь, зачем все это было, а то и не понимаешь вовсе. Большая часть жизни проходит пассивно, настоящее — булавочный укол между придуманным прошлым и воображаемым будущим. Она в свое время сделала очень мало, Грегори сделал еще меньше. Ну да, окружающие пытались тебя убедить, что ты жила полной и увлекательной жизнью; но ее отрепетировали для тебя другие, словно для кого-то постороннего: твое военное детство и твой захватывающий брак, твой смелый разрыв брачных отношений и упоительное материнство с заботами о Грегори, твои авантюрные путешествия на зависть всяким домоседам. Все отмечали широту твоих интересов, твою мудрость, твои советы и тот факт, что Грегори, судя по всему, тебя обожает. Иными словами, окружающие упоминали те аспекты твоей жизни, которые разительно отличались от аспектов

их собственного бытия. Ах да! Твоя мудрость — как же ты мечтала обрести ее на заре, а не на закате жизни. Твои советы: люди внимательно их выслушивали, а затем поступали с точностью до наоборот. Сыновнее обожание… ну, нельзя исключать, что без нее Грегори проявил бы самостоятельность и чего-нибудь добился. Но с какой стати ему чего-то добиваться? Потому, что другой жизни у него не будет? Ему ли этого не знать…

— Грегори.

— Да, мама.

— Смени тон, когда называешь меня мамой. Создается впечатление, что ты только и ждешь от меня неприятностей. Давай-ка, поговори со мной про эти завиральные идеи насчет суицида.

— Не буду. С какой стати?

— Вот именно. С какой стати? Это же твоя жизнь. Тогда *о чем* ты соизволишь побеседовать?

— О Боге?

— О Боге? Бог рассекает на мотоциклете у западного берега Ирландии.

— Ну, этим все сказано, — ворчливо бросил Грегори и затопал прочь.

Господи, подумала Джин, на самом деле он просто не хочет говорить о Боге, так ведь? Однако

убедила себя, что, напротив, хочет: подобными фразами люди не бросаются.

Шаги Грегори затихли, а чуть позже из его комнаты донеслись обрывки джаза. Людям свойственно убегать. Дядя Лесли бежал от войны — то есть если верить всем, кроме дяди Лесли. Сама она сбежала от Майкла и от брака; да и от Рейчел, наверное, тоже, подумалось ей. А теперь и Грегори прикидывает, как бы убежать от всех и вся. Как было сказано в той бордовой книжице для будущих жен: «Маневрируйте». Однако бегство — не обязательно то, чем оно предстает в расхожих представлениях. Люди считают, что беглецам обжигала горло кислая каша страха. Но бегство, вероятно, может потребовать смелости — со стороны всего не увидишь. Допустим, бегство как таковое — поступок нейтральный, и только сами беглецы могли бы сказать, что их толкало в бега: страх или храбрость. Насчет Лесли сторонний наблюдатель мог сделать верную догадку; насчет самой Джин — менее точную, а насчет Грегори — еще менее определенную. Кто она такая, чтобы осуждать или хотя бы советовать?

Грегори, затаившегося у себя в комнате, хлестал бесцеремонный корнет и ласкало деликатное фортепиано. Он плохо разбирался в музыке, но

изредка слушал джаз. Для Грегори джазовая музыка оставалась диковинкой, той формой искусства, что совершила самоубийство, а ее историю в познавательных целях можно было разделить на три периода: первый — собственно исполнительский, с узнаваемыми мелодиями; второй — обрывочный, с короткими, повторяющимися фразами, с робкими мелодиями, которые обрывались, едва начавшись; и третий — период чистого звука, когда тяга к мелодии считалась причудой, когда мотив контрабандой проносили мимо слушателей, как дипломатический чемоданчик — мимо таможенников, подозревающих наличие содержимого, которое запрещено к ввозу, но досмотру не подлежит. Грегори, к собственному удивлению, предпочитал второй период, как бы созвучный его широким представлениям о жизни. Люди в большинстве своем ожидали, что их жизни будут полниться мелодиями; они думали, что бытие развертывается, подобно мотиву; они жаждали — и верили, что добились, — утверждения, развития, повторения, лаконичной, но необходимой кульминации и так далее. Эти вожделения, по мысли Грегори, были крайне наивны. Сам он ожидал только обрывков мелодий; когда какая-то фраза возвращалась, он

ее узнавал, но приписывал это случайности, а не своим личным способностям; мелодии же, как он знал, всегда убегали.

На другой день Джин читала, лежа в постели. Когда Грегори зашел поцеловать ее на сон грядущий, она извинилась за свою резкость.

— Ничего страшного, — сказал Грегори, сам не чуждый резкостей. — А к чему ты завела разговор про мотоциклет?

— Да была какая-то история, которую мне рассказали еще до твоего рождения.

— Твоя вечная отговорка: «Была какая-то история, которую мне рассказали еще до твоего рождения».

— Неужели, дорогой мой? Ну, ты ведь — не забывай — был поздним ребенком.

Ей самой резанула слух эта фраза, обращенная к почти шестидесятилетнему мужчине, сидящему в ногах ее кровати; но такая сложилась у нее манера речи, менять которую было уже поздно.

— Так кто был этот мотоциклист? Какой-нибудь твой приятель? — Грегори подмигнул ей (весьма обаятельно, подумала она). — Былой ухажер?

— Ухажеров у меня не было, — ответила она. — Скорее, знакомый одного знакомого. Дело было во время войны. Видение какое-то, что ли. Пилот

«каталины» — летающей лодки — узрел его, когда патрулировал над Атлантикой. За четыреста пятьдесят миль к западу от Ирландии. Некий субъект мчался на мотоцикле по гребням волн. Зрелище, надо думать, было впечатляющее. Бесподобный трюк.

— Куда лучше твоего трюка с сигаретой.

— Да уж, намного лучше.

Повисло молчание; его внезапно нарушил Грегори.

— Мать?

— Что это на тебя нашло?

— Нет, не в смысле «мать», я неправильно выразился. Просто решил задать тебе три вопроса, совершенно официально, а потому предпочел обратиться к тебе «мать». — Он встал, подошел к окну, вернулся и присел на краешек ее кровати.

— И за правильные ответы меня ждет награда?

— Пожалуй, в некотором смысле. Видимо, я совсем не продвинулся в плане…

— Ты про Памятливый Ум? Меня это не удивляет. Одному Богу известно, почему ты сразу не обратился ко мне.

Грегори улыбнулся:

— Тебе удобно сидеть?

— Все извилины включены.

Мать с сыном переглянулись с полной серьезностью. Внезапно каждому почудилось, будто перед ним постороннее лицо, как в смысле плоти, так и в смысле привычки. Грегори увидел перед собой бодрую, опрятную, благожелательную старую даму, которая если не обрела мудрость, то по крайней мере полностью избавилась от глупости. Джин увидела перед собой запальчивого, растревоженного мужчину, которого средний возраст пинками гонит в старость; в меру эгоистичного, неспособного решить, действительно ли его широкие искания представляют собою нечто большее, чем простой эгоизм.

— Боюсь, это замшелые вопросы.

Ага, замшелые вопросы. Так почему же норки до последнего цепляются за жизнь? И почему Линдберг не съел все свои бутерброды? Но она мрачно выжидала.

— Смерть абсолютна?

— Да, милый. — Ответ получился твердым и однозначным, исключающим необходимость в дополнительных вопросах.

— Религия — вздор?

— Да, милый.

— Самоубийство допустимо?

— Нет, милый.

У Грегори было такое ощущение, будто он побывал у стоматолога. Удалены три зуба; без анестезии; без боли — пока еще.

— Ну что ж, управились быстро, — донеслись до него собственные слова.

— С каким же счетом? — спросила Джин, когда торжественность момента осталась позади.

— Тебе нужно потягаться с другим соперником, — сказал Грегори.

— Ладно, ждать осталось недолго.

— Боже, да я совсем не *это* имел в виду.

Грегори неуклюже навалился на мать и даже причинил ей некоторую боль. Он прильнул к ее плечу; она прижала его к себе и подумала: вот ведь странность — ей жить осталось всего ничего, однако же не он ее утешает, а она — его.

Через несколько минут он вышел в крошечный садик. Вечерняя тьма выдалась теплой, непроглядной, беззвездной; усевшись в пластиковое кресло, Грегори оглянулся на дом. Все его мысли были о тех часах, которые он растратил попусту с Памятливым Умом — агрегатом, собранным из лучших частей мозговых извилин нескольких тысяч людей, и о том, как он получил куда более внятные ответы от стареющего сознания своей матери. Да, милый. Да, милый. Нет, милый. Ска-

зано с высоты ста лет жизни; сказано на краю могилы. И все же, все же… сама категоричность ее ответов… Старости как-никак свойственно определенное высокомерие. Откуда у нее такая уверенность? Дожить, считай, до ста лет и ничем не выдавать ни малейшего страха смерти: разве это не указывает на отсутствие воображения? Быть может, чувство и воображение — сопровождающие более квалифицированные, нежели мысль. «Бессмертие — это вовсе не научный вопрос», — процитировала ему АП в какой-то момент. Значит, и остальные вопросы тоже не были благоприобретенными; и примерять к ним свой мозг имело не больше смысла, нежели возиться с гаечным ключом не того размера, какого требует гайка.

Одно из занавешенных окон верхнего этажа пропускало свет. Грегори вспомнился другой сад, где-то близ Тоустера. Бок о бок с матерью на пожарной лестнице, высоко над запущенной лужайкой. Он поднимает, насколько возможно, свой золотой «вампир», а мать поджигает тонкий шнур, ведущий к коричневому цилиндрику с реактивным топливом.

Бывает, что топливо не воспламеняется, или же воспламеняется, но самолетик врезается в

землю; или же самолетик аккуратно планирует, а ракетный двигатель летит вперед — крохотная алюминиевая канистра проносится над садом и застревает в живой изгороди за елями.

Конечно, понял он, это неправильно, однако все мы ошибаемся. Принимаем на веру, что модель летит благодаря двигателю и по прямой. Но возможностей гораздо больше, и вероятностей тоже.

Зрелость — плод не времени, но твоих знаний. Самоубийство — не единственная истинно философская дилемма нашего века, это заманчивая несуразица. Самоубийство бессмысленно, поскольку жизнь и без того коротка; трагедия жизни — ее краткость, а не ее пустота. Государства и народы были совершенно правы, думал Грегори, запрещая самоубийство, потому что такое действие порождает в совершающем его ложное понятие о ценностях. Самоубийство придает человеку огромную важность в собственных глазах. Какое жуткое тщеславие требуется, чтобы оборвать собственную жизнь. Самоубийство не самоуничижение. Оно не говорит: я так несчастен и незначителен, что, если я покончу с собой, это ни малейшего значения иметь не будет. Оно провозглашает прямо противоположное: гля-

дите, говорит оно, я достаточно важен, чтобы покончить с собой.

Быть может, он из-за того начал подумывать о самоубийстве, что увидел себя неудачником. Шестьдесят — а за душой почти ничего; жил вместе с матерью, жил один, вновь живет с матерью. Но кто сказал, что это равносильно неудаче? Кто определяет, что такое успех? Разумеется, люди успешные. А коль скоро им дозволяется определять успех, то пускай тем, кого они объявили неудачниками, будет доверено определение неудачи. Следовательно: неудачник — это не про меня. Пусть я тихий, незлобивый человек шестидесяти лет, ничем особым не отличившийся, но это не делает меня неудачником. Я отметаю ваши ярлыки. В древности некоторые кочевые племена считали себя единственными на земле, и эту веру не подрывало пришествие других. Люди, которых называют «успешными», наводили Грегори на мысль о тех племенах.

Еще одной ошибкой были все эти умствования, все эти сомнения. Бог — это мотоциклист в четырехстах пятидесяти милях от западного берега Ирландии: в защитных очках, предохраняющих его от морских брызг, он неспешно катил по волнам, как по барханам. Ты в это веришь? Да,

ответил себе Грегори, я в это верю. В конце-то концов, единственным другим ответом может стать только «нет». Верить, будто ты способен или обязан что-то доказывать, что-то объяснять, — это заблуждение. И он — вслед за подавляющим большинством людей — занял несуществующую промежуточную позицию, терпимую, но скептическую позицию, сказав: если вы сможете продемонстрировать, что мотоцикл определенной марки, управляемый определенным типом байкера, имеющий определенного типа шины и определенную мощность, способен держаться на воде, оказывая столь ничтожное давление на поверхность, что может двигаться вперед, только тогда я уверую в Бога. Смехотворная позиция, но вместе с тем совершенно нормальная. Люди думали, что попасть в Царствие Небесное, или как там ты именуешь вышние пределы, — это все равно как оформить закладную. И ведь некоторые заручаются услугами наилучших священнослужителей, точно так же как заручились бы услугами наилучших адвокатов.

Вы не оспариваете давление в камерах, не спрашиваете, какой марки данный мотоцикл, не интересуетесь, предусмотрена ли в нем коляска для Девы Марии. А если спрашиваете, то

всего лишь говорите: послушайте, я знаю, что это некий трюк, мы оба знаем, что это некий трюк, так откройте же мне секрет, и мы подружимся. Я даже признаю, что как фокусник вы даете мне сто очков вперед. Кстати, не хотите ли посмотреть, как я выкурю эту сигаретку?

Грегори знал, что для некоторых — вне сомнения, искренне верующих на свой лад, Бог — это трюкач-мотоциклист, а Христос, сын Божий, когда вознесся на Небеса, побил мировой рекорд высоты. Бог — главный фокусник, великий престидижитатор, который жонглирует планетами, аки сверкающими шарами, и еще ни одной не уронил. Грегори не интересовался такого рода Богом — таким, который способен отвечать на вопросы в телевикторинах и составлять кроссворды; этаким марафонцем, десятиборцем с мускулами как из канадской ели. Вера в Бога не должна проистекать из восхищения Его деяниями, из страха перед Ним и даже — это был бы тщеславный самообман — из Его постижения. Вера должна просто случиться. Брызги морской пены мерцают на кожаных крагах; нога бьет по тяжелому рычагу коробки передач, чтобы снизить скорость, когда волнение усиливается; байк, выбравшись из ложбины между волнами,

достигает гребня и на миг взмывает в воздух. В это я верую, сказал Грегори.

Ему не требовались объяснения, ему не требовались условия. Вечная жизнь — это всегда лучшая приманка, разве нет? Войти в Царствие Небесное — это все равно что получить выгоднейшую закладную, а вечная жизнь — это лучший пенсионный план из всех существующих. Естественно, потребуется регулярно делать взносы — ежемесячно, не отлынивая. Грегори так не считал: веровал он потому, что это было правдой; а правдой это было потому, что он знал: это — правда. А в чем именно заключается правда и что следует из того, что это — правда, не ему решать. Если бы Господь повелел верующим до скончания века вариться в кипящем масле, то Грегори не стал бы возражать. Кто сказал, что Господь обязан быть справедливым? Господь обязан только быть истинным.

Глядя на светящееся окно, Грегори старался не думать. Хватит с него мыслей. Достаточно. И без того он провел предостаточно времени с КОНом. Все эти размышления, эти расспросы, этот *разум*. Неудивительно, что он потерпел фиаско. Решил, будто КОН с ним играет, будто проворачивает некую тонкую манипуляцию. Так ведь нет. КОН,

как оказалось, старая развалина, даром что человекоподобная, натасканная давать ответы. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ: слушает, как дребезжат человеческие извилины, гоняя мысль туда-сюда наподобие челнока в ткацком станке. На самом-то деле все не так, рассуждал Грегори. Сначала у тебя возникают вопросы, и ты ищешь ответы. Затем ты получаешь ответы и задумываешься, каковы же были вопросы. В конце концов ты сознаешь, что вопрос и ответ представляли собой единство: первый скрывался во втором. Выключи станок — бессмысленно стрекочущий ткацкий станок человеческой мысли. Смотри на освещенное окно и просто дыши. Запрокинув голову, Грегори вгляделся в пустое черное небо; у себя в голове, за кулисами, он услышал спокойную, приглушенную музыку. Какой-то духовой оркестрик играл тихо, однако в любую секунду мог загрохотать. Мотив, никогда прежде не слышаный, казался знакомым. Дыши, просто дыши; вглядывайся в освещенное окно — и просто дыши…

Что же до Джин, та, в свой черед, глядела из окна вниз, на темную фигуру, в которой узнавала своего сына. Как быстро, как легко сумела она дать ответы на три его вопроса; уж он-то

счел ее весьма уверенной в себе. Но эта уверенность отчасти была не более чем родительской привычкой. Теперь, воздев глаза к бархатисто-черному небу, она ненадолго лишилась своей уверенности. Не исключено, что вера была сродни ночному зрению. Ей вспомнился Проссер в своем «харрикейне»: черный самолет в черной ночи, красный отблеск на лице, взгляд пилота в иллюминатор. Если бы свечение приборов было дневных цветов — зеленого с белым, Проссеру отказало бы ночное зрение. Он бы не заметил нештатную ситуацию, он бы вообще ничего не заметил. Очевидно, то же относится и к вере: либо подключили правильную приборную доску, либо нет. Это конструктивный признак, потенциал, не имеющий отношения ни к знаниям, ни к интеллекту, ни к проницательности.

Но с верой или без веры, те же самые три вопроса кружили, как бесприютные грачи в тревожном небе. На каком-то этапе жизни этими вопросами задается каждый, пусть второпях, пусть легкомысленно. Самоубийство? Кто хотя бы на миг не предавался головокружительному волнению, заглядывая в пропасть? Как там Олив Проссер, впоследствии Редпат, высказалась о Томми? Всегда одним глазком заднюю дверь высматривал.

Пожалуй, люди в большинстве своем трактовали это высказывание одинаково: для собственного спокойствия убеждался, что в случае чего можно будет сделать ноги. В истекшие месяцы ее начинало трясти от мысли о столетнем юбилее, когда Грегори станет метаться по улицам, чтобы собрать горстку каких-нибудь лжегостей, которые, сгорая от любопытства, будут поднимать бокалы и горланить: «Чтоб ей жить еще сто лет!» Не лучше ли, время от времени задумывалась она, с веселым лукавством уклониться от роли помпезной долгожительницы и куда-нибудь ускользнуть между девяносто девятью и ста годами? Сколько лет было самому старому известному самоубийце? Надо было попросить Грегори выяснить это с помощью Памятливого Ума. Впрочем, в таком случае он стал бы делать слишком уж мрачные выводы.

Что же касается двух других вопросов… Джин взяла себя в руки. Конечно, религия — это чушь; конечно, смерть абсолютна. Неужели вера и впрямь подобна ночному зрению: неужели верующие заглатывают таинства с такой же готовностью, с какой летчики-истребители в свое время уплетали морковь? Нет, это все фантазии. Однако религия напомнила Джин еще

одну историю Томми Проссера: как, удирая над Северным морем от пары сто девятых «мессеров», он услышал пулеметную очередь. Петляя, он резко ушел вверх и скрылся от врага за облаком. Тут снова затарахтела та же очередь, и Проссер сообразил, в чем дело: от страха он вдавливал гашетку, большой палец по-прежнему лежал на кнопке — стрельба велась из его собственных орудий: он пугал себя их треском. Джин казалось, что этот случай — воплощение религии: глупые, неопытные человечки по ошибке палят из собственных пулеметов, нагоняя страху на самих себя, хотя все это время в одиночку болтаются под равнодушным небосводом. Мы живем под луной бомбардировщиков, где света как раз хватает, чтобы убедиться в отсутствии там кого бы то ни было другого.

А что сказать про абсолютность смерти? Фарфоровой башни в Нанкине больше не существует, но Джин в качестве замены открыла для себя китайского философа, который поведал ей об уничтожении души. В то время это казалось непостижимым местным парадоксом, но с годами, почти без ее участия, он обрел смысл. Конечно, у каждого из нас есть душа, загадочная сердцевина индивидуальности; смысл расшатывался одним

лишь словом, занимавшим первую позицию: «бессмертная». Это был ненастоящий ответ. Наша душа смертна, уничтожима, и это естественно. Загробная жизнь? Ожидать ее можно с таким же успехом, как предвидеть повторный восход солнца за одно утро. Разумеется, Проссер такое видел, и в прежние времена его могли бы как восславить, так и покарать за это видение. Но даже Проссер знал, что это — вполне предсказуемое явление природы; самое прекрасное, что он видел в жизни, видение, которое потрясло его и сделало неуязвимым, а в конечном счете свелось к эффектному рассказу, который производил впечатление на девушек.

У Джин больше не оставалось времени для размышлений о смерти; теперь она только надеялась, что в свой срок, когда настанет время собирать последние силы (если именно так это ощущается изнутри), она сумеет перенастроить себя таким образом, чтобы Грегори поверил, будто она умирает спокойно и счастливо. Она не хотела умирать, как дядя Лесли. Голосом, не требовавшим рупора, миссис Брукс расписала Джин, как последние часы Лесли, хотя и свободные от боли, колебались между неприкрытой злобой и неприкрытым страхом. Джин, собственно, так и

думала: последние два раза, когда она его навещала, он был перепуган и слезлив, хотел, чтобы она уверила его во всевозможных несовместимых вещах: что его болезнь не опасна, что он, когда умрет, попадет на небо, что умрет он мужественно, что его бегство в Америку не будет поставлено ему в вину, что все врачи врут, что еще не поздно заморозить его так, чтобы он был разбужен, когда найдут лекарство от рака, что позволительно хотеть умереть и что она все время неотступно будет при нем, правда? А не то миссис Брукс пойдет на убийство ради его безделушек.

Она успокаивала его лживыми заверениями с такой же быстротой, с какой он проговаривал свои страхи, но, кроме того, пыталась отвлечь его — пусть совсем ненадолго — от этой беспощадной зацикленности на себе. Внушала, что, конечно, Грегори выберется его проведать, а он, Лесли, постарается не огорчать своего племянника. Лесли словно бы не слышал, и Джин с опаской ждала отъезда Грегори; но его рассказ о том, с каким юмором и мужеством держался Лесли, успокоил и впечатлил ее. Наверное, отчасти в этом крылось бесстрашие перед лицом смерти; наверное, изображать мужество ради близких оказалось более благородной, более высокой формой мужества.

Вначале Грегори был против материнского плана. Усматривал в нем какую-то мрачную патологию.

— Конечно, это мрачная патология, — согласилась Джин. — Если я в девяносто девять лет не имею права на мрачные патологии, то о чем вообще разговор?

— Я имею в виду излишние патологии.

— Не занудствуй. Если ты такой в шестьдесят лет, не представляю, как ты протянешь следующие сорок.

Наступила пауза. Джин смутилась. Удивительно, что после стольких лет жизни с языка еще слетает всякая несуразица. что-нибудь несуразное. Надеюсь, ему это не грозит; надеюсь, ему достанет мужества, чтобы этого избежать. Грегори тоже смутился, но еще и пришел в раздражение. Неужели она и вправду считает, что я могу на это пойти? Неужели она думает, что мне не дано этому сопротивляться. Но я все для себя решил. И тем не менее: достанет ли у меня смелости сделать этот шаг?

В погожий мартовский день они выдвинулись в северном направлении. Джин не глазела по сторонам. Ей требовалось беречь энергию. Сидя с открытыми глазами, она видела лишь какую-то

дымку. Временно отключила газ — вот как она предпочитала об этом думать.

Когда они доехали до небольшого аэродрома, затерянного среди полей, еще подернутых инеем, она обернулась к Грегори:

— Ты, часом, шампанского не захватил?

— Я об этом подумывал, пытался угадать твой настрой, но побоялся, что ты сочтешь это неуместным. То есть, — добавил он с улыбкой, — раз уж ты окончательно перешла на мрачные патологии.

— Совершенно верно, — сказала она с ответной улыбкой. И наклонилась, чтобы его поцеловать. — Повод уж больно неподходящий для шампанского.

Когда они медленно шли по асфальту, легкий дополнительный нажим на согнутую руку Грегори подсказал ему, что мать хочет остановиться. В этот холодный, сухой день солнце опустилось почти до кромки облаков, подпираемых горизонтом. Маленький, допотопный аэроплан — реактивный самолетик, списанный с баланса какой-нибудь фирмы еще в середине девяностых, прикинул Грегори, — застыл ярдах в сорока перед ними. На асфальте выделялись ярко-желтые полосы и крупные желтые цифры.

— Не такой уж серьезный вывод, Грегори, ми-

лый, — сказала она, — но жизнь-то серьезна. Я заговорила об этом только потому, что на протяжении нескольких лет сама не знала, так ли это. Но жизнь *в самом деле* серьезна. И еще: выше неба — и впрямь только небо.

— Конечно, матушка.

— А вот и кое-что для тебя. — Она извлекла из кармана жестяную полоску с грубо выбитыми буквами: ДЖИН САРДЖЕНТ XXX. — Можешь считать эти «иксы» поцелуями, — сказала она.

У Грегори защипало в глазах.

По пути к трапу из глубин ее памяти стало выплывать одно из самых давних воспоминаний. Еще серия шагов. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, вспомнила она. А потом УСЕРДИЕ. И… что еще?.. УМЕРЕННОСТЬ. Именно. А точнее, «УМЕРЕННОС». Плюс ХРАБРОСТЬ. Да, верно. ХРАБРОСТЬ. И всегда держаться подальше от фондовой биржи. Другие слова она так и не припомнила, о чем пожалела. По прошествии девяти десятилетий жизни ей все еще думалось, что это дельные советы. Вероятно, для Грегори они будут не лишни. Пунктуальность, захотелось ей шепнуть ему на ухо. Усердие, Умереннос, Храбрость, а также держаться подальше от Фондовой Биржи.

Когда Грегори бережно застегнул поперек ее

живота ремень безопасности, она подумала: близится последняя на моем веку История. Ну, может, будет еще пара-другая происшествий, и в особенности одно, небывалое Чудо. Но История определенно последняя. Список исчерпан.

Они взлетели к востоку, оставив позади оголенную рощицу, потом заброшенный гольф-клуб. Пара бункеров уставилась на них снизу пустыми глазницами. Тут и там виднелись крошечные красные флажки — ни дать ни взять макет военного времени для разработки планов наступления. Но нет, это было всего лишь поле для гольфа. Именует ли кто-нибудь его нынче Старым Зеленым Раем, задумалась она. Едва ли. Дядя Лесли и иже с ним канули в прошлое вместе со своими присловьями; присловья эти помнила лишь горстка тех, кому пришел черед доживать свой век. Вот и лужайка за терпко пахнущей рощицей, которая огибала четырнадцатую лунку. Вопить в небо, вопить в небо, лежать на Небесах и вопить в Небо.

Они набирали высоту, и пилот повернул на юг, так что Джин теперь смотрела на запад. Она попросила Грегори сесть сзади, чтобы не загораживать ей обзор, но он счел, что должен остаться рядом с ней. Она не спорила; он благоразумно не

взял на борт шампанское, да и особых причин для перемены мест не нашлось.

Пилот ровно держал высоту, и Джин пристально смотрела на запад.

— Жаль, что так облачно, — сказал Грегори.

Она взяла его за руку:

— Это совершенно не важно, милый.

И впрямь. Невозможно долго смотреть в упор на солнце — даже на заходящее, спокойное солнце. Для этого необходимо поставить заслон из пальцев. По примеру Восхода Проссера. Ладонь загораживает лицо, а он знай набирает высоту в разрежающемся воздухе. Теперь свою ладонь заботливо подставляет небо; над горизонтом тянутся четыре широких пальца облаков, а за ними скользит вниз солнце. Несколько раз оно выскакивает ярким диском и вновь исчезает, словно монета, что медленно крутится в пальцах фокусника.

Потом оно высвободилось из-под последнего серого пальца. В эти заключительные моменты ощущение движения меняется: земля вроде как вздыбилась плеснувшей волной и тащит солнце вниз. Тлеющий кружок сигареты раскурочен, и дым с шипеньем превращается в облако.

Джин Сарджент почувствовала, как самолет

взмывает вверх в крутом левом вираже. И отвернулась от иллюминатора. Она все еще держала за руку Грегори. Тот плакал.

— Не надо, не надо, — шептала она, сжимая его большую мягкую ладонь.

Ты до скончания века останешься матерью, сказала она себе и задумалась: много ли увидел, наблюдая за ней, Грегори?

Через несколько минут самолет выровнялся и вторично повернул на юг. Джин отвела взгляд от заплаканного сыновнего лица и посмотрела в иллюминатор. Пальцы облаков больше не заслоняли от нее солнце. С солнцем она оказалась лицом к лицу. При этом не подав ему ни единого приветственного знака. Она даже не улыбалась и всеми силами старалась не моргать. Спуск солнца на сей раз казался более стремительным, равномерным, ускользающим. Земля не кинулась в алчную погоню, но с разинутым ртом распласталась на спине. Большое оранжевое солнце, закрепившись на горизонте, уступило интригующей земле четверть своего объема, очень скоро — половину, после — три четверти, а затем легко и безропотно — последнюю четверть. Несколько минут за горизонтом виднелся отсвет, и Джин в конце концов улыбнулась этому посмертному

сиянию. Вслед за тем самолет изменил курс, и они начали терять высоту.

История мира в 10 1/2 главах[8]

Посвящается Пат Кавана

[8] Сноски: 8
Перевод В. Бабкова.

1. Безбилетник

Бегемотов посадили в трюм вместе с носорогами, гиппопотамами и слонами. Это была хорошая идея — использовать их в качестве балласта, но можете себе представить, какая там стояла вонь. А убирать за ними было некому. Мужчины едва успевали кормить, а их надушенные женщины, от которых разило бы не меньше, чем от нас, не будь этих шлейфов искусственных ароматов, до подобной грязной работы не снисходили. Поэтому если кому и случалось убирать, так только нам самим. Каждые два-три месяца с помощью лебедки подымали тяжелую крышку кормового люка и запускали туда птиц-санитаров. Правда, первую волну смрада приходилось пережидать (даже крутить лебедку редко кто соглашался по доброй воле); затем несколько самых непривередливых птиц с минуту осторожно порхали вокруг люка, а потом уж ныряли внутрь. Не могу припомнить, как они все назывались — между прочим, одной из тех пар больше не существует, — но вы знаете, о ком речь. Вы ведь видели гиппопотамов с разинутой пастью и смышленых пташек, выклевывающих то, что застряло у них

между зубами, словно помешанные на гигиене дантисты? Вообразите себе эту картину, но в увеличенном масштабе и на фоне навозных куч. Я не из брезгливых, но даже меня бросало в дрожь при виде того, как целой компании подслеповатых чудищ наводят красоту в выгребной яме.

На Ковчеге соблюдалась строгая дисциплина — об этом стоит сказать в первую очередь. Он не был похож на те пестрые деревянные игрушки, которыми вы забавлялись в детстве: все счастливые парочки довольно глазеют за борт из своих уютных чистеньких стойл. Не воображайте себе что-то вроде круиза по Средиземному морю, где мы от нечего делать поигрывали в рулетку да знай переодевались к обеду; фраки на Ковчеге носили только пингвины. Помните: это было долгое и опасное Путешествие — опасное, хотя кое-какие правила и установили заранее. Помните также, что у нас имелись представители всего животного мира: не посадите же вы гепарда на расстоянии прыжка от антилопы? Обеспечить известную безопасность было необходимо, и мы смирились с надежными замка́ми, проверками стойл, ежевечерним комендантским часом. Но, как это ни грустно, были еще и наказания, и изоляторы. У кого-то из нашей верхушки появился пунктик,

сбор информации; и некоторые пассажиры согласились работать осведомителями. Я должен с прискорбием сообщить, что временами доносы властям были вполне обычным явлением. Нет, наш Ковчег отнюдь не походил на заповедник; иногда он скорее напоминал плавучую тюрьму.

Конечно, я знаю, что те события описывают по-разному. У вашего вида имеется часто повторяемая версия, которая до сих пор привлекает даже скептиков; у животных есть ряд своих сентиментальных мифов. Но им-то ни к чему искать разоблачений, верно? Они-то ведь выглядят прямо героями, они ведь гордятся тем, что каждый из них может проследить свою генеалогию вплоть до самого Ковчега. Они были избранными, они все перенесли, они уцелели; для них довольно естественно сглаживать неловкости, демонстрировать удобную забывчивость. Но меня в этом смысле ничто не сдерживает. Я не был избранным. Собственно говоря, вместе с несколькими другими видами я никак не мог очутиться в числе избранных. Я был, так сказать, безбилетником; я тоже уцелел; я ускользнул оттуда (покинуть корабль было не легче, чем попасть на него); и я преуспел в жизни. Я стою немного особняком от остальной звериной братии, где еще сохра-

няются ностальгические союзы: есть даже Клуб Морских Волков, объединяющий виды, которые ни разу не страдали от качки. Когда я вспоминаю наше Путешествие, я не чувствую себя обязанным никому; благодарность не застит мне глаза. Моему отчету вы можете верить.

Думаю, вы уже догадались, что «Ковчег» был больше чем одним кораблем? Это название мы дали целой флотилии (ведь нельзя же рассчитывать втиснуть весь животный мир на единственное судно длиною в каких-нибудь триста локтей). Дождь шел сорок дней и сорок ночей? Да конечно же нет — это было бы не дольше самого обыкновенного английского лета. По моей прикидке, дождь шел года полтора. А вода стояла на земле сто пятьдесят дней? Подымай выше — лет до четырех. И так далее. Представители вашего вида никогда не умели правильно оценивать сроки. Я приписываю это вашей непонятной одержимости числами, кратными семи.

Вначале Ковчег состоял из восьми судов: галеона Ноя, который тащил на буксире судно с припасами, четырех кораблей поменьше — их капитанами были Ноевы сыновья — и шедшего на безопасном расстоянии (поскольку члены этой семьи очень боялись заразы) санитарного кораб-

ля. Восьмое судно, сопровождавшее нас недолго, имело загадочное назначение; этот небольшой ходкий шлюп, вся корма которого была изукрашена филигранной резьбой по сандаловому дереву, угодливо держался поближе к ковчегу Хама. Очутившись с его подветренной стороны, вы могли уловить странные дразнящие ароматы; по ночам, когда утихала буря, оттуда временами доносились разухабистая музыка и визгливый смех — звуки для нас неожиданные, поскольку мы полагали, что все жены всех сыновей Ноя сидят в тепле и уюте на своих собственных кораблях. Однако это надушенное, развеселое суденышко оказалось непрочным: его утопил внезапный шквал, и Хам несколько недель после этого ходил задумчивый.

Следующим потерялся корабль с припасами — в беззвездную ночь, когда ветер стих и вахтенные дремали на посту. Утром за флагманским галеоном Ноя болтался лишь обрывок толстого троса, перегрызенного каким-то существом, обладающим острыми резцами и умением лазить по мокрым веревкам. Должен заметить, что взаимных обвинений хватало, да и то сказать — по-моему, это был первый случай исчезновения вида за бортом корабля. Вскоре потерялась

и наша плавучая больница. Поговаривали, будто бы два этих события связаны, будто Хамова жена, которая была чересчур раздражительна, решила отомстить животным — очевидно, за то, что вместе с грузовым кораблем пропала коллекция вышитых одеял, труд всей ее жизни. Но наверняка так ничего и не выяснили.

Однако гораздо более серьезным несчастьем была потеря Варади. Вы знаете про Хама и Сима и про того, чье имя начинается на И; но о Варади вы даже не слыхали, правда? Это был самый младший и самый сильный из сыновей Ноя, что, разумеется, не прибавляло ему популярности в семье. А еще у него было чувство юмора — по крайней мере, он часто смеялся, а ведь у представителей вашего вида это обычно соответствует умению понимать шутку. Да, Варади был всегда весел. Видели, как он прогуливался по шканцам с попугаями на обоих плечах; он похлопывал четвероногих по крестцу, на что они отвечали одобрительным ворчанием; и ходила молва, будто на его ковчеге царят гораздо менее суровые законы. И вот вам, пожалуйста: как-то поутру мы проснулись и обнаружили, что корабль Варади исчез за горизонтом вместе с одной пятой всего животного мира. Вам, думаю, понравился бы

симург с серебристой головкой и павлиньим хвостом; но птица, которая гнездилась на Древе Познания, была так же беззащитна среди морских волн, как и обыкновенная пятнистая полевка. Старшие братья Варади говорили, что он не смог удержать курс; ругали его за панибратство с животными; намекали даже, что Бог покарал его за какую-то давнюю провинность — он якобы совершил нечто дурное, будучи еще восьмидесятипятилетним ребенком. Но чем бы ни объяснялось исчезновение Варади, это была серьезная потеря для вашего вида. Его гены очень вам пригодились бы.

Для нас вся эта история с Путешествием началась, когда нам велено было явиться в назначенное место к назначенному сроку. Тогда мы и услышали о предстоящем впервые. Политическую подоплеку дела держали от нас в секрете. То, что Бог разгневался на свои создания, было для нас новостью; мы попались в ловушку, как кур во щи. *Нас-то* винить было не за что (вы ведь не принимаете всерьез басню насчет змея? это была Адамова грязная пропаганда), однако же и нам досталось полной мерой: каждый из видов был целиком стерт с лица земли, за исключением единственной брачной пары, обреченной

на скитания по морям под началом старого мошенника и пропойцы, которому покатила уже седьмая сотня.

Итак, нам дали приказ; но правду, обратите внимание, от нас утаили. Вы что же, воображаете, что поблизости от Ноева дворца (о да, он был не из бедных, этот Ной!) обитали подходящие представители всей земной фауны? Ну-ну. Нет — им пришлось кинуть клич, а потом выбирать лучших. Поскольку они не хотели вызывать всеобщую панику, было объявлено соревнование парочек — нечто вроде конкурса красоты плюс проверки на сообразительность при наличии трогательного союза сердец, — а претенденты в назначенный месяц должны были собраться у Ноевых ворот. Представляете, сколько возникло проблем? Для начала, не все любили соревнования, так что удача, возможно, ожидала самых нахрапистых. Звери, у которых не хватало смекалки на то, чтобы читать между строк, решили, что им просто ни к чему выигрывать право на роскошный круиз для двоих, все расходы оплачены, благодарим за участие. Не учли Ной с семейкой и того, что животные некоторых видов тогда находились в спячке; не говоря уж об очевидном обстоятельстве, что одни звери пе-

редвигаются медленнее других. Существовали, к примеру, такие особенно неторопливые ленивцы — чу́дные создания, клянусь вам, — которые еще не успели спуститься к подножию дерева, как уже были сметены гигантской волной Божьего гнева. Как это, по-вашему, называется — естественный отбор? Я бы назвал это профессиональной некомпетентностью.

Приготовления, скажу честно, шли из рук вон плохо. Ной запоздал с постройкой ковчегов (когда рабочие обнаружили, что для них самих каюты не предусмотрены, это им прыти не прибавило); в результате отбору животных было уделено недостаточное внимание. Первую же более или менее сносно выглядевшую пару встречали кивком — это стало системой; экзамен ограничивался лишь самой поверхностной проверкой родословной. И потом, они говорили, что возьмут по паре от каждого вида, — говорить-то говорили, но когда дошло до дела… Компания кое-каких существ оказалась попросту нежелательной. Так случилось и с нами; именно это вынудило нас пробраться на судно тайком. Были также отклонены заявки многих животных, которые имели основания считаться представителями особого вида. Нет, объясняли им, у нас уже есть

двое ваших. Мало ли что у вас несколько лишних колец на хвосте или полоска пушистой шерсти вдоль хребта! *Вы* у нас уже есть. Извините.

Были прекрасные животные, явившиеся в одиночку и потому не принятые; были родители, которые не захотели бросить потомство и предпочли погибнуть вместе с ним; были медицинские осмотры, зачастую весьма бесцеремонные; и все ночи напролет тьма за оградой Ноева дворца оглашалась стенаниями отвергнутых.

Можете вы себе представить, что творилось, когда правда о целях этого загадочного конкурса наконец просочилась наружу? Разумеется, хватало и ревности, и некрасивых поступков. Некоторые из самых благородных животных просто ушли в лес — они не стали играть по оскорбительным правилам, навязанным им Ноем и Господом Богом, и предпочли смерть в волнах. Много резких и завистливых слов было сказано о рыбах; у амфибий явно прибавилось самодовольства; птицы учились как можно дольше держаться в воздухе. Кое-какие разновидности обезьян были замечены за строительством своих собственных грубых плотов. Однажды в Лагере Избранных вспыхнула таинственная эпидемия пищевых отравлений, после чего для отдельных, наименее

выносливых видов пришлось заново начинать процесс отбора.

Иногда Ной и его сыновья буквально впадали в истерику. Это не очень-то согласуется с вашей версией? Вам ведь всегда внушали, что Ной был мудр, праведен и богобоязнен, а я отрекомендовал его истеричным мошенником и пропойцей? Что ж, две эти точки зрения нельзя назвать абсолютно несовместимыми. Вот вам подсказка: в Ное было мало хорошего, *но поглядели бы вы на остальных*. Нас отнюдь не удивило, что Бог решил отмыть себе репутацию, — странно только, что он вообще не изничтожил весь этот вид, создание которого делает так мало чести его творцу.

Временами Ной балансировал на грани срыва. Ковчег строился медленно, рабочих надо было торопить, сотни напуганных зверей столпились вблизи его хором, и никто не знал, когда же пойдет дождь. Бог не пожелал даже сообщить Ною сроки. Каждое утро мы смотрели на облака: пригонит ли тучи, как обычно, западный ветер, или Бог нашлет свой ливень особого назначения с какой-нибудь неожиданной стороны? Погода понемногу портилась, и вместе с тем росла вероятность мятежа. Некоторые из отказников хотели

захватить Ковчег и спастись сами, другие хотели вовсе разрушить его. Животные, склонные к умозрению, стали предлагать иные методы отбора, основанные на учете размеров претендентов и их полезности, а не только на числе; однако Ной высокомерно запретил все обсуждения. Это был человек со своими собственными маленькими теориями, и он не собирался их пересматривать.

Когда флотилия была уже почти готова к отплытию, ее приходилось охранять круглые сутки. Многие пытались пробраться туда тайком. Однажды поймали рабочего, который выдалбливал себе келейку в нижних тимберсах грузового корабля. Бывали весьма печальные зрелища: лосенок, повешенный за бортом Симова ковчега; птицы, пикирующие на защитную сетку; и так далее. Пойманных безбилетников казнили на месте; но даже этими публичными экзекуциями не удавалось запугать отчаянных. Я горжусь тем, что наш вид проник на корабль без кровопролития и не прибегая к помощи взяток; но мы-то не так заметны, как тот же лосенок. Как нам это удалось? У нас был прозорливый родитель. В то время как Ной с сыновьями грубо обыскивали подымающихся по сходням животных, бесцеремонно прочесывая руками подозрительно

длинную шерсть и впервые в истории проверяя укромные места пассажиров (правила гигиены при этом, конечно, не соблюдались), мы уже были надежно скрыты от их взора и спокойно лежали в своих каютках. Один из корабельных плотников устроил нас на судне, едва ли догадываясь об этом.

Два дня ветер дул со всех сторон сразу; затем пошел дождь. Разверзлись хляби небесные, дабы отмыть от скверны наш грешный мир. Огромные, с голубиное яйцо капли расшибались о палубу. Счастливчики, представители видов, покинули Лагерь Избранных и были разведены по своим кораблям; это смахивало на принудительное массовое бракосочетание. Потом люки задраили, и все мы начали привыкать к темноте, тесноте и духоте. Вначале это не слишком нас беспокоило — уж больно мы радовались спасению. Дождь лил и лил, иногда сменяясь градом, барабанящим по доскам у нас над головой. Временами снаружи доносились раскаты грома и почти непрерывно — жалобные вопли покинутых животных. Постепенно крики становились реже; мы поняли, что вода прибывает.

Наконец настал день, которого мы так ждали. Сначала нам показалось, что последние уце-

левшие толстокожие предприняли отчаянную попытку с боем прорваться на Ковчег или хотя бы перевернуть его. Но нет: просто наше судно дало крен, снимаясь со стапелей. Этот момент, я считаю, был наивысшей точкой всего Путешествия; изъявления братских чувств и благодарности в адрес человека лились рекой, как вино за Ноевым столом. Затем же… но, возможно, главная беда как раз в том, что звери проявили наивность, доверясь Ною и его Богу.

Основания для беспокойства возникли еще до того, как поднялись воды. Я знаю, что ваш брат смотрит на наше царство сверху вниз, порицает нас за жестокость, вероломство и каннибализм (хотя вы должны были бы признать, что это скорее сближает нас с вами, чем наоборот). Но мы всегда, с самого начала, ощущали себя равными. Да, конечно, мы ели друг друга и все такое прочее; более слабые животные прекрасно знали, чего следует ожидать, если переходишь дорогу кому-то, кто больше тебя и вдобавок голоден. Но мы считали это естественным порядком вещей. Тот факт, что один зверь способен убить другого, отнюдь не возносил первого над вторым; он делал его лишь более опасным. Может быть, вам трудно это понять, но между нами существовало

взаимное уважение. Поедать других не значило презирать их; а те, кто попадал другому на обед (или их родичи), вовсе не думали преисполняться благоговейного восхищения перед едоками.

Ной — или Ноев Бог — все это изменил. У вас было Грехопадение; было оно и у нас. Но нас к нему подтолкнули. Впервые мы заметили это, когда шел отбор в Лагерь Избранных. То, что нам сказали насчет каждой твари по паре, было правдой (да вы и сами понимаете, что какой-то резон тут есть), но ведь этим дело не ограничилось. В Лагере мы стали замечать, что от некоторых видов оставлено не по двое, а по семеро (снова эта одержимость числом семь). Поначалу мы решили, что пятерых лишних берут про запас, на случай, если заболеет основная пара. Но потом все стало постепенно проясняться. Ной — или Ноев Бог — постановил, что есть два типа животных: чистые и нечистые. Чистых брали на Ковчег по семеро; нечистых по двое.

Вполне понятно, что, узнав о такой разделительной политике, звери дружно вознегодовали. Действительно, во-первых, сами чистые животные были весьма смущены; они отдавали себе отчет в том, что мало чем заслужили это особое покровительство. Хотя именоваться «чистыми»,

как они вскоре обнаружили, было сомнительным плюсом. Быть «чистым» значило быть годным в пищу. Семерку встречали на корабле с распростертыми объятиями, но пятеро предназначались для камбуза. Им оказали оригинальную честь. Правда, условия, в которых они содержались до дня их ритуального убиения, были наилучшими из возможных.

Я-то иногда видел в этой ситуации и забавную сторону и мог позволить себе посмеяться — таково преимущество отверженного. Но среди тех, кто относился к себе серьезно, возникла уйма конфликтов на почве ревности и зависти. Свиньи, будучи от природы нечестолюбивыми, расстроились не слишком; но некоторые другие, отнесенные к нечистым, восприняли это как личное оскорбление. И надо сказать, что такая система — по крайней мере, в интерпретации Ноя — отнюдь не выглядела сколько-нибудь разумной. Что особенного в парнокопытных жвачных животных, спрашивали вы себя? Почему верблюда и кролика следует относить к зверям второго сорта? Почему рыб, имеющих чешую, надо отделять от рыб без чешуи? Лебедь, пеликан, цапля, удод — разве это не прекраснейшие виды? Однако их не наградили отличительным знаком

чистоты. Зачем унижать мышей и ящериц — у которых, как известно, и так достаточно проблем — и тем самым еще больше подрывать их веру в себя? Если бы только нам удалось увидеть во всем этом хоть крупицу смысла; если бы только Ной объяснил все это потолковее. Но он умел лишь слепо подчиняться. Ной, как вам говорили много раз, был очень богобоязненный человек; и пожалуй, принимая в расчет характер Бога, вы не могли бы избрать более безопасную линию поведения. Но если бы вы слышали плач устрицы, серьезные и недоуменные жалобы омара, если бы видели, как горько сетует на свой позор аист, вы поняли бы, что наши взаимоотношения уже никогда не будут прежними.

Была и еще одна маленькая трудность. Представителей нашего вида, пробравшихся на борт контрабандой, благодаря несчастному совпадению оказалось именно семеро. Мы были не только безбилетниками (которые кое-кого раздражали) и не только нечистыми (которых кое-кто уже начал презирать); мы еще и оскорбили эти чистые и находящиеся на законном положении виды, уподобясь им в их священном числе. Скоро мы решили не говорить, сколько нас на самом деле, и никогда не появлялись в одном месте все ра-

зом. Мы выяснили, где мы на корабле желанные гости, а где нам лучше не показываться.

Так что, как видите, наш конвой с самого начала был несчастливым. Одни из нас тосковали по тем, кого пришлось бросить на погибель; других не устраивал их статус; третьи, которым был великодушно пожалован титул чистых, обоснованно опасались угодить в печь. А надо всем этим стоял Ной со своей семейкой.

Я не хочу задеть вас, однако Ной не был хорошим человеком. Разумеется, я понимаю, как неприятно вам это сообщение, ведь все вы его потомки; но факт есть факт. Он был чудовищем — самодовольный патриарх, который полдня раболепствовал перед своим Богом, а остальные полдня отыгрывался на нас. У него был посох из дерева гофер, и им он… в общем, полосы у некоторых зверей остались и по сю пору. Поразительно, что может сделать страх. Мне рассказывали, что у представителей вашего вида от сильного шока волосы могут побелеть в считаные часы; на Ковчеге страх творил еще и не такое. Была, например, пара ящериц, которые, едва заслышав шаги спускающегося по трапу Ноя, натурально меняли цвет. Я сам это видел: кожа их теряла естественную окраску и сливалась по цвету с

окружающим фоном. Ной медлил у их клетки, на мгновение удивляясь тому, что она пуста, затем шел дальше; и когда стук сандалий из дерева гофер затихал, испуганные ящерицы начинали постепенно обретать свой нормальный вид. В послековчеговые годы эта уловка, очевидно, им пригодилась; но начиналось все с хронического ужаса перед «Адмиралом».

С северными оленями дело обстояло посложнее. Они всегда были пугливы, но это был не просто страх перед Ноем, тут крылось нечто более глубокое. Вы ведь знаете, что кое-кто из нас, животных, обладает даром предвидения? Даже *вы* и то это заметили, пронаблюдав за нашими повадками много тысяч лет. «Смотрите-ка, — говорите вы, — коровы опускаются на траву, значит дождик пойдет». Конечно, все гораздо тоньше, чем вы способны себе представить, и главное тут, уж разумеется, не в том, чтобы служить дешевым флюгером для человеческих особей. Во всяком случае, северных оленей тревожило нечто большее, чем сам Ной, нечто иное, чем морские бури; нечто… отдаленное. Они покрывались по́том в своих стойлах, они негромко, боязливо ржали в периоды томительной жары; они лягали перегородки из дерева гофер в отсутствие видимой

опасности — да и после не происходило ничего, что могло бы оправдать такое поведение, — причем беспокоились и тогда, когда Ной бывал настроен относительно мирно. Но северные олени что-то чувствовали. И это было что-то, в ту пору нам не доступное. Они словно говорили: по-вашему, мы переживаем сейчас самое худшее? Не надейтесь. Однако даже олени не могли разобраться толком, что их пугает. Это было что-то смутное, грозное… отдаленное.

Прочих же из нас, что вполне понятно, гораздо больше волновало сиюминутное. С больными животными, например, всегда поступали крайне безжалостно. Санитарного корабля нет, постоянно напоминали нам власти; поэтому не должно быть ни болезней, ни симуляции. Такой подход едва ли назовешь справедливым или реалистичным. Но мы прекрасно знали: о своем недомогании надо помалкивать. Только заикнись о том, что у тебя легкая чесотка, и не успеешь высунуть для проверки язык, как очутишься за бортом. А что потом случится с вашей лучшей половиной, догадываетесь? Кому нужны пятьдесят процентов от брачной пары? Ной не страдал излишней сентиментальностью и не собирался уговаривать безутешную вдовицу

влачить одинокое существование вплоть до естественного конца.

Теперь ответьте на такой вопрос: чем, по-вашему, Ной и его семейка питались во время плавания? Кой черт, да *нами* же! Ведь если вы поглядите на нынешний животный мир, то поймете, что он далеко не полон, правда? Много зверей более или менее похожих, потом — брешь, а потом опять более или менее похожие? Я знаю, что вы придумали в истолкование свою теорию — про связь с окружающей средой и наследуемые навыки, что-то в этом духе, — однако загадочные пробелы в спектре творения объясняются гораздо проще. Одна пятая земных видов утонула вместе с Варади; а что до прочих отсутствующих, так их съели Ной и компания. Да-да. Была, например, пара арктических ржанок — очень славные птички. Когда они появились на судне, оперение у них было голубовато-коричневое в крапинку. Через несколько месяцев они начали линять. Это было вполне нормально. Летние перышки выпадали, а под ними уже проглядывали зимние, чистейшего белого цвета. Конечно, мы находились не в арктических широтах, так что эта подготовка к зиме была совсем необязательна; но природе ведь не прикажешь, верно? И Ною тоже. Едва заметив

белеющих ржанок, он решил, что они занедужили, и, обуреваемый трогательной заботой о здоровье других пассажиров, сварил несчастных птиц, слегка приправив их водорослями. Он был невеждой во многих отношениях и, уж конечно, не был орнитологом. Мы сочинили петицию и объяснили ему кое-что насчет линьки и соответствующих изменений окраски. Постепенно он, кажется, это усвоил. Но арктических ржанок было уже не вернуть.

Понятно, этим дело не кончилось. С точки зрения Ноя и его семьи, мы представляли собой просто-напросто плавучий кафетерий. На Ковчеге не разбирались, кто чистый, кто нечистый; сначала обед, потом обедня, такое было правило. Вы и вообразить себе не можете, какой богатейшей фауны Ной вас лишил. Или, наоборот, можете, потому что как раз это вы и делаете: воображаете. Все эти мифические животные, которые грезились вашим поэтам в былые времена — ведь вы полагаете, что они либо были выдуманы сознательно, либо родились из описаний зверей, мельком увиденных каким-нибудь паникером после чересчур плотного охотничьего завтрака? Боюсь, что объяснение проще: Ной и его присные умяли их за милую душу. В начале

Путешествия, как я уже сообщал, у нас в трюме была парочка бегемотов. Сам я их толком не разглядывал, но мне говорили, что звери были впечатляющие. Однако Хам, Сим или тот, третий, с именем на И, очевидно, заявили на семейном совете, что раз у нас есть слоны и гиппопотамы, то без бегемотов можно и обойтись; и вдобавок — наряду с принципиальными сюда примешались и практические соображения — двух таких больших туш должно хватить Ноевой семье не на один месяц.

Конечно, все вышло не так. Недели через три начались жалобы, что бегемота подают каждый вечер, и тогда — просто ради разнообразия — в жертву принесли новые виды. Время от времени бывали виноватые кивки на необходимость экономии, но я вам твердо скажу: к концу плавания оставалось еще много соленой бегемотины.

Саламандр постигла та же участь. Я имею в виду настоящих саламандр, а не тех малоинтересных животных, которых вы и поныне зовете этим именем; наши саламандры жили в огне. Бесспорно, это были существа уникальные; однако Хам, или Сим, или тот, другой, уверяли, что держать их на деревянном корабле слишком опасно, и потому от саламандр вместе с двумя языками

пламени, служившими им жилищем, решено было избавиться. Затем погибли и карбункулы, и все из-за дурацкой байки, которую слышала жена Хама: будто бы у них в голове спрятан драгоценный камень. Она всегда была падкой на украшения, эта Хамова жена. Итак, они взяли одного из карбункулов и отрезали ему голову; раскроили череп и ничего не нашли. Может, камень бывает только у самок, предположила Хамова жена. Тогда вскрыли и второй череп, с тем же отрицательным результатом.

Я хочу поделиться с вами одной идеей, довольно спорной; но я чувствую, что все-таки должен ее высказать. Иногда мы подозревали за всеми этими убийствами какую-то систему. Очевидно, уничтожалось больше животных, чем было необходимо для пропитания, — гораздо больше. И в то же время с некоторых из них в смысле еды почти нечего было взять. Более того, чайки порой сообщали нам, что видели, как за корму летят чуть ли не целые тушки. Мы начали подозревать, что кое-кто из животных просто-напросто не нравится Ною и его родне. Василиски, например, отправились за борт очень рано. Ну да, они были не слишком-то симпатичны, но мой долг сообщить вам, что под их чешуей скрывалось совсем

немного мяса и что в плавании они определенно ничем не болели.

Уже потом, размышляя о тех событиях, мы стали различать некий план, и реализация этого плана началась с василисков. Вы их, конечно, никогда не видели. Но если я опишу их как четвероногих петухов со змеиным хвостом, скажу, что они обладали очень неприятным взглядом и откладывали уродливые яйца, которые потом высиживали жабы, вы согласитесь, что это были не самые привлекательные существа на Ковчеге. Но они имели те же права, что и все прочие, разве не так? После василисков наступила очередь грифонов; после грифонов — сфинксов; после сфинксов — гиппогрифов. Вы-то, наверное, считали, что все это плоды чьей-то буйной фантазии? Ничуть. А заметили вы, что у них было общего? Они все были гибридами. Мы думаем, что это Сим — хотя, вполне возможно, и сам Ной — заботился таким образом о чистоте видов. Полная глупость, конечно, — как мы поговаривали между собой, стоит только посмотреть на Ноя и его жену или на трех его сыновей с тремя женами, и сразу поймешь, какая генетическая неразбериха будет царить среди представителей человеческой расы. Так с чего же они вдруг невзлюбили гибридов?

Однако самым печальным был случай с единорогом. Это угнетало нас в течение нескольких месяцев. Разумеется, ходили обычные грязные слухи — будто Хамова жена использует его рог в низменных целях; была и обычная посмертная кампания по очернению, проведенная властями, — якобы он пострадал из-за своего дурного характера, — но все это только подавляло нас еще больше. Неоспоримым же фактом было то, что Ной ему завидовал. Все мы уважали единорога, а старик не мог этого перенести. Ной — почему бы не сказать вам правду? — был злобен, вонюч, криводушен, завистлив и труслив. Он не был даже хорошим моряком: когда на море штормило, он уходил к себе в каюту, распластывался на лежанке из дерева гофер и покидал ее только затем, чтобы опорожнить желудок в тазик того же дерева; зловоние докатывалось до другого конца палубы. А единорог, в противоположность ему, был силен, честен, бесстрашен, всегда тщательно ухожен и не ведал даже минутной дурноты. Как-то во время шторма Хамова жена потеряла равновесие и чуть не свалилась за борт. Единорог — в силу своей популярности он пользовался некоторой свободой передвижения, дарованной ему в результате сложных закулисных перего-

воров, — подскочил к ней и рогом пригвоздил к палубе ее длинный плащ. Славно же его отблагодарили за находчивость — однажды, в годовщину отплытия, он был подан к столу. Клянусь в этом. Я лично разговаривал с ястребом-посыльным, который доставил еще теплый горшочек на Симов ковчег.

Конечно, вы можете мне не верить; но что сообщают ваши собственные предания? Возьмите историю о наготе Ноя — вспомнили? Это случилось уже после Высадки. Ной, как и следовало ожидать, был еще более доволен собой, чем прежде, — он спас человечество, он обеспечил процветание своей династии, Бог поставил с ним официальный завет, — и решил провести последние триста пятьдесят лет жизни, отдыхая от трудов праведных. Он основал на нижних склонах горы поселок (который вы называете Аргури) и коротал дни, изобретая для себя новые звания и титулы: Святой Рыцарь Бури, Великий Повелитель Шквалов и так далее. Ваше Священное Писание говорит, что он насадил у себя в усадьбе виноградник. Ха! Даже самому безыскусному уму понятен смысл этого нехитрого иносказания: он пил без просыху. Как-то вечером, после особенно тяжелого запоя, он разделся в спальне и тут же

рухнул на пол — вполне обычное дело. Хаму с братьями случилось проходить мимо его «шатра» (это старое сентиментальное словечко из лексикона кочевников до сих пор используется для обозначения дворцов, где жили члены Ноева семейства). Они завернули туда проверить, не причинил ли себе их отец-пропойца какого-нибудь вреда. Хам вошел в спальню и… н-да, голый человек шестисот пятидесяти с лишком лет, валяющийся в пьяном оцепенении, — зрелище не из приятных. Хам поступил как почтительный сын: он попросил братьев прикрыть отца. В знак уважения — хотя этот обычай уже и тогда почти не практиковался — Сим и тот, с именем на И, вошли в опочивальню отца задом наперед и умудрились уложить его в постель, даже мельком не взглянув на те органы размножения, которые по какой-то таинственной причине являются для представителей вашего вида источником стыда. Благочестивые и похвальные действия с начала до конца, решили бы вы. И как же повел себя поутру Ной, мучимый жестоким похмельем, обычным следствием злоупотребления молодым вином? Он проклял обнаружившего его сына и объявил, что все дети Хама должны стать слугами двух его братьев, вошедших к нему в комнату

вперед задницей. По-вашему, это разумно? Догадываюсь, что вы ответите: пьянство, мол, пагубно отразилось на его умственных способностях и надо пожалеть его, а не осуждать. Может, и так. Но на это я вам замечу: уж *мы-то* хорошо изучили его на Ковчеге.

Он был крупный человек, этот Ной, — размером с гориллу, хотя тут сходство кончается. Капитан флотилии — посредине Путешествия он произвел себя в Адмиралы — был равно неуклюж и нечистоплотен. Он даже не умел отращивать собственные волосы, разве что вокруг лица, — все остальное ему приходилось укрывать шкурами других животных. Поставьте его рядом с самцом гориллы, и вы сразу увидите, кто из них более высокоорганизован — а именно грациозен, превосходит другого силой и наделен инстинктом, не позволяющим ему вконец обовшиветь. На Ковчеге мы постоянно бились над загадкой, почему Бог избрал своим протеже человека, обойдя более достойных кандидатов. Случись иначе, животные прочих видов вели бы себя гораздо лучше. Если бы он остановил выбор на горилле, проявлений непокорства было бы меньше в несколько раз, — так что, возможно, не возникло бы нужды и в самом Потопе.

А его запах… Одно дело влажная шерсть у животных, гордящихся своей чистоплотностью, и совсем иное — сырые, просоленные, нерасчесанные лохмотья, свисающие с шеи неопрятного существа, которое к тому же отняло их у других. Старый Ной не подсыхал даже в тихую погоду (я говорю со слов птиц, а птицам доверять можно). Он всюду носил с собой сырость и бурю, словно память о своих прошлых жестокостях или предвестие грядущих штормов.

Кроме риска угодить на стол, нас подстерегали во время Путешествия и другие опасности. Возьмите, например, наш вид. Попав на корабль и обретя надежное убежище, мы преисполнились самодовольства. Вы же понимаете, в те дни было еще далеко до увесистого баллончика, наполненного спиртовым раствором карболовой кислоты, далеко до креозота, и металлонафтенатов, и пентахлорфенола, и бензола, и парадихлорбензола, и ортодихлорбензола. Мы еще не вошли в семейство жуков *Cleridae*, или паукообразных *Pediculoides*, или паразитных ос *Braconidae* и прекрасно себя чувствовали. И тем не менее у нас был враг, и враг терпеливый — время. Что, если время вынудит нас претерпеть неизбежные превращения?

Впервые мы серьезно встревожились, когда увидели, что́ время и природа содеяли с нашими родичами *xestobium rufo-villosum*. Это вызвало настоящую панику. Близился конец Путешествия; стояла тихая погода, и мы коротали дни, ожидая Божьей милости. Посреди ночи, когда Ковчег заштилел и все кругом объяла тишина, — тишина такая редкостная и глубокая, что звери замерли, прислушиваясь, и тем самым сделали ее еще более полной, — мы, к своему изумлению, услыхали тиканье, которое издавали *xestobium rufo-villosum*. Четыре или пять резких щелчков, потом пауза, потом приглушенный ответ. Мы, скромные, осторожные, малопопулярные, но трезвомыслящие *anobium domesticum*, не могли поверить своим ушам. То, что яичко становится личинкой, личинка куколкой, а куколка взрослым насекомым, есть непреложный закон нашего мира; за окукливание винить нельзя. Но то, что, став взрослыми, наши родичи выбрали этот момент, именно этот момент, чтобы заявить о своих любовных намерениях, казалось почти невероятным. Мы находимся в море, нас окружают опасности, каждый день может стать роковым, а *xestobium rufo-villosum* не могут думать ни о чем, кроме секса. Возможно, это была

невротическая реакция на страх вымирания или что-нибудь в этом духе. И все же…

В то время как наши безмозглые сородичи, охваченные эротическим пылом, тщетно пытались прогрызть стены своих убежищ, один из сыновей Ноя пришел поглядеть, что там за шум. На наше счастье, отпрыски «Адмирала» весьма слабо разбирались в животном мире, вверенном их попечению, и этот принял регулярные щелчки за потрескивание брусьев, из которых был построен корабль. Вскоре опять поднялся ветер, и *xestobium rufo-villosum* получили возможность спокойно продолжать свои излияния. Но этот случай побудил нас стать более осторожными. *Anobium domesticum* единогласно приняли решение не окукливаться до дня Высадки.

Надо сказать, что Ной был плохим моряком и в дождь, и в вёдро. Его избрали за набожность, а не за навигационные таланты. Во время шторма от него было мало проку, да и в ясную погоду немногим больше. Как я могу об этом судить? Тут я снова полагаюсь на птиц — на птиц, которые способны проводить в полете по нескольку недель кряду, на птиц, которые находят путь с одного конца планеты до другого благодаря столь совершенной навигационной системе, что

ваши не идут с ней ни в какое сравнение. Так вот, по словам *птиц,* Ной абсолютно не соображал, что делает, — он умел только бахвалиться да молиться. А ведь задача его была не так уж сложна, верно? Во время бури ему следовало беречь флотилию, уводя ее подальше от самых свирепых шквалов; а в тихую погоду он должен был следить, чтобы нас не отнесло слишком далеко от намеченного курса, иначе мы рисковали высадиться где-нибудь в непригодной для жизни Сахаре. Поставить Ною в заслугу можно разве лишь то, что мы благополучно перенесли все штормы (хотя ему не надо было принимать в расчет рифы и линию побережья, что упрощало маневры), и то, что по окончании Потопа наш Ковчег не оказался посреди какого-нибудь огромного океана. Случись такое, и наше плавание затянулось бы Бог весть насколько.

Конечно, птицы предлагали Ною воспользоваться их умением; но для этого он был слишком горд. Он поручал им вести простую разведку — искать водовороты и смерчи — и игнорировал их уникальные способности. Еще он послал часть птиц на смерть, заставив их вылететь в страшную непогоду, от которой у них не было защиты. Когда Ной в девятибалльный шторм отправил на

выяснение обстановки певчего гуся (эта птица действительно раздражала своим криком, особенно если вы пытались уснуть), качурка малая вызвалась заменить его. Но ее предложение было отвергнуто — и певчему гусю пришел конец.

Ну да, разумеется, были у Ноя и свои достоинства. Он умел выжить, и не только в условиях Путешествия. К тому же он знал секрет долголетия — это знание его потомки постепенно утратили. Но хорошим человеком он не был. Слыхали вы о том, как он велел протащить осла под килем? Есть это в ваших архивах? Это случилось в Год Второй, когда царящие на корабле законы стали менее суровыми и избранным путешественникам разрешили общаться между собой. Так вот, Ной поймал осла, пытавшегося забраться на кобылу. Он поднял страшный шум, долго разорялся насчет того, что добра от такого союза не будет — между прочим, это подтверждает нашу догадку о его страхе перед скрещиваниями, — и сказал, что намерен проучить виновного, дабы другим было неповадно. Ослу связали копыта, перебросили его за борт, протянули под корпусом корабля и подняли из мечущихся волн с другой стороны. Большинство животных приписали это просто-напросто ревности на сексуальной почве.

Удивило нас то, как осел перенес экзекуцию. Они поразительно выносливые, эти зверюги. Когда его вытащили на палубу, он был в ужасном виде. Его бедные длинные уши походили на осклизлые водоросли, а хвост — на обрывок промокшей веревки, и несколько зверей, которые к тому времени уже не слишком восхищались Ноем, окружили его, и козел — по-моему, это был он — мягко толкнул его в бок, чтобы посмотреть, жив ли он еще, и осел открыл один глаз, обвел им их взволнованные морды и сказал: «Теперь-то я знаю, каково быть тюленем». Неплохо после такого испытания? Но, должен вам сказать, вы едва не лишились тогда еще одного вида.

Я полагаю, не следует винить во всем только Ноя. Он ведь брал пример со своего Бога, а тот был настоящим деспотом. Ной не мог сделать ничего, не выяснив сначала, как *Он* на это посмотрит. Теперь-то, если будешь вести себя в таком духе, далеко не уедешь. Все время оглядываться через плечо и искать одобрения — уж очень это по-детски, верно? А ведь Ноя никак нельзя было назвать мальчиком. Ему перевалило за шестьсот, если считать по-вашему. Шестьсот лет должны были породить некую гибкость ума, способность видеть обе стороны медали. Но ничего подобного.

Вспомните хотя бы постройку Ковчега. Что сделал Ной? Он построил его из дерева *гофер*. Из дерева гофер? Даже Сим ему возражал, но нет — таково было его желание, и отступать он не собирался. То обстоятельство, что поблизости растет очень немного нужных деревьев, его не смущало. Ясно, что он всего лишь следовал инструкциям своего кумира; но это дела не меняет. Любой, кто знает толк в дереве — а я могу-таки считаться авторитетом в этом вопросе, — сказал бы Ною, что существует штук двадцать не менее, а то и более подходящих пород; к тому же, строить весь корабль из одного-единственного сорта древесины вообще глупо. Для разных частей корабля нужно выбирать материал соответственно их назначению; это известно всякому. Но таков уж был старый Ной — ни малейшей гибкости. Видел только одну сторону медали. Туалетные принадлежности из дерева гофер — ну не смешно ли?

Как я уже сказал, он действовал согласно приказу своего кумира. Что подумает Бог? Этот вопрос вечно был у него на устах. В такой преданности Богу было что-то зловещее; что-то омерзительное, если можно так выразиться. Зато он не мучился сомнениями; и потом, стать Божьим избранником, уцелеть при всеобщей гибели, знать, что

твой род будет на земле единственным, — это хоть кому вскружит голову, правда? Что до его сыновей — Хама, Сима и того, с именем на И, — им это явно не пошло на пользу. Расхаживали по палубе надутые, точно члены Королевской Семьи.

Знаете, я хочу до конца прояснить одну вещь. Насчет этой затеи с Ковчегом. Вы, возможно, до сих пор думаете, что Ной, при всех его недостатках, был в душе этаким хранителем старины, что он собрал животных, опасаясь их гибели, что он не мыслил себе дальнейшей жизни без какого-нибудь жирафа, что он сделал это ради *нас*. Отнюдь нет. Он взял нас с собой, потому что так повелел его кумир, но также и из собственных интересов достаточно циничного свойства. *После Потопа ему нужно было чем-то питаться*. За пять с половиной лет под водой большинство съедобных культур погибло; наводнение пошло на пользу только рису. Так что почти все мы знали, что Ной видит в нас лишь потенциальные обеды на двух, четырех или скольких там еще ногах. Не сейчас, так после; не мы, так наше потомство. Сами понимаете, это не слишком приятное чувство. На Ноевом ковчеге царила атмосфера паранойи и страха. Кто окажется следующим? Сегодня не понравишься жене Хама, а завтра вечером из тебя

сделают фрикасе. Такая неопределенность может вызвать самые странные поступки. Помню, как у борта поймали пару леммингов, — они сказали, что хотят покончить с этим раз и навсегда, они не могут вынести ожидания. Но Сим успел вовремя изловить их и запер в ящике из-под какого-то груза. С тех пор, борясь со скукой, он частенько отодвигал крышку и помахивал над ними большим ножом. Просто шутил. Но я был бы очень удивлен, если б это не травмировало целый вид.

И конечно же, после Потопа Бог узаконил Ноевы обеденные права. В награду за покорство Ною было дозволено до скончания века есть тех из нас, кого душа пожелает. Все это было частью некоего пакта или завета, который они состряпали на пару. Довольно бессмысленный контракт, по моему разумению. В конце концов, стерев с лица земли всех прочих, Бог должен был худо-бедно ладить с единственной оставшейся семьей, правда? Не мог же он сказать: вы, мол, тоже никуда не годитесь. Ной, вероятно, понимал, что загнал Бога в угол (ведь устроить Потоп, а затем быть вынужденным угробить свое Первое Семейство значило бы потерпеть полное поражение), и мы считаем, что он ел бы нас в любом случае, независимо от договоренности. В этом так называемом

завете не было ничего, нас касающегося, — кроме нашего смертного приговора. О да, нам кинули одну крошечную подачку: Ною и компании не велено было есть стельных самок. Лазейка, которая породила бурную нездоровую активность на Ковчеге, севшем на мель, и привела также к любопытным психологическим побочным эффектам. Вы никогда не задумывались о происхождении истерической беременности?

Эта тема напомнила мне об истории с Хамовой женой. Нас уверяли, что все это только слухи, но вам, должно быть, уже понятно, отчего подобные слухи могли возникнуть. Хамова жена была не самой популярной фигурой на Ковчеге; и потерю санитарного корабля, как я уже упоминал, многие отнесли на ее счет. Она все еще оставалась довольно привлекательной — ко времени Потопа ей, кажется, исполнилось сто пятьдесят, — но вместе с тем была упряма и вспыльчива. Бедняга Хам всегда пасовал перед ней. Дальше я сообщаю вам голые факты. У Хама и его жены было двое детей — то есть двое детей мужского пола, ибо так у них принято было считать, — и звали их Хуш и Мицраим. Третий их сын, Фут, родился на Ковчеге, а четвертый, Ханаан, — после Высадки. У Ноя и его жены были темные волосы и карие

глаза; у Хама и его жены тоже; да и Сим, и Варади, и тот, с именем на И, в этом смысле не отличались от прочих. И у всех детей Сима, Варади и того, с именем на И, были темные волосы и карие глаза. И у Хуша, и у Мицраима, и у Ханаана. Но Фут, родившийся на Ковчеге, был рыжий. Рыжий, с зелеными глазами. Таковы факты.

С этого мига мы покидаем гавань фактов и выходим в открытое море слухов (так, между прочим, выражался Ной). Сам я на Хамовом ковчеге не был, поэтому лишь бесстрастно передаю известия, принесенные птицами. Помните случай с рабочим, который выдалбливал себе келейку на грузовом корабле? Так вот, рассказывали — хотя официального подтверждения мы не получили, — что при обследовании покоев Хамовой жены была обнаружена комнатка, о которой никто не знал. Она определенно отсутствовала в проекте. Хамова жена заявила, что для нее это полная неожиданность, однако, по слухам, там нашли ее нижнюю рубашку из шкуры яка — она висела на колышке, — а после придирчивого осмотра из щелей в полу были извлечены несколько рыжих волосков.

Вторая версия — я также передаю ее без комментариев — касается более деликатных материй, но

поскольку она прямо затрагивает значительную часть представителей вашего вида, я вынужден продолжать. На борту Хамова ковчега была пара обезьян необыкновенной красоты и изящества. Они были, по всем отзывам, очень умны, удивительно опрятны и обладали такой богатой мимикой, что казалось, вот-вот заговорят. А еще у них была волнистая рыжая шерсть и зеленые глаза. Нет, этого вида больше не существует; они не пережили Путешествия, и обстоятельства их гибели на борту корабля так и не удалось прояснить до конца. Якобы рухнула какая-то снасть… Но мы не переставали удивляться такому совпадению: надо же, чтобы упавшая снасть убила сразу двух зверей, отличавшихся завидной ловкостью.

Публичное объяснение звучало, конечно, совсем иначе. Не было никаких потайных комнаток. Не было никакого смешения видов. Снасть, убившая обезьян, была огромной и унесла также жизни пурпурной ондатры, двух карликовых страусов и пары плоскохвостых муравьедов. Необычная масть Фута была знамением Божьим — хотя смысл его в ту пору лежал за пределами человеческого разумения. Позже этот смысл прояснился: так Бог сообщал нам о том, что Путешествие перевалило за середину. Значит, Фут

был благословенным ребенком; а посему вовсе не стоило тревожиться и искать виновных. Это провозгласил сам Ной. Бог явился ему во сне и велел не трогать мальчика; и Ной, будучи (как он не преминул отметить) праведником, выполнил его повеление.

Не стоит и говорить вам, что относительно этой истории звери сильно разошлись во мнениях. Млекопитающие, например, отказывались даже предположить, что рыжий зеленоглазый самец обезьяны мог быть физически близок с Хамовой женой. Конечно, чужая душа — потемки, но млекопитающие готовы были поклясться молоком своих матерей, что этого произойти не могло. Они слишком хорошо знали обезьяну-самца, говорили они, и его чистоплотность в личной жизни ни у кого не вызывала сомнений. Они намекали даже, что он был немножко сноб. А если допустить — только допустить, — что ему вдруг захотелось слегка поразвлечься, так разве нельзя было выбрать более привлекательную партнершу, чем Хамова жена? Например, одну из тех миловидных желтохвостых мартышек, которые уступят любому за горсть мускатных орешков?

Моим откровениям подходит конец. Я хотел — и вы должны понять меня, — чтобы они прозвуча-

ли по-дружески. Если вы считаете меня чересчур придирчивым, то это может быть вызвано — надеюсь, вы не обидитесь — вашим непобедимым пристрастием к догматизму. Вы верите тому, чему хотите верить, и не любите пересматривать свои взгляды. Это естественно — ведь у всех вас Ноевы гены. Без сомнения, этим объясняется и то, что вы так часто бываете поразительно нелюбопытны. Например, вы никогда не задавали себе такого вопроса о своей древнейшей истории: что сталось с вороном?

Когда Ковчег сел на верхушку горы (все это было, разумеется, посложнее, но о деталях я умолчу), Ной выпустил ворона и голубя, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Далее, в принятой у вас версии ворону отводится очень малая роль; по-вашему, он просто летал туда-сюда без толку. С другой стороны, из трех полетов голубя сделали прямо-таки подвиг. Мы плачем, когда он не находит места покоя для своих ног; мы ликуем, когда он возвращается на Ковчег с масличным листом. Позвольте же мне сообщить вам одно обстоятельство: ворон всегда утверждал, что это он нашел масличное дерево; что это *он* принес на Ковчег свежий лист; однако Ной решил, что «уместнее» сказать, будто это сделал голубь. Лично я склонен

верить ворону, который, помимо всего прочего, летает гораздо лучше голубя; к тому же, заставить животных спорить между собой как раз в стиле Ноя (берущего, по обыкновению, пример со своего Бога). Ной распустил слух, будто ворон, вместо того чтобы поскорее вернуться с известием о спаде воды, уклонился от своего долга; кто-то якобы видел (но кто же? даже верноподданнически настроенный голубь не унизился бы до подобной клеветы), как он лакомился падалью. Вряд ли стоит добавлять, что ворон был глубоко оскорблен этим мгновенным переписыванием истории; говорят — я повторяю слова тех, у кого уши получше моих, — что в его голосе и по сию пору слышна хриплая нотка неудовлетворенности. Голубь же, наоборот, после Высадки стал ворковать необыкновенно самодовольно. Он словно уже видел свои будущие изображения на почтовых марках и фирменных бланках.

Прежде чем спустить сходни, «Адмирал» обратился к зверям на своем Ковчеге; его речь была передана и на другие суда. Он благодарил нас за сотрудничество, извинялся за имевшие место временные сокращения рациона и обещал, что, поскольку все мы выполнили свои обязательства, он постарается добиться в дальнейших перегово-

рах с Богом наилучшего *quid pro quo*[9]. Услышав это, некоторые из нас с сомнением усмехнулись: мы помнили о том, как обошлись с ослом, о потере санитарного корабля, о политике истребления гибридов, о смерти единорога… Для нас было очевидно: Ной хочет прикинуться этаким свойским парнем только потому, что понимает, как поступит всякое здравомыслящее животное, едва ступив на землю; он понимает, что мы сразу разбежимся по лесам и полям. Ной, понятно, хотел уломать нас остаться поблизости от своего Нового Дворца, о строительстве которого не преминул тут же и объявить. Среди обещанных удобств были бесплатная вода для животных и подкормка в суровое зимнее время. Он явно боялся, что мясная пища, к которой он привык на Ковчеге, покинет его со всей прытью, на которую только способны ее две, четыре или сколько там еще ног, а Ноеву семейству придется опять сесть на ягоды и орехи. Как это ни удивительно, нашлись звери, посчитавшие предложение Ноя разумным; в конце концов, говорили они, не съест же он нас всех, он наверняка будет отбирать больных и старых. Так что некоторые — надо сказать, не

[9] Сноски: 9
Зд.: выгоды *(лат.).*

самые умные — остались ждать, пока не построят Дворец и вода не потечет, словно вино. Свиньи, коровы, овцы, козы (те, что поглупее), куры… Мы предупреждали их; по крайней мере, пытались. Мы не раз насмешливо бормотали себе под нос: «На варку или на жарку?» — но безрезультатно. Как я уже сказал, умом они не вышли и, видимо, побаивались возвращаться к дикой жизни; они впали в зависимость от своей тюрьмы и от своего тюремщика. Что ж, через несколько поколений, как и следовало ожидать, они превратились в собственные тени. Сегодняшние свиньи и овцы — это какие-то зомби по сравнению со своими здоровыми, жизнерадостными предками времен Потопа. Из них выколотили всю начинку. А некоторые, подобно индейке, подверглись дальнейшему унижению — прежде чем варить или жарить, их начиняют вновь.

И чего же, по сути, добился Ной, заключив свой знаменитый Постпотопный договор с Богом? Что получил он в обмен на преданность своей семьи и принесенные ею жертвы (не говоря уж о более значительных жертвах, принесенных животным миром)? Бог сказал — и это в наивыгоднейшей интерпретации самого Ноя, — что Он обещает не насылать второго Потопа и в знак этого намере-

ния создает для нас радугу. Радугу! Ха! Конечно, на нее бывает приятно посмотреть, и та первая, что он сотворил для нас, — переливчатый полукруг и рядом его двойник побледнее, сверкающие в индиговом небе, — действительно заставила многих на пастбище поднять голову. Вы понимаете, каков был Божий замысел: всякий раз, когда дождь начинал неохотно уступать солнцу, эта эффектная дуга должна была напоминать нам, что он не будет долог и не перейдет в Потоп. Пусть так — но все равно проку от радуги немного. А как насчет ее юридического статуса? Попробуйте заставить радугу отвечать перед судом.

Звери посообразительнее раскусили, что́ кроется за Ноевым обещанием половинного пайка; они ушли в поля и леса, положившись на собственное умение находить воду и пищу зимой. Северные олени, нельзя этого не отметить, оказались среди них чуть ли не первыми — они рванули прочь от «Адмирала» и всех его будущих потомков, унося с собой свои загадочные предчувствия. Между прочим, вы правы, считая сбежавших животных — по Ною, неблагодарных предателей — более благородными. Может ли быть благородной свинья? Или овца? Или курица? А поглядели бы вы на единорога… Это было еще одним неприятным

пассажем из обращения Ноя к животным, которые после Высадки медлили у его ограды. Якобы, дав нам радугу, Бог фактически пообещал, что мы не будем испытывать недостатка в чудесах. Мне слышится в этом откровенный намек на десятки первоначально сотворенных чудес, которые в ходе Путешествия сгинули за бортом Ноевых кораблей или в желудках его семейства. Радуга взамен единорога? А почему бы не возродить самого единорога? Нас, животных, это осчастливило бы больше, чем кричащий символ Божьего великодушия, всякий раз появляющийся на небе к концу дождя.

По-моему, я уже говорил вам, что выбраться с Ковчега было не проще, чем попасть на него. Увы, среди зверей-избранников имелись штрейкбрехеры, поэтому о том, чтобы Ной просто соскочил на землю с ликующим криком, не могло быть и речи. Каждое животное подвергали перед освобождением тщательному обыску; кое-кого даже погружали в чаны с водой, пахнущей дегтем. Несколько самок разных видов жаловались на то, что их заставили пройти осмотр внутренних органов; этим занимался Сим. Безбилетников было обнаружено довольно мало: некоторые из самых заметных жуков, пяток крыс, неосторожно отъ-

евшихся за время Путешествия, даже одна-другая змея. Мы спаслись — думаю, из этого уже не стоит делать тайну, — в полом кончике бараньего рога. Наш баран был большим, угрюмым, непокорным животным, чью дружбу мы намеренно завоевывали в течение последних трех лет. Он не уважал Ноя и был только рад, что помог нам надуть его при Высадке.

Когда мы всемером выбрались из бараньего рога, нас охватил восторг. Мы уцелели. Мы пробрались на корабль, уцелели и сбежали — причем без всяких сомнительных заветов с Богом или Ноем. Мы сделали все это сами. Мы чувствовали, что облагородили свой вид. Это может показаться вам смешным, но так оно и было: мы чувствовали себя облагороженными. Путешествие научило нас многому; а главное, тому, что человек по сравнению с животными — существо недоразвитое. Мы, конечно, не отрицаем вашей смышлености, вашего значительного потенциала. Но вы пока еще находитесь на ранней стадии развития. *Мы*, например, всегда остаемся самими собой: вот что значит быть развитыми. Мы такие, какие есть, и мы знаем, кто мы такие. Вы же не станете ждать от кошки, чтобы она залаяла, или от свиньи — чтобы она замычала? Но именно

этого, выражаясь фигурально, мы научились ожидать от представителей вашего вида. То вы лаете, то мяукаете; то вы хотите быть дикими, а то — ручными. О поведении Ноя можно было сказать только одно: мы никогда не знали, как он себя поведет.

К тому же представители вашего вида не очень-то любят правду. Вы о многом забываете или прикидываетесь, что забыли. Потеря Варади и его ковчега — разве кто-нибудь говорит о ней? Я думаю, в этой привычке сознательно закрывать на многое глаза есть и положительная сторона: когда игнорируешь плохое, легче живется. Но, игнорируя плохое, вы в конце концов начинаете верить, будто плохого не бывает вовсе. А потом удивляетесь. Удивляетесь тому, что ружья убивают, что деньги развращают, что зимой падает снег. Такая наивность обаятельна; но, увы, она еще и опасна.

Например, вы никогда не увидите в истинном свете Ноя, вашего праотца, — набожного патриарха, убежденного ревнителя старины. Кажется, одна из ваших ранних еврейских легенд говорит, будто Ной и открыл секрет алкоголя, наткнувшись на козла, хмельного от перебродившего винограда. Какая бесстыдная попытка

переложить ответственность на животных; и это, как ни грустно, делается по привычной схеме. В Грехопадении виноват змей, честный ворон — обжора и лодырь, козел превратил Ноя в алкаша. Но можете мне поверить: чтобы открыть тайну виноградной лозы, Ной не нуждался в услугах парнокопытных.

Вы всегда первым делом вините других; а если винить больше некого, вы начинаете утверждать, что проблемы вовсе не существует. Меняете правила, сдвигаете стойки ворот. Кое-кто из ученых, посвятивших жизнь вашим священным книгам, даже пытался доказать, будто Ной с Ковчега и Ной, которому приписывают пьянство и неприличную наготу, вообще разные люди. Мог ли пьянчуга быть избранником Божьим? Ну ясное дело, нет. Ной, да не мой. Типичная ошибка в установлении личности. Проблема снята.

Мог ли пьянчуга быть избранником Божьим? Я уже объяснял вам — его избрали, потому что прочие кандидаты были во сто крат хуже. Куда ни кинь — всюду клин. А что касается его пьянства, скажу честно: до ручки-то он дошел благодаря Путешествию. Конечно, старый Ной и прежде любил побаловать себя рогом-другим винца; а кто этим брезговал? Но законченным алкоголиком

его сделало Путешествие. Он просто не вынес этого бремени. Он плохо справлялся с управлением, он потерял четыре корабля из восьми и около трети доверенных ему видов — да если б только нашлись судьи, его отдали бы под трибунал. И несмотря на все свое хвастовство, он знал, что виноват в гибели половины Ковчега. Чувство вины, инфантильность, постоянная борьба за то, чтобы удержаться на чересчур высоком пьедестале, — это тяжелое сочетание, которое столь же плачевно влияет на большинство представителей вашего вида. Я полагаю, вы могли бы даже заключить, что к пьянству Ноя подтолкнул Бог. Потому-то ваши ученые так ловчат, так стараются отделить первого Ноя от второго: иначе напрашиваются неприятные выводы. Но история «второго» Ноя — пьянство, непристойное поведение, суровая кара, наложенная на непочтительного сына, — эта самая история отнюдь не удивляет тех из нас, кто знавал «первого» Ноя на Ковчеге. Боюсь, что тут мы имеем дело с печальным, но закономерным итогом прогрессирующего алкоголизма.

Как я уже говорил, мы были очень рады покинуть Ковчег. Помимо всего прочего, мы наелись дерева гофер на всю жизнь. Это еще один повод

для сожаления о Ноевом фанатизме при постройке флота: прояви он большую гибкость, мы могли бы питаться разнообразнее. Конечно, он вряд ли принял бы это в расчет, ведь брать нас на корабль никто не собирался. А спустя несколько тысячелетий наше исключение из числа счастливчиков кажется еще более несправедливым. Нас, безбилетников, было семеро, но если бы наш вид попал в списки избранных, билеты получили бы только двое; и мы смирились бы с таким решением. И пусть Ной не знал, сколько продлится Потоп, это его не оправдывает: ведь даже всемером мы съели за пять с половиной лет так мало, что вполне стоило рискнуть и взять парочку из нас на борт. Да и вообще, разве преступление быть личинками древоточца?

2. Гости

Франклин Хьюз прибыл на борт часом раньше, чтобы успеть выказать дружеское расположение тем, кто мог облегчить ему работу в ближайшие двадцать дней. Теперь он стоял, облокотившись на поручни, и наблюдал, как пассажиры поднимаются по сходне; в основном это были среднего возраста и пожилые пары, несущие на себе явный отпечаток национальности, хотя кое-кто из них, более стандартного вида, ненадолго сохранял лукавую анонимность происхождения. Франклин, рука которого в легком, но несомненном полуобъятии покоилась на плече его спутницы, играл в свою ежегодную игру — угадывал, откуда набрана его аудитория. Американцев узнать было легче всего: мужчины в характерных для Нового Света прогулочных костюмах пастельных тонов, их жены, нимало не смущенные своими колышущимися животами. Англичан — тоже легко: мужчины в старосветских твидовых куртках, надетых поверх желто-коричневых или бежевых рубашек с коротким рукавом, женщины с крепкими коленями, готовые взобраться пешком на любую гору, едва учуяв греческий храм.

Были две канадские пары — на их панамах красовался знаменитый кленовый лист; четверка поджарых белоголовых шведов; несколько робких французов и итальянцев, которых Франклин определил, коротко пробормотав «baguette»[10] или «macaroni»; и шестеро японцев, опровергнувших свой стереотип полным отсутствием фотоснаряжения. За вычетом двух-трех семейных групп и случайного англичанина-одиночки эстетского вида все они поднимались на борт покорными парами.

— Каждой твари по паре, — прокомментировал Франклин.

Это был высокий плотный человек лет сорока пяти со светло-золотыми волосами и красноватым лицом, что завистливые приписывали склонности к крепким напиткам, а доброжелательные — избытку солнца; такие люди кажутся вам знакомыми, и вы как-то не задаетесь вопросом, симпатичны они или нет. Его спутница, или ассистентка — против того, чтобы именоваться секретаршей, она решительно возражала, — стройная смуглая девушка, демонстрировала одежду, специально купленную для круиза. На

---

[10] Сноски: 10
Французский батон.

Франклине же, который культивировал образ стреляного воробья, была длинная походная куртка и мятые джинсы. Хотя кое-кто из пассажиров счел бы такой наряд не совсем подходящим для известного лектора на выезде, он максимально отвечал намерению Франклина подчеркнуть свое собственное происхождение. Будь он американским ученым, он, наверное, раздобыл бы легкий полосатый костюм; будь британцем, возможно, остановил бы выбор на глаженой полотняной куртке кремового цвета. Но слава Франклина (пожалуй, не столь громкая, как ему представлялось) пошла с телевидения. Он начинал рупором чужих мнений — приятный юноша в вельветовом костюме, умевший говорить о культуре, не отпугивая слушателей. Спустя какое-то время он подумал: если у него получается болтать на эти темы, то почему бы не попробовать и писать. Поначалу это был лишь «дополнительный материал Франклина Хьюза», потом ему стали доверять соавторство, а конечным достижением явилось безраздельное «написано и представлено Франклином Хьюзом». Точно определить область его специализации не смог бы никто, но в сферах археологии и сравнительного анализа культур он чувствовал себя вполне свободно. Его

любимым приемом были современные аллюзии, долженствующие спасти и оживить для среднего зрителя такие мертвые предметы, как переход Ганнибала через Альпы, или клады викингов в Восточной Англии, или дворцы Ирода. «Ганнибаловы слоны были танковыми дивизиями своего времени», — заявлял он, размашисто шагая по чужеземным холмам; или: «Это примерно столько же пехотинцев, сколько вместил бы стадион Уэмбли в день финала Кубка»; или: «Ирод был не только тираном, объединившим страну, но еще и покровителем искусств; возможно, его следует представлять себе как этакого Муссолини с хорошим вкусом».

Телевизионная слава Франклина вскоре принесла ему вторую жену, а через пару лет — второй развод. В настоящее время его контракты с «Турне Афродиты По Знаменитым Местам» всегда предусматривали наличие каюты для ассистентки; команда «Санта Юфимии» с восхищением отмечала, что ассистентки, как правило, не продерживаются до следующего рейса. Франклин был щедр со стюардами и нравился людям, которые не пожалели тысчонки-другой фунтов на эти двадцать дней. У него было обаятельное свойство так увлекаться излюбленными отступлениями

от темы, что потом, умолкнув, он озирался кругом с недоуменной улыбкой, словно позабыв, где находится. Многие пассажиры говорили между собой об очевидной любви Франклина к своей работе, о том, как это приятно в наш циничный век, и о том, что благодаря ему история и впрямь оживает перед ними. Если его куртка не всегда бывала застегнута на все пуговицы, а на рабочих штанах порой виднелись следы от омара, это лишь подтверждало его горячую приверженность делу. Одежда Франклина подчеркивала замечательную демократичность нынешнего образования: чтобы разбираться в греческой архитектуре, вовсе не надо быть надутым профессором в стоячем воротничке.

— Вечер Знакомств в восемь, — сказал Франклин. — Пойду-ка я поработаю пару часиков, чтоб завтра утром выглядеть прилично.

— Ты же повторял это выступление много раз? — Трициа слабо надеялась, что он останется с ней на палубе, когда они будут выходить в Венецианский залив.

— Стараюсь менять каждый год. Иначе становишься однообразным. — Он легонько тронул ее за руку и пошел вниз.

На самом деле его вступительная речь завтра

в десять должна была быть точно такой же, как и в предыдущие пять лет. Единственное отличие — единственное нововведение, спасающее Франклина от однообразия, — состояло в том, что там будет Трисия вместо… как же звали ту последнюю девушку? Но он любил создавать иллюзию подготовки своих лекций заранее, и он спокойно мог отказаться от удовольствия в очередной раз наблюдать отплытие из Венеции. Она и через год никуда не денется, разве что еще на сантиметр-другой уйдет в воду да розовая ее физиономия еще чуток обшелушится, как у него.

Стоя на палубе, Трисия глядела на город, пока колокольня Святого Марка не превратилась в огрызок карандаша. С Франклином они познакомились месяца два назад — тогда он выступал в телепередаче, где на третьих ролях участвовала и она. Они спали вместе несколько раз, пока немного. Девушкам из своей квартиры она сказала, что уезжает со школьным другом; если все пойдет хорошо, она откроет правду, но сейчас Трисия опасалась сглазить. Франклин Хьюз! И до сих пор он был по-настоящему внимателен, даже позаботился наделить ее кое-какими номинальными обязанностями, чтобы уж ей не выглядеть просто подружкой. Очень многие на телевидении каза-

лись ей чуточку фальшивыми — обаятельными, но не совсем честными. Франклин был в жизни такой же, как на экране: открытый, веселый, готовый поделиться с тобой своими знаниями. Ему можно было верить. Телевизионные критики подшучивали над его одеждой и пучком волос на груди, где расходилась рубашка, а иногда и над тем, что он говорил, но это была обыкновенная зависть — пусть бы они попробовали выйти на публику и выступать, как Франклин, посмотрела бы она на них! Сделать так, чтобы это выглядело естественно, объяснил он ей за их первым совместным завтраком, вот что самое трудное. Другой секрет в телевидении, сказал он, это знать, когда умолкнуть и предоставить картинкам работать за тебя — «надо нащупать тот тонкий баланс между словом и изображением». Про себя Франклин надеялся на высшую честь: «Сценарий, текст и постановка Франклина Хьюза». В мечтах он иногда проигрывал съемку гигантской пешей экскурсии по Форуму, от арки Септимия Севера до храма Весты. Вот только не мог решить, куда девать камеру.

Первый этап путешествия, на юг по Адриатике, прошел, в общем-то, как всегда. Был Вечер Знакомств, где команда оценивала пассажи-

ров, а пассажиры осторожно присматривались друг к другу; была вводная лекция Франклина, на которой он польстил аудитории, энергично открестился от своей телевизионной славы и заметил, как приятно обращаться к обычным людям, а не к стеклянному глазу и оператору с его окриками: «Маковку в кадр, а ну еще разок, лапка!» (техническая подробность должна была остаться непонятой большинством слушателей, на что и рассчитывал Франклин: пусть себе относятся к ТВ чуть свысока, но не думают, будто это занятие для идиотов); а потом была еще одна вводная лекция Франклина, столь же необходимая, в которой он объяснил своей ассистентке, что главная их задача — хорошо провести время. Понятно, ему надо работать — будут периоды, когда ему скрепя сердце придется торчать в каюте со своими записями, — но вообще им стоит смотреть на это как на двухнедельные каникулы вдали от паршивой английской погоды и всех этих нападок исподтишка в телецентре. Трисия кивнула, соглашаясь, хотя как начинающая она еще не сталкивалась ни с какими нападками и, уж конечно, не была их объектом. Более умудренная опытом девица, разумеется, поняла бы, что Франклин хочет сказать: «Не жди от меня

ничего, кроме этого». Трисия, будучи безмятежной оптимисткой, перевела его маленькую речь помягче: «Давай не будем торопиться с радужными надеждами», что, надо отдать ему должное, примерно и имел в виду Франклин. Он слегка влюблялся по нескольку раз в году — свойство характера, на которое иногда сетовал, но которое неизменно себе извинял. Тем не менее он был вовсе не бессердечен и как только замечал, что становится нужен девушке — особенно милой — больше, чем она ему, на него волной накатывали ужасные предчувствия. Эта бестолковая паника обычно заставляла его сделать одно из двух предположений — либо что девушка придет к нему жить, либо что она уйдет из его жизни, — которые пугали его в равной степени. Поэтому его приветственное слово в адрес Джинни, или Кэти, или, на сей раз, Трисии диктовалось скорее осторожностью, нежели цинизмом, хотя по мере постепенного расстройства отношений Дженни, или Кэти, или, на сей раз, Трисия вполне могла счесть его более предусмотрительным, чем на самом деле.

Та же осторожность, чей тихий настойчивый призыв постоянно слышался ему в многочисленных известиях о кровавых бойнях, заставила

Франклина Хьюза приобрести ирландский паспорт. Мир больше не был полон гостеприимных уголков, где старая добрая британская ксива темно-синего цвета, увенчанная словами «корреспондент» и «Би-би-си», могла доставить вам все, чего захотите. «Министр Ее Британского Величества, — Франклин до сих пор помнил эти слова наизусть, — от имени Ее Величества просит и требует, чтобы все, кого это касается, обеспечивали владельцу сего необходимое содействие и защиту». Благое пожелание. Теперь Франклин предъявлял в своих путешествиях зеленый ирландский паспорт с золотой арфой на обложке, каждый раз чувствуя себя при этом каким-то опустившимся любителем «Гиннесса». Внутри, в большей частью правдивой автохарактеристике Хьюза, отсутствовало и слово «корреспондент». На свете были страны, где не слишком привечали корреспондентов и где считали, что все люди, якобы интересующиеся археологическими раскопками, — британские шпионы. Менее компрометирующее «писатель» выполняло также роль стимула. Если Франклин обозначил себя писателем, это должно было подтолкнуть его стать таковым. Следующий год определенно предоставлял шанс для популярной книжонки;

а кроме того, он подумывал кое о чем серьезном, но с эротической окраской — вроде собственной истории мира, которая могла бы месяцами держаться в списке бестселлеров.

«Санта-Юфимия» была не новым, но комфортабельным кораблем с вежливым капитаном-итальянцем и командой из ловких греков. Публика в этих «Турне Афродиты» подбиралась заранее известная, пестрая по национальному составу, но однородная по вкусам. Люди того сорта, что спортивным играм на палубе предпочитают чтение, а музыке диско в баре — солнечные ванны. Они всюду ходили за лектором, почти не пропускали дополнительных экскурсий и игнорировали соломенных осликов в магазинах сувениров. Они не заводили романов, хотя струнное трио иногда вдохновляло их на старомодные танцы. Они по очереди сиживали за капитанским столиком, бывали изобретательны, когда затевался маскарадный вечер, и прилежно прочитывали судовую газету с маршрутом сегодняшнего дня, поздравленьями именинникам и обычными новостями с Европейского континента.

Такая атмосфера казалась Трициии немножко вялой, но то была хорошо организованная вялость. Словно обращаясь к своей ассистент-

ке, Франклин подчеркнул во вступительной лекции, что главная цель турне — отдохнуть и расслабиться. Он тактично намекнул, что люди интересуются классической древностью в разной степени и что он, со своей стороны, не намерен вести журнал посещаемости и метить прогульщиков черным крестиком. С присущим ему обаянием Франклин признался, что даже он способен устать от очередного ряда коринфских колонн, белеющих на фоне безоблачного неба; однако сделал это так, что пассажиры могли усомниться в его искренности.

Охвосток северной зимы остался позади, и корабль с умиротворенными пассажирами неторопливо вошел в мягкую средиземноморскую весну. Твидовые куртки уступили место полотняным, брючные костюмы — открытым летним одеяниям, слегка устарелым. По Коринфскому каналу плыли ночью; пассажиры в неглиже прилипли к иллюминаторам, а самые отважные стояли на палубе, время от времени безуспешно пытаясь разогнать тьму вспышками своих фотоаппаратов. Из Ионического моря в Эгейское; у Киклад чуть занепогодилось и посвежело, но все отнеслись к этому спокойно. На берег сходили на изысканном Миконосе, где пожилой директор

школы подвернул лодыжку, пробираясь среди руин; на мраморном Паросе и огнедышащей Тире. Ко времени остановки на Родосе десять дней круиза уже миновали. Пока пассажиры гуляли по берегу, «Санта-Юфимия» приняла на борт топливо, овощи, мясо и дополнительный запас вин. Еще она приняла на борт гостей, хотя выяснилось это только на следующее утро.

Они шли по направлению к Криту, и в одиннадцать часов Франклин начал обычную лекцию о Кноссе и минойской цивилизации. Надо было быть поосторожнее, так как его аудитория, похоже, кое-что знала о Кноссе, а некоторые могли иметь и свои собственные теории. Франклин любил, когда ему задавали вопросы; он не возражал, когда кто-нибудь делал маловразумительные или даже точные добавления к его рассказу, — в таких случаях он благодарил человека вежливым кивком и невнятным «герр профессор», как бы намекая, что одним из нас свойствен широкий взгляд на вещи, другие же — и это тоже прекрасно — любят забивать себе голову не слишком существенными деталями; но кого Франклин не переносил, так это зануд, которым не терпелось проверить на лекторе свои любимые идейки. Простите, мистер Хьюз, я вижу в этом что-то

египетское — разве мы можем быть уверены, что это строили не египтяне? А вы не считаете, что Гомер писал в ту эпоху, к какой относит его (легкий смешок) — или ее сочинения народ? Я не эксперт по данному вопросу, но очевидно, что разумнее всего было бы предположить… Всегда попадался хотя бы один такой, который разыгрывал из себя пытливого и здравомыслящего любителя; отнюдь не обманутый общепринятым мнением, он — или она — знал, что историки часто блефуют и что сложные проблемы лучше всего решать с помощью вдохновения и интуиции, не обременяя себя конкретными знаниями и исследовательской работой. «Ваша трактовка очень интересна, мистер Хьюз, но очевидно, что логичнее было бы…» Франклину иногда хотелось заметить (однако он никогда этого не делал), что подобные смелые догадки о ранних цивилизациях частенько кажутся ему основанными на голливудских эпопеях с Кёрком Дугласом и Бёртом Ланкастером в главной роли. Он представлял себе, как выслушает одного из таких умников и с иронией ответит ему: «Вы, конечно, понимаете, что фильм „Бен Гур“ нельзя считать *абсолютно* надежным источником?» Но не в этом плавании. И вообще, лучше подождать до тех пор,

пока он не уверится, что очередное его плавание — последнее и контракт возобновлен не будет. Тогда он позволит себе немного расслабиться. Он станет откровеннее со своими слушателями, менее осторожен в отношении спиртного, более восприимчив к брошенному украдкой взгляду.

Гости опоздали на лекцию Франклина Хьюза о Кноссе, и он уже закончил ту часть, в которой изображал собой сэра Артура Эванса, когда они открыли двойные двери и выстрелили в потолок — правда, только один раз. Франклин, все еще с головой погруженный в собственный спектакль, пробормотал: «Переведите, пожалуйста», но этой старой шутки оказалось недостаточно, чтобы вновь привлечь внимание пассажиров. Они уже забыли о Кноссе и следили глазами за высоким человеком с усами и в очках, который направлялся к Франклину, чтобы занять его место за пюпитром. В обычных условиях Франклин отдал бы ему микрофон, предварительно вежливо спросив документы. Но поскольку в руках у человека был большой автомат, а на голове — один из тех тюрбанов в красную клетку, которые прежде были отличительным признаком симпатичных воинов-пустынников, верных Лоренсу Аравийскому, а в последние годы стали отличительным

признаком злобных террористов, охочих до пролития невинной крови, Франклин сделал простой жест, показывая, что уступает, и сел на стул.

Его аудитория — как он еще подумал о ней в кратком приливе собственнических чувств — затихла. Все избегали неосторожных движений; все старались дышать бесшумно. Гостей было трое, и двое из них встали у дверей в лекционный зал. Высокий в очках, на миг превратясь едва ли не в ученого, постучал по микрофону, как делают лекторы во всем мире: отчасти чтобы проверить, работает ли техника, отчасти чтобы привлечь к себе внимание. В данном случае второе вряд ли было необходимо.

— Приношу извинения за беспокойство, — начал он, испустив один-два нервных смешка. — Но боюсь, ваш отдых на некоторое время придется прервать. Надеюсь, что ненадолго. Все вы останетесь здесь, на своих местах, пока мы не скажем вам, что делать.

Где-то в глубине зала прозвучал сердитый голос одного из американцев:

— Кто вы такие и какого черта вам надо?

Араб подался назад к только что оставленному микрофону и с презрительной вежливостью дипломата сказал:

— Простите, но в данной ситуации я не намерен отвечать на вопросы. — Затем, видимо, чтобы его не спутали с дипломатом, решил продолжить: — Мы не из тех, кто прибегает к насилию без необходимости. Однако когда я стрелял в потолок, желая привлечь ваше внимание, я поставил вот эту маленькую защелку в положение, при котором автомат стреляет одиночными выстрелами. Если ее передвинуть, — он показал как, приподняв оружие над головой, словно военный инструктор перед абсолютно неопытными новичками, — автомат будет стрелять, пока не опустеет магазин. Надеюсь, это понятно.

Араб вышел из зала. Никто ничего не предпринимал; кое-где шмыгали носом и всхлипывали, но в общем было тихо. Франклин глянул через зал в дальний левый угол, где находилась Трисия. Его ассистенткам дозволялось посещать лекции, но только не сидеть прямо перед ним — «А то мне в голову лезет всякая ерунда». Вид у нее был спокойный; похоже, она считала, что все обойдется. Франклин хотел сказать: «Послушай, со мной никогда такого не бывало, это ненормально, я не знаю, что делать», но ограничился лишь неопределенным кивком. После десяти минут напряженной тишины американка лет

пятидесяти пяти поднялась со своего места. Один из двоих охранников у двери сразу прикрикнул на нее. Она не отреагировала на это, так же как на шепот и цепляющуюся за нее руку мужа. Она подошла к боевикам по центральному проходу, остановилась в нескольких шагах от них и произнесла четким, медленным голосом, в котором звучал готовый выхлестнуться ужас:

— Мне надо в уборную, слышите?

Арабы не ответили и не посмотрели ей в глаза. Они лишь сделали своими автоматами короткое движение, со всей возможной ясностью говорящее, что сейчас она представляет собой большую мишень и что всякая настойчивость с ее стороны подтвердит этот факт самым убедительным и роковым образом. Она повернулась, снова ушла на свое место и заплакала. Тут же зарыдала другая женщина в правой половине зала. Франклин опять взглянул на Трицию, кивнул, поднялся на ноги, умышленно не глядя на двоих охранников, и подошел к пюпитру.

— Как я уже говорил… — Он авторитетно прокашлялся, и все взоры обратились к нему. — Я уже говорил, что Кносский дворец отнюдь не является памятником первого человеческого поселения в этом районе. Слои, которые мы называем миной-

скими, залегают на глубине до семнадцати футов, но самые ранние следы человеческого обитания находятся на глубине в двадцать шесть футов или около того. К моменту закладки первого камня дворца люди жили на этом месте уже по меньшей мере десять тысяч лет…

Продолжить прерванную лекцию казалось естественным. Чувствовалось также, что Франклина теперь выделяет из других некое оперенье лидера. Он решил, для начала вскользь, подтвердить свое право на это. Понимают ли охранники по-английски? Возможно. Были они когда-нибудь в Кноссе? Вряд ли. И Франклин, описывая зал дворцовых собраний, придумал большую глиняную табличку, которая, заявил он, вероятно, висела над гипсовым троном. Там было написано — в этот момент он поглядел на арабов — «Мы живем в трудные времена». Продолжая рассказ о дворце, он раскопал и другие таблички с надписями, многие из которых, как он стал уже бесстрашно подчеркивать, имели универсальный смысл. «Ни в коем случае нельзя поступать опрометчиво», — гласила одна. Другая: «Пустые угрозы бесполезны, как пустые ножны». Третья: «Тигр всегда медлит перед прыжком». (Хьюз мельком подумал, знала ли минойская

цивилизация тигров.) Он не был уверен, что все слушатели раскусили его хитрость, но в зале то там, то тут раздавалось одобрительное ворчание. Любопытно, что он и сам получал от этой игры удовольствие. Он завершил свой обход дворца надписью, весьма нетипичной для минойцев: «Там, где садится солнце, есть великая сила, и она оградит нас от бед». Потом сгреб свои бумажки и сел под более теплые, чем обычно, аплодисменты. Поглядел на Трицию и подмигнул ей. В глазах у нее блестели слезы. Он посмотрел на арабов и подумал, вот вам, теперь видите, из какого мы теста, мы еще за себя постоим. Он даже пожалел, что не ввернул какого-нибудь афоризма насчет людей с красными полотенцами на головах, но признался себе, что у него не хватило бы храбрости. Прибережет его на потом, когда все кончится.

Они прождали еще полчаса в пахнущей мочой тишине; затем вернулся главарь террористов. Он перекинулся парой слов с охранниками и подошел к пюпитру.

— Значит, вы тут прослушали лекцию о Кносском дворце, — начал он, и Франклин почувствовал, что у него вспотели ладони. — Это славно. Вам не мешает разбираться в других цивилизациях. Понимать, как они достигали величия

и как, — он сделал многозначительную паузу, — они рушились. Я очень надеюсь, что ваше путешествие в Кносс будет приятным.

Он уже отходил от микрофона, когда раздался голос того же американца, на сей раз более миролюбивый, точно подействовали минойские таблички:

— Простите, не будете ли вы так любезны в двух словах сказать нам, кто вы и чего вы хотите?

Араб улыбнулся.

— По-моему, сейчас не время для объяснений. — Он кивнул, давая понять, что закончил, потом помедлил, словно вежливый вопрос по меньшей мере заслуживал вежливого ответа. — Скажем так. Если все пойдет согласно плану, вы вскоре сможете продолжить свое изучение минойской цивилизации. Мы исчезнем так же, как появились, и вам будет казаться, что вы видели нас всего лишь во сне. Потом вы о нас забудете. Останется только память о небольшой задержке. Поэтому вам ни к чему знать, кто мы такие, или откуда мы, или что нам нужно.

Он уже сходил с низкого подиума, как вдруг Франклин неожиданно для себя самого произнес:

— Извините.

Араб обернулся:

— Хватит вопросов.

— Это не вопрос, — сказал Франклин. — Я только подумал… Конечно, у вас есть дела поважнее… но если нам придется остаться здесь, то вы могли бы разрешить нам ходить в уборную. — (Главарь террористов нахмурился.) — В сортир, — пояснил Франклин; потом снова: — В туалет.

— Разумеется. Вам будет позволено ходить в туалет, когда мы переведем вас.

— А когда это случится? — Франклин почувствовал, что немного увлекся добровольно взятой на себя ролью. Араб, со своей стороны, тоже заметил некую недопустимую вольность тона. Он грубо ответил:

— Когда надо будет.

Он ушел. Через десять минут появился араб, которого они еще не видели, и пошептал Хьюзу на ухо. Тот поднялся.

— Нас хотят перевести отсюда в столовую. Мы пойдем парами. Занимающим одну каюту следует сказать об этом. Нас отведут в наши каюты, и там можно будет сходить в уборную. Еще мы должны будем взять из кают паспорта, но ничего больше. — (Араб зашептал снова.) — Да, запираться в уборной нельзя. — От себя Фран-

клин добавил: — По-моему, эти люди настроены весьма серьезно. По-моему, нам не стоит делать ничего такого, что может им не понравиться.

Пассажиров мог сопровождать лишь один охранник, и вся процедура заняла несколько часов. Когда Франклина и Трицию вели на нижнюю палубу, он сказал ей небрежно, будто о погоде:

— Сними кольцо с правой руки и надень туда, где носят обручальное. Камнем внутрь, чтобы его не было видно. Только не сейчас, а когда пойдешь пописать.

В столовой, куда они наконец попали, их паспорта проверял пятый араб. Трицию отправили в дальний конец, где в одном углу сидели англичане, а в другом — американцы. Посреди комнаты были французы, итальянцы, двое испанцев и канадцы. Ближе всех к двери остались японцы, шведы и Франклин, единственный ирландец. Одной из последних привели супружескую пару Циммерманов, плотных, хорошо одетых американцев. Поначалу Хьюз определил мужа как торговца одеждой, какого-нибудь опытного закройщика, открывшего свое дело; однако после разговора на Паросе выяснилось, что это недавно ушедший на покой профессор философии со Среднего Запада. Минуя столик Франклина по

дороге к прочим американцам, Циммерман пробормотал: «Отделение чистых от нечистых».

Когда все собрались, Франклина отвели в каюту начальника хозяйственной части, где обосновался главарь гостей. Он вдруг поймал себя на том, что гадает, не прикреплен ли этот нос картошкой вместе с усами к очкам; возможно, все это снималось одним махом.

— А, мистер Хьюз. Вы, кажется, их представитель. Как бы то ни было, теперь вы утверждаетесь в этом качестве. Вам нужно будет объяснить им следующее. Мы сделаем ради их удобства все, что в наших силах, но они должны понимать, что имеются известные трудности. Им будет позволено разговаривать друг с другом каждый час в течение пяти минут. В это же время желающие смогут посетить туалет. По одному. Я думаю, все они люди разумные, и очень не хотел бы убедиться в обратном. Есть один человек, который говорит, что не может найти свой паспорт. Его фамилия Толбот.

— Мистер Толбот, да. — Рассеянный пожилой англичанин, который неоднократно задавал вопросы о религии в Древнем мире. Скромный дядька, без доморощенных теорий, слава богу.

— Он сядет вместе с американцами.

— Но он англичанин. Из Киддерминстера.

— Если он вспомнит, где его паспорт, будет англичанин и сядет с англичанами.

— Видно же, что англичанин. — (Араб остался равнодушным.) — Но произношение-то у него не американское, правда?

— Я с ним не беседовал. К тому же произношение ведь вообще не доказательство, верно? Вы вот, к примеру, говорите как англичанин, но по паспорту вы не англичанин. — (Франклин медленно кивнул.) — Так что подождем паспорта.

— Зачем вы нас разделили?

— Мы думали, вам понравится сидеть с земляками. — Араб сделал ему знак уходить.

— Последний вопрос. Моя жена. Можно ей сесть со мной?

— Ваша жена? — Главарь посмотрел на лежащий перед ним список пассажиров. — У вас нет жены.

— Нет есть. Она путешествует под именем Трисия Мейтленд. Это ее девичье имя. Мы поженились три недели назад. — Франклин помедлил, затем прибавил доверительным тоном: — Вообще-то, она у меня уже третья.

Но франклиновский гарем, кажется, не произвел на араба никакого впечатления.

— Поженились три недели назад? Но ведь вы, по-моему, в разных каютах. Что, дела идут так худо?

— Нет, у меня отдельная каюта для работы, понимаете? Для подготовки к лекциям. Это роскошь, лишняя каюта, моя привилегия.

— Так она ваша жена? — Тон оставался бесстрастным.

— Ну да, конечно, — ответил он с легким негодованием.

— Но у нее британский паспорт.

— Она ирландка. Кто выходит замуж за ирландца, становится ирландкой. Это ирландский закон.

— Мистер Хьюз, у нее британский паспорт. — Он пожал плечами, словно проблема была неразрешима, затем нашел решение: — Но если вы хотите сидеть вместе с женой, можете пойти и сесть за столик к англичанам.

Франклин неловко улыбнулся.

— Если я представитель пассажиров, как я могу попасть к вам, чтобы передать просьбы пассажиров?

— Просьбы пассажиров? Нет, вы не понимаете. У пассажиров нет просьб. Вы не попадете ко мне, пока я сам этого не захочу.

Передав новые распоряжения, Франклин сел за свой отдельный столик и задумался. Хорошо в данной ситуации было то, что до сих пор с ними обращались более или менее корректно; никого не избили и не застрелили, и взявшие их в плен люди не производили впечатления истеричных мясников, какими могли бы оказаться. С другой стороны, плохое было тесно связано с хорошим: не будучи истеричными, гости, наверное, были людьми упорными, деятельными, не привыкшими отказываться от своей цели. Но какова была эта цель? Для чего они захватили «Санта-Юфимию»? С кем вели переговоры? И кто управлял мокнущим в море кораблем, который, насколько Франклин мог судить, описывал широкие, медленные круги?

Время от времени он ободряюще кивал японцам за соседним столиком. Пассажиры в дальнем конце столовой, как он не мог не заметить, иногда посматривали в его сторону, словно проверяя, здесь ли он еще. Он стал их связным, возможно, даже лидером. Эта его лекция о Кноссе, с учетом условий, выглядела сейчас почти блестящей; гораздо более отчаянной, чем он тогда предполагал. Теперешнее сидение в одиночестве, вот что его расстроило; он стал размышлять. Пер-

воначальный всплеск эмоций — нечто близкое к восторженности — пошел на спад; взамен им овладели вялость и дурные предчувствия. Может быть, ему следует пойти и сесть с Трицией и англичанами? Но тогда они могут не посчитаться с его гражданством. Это разделение пассажиров — действительно ли оно означало то, чего он боялся?

Ближе к вечеру они услышали самолет, пролетевший над ними довольно низко. Из американского угла столовой донеслись приглушенные радостные возгласы; потом шум мотора затих. В шесть часов появился один из стюардов-греков с большим подносом сэндвичей; Франклин отметил, как страх обостряет голод. В семь, когда он выходил по-маленькому, американский голос прошептал: «Так держать». Вернувшись за столик, он попытался принять спокойный и уверенный вид. Но вот беда: чем больше он думал, тем меньше находил оснований бодриться. В последние годы западные правительства много шумели о терроризме, о необходимости встретить угрозу с высоко поднятой головой и обуздать молодчиков; но молодчики что-то не замечали, что их обуздывают, и продолжали свое дело. Тех, кто посередке, убивали; правительства

и террористы оставались невредимыми.

В девять Франклина снова вызвали в каюту начальника хозчасти. Пассажиров надо было развести на ночлег: американцев обратно в лекционную, англичан в диско-бар и так далее. Все эти помещения затем следовало запереть. Это было необходимо: гости тоже нуждались в отдыхе. Паспорта велели держать наготове, чтобы их можно было предъявить в любую минуту.

— А как с мистером Толботом?

— Он считается почетным американцем. Пока не найдет паспорт.

— А насчет моей жены?

— Мисс Мейтленд? Что вас интересует?

— Ей можно быть со мной?

— А. Ваша жена-англичанка.

— Она ирландка. Выходите за ирландца — становитесь ирландкой. Это закон.

— Закон, мистер Хьюз. Люди вечно твердят *нам* о законе. Меня часто ставило в тупик их мнение о том, что законно, а что незаконно. — Он посмотрел на карту Средиземноморья, висевшую на стене позади Франклина. — Законно ли, например, бомбить лагеря беженцев? Я много раз пытался обнаружить закон, который это разрешает. Но мы, похоже, затеяли долгий спор, а мне

иногда кажется, что споры бессмысленны, так же как бессмыслен закон. — Он пожал плечами, отпуская Франклина. — Что же касается мисс Мейтленд, то будем надеяться, что ее национальность, как бы это сказать, не сыграет роли.

Франклин попытался подавить дрожь. Бывают случаи, когда уклончивые слова звучат гораздо страшнее, чем прямая угроза.

— А вы не скажете мне, когда это может… сыграть роль?

— Они глупы, вот в чем дело. Они глупы, потому что думают, что мы глупы. Они лгут самым откровенным образом. Говорят, что нельзя так скоро все уладить. Конечно же можно. Есть такая вещь, как телефон. Они думают, будто научились чему-то благодаря прежним случаям подобного рода, но у них не хватает ума понять, что и мы кое-чему научились. Мы знаем их тактику: лгать и тянуть время, все эти попытки фамильярничать с борцами за свободу. Все мы знаем. И насколько у людей хватает сил, тоже знаем. Так что ваши правительства заставляют нас делать то, о чем мы предупреждали. Если бы они сразу начали переговоры, проблем бы не было. Но они всегда начинают слишком поздно. Им же хуже.

— Нет, — сказал Франклин. — Это нам хуже.

— Вам, мистер Хьюз, думаю, еще не время беспокоиться.

— А когда будет время?

— Я думаю, вам вообще не стоит беспокоиться.

— Когда будет время?

Главарь помолчал, затем с сожалением повел рукой:

— Наверное, завтра. Сроки уже установлены, видите ли. Мы говорили им об этом с самого начала.

Какой-то частью своего существа Франклин Хьюз не мог поверить и в происшедшую беседу. Другая часть хотела сказать, что он всей душой на стороне захватчиков, а его гэльский паспорт, между прочим, означает, что он член ИРА, и пусть ему, ради Христа, разрешат уйти в свою каюту, лечь и забыть обо всем. Но вместо этого он повторил:

— Сроки? — Араб кивнул. Не думая, Франклин спросил: — По одному в час? — Он немедленно пожалел о своем вопросе. Нельзя было подавать этому типу идеи.

Араб покачал головой.

— По двое. Двоих каждый час. Если не поднимать ставки, они не относятся к вам всерьез.

— Боже. Прийти на корабль и просто вот так

убивать людей. Просто вот так?

— А по-вашему, было бы лучше, если бы мы объяснили им, почему мы их убиваем? — Его тон был насмешлив.

— Ну да, конечно.

— По-вашему, они проникнутся к нам сочувствием? — Теперь в его голосе было больше издевки, чем насмешки. Франклин умолк. Он думал, когда же они начнут убивать. — Спокойной ночи, мистер Хьюз, — сказал главарь гостей.

На ночь Франклина поместили в одной из офицерских кают, вместе с семьей шведов и тремя японскими парами. Как он понял, среди всех пассажиров им угрожала наименьшая опасность. Шведам — потому что их нация всегда соблюдала нейтралитет; Франклину и японцам, возможно, потому, что Япония и Ирландия в недавнее время порождали террористов. До чего нелепо. Шестерых японцев, приехавших в Европу изучать ее культуру, никто не спрашивал, поддерживают ли они различных политических убийц в своей собственной стране; Франклина тоже не пытали насчет ИРА. Гэльский паспорт, полученный благодаря случайному генеалогическому выбросу, предполагал возможную солидарность с гостями, и это служило защитой его хозяину. На самом

деле Франклин ненавидел ИРА точно так же, как любую другую политическую группировку, мешавшую или способную помешать нелегкой работе — быть Франклином Хьюзом. Кажется — согласно своим принципам проведения ежегодного отдыха он не уточнял этого, — Трициа гораздо более сочувственно относилась к заполонившим мир бандам жестоких маньяков, которым суждено было роковым образом повлиять на карьеру Франклина Хьюза. Однако ее посадили к британским дьяволам.

Сегодня в их каюте почти не разговаривали. Японцы держались обособленно; шведы коротали вечер, развлекая детей беседой о доме и Рождестве и английских футбольных командах; Франклина же тяготило бремя услышанного от главаря. Он был напуган и угнетен; но вынужденная изоляция, казалось, превращала его в пособника террористов. Он попробовал думать о двух своих женах и дочери, которой теперь должно быть уже… ну да, пятнадцать — ему всегда приходилось вспоминать год ее рождения и считать оттуда. Надо бы вырываться к ней почаще. Может, даже взять ее с собой, когда будут снимать очередной цикл. Пусть поглядит на съемки его шоу-экскурсии по Форуму; ей понравится. Так

куда же все-таки деть камеру? Может, снимать в движении? И добавить статистов в тогах и сандалиях — да-да, это будет самое то…

На следующее утро Франклина привели в каюту начальника хозчасти. Главарь гостей махнул ему, предлагая садиться.

— Я решил последовать вашему совету.

— Моему совету?

— Переговоры, к несчастью, идут плохо. То есть вовсе не идут. Мы определили свою позицию, но они никак не желают определить свою.

— Они?

— Они. Так что, если в ближайшем будущем ничего не изменится, нам придется оказать на них давление.

— Оказать давление? — Даже Франклин, который не смог бы сделать карьеру на телевидении, не будучи мастером по части эвфемизмов, был разгневан. — Вы имеете в виду — убивать людей?

— Как это ни грустно, другого давления они не понимают.

— А вы пробовали?

— Да, конечно. Мы пробовали сидеть сложа руки и ждать помощи от мирового общественного мнения. Пробовали быть хорошими и надеяться,

что в награду нам вернут нашу землю. Могу уверить вас, что эти методы не работают.

— А почему не попробовать что-нибудь среднее?

— Эмбарго на американские товары, мистер Хьюз? Не думаю, что они примут это всерьез. Ограничение импорта «шевроле» в Бейрут? Нет, к сожалению, есть люди, которые понимают только давление определенного сорта. Мир движется вперед только…

— Только благодаря убийствам? Веселенькая философия.

— В мире мало веселенького. Ваши исследования древних цивилизаций должны были бы научить вас этому. Ну да ладно… Я решил последовать вашему совету. Мы объясним пассажирам, что происходит. Как они оказались участниками истории. И какова эта история.

— Они наверняка это оценят. — Франклин почувствовал тошноту. — Рассказать им, что да как.

— Вот-вот. Видите ли, в четыре часа необходимо будет начать… начать убивать их. Конечно, мы надеемся, что такой необходимости не возникнет. Однако же… Вы правы, если это возможно, им надо объяснить положение дел. Даже солдат

знает, за что воюет. Будет справедливо, если пассажиры узнают тоже.

— Но они не воюют. — Тон араба, так же как и его слова, раздражал Франклина. — Они штатские люди. Поехали отдыхать. Они не воюют.

— Они больше не штатские, — ответил араб. — Ваши правительства другого мнения на этот счет, но они не правы. Ваше ядерное оружие, разве оно только против армии? Сионисты, по крайней мере, это понимают. У них воюет весь народ. Убить штатского сиониста — значит убить солдата.

— Послушайте, но у нас на корабле нет штатских сионистов, бог с вами. Здесь только люди вроде несчастного старого Толбота, который потерял паспорт и превратился в американца.

— Тем более им следует все объяснить.

— Понятно, — сказал Франклин и не смог сдержать ухмылку. — Так вы хотите собрать пассажиров и объяснить им, что они на самом деле сионистские солдаты и поэтому вы намерены убить их.

— Нет, мистер Хьюз, вы не поняли. Я ничего объяснять не собираюсь. Они не станут меня слушать. Нет, мистер Хьюз, все это объясните им вы.

— Я? — Франклин не испугался. Наоборот, он

почувствовал решимость. — Ни за что. Делайте свое грязное дело сами.

— Но, мистер Хьюз, вы же профессиональный лектор. Я слушал вас, хоть и недолго. У вас так хорошо получается. Вы могли бы описать все с исторической точки зрения. Мой помощник даст вам любую необходимую информацию.

— Не нужна мне никакая информация. Делайте свое грязное дело сами.

— Мистер Хьюз, честное слово, я не могу вести переговоры с двумя сторонами одновременно. Сейчас девять тридцать. У вас есть полчаса на размышление. В десять вы скажете, что прочтете лекцию. Затем у вас будет два часа, три часа, если понадобится, на беседу с моим помощником. — Франклин качал головой, но араб бесстрастно продолжал: — Затем вы должны будете к трем часам подготовить лекцию. Думаю, ее продолжительность составит минут сорок пять. Я, разумеется, буду слушать вас с величайшим интересом и вниманием. А в три сорок пять, если меня удовлетворит то, как вы объясните ситуацию, мы в благодарность признаем ирландское гражданство вашей недавно обретенной жены. Это все, что я хотел вам сказать; в десять часов вы передадите мне свой ответ.

Вернувшись в каюту к шведам и японцам, Франклин вспомнил цикл телепередач о психологии, который его как-то попросили провести. Цикл отменили после первой же пробной пленки, о чем никто особенно не жалел. Среди прочего в нем рассказывалось об эксперименте по определению грани, за которой собственные интересы побеждают альтруизм. В такой формулировке это звучало почти солидно; однако сам опыт показался Франклину отвратительным. Исследователи брали недавно родившую самку обезьяны и помещали ее в специальную клетку. Мать продолжала кормить и ласкать своего детеныша примерно таким же образом, как это делали в пору материнства жены экспериментаторов. Затем они включали ток, и металлический пол клетки постепенно нагревался. Сначала обезьяна беспокойно подпрыгивала, потом долго, пронзительно кричала, потом пыталась стоять по очереди на каждой ноге, ни на секунду не выпуская детеныша из рук. Пол становился все горячее, мучения обезьяны — все заметнее. Наконец жар оказывался нестерпимым, и перед ней, по словам экспериментаторов, вставал выбор между альтруизмом и собственными интересами. Она должна была либо терпеть сильнейшую боль

и, возможно, пойти на смерть ради сохранения своего потомства, либо положить детеныша на пол и влезть на него, чтобы избавить себя от дальнейшей пытки. Во всех случаях, раньше или позже, собственные интересы торжествовали над альтруизмом.

Этот эксперимент вызвал у Франклина омерзение, и он был рад, что все закончилось пробным выпуском и ему не пришлось показывать публике такие вещи. Теперь он чувствовал себя примерно как та обезьяна. Ему надо было выбрать один из двух равно отталкивающих вариантов: или бросить свою подругу, сохранив себя незапятнанным, или спасти подругу, объяснив невинным людям, что справедливость требует убить их. И спасет ли это Триш? Франклину не гарантировали даже его собственной безопасности; возможно, в качестве ирландцев их обоих лишь переместят в конец списка смертников, но все же не вычеркнут оттуда. С кого они начнут? С американцев, с англичан? Если с американцев, долго ли придется ждать англичанам? Четырнадцать, шестнадцать американцев — он жестокосердно перевел это в семь-восемь часов. Если они начнут в четыре, а правительства будут стоять на своем, с полуночи начнут убивать англичан. А в каком

порядке? Мужчин первыми? Кто подвернется? По алфавиту? Фамилия Триш — Мейтленд. Как раз посередине алфавита. Увидит ли она рассвет?

Он представил себя стоящим на теле Трициии, чтобы уберечь свои обожженные ноги, и содрогнулся. Ему придется прочесть лекцию. Вот в чем разница между обезьяной и человеком. В конце концов, человек все-таки способен на альтруизм. Именно поэтому он и не обезьяна. Конечно, вероятнее всего, что после лекции его аудитория сделает прямо противоположный вывод, решит, будто Франклин действует в собственных интересах, спасает свою шкуру гнусным угодничеством. Но в этом особенность альтруизма: человек всегда может быть превратно понят. А потом он им всем все объяснит. Если будет какое-нибудь потом. Если будут они все.

Когда появился помощник, Франклин попросил снова отвести его к главарю. В обмен на лекцию он хотел вытребовать неприкосновенность для себя и Трициии. Но помощник пришел только за ответом; продолжать переговоры захватчики не собирались. Франклин понуро кивнул. Все равно он никогда толком не умел торговаться.

В два сорок пять Франклина отвели в его каюту и разрешили принять душ. В три он вошел в лек-

ционную, где был встречен самой внимательной в его жизни публикой. Он налил себе из графина затхлой воды, которую никто не позаботился переменить. Почувствовал накат изнеможения, подспудную толчею паники. Всего за день мужчины успели обрасти бородами, женщины смялись. Они уже не походили на самих себя или на тех, с кем Франклин провел десять дней. Может быть, благодаря этому их будет легче убивать.

Прежде чем начать писать самому, Франклин понаторел в искусстве как можно доступнее излагать чужие мысли. Но никогда еще сценарий не будил в нем таких опасений; никогда не ставил режиссер таких условий; никогда не платили ему такой необычной монетой. Согласившись выступать, он поначалу убедил себя в том, что непременно найдет способ сообщить аудитории о вынужденном характере лекции. Придумает какую-нибудь уловку вроде тех фальшивых минойских надписей; или так все преувеличит, выкажет такой энтузиазм по поводу навязанной ему идеи, что публика не сможет не заметить иронии. Но нет, все это не годилось. Ирония, вспомнил Франклин определение одного старого телевизионщика, — это то, чего люди не понимают. А уж в нынешних условиях пассажиры

наверняка не станут выискивать ее в словах Франклина. Беседа с помощником только ухудшила дело: помощник дал точные инструкции и добавил, что всякое отклонение от них повлечет за собой не только отказ вывести мисс Мейтленд из группы англичан, но и непризнание ирландского паспорта самого Франклина. Они-то умели торговаться, эти гады.

— Я надеялся, — заговорил он, — что при следующей нашей с вами встрече продолжу рассказ об истории Кносса. К сожалению, как вы знаете и сами, обстоятельства изменились. У нас гости. — Он сделал паузу и поглядел вдоль прохода на главаря, стоящего перед дверьми с охранниками по обе стороны. — Теперь все иначе. Мы в руках других людей. Наша… участь больше от нас не зависит.

Франклин кашлянул. Начало выходило не слишком удачное. Он уже стал сбиваться на иносказания. Единственным его долгом, единственной задачей, которая стояла перед ним как перед профессионалом, было говорить максимально прямо. Франклин никогда не отрицал, что работает на публику и не раздумывая встанет на голову в ведре с селедкой, если это увеличит число его зрителей на несколько тысяч; но где-то

в нем крылось остаточное чувство — смесь восхищения и стыда, — заставлявшее его держать на особом счету тех рассказчиков, которые были совсем другими, чем он: тех, что говорили спокойно, своими собственными, простыми словами и чье спокойствие придавало им вес. Зная, что никогда не будет похож на них, Франклин попытался сейчас следовать их примеру.

— Меня попросили объяснить вам положение дел. Объяснить, как вы… мы… оказались в такой ситуации. Я не специалист по ближневосточной политике, но попробую рассказать все так, как я это понимаю. Для начала нам, наверное, придется вернуться в девятнадцатое столетие, когда до образования государства Израиль было еще далеко…

Франклин вошел в привычный, спокойный ритм, словно боулер, размеренно бросающий мячи. Он чувствовал, что слушатели понемногу расслабляются. Обстоятельства были необычны, но им рассказывали интересную историю, и они открывались навстречу рассказчику, как испокон веку делала публика, желающая знать, откуда все пошло, жаждущая, чтобы ей объяснили мир. Франклин изобразил идиллическое девятнадцатое столетие — сплошь кочевники, да козопасы,

да традиционное гостеприимство, позволяющее вам по три дня проводить в чужом жилище, не подвергаясь расспросам о цели вашего визита. Он говорил о ранних поселениях сионистов и о западных концепциях собственности на землю. О Декларации Бальфура. Об иммиграции евреев из Европы. О Второй мировой войне. О вине европейцев в том, что за фашистский геноцид пришлось платить арабам. О евреях, которых преследования нацистов научили тому, что единственный способ уцелеть — это самим стать такими же, как нацисты. Об их милитаризме, экспансионизме, расизме. Об их упреждающем ударе по египетскому воздушному флоту в начале Шестидневной войны, который был полным моральным эквивалентом Пёрл-Харбора (Франклин умышленно не смотрел на японцев — и на американцев — ни в этот момент, ни в течение еще нескольких минут). О лагерях беженцев. О краже земли. Об искусственной поддержке израильской экономики долларом. О зверствах по отношению к обездоленным. О еврейском лобби в Америке. Об арабах, просивших у западных держав лишь той справедливости, какую уже нашли у них евреи. О печальной необходимости прибегнуть к насилию, уроке, преподанном арабам евреями

точно так же, как прежде — евреям нацистами.

Пока Франклин использовал только две трети отведенного времени. Наряду с потаенной враждебностью части публики он, как ни странно, ощущал и расползшуюся по залу дремоту, точно люди уже слышали эту историю прежде и не поверили ей еще тогда.

— И вот мы подходим к настоящему моменту. — Это снова пробудило в них напряженное внимание; несмотря на экстраординарность ситуации, Франклин почувствовал, как по коже у него побежали мурашки удовольствия. Он был словно гипнотизер, которому достаточно щелкнуть пальцами, чтобы заворожить зрителей. — Мы должны понять, что на Ближнем Востоке больше не осталось мирных граждан. Сионисты понимают это, западные правительства — нет. Мы, увы, теперь тоже не мирные граждане. В этом виноваты сионисты. Вы… мы… взяты в заложники группировкой «Черный гром» с целью добиться освобождения троих ее членов. Возможно, вы помните, — хотя Франклин сомневался в этом, ибо случаи подобного рода были часты, почти взаимозаменяемы, — что два года назад американские воздушные силы принудили гражданский самолет с тремя членами группы

«Черный гром» на борту совершить посадку на Сицилии, что итальянские власти одобрили этот акт пиратства и в нарушение международных законов арестовали троих борцов за свободу, что Британия защищала действия Америки в ООН и что те трое сейчас находятся в тюрьмах Франции и Германии. Группа «Черный гром» не намерена подставлять другую щеку, и теперешний оправданный… налет, — Франклин произнес это слово с осторожностью, взглянув на главаря, словно показывая, что не хочет опускаться до эвфемизма, — следует считать ответом на тот акт пиратства. К несчастью, западные правительства не проявляют такой же заботы о своих гражданах, как «Черный гром» — о своих борцах за свободу. К несчастью, они до сих пор не соглашаются отпустить заключенных. К сожалению, у «Черного грома» нет иного выбора, кроме как осуществить задуманную угрозу, о которой западным правительствам было недвусмысленно сообщено с самого начала…

В этот момент крупный, неспортивного вида американец в голубой рубашке сорвался с места и побежал по проходу к арабам. Их автоматы не были установлены в режим стрельбы одиночными выстрелами. Было очень много шуму и

сразу вслед за тем — много крови. Итальянец, сидевший на линии огня, получил в голову пулю и упал на колени к жене. Несколько человек встали и быстро сели опять. Главарь группы «Черный гром» взглянул на часы и махнул Хьюзу, чтобы тот продолжал. Франклин сделал большой глоток несвежей воды. Он пожалел, что под рукой нет чего-нибудь покрепче.

— Из-за упрямства западных правительств, — снова заговорил он, стараясь, чтобы голос его звучал теперь как можно официальнее, без прежних хьюзовских интонаций, — и их безрассудного пренебрежения человеческими жизнями возникла необходимость принести жертвы. Как я пытался объяснить ранее, это исторически неизбежно. Группа «Черный гром» чрезвычайно надеется на то, что западные правительства незамедлительно отойдут от принятой ими тактики. В качестве последнего средства, которое должно вразумить их, необходимо будет казнить по двое из вас… из нас… по истечении каждого часа до начала переговоров. Группа «Черный гром» решается на подобные действия скрепя сердце, но западные правительства не оставляют ей выбора. Порядок экзекуции установлен в соответствии со степенью вины западных стран в

происходящем на Ближнем Востоке. — Франклин уже не смотрел на свою аудиторию. Он понизил голос, но не мог позволить себе перейти предел слышимости. — Сначала американцы-сионисты. Потом остальные американцы. Потом англичане. Потом французы, итальянцы и канадцы.

— Какого хера вы путаете Канаду в ближневосточные дела? Какого хера? — закричал человек, на голове у которого по-прежнему была панама с кленовым листом; жена не давала ему встать.

Франклин, чувствуя, что жар под ногами становится нестерпимым, машинально сгреб листочки, ни на кого не глядя, сошел с возвышения, пересек зал, испачкав свои каучуковые подошвы в крови мертвого американца, миновал троих арабов, которые могли бы пристрелить его, если бы захотели, и, никем не сопровождаемый, беспрепятственно добрался до своей каюты. Там он запер дверь и лег на койку.

Очень скоро на палубе загремели выстрелы. С пяти до одиннадцати, ровно через каждые шестьдесят минут, словно жуткая пародия на бой городских часов, снаружи раздавался треск пулеметов. Затем слышались всплески — это выбрасывали в море очередную пару. В начале двенадцатого американскому отряду специ-

ального назначения из двадцати двух человек, преследовавшему «Санта-Юфимию» в течение пятнадцати часов, удалось попасть на борт. В стычке погибли еще шесть пассажиров, включая мистера Толбота, почетного американского гражданина из Киддерминстера. Из восьмерых гостей, помогавших кораблю грузиться на Родосе, были убиты пятеро, двое — после того как сдались.

Ни главарь, ни его помощник не уцелели, поэтому не нашлось никого, кто подтвердил бы рассказ Франклина Хьюза о заключенной им с арабами сделке. Триция Мейтленд, которая, сама о том не ведая, на несколько часов стала ирландкой и которая во время лекции Франклина Хьюза вернула свое кольцо на прежнее место, никогда больше с ним не разговаривала.

3. Религиозные войны

Источник: Archives Municipales de Besançon (section CG, boîte 377a)[11]. *Нижеследующее дело, отчет о котором до сих пор не публиковался, представляет особый интерес для историков права, поскольку в роли* procureur pour les insectes[12] *выступал знаменитый юрист Бартоломе Шасене (также Шасане и Шасенье), позднее первый председатель высшего суда Прованса. Шасене, 1480 года рождения, сделал себе имя на церковном суде Отёна, защищая крыс, которые обвинялись в злонамеренном истреблении урожая ячменя. Приводимые здесь документы, начиная с* pétition des habitans[13] *и до заключительного приговора суда, не являются полным отчетом — отсутствует, например, опрос свидетелей, могущих быть кем угодно, от местных крестьян до знаменитых экспертов по образу жизни под-*

---

[11] Сноски: 11
Муниципальные архивы Безансона (секция CG, ящик 377a) *(фр.).*

[12] Сноски: 12
Доверенного лица насекомых *(фр.).*

[13] Сноски: 13
Прошения жителей *(фр.).*

судимых, — однако имеющиеся записи передают показания очевидцев в целом и часто содержат точные ссылки на них, поэтому читатель может получить вполне адекватное представление о ходе разбирательства. По обычаю той поры заявления сторон и conclusions du procureur épiscopal[14] *делались на французском, в то время как приговор суда был торжественно оглашен на латыни.*

(Примечание переводчика. Все материалы в рукописи идут подряд, и почерк везде один и тот же. Таким образом, мы имеем здесь не оригинальные документы, которые составлялись клерками при каждом законнике, а результат труда третьей стороны, возможно, кого-нибудь из судей, не стремившегося записать все выступления целиком. Сличение с содержимым ящиков 371–379 заставляет предположить, что дело в его настоящем виде было одним из ряда показательных или типичных судебных процессов, используемых для подготовки юристов. Эту догадку подтверждает тот факт, что из всех участников разбирательства по имени назван только Шасене, словно студентам предлагалось

---

[14] Сноски: 14
Заключение епископального прокурора *(фр.)*.

учиться мастерству на выступлениях знаменитого защитника независимо от исхода тяжбы. Рукопись выполнена почерком первой половины шестнадцатого столетия, поэтому если она и является чьей-то посторонней версией, что не исключено, то все же принадлежит перу современника. Мною были приложены все усилия, чтобы передать местами экстравагантный стиль выступлений — особенно безымянного procureur des habitans[15] *— соответствующим английским.)*

Pétition des habitans

Мы, жители Мамироля Безансонской епархии, будучи преисполненными благоговения перед всемогущим Господом и смиренного почтения к супруге его Церкви и будучи вместе с тем наипослушнейшими и наиаккуратнейшими плательщиками причитающихся с нас десятин, сим документом от 12 августа 1520 года настоятельно и убедительно просим суд освободить и избавить нас от преступных посягательств тех злоумышленников, кои осаждают нас уже многие годы, кои навлекли на нас Божий гнев

---

[15] Сноски: 15
Доверенного лица жителей *(фр.).*

и позор на наше селение и кои угрожают всем нам, богобоязненным и наипокорнейшим слугам Церкви нашей, мгновенной и ужасной смертью, грозящей низринуться на нас сверху подобно удару грома, которая непреложно настигнет нас, если суд в своей глубочайшей мудрости скорым и справедливым решением не изгонит сих злоумышленников из нашего поселка, повелев им уйти по их отвратности и зловредности, под страхом осуждения, анафемы и отлучения от Святой Церкви и Божьего покровительства.

Plaidoyer des habitans[16]

Господа, сии бедные и смиренные истцы, несчастные и удрученные, предстали перед вами, как некогда жители островов Минорки и Мальорки предстали перед могущественным Августом Цезарем, прося его употребить свою справедливую власть, дабы избавить их острова от кроликов, истребляющих урожаи и лишающих поселян средств к существованию. И если Август Цезарь оказался в силах помочь своим верным подданным, то насколько проще сему суду снять с рамен истцов возложенное на них гнетущее

---

[16] Сноски: 16
Заявление со стороны жителей *(фр.).*

бремя, подобное бремени великого Энея, который вынес своего отца Анхиза из горящего града Трои. Старый Анхиз был ослеплен ударом молнии, и сии истцы ныне как бы ослеплены, ввергнуты во тьму от света Божьей благодати злонамеренным поведением тех, что проходят ответчиками по данному делу и, однако, даже не явились сюда, дабы попытаться опровергнуть выдвинутые против них обвинения, выказывая тем презрение к сему судилищу и хуля самого Господа, предпочитая скорее похоронить себя в греховной тьме, нежели предстоять свету истины.

Знайте же, господа, то, что было уже поведано вам очевидцами, людьми смиренной веры и безупречной честности, простыми жалобщиками, столь трепещущими сего суда, что из их уст может изливаться лишь чистая влага истины. Они свидетельствовали о событиях двадцать второго дня месяца апреля сего года, дня ежегодного паломничества Гуго, Епископа Безансонского, в скромную церковь Святого Михаила, находящуюся в их поселке. Они описали вам в подробностях, кои пламенеют у вас в памяти подобно раскаленной пещи, откуда вышли невредимыми Седрах, Мисах и Авденаго, как по ежегодному обычаю прихорашивали и приуготовляли свою

церковь, дабы она стала достойной лицезрения Епископа, как украсили алтарь цветами и заново укрепили дверь против нашествия животных, но как, сумев замкнуть засовы перед свиньями и коровами, они оказались не способны замкнуть их перед теми дьявольскими *bestioles*[17], кои проникают в малейшую дырочку, подобно тому как Давид отыскал щелку в доспехах Голиафа. Они рассказали вам, как спустили на веревке со стропил Епископский трон, хранящийся там привязанным целый год и спускаемый лишь в день паломничества Епископа, дабы какой-нибудь ребенок или чужеземец не мог случайно сесть на него и тем самым осквернить его, каковая традиция скромна и благочестива и весьма достойна похвалы в очах Господа и сего суда. Как сей трон, спущенный сверху, поместили пред алтарем, что делалось всякий год и иного не мог бы припомнить даже старейший Мафусаил тех мест, и как благоразумные поселяне охраняли его в течение всей ночи перед прибытием Епископа, так страшились они осквернения трона. И как на следующий день Гуго, Епископ Безансонский, прибыл, совершая ежегодное паломничество,

[17] Сноски: 17
Зверюшками, козявками *(фр.).*

подобно Гракху, приходящему к возлюбленному народу своему, в эту скромную церковь Святого Михаила и возрадовался, узрев их рвение и чистоту веры. И как, благословив сначала, по своему обычаю, всех жителей Мамироля со ступеней храма, он прошествовал по главному нефу, сопутствуемый на почтительном расстоянии своей паствой, и пал ниц, как был, во всей роскоши своего облачения, перед алтарем, подобно Иисусу Христу, павшему ниц пред своим Всемогущим Отцом. Как он встал, поднялся по ступеням к алтарю, обратил свой лик к прихожанам и опустился на трон. О, злосчастный день! О, злосчастные покусители! И как Епископ упал, ударясь головой об алтарную ступень, и был ввергнут против своей воли в состояние неразумия. И как, по отбытии Епископа и его свиты, унесшей Епископа в состоянии неразумия, устрашенные истцы осмотрели Епископский трон и обнаружили в ножке, рухнувшей, словно стены Иерихона, следы гнусного и противоестественного вторжения древесных червей, и как сии черви, тайно и исподволь совершившие свой дьявольский труд, так проели ножку, что Епископ низринулся, подобно могучему Дедалу, с сияющих небес во тьму неразумия. И как, весьма убоясь Божьего

гнева, истцы забрались на стропила церкви Святого Михаила и осмотрели раму, на которой трон покоился триста шестьдесят четыре дня в году, и как они обнаружили, что черви проникли и в раму, так что она рассыпалась, едва они прикоснулись к ней, и кощунственно упала вниз на алтарные ступени, и как брусья крыши оказались коварно источены сими дьявольскими *bestioles*, что заставило истцов опасаться за собственную жизнь, ибо они столь же бедны, сколь и набожны, и их бедность не позволяет им выстроить новую церковь, а их набожность велит им поклоняться их Пресвятому Отцу столь же ревностно, сколь и прежде, и в освященном месте, а не среди полей и лесов.

Так прислушайтесь же, господа, к жалобе сих смиренных поселян, безответных, как трава под ногою. Они привыкли ко многим бедствиям: к саранче, затмевающей небо, как длань Господня, что застит солнце, к полчищам крыс, опустошающим их поля, как свирепый вепрь окрестности Калидона, о чем повествует Гомер в первой книге «Илиады», к долгоносику, истребляющему зерно в их зимних амбарах. Сколь же пагубнее и зловреднее сия новая напасть, грозящая уничтожить зерно, которое поселяне накапливают на Небесах

своею кроткою набожностью и выплатами десятины. Ибо сии злоумышленники, даже и сегодня проявившие неуважение к вашему суду, оскорбили самого Господа, напав на его Дом, оскорбили его супругу Церковь, ввергнув Гуго, Епископа Безансонского, во тьму неразумия, оскорбили истцов, угрожая обрушить остов и покрытие их церкви на невинные головы детей и младенцев в тот час, когда весь поселок возносит молитвы, а посему будет правильно, разумно и необходимо приказать и повелеть этим животным оставить свое поселение и удалиться из Дома Господня, а также приговорить их к необходимой анафеме и отлучению, как предписано нашей Пресвятой Матерью Церковью, за которую неустанно молятся сии бедные истцы.

Plaidoyer des insectes[18]

Итак, господа, поскольку вам было угодно назначить меня доверенным лицом *bestioles* в этом деле, я попытаюсь объяснить суду, почему обвинения в их адрес несостоятельны и почему иск должен быть отклонен как необоснованный. Признаться, я удивлен тем, что о моих клиентах,

---

[18] Сноски: 18
Заявление со стороны насекомых *(фр.).*

не совершивших никакого преступления, говорят как о злейших преступниках, и тем, что мои клиенты, будучи бессловесными, вызваны сюда для объяснений, словно в своих ежедневных хлопотах они привыкли пользоваться человеческой речью. Однако дар речи есть у меня, и я со всем смирением попробую сослужить службу их безгласным устам.

Так как вы дозволили мне выступать за этих несчастных животных, я, во-первых, замечу, что мои подзащитные неподсудны данному суду и что направленный им вызов лишен законной силы, ибо предполагает, что его получатели наделены разумом и волей и тем самым способны как совершить преступление, так и ответить на вызов в суд по поводу вышеуказанного преступления. Сие же места не имеет, ибо мои клиенты суть низшие животные, направляемые только инстинктом, что подтверждается в первой книге Пандектов, в параграфе «Si quadrupes»[19], где сказано: «Nec enim potest animal injuriam fecisse, quod sensu caret»[20].

---

[19] Сноски: 19

«Если четвероногое» *(лат.).*

[20] Сноски: 20

«Ведь не может животное совершить правонарушение, ибо оно лишено разума» *(лат.).*

Во-вторых, в качестве дополнения и альтернативы предыдущему, я утверждаю, что если бы случаи с *bestioles* и подлежали юрисдикции суда, настоящий трибунал не имел бы законных оснований рассматривать это дело, ибо существует хорошо известное и давно установленное правило, что обвиняемых нельзя судить *in absentia*[21]. Здесь прозвучало заявление, что древесным червям была отправлена стандартная повестка, предписывающая им в назначенный день, а именно сегодня, явиться на суд, они же дерзко отказались явиться, тем самым лишась обычного права не быть судимыми *in absentia*. Против этого аргумента я выдвигаю два возражения. Первое: если даже вызов в суд был составлен должным образом, имеем ли мы доказательства того, что он получен моими подзащитными? Ибо известно, что повестка должна быть не только составлена, но и доставлена, а поверенный жителей Мамироля не указал, каким способом древесные черви подтвердили получение повестки. И второе возражение, еще более веское: в анналах права имеется строжайше сформулированный принцип, согласно которому ответчику следует

[21] Сноски: 21
В их отсутствие *(лат.)*.

извинить неявку в суд, если может быть показано, что значительное расстояние, трудности или опасности пути не позволяют ему предстать перед судом без всякого риска. Если бы вы вызвали на суд крысу, могли бы вы ожидать, что она доберется сюда, минуя город, полный кошек? А в данном случае дорога от места обитания *bestioles* до суда представляет для них непреодолимое препятствие не только вследствие своей чудовищной дальности, но и из-за смертельной угрозы, которую несут с собой хищники, всегда готовые покуситься на жизнь этих кротких созданий. Следовательно, они могут, ничем не рискуя, в рамках законности и со всем уважением к суду вежливо отказаться выполнить предписание.

В-третьих, вызов составлен некорректно, ибо он адресован древесным червям, в настоящее время проживающим в церкви Святого Михаила поселка Мамироля. Относится ли это ко всем без исключения *bestioles*, находящимся в церкви? Ведь многие из них ведут мирную жизнь, не представляя какой бы то ни было угрозы для истцов. Разве следует вызывать в суд весь поселок лишь потому, что в нем завелась шайка бандитов? Это неоправданно. Далее, существует правило, согласно которому судом должна быть установлена

личность ответчика. Мы рассматриваем два преступных деяния, повреждение ножки Епископского трона и повреждение крыши церкви, но даже минимальная осведомленность об образе жизни моих подзащитных позволяет понять, что те черви, которые в настоящее время проживают в ножке, не могут иметь никакого касательства к делу о крыше, а те, которые проживают в крыше, не могут иметь никакого касательства к делу о ножке. Выходит, что две различные стороны обвиняются в двух различных преступлениях, причем в повестке не проведено разделения сторон и преступлений, следовательно, вызов неспецифицирован и потому недействителен.

В-четвертых, в качестве независимого пункта я должен заявить, что судить *bestioles* подобным образом противно не только Человеческому и Церковному законам, но также и закону Божьему. Ибо откуда взялись те крошечные создания, на которых торжественно обращается вся мощь сего суда? Кто создал их? Не кто иной, как Всемогущий Господь, создавший всех нас, и высших, и низших. И не читаем ли мы в первой главе священной Книги Бытия, что Бог сотворил зверя земного по роду его, скотов по роду их и всех животных, пресмыкающихся по земле, по роду их,

и увидел Бог, что это хорошо? И, далее, разве не дал Бог зверям и всем гадам земным всякое семя, какое есть на земле, и всякое дерево, какое есть на земле, и всякий плод всякого дерева в пищу? И, еще далее, разве не дал он им всем наказа плодиться и размножаться и наполнять землю? Создатель не повелел бы зверям и всем гадам земным размножаться, если бы в своей бесконечной мудрости не обеспечил их пропитанием, и он это сделал, сказав, что дает им семя, и плод, и деревья в пищу. Но чем же и были заняты эти кроткие *bestioles* с самого дня Творения, как не осуществлением своих неотъемлемых прав, дарованных им во время оно, прав, которые Человек не властен ни урезáть, ни отменять? Да, древесные черви порой выбирают для своего обитания места, где могут причинить Человеку неудобства, но это еще не повод бунтовать против законов Природы, установленных при Сотворении мира, ибо такой бунт есть прямое и дерзкое неповиновение Творцу. Господь вдохнул жизнь в древесных червей и дал им деревья земные в пищу; сколь же самонадеянно и опасно для нас было бы идти наперекор Божьей воле. Нет, я скорее предложил бы суду направить свое внимание не на сомнительные злодеяния кротчайших из тварей, а на

злодеяния самого человека. Господь ничего не делает без цели, и то, что он позволил древесным червям поселиться в церкви Святого Михаила, является не чем иным, как предупреждением и наказанием человечества за его грехи. То, что червям было позволено населить церковь, а не какой-нибудь другой дом, является, утверждаю я, еще более серьезным предупреждением и наказанием. Неужели люди, представшие перед судом в роли истцов, так уверены в своей смиренности и христианских добродетелях, что берутся обвинять кротчайших животных, не обвинив сначала самих себя? Бойтесь греха гордыни, говорю я этим истцам. Вытащите бревно из своего глаза, прежде чем пытаться достать соринку из чужого.

В-пятых, и в-последних, *procureur pour les habitans* требует от суда обрушить на *bestioles* тот громовой удар, что известен под именем отлучения. В качестве независимого пункта я считаю своим долгом предупредить суд, что такая кара была бы и несоответствующей, и незаконной. Поскольку отлучение лишает грешника возможности общаться с Богом, запрещает ему вкушать хлеб и вино, которые суть тело и кровь Христовы, изгоняет его из лона Святой Церкви с ее светом и теплом, то разве можно считать законным отлу-

чение зверя полевого или гада земного, которые никогда и не являлись причастниками Святой Церкви? Нельзя, в первую очередь, лишать подсудимого тех благ, которыми он никогда не обладал. Это юридически неграмотно. А во-вторых, отлучение — кара великая и ужасная, она ввергает наказуемого в кромешную тьму, навеки лишает его света и благости Божьей. Возможно ли признать такую кару годной для *bestiole*, которая не имеет бессмертной души? Возможно ли обречь подсудимого на вечные муки, если он не обладает вечной жизнью? Эти существа не могут быть изгнаны из Церкви, ибо они не ее члены; как говорит апостол Павел, «судите внутренних, но не внешних».

Итак, в свете изложенных соображений я предлагаю прекратить дело и отклонить иск как необоснованный, подзащитных же моих оправдать и освободить от всякого дальнейшего судебного преследования.

Бартоломе Шасене, юрист

Réplique des habitans[22]

Господа, для меня большая честь вновь высту-

---

[22] Сноски: 22
Ответная речь жителей *(фр.)*.

пать перед вашим почтеннейшим судом, моля о справедливости, как та несчастная, обиженная мать, что молила Соломона вернуть ей дитя. Словно Улисс знаменитому Аяксу, буду я противоборствовать адвокату *bestioles*, представившему вам много аргументов, пестротою своей подобных Иезавели.

Во-первых, он утверждает, будто сей суд не имеет прав и полномочий судить bestioles за совершенные ими в Мамироле тяжкие преступления, и аргументирует это тем, что в глазах Божьих мы не лучше древесных червей, не выше их и не ниже, а потому не обладаем правом вершить над ними суд подобно Юпитеру, чей храм был на Тарпейской скале, откуда сбрасывали предателей. Но я опровергну это, подражая Господу нашему, изгнавшему менял из Иерусалимского храма, и вот каким образом. Разве человек не выше животных? Разве не явствует из священной Книги Бытия, что животные, сотворенные прежде человека, были сотворены именно ради его пользы? Разве не дал Господь Адаму владычества над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всеми тварями, пресмыкающимися по земле? Разве не нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым?

Разве не было владычество человека над животными подтверждено Псалмопевцем и повторно отмечено апостолом Павлом? Но как же может человек владычествовать над животными и не иметь права карать их за их злодеяния? Далее, сие право вершить над животными суд, которое столь упорно отрицает адвокат *bestioles*, было даровано человеку самим Богом, о чем открыто свидетельствует священная Книга Исхода. Разве не заповедал Господь Моисею священного закона — око за око и зуб за зуб? И не продолжал ли он так: если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола непременно следует побить камнями и мяса его не есть. Разве священная Книга Исхода не проясняет таким образом закон? И не идет ли она дальше, а именно: если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, то продать живого вола и разделить пополам выручку, а также и убитого вола разделить пополам? Не заповедал ли так Господь и не дозволил ли человеку судить животных?

Во-вторых, касательно того, что древесных червей не следует судить, ибо они не смогли прибыть на суд. Однако они были призваны сюда в соответствии со всеми существующими правилами. Они были призваны, как Евреи для уплаты

дани Августу Цезарю. И разве Израильтяне не повиновались? Кто из присутствующих здесь стал бы препятствовать *bestioles* явиться на суд? Мои смиренные истцы могли бы пожелать, чтобы они не явились, и с этой целью предать огню ножку трона, ввергнувшего Гуго, Епископа Безансонского, в состояние неразумия после удара головой об алтарную ступень, но, будучи христианами, воздержались от этого и предпочли вынести дело на рассмотрение вашего наипочтеннейшего суда. Так какого же врага могли повстречать обвиняемые? Уважаемый адвокат сослался на кошек, едящих крыс. Я не знал, господа, что кошки предпринимали попытки съесть древесных червей по дороге в суд, но если я заблуждаюсь, меня, без сомнения, поправят. Нет, отказ обвиняемых предстать перед вами можно объяснить лишь одним, а именно дерзким и в высшей степени сознательным неподчинением, злостным умолчанием, виновностью, которая слепит глаза, словно явленная Моисею неопалимая купина, тот куст, что пылал, но не сгорал, в точности как их вина, пылающая тем ярче, чем упорнее отказываются они предстать перед судом.

В-третьих, здесь прозвучало, что древесных червей совершенно так же, как и Человека, создал

Бог, и что Он дал им семя, и плоды, и деревья в пищу, а стало быть, всякий выбор ими съестного отмечен Божьим благословением. Сие есть главный и важнейший аргумент в пользу *bestioles*, и я опровергну его следующим образом. Священная Книга Бытия говорит нам, что Бог в своей бесконечной милости и щедрости дал зверям полевым и гадам земным всякое семя, и плод, и деревья в пищу. Он дал деревья тем тварям, кои наделены инстинктом пожирать деревья, пусть даже сие служит источником помех и неприятностей для Человека. Но Он не давал им в пищу строений из дерева. Где в священной Книге Бытия сказано, что гады, пресмыкающиеся по земле, могут селиться в строеньях из дерева? Разве, дозволяя иным тварям прогрызать растущий дуб, Господь наделил сих тварей и правом прогрызать Дом Божий? Где в Священном Писании Господь дал животным право пожирать Его храмы? И учил ли Господь своих слуг хранить молчание, когда Его храмы пожираются, а Его Епископы повергаются в состояние неразумия? Если свинья съедает освященную облатку, ее вешают за богохульство, и *bestiole*, избравшая своим обиталищем дом Господень, заслуживает не менее суровой кары.

Далее, в качестве независимого пункта, было

заявлено, что Господь создал древесного червя так же, как и Человека, а любая тварь Божья осенена Его благословением, сколь бы мерзостной и зловредной она ни была. Но разве Всемогущий Господь, в своей несравненной мудрости и благоволении, создал долгоносика, дабы он уничтожал наши урожаи, и древесных червей, дабы они уничтожали домы Господни? Наиученейшие мужи нашей Церкви в течение многих веков изучали каждый стих Священного Писания, словно воины Ирода, разыскивающие невинных младенцев, и не нашли ни единой главы, ни единой строки, ни единой фразы, где упоминалось бы о древесных червях. И потому я ставлю перед судом вопрос, главнейший во всем деле: а были ли вообще сии черви на Ноевом ковчеге? Священные тексты не содержат упоминаний о том, что древесные черви поднимались на борт величественного корабля Ноя или покидали сей корабль. Да и могло ли это быть, ибо разве не из дерева был построен Ковчег? Так ужели Господь в своей вековечной мудрости допустил бы на него существо, чья ежедневная деятельность могла бы повлечь за собою кораблекрушение и трагическую гибель Человека и всех Божьих тварей? Возможно ли хотя бы помыслить нечто подобное? Следовательно,

древесных червей на Ковчеге не было, откуда мы заключаем, что они суть твари ущербные и противоестественные, не существовавшие во времена Потопа, сего великого и ужасного бедствия. Откуда появились они на свет, произошло ли это благодаря слепому случаю или по чьему-то коварному умыслу, нам неведомо, однако их пагубность и зловредность очевидны. Сии гнусные создания предались телом Диаволу и тем лишили себя Божьей защиты и покровительства. Разве не доказывает этого со всею ясностью то, каким лукавым и хитроумным образом надругались они над Гуго, Епископом Безансонским? Разве не так действует Диавол, долгие годы пробираясь тайными и темными путями, дабы затем торжествовать, достигнув своей мерзкой цели? Однако адвокат *bestioles* заявляет, будто древесные черви имеют благословение Божие во всем, что бы они ни делали, и во всем, что бы они ни ели. Иными словами, он утверждает, будто, пожирая ножку Епископского трона, они действовали с Божьего благословения. А это равносильно утверждению, что Господь своей собственной рукой поразил одного из Епископов своей собственной Святой Церкви, так же как поразил Он Валтасара, как поразил Он Амалика, как поразил Он Мадианитян,

как поразил Он Хананеев, как поразил Он Сигона Аморреянина. Не является ли это гнуснейшим богохульством, кое суду надлежит вырвать с корнем, уподобясь в сем Геркулесу, очистившему Авгиевы конюшни?

В-четвертых, здесь было заявлено, что данный суд не вправе выносить решение об отлучении. Но говорить так — значит отрицать власть, дарованную Господом его возлюбленной супруге Церкви, которую Он поставил владычицей над всем миром, все положив под ноги Ее, как подтверждает Псалмопевец, овец и волов всех, зверей полевых, птиц небесных, и рыб морских, и все, преходящее морскими стезями. Руководимая Духом Святым, Церковь не способна ошибаться. Действительно, разве не читаем мы в наших священных текстах о змеях и других ядовитых пресмыкающихся, чей яд был извлечен из них? Разве не читаем в священной Книге Екклесиаста, что «змей непременно ужалит без заговаривания»? Значит, именно в согласии с Божьими заповедями Церковь на протяжении веков использовала свою могущественную, но справедливую власть, карая анафемой и отлучением тех зловредных животных, чье пагубное бытие есть мерзость в очах Господних. Разве не перестали дождь и

роса падать на горы Гелвуйские, когда Давид проклял их? Разве Иисус Христос, сын Божий, не повелел срубать и предавать огню всякое дерево, не приносящее доброго плода? А если бессмысленное создание уничтожают за то, что оно не приносит плода, то, конечно же, позволительно и проклясть его, ибо бóльшая кара включает в себя мéньшую: *cum si liceat quid est plus, debet licere quir est minus*[23]. Разве змей не был проклят в саду Эдемском, что заставило его ползать на чреве до конца жизни своей? А когда город Экс подвергся нашествию змей, поселявшихся в теплых ваннах и кусавших местных жителей, так что многие из них умерли, разве достойный Епископ Гренобльский не отлучил сих змей от Церкви, после чего они покинули город? Таким же образом и Епископ Лозаннский освободил Леманское озеро[24] от заполонивших его угрей. И таким же образом оный Епископ изгнал из вод сего озера пиявиц, едящих семгу, коей благочестивые христиане привыкли питаться в дни поста. А разве Эгберт, Епископ Трирский, не проклял ласточек, чей щебет мешал молитвам благочестивых христиан?

---

[23] Сноски: 23
Если дозволено большее, должно дозволяться и меньшее *(лат.).*

[24] Сноски: 24
Женевское озеро.

И разве Святой Бернар сходным же образом и по сходной же причине не наказал отлучением полчища мух, кои наутро, подобно ордам Сеннахериба, усеяли все вокруг своими мертвыми телами? И разве не посох Святого Магнуса, проповедника Альгауского, изгнал и истребил крыс и мышей всякой породы, а также майских жуков? Так не будет ли справедливо и закономерно, если суд покарает отлучением сих злодеев и осквернителей святого Храма Божия? Адвокат *bestioles* утверждает, что древесные черви не могут быть отлучены, ибо они не имеют бессмертной души. Но не доказано ли нами, во-первых, что сии черви суть противоестественные твари, коих не было на Ноевом ковчеге, и, во-вторых, что те действия, за которые их привлекли к суду, свидетельствуют об их явной одержимости злым духом, а именно Люцифером. И тем настоятельнее испрашиваю я у суда приговора об их отлучении.

Réplique des insectes

Господа, нам представили здесь множество аргументов; некоторые из них унесло ветром, словно отвеянную мякину, а некоторые остались перед вами на земле, словно полноценное зерно. Однако я прошу вас потерпеть еще немного и

выслушать мое вторичное возражение поверенному *des habitans*, чьи аргументы падут, как стены Иерихона перед трубою истины.

Во-первых, мой оппонент упоминает о продолжительном сроке, в течение которого *bestioles* обитали в ножке Епископского трона, лелея свой темный умысел, и полагает это доказательством того, что они трудились по дьявольскому наущению. Дабы опровергнуть этот вывод, я призвал сюда доброго брата Фролибера, искушенного во всем, что касается жизни гадов земных, да вы ведь и сами знаете, что он пасечник в аббатстве Святого Георгия. И разве он не сообщил вам, что, по мнению людей сведущих, *bestioles* живут всего лишь несколько кратких лет? Но все мы знаем, что прежде, чем пораженное червем дерево рассыплется, как под Гуго, Епископом Безансонским, впавшим вследствие этого в состояние неразумия, должно смениться не одно человеческое поколение. Следовательно, черви, вызванные сегодня в суд, суть не кто иные, как потомки многих поколений древесных червей, обитавших в церкви Святого Михаила. И если мы подозреваем *bestioles* в злонамеренности, то мы обязаны приписать ее только первому их поколению, а отнюдь не его невинным потомкам,

которые безгрешно жили там, где им довелось родиться. По этой причине я снова заявляю о необоснованности иска. К тому же обвинение не располагает свидетельскими показаниями относительно того, как именно и когда древоточцы проникли в дерево. Поверенный *des habitans* пытался доказать, что Священное Писание не дает *bestioles* права селиться в строеньях из дерева. Мы ответим ему тремя возражениями: первое, что Писание в явной форме и не запрещает им этого, второе, что, если бы Бог не желал, чтобы они питались строеньями из дерева, Он не наделил бы их соответствующим инстинктом, и третье, что, пока не засвидетельствовано противоположное и не доказана вина обвиняемых, право приоритетного обладания деревом должно быть признано за *bestioles*, а именно следует считать, что они уже были в дереве, когда его свалил лесоруб, который продал его плотнику, который соорудил из него трон. Не древесные черви узурпировали созданное Человеком, а, наоборот, Человек умышленно разрушил обиталище древесных червей и использовал его в своих целях. Исходя из этого, мы снова требуем признания необоснованности данного иска.

Во-вторых, здесь было заявлено, что древесные

черви не плавали на Ковчеге, а посему должны быть признаны одержимыми дьяволом. На это мы ответим двумя возражениями: первое, что в Священном Писании не перечисляются все разновидности Божьих тварей и что по закону факт пребывания на Ноевом ковчеге должен быть признан для всякой твари, если специально не оговорено противное. И второе: обвинитель утверждает, что древесных червей на Ковчеге не было, но если он прав, то становится еще более очевидным, что Человек не получил от Бога власти над ними. Господь наслал на мир губительный Потоп, дабы очистить его, а когда вода спала и открылся новорожденный мир, Он дал Человеку владычество над животными. Но где написано, что Он дал Человеку владычество и над теми животными, которые не путешествовали в Ковчеге?

В-третьих, заявление, будто из наших слов следует, что Гуго, Епископ Безансонский, был ввергнут во тьму неразумия рукою самого Господа, является чудовищной клеветой. Мы этого не утверждали, ибо это было бы богохульством. Но разве не общеизвестно, что пути Господни часто бывают окутаны для нас глубочайшей тайной? Когда Епископ Гренобльский упал с лошади и

умер, мы не винили в этом ни Господа, ни лошадь, ни древесных червей. Когда Епископ Констанцский выпал за борт корабля и утонул в озере, мы не пришли к выводу, что Господь бросил его в воду или что черви испортили киль судна. Когда колонна в монастыре Святого Теодориха рухнула, придавив ногу Епископу Лионскому, отчего он в дальнейшем никогда не расставался с посохом, мы также не винили в этом ни Господа, ни колонну, ни древесных червей. Да, пути Господни зачастую бывают скрыты от нас, но разве не общеизвестно и то, что Господь многократно карал недостойных? Разве не наслал Он на Фараона полчища жаб? Разве не наводнил Он землю Египетскую вшами и свирепыми песьими мухами? Разве не покарал Он того же Фараона воспалением с нарывами, и громом, и градом, и свирепыми полчищами саранчи? Разве не побил Он камнями город Пятерых Царей? Разве не поразил Он язвами даже слугу своего Иова? И именно по этой причине я призвал сюда отца Годрика и испросил у него сведений, касающихся уплаты десятин жителями Мамироля. Не слишком ли часто ссылались они то на капризы погоды, то на неурожай, то на повальные недуги, то на солдат, которые, проходя мимо, убили нескольких

сильных юношей из их поселка? Но, несмотря на отговорки, совершенно понятно и очевидно, что в установленном Церковью порядке десятины не выплачивались, что имела место злонамеренная нерадивость, выливавшаяся в неподчинение Господу Богу и его супруге на земле Церкви. Так разве не ясно из всего этого, что Господь, наславший полчища саранчи, дабы покарать Фараона, и свирепых песьих мух на землю Египетскую, точно так же наслал на церковь древесных червей, дабы покарать жителей за неподчинение? Могло ли это произойти без Божьего соизволения? Неужто Господь столь слаб и робок, что не способен защитить Свой храм от этих крохотных *bestioles*? Такое сомнение в Его силах было бы явным богохульством. А потому мы должны заключить, что нашествие древесных червей произошло либо по воле Всевышнего, либо с Его одобрения, что Бог послал их, дабы наказать непокорных грешников, и что грешникам следует склониться перед Его гневом, и покаяться в своих грехах, и заплатить положенные десятины. И правда, тут скорее надобны молитва, и пост, и самобичевание, и упование на милость Господню, а отнюдь не анафема и отлучение исполнителей, действующих в согласии с Божественной волей и умыслом.

В-четвертых и в-последних, учитывая, что древесные черви суть Божьи твари и как таковые нуждаются в пропитании, подобно тому как нуждается в пропитании человек, а также надеясь, что приговор окажется не столько суровым, сколько милосердным, мы, в свете изложенных соображений, предлагаем суду потребовать от жителей Мамироля, столь неразумно затягивающих выплаты десятин, чтобы они назначили и отвели вышеупомянутым *bestioles* новое пастбище, где те могли бы мирно кормиться без ущерба для церкви Святого Михаила, и, используя свою законную власть, повелеть этим *bestioles* перейти на вышеуказанное пастбище. Ибо мои кроткие подзащитные просят и жаждут только одного: чтобы им было позволено жить в мире и во тьме, без постороннего вмешательства и ложных обвинений. Господа, я подвожу итог, утверждая, что иск следует отклонить как необоснованный, и, в свете изложенных соображений, что *bestioles* должны быть признаны невиновными, и, снова в свете изложенных соображений, что их следует препроводить на новое пастбище. Засим же заявляю о готовности моих клиентов подчиниться решению суда.

Бартоломе Шасене, юрист

Conclusions du procureur épiscopal

Аргументы, представленные адвокатом ответчиков, являются достаточно вескими и убедительными и должны быть признаны плодом глубоких и серьезных размышлений, ибо не следует суду с легкостью и наобум провозглашать чье-либо отлучение, поскольку, будучи провозглашенным с легкостью и наобум, оно может не попасть в цель, но вследствие своей исключительной мощи поразить самого глашатая. Аргументы представителя обвинения также говорят о его высокой учености и эрудиции, и это есть истинно глубокое море, в коем невозможно достичь дна.

По вопросу, поднятому адвокатом *bestioles*, о многих поколениях древесных червей и о том, следует ли считать поколение червей, вызванное в суд, тем самым, которое совершило преступление, мы имеем сказать следующее. Во-первых, в Священном Писании, в книге Исхода, говорится, что за грехи отцов Бог покарает детей в третьем и четвертом поколении, а потому со стороны суда будет вполне благочестиво привлечь к ответу несколько поколений древесных червей, каждое из которых погрешило против Господа,

и сие воистину можно будет счесть торжеством правосудия. И во-вторых, если мы примем утверждение поверенного *pour les habitans* об одержимости *bestioles* Диаволом, тогда что может быть естественнее — или, в данном случае, омерзительнее и противоестественнее, — чем то, что таковая одержимость позволила древесным червям прожить долее обыкновенного, и потому единственное поколение сих гадов способно было нанести весь ущерб, причиненный трону и крыше. В любом случае нам показался весьма серьезным довод представителя *les habitans*, заключающийся в том, что древесных червей не могло быть на Ноевом ковчеге — ибо какой же здравомыслящий капитан возьмет их к себе на борт, не убоясь риска потерпеть кораблекрушение? — а посему они не входят в число первых творений Господа. Но каков их статус во всемирной иерархии: естественны ли они хотя бы отчасти, или разлагаются заживо, или суть творения Диавола, — могут решить лишь те великие умы Церкви, кои занимаются решением подобных вопросов.

Не дано нам также знать и целых мириад причин, по которым Господь мог наслать древесных червей на сию скромную церковь. Возможно,

нищих прогоняли от ее дверей. Возможно, десятины выплачивались нерегулярно. Возможно, прихожане вели себя легкомысленно и Дом Божий был обращен в место тайных свиданий, что и повлекло за собой нашествие насекомых. Нам никогда не следует забывать о долге сострадания и о необходимости подавать милостыню, и разве ад не был уподоблен Евсевием хладному месту, где плач и скрежет зубовный вызываются ужасным морозом, а не вечным огнем, и разве сострадание не есть одно из средств, с помощью которых мы предаемся на милость Божью? А посему, рекомендуя приговорить *bestioles*, которые столь подло и гнусно напали на храм Божий, к отлучению, мы также рекомендуем наложить на *bestioles* все необходимые в подобных случаях наказания и епитимьи.

Sentence du juge d'église[25]

Во имя и с попущения Всемогущего Господа, Отца, Сына и Святого Духа, и Марии, благословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа, пользуясь властью, унаследованной от Святых Апостолов Петра и Павла, а также полномочи-

---

[25] Сноски: 25
Приговор церковного судьи *(фр.).*

ями, данными нам в этом деле, укрепив себя Святым Крестом и исполнясь страха Божия, мы объявляем вышеупомянутых древесных червей презренными паразитами и повелеваем им, под угрозой проклятия, анафемы и отлучения, в ближайшие семь дней покинуть церковь Святого Михаила поселка Мамироля Безансонской епархии и перекочевать без задержки и промедления на пастбище, отведенное им жителями Мамироля, поселиться там и никогда больше не возвращаться в церковь Святого Михаила. Дабы придать этому приговору законную силу, а также сделать действенными всякое проклятие, анафему и отлучение, кои могут быть провозглашены в любое время, жители Мамироля обязываются сим неуклонно блюсти долг сострадания, выплачивать десятины в порядке, установленном Святой Церковью, воздерживаться от всякого легкомыслия в Доме Божием и ежегодно, в память о том печальном дне, когда Гуго, Епископ Безансонский, был ввергнут во тьму неразумия…

Здесь рукопись из муниципальных архивов Безансона обрывается, не сообщая подробностей о ежегодном поминании или епитимье, наложенной судом на

поселян. Состояние бумаг свидетельствует о том, что за протекшие четыре с половиной века архивы подвергались (и, вероятно, не единожды) нашествию термитов, которые и отгрызли заключительные слова приговора церковного судьи.

4. Уцелевшая

В год тысяча четыреста девяносто второй

Колумб переплыл океан голубой.

А дальше? Она не могла вспомнить. Много лет назад, покорные третьеклашки со сложенными на парте руками, они нараспев повторяли это вслед за учительницей. Все, кроме Эрика Дули, который сидел позади нее и жевал ее косичку. Однажды ей велели встать и прочесть две следующие строчки, но едва она поднялась с сиденья на несколько дюймов, как голова ее дернулась назад, и весь класс засмеялся. Эрик повис сзади, вцепившись в ее косу зубами. Может быть, поэтому она так и не смогла запомнить две следующие строчки.

Хотя северных оленей она помнила хорошо. Все началось с северных оленей, которые летали по воздуху на Рождество. Она была девочкой и верила в то, что ей говорят, и олени летали.

Кажется, впервые она увидела их на рождественской открытке. Шесть, восемь, десять оленей, запряженных парами. Она всегда думала,

будто каждая пара — это муж с женой, счастливые супруги, как те звери, что плавали на Ковчеге. Ведь так было бы правильно, естественно, разве нет? Но отец сказал, что в сани запряжены одни самцы, это видно по их рогам. Сначала она была просто разочарована, но потом в ее душе стало закипать негодование. Дед Мороз ездит на чисто мужской упряжке. Типичная картина. Абсолютно типичная, зло думала она.

Они летали, вот в чем была вся штука. Она не верила, что Дед Мороз протискивается в трубу и кладет подарки на краешек кровати, но верила, что северные олени летают. Ее пытались разубедить, говорили, если ты веришь в это, то поверишь во что угодно. Но ей было уже четырнадцать, и она, стриженая и упрямая, за словом в карман не лезла. Нет, говорила она, если б вы только могли поверить, что олени умеют летать, вы бы поняли, что все может быть. Все-все.

Примерно тогда же она ходила в зоопарк. Ей нравились их рога, вот что. Они были все шелковые, точно покрытые какой-то шикарной материей из модного магазина. Похожи на ветки в сказочном лесу, где сотни лет не ступала ничья нога; мягкие, сверкающие, пушистые ветки. Ей чудилась рощица, идущая под уклон, слабый

свет, под ногами похрустывают упавшие орехи. Ага, и пряничный домик в конце тропинки, усмехнулась ее лучшая подруга Сандра, когда она ей сказала. Нет, подумала она, рога превращаются в ветки, ветки в рога. Все связано, и олени *умеют* летать.

Однажды по телевизору она видела, как они дерутся. Они бодались, наскакивали друг на друга, низко опустив головы, и переплетались рогами. Драка была такой жестокой, что они ободрали себе рога. Она думала, там будет просто сухая кость и рога станут похожи на зимние ветки, с которых звери обглодали кору. Но все оказалось не так. Совсем не так. Они кровоточили. Кожа с них содралась, а под ней была не только кость, но и кровь. Белые рога заалели, они выделялись на коричнево-зеленом фоне, как поднос с костями в мясной лавке. Это ужасно, подумала она, но нам нельзя отворачиваться. Все и впрямь связано, даже то, что мы не хотим, особенно то, что мы не хотим.

* * *

После первой большой катастрофы она часто смотрела телевизор. Это не слишком серьезная катастрофа, говорили тогда, ничего страшного, с

бомбой не сравнить. И потом, это ведь случилось далеко, в России, а у них там нет хороших современных электростанций, как у нас, и даже если б были, их требования безопасности, очевидно, намного ниже, так что здесь этого произойти не могло, и нам-то волноваться не о чем, правда? Говорили даже, что это послужит русским уроком. Теперь они семь раз подумают, прежде чем сбросить бомбу.

Странно, но на людей это подействовало как-то возбуждающе. Все интересней, чем последние данные по безработице или цена марки. Кроме того, неприятности большей частью случались с другими. Было ядовитое облако, и все следили, куда оно идет, как следили бы за перемещениями весьма любопытной области низкого давления на карте погоды. Одно время люди перестали покупать молоко и спрашивали мясника, откуда мясо. Но потом тревога улеглась, и все обо всем забыли.

Сначала северных оленей собирались хоронить в шести футах под землей. Эта история не попала в разряд сенсаций — дюйм-два на странице зарубежных новостей, и только. Облако прошло над оленьими пастбищами, яд выпал с дождем, лишайник стал радиоактивным. Что я вам гово-

рила, подумала она, все связано.

Никто не мог понять, с чего она так расстроилась. Ей говорили, хватит сентиментальничать, в конце концов, не собирается же она жить на одной оленине, а если она такая сердобольная, пусть лучше людей пожалеет. Она пробовала объяснить, но объяснения всегда давались ей с трудом, и ее не поняли. А те, кто якобы понял, сказали, ну ясно, это все твое детство и романтические ребячьи бредни, но нельзя же всю жизнь жить с этими ребячьими бреднями, пора наконец и повзрослеть, пора стать реалисткой, ты уж не плачь, а вообще-то, нет, может, оно и неплохо, знаешь, поплачь-ка как следует, пожалуй, это пойдет тебе на пользу. Нет, говорила она, не так все это, совсем не так. Потом пошли шутки карикатуристов: северные олени светятся от радиоактивности, и Деду Морозу на санях не надо освещать себе путь, а у оленя по кличке Красноносый Рудольф такой блестящий нос, потому что он из Чернобыля, но ей это смешным не казалось.

Послушайте, повторяла она людям. Радиоактивность меряют в таких единицах, беккерелях. После катастрофы норвежскому правительству надо было решить, какой уровень радиации в

мясе считать еще безопасным, и они остановились на цифре в 600 беккерелей. Но населению пришлась не по душе мысль, что их мясо отравлено, и дела норвежских мясников пошатнулись, а мясо северных оленей вообще никто не брал, и неудивительно. Тогда правительство поступило вот как. Они сказали, что народ, очевидно, не станет есть оленину слишком часто, уж очень он напуган, а есть более загрязненное мясо время от времени ничуть не вреднее, чем менее загрязненное — постоянно. Так что для оленины допустимый предел заражения подняли до 6000 беккерелей. Фокус-покус! Сегодня вредно есть мясо, в котором 600 беккерелей, а завтра можно спокойно есть то, где их вдесятеро больше. Это, конечно, касается только оленины. А свиная отбивная или телячья шейка, содержащие 601 беккерель, официально считаются опасными.

В одной из телепередач показывали чету лапландских фермеров, которые привезли на проверку тушу убитого оленя. Это случилось сразу после того, как допустимый предел увеличили в десять раз. Инспектор из соответствующего управления, по сельскому хозяйству, что ли, вырезал маленькие кусочки оленьих внутренностей и произвел обычные замеры. Прибор

зафиксировал 42 000 беккерелей. 42 *тысячи.*

Сначала их собирались хоронить на глубине в шесть футов. Однако чем больше несчастье, тем охотнее люди шевелят мозгами. *Хоронить* оленей? Нет, тогда может показаться, будто возникла серьезная проблема, будто что-то и впрямь неладно. Надо найти более практичный способ избавиться от них. Раз нельзя кормить этим мясом людей, почему бы не скормить его животным? Хорошая мысль — но каким животным? Понятно, не тем, которые в конце концов пойдут в пищу людям: царей природы надо беречь. И его решили отдать норкам. Какая удачная идея! Норки — зверюшки не из самых симпатичных, к тому же люди, которые могут позволить себе покупать норковые шубы, вероятно, не станут возражать против небольшой дозы радиоактивности в придачу. Это как чуточка духов за ушами или вроде того. Особый шик, если подумать.

На этом месте большинство знакомых уже переставали слушать, что она говорит, но она всегда продолжала. Ну вот, говорила она, так теперь вместо того, чтобы хоронить оленей, на их тушах рисуют большую синюю полосу и скармливают норкам. Мне кажется, лучше было бы их хоронить. Тогда людям стало бы стыдно. Посмотрите,

что мы сделали с северными оленями, сказали бы те, кто будет рыть яму. По крайней мере, могли бы сказать. Могли бы задуматься. Почему мы так жестоки к животным? Делаем вид, что любим их, держим у себя дома и умиляемся, когда нам кажется, будто они ведут себя похоже на нас, но ведь мы были жестоки к ним с самого начала, разве не так? Убивали их, и мучили, и перекладывали на них свою вину?

* * *

Она перестала есть мясо после той катастрофы. Всякий раз, увидев у себя на тарелке кусочек говядины или ложку гуляша, она вспоминала северных оленей. Несчастных зверей с ободранными рогами, в крови после драки. Потом вереницу туш на блестящих крюках, у каждой на спине синяя полоса, с позвякиванием едущих мимо.

После этого, объясняла она, ей и пришло в голову отправиться сюда. То есть на юг. Ей говорили, что она поступила глупо, сбежала, не захотела стать реалисткой, если уж она так переживала, надо было не удирать, а доказывать свою правоту. Но это слишком угнетало ее. Никто не прислушивался к ее словам. Кроме того, вы все время

должны стремиться туда, где, по-вашему, олени могут летать; это и значит быть реалистом. На севере им уже не подняться.

* * *

Узнать бы, что стало с Грегом. Узнать бы, жив ли он. Узнать бы, что он думает обо мне теперь, когда убедился в моей правоте. Надеюсь, он не возненавидел меня за это. Мужчины часто начинают ненавидеть тебя за твою правоту. А может, он прикинется, будто ничего не случилось; тогда ему легко будет считать, что он прав. Нет, это не то, что ты думала, это просто комета вспыхнула в небе, или летняя гроза, или телевизионщики разыгрывают. Курица безмозглая.

Грег был самый обыкновенный олух. Не то чтобы мне хотелось чего-то другого, когда я его встретила. Он уходил на работу, приходил домой, бездельничал, пил пиво, уходил добавлять с приятелями, иногда слегка поколачивал меня, вечером после получки. Мы жили не так уж плохо. Спорили насчет Пола, конечно. Грег говорил, я должна его кастрировать, чтоб был не такой агрессивный и не царапал мебель. Я говорила, это тут ни при чем, все кошки царапают мебель, наверно, надо купить ему специальный шесток,

обитый материей. Грег сказал, почем я знаю, может, он решит, что его поощряют, и начнет царапать вообще все подряд? Я сказала, не изображай из себя идиота. Он сказал, это научный факт: если кота кастрировать, он станет менее агрессивным. Я сказала, а по-моему, наоборот — если его покалечить, он скорее станет злобным и раздражительным. Тогда Грег взял наши здоровые ножницы и сказал, ладно, а почему бы нам не проверить, черт возьми? Я завопила.

Я бы не дала ему кастрировать Пола, хотя он и правда изрядно попортил мебель. Потом я кое-что вспомнила. Северных оленей тоже кастрируют. В Лапландии, знаете. Выбирают большого самца, кастрируют, и он становится ручным. Потом вешают ему на шею колокольчик, и этот головной, как его там называют, ведет остальных оленей куда захочется пастухам. Так что резон тут есть, но я все равно против. Кот не виноват, что он кот. Грегу я, конечно, ничего про этих, с колокольчиками, не рассказала. Иногда, если он пускал в ход руки, я думала, тебя бы первого кастрировать, может, ты станешь менее агрессивным. Но я никогда этого не говорила. Что толку.

Мы часто ругались, когда речь заходила о животных. Грег считал меня дурой. Как-то я сказала

ему, что всех китов переводят на мыло. Он засмеялся и ответил, что это неслабо придумано — какая-никакая, а все польза. Я разревелась. Наверно, не столько из-за его слов, сколько вообще из-за его отношения к этим вещам.

О самом серьезном мы не спорили. Он просто говорил, что политика — мужское дело, а я сама не соображаю, что несу. Дальше наши беседы о вымирании планеты не заходили. Когда я говорила, что меня волнует, как поведет себя Америка, если Россия ей не уступит, или наоборот, или что-нибудь насчет Ближнего Востока, он говорил, а мне не кажется, что это у меня предменструальный синдром? Сами понимаете, какой уж тут разговор. Он и не собирался обсуждать эти темы, спорить со мной. Как-то я сказала, может быть, это и впрямь предменструальный синдром, и он сказал, ну да, так я и думал. Я сказала, да нет, послушай, может, женщины ближе к миру. Он сказал, о чем это я, а я сказала, ну, все ведь связано, правда, и женщины больше связаны со всеми природными циклами, рождением и возрождением планеты, чем мужчины, которые только оплодотворители, если уж на то пошло, а раз женщины живут в гармонии с миром, то когда на севере происходят ужасные вещи, вещи,

угрожающие самому существованию планеты, женщины, может быть, чувствуют это, чувствуют же некоторые приближение землетрясения, вот, наверно, отсюда и ПМС. Он сказал, курица ты безмозглая, потому-то политика и есть мужское дело, и достал из холодильника еще пива. Через несколько дней он сказал мне: ну и как там насчет конца света? Я посмотрела на него и ничего не ответила, и он сказал, так я и думал, весь этот твой предменструальный синдром только оттого, что у тебя был месяц на носу. Я сказала, ты меня так злишь, что я даже хочу конца света, чтобы ты остался в дураках. Он сказал, жаль, жаль, вот видишь, какая штука, я ведь, по-твоему, только оплодотворитель, но я уверен, что другие оплодотворители там, на севере, как-нибудь да разберутся.

Разберутся? Так говорят сантехники или работяги, которые приходят латать крышу. «Ладно, авось разберемся», — говорят они и подмигивают этак по-приятельски. Ну а теперь-то разобраться им не удалось, правда? Ясное дело, не удалось. И в последние дни кризиса Грег не всегда приходил домой по ночам. Даже он наконец заметил и решил поразвлечься напоследок. В каком-то смысле я не могла его винить, да он бы и не при-

знался. Он сказал, что не приходит, потому что ему надоело слушать мой нудеж. Я сказала, что понимаю и все нормально, но когда я объяснила ему, он взъерепенился. Сказал, если ему захочется подшустрить на стороне, то это будет не из-за мировой ситуации, а потому, что я ему плешь проела. Они просто не видят связи, правда? Когда мужчины в темно-серых костюмах и галстуках в полоску там, на севере, принимают, как они выражаются, известные меры предосторожности, мужчины вроде Грега, в теннисках и ремнях, здесь, на юге, начинают засиживаться в барах и снимать девочек. Они бы должны понять это, правда? Должны бы признать.

Так что, когда это случилось, я не стала ждать Грега домой. Он где-то заливал в себя очередную кружку пива и говорил, что эти парни на севере во всем разберутся, а пока почему бы тебе не посидеть у меня на коленях, цыпочка? Я просто взяла Пола вместе с его корзиной, захватила с собой побольше консервов и несколько бутылок воды и села в автобус. Я не оставила записки, потому что говорить было нечего. Вышла на конечной, на Гарри-Чен-авеню, и пошла пешком по Эспланаде. И угадайте-ка, кто там грелся на крыше машины? Сонная, мирная трехцветная киска. Я погладила

ее, она замурлыкала, тогда я сгребла ее в охапку, один-двое прохожих остановились посмотреть, но не успели они раскрыть рот, как я уже свернула за угол, на Герберт-стрит. Грег рассердился бы, узнай он про лодку. Но он только один из четырех хозяев, а если все они собираются коротать последние дни, напиваясь в барах и снимая девочек из-за мужчин в темно-серых костюмах, которые, по-моему, кастрировали сами себя уже много лет назад, то лодка им вряд ли понадобится, правда? Я погрузилась, а когда отчаливала, увидела, что пестренькая, которую я дела не помню куда, сидит на корзинке Пола и смотрит на меня. «Ты будешь Линда», — сказала я.

* * *

Она покинула мир в месте под названием Докторова балка. Там, где кончается Эспланада в Дарвине, за зданием АМХ современной постройки, извилистая дорога ведет вниз, к заброшенному лодочному причалу. Просторная автомобильная стоянка на солнцепеке обычно пустует, машины бывают здесь, только когда туристы приезжают поглазеть, как кормят рыбу. Теперь ничего больше в Докторовой балке не происходит. Каждый день во время прилива

сотни, тысячи рыб собираются у самого берега и ждут, чтобы их покормили.

Она подумала, как доверчивы рыбы. Они, наверно, считают, что эти двуногие великаны дают им еду по доброте душевной. Может, поначалу так оно и было, но нынче вход сюда стоит два с половиной доллара для взрослых, полтора для детей. Странно, почему туристов, которые останавливаются в больших отелях вдоль Эспланады, это не удивляет. Но люди перестали задумываться о том, что происходит вокруг, — всем некогда. Мы живем в мире, где надо платить, чтобы дети могли посмотреть, как кормят рыбу. Теперь эксплуатируют даже рыб, подумала она. Эксплуатируют, а потом травят. Весь океан постепенно наполняется ядом. Рыбы тоже умрут.

Докторова балка была безлюдна. Отсюда уже почти никто не плавал: все давным-давно перебрались в специально оборудованный порт. Однако на скалах до сих пор лежали две-три лодки, видимо, брошенные хозяевами. На одной из них, серо-розовой, с обломком мачты, было написано: «НЕ ПРОДАЕТСЯ». Это всегда забавляло ее. Грег и его друзья держали свою маленькую лодчонку позади этой, подальше от места кормления рыб. Скалы здесь были завалены металлоломом

— двигателями, котлами, клапанами, трубами, оранжево-красными от ржавчины. Проходя мимо, она вспугнула две-три стайки оранжево-красных бабочек, поселившихся среди этого металлического хлама, который обеспечивал им маскировку. Что мы сделали с бабочками, подумала она; вот где мы заставили их жить. Она перевела взгляд на море, с зарослей невысоких мангровых деревьев, подымающихся вверх по берегу, мимо цепочки маленьких танкеров к низким, горбатым островам на горизонте. Таким было место, где она покинула мир.

Мимо острова Мелвилла, через пролив Дандас и дальше, в Арафурское море; затем она предоставила выбор направления ветру. Кажется, большей частью они плыли на восток, но она следила не слишком внимательно. Запоминать дорогу имеет смысл лишь в том случае, если ты намерен вернуться туда, откуда отправился, а она знала, что это невозможно.

Она не ожидала увидеть на горизонте аккуратные грибовидные облака. Она знала, что это не будет похоже на кино. Иногда чуть менялась освещенность, иногда слышался отдаленный рокот. Подобные вещи могли вовсе ничего не значить; но где-то это уже случилось, и ветры, гуляющие

по планете, довершат начатое. По вечерам она приспускала парус и уходила вниз, в маленькую каютку, оставляя палубу Полу и Линде. Сначала Пол хотел подраться с новенькой — как это у них принято, защищал свою территорию. Но через пару дней кошки свыклись друг с другом.

* * *

Наверно, она слегка перегрелась на солнце. Она провела на жаре целый день, а единственной защитой служила ей одна из старых бейсбольных шапок Грега. У него была целая коллекция таких шапок с дурацкими надписями. Эта была красная с белыми буквами, рекламой какого-то ресторана. Надпись гласила: «ПОКА НЕ ПОЕШЬ В „БИ-ДЖЕЙ“, ГОВНА ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ». Грег получил ее на день рождения от кого-то из собутыльников, и эта шутка никогда не надоедала ему. Бывало, он сидел здесь, в лодке, в этой шапке и с банкой пива в руке и начинал потихоньку посмеиваться себе под нос. Потом смеялся погромче, пока кто-нибудь не обратит внимания, и наконец объявлял: «Пока не поешь в „Би-Джей“, говна из тебя не выйдет». Это приводило его в восторг, снова и снова. Она ненавидела эту шапку, но носить ее стоило. Она забыла цинковую

мазь и все остальные тюбики.

Она знала, что делает. Знала, что из этой затеи, которую Грег, наверно, назвал бы ее очередной авантюркой, может ничего не выйти. Какие бы планы она ни строила — особенно если в них не находилось места Грегу, — он всегда называл их ее очередной авантюркой. Она не рассчитывала пристать к какому-нибудь нетронутому острову, где достаточно бросить через плечо горстку бобов, и за спиной у тебя сразу подымется и приветливо замашет стручками целый бобовый лес. Она не думала увидеть коралловый риф, песчаную отмель из туристического проспекта и кивающую пальму. Она не воображала, будто через пару недель наткнется на ялик с каким-нибудь симпатичным парнягой и двумя собаками; потом на девицу с двумя курами, на увальня с двумя свиньями и так далее. Особых надежд на будущее она не питала. Она просто решила, что надо попробовать, а там уж как выйдет. В этом ее долг. И уклоняться от него нельзя.

* * *

Что-то такое было сегодня ночью. Я просыпалась, а может, еще не проснулась, но я слышала кошек, честное слово, слышала. Вернее, кошку,

как она зовет кота. Но Пола-то звать недолго, он ведь недалеко. Когда я совсем проснулась, уже только волны плескались о борт. Я вылезла наверх, открыла дверь. И увидела в лунном свете, как они сидят бок о бок, такие аккуратненькие, и смотрят на меня. В точности как двое ребят, которых девчонкина мать едва не застукала за поцелуями. Кошка, когда у нее течка, кричит, словно ребенок плачет, правда? Это должно бы научить нас кое-чему.

Я не считаю дней. Какой в этом смысл? Нам надо отвыкать мерить все днями. Днями, уикэндами, отпусками — так меряют люди в серых костюмах. Мы должны вернуться к каким-нибудь более старым циклам, хотя бы от восхода до заката, а другими ориентирами будут луна, и времена года, и колебания климата — того нового, ужасного климата, в котором нам теперь придется жить. Как меряют время дикие племена в джунглях? Еще не поздно у них поучиться. У тех, кто знает секрет, как жить с природой. Они-то не стали бы кастрировать своих кошек. Они могут поклоняться им, могут даже есть их, но кастрировать — ни за что.

Я ем совсем мало, только чтобы продержаться. Я не собираюсь высчитывать, сколько мне при-

дется провести в море, а потом делить запасы на сорок восемь частей или что-нибудь в этом роде. Это старая манера думать, манера, которая привела нас ко всему этому. Я ем, только чтобы держаться, вот и все. Рыбу ловлю, конечно. Я уверена, что это безвредно. Но когда мне удается что-нибудь поймать, я отдаю улов Полу и Линде. Посижу на консервах, а они пока пусть отъедаются.

* * *

Надо быть осторожнее. Кажется, упала на солнце в обморок. Очнулась на спине, кошки лижут лицо. Чувствовала себя разбитой, лихорадило. Наверно, слишком много консервов. В следующий раз, как поймаю рыбу, лучше съем сама, пусть даже они на меня обидятся.

Интересно, что там решил Грег? Решил ли он вообще что-нибудь? Я будто вижу его поодаль, с пивом в руке, он смеется и показывает пальцем. «Пока не поешь в „Би-Джей“, говна из тебя не выйдет», — говорит он. Прочел это у меня на шапке, глядит на меня. Девка на коленях. Моя жизнь с Грегом кажется мне теперь такой же далекой, как жизнь на севере. Недавно я видела летучую рыбу. Точно, видела. Не могла же я это придумать,

правда? У меня сразу поднялось настроение. Рыбы умеют летать, и северные олени тоже.

* * *

У меня определенно жар. Кое-как поймала рыбу и даже сготовила. Очень мешали Пол с Линдой. Сны, плохие сны. По-моему, до сих пор движемся более или менее на восток.

Уверена, что я не одинока. То есть наверняка по всему миру рассеяны такие же, как я. Не может быть, чтобы только я, только я одна в лодке с двумя кошками, а все остальные на суше и кричат: курица безмозглая. Готова поклясться, есть сотни, тысячи лодок с людьми и зверями, которые делают то же, что и я. Покинуть корабль, такая раньше была команда. А теперь вместо этого — покинуть землю. Опасность везде, но на земле больше. Все мы когда-то выползли из моря, верно? Может, это было ошибкой. Теперь мы возвращаемся обратно.

Я представляю себе, как все остальные делают то же, что и я, и это вселяет в меня надежду. Должен же быть у людей инстинкт, правда? Если появилась угроза — рассеяться. Не просто бежать от опасности, но увеличивать шансы на выживание вида. Если мы рассеемся по планете,

кто-нибудь да уцелеет. Если даже они расстреляют всю свою отраву, какой-то шанс должен остаться.

По ночам слышу кошек. Многообещающие звуки.

* * *

Дурные сны. Я бы даже сказала, кошмары. Какой сон уже можно считать кошмаром? Эти мои сны продолжаются и после того, как я проснусь. Словно похмелье. Дурные сны не дадут оставшимся в живых жить спокойно.

* * *

Ей показалось, что на горизонте маячит другое судно, и она поплыла туда. Сигнальных ракет у нее не было, а кричать было слишком далеко, так что она просто поплыла туда. Судно шло параллельно горизонту, и она видела его примерно с полчаса. Потом оно исчезло. А может, это было и не судно, сказала она себе; но что бы это ни было, его исчезновение заставило ее пасть духом.

Она вспомнила одну страшную вещь, про которую как-то прочла в газете, в статье о жизни на борту супертанкера. В последние годы корабли

становились все больше и больше, а их команды все меньше и меньше, потому что за людей работала техника. Стоило лишь запрограммировать компьютер где-нибудь в Мексиканском заливе или неважно где, и корабль практически сам шел оттуда в Лондон или Сидней. Это было гораздо удобней для владельцев, которые экономили кучу денег, и для команды, у которой теперь была только одна забота: как-нибудь убить время. Большую его часть они проводили внизу; пили там пиво, как Грег, насколько она поняла. Пили пиво и смотрели телевизор.

Так вот, одну вещь из этой статьи она не могла забыть. Там говорилось, что прежде кто-то всегда был наверху, в «вороньем гнезде» или на мостике, и следил за морем. Но теперь на больших кораблях уже нет впередсмотрящих — в крайнем случае, кто-нибудь иногда поглядывает на экран, по которому движутся световые пятна. Прежде, если вас и носило по морю, например на плоту или в шлюпке, а мимо шел корабль, было весьма вероятно, что вас подберут. Вы махали, и кричали, и пускали ракеты, если могли; вы привязывали к мачте свою рубашку; и всегда были люди, готовые заметить вас. Теперь вы можете болтаться в океане неделями, а когда наконец по-

явится супертанкер, он пройдет мимо. Радар вас не заметит, потому что вы слишком малы, и вам повезет, если кто-нибудь по чистой случайности будет висеть на борту и блевать. Было множество случаев, когда потерпевших крушение, которых прежде обязательно бы спасли, просто не замечали; бывало даже такое, что людей давили корабли, идущие как будто бы им на помощь. Она пыталась представить себе всю эту жуть, страшное ожидание и потом это чувство, когда корабль проходит мимо, а ты ничего не можешь сделать, и все твои крики заглушает шум двигателей. Вот что не так в этом мире, подумала она. Мы отказались от впередсмотрящих. Мы не думаем о спасении других, а просто плывем вперед, полагаясь на наши машины. Все внизу, пьют пиво вместе с Грегом.

Так что судно на горизонте могло не заметить ее, даже если бы прошло рядом. Да она и не хотела, чтобы ее спасли, ничего такого. Просто узнать какие-нибудь новости о мире, только и всего.

* * *

Кошмары мучили ее все чаще. Похмелье дурных снов съедало все большую часть дня. Она чувствовала, что лежит на спине. Рука боле-

ла. На ней были белые перчатки. Похоже, она находилась в чем-то вроде клетки: по обе стороны поднимались вверх металлические прутья. Мужчины приходили и смотрели на нее, всегда только мужчины. Она подумала, надо записать все эти кошмары, записать, как будто это явь. Она сказала мужчинам в кошмарах, что собирается записать про них. Они улыбнулись и ответили, что дадут ей бумагу и карандаш. Она не взяла. Сказала, у нее есть.

* * *

Она знала, что рыба идет кошкам на пользу. Знала, что они здесь мало двигаются и потому толстеют. Но все же ей казалось, что Линда потолстела больше, чем Пол. Она не хотела верить, что это произошло. Не отваживалась.

Однажды она увидела землю. Завела мотор и поплыла к ней. Когда она уже различала мангровые деревья и пальмы, горючее кончилось, и ветер стал относить ее прочь. Удивительно, но, глядя на исчезающий остров, она не чувствовала ни грусти, ни разочарования. В любом случае, подумала она, найти новую землю с помощью дизельного двигателя было бы обманом. Надо учиться все делать по-старому: будущее лежит в

прошлом. Пусть ветры ведут и охраняют ее. Она выбросила канистры из-под горючего за борт.

* * *

Я сошла с ума. Наверно, до отплытия я забеременела. Конечно. Как я не догадалась, что это и есть ответ? Все эти шуточки Грега насчет того, что он только оплодотворитель, а я не понимала очевидного. Вот зачем он вообще был. Вот зачем я его встретила. Все эти уловки кажутся теперь такими странными. Куски резины, мазь туда, таблетки внутрь. Больше ничего этого не будет. Мы должны опять вернуться к природе.

Узнать бы, где сейчас Грег; если он еще где-нибудь есть. Может быть, он умер. Я никогда не верила этому закону, что выживают самые приспособленные. Глядя на нас, всякий решил бы, что уцелеть предстоит Грегу: он крепче, сильнее, практичней, во всяком случае по нашим меркам, консервативней, беспечней. Я мнительна, никогда не умела плотничать, не такая самостоятельная. Но уцелеть суждено мне; во всяком случае, у меня есть шанс. Выживание мнительных — вот, значит, что получается? Люди, подобные Грегу, вымрут, как динозавры. Если хочешь уцелеть, ты должен понимать, что происходит; это и есть

настоящее правило. Я уверена, были звери, которые почувствовали приближение ледникового периода и отправились в далекий, трудный путь в поисках безопасных земель с более теплым климатом. И уверена, что динозавры считали их чересчур нервными, приписывали все предменструальному синдрому, говорили: курицы безмозглые. Интересно, северные олени знали, что с ними случится? Вам не кажется, что они всегда это как-то чувствовали?

* * *

Мне говорят, я ничего не понимаю. Не умею делать правильные выводы. Послушайте-ка их, послушайте, как они делают выводы. Случилось это, говорят они, а благодаря этому случилось то. Была война тут, битва там, где-то свергли короля, великие люди — вечно эти великие люди, я устала от великих людей — вот настоящие виновники событий. Может быть, я слишком долго была на солнце, но я не понимаю их выводов. Я гляжу на историю мира, которая подходит к концу, хотя они этого не замечают, и не вижу того, что видят они. Все, что я вижу, — это откуда берутся старые выводы, делать которые мы давно разучились, потому что так проще травить оленей, и рисовать

им полосы на спине, и скармливать их норкам. Кто же виновник этих событий? Какой великий человек поставит это себе в заслугу?

* * *

Смешно. Послушайте этот сон. Я лежала в постели, и я не могла двигаться. Все было немного размытым. Я не знала, где я. Там был человек. Не помню, как он выглядел, — просто человек. Мужчина. Он сказал:

— Как вы себя чувствуете? — Я сказала:

— Прекрасно.

— Правда?

— Конечно. А что тут странного?

Он не ответил, только кивнул и, казалось, оглядел сверху вниз все мое тело — я была под одеялом, разумеется. Потом сказал:

— Больше не тянет?

— На что не тянет?

— Вы знаете, о чем я говорю.

— Прошу меня извинить, — сказала я (забавно, как во сне вдруг становишься необычайно вежливой, хотя наяву и не подумала бы), — прошу меня извинить, но я действительно не имею ни малейшего понятия о том, на что вы намекаете.

— Вы нападали на людей.

— Да ну? И что же мне было нужно — их кошельки?

— Нет. Похоже, все дело в сексе.

Я засмеялась. Человек нахмурился; я помню его нахмуренные брови, хотя все остальное лицо забылось.

— Ну, это уж чересчур прозрачно, — сказала я, чопорная актриса из старого фильма. Потом посмеялась еще. Знаете этот момент, словно просвет в облаках, когда во сне вдруг понимаешь, что ты только спишь? Он снова нахмурился. Я сказала: — Не будьте таким банальным. — Это не понравилось ему, и он ушел.

Я проснулась, усмехаясь про себя. Думала о Греге, и о кошках, и о том, не беременна ли я, и вот вам, пожалуйста, эротический сон. Сознание бывает весьма прямолинейным, правда? Откуда у него уверенность, что оно сможет обмануть вас даже таким нехитрым способом?

Плывем куда глаза глядят, а в голове у меня все вертится этот стишок:

В год тысяча четыреста девяносто второй

Колумб переплыл океан голубой.

А дальше что? Все у них всегда так просто. Име-

на, даты, свершения. Ненавижу даты. Даты — это выскочки, даты — всезнайки.

* * *

Она никогда не сомневалась, что доплывет до острова. Она спала, когда их пригнало сюда ветром. Все, что от нее потребовалось, это провести лодку меж двух каменных шишек и причалить к галечной отмели. Здесь не было ни роскошного песчаного пляжа, мечты туриста, ни кораллового волнолома, ни даже кивающей пальмы. Она почувствовала облегчение и благодарность. Лучше, чтобы песок был скалой, пышные джунгли — кустарником, плодородная почва — кучей мусора. Излишек красоты, излишек зелени могли бы заставить ее позабыть обо всей остальной планете.

Пол выскочил на берег, но Линда ждала, пока ее перенесут. Да, подумала она, вот мы и нашли землю. Первое время она решила спать в лодке. Полагалось сразу по прибытии начинать строить бревенчатую хижину, но это было глупо. Может, этот остров еще и не подойдет.

* * *

Она надеялась, что с высадкой на остров кош-

мары наконец прекратятся.

* * *

Стояла сильная жара. Как будто сюда провели центральное отопление, сказала она себе. Не было ни ветерка, погода не менялась. Она наблюдала за Полом и Линдой. Они были ее утешением.

Кошмары, сообразила она, вполне могут быть оттого, что она спит в лодке, оттого, что после дневных прогулок ей приходится всю ночь проводить в тесноте и духоте. Наверно, ее сознание бунтует, просится наружу. Тогда она соорудила себе маленький навес там, куда не добирался прилив, и стала спать под ним.

Но это не помогло.

С ее кожей творилось что-то ужасное.

* * *

Кошмары стали хуже. Она решила, что это нормально, если слово «нормально» вообще имеет теперь какой-нибудь смысл. По крайней мере, в ее положении этого следовало ожидать. Она была отравлена. Насколько сильно, она не знала. Мужчины в ее снах всегда были очень вежливы, даже мягки. Это и научило ее не доверять им: они

искушали ее. Сознание пыталось побороть реальность, спорило с самим собой, с тем, что было ему известно. Тут, конечно, работала какая-то химия, антитела или что-нибудь в этом духе. Сознание, в шоке от того, что случилось, изобретало доводы, опровергающие то, что случилось. В этом не было ничего неожиданного.

* * *

Я приведу вам пример. Я очень хитра в своих кошмарах. Когда приходят мужчины, я делаю вид, что не удивилась. Веду себя так, словно это нормально, их появление здесь. Заставляю их раскрывать карты. Последней ночью у нас был такой разговор. Понимайте как знаете.

— Зачем на мне белые перчатки? — спросила я.

— По-вашему, это перчатки?

— А по-вашему, что?

— Нам пришлось поставить вам капельницу.

— И поэтому мне понадобились белые перчатки? Мы не в опере.

— Это не перчатки. Это бандажи.

— Кажется, вы только что говорили про капельницу.

— Правильно. Бандажи нужны, чтобы не сбить

капельницу.

— Но я не могу пошевелить пальцами.

— Это нормально.

– *Нормально?* — сказала я. — А что вообще теперь нормально? — Он не нашелся с ответом, и я заговорила опять: — На какой руке капельница?

— На левой. Вы же сами видите.

— Тогда почему на правой тоже бандаж?

Прежде чем ответить, он надолго задумался. Наконец сказал:

— Потому что вы пытались сорвать капельницу свободной рукой.

— Зачем?

— На это, по-моему, могли бы ответить только вы.

Я покачала головой. Он ушел, посрамленный. Что ж, сам напросился, разве не так? Но следующей ночью меня снова вынудили принять вызов. Видимо, мое сознание решило, что я чересчур легко спровадила этого искусителя, и изобрело другого, который все время называл меня по имени.

— Как вы сегодня себя чувствуете, Кэт?

— Я думала, вы всегда говорите «мы». Если, конечно, вы те, за кого себя выдаете.

— Зачем мне говорить «мы», Кэт? Я знаю, как я себя чувствую. Я спрашиваю у вас.

— У нас, — саркастически усмехнулась я. — У нас в зоопарке все о'кей, премного благодарны.

— Почему в зоопарке?

— Решетки же, глупый. — На самом деле я не думала, что это зоопарк; я хотела узнать, что об этом думают они. Сражаться с собственным сознанием бывает временами не так уж легко.

— Решетки? А, ну это просто часть вашей кровати.

— Моей кровати? Извините, но это же не детская кроватка, а я не ребенок.

— Это специальная кровать. Смотрите. — Он щелкнул фиксатором и увел прутья с одной стороны вниз, так что я потеряла их из виду. Потом поднял снова и защелкнул.

— Ага, понятно, — это чтобы меня запирать, да?

— Нет, нет, вовсе нет. Мы просто не хотим, чтобы вы во сне выпали из кровати, Кэт. Если, скажем, у вас будет кошмар.

Это была ловкая тактика. *Если у вас будет кошмар*… Но такой малости, конечно, не хватит, чтобы меня перехитрить. По-моему, я знаю, что вытворяет мое сознание. Я и правда воображаю

себе что-то вроде зоопарка, потому что только в зоопарке я видела северных оленей. То есть живых. Поэтому они ассоциируются у меня с решетками. Мое сознание помнит, что для меня все это началось с северных оленей; вот оно и придумало такой обман. Оно очень коварно, сознание.

— У меня *не бывает* кошмаров, — ответила я, словно мы говорили о прыщах или о чем-нибудь в этом роде. Я подумала, полезно будет сказать ему, что его не существует.

— Ну, тогда если вы вдруг захотите погулять во сне, да мало ли.

— Разве я гуляла во сне?

— Мы не можем следить за всеми, Кэт. В одной лодке с вами очень много народу.

— Я знаю! — выкрикнула я. — Знаю!

Я закричала, потому что меня охватила радость победы. Он был умен, этот мой противник, но он выдал себя. *В одной лодке*. Конечно, он хотел сказать *в других лодках*, но мое сознание на миг потеряло контроль над ситуацией, и произошла осечка.

Этой ночью я спала хорошо.

* * *

Ее поразила ужасная мысль. А если с котятами что-нибудь не в порядке? А если Линда родит уродцев, чудовищ? Может ли это случиться так скоро? Что за ветры пригнали их сюда, какую заразу они принесли с собой?

Кажется, она много спала. Ровная жара продолжалась. Почти все время ее мучила жажда; она пила из ручья, но это не помогало. Может, вода была какая-нибудь плохая. У нее слезала кожа. Она поднимала руки перед собой, и ее пальцы были как рога оленя после драки. Подавленность не проходила. Она пыталась подбодрить себя мыслью, что у нее, по крайней мере, нет на этом острове дружка. Что сказал бы Грег, увидь он ее такой?

* * *

Это все разум виноват, решила она; разум всему причиной. Он просто чересчур разогнался, на свою беду, вот его и занесло не туда. Это ведь благодаря разуму изобрели такое страшное оружие, разве нет? Нельзя же представить себе животное, которое готовит свою собственную погибель?

Она придумала такую историю. Жил-был в лесу медведь, умный медведь, находчивый — нормальный, одним словом. И вот он как-то начал рыть огромную яму. Когда она была готова, он выломал в чаще сук, очистил его от веток и листьев, обглодал один конец, так что он стал острым, и воткнул этот кол в дно ямы, острием вверх. Потом медведь прикрыл вырытую яму ветвями и всяким лесным мусором, чтобы это место не отличалось от любого другого места в лесу, и ушел восвояси. А теперь угадайте, где медведь вырыл эту западню? Аккурат посередине одной из своих любимых тропок, там, где он всегда ходил, направляясь за дупляным медом или по каким-нибудь там еще медвежьим делам. Так что на следующий день он брел себе по тропинке, свалился в западню и напоролся на кол. Умирая, он подумал: ай-яй-яй, ну и чудеса, вот ведь как все обернулось. Наверно, не стоило рыть ловушку в этом месте. Наверно, вообще не стоило рыть ловушку.

Вы не можете представить себе такого медведя, правда? Но с нами-то произошло то же самое, думала она. Наш разум занесло не туда. Надо было вовремя остановиться. Но именно этого-то разум и не умеет. Интересно, были ли кошмары у первобытных людей? Она могла бы поклясться,

что нет. А если и были, то не такие, как у нас.

Она не верила в Бога, но теперь ей хотелось поверить. Не потому, что она боялась смерти. Тут было другое. Она хотела поверить в кого-нибудь, кто смотрел бы на все со стороны, кто видел бы, как медведь вырыл себе западню, а потом упал туда. Это не было бы такой хорошей историей, если бы не нашлось никого, кто мог бы ее рассказать. Послушайте-ка, что они натворили — взяли да и взорвали сами себя. Курицы безмозглые.

* * *

Тот, с кем я спорила про перчатки, пришел опять. Я уличила его во лжи.

— Перчатки до сих пор у меня на руках, — сказала я.

— Да, — ответил он, думая потрафить мне, но просчитался.

— А капельницы-то нет.

К этому он был явно не готов.

— Ну да.

— Так зачем же на мне мои белые перчатки?

— А. — Он помолчал, соображая, что бы соврать. И неплохо придумал: — Вы рвали на себе волосы.

— Чушь. Они выпадают. Выпадают каждый

день.

— Нет, боюсь, это вы их рвали.

— Чушь. Мне стоит только дотронуться до них, и они выпадают большими клочьями.

— Боюсь, что нет, — покровительственно сказал он.

— Уйдите! — крикнула я. — Уйдите, уйдите!

— Конечно.

И он ушел. Эта ложь насчет моих волос была самой хитрой, самой близкой к правде. Потому что я действительно трогала свои волосы. Что ж, ничего удивительного в этом нет, верно?

Однако то, что я велела ему уйти и он ушел, было добрым знаком. Я чувствую, что беру верх, начинаю контролировать свои кошмары. Это просто такой этап, и я его почти прошла. Я буду рада, когда он кончится. Следующий, конечно, может оказаться и хуже, но во всяком случае он будет другим. Любопытно, как сильно я уже отравлена? Еще не пора рисовать на моей спине синюю полосу и скармливать меня норкам?

* * *

Разум занесло не туда; она ловила себя на том, что повторяет это. Все связано, оружие и кошмары. Вот почему пришлось разорвать круг. Снова

учиться смотреть на вещи просто. Начинать сначала. Говорят, время нельзя повернуть вспять, но это неправда. Будущее там, в прошлом.

Она хотела бы положить конец приходам этих людей и их искушениям. Она думала, они отстанут, когда нашла остров. Думала, отстанут, когда перебралась спать под навес. Но они только сделались еще настойчивей и хитрее. Из-за этих кошмаров она боялась засыпать вечерами; но ей так нужен был отдых, и каждое утро она просыпалась все позже и позже. По-прежнему стояла ровная жара; было душно, как в больничной палате, где кругом горячие батареи. Кончится это когда-нибудь? Наверно, случившееся уничтожило времена года или, по крайней мере, сделало из четырех времен года два — ту особую зиму, о которой всех их предупреждали, и это кошмарное лето.

* * *

Не знаю, который из них это был. Я стала закрывать глаза. Это труднее, чем вы думаете. Когда вы уже спите с закрытыми глазами, попробуйте закрыть их снова, чтобы избавиться от кошмара. Это нелегко. Но если я научусь этому, то смогу, может быть, сделать и следующий шаг — научиться

зажимать уши. Это должно помочь.

— Как вы себя чувствуете сегодня утром?

— Почему *утром*? Вы же всегда приходите только ночью. — Видите, как я не даю им спуску даже в мелочах?

— Как вам будет угодно.

— Что значит «как мне будет угодно»?

— Хозяин — барин.

Это верно, хозяин — барин. Вы должны держать свое сознание под контролем, иначе его занесет неизвестно куда вместе с вами. Между прочим, так и возникла опасность, которая грозит сейчас миру. Держите разум под контролем.

Поэтому я сказала:

— Уходите.

— Вы все время это повторяете.

— Ведь вы же признали мое право решать.

— Придет день, и вы не сможете избежать разговора об этом.

— День. Опять за свое. — Я не открывала глаз. — Ну ладно, о чем — «об этом»? — Я думала, что загоню-таки его в угол, но это могла быть тактическая ошибка.

— Об этом? Ну, обо всем… Как вы попали в такой переплет, как мы собираемся помочь вам выпутаться.

— Ничего-то вы не знаете. Хоть с этим бы согласились!

Он пропустил мои слова мимо ушей. Ненавижу эту их манеру делать вид, будто они не слышат вещей, которые ставят их в тупик.

— Грег, — сказал он, явно меняя тему. — Ваше чувство вины, отверженности и тому подобное…

— Грег жив? — Кошмар был так реален, что мне показалось, будто он может знать ответ.

— Грег? Да-да, с Грегом все в порядке. Но мы думали, это не поможет…

— Почему у меня должно быть чувство вины? Я не считаю себя виноватой за лодку. Он хотел только пить пиво и шататься по девочкам. Для этого лодка не нужна.

— По-моему, не в лодке суть.

— Как это — не в лодке? Если б не лодка, меня бы здесь не было.

— По-моему, вы слишком много перекладываете на эту лодку. Чтобы не думать о том, что случилось раньше. Вам не кажется, что именно так вы и поступаете?

— Почем я знаю? Это же *вы* у нас специалист.

Я понимают что мои слова прозвучали издевательски, но я не смогла удержаться. Уж больно он меня разозлил. Словно это я ничего не замечала

до того, как взяла лодку. Да коли на то пошло, я была одной из немногих, кто замечал. Остальные, почти весь мир, вели себя, как Грег.

— Что ж, по-моему, дело идет на поправку.

— Уходите.

* * *

Я знала, что он еще появится. Пожалуй, я даже немножко хотела, чтоб он вернулся. Наверно, просто чтобы покончить с этим. К тому же, признаюсь, он меня заинтриговал. То есть я точно знаю, что произошло, и более или менее почему, и более или менее как. Но мне хотелось поглядеть, насколько ловко он — то есть на самом-то деле я сама — сможет все объяснить.

— Так вы считаете, что готовы поговорить о Греге?

– *О Греге?* При чем тут Грег?

— Ну, нам кажется, и мы рады были бы, если б вы это подтвердили, что ваш… ваш разлад с Грегом очень многое объясняет в ваших теперешних… проблемах.

— Ничего-то вы не знаете. — Мне нравилось повторять это.

— Так помогите мне узнать, Кэт. Растолкуйте мне, что к чему. Когда вы впервые заметили, что

у вас с Грегом не все ладно?

— Грег, Грег. Рехнуться можно, атомная война вас не волнует, а на Греге прямо свет клином сошелся.

— Ну да, война, конечно. Но, по-моему, лучше говорить обо всем по порядку.

— А Грег важнее войны? Странная у вас система приоритетов. Может быть, война началась из-за Грега. Вы знаете, что у него есть бейсбольная шапка с надписью «ВОЙНА КРУЧЕ ЛЮБВИ»? Может, он сидел и пил пиво и нажал кнопку просто от нечего делать.

— Это интересный подход. Сейчас мы с вами что-нибудь нащупаем. — Я не ответила. Он продолжал: — Правы ли мы, считая, что с Грегом вы как бы поставили все на одну карту? Думали, что он ваш последний шанс? Возможно, вы возлагали на него чересчур большие надежды?

Я уже была сыта этим по горло.

— Меня зовут Кэтлин Феррис, — сказала я, скорее себе, чем кому-нибудь другому. — Мне тридцать восемь лет. Я уехала с севера и поселилась на юге, потому что видела, что происходит. Но война преследовала меня. Она все равно началась. Я села в лодку и поплыла, куда ветер дует. Я взяла с собой двух кошек, Пола и Линду. Я нашла

этот остров. Я живу здесь. Я не знаю, что со мной будет, но знаю, что те из нас, кто думает о судьбе планеты, должны жить дальше.

Договорив, я вдруг заметила, что плачу. Слезы текли вниз по лицу и в уши. Я ничего не видела, ничего не слышала. Мне казалось, я плыву, тону.

Наконец, очень тихо, — а может быть, это мешала попавшая в уши вода? — тот человек сказал:

— Да, мы предполагали, что у вас сложилась такая картина.

— Я была в полосе отравленных ветров. У меня слезает кожа. Все время хочется пить. Я не знаю, насколько это серьезно, но знаю, что должна держаться. Хотя бы ради кошек. Я могу им понадобиться.

— Да.

— Что «да»-то?

— Ну… психосоматические симптомы могут быть очень убедительными.

— Очухайтесь же вы наконец! Была атомная война!

— Хммм, — промычал этот человек. Он намеренно провоцировал меня.

— Ладно, — сказала я. — Давайте теперь послушаем вашу версию. По-моему, вам не терпится ее изложить.

— Ну, мы считаем, что все это из-за вашего разлада с Грегом. И ваших отношений, конечно. Собственничество, рукоприкладство…

Сначала я собиралась ему подыгрывать, однако не смогла удержаться и перебила:

— Какой там разлад. Просто взяла лодку, когда началась война.

— Да, конечно. Но у вас с ним… вы считаете, у вас с ним все шло хорошо?

— Не хуже, чем с другими олухами. Он ведь олух, Грег. Он нормальный для олуха.

— Все совпадает.

— Что значит «совпадает»?

— Ну, понимаете, мы затребовали сюда с севера ваши данные. Намечается закономерность. Вы любите ставить все на одну карту. С мужчинами одного типа. Согласитесь, это ведь всегда немного опасно. — Я не ответила, и он продолжал: — У нас это называется устойчивым синдромом жертвы. УСЖ.

Я решила промолчать снова. Честно говоря, я не поняла, о чем это он. Что он такое плетет.

— Вы всю жизнь любили отрицать, верно? Вы… очень многое отрицаете.

— Да нет, что вы, — сказала я. Это было нелепо. Я подумала, что пора выводить его на чистую

воду. — Так что же, по-вашему, значит и никакой войны не было?

— Не было. То есть риск был велик. Война и впрямь запросто могла начаться. Но они там как-то разобрались.

– *Они там как-то разобрались!* — насмешливо выкрикнула я, потому что это доказывало все. Мое сознание помнило эти слова Грега, которые показались мне тогда такими самодовольными. Мне приятно было кричать, я захотела выкрикнуть еще что-нибудь, и я это сделала. — Пока не поешь в «Би-Джей», говна из тебя не выйдет! — завопила я.

Меня охватило торжество, но тот человек как будто ничего не понял и положил ладонь мне на руку, словно хотел успокоить.

— Правда разобрались. Войну предотвратили.

— Понятно, — ответила я, все еще ликуя. — Так, стало быть, я не на острове?

— Нет, нет.

— Я его себе вообразила?

— Да.

— И лодки, стало быть, тоже не существует?

— Нет, вы плыли на лодке.

— Но на ней не было кошек.

— Нет, когда вас нашли, с вами были две кошки.

Страшно худые. Они едва выжили.

Он хитро делал, что не противоречил мне на каждом шагу. Но это можно было предвидеть. Я решила изменить тактику. Прикинусь растерянной, вызову у него легкое сочувствие.

— Не понимаю, — сказала я, дотягиваясь до его руки и беря ее в свою. — Если войны не было, почему я оказалась в лодке?

— Грег, — сказал он с какой-то отвратительной самоуверенностью, словно я наконец признала что-то. — Вы бежали от него. Мы замечаем, что люди с устойчивым синдромом жертвы часто испытывают острое чувство вины и обращаются в бегство. А тут еще плохие вести с севера. Они стали для вас предлогом. Вы материализовали свое беспокойство и смятение, перенесли их во внешний мир. Это нормально, — покровительственно добавил он, хотя было ясно, что он так не считает. — Вполне нормально.

— Я тут не единственная устойчивая жертва, — ответила я. — Весь наш полоумный мир — устойчивая жертва.

— Конечно, — он согласился, не слушая.

— Говорили, вот-вот будет война. Говорили, война уже началась.

— Об этом то и дело говорят. Но они там как-то

разобрались.

— Значит, стоите на своем. Ну-ну. Так где же, по вашей версии, — я произнесла это слово с ударением, — где меня нашли?

— Примерно в сотне миль к востоку от Дарвина. Вы кружили в лодке на одном месте.

— Кружила на одном месте, — повторила я. — В точности как наш мир. — Сначала он говорит, что я наделяю мир своими проблемами, а потом — будто я делаю то, чем, как все знают, этот мир занимается давным-давно. Не слишком убедительно, прямо скажем. — А как вы объясните, что у меня выпадают волосы?

— Боюсь, это вы сами их рвали.

— А почему слезает кожа?

— Вам пришлось нелегко. У вас был очень сильный стресс. В этом нет ничего необычного. Но все наладится.

— А почему же я очень ясно помню все, что случилось с момента объявления о начале войны на севере до моего пребывания здесь, на острове?

— Есть такой технический термин — фабуляция. Вы придумываете небылицу, чтобы обойти факты, о которых не знаете или которые не хотите принять. Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет. Особенно в слу-

чаях двойного стресса.

— Как-как?

— Если сильный стресс в личной жизни совпадает с политическим кризисом во внешнем мире. Когда дела на севере идут плохо, у нас всегда увеличивается количество поступлений.

— Скоро вы скажете мне, что в море было полным-полно психов, которые кружили на одном месте.

— Таких было немного. Человека четыре-пять. Мало ведь у кого доходит до лодки. — Он говорил так, словно на него произвело впечатление мое упорство.

— И сколько же… поступлений было у вас на этот раз?

— Около двадцати.

— Что ж, я в восторге от вашей фабуляции, — сказала я, возвращая ему его термин. Это поставит его на место. — Я и правда считаю ее очень умной.

Но, конечно, он себя выдал. *Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет* — ведь это его собственная тактика.

— Я рад, что дело пошло на поправку, Кэт.

— Вот идите и разберитесь, — сказала я. — Между прочим, нет ли новостей о северных оленях?

— Какие новости вас интересуют?

— Хорошие новости! — крикнула я. — Хорошие!

— Я постараюсь узнать.

* * *

Она почувствовала себя усталой, когда кошмар кончился, но победа осталась за ней. Она вытянула из искусителя все самое худшее. Теперь ей ничто не грозит. Конечно, он совершил целый ряд грубых промахов. *Я рад, что дело пошло на поправку* — он не должен был этого говорить. Кому понравится, если его собственное сознание будет относиться к нему свысока. А еще он выдал себя с головой, когда сказал, что ее кошки похудели. Это было самое запоминающееся из всего путешествия, как они толстели, как им нравилась рыба, которую она ловила.

Она твердо решила не говорить больше со своими гостями. Она не могла помешать им приходить — наверняка они будут навещать ее еще много-много ночей, — но говорить с ними она больше не станет. Она уже научилась закрывать глаза во время кошмара; теперь научится держать на замке рот и уши. Она не даст себя обмануть. Не даст.

А если ей суждено умереть, что ж, она умрет. Наверно, они попали в полосу сильно отравленных ветров; насколько сильно, выяснится, когда она либо поправится, либо умрет. Она волновалась за кошек, но знала, что они проживут и без нее. Вернутся к природе. Да они уже вернулись. Когда запасы еды в лодке иссякли, они начали охотиться. Вернее, только Пол. Линда слишком растолстела. Пол приносил ей всяких маленьких зверьков вроде кротов и мышек. Когда Кэт видела это, на ее глаза наворачивались слезы.

Все из-за того, что ее сознание боится смерти, вот к какому выводу она пришла. Когда у нее испортилась кожа и начали выпадать волосы, ее сознание принялось выдумывать другое объяснение. Она даже знала теперь, как это называется по-научному: фабуляция. Где она подцепила это слово? Наверное, вычитала в каком-нибудь журнале. Фабуляция. Берешь несколько подлинных фактов и строишь на них новый сюжет.

Она помнила разговор, который они вели прошлой ночью. Тот человек во сне сказал: вы многое в жизни отрицаете, ведь так? А она сказала: да нет, что вы. Она вспоминала это с улыбкой; но тут было и серьезное. Нельзя себя обманывать. Так делал Грег. Мы должны смотреть на вещи

как они есть; мы не можем больше полагаться на фабуляции. Иначе нам не уцелеть.

* * *

На следующий день, проснувшись на своем маленьком, заросшем кустарником острове в Торресовом проливе, Кэт Феррис обнаружила, что Линда родила котят. Их было пятеро — пестрых, сбившихся в одну кучку, беспомощных и слепых, но безо всяких изъянов. Они были такие милые. Конечно, кошка не позволит ей трогать их, но это ее право, это нормально. Она была так счастлива! Ведь теперь можно было надеяться!

5. Кораблекрушение
I

Все началось с дурного знака.

Когда они обогнули мыс Финистерре и шли на юг, подгоняемые свежим ветром, к фрегату приблизилась стая морских свиней. Люди заполнили полуют и сгрудились у поручней, дивясь способности этих животных кружить около судна, уже набравшего хороший ход в девять-десять узлов. В то время как они любовались играми морских свиней, поднялся крик. Корабельный юнга выпал в один из передних орудийных портов по левому борту. Был произведен сигнальный выстрел, сброшен спасательный плотик, и судно легло в дрейф. Однако с этими действиями замешкались, и к моменту спуска шестивесельного баркаса место происшествия осталось далеко позади. Не удалось найти даже плотик, тем более юнгу. Ему было только пятнадцать лет, и знавшие его утверждали, что он хороший пловец; они полагали, что он, скорее всего, достиг плотика. Если так, то он, без сомнения, погиб на нем, претерпев жесточайшие муки.

Экспедиция в Сенегал состояла из четырех судов: фрегата, корвета, флута и брига. Она отправилась с острова Экс 17 июня 1816 года, имея на борту 365 человек. Теперь, потеряв одного члена команды, она держала курс на юг. Моряки запаслись провизией на Тенерифе, взяв в дальнейший путь тонкие вина, апельсины, лимоны, плоды баньяна и всевозможные овощи. Здесь они отметили развращенность местных жителей: женщины Санта-Круса стояли у своих дверей и заманивали французов внутрь, уверенные, что ревность их мужей будет излечена монахами Инквизиции, кои неодобрительно отзывались об одержимости брачными узами как об ослеплении, насылаемом Сатаной. Вдумчивые путешественники приписали сии нравы влиянию южного солнца, чья сила, как известно, сокрушает и физические, и моральные препоны.

С Тенерифе отправились на юго-юго-запад. Вследствие свежих ветров и некомпетентности командного состава флотилия распалась. Фрегат в одиночестве пересек тропик и миновал мыс Барбас. Он шел в виду берега, иногда приближаясь к нему на расстояние в полпушечного выстрела. Море было усеяно скалами; бригантины нечасто посещали эти места при низкой воде.

Когда обогнули мыс Бланко или то, что моряки за него приняли, судно очутилось на мелководье; лот бросали каждые полчаса. На рассвете месье Моде, вахтенный прапорщик, произвел счисление на клетке с курами и определил, что они находятся у кромки Аргенского рифа. Его советами пренебрегли. Но даже те, кто был несведущ в морском деле, заметили изменение цвета воды; у борта корабля виднелись водоросли, и было выловлено великое множество рыбы. При тихом море и ясной погоде фрегат садился на мель. Лот показал восемнадцать саженей, вскоре после этого — шесть саженей. Судно, приведенное к ветру, почти немедленно дало крен; потом еще и еще один. Промером определили глубину в пять метров и шестьдесят сантиметров.

К несчастью, они наткнулись на риф, когда вода стояла высоко; и при подымающемся на море волнении попытки освободить корабль потерпели неудачу. Фрегат был, несомненно, потерян. Поскольку имеющиеся на нем лодки не могли забрать всю команду, решено было сложить плот и поместить на него остальных. Затем плот предполагалось отбуксировать к берегу; таким образом, все были бы спасены. Этот план казался непогрешимым; но, как заявляли позже

двое очевидцев, он был построен на песке, развеянном дуновением эгоизма. Плот был сложен, и сложен хорошо, места в лодках распределены, провизия заготовлена. На рассвете, при двух метрах семидесяти сантиметрах воды в трюме и сломанных помпах, был отдан приказ покинуть корабль. Однако нарушения сразу же расстроили безупречный план. Распределение мест было забыто, с припасами обращались небрежно; часть оставили на судне, а часть потопили. Плот предназначался для ста пятидесяти потерпевших: ста двадцати военных, включая офицеров, двадцати девяти моряков и пассажиров-мужчин, одной женщины. Но едва на эту платформу — которая была двадцати метров в длину и семи в ширину — спустились пятьдесят человек, как она ушла в воду по меньшей мере на семьдесят сантиметров. С плота были сброшены запасенные ранее бочонки с мукой, и он заметно поднялся; на него спустились оставшиеся люди, и он снова ушел под воду. Полностью загруженная, платформа оказалась в метре под поверхностью воды, а те, кто был на ней, из-за тесноты не могли ступить ни шагу; сзади и спереди они стояли в воде по пояс. Они страдали от ударов незакрепленных бочонков с мукой, которые швыряло волнами;

им сбросили двадцатипятифунтовый мешок с галетами, и вода тут же превратила их в тесто.

Предполагалось, что один из морских офицеров примет на себя командование плотом; однако этот офицер не согласился спуститься туда. В семь часов утра был дан сигнал, и маленькая флотилия двинулась прочь от потерпевшего крушение фрегата. Семнадцать человек отказались покинуть корабль или не вышли к отплытию и, таким образом, остались ждать своей участи на борту.

Плот буксировали четыре лодки, развернутые в ряд; флотилию возглавлял полубаркас, который делал промеры. Когда лодки разошлись по местам, на плоту закричали: «Vive le roi!»[26] — и подняли маленький белый флаг на конце мушкета. Но именно в этот момент величайших для всех людей на плоту надежд и ожиданий к обычным морским ветрам присоединилось дуновение эгоизма. Один за другим, в силу своекорыстия, некомпетентности, несчастного стечения обстоятельств или кажущейся необходимости, буксирные концы были отданы. Не отойдя от фрегата и на две мили, плот лишился помощи. У тех, кто был на нем, имелось вино, толика

---

[26] Сноски: 26
«Да здравствует король!» *(фр.)*

бренди, малый запас воды и немного подмокших галет. Их не снабдили ни компасом, ни картой. Без весел и руля было невозможно управлять плотом и почти невозможно помочь находящимся на нем людям, которых постоянно сталкивало друг с другом, когда волны перекатывались через платформу. В первую же ночь разразился шторм, и плот едва противостоял его свирепому натиску; крики покинутых мешались с ревом валов. Некоторые привязались к бревнам веревками; все были нещадно избиты. Рассвет огласился жалобными криками, люди возносили к Небесам обещания, которым суждено было пропасть втуне, и готовились к надвигающейся смерти. Всякое представление об этой первой ночи бледнеет перед реальностью.

На следующий день море было спокойно, и у многих вновь затеплилась надежда. Однако двое юношей и пекарь, убежденные, что избежать смерти не удастся, распрощались с товарищами и добровольно отдались в объятия стихии. Именно в этот день у потерпевших крушение стали появляться первые галлюцинации. Кому-то мерещилась земля, иные замечали суда, идущие спасать их, и эти обманчивые надежды, разбиваясь о скалы, порождали еще большее отчаяние.

Вторая ночь была ужаснее первой. Волны походили на горы и постоянно грозили перевернуть плот; собравшись у короткой мачты, офицеры командовали перемещениями солдат с одного края платформы на другой, дабы скомпенсировать качку. Несколько человек, уверенные в своей погибели, вскрыли бочонок с вином, желая облегчить последние мгновения жизни путем помрачения рассудка; в чем они и преуспевали, покуда морская вода, проникнув в бочку через сделанное ими отверстие, не испортила напитка. Засим, вдвойне обезумев, эти несчастные решили подвергнуть все полному разрушению и с этой целью принялись за веревки, связывавшие плот. Мятежникам воспрепятствовали, и среди волн и ночной тьмы разыгралась беспощадная битва. Вскоре порядок был восстановлен, и в течение часа на роковом плоту царило спокойствие. Но к полуночи солдаты взбунтовались опять и атаковали своих командиров с ножами и саблями; те, у кого не было оружия, настолько потеряли разум, что пытались загрызть офицеров зубами, и последние претерпели множество укусов. Людей бросали в море, избивали, закалывали; за бортом исчезли два бочонка с вином и единственный бочонок воды. К моменту подавления мятежа

плот был усеян трупами.

Во время первой стычки один из примкнувших к мятежникам членов команды, по имени Доминик, был выброшен в море. Услышав жалобные вопли своего предателя-подчиненного, судовой механик кинулся в воду и, схватив негодяя за волосы, с огромным трудом втащил его обратно на плот. Голова Доминика была рассечена ударом сабли. В темноте рана была перевязана и несчастный глупец возвращен к жизни. Но не успел он толком оправиться, как, проявив черную неблагодарность, вновь примкнул к мятежникам и ввязался в схватку. На сей раз он нашел менее удачи и сострадания: той ночью его убили.

Теперь уцелевшим грозила гибелью начинающаяся горячка. Иные бросились в море; иные впали в оцепенение; иные несчастные кидались на товарищей, обнажив саблю, и требовали куриного крылышка. Механику, чье мужество спасло Доминика, чудилось, будто он путешествует по прекрасным равнинам Италии, а один из офицеров говорит ему: «Я помню, что лодки нас бросили; но вы ничего не бойтесь; я только что написал губернатору, и через несколько часов мы будем спасены». Механик, и в бреду сохранивший трезвомыслие, отвечал офицеру: «Разве

у вас есть голуби, способные доставлять депеши с такой скоростью?»

На шестьдесят человек, сохранивших жизнь, остался лишь один бочонок вина. Они кое-как смастерили из солдатских жетонов крючки для рыбной ловли; они взяли штык и согнули его, надеясь поймать на него акулу. После чего акула действительно появилась, и схватила штык, и одним мощным движением челюстей снова совершенно выпрямила его, и уплыла прочь.

Дабы продлить свое жалкое существование, они нуждались в дополнительных ресурсах. Некоторые из уцелевших после ночных мятежей набрасывались на трупы и отрубали от них куски, пожирая эту плоть в мгновение ока. Большинство офицеров отказалось от такой пищи, хотя один из них предложил завялить мясо убитых, чтобы сделать его более удобоваримым. Кое-кто пробовал жевать портупеи и патронташи, а также кожаную отделку на своих шляпах, однако от этого было мало проку. Один матрос пытался есть собственные экскременты, но потерпел неудачу.

На третий день погода была тихой и ясной. Они надеялись отдохнуть, однако наряду с голодом и жаждой их мучили жестокие видения. Плот, облегченный теперь более чем вдвое, поднял-

ся из воды — непредвиденная польза, которую принесли ночные мятежи. Но вода доходила людям до колен, и они могли отдыхать лишь стоя, сбившись в одну плотную массу. На четвертое утро они обнаружили, что с десяток их товарищей умерли ночью; тела были преданы морю, за исключением одного, предназначенного для утоления голода. В четыре часа пополудни им встретился косяк летучих рыб; многие рыбы, перепрыгивая плот, запутались в снастях. Этим же вечером они разделили добычу, но их голод был столь силен, а доля каждого столь ничтожна, что многие из них увеличили свои порции за счет человеческого мяса; в сочетании с рыбой оно сделалось менее отталкивающим. В таком виде его начали есть даже офицеры.

С этого дня употреблять в пищу человеческое мясо научились все. Следующей ночью его запасы пополнились. Несколько испанцев, итальянцев и негров, во время первых мятежей сохранявших нейтралитет, договорились сбросить командиров за борт и достичь берега — по их мнению, до него было рукой подать — вместе со всем имуществом и ценностями, которые были сложены в мешок и подвешены к мачте. Снова разгорелась жестокая битва, и снова роковой плот был омыт кровью.

Когда этот третий мятеж наконец удалось подавить, на борту осталось не более тридцати человек, и плот опять поднялся из воды. Едва ли хоть один человек на нем лежал без ран, которые постоянно окатывала соленая вода, и пронзительные крики не утихали.

На седьмой день двое солдат спрятались за последним бочонком с вином. Они проделали в нем дыру и стали тянуть вино через соломинку. По обнаружении, согласно заключенному ранее уговору, не допускавшему никаких поблажек, эти двое нарушителей были сразу же сброшены в воду.

Теперь подошло время принять самое ужасное решение. Сочли уцелевших; их оказалось двадцать семь. Пятнадцать еще могли прожить несколько дней; остальные, страдающие от глубоких ран и большей частью лежащие в бреду, имели ничтожные шансы на выживание. Однако за тот срок, что отделял их от смерти, они наверняка заметно уменьшили бы ограниченный запас продовольствия. Было подсчитано, что они могут выпить добрых тридцать-сорок бутылок вина. Держать больных на половинном пайке значило лишь убивать их постепенно. И вот после дебатов, тон которым задавало самое беспросветное

отчаяние, пятнадцать здоровых людей сошлись на том, что ради общего блага еще способных уцелеть их больные товарищи должны быть сброшены в море. Эту жуткую, но необходимую экзекуцию совершили трое матросов и солдат, чьи сердца были ожесточены постоянным соседством со смертью. Здоровые были отделены от больных, как чистые от нечистых.

После этого страшного жертвоприношения пятнадцать уцелевших утопили все свое оружие, оставив лишь одну саблю на случай, если понадобится перерезать какую-нибудь веревку или перепилить дерево. Припасов должно было хватить на шесть дней, занятых ожиданием смерти.

В это время произошло маленькое событие, к которому каждый отнесся согласно своему характеру. Над их головами появилась порхающая белая бабочка, каких много во Франции, и села на парус. Некоторые моряки, обезумевшие от голода, и в этом узрели возможность добыть себе на ужин лишнюю кроху. Другим, измученным и лежащим почти неподвижно, показалась настоящим оскорблением та легкость, с которой порхала над ними их гостья. Иные же увидели в этой обыкновенной бабочке знамение, вестницу Неба, белую, как Ноев голубь. Даже скептики, не

верящие в Божий промысл, осторожно согласились с тем обнадеживающим соображением, что бабочки недалеко улетают от твердой земли.

Однако твердая земля так и не появилась. Палимых солнцем людей изводила свирепая жажда, и они стали смачивать губы собственной мочой. Они пили ее из маленьких жестяных кружек, предварительно опуская их в воду, чтобы скорее охладить жидкость. Случалось, что у кого-нибудь похищали кружку и затем возвращали, но уже без ее содержимого. Был человек, который не мог заставить себя проглотить мочу, как ни страдал он от жажды. Один из них, врач, заметил, что у некоторых моча более пригодна для питья, нежели у других. Еще он заметил, что непосредственным результатом приема мочи внутрь был позыв к тому, чтобы произвести ее снова.

Один армейский офицер обнаружил лимон и хотел приберечь его для себя; бурная реакция остальных убедила его в том, что эгоизм чреват фатальными последствиями. Были также найдены тридцать долек чеснока, которые в свою очередь послужили предметом спора; не будь все оружие, кроме единственной сабли, выброшено в море, кровь могла бы пролиться еще раз. На плоту имелись два пузырька со спиртовой жид-

костью для чистки зубов; одна-две капли этой жидкости, с которой ее обладатель расставался весьма неохотно, вызывали на языке чудесное ощущение, на несколько секунд прогонявшее жажду. Оловянная посуда, помещенная в рот, позволяла насладиться прохладой. Уцелевшие пускали по кругу флакончик из-под розового масла; они вдыхали остатки аромата, и это действовало на них успокаивающе.

На десятый день, получив свою долю вина, несколько человек решили довести себя до состояния опьянения и затем покончить счеты с жизнью; их с трудом уговорили не делать этого. Плот окружили акулы, и некоторые солдаты, уже почти лишившись разума, открыто купались в непосредственной близости от этих гигантских рыб. Восемь человек, полагая, что земля не может быть далеко, сложили второй плот и хотели уплыть на нем. У них получилась узкая платформа с короткой мачтой и куском дерюги вместо паруса; но, опробовав это хлипкое сооружение, они убедились в безрассудности своей затеи и отказались от нее.

На тринадцатый день пытки солнце взошло в абсолютно безоблачном небе. Пятнадцать несчастных вознесли молитвы Всемогущему Гос-

поду и поделили между собой очередную порцию вина; и вдруг капитан от инфантерии, обозревая горизонт, заметил корабль и громким возгласом оповестил об этом товарищей. Все возблагодарили Бога и дали волю изъявлениям радости. Они распрямили обручи с бочек и привязали к ним платки; один из них взобрался на мачту и замахал этими самодельными флажками. Все следили за судном на горизонте и пытались понять, куда оно идет. Некоторые полагали, что оно приближается с каждой минутой; другие утверждали, что оно движется в противоположном направлении. Полчаса надежда боролась в них со страхом. Затем корабль исчез.

Их радость сменилась горем и отчаянием; они завидовали участи товарищей, погибших прежде их. Потом, дабы найти частичное забвение во сне, они растянули над плотом кусок материи для защиты от солнца и легли под ним. Было предложено составить отчет об их злоключениях, всем подписать его и прибить к верхушке мачты в надежде, что он каким-нибудь образом достигнет их семей и правительства.

Они провели два часа в самых мрачных размышлениях; затем артиллерийский сержант, желая попасть на край плота, выбрался из-под

навеса и увидел «Аргус», идущий к ним на всех парусах; их разделяло всего пол-лиги. У него перехватило дыхание. Он протянул руки к морю. «Спасены! — сказал он. — К нам идет бриг!» Все возликовали; даже раненые, дабы лучше видеть приближающихся спасителей, кое-как доползли до конца платформы. Они обнимались друг с другом, а когда обнаружили, что обязаны своим избавлением французам, их восторг удвоился. Они замахали платками и возблагодарили Провидение.

«Аргус» взял паруса на гитовы и лег в дрейф по их правому борту, на расстоянии в полпистолетного выстрела. Пятнадцать уцелевших, самые сильные из которых не прожили бы долее сорока восьми часов, были подняты на борт; капитан и офицеры брига своей неусыпной заботой снова раздули тлеющую в них искорку жизни. Двое, позднее написавшие отчет о своих испытаниях, заключают, что спасение показалось им истинным чудом и что в сем благополучном исходе была заметна рука Высших Сил.

Путешествие фрегата началось с дурного знака, а закончилось оно эхом. Когда лодки-буксиры потащили роковой плот в открытое море, на нем не хватало семнадцати человек. Оставшись на

корабле по своей воле, они незамедлительно осмотрели его в поисках того, что не взяли с собой уплывшие и не испортила морская вода. Они нашли галеты, вино, бренди и бекон; какое-то время на этом можно было продержаться. Сначала они не слишком беспокоились, поскольку их товарищи обещали вернуться за ними. Однако когда минули сорок два дня, а на помощь так никто и не явился, двенадцать из семнадцати решили искать спасения самостоятельно. Выбрав из корпуса корабля несколько брусьев и скрепив их прочными канатами, они построили второй плот и отплыли на нем. Подобно своим предшественникам, они не имели ни весел, ни иного мореходного оснащения, кроме примитивного паруса. С собой они взяли небольшой запас провизии и остатки надежды. Но много дней спустя обломки их плота были обнаружены живущими на побережье Сахары маврами, подданными короля Саида; они принесли эту весть в Андар. Скорее всего, люди с этого второго плота сделались добычей морских чудовищ, которые в таком множестве водятся у берегов Африки.

И наконец, словно в насмешку, за эхом последовало еще одно эхо. На фрегате оставались пятеро человек. Через несколько дней после отбытия

второго плота матрос, отказавшийся плыть на нем, также решил достичь земли. Не способный построить третий плот в одиночку, он пустился в море на клетке для кур. Возможно, это была та самая клетка, на которой роковым утром в день кораблекрушения проверял курс корабля вахтенный офицер месье Моде. Однако клетка для кур пошла ко дну, и матрос погиб не более чем в полукабельтове от «Медузы».

II

Как воплотить катастрофу в искусстве?

Теперь это делается автоматически. Взрыв на атомной станции? Не пройдет и года, как на лондонской сцене будет поставлена пьеса. Убит президент? Вы получите книгу, или фильм, или экранизированную версию книги, или беллетризованную версию фильма. Война? Шлите туда романистов. Ряд кровавых убийств? И сразу слышен топот марширующих поэтов. Конечно, мы должны понять ее, эту катастрофу; а чтобы понять, надо ее себе представить — отсюда и возникает нужда в изобразительных искусствах. Но еще мы стремимся оправдать и простить, хотя бы отчасти. Зачем он понадобился, этот безумный

выверт Природы, этот сумасшедший человеческий миг? Что ж, по крайней мере, благодаря ему родилось произведение искусства. Может быть, именно в этом главный смысл катастрофы.

Перед тем как начать картину, он обрил себе голову; мы все знаем это. Обрил голову, чтобы ни с кем не видеться, заперся у себя в студии и вышел, только когда закончил свой шедевр. Так вот как это было?

17 июня 1816 г. экспедиция отправилась в путь.

2 июля 1816 г., после полудня, «Медуза» села на риф.

17 июля 1816 г. уцелевшие были сняты с плота.

В ноябре 1817 г. Савиньи и Корреар опубликовали свой отчет о путешествии.

24 февраля 1818 г. был куплен холст.

28 июня 1818 г. холст был перенесен в более просторную студию и заново натянут.

В июле 1819 г. картина была закончена.

28 августа 1819 г., за три дня до открытия Салона, Людовик XVIII посмотрел картину и обратился к художнику со сло-

вами, которые *Moniteur Universel* назвала «одним из тех изящных замечаний, кои служат оценкой работе, а равно и воодушевляют художника». Король сказал: «Месье Жерико, ваше кораблекрушение никак нельзя назвать катастрофой».

Все начинается с верности правде жизни. Художник читал отчет Савиньи и Корреара; он встречался с ними, беседовал с ними. Он составил из найденных материалов досье. Он отыскал спасенного плотника с «Медузы», и тот сделал для него модель своего оригинального сооружения. На ней Жерико поместил восковые фигуры уцелевших. Чтобы пропитать атмосферу мастерской духом бренности, он окружил себя собственными творениями, изображающими рассеченные конечности и отрубленные головы. На картине в ее последнем варианте можно узнать позировавших ему Савиньи, Корреара и плотника. (Что они чувствовали, имитируя пережитые страдания?)

Во время работы он был абсолютно спокоен, сообщает Антуан Альфонс Монфор, ученик Ораса Верне; движения тела и плеч были едва заметны, и только легкий румянец на щеках выдавал его сосредоточенность. Он писал сразу на белом

холсте, и ориентиром ему служили лишь приблизительно намеченные контуры. Он работал дотемна с упорством, продиктованным также технической необходимостью: густые, быстро сохнущие краски, которыми он пользовался, требовали, чтобы каждый фрагмент, раз начатый, был закончен в этот же день. Как мы знаем, он сбрил свои светло-рыжие кудри, не желая, чтобы его беспокоили. Но он был не одинок: натурщики, ученики и друзья по-прежнему посещали дом, который он делил со своим молодым ассистентом Луи-Алексисом Жамаром. Среди его натурщиков был юный Делакруа — с него написана фигура мертвеца, лежащего лицом вниз с вытянутой левой рукой.

Давайте начнем с того, чего он не изобразил. Опущено было следующее:

1) столкновение «Медузы» с рифом;

2) момент, когда буксирные концы были отданы и плот брошен на произвол судьбы;

3) ночные мятежи;

4) вынужденный каннибализм;

5) совершенное ради самосохранения массовое убийство;

6) появление бабочки;

7) сцены с людьми по пояс, или по колено, или

по щиколотку в воде;

8) самый момент спасения.

Иными словами, задуманная им картина не должна была быть: 1) политической; 2) символической; 3) театрально-драматической; 4) шокирующей: 5) рассчитанной на дешевый эффект; 6) сентиментальной; 7) документальной или 8) недвусмысленной.

Примечания

1) «Медуза» была кораблекрушением, газетной сенсацией и картиной; она была также и поводом. Бонапартисты нападали на монархистов. Поведение капитана фрегата стало иллюстрацией: а) некомпетентности морских офицеров и коррумпированности Королевского флота; б) бессердечного отношения представителей правящего класса к тем, кто стоит ниже их. Параллель с государственным кораблем, садящимся на мель, была бы и примитивна, и тяжеловесна.

2) Савиньи и Корреар, двое уцелевших, которые составили первый отчет о кораблекрушении, пытались добиться от правительства компенсации для жертв и наказания виновных офицеров. Отвергнутые официальным правосудием, они апеллировали с помощью своей книги к более

широкому суду общественного мнения. Корреар постепенно сделался издателем и памфлетистом; его заведение, названное «У обломков „Медузы“», стало местом сборищ политических оппозиционеров. Мы можем представить себе изображение момента, когда отдают буксирные концы: занесенный топор, сверкнувший на солнце; офицер, сидя спиной к плоту, небрежно распускает узел… получился бы превосходный живописный памфлет.

3) Мятеж был сценой, которую Жерико чуть было не изобразил. Осталось несколько предварительных зарисовок. Ночь, шторм, бушующие волны, порванный парус, подъятые сабли, тонущие люди, рукопашный бой, обнаженные тела. Что здесь неладно? Самое главное, что это похоже на типовую салунную драку в третьеразрядном вестерне, где участниками являются все до единого: кто-то бьет кого-то кулаком, кто-то ломает стул или разбивает бутылку о чужую голову, кто-то в тяжелых ботинках раскачивается на люстре. Чересчур много действия. Можно сказать больше, изобразив меньше.

Уцелевшие наброски сцены мятежа считаются напоминающими традиционные эпизоды Страшного суда с его отделением праведников от

грешников и обречением мятежников на вечные муки. Такая аналогия была бы несправедлива. На плоту торжествовала сила, а не добродетель, милосердия же выказывалось очень мало. Подтекст этой версии говорил бы о том, что Бог держал сторону офицерства. Возможно, в ту пору так оно и было. Принадлежал ли к офицерству Ной?

4) В западном искусстве очень мало каннибализма. Ханжество? Едва ли: ханжество не мешало западным художникам изображать выдавленные глаза, отрубленные головы в мешках, жертвенное отсечение грудей, обрезание, распятие. Более того, каннибализм был языческой практикой, что давало возможность благочестиво заклеймить его в красках, исподволь воспламеняя зрителя. Но некоторые сюжеты вообще почему-то использовались реже других. Возьмите, например, представителя офицерства Ноя. Изображений его Ковчега поразительно мало. Есть странный, забавный американский примитив и мрачный Якопо Бассано в музее Прадо, но больше на память почти ничего не приходит. Адама и Еву, изгнание из Рая, Благовещение, Страшный суд — все это крупные художники писали. Но вот Ноя и его Ковчег? Ключевой момент в истории человечества, шторм на море, живописные звери, божествен-

ное вмешательство в дела человека — здесь явно имеется все необходимое. Чем же объяснить этот пробел в иконографии? Возможно, отсутствием достаточно знаменитого изображения Ковчега, которое дало бы толчок развитию этого сюжета и превратило бы его в популярный. Или чем-то, кроющимся в самой этой повести: может быть, художники сошлись на том, что Потоп характеризует Бога не с лучшей стороны?

Жерико сделал один набросок, темой которого является каннибализм на плоту. Высвеченная им сцена антропофагии изображает мускулистого моряка, гложущего локоть мускулистого трупа. Это выглядит почти комично. В подобных случаях всегда непросто найти верный тон.

5) Картина есть мгновение. Что мы подумали бы, стоя перед полотном, на котором три матроса и солдат сбрасывают людей с плота в море? Что жертвы уже бездыханны? Или что их убивают ради их драгоценностей? Карикатуристы, затрудняясь объяснить смысл своих шуток, часто рисуют нам продавца газет рядом с афишей, где красуется какой-нибудь удобный заголовок. Нужную для понимания этой картины информацию можно было бы передать таким текстом: «УЖАСНАЯ СЦЕНА НА ПЛОТУ

„МЕДУЗЫ“, В КОТОРОЙ ОТЧАЯВШИЕСЯ МОРЯКИ, МУЧИМЫЕ СОВЕСТЬЮ, ПРИХОДЯТ К ВЫВОДУ, ЧТО НА ВСЕХ ПРОВИЗИИ НЕ ХВАТИТ, И ПРИНИМАЮТ ТРАГИЧЕСКОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ РАНЕНЫМИ, ДАБЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ». Прямо, скажем, длинновато.

Между прочим, «Плот „Медузы“» называется не «Плот „Медузы“». В каталоге Салона полотно именовалось «Scène de naufrage» — «Сцена кораблекрушения». Осторожный политический ход? Может быть. Но тут есть и полезная подсказка зрителю: вам предлагают картину, а не мнение.

6) Нетрудно представить себе появление бабочки в изображении других художников. Но нам наверняка показалось бы, что автор чересчур грубо пытается сыграть на наших чувствах. И даже если бы проблема тона была решена, остались бы две главные трудности. Во-первых, это походило бы на выдумку, хотя в действительности все было именно так; подлинное отнюдь не всегда убедительно. Во-вторых, живописцу, который берется за изображение бабочки величиной в шесть-восемь сантиметров, опустившейся на плот двадцати метров в длину и семи в ширину, очень непросто разобраться с масштабом.

7) Если плот скрыт под водой, вы не можете нарисовать плот. Люди вырастали бы из поверхности моря, словно полчище Венер Анадиомен. Далее, отсутствие плота порождает композиционные трудности: когда все стоят, потому что лечь значит утонуть, ваша картина оказывается битком набита вертикалями; чтобы с честью выйти из положения, вы должны быть сверхгениальным. Лучше подождать, пока большинство находящихся на плоту умрет — тогда плот вынырнет из-под воды, и горизонтальная плоскость будет к вашим услугам.

8) Подплывшая вплотную лодка с «Аргуса», уцелевшие, которые тянут руки и карабкаются на нее, трогательный контраст между обликом спасенных и спасителей, изнеможение и восторг — все это, без сомнения, очень эффектно. Жерико сделал несколько набросков этой выразительной сцены. Такая картина производила бы сильное впечатление, но была бы слишком… прямолинейной.

Вот чего он не написал.

* * *

А что же он написал? Вернее: что видим на его картине мы? Давайте попробуем посмотреть на

нее неискушенным взором. Итак, мы рассматриваем «Сцену кораблекрушения», не зная истории французского мореходства. Мы видим на плоту людей, взывающих о помощи к крошечному кораблю на горизонте (это далекое судно, не можем не заметить мы, по величине примерно такое же, какой была бы та бабочка). Сначала нам кажется, что перед нами миг, предшествующий спасению. Это чувство возникает отчасти благодаря нашей упорной любви к хеппи-эндам, но еще и оттого, что на каком-то уровне нашего сознания брезжит вопрос: как же мы узнали бы об этих людях на плоту, если бы спасти их не удалось?

Что говорит в пользу этого первого предположения?

Корабль находится на горизонте; солнце, хотя его и не видно, тоже на горизонте — оно окрашивает небо желтым. Это восход, заключаем мы, и корабль появляется вместе с солнцем, сулит новый день, надежду и спасение; черные тучи над головой (очень черные) скоро рассеются. А вдруг это закат? Утреннюю и вечернюю зори легко спутать. Что, если это закат, корабль вот-вот исчезнет заодно с солнцем, а потерпевших крушение ждет беспросветная ночь, черная, как эти тучи у них над головой? Чтобы разрешить

сомнения, мы могли бы обратиться взором к парусу и посмотреть, движется ли плот к кораблю и разгонит ли ветер эту зловещую тучу, но загадка остается загадкой: ветер дует не от нас и не к нам, а справа налево, и рама пресекает нашу попытку выяснить, какая же погода там, справа. Затем нам, по-прежнему колеблющимся, приходит в голову третья возможность: вполне вероятно, что это восход, но корабль тем не менее удаляется от потерпевших. Так судьба бесповоротно перечеркивает все надежды: солнце встает, *но не для тебя.*

Тут неискушенный взор с легким раздражением и неохотой уступает место осведомленному. Давайте изучим «Сцену кораблекрушения» в свете рассказа Савиньи и Корреара. Сразу ясно, что Жерико изобразил не тот момент, который предшествовал спасению: тогда все было иначе, ибо бриг вдруг обнаружился около плота и ликование было общим. Нет — это первое появление «Аргуса» на горизонте, заставившее моряков провести в страхе и надежде мучительные полчаса. Сравнивая написанное кистью с написанным пером, мы тут же замечаем, что Жерико не стал изображать человека, залезшего на мачту с выпрямленным обручем от бочки и привязан-

ными к нему платками. Он заменил его другим, забравшимся на бочку и машущим большой тряпкой. Мы медлим перед этой заменой, потом соглашаемся, что она очень выгодна: реальность подсовывала ему петушка на палочке; искусство предложило более уверенный фокус и лишнюю вертикаль.

Но не будем спешить и сразу вспоминать все, что знаем. Дадим потрудиться обидчивому неискушенному взору. Забудем о погоде; разберемся, что происходит на самом плоту. Почему бы для начала не счесть моряков по головам? Всего на картине двадцать человек. Двое энергично машут, один энергично указывает вдаль, двое страстно и умоляюще тянут руки и еще один поддерживает забравшегося на бочку: шестеро за надежду и спасение. Затем имеются пять человек лежащих (двое ничком, трое навзничь), которые либо мертвы, либо умирают, плюс седобородый старик, который сидит в скорбной позе спиной к «Аргусу»: шестеро против. Посередине (как по расположению, так и по настроению) еще восемь персонажей: один полувзывает, полуподдерживает; трое наблюдают за машущим с неопределенным видом; один наблюдает за ним с му́кой на лице; двое, в профиль, следят

за волнами, один за набегающими, другой за убегающими; и завершает счет неясная фигура в самой темной, хуже всего сохранившейся части картины — это человек, который сжимает руками голову (и впился в нее ногтями?). Шесть, шесть и восемь; абсолютного перевеса нет.

(Двадцать? — спотыкается осведомленный взор. Но Савиньи и Корреар сообщают лишь о пятнадцати уцелевших. Значит, все те пятеро, которые могли быть просто в обмороке, наверняка мертвы? Да. А как же насчет проведенного отбора, когда пятнадцать здоровых утопили в океане тринадцать своих раненых товарищей? Жерико вернул нескольких погибших из морской пучины, чтобы уравновесить композицию. А учитываются ли голоса мертвых в споре надежды с отчаянием? Строго говоря, нет; но они вносят полноправный вклад в общее настроение картины.)

Итак, состав сбалансирован: шестеро за, шестеро против, восемь — непонятно. Оба взора, неискушенный и осведомленный, блуждают по холсту. Они постепенно уходят от главного композиционного центра, человека на бочке; их притягивает фигура в скорбной позе впереди слева, единственный персонаж картины, смот-

рящий на нас. У него на коленях лежит юноша, который — мы это уже вычислили — наверняка мертв. Старик повернулся спиной ко всем живым; поза его выражает покорство, печаль, отчаяние; далее, он выделяется своими сединами и накидкой, красным куском материи. Он словно попал сюда из другого жанра — возможно, какой-нибудь заблудившийся пуссеновский старец. (Чепуха, перебивает осведомленный взор. Пуссен? Герен и Гро, коли уж на то пошло. А мертвый «сын»? Смесь Герена, Жироде и Прюдона.) Что же делает этот «отец»: а) оплакивает мертвеца (сына? друга?), лежащего у него на коленях? б) укрепляется в уверенности, что их никогда не спасут? в) думает, что даже если их спасут, это гроша ломаного не стоит из-за смерти, которую он держит в объятиях? (Между прочим, замечает осведомленный взор, иногда невежество и вправду помогает жить. Вы бы, к примеру, никогда не догадались, что «отец и сын» — это подавленный каннибалистический мотив. Впервые они появляются вместе на единственном сохранившемся наброске сцены каннибализма, и всякий образованный современник, глядя на картину, непременно вспомнил бы графа Уголино, скорбящего в Пизанской башне среди своих умирающих

детей — которых он съел. Теперь понятно?)

Но что бы, по нашему мнению, ни думал этот старик, его присутствие на картине ощущается с не меньшей силой, чем присутствие человека на бочке. Это противостояние заставляет сделать следующий вывод: на холсте изображен момент, когда «Аргус» находился в середине своего получасового путешествия по горизонту. Пятнадцать минут уже прошло, пятнадцать осталось. Некоторые все еще считают, что корабль направляется в их сторону; некоторые сомневаются и ждут, что будет; некоторые — включая самого умного человека на борту — знают, что он удаляется от них и на спасение рассчитывать нечего. Эта фигура помогает нам истолковать «Сцену кораблекрушения» как образ обманутой надежды.

Почти все, кто видел картину Жерико в стенах Салона 1819 года, знали, что они смотрят на уцелевших моряков с «Медузы». Знали, что корабль на горизонте подобрал их (пусть не с первой попытки), и знали, что случившееся с экспедицией в Сенегал отозвалось крупным политическим скандалом. Но картина, которая стала шедевром, обретает свою собственную историю. Религия гибнет, икона остается; происшествие забыто, но его воплощение в красках

по-прежнему завораживает (неискушенный взор торжествует — какая досада для осведомленного взора). Теперь, когда мы рассматриваем «Сцену кораблекрушения», нам трудно всерьез возмущаться поведением Гюгюса Дюроя де Шомарея, капитана экспедиции, или министра, который назначил его капитаном, или морского офицера, который отказался принять командование плотом, или отдавших буксирные концы матросов, или взбунтовавшихся солдат. (И в самом деле, история демократизирует наши симпатии. Разве солдат не ожесточил приобретенный на войне опыт? Разве капитан виноват в том, что он рос избалованным ребенком? Можем ли мы поручиться, что сами проявили бы себя героями в подобной ситуации?) Время растворяет историю, обращая ее в форму, цвет, чувство. Нынче, несведущие, мы пересоздаем историю: примем ли мы сторону оптимистического желтеющего неба или печального седобородого старика? Или в конце концов оставим в силе оба варианта? Наше настроение, а с ним и интерпретация картины могут меняться от одного полюса к другому; не так ли и было задумано?

* * *

8а) Он едва не изобразил следующее. Два эскиза, написанных маслом в 1818 году и по композиции стоящих ближе всего к окончательной версии, имеют такое существенное отличие: корабль, к которому взывают потерпевшие, на них много ближе. Мы видим его очертания, паруса и мачты. Он изображен в профиль, справа, на самом краю картины — муки людей, которые следят за его продвижением по нарисованному горизонту, только начинаются. Ясно, что плота он не замечает. Воздействие этих предварительных набросков на зрителя носит более активный, кинетический характер; нам кажется, что неистовые усилия людей на плоту могут достичь цели в ближайшие же две минуты и что картина, переставая быть мгновением, подталкивает себя в собственное будущее вопросом: неужели корабль уплывет за раму, ограничивающую холст, так и не заметив плота? Напротив, последняя версия «Кораблекрушения» менее активна, ставит вопрос не столь отчетливо. Мы уже не ждем, что потерпевших вот-вот спасут; случайность, от которой зависит судьба этих людей, отодвигается в область фантастики. С чем можно сравнить их шансы на

спасение? С каплей в море.

* * *

Он провел в мастерской восемь месяцев. Примерно в ту же пору был нарисован автопортрет, с которого он смотрит на нас угрюмым, довольно подозрительным взглядом, нередким у художников, позирующих себе перед зеркалом; мы виновато думаем, что его неодобрение адресовано нам, хотя в первую очередь оно относится к самому автору. Борода у него короткая, стриженую голову прикрывает греческая шапка с кисточкой (мы знаем только то, что он обрился в начале работы над картиной, но за восемь месяцев волосы успевают порядком отрасти; сколько еще стрижек ему понадобилось?). Его пиратская внешность впечатляет, он кажется нам достаточно свирепым и целеустремленным, чтобы пойти на приступ, взять на абордаж свое огромное «Кораблекрушение». Между прочим, кисти у него были необычные. По широкой манере его письма Монфор заключил, что Жерико, скорее всего, пользовался очень толстыми кистями; но они были у него меньше, чем у других художников. Маленькие кисти и густые, быстро сохнущие краски.

Мы должны помнить его за работой. Возникает естественный соблазн упростить, свести восемь месяцев к законченной картине и серии предварительных набросков; но поддаваться ему нельзя. Жерико выше среднего роста, силен и строен, у него замечательные ноги, которые сравнивали с ногами сдерживающего лошадь эфеба в центре его «Скачек в Барбери». Стоя перед «Кораблекрушением», он работает с глубокой сосредоточенностью, ему нужна абсолютная тишина: чтобы порвать невидимую нить между глазом и кончиком кисти, достаточно простого скрипа стула. Он пишет свои большие фигуры сразу на холст, куда перед тем нанесены лишь легкие контуры. Незавершенная, его работа походит на ряд висящих на белой стене скульптур.

Мы должны помнить его затворничество в мастерской, помнить его за работой, в движении, делающим ошибки. Когда нам известен результат этих восьми месяцев труда, путь к нему кажется прямым. Мы начинаем с шедевра и пробираемся назад сквозь отброшенные идеи и полуудачи; но у него эти отброшенные идеи рождались как озарения, и то, что нам дано сразу, он увидел лишь в самом конце. Для нас вывод неизбежен; для него нет. Мы должны попытаться учесть случайность,

счастливые находки, даже блеф. Мы можем объяснить это только словами — но попытайтесь забыть о словах. Процесс письма может быть представлен рядом решений, пронумерованных от 1) до 8а), но нам надо понимать, что это лишь комментарии к чувству. Мы должны помнить о нервах и эмоциях. Художник не скользит по тихой реке к солнечной заводи оконченного труда, но пытается удержать курс в открытом море, полном противоборствующих течений.

Все начинается с верности правде жизни; но после первых же шагов верность искусству становится более важным законом. Изображенное никогда не происходило в действительности; цифры не совпадают; каннибализм сведен к литературной ссылке; группа «отца и сына» имеет самое шаткое документальное обоснование, группа около бочки — вовсе никакого. Плот был приведен в порядок, словно перед официальным визитом какого-нибудь чересчур впечатлительного монарха: куски человеческой плоти убраны с глаз долой, прически у всех волосок к волоску, как новенькая кисть художника.

По мере приближения к последнему варианту вопросы формы начинают преобладать. Жерико сдвигает фокус, урезает, настраивает. Горизонт

то поднимается, то опускается (если фигура человека на бочке ниже горизонта, выходит слишком мрачно — плот поглощен морем; чем она выше, тем ярче проблеск надежды). Он отсекает окружающие участки неба и моря, вталкивая нас на плот, хотим мы этого или нет. Он увеличивает расстояние от потерпевших до спасительного корабля. Он подыскивает для своих персонажей нужные позы. Часто ли столько действующих лиц на картине бывает обращено спиной к зрителю?

А какие красивые, мускулистые у них спины. Тут мы чувствуем некоторое смущение; однако смущаться не стоит. Наивные вопросы порой вскрывают самое важное. Так что соберемся с духом и спросим. *Почему уцелевшие кажутся такими здоровыми?* Мы восхищаемся тем, что Жерико разыскал плотника с «Медузы» и уговорил его соорудить модель плота… но… раз он так хотел правильно изобразить плот, отчего было не сделать того же и с людьми? Мы можем понять, зачем он погрешил против истины, выведя человека с флагом в отдельную вертикаль, зачем на картине появились уравновешивающие композицию добавочные трупы. Но почему все — даже мертвые — выглядят такими крепышами, такими… здоровяками? Где раны, шрамы,

истощение, болезни? Ведь эти люди пили собственную мочу, жевали кожу на своих шляпах, питались плотью своих товарищей. Пятеро из пятнадцати ненадолго пережили день спасения. Так почему же они смахивают на выпускников группы бодибилдинга?

Когда телекомпании штампуют свои эффектные фильмы о концлагерях, взор — неискушенный или осведомленный — всегда останавливается на этих статистах в пижамах. Их головы могут быть обриты, плечи сгорблены, весь лак с ногтей смыт, но все равно они пышут энергией. Глядя, как на экране они выстраиваются в очередь у котла с жидкой овсянкой, куда презрительно сплевывает лагерный охранник, мы представляем себе, как между съемками они обжираются в ресторанах. Является ли «Сцена кораблекрушения» прототипом этой лжи? Имей мы дело с другим художником, мы бы остановились и призадумались. Но Жерико — запечатлитель безумия, трупов и отрубленных голов. Однажды он встретил на улице приятеля, который был весь желтый от желтухи, и отпустил комплимент насчет его внешнего вида. Такого художника едва ли смутит задача изобразить плоть, подвергшуюся самым жестоким испытаниям.

Давайте же представим себе еще нечто, чего он не написал, — «Сцену кораблекрушения», в которой все действующие лица изможденны до последней степени. Усохшая плоть, гноящиеся раны, щеки, как у узников Бельзена, — такие подробности без труда вызвали бы у нас сочувствие. Соленая вода хлынула бы из наших глаз под стать соленой воде на картине. Но подобный мгновенный эффект нехорош: уж слишком он примитивен. Полускелеты в отрепьях находятся в том же эмоциональном регистре, что и бабочка: глядя на первых, мы чересчур легко отчаиваемся, увидев вторую — чересчур легко утешаемся. Такие фокусы дело нехитрое.

Однако отклик, которого ищет Жерико, лежит дальше простой жалости и негодования, хотя эти чувства могут быть подобраны по пути, как путешествующие автостопом. Несмотря на весь свой конкретный характер, «Сцена кораблекрушения» полна мощи и динамизма. Фигуры на плоту точно волны: они тоже дышат энергией бушующего внизу океана. Будь они дистрофичны, чего требует правда жизни, они были бы не полноценными проводниками этой энергии, а скорее брызгами пены. Ибо взгляд наш скользит — не от скуки, не рассудочно, но будто подхваченный морским

валом — на гребень, к фигуре зовущего, потом вниз, во впадину, к отчаявшемуся старику, затем по диагонали к распростертому справа трупу, который словно вливается в настоящие волны. Именно потому, что персонажи ее достаточно крепки и сильны для выражения этой мощи, картина высвобождает в нас более глубокие, подводные эмоции, увлекает нас приливами надежды и тревоги, душевного подъема, паники и отчаяния.

Что произошло? Картина снялась с якоря истории. Это уже не «Сцена кораблекрушения», тем более не «Плот „Медузы“». Мы не просто воображаем себе жестокие страдания людей на этом плоту; не просто становимся этими людьми. Они становятся нами. И секрет картины кроется в ее энергетическом заряде. Взгляните на нее еще раз: на эти мускулистые спины, в своем порыве к спасению водяным смерчем взмывающие к крошечному кораблю на горизонте. Весь этот буйный всплеск — ради чего? Главный импульс, заложенный в картине, остается, по сути, безответным, так же как безответно большинство человеческих чувств. Не только надежда, но любая обуревающая нас страсть: честолюбие, ненависть, любовь (особенно любовь) — часто ли

эти стремления приводят нас к тому, чего мы, по нашему мнению, заслуживаем? Как тщетно мы взываем; как темно небо; как высоки волны. Все мы затеряны в море, мечемся по воле течений от надежды к отчаянию, хотим докричаться до спасительного корабля, но нас вряд ли услышат. Катастрофа стала искусством; однако это превращение не умаляет. Оно освобождает, расширяет, объясняет. Катастрофа стала искусством; может быть, именно в этом и есть ее главный смысл.

А как насчет той более давней катастрофы, Потопа? Что ж, ранняя иконография представителя офицерства Ноя не таит в себе никаких сюрпризов. В первую дюжину с лишним веков христианства Ковчег (обычно в виде простого короба или саркофага, намекающих на то, что спасение Ноя было предвестием выхода Христа из своей могилы) часто появляется в иллюстрированных рукописях, на витражах, в церковной скульптуре. Ной был весьма популярен: мы можем обнаружить его на бронзовых дверях Сан-Дзено в Вероне, на западном фасаде Нимского собора и восточном Линкольнского; он бороздит океан на фресках Кампо-Санто в Пизе и Санта-Марии-Новеллы во Флоренции; он бросает якорь на мозаике в Монреале, во флорентийском Бап-

тистерии, в венецианском соборе Святого Марка.

Но где же великие полотна, знаменитые росписи, к которым все это должно было бы привести? Что случилось — неужто воды Потопа пересохли? Не то чтобы так; но их направил в другое русло Микеланджело. В Сикстинской капелле Ковчег (теперь похожий скорее на плавучую эстраду, чем на корабль) впервые теряет свое композиционное главенство; здесь он отодвинут на самый задний план. Передний же план занят теми допотопными горемыками, которых обрекли на погибель, в то время как избранник Ной со своим семейством удостоился спасения. Акцент сделан на брошенных, покинутых, отверженных, на грешниках — шлаке Господнем. (Позволительно ли счесть Микеланджело рационалистом, поддавшимся жалости и рискнувшим мягко упрекнуть Бога за бессердечие? Или же считать его набожным, верным своему папскому контракту и поучающим нас: вот что может случиться, если мы сойдем с прямых путей? Возможно, все дело тут в эстетике — художник предпочел очередному послушному изображению очередного деревянного Ковчега извивающиеся тела про́клятых.) Какой бы ни была причина, Микеланджело переориентировал — и оживил — старую тему. Бальдассаре Перуцци,

Рафаэль последовали его примеру; художники и иллюстраторы все чаще концентрировали внимание не на спасенных, а на покинутых. И с обращением этого новшества в традицию сам Ковчег уплывал все дальше и дальше, отступая к горизонту, как «Аргус» по мере приближения Жерико к окончательному варианту картины. Ветер продолжает дуть, волны — катиться; Ковчег постепенно достигает горизонта и исчезает за ним. В пуссеновском «Потопе» корабля уже нигде не видать; все, что нам осталось, — это группа отверженных страдальцев, которых впервые вывели на передний план Микеланджело и Рафаэль. Старик Ной уплыл из истории искусств.

* * *

Три отклика на «Сцену кораблекрушения».

а) Салонные критики жаловались, что, хотя события, отраженные художником, им и небезызвестны, в самой картине нет деталей, позволяющих определить национальность жертв, а также то, под какими небесами разыгралась трагедия и когда именно все произошло. Конечно, эти детали были опущены намеренно.

б) Делакруа в 1855-м, почти сорок лет спустя, вспоминал свою первую реакцию на едва на-

чатую «Медузу»: «Она произвела на меня такое сильное впечатление, что, выйдя из мастерской, я бросился бежать и бежал как сумасшедший всю дорогу до своего дома на рю де ла Планш, в дальнем конце Сен-Жерменского предместья».

в) Жерико на смертном одре в ответ на чье-то упоминание о картине: «Bah, une vignette!»[27]

* * *

И вот он — момент наивысших страданий на плоту, схваченный, видоизмененный, оправданный искусством, превращенный в весомый, полный внутреннего напора образ, затем покрытый лаком, обрамленный, застекленный, вывешенный в знаменитой картинной галерее иллюстрацией нашего положения в мире, неизменный, окончательный, всегда на своем месте. Так ли это? Увы, нет. Люди умирают; плоты гниют; и шедевры искусства не исключение. Эмоциональное воздействие работы Жерико, противоборство надежды и отчаяния подчеркнуты выбором цветовой гаммы: хорошо освещенные участки плота резко контрастируют с областями наигустейшей тьмы. Чтобы сделать тени как

[27] Сноски: 27
«А, виньетка!» *(фр.)*

можно мрачнее, Жерико использовал битумные добавки, которые позволили ему добиться искомой блестящей черноты. Однако битум химически нестабилен, и со дня посещения Салона Людовиком XVIII шло медленное, необратимое разрушение наложенных на холст красок. «Едва появившись на свет, — сказал Флобер, — мы по кусочкам начинаем осыпаться». Шедевр, раз законченный, не останавливается — он продолжает двигаться, теперь уже под уклон. Наш ведущий специалист по Жерико подтверждает, что картина «местами выглядит весьма плачевно». А если посмотреть, что происходит с рамой, там наверняка будут обнаружены древесные черви.

6. Гора

Тик, тик, тик, тик. Так. Тик, тик, тик, тик. Так. Словно где-то часы давали легкий перебой, у времени начиналась горячка. Что было бы вполне уместно, подумал полковник, но дело обстоит иначе. Очень важно держаться того, что знаешь, до самого конца, особенно в конце. Он знал, что дело обстоит иначе. Это было не время, даже не далекие часы.

Полковник Фергюссон лежал в холодной прямоугольной спальне своего холодного прямоугольного дома в трех милях от Дублина и слушал тиканье у себя над головой. Был час пополуночи, на дворе безветренно; стоял ноябрь 1837 года. Его дочь Аманда сидела у кровати в профиль к нему — чопорная, с надутыми губами — и читала очередную книжонку, полную религиозной зауми. Свечка у ее локтя горела ровно, чего этот потный дурень доктор с буквами после фамилии давно уж не имел возможности сказать о сердце полковника.

Вызов, вот что это такое, подумал полковник. Вот он, лежит на смертном одре, готовится к забвению, а она сидит тут и читает последнюю

брошюру отца Ноя. Активное несогласие до самого конца. Полковник Фергюссон много лет назад оставил попытки понять, отчего все так сложилось. Как могло его любимое дитя не унаследовать ни его склонностей, ни мнений, которые были выработаны им с таким трудом? Это раздражало. Не обожай он дочь, он считал бы ее легковерной дурочкой. И тем не менее, несмотря ни на что, несмотря на это живое, во плоти, опровержение, он верил в способность мира к прогрессу, в победу человека, в крах суеверий. Все это в конечном счете было весьма загадочно.

Тик, тик, тик, тик. Так. Тиканье над головой возобновилось. Четыре-пять громких щелчков, тишина, затем более слабое эхо. Полковник знал, что шум отвлекает Аманду от чтения, хотя она не подавала виду. Просто за такую долгую жизнь бок о бок с ней он научился различать подобные вещи. Он знал, что она не слишком поглощена своим преподобным Авраамом. И она сама была виновата в том, что он это знал, что он видел ее насквозь. Говорил ведь ей, чтоб шла замуж, когда к ней сватался тот лейтенант, имени которого он никак не мог вспомнить. А она и тогда не послушалась. Сказала, что любит отца больше, чем того затянутого в мундир претендента. Он отве-

тил, что это еще не причина, и вообще, он только помрет у нее на руках. Она заплакала и сказала, чтоб он не говорил так. Но он же был прав, верно? Он же обязан был быть откровенным?

Аманда Фергюссон опустила книгу на колени; теперь она тревожно смотрела на потолок. Этот жук предвещал беду. Всем известно, что означает его тиканье: не пройдет и года, как в доме кто-нибудь умрет. Это вековая мудрость. Она глянула на отца, не заснул ли. Полковник Фергюссон лежал, закрыв глаза, и глубоко, ровно дышал носом, работая легкими, точно мехами. Но Аманда достаточно хорошо его знала и имела основания подозревать надувательство. Это было бы вполне в его духе. Он всегда ее обманывал.

Как и в тот страшно непогожий февральский день в 1821 году, когда он взял ее с собой в Дублин. Аманде было семнадцать, и она всюду носила с собой этюдник, как теперь — религиозные брошюры. Незадолго до поездки ее очень взволновало сообщение о том, что в Лондоне, в Египетском Холле Буллока на Пиккадилли, демонстрируется Грандиозная Картина Месье Джеррико, двадцать четыре фута в длину на восемнадцать в высоту, представляющая Уцелевших Членов Команды Французского Фрегата «Медуза» на Плоту. Вход 1

шиллинг, описание 6 пенсов, и 50 000 зрителей заплатили за то, чтобы посмотреть этот новый шедевр зарубежного искусства, выставленный наряду с такими постоянными экспозициями, как великолепное собрание ископаемых мистера Буллока, состоящее из 25 000 экземпляров, и его же Пантерион с чучелами диких животных. Потом холст переехал в Дублин и был вывешен на обозрение в Ротонде: вход 1 шиллинг 8 пенсов, описание 5 пенсов.

Пятеро братьев и сестер Аманды остались дома; она была избрана за ранние успехи в акварели — по крайней мере, этим формальным соображением утешился полковник Фергюссон, в который уже раз уступивший своей естественной симпатии. Только в Ротонду, как было обещано, они не пошли, а пошли вместо этого на конкурирующий аттракцион, реклама которого появилась в «Сондерс ньюс-леттер энд дейли эдвертайзер»; там, кстати, отмечалось, что Грандиозная Картина Месье Джеррико не имела в Дублине того успеха, который выпал на ее долю в Лондоне. Полковник Фергюссон повел дочь в Павильон, где они смотрели Бегущую Морскую Панораму Крушения Французского Фрегата «Медуза» и Рокового Плота, авторы Маршалл и Маршалл; плата за

передние места 1 шиллинг 8 пенсов, за задние 10 пенсов, дети на передних местах за полцены. «Благодаря патентованным печам в Павильоне всегда царит уют».

Тогда как в Ротонде демонстрировались всего лишь двадцать четыре на восемнадцать футов неподвижного раскрашенного холста, тут им было предложено около десяти тысяч квадратных футов движущегося экрана. Перед их глазами постепенно разворачивалась гигантская картина, или ряд картин: вместо одного-единственного мига здесь была запечатлена вся история кораблекрушения. Одна сцена сменяла другую, на разматывающемся полотне играли разноцветные огни, а оркестровое сопровождение подчеркивало драматичность событий. В зале то и дело вспыхивали аплодисменты, а в особенно удачных местах полковник Фергюссон крепко толкал дочь локтем. В шестой сцене эти несчастные французики на плоту были представлены почти в тех же позах, в каких их впервые изобразил месье Джеррико. Но насколько же эффектнее, заметил полковник Фергюссон, выглядит этот печальный эпизод, показываемый в движении и разноцветных огнях, под музыку, которую он (с точки зрения дочери, совершенно напрасно)

определил как «Vive Henrico!».

— Вот что значит передовое искусство, — пылко высказался полковник, когда они покидали Павильон. — Куда там художникам со своими кисточками.

Аманда ничего не ответила, но на следующей неделе вернулась в Дублин с кем-то из братьев и сестер и на сей раз побывала-таки в Ротонде. Там она пришла в восхищение от картины месье Джеррико, которая, будучи неподвижной, тем не менее виделась ей полной движения и света и даже, в своем роде, музыки, — более того, по насыщенности всем этим она явно превосходила вульгарную Панораму. Приехав домой, она так и сказала отцу.

Проглотив эту дерзость, полковник Фергюссон лишь снисходительно кивнул упрямице. Однако 5 марта он небрежно показал любимой дочери свежее объявление в «Сондерс ньюс-леттер»; оно гласило, что мистер Буллок снизил — точнее, вынужден был снизить, заметил полковник, — входную плату за свое неподвижное зрелище до каких-то жалких десяти пенсов. Под конец же месяца полковник Фергюссон сообщил, что выставка в Ротонде закрыта из-за недостатка посетителей, а Бегущая Панорама Маршалла

и Маршалла, обустроенная патентованными печами, по-прежнему демонстрируется три раза в день.

— Это передовое искусство, — повторил полковник в июне того же года, без спутников посетив заключительный спектакль в Павильоне.

— Новое — еще не значит хорошее, — ответила дочь, проявляя обычно не свойственный таким пигалицам консерватизм.

Тик, тик, тик, тик. Так. Притворный сон полковника Фергюссона стал еще более желчным. Дьявольщина, думал он, умирать-то не так просто. Тебе не дают заниматься этим спокойно, во всяком случае, как тебе хочется. Ты обязан умирать, как им хочется, да еще изволь любить их сколько можешь. Он открыл глаза и собрался с мыслями, чтобы снова, как делал за их совместную жизнь уже несколько сот раз, попробовать переубедить свою дочь.

— Это любовь, — вдруг сказал он. — Вот тебе и все. — (Аманда удивленно отвела взор от потолка и полными слез глазами посмотрела на него.) — Любовный призыв *xestobium rufo-villosum*, усвой ты это бога ради, чудачка. Всего-то навсего. Посади такого жука в коробок и постучи по столу карандашиком, и он поведет себя точно так же.

Решит, что ты самка, и начнет толкаться головой в стенку, искать к тебе дорогу. Между прочим, почему ты не вышла за того лейтенанта, про которого я говорил? Не желаешь соблюдать субординацию. — Он дотянулся до руки дочери и взял ее в свою.

Но она молчала, и в глазах ее по-прежнему стояли слезы, а наверху раздавалось тиканье, и полковника чин по чину похоронили еще до конца года. В этом предсказании врач и жучок-точильщик сошлись.

Печаль Аманды по отцу была смешана с беспокойством относительно его онтологического статуса. Привела ли его упрямая неохота признать божественное провидение — и его упоминанья Божьего имени всуе даже на смертном одре — к тому, что теперь он очутился во тьме внешней, в какой-нибудь морозной области, не обогреваемой патентованными печами? Мисс Фергюссон знала, что Господь справедлив, но милосерд. Те, кто принял его заповеди, будут судимы в строгом соответствии с законом, тогда как невежественным дикарям в темных чащобах, которые просто не могли познать света, будет оказано снисхождение и дан шанс исправиться. Но войдут ли в категорию невежественных дика-

рей обитатели просторных холодных домов под Дублином? Должны ли муки, которые всю жизнь претерпевают неверующие, думая о забвении, перейти в дальнейшие муки, кару за отрицание Господа? Мисс Фергюссон опасалась, что такое вполне может быть.

Как мог ее отец не признать Бога и Его вечный Промысл, заметный даже в мелочах? О наличии провидения и его благой мудрости ясно говорила сама Природа, отданная Богом во владенье Человеку. Это не значило, как полагали некоторые, что Человек должен безрассудно грабить Природу; наоборот, Природу нужно почитать как божественное творение. Но Бог создал и Человека, и Природу, облегающую этого Человека, словно перчатка руку. Аманда часто размышляла о плодах полевых, какие они все разные, но как чудесно каждый из них приспособлен для использования Человеком. Например, деревья со съедобными плодами сделаны намного ниже лесных, чтобы легче было на них взбираться. Плоды, которые, созрев, становятся мягкими — абрикосы, инжир, тутовые ягоды, — растут довольно низко, ибо падение может причинить им вред; твердые же плоды вроде кокосов, грецких орехов или каштанов, которые не боятся ударов о землю,

вызревают на значительной высоте. Иные плоды, подобные вишням или сливам, удобно класть в рот; другие — яблоки и груши — держать в руке; третьи, подобно дыне, созданы большими, чтобы употреблять их в семейном кругу. Четвертые же, вроде тыквы, сделаны такого размера, чтобы есть их вместе с соседями, а для упрощения дележа многие из этих больших плодов имеют на корке вертикальные полосы.

Там, где Аманда усматривала божественный смысл, разумный порядок и торжество справедливости, отец ее видел лишь хаос, непредсказуемость и насмешку. Но перед глазами у обоих был один и тот же мир. Споря с отцом в очередной раз, Аманда предложила ему взять в качестве примера семью Фергюссонов, членов которой связывает глубокая взаимная симпатия, и ответить, где же тут хаос, непредсказуемость и насмешка. Полковник Фергюссон, не особенно стремясь объяснять дочери, что человеческая семья возникла вследствие того же побуждения, которое заставляет жуков толкаться головой в стенку своего коробка, ответил, что Фергюссонов свела вместе счастливая случайность. Его дочь возразила, что тогда в мире было бы чересчур много счастливых случайностей.

Отчасти, думала Аманда, это зависит от самого подхода к вещам. Ее отец видел в вульгарной мешанине из разноцветных огней и музыкальных трелей верное изображение знаменитой морской трагедии, тогда как для нее реальность лучше всего передавалась обыкновенным неподвижным холстом, покрытым красками. Но главным тут была вера. Через несколько недель после их поездки в Павильон отец катал ее на лодке по извилистому озерцу в соседней усадьбе лорда Ф**. Следуя возникшей у него в мозгу ассоциации, он принялся укорять ее за то, что она верит в реальность Ноева ковчега; предмет разговора он саркастически именовал «мифом о потопе». Аманду отнюдь не смутило его обвинение. В ответ она спросила отца, верит ли он в реальность Пантериона чучел диких зверей в Египетском Холле мистера Буллока на Пиккадилли. Разумеется, сказал обескураженный полковник; на что его дочь отреагировала насмешливым удивлением. Она верит в реальность события, происшедшего по Божьей воле и описанного в Святой Книге, которую читают и помнят не одну тысячу лет; а он верит в реальность того, что описано на страницах «Сондерс ньюс-леттер энд дейли эдвертайзер», газетенки, о которой

люди забудут, скорее всего, уже на следующее утро. Так что же, допытывалась она с прежней непочтительной издевкой в глазах, заслуживает большего доверия?

Это случилось осенью 1839 года: по долгом размышлении Аманда Фергюссон предложила мисс Лоуган совершить путешествие в Аргури. Мисс Лоуган была энергичная и дельная с виду особа, лет на десять старше мисс Фергюссон; при жизни полковника ее связывали с ним дружеские отношения без малейшего ароматца неблагоразумия. Более существенным обстоятельством являлось, что несколько лет назад, будучи на службе у сэра Чарльза Б**, она посетила Италию.

— Жаль, что это место мне незнакомо, — сказала мисс Лоуган во время первого разговора. — Оно далеко от Неаполя?

— Это поселок на нижних склонах горы Арарат, — ответила мисс Фергюссон. — Название «Аргури» происходит от двух армянских слов, означающих «он посадил виноград». Именно там после Потопа Ной вернулся к своим земледельческим трудам. Древняя лоза, посаженная руками самого Патриарха, все еще плодоносит.

Прослушав эту странную лекцию, мисс Лоуган скрыла свое удивление, однако почувствовала,

что дальнейшие расспросы будут нелишними.

— А зачем нам туда ехать?

— Чтобы помолиться за упокой души моего отца. На горе есть монастырь.

— Далеко ведь.

— Я полагаю, что расстояние соответствует цели.

— Понятно. — Сначала мисс Лоуган задумалась, потом просветлела. — А вино мы там будем пить? — Она помнила свои разъезды по Италии.

— Это запрещено, — ответила мисс Фергюссон. — Традиция запрещает это.

— Традиция?

— Ну, небеса. Это запрещено небесами в память о том, как дурно виноград повлиял на Патриарха. — (Мисс Лоуган, которая всегда любезно позволяла читать себе Библию, но сама не слишком усердствовала в переворачивании священных страниц, выказала легкое недоумение.) — Пьянство, — пояснила мисс Фергюссон. — Ноево пьянство.

— Ах да.

— Монахам в Аргури позволяется есть виноград, но сбраживать сок нельзя.

— Понятно.

— Там есть еще древняя ива, она выросла из

дощечки от Ноева ковчега.

— Понятно.

Итак, решение было принято. Они отправятся весной, чтобы успеть до малярийного сезона. Каждой потребуются раскладная койка, надувной матрац и подушка; они возьмут с собой немного имбирной эссенции Оксли, немного хорошего опиума, хинина и порошков Зедлица; походный чернильный прибор, коробку спичек и запас трута; зонтики от солнца и фланелевые пояса, чтобы не мучиться по ночам коликами. После некоторых колебаний они решили не брать в дорогу ни переносной ванны, ни патентованной кофеварки. Однако сочли необходимым пополнить экипировку парой посохов с острыми железными наконечниками, складным ножом, крепкими охотничьими хлыстами, чтобы отбиваться от легионов собак, которых наверняка встретят в пути, и маленьким полицейским фонариком, ибо их предупредили, что от турецких бумажных фонарей во время урагана нет никакого толку. Они взяли плащи и теплые пальто, посчитав, что мечта леди Мэри Уортли Монтегю о неизменно ясной погоде едва ли претворится в жизнь ради не столь знаменитых путешественниц. Мисс Лоуган полагала, что лучшим подарком для ту-

рецкого крестьянина будет ружейный порох, а для высших слоев — писчая бумага. Обыкновенный компас, посоветовали ей далее, придется по душе мусульманину, ибо укажет ему, куда адресовать свои молитвы; но мисс Фергюссон не собиралась потакать язычникам в их заблуждениях. И под конец паломницы уложили в багаж две маленькие стеклянные бутылочки, которые намеревались наполнить соком, выжатым из плодов Ноева виноградника.

Из Фалмута в Марсель их доставил отечественный пакетбот; затем они вверили свою сохранность французским средствам передвижения. В начале мая их принял британский посол в Константинополе. Пока мисс Фергюссон рассказывала о маршруте и цели их путешествия, дипломат изучал ее: темноволосая женщина, недавно вступившая в пору зрелости, с черными глазами навыкате и розовыми щеками, благодаря полноте которых губы ее заметно выдавались вперед. Однако она явно не была ветреницей: естественное выражение ее лица говорило, казалось, о целомудрии наряду с упорством, каковая комбинация оставляла посла равнодушным. Большую часть сообщенного ею он выслушал вполуха.

— Да, — сказал он под конец, — несколько лет назад говорили, будто какой-то русский пробовал добраться до вершины этой горы.

— Паррот, — без улыбки ответила мисс Фергюссон. — Вряд ли он русский. Доктор Фридрих Паррот. Профессор Дерптского университета.

Посол кивнул по диагонали, словно знать о местных делах больше его было не совсем тактично.

— Мне кажется разумным и справедливым, — продолжала мисс Фергюссон, — что первый путешественник, предпринявший восхождение на гору, к которой пристал Ковчег, носит имя одной из Божьих тварей[28]. Это лишний раз говорит нам о Его великом Промысле, направляющем все наши судьбы.

— Без сомнения, — ответил посол, переводя взгляд на мисс Лоуган в поисках какого-нибудь ключа к личности ее нанимательницы. — Без сомнения.

Они провели в оттоманской столице неделю — за столь краткий срок мисс Лоуган не успела привыкнуть к нескромным взорам, которые она приковывала к себе за табльдотом. Затем

---

[28] Сноски: 28
Parrot — попугай *(англ.)*.

паломницы воспользовались услугами «Фаваид-и-Османиех», турецкой компании, чьи пароходы совершали рейсы до Трапезунда. Судно оказалось переполненным; по словам мисс Лоуган, она в жизни не видела столько грязи. В первое же утро, отважившись выйти на палубу, она была атакована не одним, но сразу тремя селадонами — у всех троих были завитые волосы, и все распространяли вокруг себя сильный запах бергамота. После этого мисс Лоуган, хотя и приглашенная в спутницы именно за житейский опыт, обрекла себя на заточение в каюте. Мисс Фергюссон решила не замечать подобных неудобств и была положительно заинтригована тем, как выглядит толпа пассажиров третьего класса; время от времени она появлялась с каким-нибудь наблюдением или вопросом, призванным развеять уныние, овладевшее ее компаньонкой. Почему это, любопытствовала она, все женщины-турчанки собрались на шканцах у левого борта? Предписывают ли такое размещение пассажиров местные традиции, или тут замешана религия? Мисс Лоуган была не в силах измыслить ответ. Чем дальше отодвигался Неаполь, тем большую неуверенность она ощущала. Малейший душок бергамота вызывал у нее содрогание.

Когда мисс Лоуган согласилась на путешествие в азиатскую Турцию, она недооценила упорство мисс Фергюссон. Скрывающийся от властей погонщик мулов, лукавый хозяин постоялого двора, уклончивый офицер-таможенник — все они становились свидетелями демонстрации ее неуклонной воли. Мисс Лоуган потеряла счет случаям, когда их багаж задерживали или сообщали, что в придачу к уже имеющемуся у них *тезкаре* необходима еще *буюрулда*, или специальное разрешение; но мисс Фергюссон при помощи драгомана, чьи робкие посягновения на хотя бы частичную независимость мысли были пресечены с первого же дня, напирала, требовала и побеждала. Ей никогда не надоедало вести беседы по обычаю здешних мест: например, усаживаться на ковер с каким-нибудь землевладельцем и отвечать на его вопросы, что меньше — Англия или Лондон, и что из них находится во Франции, и во сколько раз турецкий флот больше английского, французского и русского, вместе взятых.

Кроме того, мисс Лоуган полагала, что в их путешествии, пусть и паломническом по сути, можно будет делать разнообразные дорожные зарисовки — ведь именно любви к рисованию женщины были обязаны своим знакомством. Но

Аманду Фергюссон не соблазняли памятники античности; она не желала осматривать языческие храмы эпохи Августа или полуразвалившиеся колонны, воздвигнутые в честь Юлиана Отступника. Ее интересовали разве что природные виды. Направляясь из Трапезунда вглубь материка с охотничьими хлыстами наготове, они видели вместо ожидаемых собачьих стай ангорских коз, пасущихся на склонах холмов среди карликового дуба, матово-желтого винограда и густых яблоневых садов, слышали кузнечиков, стрекотавших громче и напористей, чем их английские собратья, и наблюдали чудеснейшие багряно-розовые закаты. Вокруг были поля пшеницы, опиумного мака и хлопка; разбросанные там и сям заросли рододендрона и желтой азалии; красноногие куропатки, удоды и синие вороны. В Зирганских горах путницам повстречался большой благородный олень; находясь на почтительном расстоянии от людей, животное ответило им кротким взглядом.

В Арзруме мисс Лоуган уговорила компаньонку посетить христианскую церковь. Поначалу эта идея как будто себя оправдала, ибо мисс Фергюссон обнаружила на кладбище кресты и надгробные камни кельтского обличья, напоми-

нающие о ее родной Ирландии; улыбка одобрения тронула ее суровые черты. Однако смягчилась она ненадолго. Покидая церковь, леди заметили молодую селянку, которая клала в трещину у главного входа какой-то жертвенный дар. Этим даром оказался человеческий зуб, несомненно ее собственный. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, трещина была набита пожелтевшими резцами и стертыми коренными. Мисс Фергюссон решительно осудила это массовое суеверие и попустительствующих ему священников. Тех, кто проповедует слово Божие, заявила она, и судить следует по слову Божьему, а недостойных карать без всякого снисхождения.

Они пересекли рубеж России, наняв на пограничном пункте нового проводника, большого бородатого курда, — по его словам, он хорошо знал, что требуется иностранцам. Мисс Фергюссон обращалась к нему на языке, казавшемся ее товарке смесью русского и турецкого. То время, когда им помогал беглый итальянский мисс Лоуган, давно миновало; начавшая путешествие в качестве гида и переводчика, она чувствовала, что превратилась едва ли не в обузу и ее теперешний статус немногим выше, чем у уволенного драгомана или вновь нанятого курда.

Продвигаясь втроем дальше на Кавказ, они спугнули стаю пеликанов, чья тяжеловесная неуклюжесть чудесным образом пропала, стоило им подняться в воздух. Раздражение мисс Фергюссон, вызванное случаем в Арзруме, пошло на убыль. Переваливая через восточный отрог горы Алагёз, они то и дело поглядывали вперед, где медленно проступали массивные очертания Большого Арарата. Его вершины не было видно — ее окружало кольцо белых облаков, ярко сиявших на солнце.

— У него нимб! — воскликнула мисс Лоуган. — Как у ангела.

— Правильно, — с легким кивком подтвердила мисс Фергюссон. — Люди вроде моего отца с этим, конечно, не согласились бы. Сказали бы, что все эти сравнения чепуха, легче перышка. В буквальном смысле. — Она улыбнулась, поджав губы, и любопытство во взгляде мисс Лоуган побудило ее продолжить: — Они объяснили бы, что кольцо из облаков — совершенно естественное явление. Ночью и еще несколько часов после рассвета вершина хорошо видна, но утреннее солнце нагревает равнину, и теплый воздух поднимается вверх, на определенной высоте превращаясь в пар. К вечеру, когда все снова охлаждается,

ореол исчезает. В этом нет никакой тайны для… науки, — сказала она, неодобрительно выделив последнее слово.

— Это волшебная гора, — отозвалась мисс Лоуган. Спутница поправила ее:

— Это *святая* гора. — Она испустила нетерпеливый вздох. — Всему на свете можно найти два объяснения. Вот зачем мы наделены свободой воли — чтобы выбрать истинное. Мой отец никак не мог понять, что его объяснения, точно так же, как и мои, основаны на вере. На вере в ничто. Для него все это было бы просто паром, облаками и теплым воздухом. Но кто создал пар, кто создал облака? Кто выбрал из многих гор именно Ноеву и каждый день благословляет ее облачным нимбом?

— Ну конечно, — сказала мисс Лоуган, не совсем убежденная этими аргументами.

В тот день они встретили армянского попа, сообщившего им, что гора, к которой они направляются, покорена еще никем не была и, более того, не будет. Когда мисс Фергюссон вежливо упомянула о докторе Парроте, поп заверил ее, что она ошибается. Возможно, она спутала Массис (так он именовал Большой Арарат) с вулканом, находящимся гораздо южнее, — турки зовут его

Сиппан-Даг. Прежде чем найти свое последнее пристанище, Ноев ковчег задел главу Сиппан-Дага и снес его верхушку, дав выход подземному пламени. На ту гору, признал он, человек может взойти; на Массис же нет. Это единственное, в чем христиане согласны с мусульманами. К тому же, продолжал поп, разве не подтверждает этого само Священное Писание? Гора, стоящая перед ними, есть место рождения человечества; но, как известно, напомнил он двум леди с обаятельным смешком, словно прося извинить его за упоминание о столь нескромном предмете, человек не может снова войти в утробу матери и родиться вторично — об этом Спаситель говорил Никодиму.

Перед тем как распрощаться, поп вынул из кармана маленький черный амулет, отполированный многими столетиями. Это, объявил он, кусочек битума, который когда-то был частичкой Ноева ковчега; его обладателю не страшны никакие напасти. Раз леди проявляют такой интерес к горе Массис, то, возможно…

Мисс Фергюссон учтиво отклонила намечающуюся сделку, заметив, что если гора действительно неприступна, то их уверенность в происхождении амулета от корабля Патриарха вряд ли

может быть так уж велика. Армянин, однако, не видел здесь никакой неувязки. Его могла принести вниз птица, как голубь — масличную ветвь. Или это могло быть делом рук ангела. Разве не повествует предание, как святой Иаков трижды пытался подняться на Массис и во время третьей попытки ангел сказал ему, что это запрещено, но принес в дар дощечку от Ковчега? На том самом месте, где святой получил ее, и основан монастырь его имени. Однако купля-продажа так и не состоялась, и поп ушел несолоно хлебавши. Мисс Лоуган, которую смутили слова Спасителя, адресованные Никодиму, переключилась на думы о битуме — не это ли вещество используют художники, чтобы сгустить тени на своих картинах? Мисс же Фергюссон была попросту разгневана: во-первых, попыткой приписать священному тексту какой-то дурацкий смысл; и, во-вторых, этим бесстыдным торгашеством. Не зря ей сразу не понравились представители восточного клира — мало того, что они поддерживают веру в чудесные свойства человеческих зубов, так еще и торгуют сомнительными реликвиями. Чудовищно. Они должны быть наказаны за это — и от расплаты, разумеется, не уйдут. Мисс Лоуган с опаской поглядела на свою компаньонку.

На следующий день они совершили изнурительный переход через поросшую тростником и грубой травой равнину, которую оживляли лишь стайки дроф да черные шатры курдов-кочевников. На ночлег остановились в маленьком поселке — отсюда до подножия горы был еще день пути верхом. Поужинав сливочным сыром и соленой лососиной из Гокчая, женщины вышли в пахнущие абрикосом сумерки и обратили взгляд в сторону горы Патриарха. Кряж впереди образовывал два подъема: Большой Арарат, массивную, широкоплечую глыбу, напоминающую собор с укрепленными стенами, и Малый Арарат, тысячи на четыре футов ниже, изящный конус с гладкими и ровными боками. Сравнивая высоту и очертания двух Араратов, мисс Фергюссон без труда усмотрела в них символ изначального деления человечества на два пола. Она не сказала об этом мисс Лоуган, которая всегда была удручающе глуха к трансцендентному.

В этот момент, точно желая окончательно укрепить товарку во мнении относительно прозаичности своего образа мыслей, мисс Лоуган призналась, что ее с детства занимал вопрос, как это Ковчегу удалось встать на верхушке горы. Было ли днище корабля проткнуто поднявшимся

из моря остроконечным пиком? Тогда он, конечно, уже не мог бы шелохнуться. А если нет, то как же судно избежало рокового крена при спадании вод?

— Об этом уже подумали до вас, — довольно жестко ответила мисс Фергюссон. — Марко Поло высказал догадку, что вершина горы плоская, и тогда это все объясняло бы. Мой отец, заинтересуйся он этой проблемой, наверняка согласился бы с ним. Однако нам известно, что дело здесь в другом. Те, кто поднимался на Большой Арарат, сообщают, что пониже верхушки есть чуть покатая долина. Размером, — уточнила она, словно иначе мисс Лоуган не поняла бы ее объяснений, — примерно с половину лондонского Грин-парка. Она могла послужить вполне естественной и безопасной гаванью.

— Так, значит, Ковчег остановился не на самой верхушке?

— Писание не дает точных указаний на этот счет.

По мере приближения к Аргури, лежащему на высоте более шести тысяч футов над уровнем моря, жара заметно спадала. В трех милях ниже поселка они наткнулись на первую из благословенных плантаций отца Ноя. Виноград только

что отцвел; там и сям среди листвы виднелись крохотные темно-зеленые гроздья. Работавший на посадках крестьянин бросил свою грубую мотыгу и проводил нежданных гостей к поселковому старосте, которому был вручен в подарок мешочек с порохом; он вежливо поблагодарил путешественниц, но не выказал особенного удивления. Мисс Лоуган была слегка задета этой корректностью: староста вел себя так, словно его ежедневно одаривали порохом экспедиции, состоящие из белых женщин.

Между тем мисс Фергюссон оставалась деятельной и целеустремленной. Было решено, что после полудня их проводят в монастырь Святого Иакова; к вечеру они вернутся в поселок, а завтра вновь отправятся в церковь, дабы вознести молитву.

Монастырь был расположен на берегу речушки Аргури, в нижней части гигантской расселины, идущей чуть ли не до вершины горы. Здесь стояла церковь крестообразной формы, сложенная из глыб застывшей лавы. Различные мелкие строения льнули к ее бокам, как поросята к свиноматке. Во внутреннем дворе женщин ждал немолодой священник; за его спиной высился купол церкви Святого Иакова. Он был в простом

балахоне из синей саржи с остроконечным капюшоном, как у капуцинов; черные пряди в его длинной бороде перемежались седыми; на ногах у него были шерстяные персидские носки и обыкновенные тапочки. В одной руке он держал четки; другую приложил к груди в знак приветствия. Что-то побуждало мисс Лоуган преклонить колена перед пастором Ноевой церкви; но присутствие и готовое излиться наружу неодобрение мисс Фергюссон, которая отвергала множество религиозных ритуалов, называя их «папскими штучками», помешали ей сделать это.

Внутренний двор походил скорее на крестьянский, чем на монастырский. У стены были грудой навалены мешки с зерном; три овцы, забредшие сюда с ближнего пастбища, не изгонялись; с земли тянуло гниловатым духом. Улыбаясь, архимандрит пригласил их в свою келью, а именно в один из домишек, накрепко прилепленных к церкви снаружи. Ведя их через дюжину или около того дворов, архимандрит слегка придерживал мисс Фергюссон за локоток, что было абсолютно излишней любезностью.

В монашеской келье были толстые глиняные стены и оштукатуренный потолок, подпертый посередине крепким столбом. Над соломен-

ным тюфяком висел грубый образ какого-то нераспознаваемого святого; дворовые запахи добирались и сюда. Мисс Лоуган сочла обстановку восхитительно простой, мисс Фергюссон — убогой. Поведение архимандрита было также интерпретировано двояко: там, где мисс Лоуган усматривала искренность и дружелюбие, мисс Фергюссон видела одну только лицемерную угодливость. У мисс Лоуган возникло впечатление, что по пути к Арарату ее спутница исчерпала весь свой запас вежливости; теперь она держалась холодно и бесцеремонно. Когда архимандрит предложил двум леди переночевать в монастыре, она коротко оказалась; на дальнейшие уговоры гостеприимного хозяина ответила резкостью.

Архимандрит улыбался по-прежнему, и благодушие, на взгляд мисс Лоуган, ему не изменило. Тут появился слуга с простым подносом, на котором стояли три сделанных из рога кубка. Вода из ручья Аргури, подумала мисс Лоуган; а может быть, кисловатое молоко, каким уже много раз за время путешествия угощали их радушные пастухи. Но слуга вернулся с мехом для вина и по команде разлил его содержимое в сосуды. Архимандрит поднял свой, поведя им в сторону женщин, и залпом выпил, после чего кубок был

наполнен вторично.

Мисс Фергюссон отведала напитка. Затем она стала задавать архимандриту вопросы, вызвавшие у мисс Лоуган серьезное беспокойство. Оно усугублялось необходимыми для перевода паузами.

— Это вино?

— Ваша правда. — Священник улыбнулся, словно приглашая женщин снизойти до этого местного развлечения, пока еще абсолютно неизвестного на их далекой родине.

— Его делают из винограда?

— Совершенно верно, леди.

— Скажите мне, откуда у вас виноград, из которого сделано это вино?

Архимандрит развел руками, как бы предлагая дамам взглянуть вокруг.

— А кто первым посадил виноградники, с которых собран этот урожай?

— Наш великий предок и праотец, породивший всех нас Ной.

Мисс Фергюссон подытожила сказанное, хотя, с точки зрения ее компаньонки, это было вовсе не обязательно:

— Вы угощаете нас вином из ягод, собранных на плантациях Ноя?

— Имею честь, мадам. — Он улыбнулся. Похоже, он ожидал если не особых благодарностей, то, по меньшей мере, легкого удивления. Вместо этого мисс Фергюссон встала, отобрала у мисс Лоуган нетронутое вино и вернула оба кубка слуге. Затем без единого слова покинула келью архимандрита, пересекла двор таким шагом, что три овцы инстинктивно потянулись за ней, и начала спускаться по склону горы. Мисс Лоуган сделала несколько неопределенных жестов, адресованных священнику, затем побежала догонять нанимательницу. Они в молчании миновали пышные абрикосовые сады; не удостоили вниманием пастуха, который протягивал им чашу с молоком; не обменявшись ни словом, вошли в поселок, где мисс Фергюссон, вновь обретшая свою расчетливую вежливость, попросила старосту приготовить им помещение не откладывая. Старик предложил свой дом, самый большой в Аргури. Мисс Фергюссон поблагодарила его и вручила ответный подарок — маленький пакетик сахара, принятый с должной серьезностью.

Этим вечером путешественницам сервировали ужин в их комнате, на низком столике не больше стула пианиста. Им подали *лаваш* — тонкие здешние лепешки, разрезанные пополам кру-

тые яйца, ломтики холодной баранины и плоды земляничного дерева. Вино отсутствовало, то ли потому, что таков был обычай этого дома, то ли потому, что сведения об их визите в монастырь уже дошли до ушей старосты. Вместо вина они опять пили овечье молоко.

— Это кощунство, — наконец сказала мисс Фергюссон. — Кощунство. На Ноевой горе. Живет как крестьянин. Предлагает женщинам ночевать у себя. Делает вино из винограда Патриарха. Это кощунство.

Мисс Лоуган, хорошо изучившая спутницу, и не пыталась отвечать, а тем более защищать обходительного архимандрита. Она вспомнила, что обстоятельства их визита не позволили им осмотреть древнюю иву, выросшую из дощечки от Ноева ковчега.

— Мы поднимемся на гору, — сказала мисс Фергюссон.

— Но мы же не знаем, как это делается.

— Мы поднимемся на гору. Грех должен быть смыт водой. Грехи мира были смыты водами Потопа. Этот монах совершает двойное кощунство. Мы наполним наши бутылочки снегом со святой горы. Чистый сок Ноевой лозы, за которым мы явились, осквернен. Вместо него мы привезем с

собой очищающую воду. Это единственная возможность спасти путешествие.

Мисс Лоуган кивнула, скорее от изумления, нежели в знак согласия.

Они вышли из поселка Аргури утром 20 июня года от Рождества Христова 1840-го, в сопровождении одного лишь своего курда. Староста сочувственно объяснил им, что здешние жители считают гору священной и никто из них не отважится подняться по ней выше монастыря Святого Иакова. Он и сам разделял эти верования. Он не пытался отговорить женщин от их замысла, но настоял на том, чтобы мисс Фергюссон взяла у него взаймы пистолет. Она пристегнула его к поясу, хотя не умела обращаться с оружием и не собиралась пускать его в ход. Мисс Лоуган, тоже по совету старосты, взяла в дорогу мешочек с лимонами.

Леди ехали верхом, прикрывшись от утреннего солнца белыми зонтиками. Подняв глаза, мисс Фергюссон обнаружила, что у вершины горы начинает появляться облачный ореол. Ежедневное чудо, сказала себе она. За несколько часов, похоже, продвинулись недалеко; сейчас они пересекали бесплодную полосу, где не было почти ничего, кроме мелкого песка да желтоватой гли-

ны; лишь изредка попадались чахлые колючие кусты. Мисс Лоуган заметила несколько бабочек и множество ящериц, но была втайне разочарована тем, что о своем присутствии заявляет столь малое количество из плававших на Ковчеге тварей. Она призналась себе, что до сих пор лелеяла о склонах горы нелепое представление как о чем-то вроде зоологического сада. Но ведь зверям было наказано плодиться и размножаться. Им следовало бы исполнить Божью волю.

Они часто углублялись в скалистые ущелья без единой капли влаги. Видимо, это была безжизненная гора, сухая, как меловые карьеры в Сассексе. Но потом, чуть повыше, она удивила их: вдруг открылось зеленое пастбище и розовые кусты с нежными цветами. Они обогнули каменный выступ и наткнулись на небольшой лагерь — три или четыре шатра из рогожи, крытых черными козлиными шкурами. Мисс Лоуган была слегка встревожена этим внезапным обнаружением группы номадов, чьи животные паслись ниже по склону, но мисс Фергюссон направила свою лошадь прямо на них. Свирепого вида мужчина, чьи спутанные волосы походили на крышу его собственного шатра, подал им грубую чашу. В ней было кисловатое молоко, разбавленное во-

дой, и мисс Лоуган отпила немного, чувствуя себя не в своей тарелке. Они кивнули, улыбнулись и поехали дальше.

— Вы считаете это проявлением естественного гостеприимства? — вдруг спросила Аманда Фергюссон.

Мисс Лоуган поразмыслила над этим странным вопросом.

— Да, — ответила она, поскольку они уже много раз сталкивались с образчиками подобного поведения.

— Мой отец сказал бы, что это просто животное стремление подкупить чужестранцев, чтобы отвратить их гнев. Верить в это было бы для него делом чести. Он сказал бы, что эти кочевники ведут себя в точности как жуки.

— Как жуки?

— Мой отец интересовался жуками. Рассказывал мне, что если посадить одного в коробочку и постучать по крышке, он тоже начнет толкаться изнутри, думая, что ты — это другой жук, предлагающий себя в пару.

— Мне не кажется, что они ведут себя как жуки, — сказала мисс Лоуган, постаравшись подчеркнуть своим тоном, что это всего лишь ее личное мнение и она ни в коей мере не хочет

задеть полковника Фергюссона.

— Мне тоже.

Мисс Лоуган не совсем понимала настроение, владеющее ее компаньонкой. Проделав такой огромный путь, чтобы замолить грехи отца, она вместо этого словно бы постоянно спорила с его тенью.

У первого же крутого откоса Большого Арарата они привязали лошадей к колючему дереву и стреножили их. Отсюда предстояло идти пешком. Мисс Фергюссон, с поднятым зонтиком и пистолетом на поясе, устремилась вперед уверенной поступью праведницы; мисс Лоуган, болтая своим мешочком с лимонами, старалась не отставать, ибо тропинка становилась все более обрывистой; обремененный кладью курд замыкал шествие. Чтобы достичь снеговой границы, они должны были провести на горе две ночи.

Они упорно поднимались целый день, и часам к семи, когда небо приобрело мягкую абрикосовую подсветку, остановились передохнуть на голом скалистом языке. Поначалу они не обратили внимания на шум и не поняли, что он означает. Раздался низкий рокот, гранитный гул, хотя откуда он шел, сверху или снизу, было неясно. Затем земля под их ногами начала дрожать,

и они услышали нечто вроде раската грома — но далекого, приглушенного, устрашающего грома, словно какой-то первобытный бог бунтовал в своей глубокой темнице. Мисс Лоуган бросила на компаньонку испуганный взгляд. Аманда Фергюссон смотрела в бинокль на монастырь Святого Иакова, и на лице ее лежало поразившее робкую путешественницу выражение сдержанного удовольствия. Мисс Лоуган была близорука, и потому именно черты лица ее спутницы, а не собственные наблюдения подсказали ей, что случилось. Когда бинокль наконец перешел к ней, она убедилась в том, что все без исключения стены и кровли маленькой церкви и монастырского поселка, который они покинули только сегодня утром, разрушены мощным подземным толчком.

Мисс Фергюссон энергично встала на ноги и снова двинулась в гору.

— Разве мы не будем помогать уцелевшим? — озадаченно спросила мисс Лоуган.

— Там никого не осталось, — ответила ее спутница. И добавила более резким тоном: — Это кара, которую им следовало предвидеть.

— Кара?

— За непослушание. За вино из Ноева виногра-

да. За то, что построили церковь и осквернили ее кощунством. — (Мисс Лоуган осторожно глянула на Аманду Фергюссон, соображая, как лучше выразить мысль, что ее смиренному и недалекому уму эта кара представляется чересчур суровой.) — Это святая гора, — холодно сказала мисс Фергюссон. — Гора, где нашел прибежище Ноев ковчег. Малый грех становится здесь великим.

Мисс Лоуган так и не нарушила своего тревожного молчания; она просто последовала за компаньонкой, которая взбиралась вверх по каменистой ложбине. Дойдя до конца, мисс Фергюссон подождала товарку и вновь обратилась к ней:

— Вы думаете, Бог похож на главного судью в Лондоне. Ждете от него целой объяснительной речи. Бог этой горы — тот самый Бог, который из всего мира пощадил только Ноя и его семью. Помните это.

Мисс Лоуган была серьезно обеспокоена этими словами. Неужели мисс Фергюссон уподобляет землетрясение, разрушившее поселок Аргури, самому великому Потопу? Неужто избавление от гибели двух белых женщин и одного курда приравнивается ею к спасению Ноева семейства? Когда они готовились к экспедиции, им говорили,

что магнитный компас на таких горах бесполезен, ибо там много залежей железа. Оказывается, думала мисс Лоуган, здесь вполне можно потерять ориентацию и в других смыслах.

Что она делает на Ноевой горе бок о бок с паломницей, обратившейся в фанатичку, и бородатым селянином, говорящим на непонятном языке, в то время как скалы под ними взрываются, точно начиненные порохом, который служит им для умилостивления местных вождей? Все призывало их спуститься, но они по-прежнему шли вверх. Курд, от которого она ожидала бегства в самом начале землетрясения, по-прежнему сопровождал их. Может быть, он собирался перерезать им глотки, когда они заснут.

Они переночевали и с восходом солнца вновь тронулись в путь. Их зонтики ярко белели, оживляя унылый горный пейзаж. Тут были только голые скалы да галечник; ничего не росло, кроме лишайника; кругом было абсолютно сухо. Так могла бы выглядеть поверхность Луны.

Они поднимались, пока не достигли первого снега, лежавшего в длинном темном разломе на склоне горы. Они были в трех тысячах футов от вершины, как раз под ледяной шапкой, венчающей Большой Арарат. Именно здесь теплый

воздух с долины превращался в пар, который украшал гору волшебным ореолом. Небо над ними обрело светло-зеленый оттенок, его голубизна почти сошла на нет. Мисс Лоуган было очень холодно.

Они наполнили свои бутылочки снегом и передали их на сохранение курду. Позже мисс Лоуган пыталась снова вызвать в памяти уверенную осанку и странную безмятежность на лице своей нанимательницы в начале спуска; оно излучало удовлетворение, граничащее с самодовольством. Они прошли не более нескольких сот ярдов — проводник впереди, мисс Лоуган замыкающей — и пересекали каменистую осыпь, что было скорей утомительно, нежели рискованно, когда мисс Фергюссон споткнулась. Она упала вперед и вбок и, прежде чем курд успел помешать ее продвижению, съехала ярдов на десять вниз но склону. Первой реакцией мисс Лоуган было удивление, ибо ей почудилось, что мисс Фергюссон потеряла опору на маленьком выступе сплошной скалы, не представлявшем никакой опасности.

Когда они подошли к ней, она улыбалась, явно не расстроенная видом крови. Мисс Лоуган не могла позволить курду перевязывать мисс Фергюссон; она взяла лоскуты, оторванные им для

этой цели от своей рубашки, но настояла на том, чтобы он отвернулся. Через полчаса или около того они продолжили спуск; мисс Фергюссон опиралась на руку проводника с непонятной беспечностью, словно на прогулке по какому-нибудь собору или зоологическому саду.

За остаток этого дня они преодолели небольшое расстояние, так как мисс Фергюссон нуждалась в частом отдыхе. Мисс Лоуган прикинула, сколько еще добираться до лошадей, и была удручена результатом оценки. К ночи они достигли двух небольших пещер, которые мисс Фергюссон уподобила отпечаткам Богова большого пальца. Курд, осторожно принюхиваясь, вступил в одну из них; затем, убедившись, что она свободна от диких зверей, пригласил войти женщин. Мисс Лоуган приготовила ложа и дала своей спутнице немного опиума; проводник, сделав какие-то загадочные жесты, исчез. Он вернулся час спустя с несколькими чахлыми кустиками, которые ему удалось выломать из скал. Он развел костер; мисс Фергюссон легла, выпила воды и заснула.

Проснувшись, она заявила, что чувствует слабость; руки и ноги плохо слушались ее. Она не ощущала ни прилива сил, ни голода. Этот день они провели в пещере, надеясь, что к следующему

утру состояние мисс Фергюссон улучшится. Мисс Лоуган стала размышлять о переменах, происшедших с ее нанимательницей по прибытии на гору. Целью их паломничества было вымолить прощение для полковника Фергюссона. Однако до сих пор Аманда Фергюссон ни разу не молилась; она словно все еще спорила со своим отцом; вместе с тем Бог, чей образ создавался на основе ее речей, явно не походил на Бога, который мог бы легко простить полковнику его упрямое нежелание узреть истинный свет. Значит, мисс Фергюссон уверилась или, по меньшей мере, склонилась к мнению, что душа ее отца уже погибла, что она отвергнута, проклята? Этим ли все объясняется?

Вечером мисс Фергюссон попросила компаньонку покинуть пещеру, чтобы она могла переговорить с курдом наедине. Необходимости в этом не было, ибо мисс Лоуган не понимала ни слова из той турецкой, или русской, или курдской, или какой там еще тарабарщины, которая служила ее спутникам средством общения; однако она сделала, как ей было велено. Она постояла снаружи, глядя на кремовую луну и боясь только, как бы в ее волосах не запуталась летучая мышь.

— Положите меня так, чтобы я могла видеть

луну. — (Они подняли ее осторожно, словно она была старухой, и перенесли поближе к входу в пещеру.) — Вы отправляйтесь завтра с рассветом. Вернетесь или нет, не важно. — (Мисс Лоуган кивнула. Она не спорила, потому что понимала бесперспективность спора; не плакала, потому что за слезы ее отчитали бы.) — Я буду вспоминать Святое Писание и предамся Божьей воле. На этой горе Божья воля явлена как нигде. Я не знаю лучшего места, откуда Он мог бы взять меня к себе.

Этой ночью мисс Лоуган и курд дежурили около нее по очереди. Луна, уже почти полная, заливала своим светом полпещеры, где лежала Аманда Фергюссон.

— Отец захотел бы еще музыки в придачу, — как-то заметила она; мисс Лоуган улыбнулась в ответ, и это рассердило ее компаньонку. — Вы же не можете знать, о чем я говорю. — (Мисс Лоуган согласилась вторично.)

Стояла тишь. Было холодно и сухо; от кострища тянуло гарью.

— Он считал, что картины должны двигаться. С огнями, музыкой и патентованными печами. Он видел в этом будущее. — (Мисс Лоуган, осведомленная немногим больше, чем прежде, ради

безопасности хранила молчание.) — Но будущее не в этом. Посмотрите на луну. Луне не нужны музыка и цветные огни.

Мисс Лоуган выиграла один маленький, последний спор — скорее благодаря активным действиям, чем при помощи слов, — и обе бутылочки с талым снегом были оставлены мисс Фергюссон. Она согласилась взять также пару лимонов. На рассвете проводник и мисс Лоуган с пистолетом, перекочевавшим теперь на ее пояс, отправились вниз по склону. Мисс Лоуган была настроена решительно, но пока не знала, как лучше поступить. Она, например, подумала, что если крестьяне из Аргури не хотели подниматься на гору до землетрясения, то уцелевшие едва ли пожелают отправиться туда сейчас. Возможно, ей придется искать помощи в более отдаленном селении.

Лошадей не было. Курд издал долгий горловой звук, принятый ею за выражение досады. Дерево, к которому они их привязали, стояло на месте, но лошади исчезли. Мисс Лоуган представила себе, какая паника охватила животных, когда земля заходила под ними ходуном; наверное, они сорвались с привязи и как бешеные помчались вниз с горы, волоча за собою путы. Позже, бредя

вслед за проводником к поселку Аргури, она додумалась и до другого объяснения: лошадей могли украсть дружелюбные номады, встреченные ими в то первое утро.

Монастырь Святого Иакова выглядел полностью разрушенным, и они миновали его без остановки. Недалеко от развалин Аргури курд знаками попросил мисс Лоуган подождать, пока он осмотрит поселок. Двадцать минут спустя он вернулся, качая головой, — все было ясно. Когда они обходили руины стороной, мисс Лоуган не могла не заметить, что землетрясение погубило всех жителей, оставив нетронутыми те самые виноградники, которые, если верить мисс Фергюссон, и послужили орудием соблазна, навлекшего на людей кару.

Первого населенного пункта они достигли только через два дня. Это была деревня среди холмов к юго-западу от горы; там курд привел ее в дом священника-армянина, сносно говорившего по-французски. Она объяснила ему, что нужно немедленно собрать отряд спасателей и вернуться на Большой Арарат. Священник отвечал, что ее проводник, без сомнения, как раз занят сейчас поиском людей, способных отправиться на выручку. Его поведение показалось мисс Лоуган

странноватым: видимо, он не совсем поверил ее рассказу о том, что они одолели большую часть пути к вершине Массиса, о чьей неприступности хорошо знали как крестьяне, так и святые.

Весь день она ждала возвращения курда, но так и не дождалась его; на следующее же утро в ответ на ее расспросы ей сказали, что он покинул поселок сразу же, как только вышел от священника. Мисс Лоуган была огорчена и разгневана поступком этого иуды, о чем и не преминула в сильных выражениях сообщить приютившему ее армянину; священник кивнул и предложил помолиться за мисс Фергюссон. Мисс Лоуган не стала возражать, хотя эффективность простой, незамысловатой молитвы в краях, где приносят в жертву собственные зубы, внушала ей серьезные сомнения.

Лишь несколько недель спустя, задыхаясь в каюте грязного пароходика, идущего из Трапезунда, она припомнила, что в течение всего их совместного путешествия курд был почтительным и аккуратным исполнителем указаний мисс Фергюссон; к тому же для нее так и осталось неизвестным, что произошло между ними в тот последний вечер в пещере. Возможно, мисс Фергюссон велела доставить свою компаньонку в

безопасное место, а затем покинуть ее.

Мисс Лоуган размышляла также и о падении мисс Фергюссон. Они пересекали осыпь; там хватало коварных камней, и идти было трудно, но к тому моменту спуск стал, безусловно, менее крутым, а ее спутница, несомненно, оступилась на почти ровной гранитной площадке. Арарат — магнитная гора, где не работает компас, а на магнитной горе легко совершить неверное движение. Нет, это тут ни при чем. Вопрос, которого она избегала, звучал так: не сама ли мисс Фергюссон инициировала этот несчастный случай, дабы достичь или подтвердить то, что она желала достичь или подтвердить? Когда они впервые любовались горой в облачном нимбе, мисс Фергюссон сказала, что все можно объяснить двумя способами, что оба они основаны на вере и что свобода воли дана нам для того, чтобы мы могли выбирать между ними. Этой дилемме предстояло занимать мысли мисс Лоуган в грядущие годы.

7. Три простые истории
I

Я был нормальным восемнадцатилетним: зачехленный, робкий, мало повидавший и ехидный; отчаянно образованный, дружелюбно бестактный и не отличающийся душевной тонкостью. По крайней мере, все прочие восемнадцатилетние, мои знакомые, были такими, поэтому я считал, что со мной все нормально. Я собирался поступать в университет и только что получил место преподавателя в начальной школе. Если судить по прочитанной литературе, мне были уготованы блестящие роли: гувернера в старой каменной усадьбе, где павлины отдыхают на тисовых изгородях и в заколоченной келье обнаруживаются белые как мел кости; легковерного инженю в эксцентричном частном заведении на границе Уэльса, битком набитом дюжими пьяницами и тайными развратниками. Предполагалось, что меня поджидают бесшабашные девицы и невозмутимые слуги. Вам знакома

социальная мораль этой истории: меритократ[29] понемногу заражается снобизмом.

У реальности оказалось меньше размаху. Один триместр я преподавал в подготовительной школе не дальше полумили от дома и, вместо того чтобы коротать ленивые часы с симпатичными детьми, чьи матери, надежно защищенные шляпками, снисходительно улыбались бы и все же флиртовали со мной в теченье бесконечного, сбрызнутого пыльцой дня спортивных состязаний, проводил время с сыном местного букмекера (он одолжил мне свой велик; я его разбил) и дочкой пригородного адвоката. Но полмили — вполне приличный конец для мало повидавшего; и в восемнадцать лет даже крохотные градации в средних слоях общества волнуют и устрашают. Школа существовала с семьей в придачу; у семьи был дом. Все здесь было другим и потому лучшим: горделивые латунные краны, форма перил, подлинные работы маслом (у нас тоже имелась подлинная работа маслом, но она была не такая подлинная), библиотека, которая по непонятной причине казалась чем-то большим, нежели просто набитой книгами ком-

[29] Сноски: 29

Меритократ — человек, выдвинувшийся благодаря своим способностям.

натой, мебель, достаточно старая для того, чтобы в ней завелись древесные черви, и беззаботное приятие унаследованных вещей. В холле висела ампутированная лопасть весла; на ее черной поверхности были золотыми буквами выписаны имена представляющей колледж восьмерки, каждого члена которой наградили подобным трофеем в осиянные солнцем довоенные дни; эта штука казалась до невозможности экзотической. В саду находилось бомбоубежище, которое заставило бы моих домашних краснеть и подверглось бы энергичной маскировке многолетней зимостойкой зеленью; однако здесь оно служило только предметом слегка иронической гордости. Семья соответствовала дому. Отец был шпионом; мать прежде была актрисой; сын носил воротнички с петлицами и двубортные жилеты. Нужно ли добавлять еще что-нибудь? Прочти я к тому времени побольше французских романов, я знал бы, чего мне ожидать; и конечно, именно здесь я впервые влюбился. Но это уж другая история или, по крайней мере, другая глава.

Школу основал дед, и он до сих пор жил вместе со всеми. Хотя ему давно перевалило за восемьдесят, он лишь в последнее время был отлучен от преподавания каким-то моим коварным предше-

ственником. Он мелькал то там, то сям, слоняясь по дому в кремовой полотняной куртке, галстуке своего колледжа — «Гонвилл энд Киз», полагалось вам знать, — и круглой плоской шапочке (у нас такая шапочка никого бы не удивила, а здесь это был особый шик — подобный головной убор мог означать, что вы любитель псовой охоты). Он искал свой «класс», которого никогда не находил, и толковал о «лаборатории», которая представляла собой всего-навсего удаленную от прочих помещений кухню с бунзеновской горелкой и проточной водой. В теплые дни он усаживался снаружи, у парадной двери, с переносным радиоприемником «Робертс» (целиком деревянная коробка, как я заметил, обеспечивала лучшее звучание, нежели пластмассовые или металлические корпуса обожаемых мною транзисторов) и слушал репортажи о крикетных матчах. Звали его Лоренс Бизли.

Если не считать моего прадеда, человек этот был самым старым из всех, кого я когда-либо видел. Его возраст и положение вызывали с моей стороны обычную смесь почтительности, опаски и нахальства. Его дряхлость — одежда, заляпанная невесть в какую давнюю пору, слюни, свешивающиеся с подбородка, как взби-

тый белок, — порождала во мне естественную юношескую досаду на жизнь и на неизбежные признаки ее заключительного этапа: чувство, которое легко переходит в ненависть к носителю этих признаков. Дочь кормила его детскими консервами, что опять-таки подтверждало для меня издевательский характер существования и особую презренность этого человека. У меня появилась привычка сообщать ему выдуманные результаты крикетных матчей. «Восемьдесят четыре — два, мистер Бизли», — кричал я, проходя мимо старика, дремлющего на солнышке под долговязой глицинией. «Вест-Индия набрала семьсот девяносто на трех воротах», — заявлял я, доставив ему поднос с его детским обедом. Я называл ему результаты матчей, которые никогда не были сыграны, фантастические результаты, невозможные результаты. Он кивал в ответ, и я ускользал, похихикивая, меня радовала моя мелкотравчатая жестокость и сознанье того, что я вовсе не такой славный юноша, каким, наверное, ему представляюсь.

За пятьдесят два года до нашего знакомства Лоренс Бизли был пассажиром второго класса на совершавшем свой первый рейс «Титанике». Ему было тридцать пять, он недавно оставил

место учителя-естественника в Далиджском колледже и теперь пересекал Атлантику — по крайней мере, согласно позднейшему семейному преданию, — обуреваемый противоречивыми чувствами, в погоне за американской наследницей. Когда «Титаник» наткнулся на айсберг, Бизли спасся в полупустой шлюпке № 13 и был подобран «Карпатией». В качестве сувенира сей восьмидесятилетний счастливец держал у себя в комнате одеяло, на котором было вышито название спасшего их корабля. Более скептически настроенные члены семьи утверждали, что вышивка появилась на одеяле значительно позже 1912 года. Еще они тешили себя догадкой, что их предок бежал с «Титаника» в женском платье. Разве имя Бизли не отсутствовало в первом списке спасенных и разве не оказалось оно среди имен погибших в бюллетене, подводящем итоги катастрофы? Не было ли это очевидным подтверждением гипотезы, что фальшивый труп, который чудом обернулся живым счастливчиком, прибег к помощи панталон и писклявого голоса, а после благополучной высадки в Нью-Йорке украдкой избавился от своего дамского наряда в туалете подземки?

Я с удовольствием поддерживал эту гипотезу,

ибо она гармонировала с моим взглядом на мир. Осенью того года мне предстояло повесить на зеркале в своей тамошней комнате бумажку со строками: «Какой обман — вся наша жизнь земная. / Так раньше думал я — теперь я это знаю»[30]. Случай с Бизли вписывался в общую картину: герой «Титаника» подделывал одеяла и был обманщиком-трансвеститом; а потому столь же уместно и справедливо с моей стороны потчевать его фальшивыми результатами крикетных матчей. А по большому счету так: ученые утверждали, будто жизнь есть выживание самых приспособленных; разве случившееся с Бизли не доказывало, что «самые приспособленные» суть просто-напросто самые хитрые? Герои, крепкие люди йоменских добродетелей, лучшие представители рода, даже капитан (особенно капитан!) — все отправились на дно вместе с кораблем; в то время как трусы, паникеры, обманщики нашли способ улизнуть в спасательной шлюпке. Разве не было это убедительным подтверждением того, что генетический фонд человечества постоянно беднеет, что дурная кровь забивает добрую?

---

[30] Сноски: 30

Слегка измененная автоэпитафия Джона Гея (1685–1732) (перев. С. Маршака).

В своей книге «Гибель „Титаника“» Лоренс Бизли не упоминал о женском платье. Представители американского издательства «Хоутон Миффлин» поселили его в одном бостонском клубе, и он написал свой отчет за шесть недель; книга вышла меньше чем через три месяца после крушения судна и с тех пор многократно переиздавалась. Благодаря ей Бизли попал в число наиболее известных пассажиров, переживших катастрофу, и в течение пятидесяти лет вплоть до нашего с ним знакомства его регулярно посещали морские историки, документалисты, журналисты, охотники за сувенирами, зануды, сутяги и потенциальные заговорщики. Когда другие корабли сталкивались с айсбергами, ему начинали трезвонить репортеры, жаждущие узнать, что он думает о судьбе жертв.

Лет через десять после его спасения в Пайнвуде ставили фильм «Памятная ночь»; он был приглашен туда консультантом. Большую часть ленты снимали в темноте; модель судна, вдвое меньше оригинала, покоилась в море из собранного складками черного бархата, которое затем и поглощало ее. Несколько вечеров подряд Бизли наблюдал это действо вместе со своей дочерью; дальнейшее я пересказываю с ее слов. Бизли —

что неудивительно — был заинтригован видом возрожденного и вновь качающегося на волнах «Титаника». Особенно он хотел оказаться среди статистов, которые в отчаянии толпились у борта тонущего корабля, — хотел, как можно подумать, вновь пережить эту историю, вернее, ее вымышленную версию. Режиссер же фильма был в равной мере озабочен тем, чтобы не позволить этому консультанту, который не имел удостоверения Союза актеров, появиться на экране. Бизли, дока по части критических ситуаций, подделал пропуск, открывающий доступ на палубу копии «Титаника», оделся в костюм той эпохи (могут ли отзвуки подтвердить истинность того, отзвуками чего они являются?) и затесался в толпу статистов. Прожекторы были включены, актеры проинструктированы относительно своей неминучей гибели в складках черного бархата. В самую последнюю минуту, когда готовы были заработать камеры, режиссер заметил, что Бизли умудрился просочиться на борт; подняв рупор, он вежливо предложил хитроумному безбилетнику сойти. Таким образом, уже во второй раз в жизни, Лоренс Бизли покинул «Титаник» как раз перед его погружением в пучину.

Будучи отчаянно образованным восемнадцати-

летним, я знал Марксово доосмысление Гегеля: история повторяется, первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Но мне еще только предстояло убедиться в этом самому. Минули годы, а я все обнаруживаю новые подтверждения этого правила, одно лучше другого.

II

Что, собственно, потерял Иона в чреве кита? Как вы уже, вероятно, поняли, в этой истории мало правдоподобного.

Все началось с того, что Бог дал Ионе инструкцию идти и проповедовать в Ниневии, которая, несмотря на значительные успехи Бога в деле изничтожения нечестивых городов, по-прежнему оставалась — упрямо, необъяснимо — нечестивым городом. Иона, решив не выполнять этого наказа по неизвестной причине — возможно, убоявшись, что разгульные ниневитяне забьют его камнями, — бежал в Иоппию. Там он сел на корабль, отправляющийся в самый дальний конец известного мира — в испанский город Фарсис. Он, разумеется, не учел того, что Господь прекрасно знает, где находится его непокорный раб, и, более того, обладает оперативным

контролем над водами и ветрами Восточного Средиземноморья. Когда разразилась страшная буря, корабельщики, будучи людьми суеверными, кинули жребий, дабы определить, кто из плывущих на судне является причиной этой беды, и короткую соломинку, треснувшую доминошку или пиковую даму вытянул Иона. Он был своевременно выброшен за борт и столь же своевременно проглочен гигантской рыбой, или китом, которую Господь направил туда по морю специально для этой цели.

Внутри кита, три дня и три ночи, Иона молился Господу и так преуспел в заверениях относительно своей будущей покорности, что Бог повелел рыбе извергнуть узника. Неудивительно, что, получив от Всемогущего вторичный наказ идти в Ниневию, Иона исполнил его. Он пошел туда и возвестил нечестивому городу, что, подобно всем прочим нечестивым городам Восточного Средиземноморья, он вскоре будет уничтожен. После чего разгульные ниневитяне, в точности как Иона внутри кита, раскаялись; после чего Бог решил-таки пощадить их; после чего Иона необычайно разозлился, что было вполне естественно для человека, пережившего столько неприятностей лишь ради того, чтобы вслед за объявлением

о грядущей каре Господь, несмотря на свое хорошо известное историческое пристрастие к разрушению городов, вдруг все переиначил и не стал никого трогать. А затем, словно этого было еще недостаточно, Господь, которому никогда не надоедало демонстрировать, кто в мире хозяин, разыграл затейливую притчу с участием своего любимца. Сначала он вырастил для защиты Ионы от солнца тыкву (под «тыквой» нам следует понимать нечто вроде касторового боба, или *Palma Christi*[31], с его способностью к быстрому росту и образующей сплошной навес листвой); потом, не более чем взмахом шелкового платка, наслал на вышеупомянутую тыкву прожорливых личинок, и Иона очутился на самом пекле, что было очень мучительно. Богово объяснение этой сценки, точно взятой из репертуара уличного театра, сводилось к следующему: ты же не покарал тыкву, когда она подвела тебя, верно? Вот и Я не собираюсь карать ниневитян.

История не ахти какая, правда? Подобно большинству ветхозаветных историй, она отличается гнетущим отсутствием свободной воли — или даже иллюзии свободной воли. Все карты на

[31] Сноски: 31
Пальмы Христовой *(лат.).*

руках у Бога; он и берет все взятки. Единственная неопределенность состоит в том, как Господу вздумается разыграть этот кон: начать ли с козырной двойки и двигаться вверх к тузу, начать ли с туза и идти вниз до двойки или шлепать своими картами вразнобой. А поскольку, имея дело с шизоидными параноиками, вы ничего предсказать не можете, этот элемент действительно несколько оживляет повествование. Но что дает нам выдумка с тыквой? Она не очень-то убедительна в качестве логического аргумента: всякому ясно, что между касторовым бобом и городом в 120 000 человек гигантская разница. Если, конечно, не в этом суть рассказа и Бог Восточного Средиземноморья не считает все свои творения чем-то вроде овощей.

Если мы посмотрим на Бога не как на главного героя и морализирующего громилу, а как на автора этой истории, нам придется поставить ему невысокую оценку и за сюжет, и за мотивировку, и за уровень напряженности повествования, и за проработку характеров. Но в его шаблонном и довольно-таки отталкивающем моралите есть один блестящий мелодраматический ход — а именно выдумка с китом. Технически этот китовый мотив получил отнюдь не лучшее воплощение:

рыбина, очевидно, такая же пешка, как и Иона; ее провиденциальное появление в тот самый момент, когда моряки швыряют Иону за борт, чересчур сильно отдает приемом deus ex machina; и, едва выполнив свою роль в повести, она оказывается бесцеремонно из нее выброшенной. Даже тыква и та выглядит лучше несчастного кита, являющегося не более чем плавучей темницей, где Иона в теченье трех дней замаливает свое неподчинение властям.

И тем не менее, несмотря на все это, кит выдвигается на передний план. Мы забываем об аллегорическом смысле этой истории (Вавилон поглощает непокорный Израиль), нас не слишком волнует, уцелела ли Ниневия и что случилось с вытошненным на волю узником; но кита мы помним. Джотто изображает его заглотнувшим Иону по бедра; видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечен Микеланджело, Корреджо, Рубенсом и Дали. В Гауде есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона (принимающий обличья от мускулистого фавна до бородатого старца) может похвастаться столь солидной и богатой иконографией, что Ною остается только

позавидовать ему.

Что же так завораживает нас в приключении Ионы? Момент ли заглатывания, эта борьба страха с надеждой на спасение, когда мы воображаем себя чудом избегнувшими смерти в волнах только ради того, чтобы быть съеденными живьем? Или три дня и три ночи в китовом чреве, этом символе темницы, душной могилы, куда попадаешь еще при жизни? (Однажды, едучи ночным поездом из Лондона в Париж, я обнаружил, что нахожусь в запертом купе запертого вагона в запертом трюме пересекающего пролив парома, ниже уровня воды; в тот раз я об Ионе не думал, но моя тогдашняя паника, возможно, была сродни охватившей его. А не замешан ли тут более азбучный страх: не ужасает ли нас образом пульсирующей ворвани перспектива вновь вернуться в материнское лоно?) Или нас больше всего впечатляет третий эпизод этой истории — освобожденье, свидетельство того, что после искупительной отсидки нас ждет заслуженное спасение? Всех нас, подобно Ионе, треплют житейские шторма, всем выпадает на долю мнимая смерть и нечто смахивающее на похороны, но затем приходит ослепительное возрождение: двери парома распахиваются, и мы возвращаем-

ся к свету и Божьей любви. Так вот почему этот миф дрейфует в нашей памяти?

Возможно; а может, и нет. Когда появился фильм «Челюсти», было много попыток объяснить его воздействие на зрителей. Лежит ли в его основе какая-то первичная метафора, какое-то архетипическое видение, никого не оставляющее равнодушным? Или фигурирующие в нем несовместимые стихии земли и воды разбудили в нас давний интерес к амфибиям? Или он имеет какое-то отношение к тому факту, что миллионы лет назад наши снабженные жабрами предки выползли из болота, и с тех самых пор нас до безумия пугает перспектива вернуться туда? Поразмыслив о фильме и его возможных интерпретациях, английский романист Кингсли Эмис пришел к такому выводу: «Это о том, как охеренно страшно быть съеденным охеренной акулой».

В глубине своей это та же власть, какую все еще имеет над нами легенда об Ионе и ките: страх, что тебя сожрет гигантское существо, страх, что тебя проглотят с бульканьем, с чавканьем, с хлюпаньем, что ты канешь вниз в потоке соленой воды и со стайкой анчоусов на закуску; боязнь оказаться ошеломленным, ослепленным, задушенным, утопленным, попасть в мешок из ворвани; бо-

язнь лишиться способности чувствовать, отчего, как известно, люди сходят с ума; боязнь умереть. Мы реагируем на все эти ужасы так же бурно, как и любое другое трепещущее перед смертью поколение, и повелось это с той давней поры, когда какой-то жестокий моряк, желая попугать новичка юнгу, придумал сказку об Ионе.

Конечно, все мы согласны с тем, что в действительности ничего подобного произойти не могло. Мы люди бывалые и умеем отличать мифы от реальности. Да, кит мог проглотить человека, это мы допускаем; но, очутившись внутри, он бы не выжил. Перво-наперво он утонул бы, а если б не утонул, то задохнулся; а скорее всего, умер бы от разрыва сердца, едва осознав, что угодил в гигантскую пасть. Нет, в чреве кита человеку уцелеть невозможно. Мы-то умеем отличать мифы от реальности. Мы люди бывалые.

25 августа 1891 года вблизи Фолклендских островов тридцатипятилетний матрос со «Звезды Востока» Джеймс Бартли был проглочен спермацетовым китом:

«Я помню все очень хорошо с того мига, как выпал из лодки и почувствовал, что ударился ногами во что-то мягкое. Я посмотрел вверх и увидел опускающийся на меня крупноребристый

купол, светло-розовый с белым, а в следующий момент почувствовал, что меня тянет вниз, ногами вперед, и понял, что меня глотает кит. Меня затягивало все глубже и глубже; со всех сторон меня окружали и сжимали живые стены, но они не причиняли мне боли и легко подавались при малейшем моем движении, как будто сделанные из каучука.

Вдруг я обнаружил, что нахожусь в мешке намного больше моего тела, но совершенно темном. Я пошарил вокруг и наткнулся на нескольких рыб — среди них, кажется, были и живые, потому что они трепыхались у меня в руках и ускользали обратно под ноги. Скоро у меня страшно заболела голова; дышать становилось все трудней и трудней. В то же время я сильно страдал от жары, которая прямо-таки палила меня и быстро росла. Мои глаза превратились в горящие угли, и я ни секунды не сомневался, что обречен потонуть в брюхе кита. Я едва терпел эти муки, и в то же время меня угнетала мертвая тишина моей жуткой тюрьмы. Я пытался встать, пошевелить руками и ногами, крикнуть. Я не мог даже шелохнуться, но голова моя была удивительно ясной; и с полным сознанием своей ужасной судьбы я наконец лишился чувств».

Позже этот кит был убит и подтянут к борту «Звезды Востока», и члены ее команды провели остаток дня и часть ночи за разделкой туши, не подозревая о близости пропавшего товарища. На следующее утро с помощью талей они вытащили на палубу желудок кита. Внутри что-то слабо, судорожно подергивалось. Думая найти крупную рыбу, возможно акулу, моряки раскроили трофей и увидели Джеймса Бартли — бесчувственного, с побелевшими от желудочного сока лицом, шеей и руками, но еще живого. Две недели он лежал в горячке, потом начал поправляться. Постепенно он обрел прежнее здоровье, однако кислота вытравила из подвергшейся ее действию кожи все пигменты. До самой смерти он оставался альбиносом.

В 1914 году редактор научного отдела «Журналь де деба» месье де Парвиль изучил этот случай и пришел к выводу, что отчет капитана и команды «заслуживает доверия». Современные ученые утверждают, что Бартли не мог прожить в чреве кита и нескольких минут, не говоря уж о половине дня или еще большем сроке, который понадобился ничего не ведающим матросам с китобойца, чтобы освободить этого Иону нашего времени. Но верим ли мы современным ученым,

никто из которых не бывал в китовом чреве сам? Ведь мы вполне можем достичь компромисса с профессиональным скептицизмом, допустив наличие воздушных карманов (разве киты не страдают от колик подобно всем прочим?) или понижение кислотности желудочного сока в силу какого-нибудь недуга, коему подвержены китообразные.

И если вы ученый или просто человек желчный и недоверчивый, взгляните на это вот с какой стороны. Многие (и я в том числе) верят в миф о Бартли точно так же, как миллионы верили мифу об Ионе. Вы можете оставаться при своем мнении, но нельзя спорить с тем, что эта история была пересказана заново, подредактирована, осовременена; она придвинулась к нам. Вместо «Ионы» теперь читайте «Бартли». И однажды произойдет случай, в который поверите даже вы: моряк исчезнет в пасти кита и будет освобожден из его чрева; пусть не через полдня, быть может, только через полчаса. И тогда люди поверят в миф о Бартли, порожденный мифом об Ионе. Потому что суть вот в чем: миф вовсе не отсылает нас к какому-то подлинному событию, фантастически преломившемуся в коллективной памяти человечества; нет, он отсылает нас вперед, к тому,

что еще случится, к тому, что должно случиться. Миф станет реальностью, несмотря на весь наш скептицизм.

III

В 8 часов вечера 13 мая 1939 года — это была суббота — лайнер «Сент-Луис» покинул свой порт приписки Гамбург. Судно было предназначено для морского отдыха, и большинство из 937 пассажиров, которые отправились на нем в трансатлантический рейс, получили визы, удостоверявшие, что их владельцы являются «туристами, путешествующими в развлекательных целях». Однако слова эти, равно как и назначение рейса, служили простым камуфляжем. Почти все пассажиры корабля были евреями, беженцами из нацистского государства, взявшего курс на конфискацию их имущества, изгнание или уничтожение их самих. Собственно, многие уже превратились в неимущих, так как эмигрантам из Германии разрешено было брать с собой только ничтожную сумму в десять рейхсмарок. Эта вынужденная бедность делала их более удобной мишенью для пропаганды: если они уезжали из страны, захватив с собой указан-

ную сумму, их можно было изображать нищими *Untermenschen*[32], которые разбегаются, точно крысы; если им удавалось перехитрить систему, тогда они были экономическими преступниками, удирающими с награбленным добром. Все это было в порядке вещей.

Над «Сент-Луисом» развевался флаг со свастикой, что было в порядке вещей; его команда включала в себя полдюжины гестаповских агентов, что тоже было в порядке вещей. Судоходная компания велела капитану закупить для этого рейса мясо подешевле, убрать из продажи на борту предметы роскоши, а из комнат общего пользования — бесплатные почтовые открытки; но капитан великодушно обошел эти приказы, заявив, что путешествие должно быть похожим на прочие рейсы «Сент-Луиса», то есть выглядеть, насколько это возможно, обычным. Поэтому евреи, прибывшие на лайнер с материка, где их не считали людьми, систематически унижали и арестовывали, неожиданно обнаружили, что, хотя корабль формально является частью Германии, хотя над ним реет фашистский флаг и повсюду висят большие портреты Гитлера,

---

[32] Сноски: 32
Недочеловеками *(нем.).*

немцы, с которыми им приходится иметь дело, любезны, внимательны и даже услужливы. Такого порядок вещей не предусматривал.

Никто из этих евреев — половину которых составляли женщины и дети — не собирался в ближайшем будущем возвращаться в Германию. Однако, согласно правилам судоходной компании, все они были вынуждены купить обратные билеты. Этот взнос, объяснили им, предназначается для покрытия расходов в случае возникновения «непредвиденных обстоятельств». После высадки в Гаване пассажиры должны были получить квитанции с указанием неизрасходованного остатка. Сами деньги лежали на специальном счете в Германии; если люди когда-нибудь вернутся туда, они смогут забрать их. Обратную дорогу пришлось оплатить даже тем евреям, которых освободили из концлагерей с предписанием немедленно покинуть фатерланд.

Вместе с билетами беженцы получили разрешения на высадку от начальника кубинской иммиграционной службы; он лично гарантировал им беспрепятственный въезд в свою страну. Это он назвал их «туристами, путешествующими в развлекательных целях», и за время рейса некоторым из пассажиров, особенно юным, уда-

лось совершить крутой переход от презираемого унтерменша к ищущему развлечений туристу. Возможно, бегство из Германии казалось им таким же чудом, как спасение Ионы из китового чрева. Каждый день были еда, питье и танцы. Несмотря на то что гестаповская ячейка предупредила членов экипажа о необходимости соблюдать Закон в Защиту Германской Крови и Чести, взаимоотношения полов в этом круизе развивались обычным образом. В конце рейса был устроен традиционный костюмированный бал. Оркестр играл Глена Миллера; евреи изображали пиратов, матросов и гавайских танцовщиков. Несколько веселых девиц, задрапировавшись в простыни, обратили себя в арабских женщин из гарема, чем вызвали неудовольствие ортодоксально настроенных пассажиров.

В субботу 27 мая «Сент-Луис» бросил якорь в гаванском порту. В четыре утра прозвучал сигнал подъема, а полчаса спустя — гонг к завтраку. Лайнер окружили лодки: в одних приплыли торговцы кокосами и бананами, в других — родственники и друзья, выкрикивающие имена вновь прибывших. Над кораблем подняли карантинный флаг, что было в порядке вещей. Капитану полагалось заверить начальника ме-

дицинской службы гаванского порта в том, что на борту нет «идиотов, или сумасшедших, или страдающих заразными или отталкивающими заболеваниями». Когда это было сделано, офицеры иммиграционной службы занялись пассажирами — они изучали их документы и указывали, в каких местах на пирсе им предстоит получить багаж. Пятьдесят беженцев собрались у трапа в ожидании катера, который должен был доставить их на берег.

Иммиграция, как и эмиграция, — это процесс, в котором деньги играют не менее, а часто и более важную роль, чем принципы или законы. Деньги гарантируют принимающей, а в случае с Кубой — промежуточной стране, что новоприбывшие не станут обузой для государства. Деньги также служат для подкупа должностных лиц, выносящих это решение. Глава кубинской иммиграционной службы уже успел заработать на кораблях с евреями очень много денег; президент Кубы заработал их недостаточно. Поэтому президент издал указ от 6 мая, объявляющий туристские визы тех путешественников, истинной целью которых является иммиграция, недействительными. Относилось ли это к пассажирам «Сент-Луиса»? Корабль вышел из Гамбурга после

того, как был опубликован новый закон; с другой стороны, разрешения на высадку были получены раньше. Споры по этому вопросу могли съесть много времени и денег. Президентский указ имел номер 937 — суеверные, должно быть, заметили, что именно столько пассажиров покинули Европу на борту «Сент-Луиса».

Высадка застопорилась. Девятнадцати кубинцам и испанцам, а также трем пассажирам с визами, имеющими законную силу, позволили сойти на берег; остальные 900 или около того евреев ждали результата переговоров, в которых попеременно участвовали президент Кубы, начальник иммиграционной службы, судоходная компания, местный комитет помощи нуждающимся, капитан корабля и юрист, приплывший из нью-йоркского штаба Объединенного Распределительного Комитета. Проблему обсуждали несколько дней. В рассмотрение были включены такие факторы, как деньги, гордость, политическое честолюбие и мнение кубинской общественности. Капитан «Сент-Луиса», не доверявший ни местным политикам, ни собственной судоходной компании, был убежден по крайней мере в одном: если закроют доступ на Кубу, то Соединенные Штаты, право на последующий въезд

в которые имели многие пассажиры, наверняка примут их раньше обещанного.

Некоторые из отрезанных от берега пассажиров были настроены менее оптимистично; неопределенность, ожидание и жара начали сказываться на их нервах. Они так долго стремились к свободе и теперь были так близки к ней. Лодчонки друзей и родственников продолжали кружить около лайнера; одного заранее отправленного из Германии фокстерьера каждый день вывозили к судну и подымали на руках, показывая далеким хозяевам. Был сформирован пассажирский комитет, которому судоходная компания разрешила свободно пользоваться телеграфом; различным влиятельным людям, включая жену президента, были отправлены послания с просьбой вмешаться. Примерно в это же время двое пассажиров пытались покончить с собой, один с помощью шприца и транквилизаторов, другой — вскрыв вены и бросившись в море; оба выжили. Дабы предотвратить дальнейшие попытки такого рода, было введено ночное патрулирование; спасательные шлюпки все время стояли наготове, а палубу заливал свет прожекторов. Эти меры напомнили некоторым евреям концентрационные лагеря, недавно ими покинутые.

После высадки своих 937 эмигрантов «Сент-Луис» не должен был уйти из гаванского порта пустым. Около 250 пассажиров зарегистрировались на обратный рейс в Гамбург через Лисабон. Среди прочих поступило предложение отпустить по крайней мере 250 евреев, чтобы освободить место для ждущих на берегу. Но как отобрать 250 человек, которым затем дадут возможность покинуть Ковчег? Кто возьмется отделить чистых от нечистых? Или в этом поможет жребий?

Затруднения, с которыми столкнулся «Сент-Луис», получили широкую огласку. Ход событий освещала немецкая, английская и американская пресса. «Штюрмер» заметил, что если евреи решат воспользоваться обратными билетами в Германию, они будут расквартированы в Дахау и Бухенвальде. Тем временем американские репортеры умудрились проникнуть на борт стоящего в гаванском порту лайнера, который они, быть может чересчур поспешно, окрестили «кораблем, пристыдившим мир». Такая известность необязательно идет беженцам на пользу. Если виноват целый мир, то почему бремя общего стыда должно всей тяжестью давить на плечи одной-единственной страны, которая и так уже приняла многих беженцев-евреев? Мир, очевид-

но, мучается стыдом не до такой степени, чтобы рука его потянулась к бумажнику. Рассуждая подобным образом, правительство проголосовало за изгнание иммигрантов, и «Сент-Луису» было предписано покинуть территориальные воды острова. Это, добавил президент, не значит, что он закрывает двери для переговоров; однако, пока корабль остается в порту, дальнейшие предложения рассматриваться не будут.

Почем нынче беженцы? Это зависит от степени их отчаяния, от щедрости их покровителей, от жадности тех, кто их принимает. В мире паники и разрешений на въезд преимущество всегда на стороне продавца. Цены произвольны, спекулятивны, эфемерны. Для затравки юрист из Объединенного Распределительного Комитета внес предложение уплатить за высадку евреев $50 000; ему ответили, что эту сумму следует как минимум утроить. Но, утроив раз, почему бы не утроить опять? Начальник иммиграционной службы, который уже получил по $150 с головы за так и не пригодившиеся разрешения на высадку, предложил судоходной компании заплатить $250 000; в этом случае он обещал похлопотать об отмене указа под номером 937. Посредник, действующий якобы от лица президента, выразил

мнение, что евреи могли бы быть допущены в страну за $1 000 000. В конце концов кубинское правительство остановилось на сумме в $500 за каждого еврея. В этом имелась известная логика, ибо таков был размер залога, вносимого официальными иммигрантами. Итак, 907 пассажиров «Сент-Луиса», которые уже заплатили за билеты туда и обратно, уже купили разрешения на высадку, а затем по воле властей остались с десятью немецкими марками каждый, были оценены в $453 500.

Когда лайнер включил двигатели, группа женщин попыталась прорваться на забортный трап; кубинские полицейские отогнали их пистолетами. Проведя в гаванском порту шесть дней, «Сент-Луис» стал туристской достопримечательностью, и за его отбытием наблюдала стотысячная толпа. Руководители судоходной компании в Гамбурге разрешили капитану плыть в любой порт, где согласятся принять его пассажиров. Сначала он просто описывал в море все более широкие круги, надеясь, что Гавана призовет его обратно; затем взял курс на север, в сторону Майами. Поблизости от американского побережья лайнер был встречен катером береговой охраны США. Но это кажущееся гостеприимство имело обратную

подоплеку: катер подошел, чтобы преградить «Сент-Луису» путь в территориальные воды. Госдепартамент уже решил, что, если евреев не пустят на Кубу, им не будет предоставлено право въезда в Соединенные Штаты. Деньги играли здесь менее важную роль: главными причинами отказа были высокий уровень безработицы и опирающаяся на крепкую базу ксенофобия.

Доминиканская Республика предложила принять беженцев по установленной рыночной цене $500 с головы; но в точности таким же был и кубинский тариф. Корабль направил запросы в адрес Венесуэлы, Эквадора, Чили, Колумбии, Парагвая и Аргентины; но все эти страны отказались нести бремя мирового стыда в одиночку. Инспектор службы иммиграции в Майами заявил, что «Сент-Луис» не будет допущен ни в один порт США.

Отвергнутый обоими американскими континентами, лайнер продолжал идти на север. Люди на борту понимали, что близится миг, когда он повернет на восток и пустится в обратный путь к Европе. Наступило воскресенье, 4 июня; вдруг в 4.50 пополудни была принята новая радиограмма. Похоже, президент Кубы дал разрешение высадить евреев на острове Пинос,

где находилась прежде штрафная колония. Капитан развернул «Сент-Луис» к югу. Пассажиры выносили на палубу багаж. Этим вечером, после обеда, на корабле вновь царила праздничная атмосфера.

На следующее утро, в трех часах хода от острова Пинос, судно получило известие: разрешение на высадку еще не подтверждено. В пассажирском комитете, который до тех пор без устали рассылал знаменитым американцам телеграммы с просьбой вмешаться, уже исчерпали весь запас потенциальных адресатов. Кто-то предложил мэра Сент-Луиса, штат Миссури, полагая, что совпадение названий может вызвать у того сочувствие. Телеграмма в Миссури была отправлена без проволочек.

Кубинский президент потребовал, чтобы за каждого беженца внесли залог в 500 долларов плюс дополнительную плату за жилье и питание, которые будут предоставлены иммигрантам-транзитникам на перевалочном острове Пинос. Американский юрист предложил (как сообщало кубинское правительство) общую сумму в $443 000, но с условием, что она покроет не только пассажиров «Сент-Луиса», но и 150 евреев с двух других кораблей. Кубинское правительство сочло

невозможным принять это встречное предложение и взяло обратно свое собственное. Юрист из Объединенного Комитета ответил безоговорочным согласием на первоначальное требование кубинской стороны. Правительство в свою очередь выразило сожаление о том, что первое предложение уже снято и снова вступить в силу не может. «Сент-Луис» развернулся и во второй раз пошел на север.

Когда корабль начал обратный путь в Европу, появилась новая неофициальная информация: перспектива принятия беженцев якобы обсуждалась британским и французским правительствами. Отклик англичан был таков: они предпочли бы рассматривать настоящую проблему в более широком контексте общеевропейской ситуации с беженцами, однако они допускают возможность постановки вопроса о гипотетическом въезде евреев в Британию после их возвращения в Германию.

Были неподтвержденные или неосуществимые предложения от президента Гондураса, от одного американского филантропа, даже с карантинного пункта в зоне Панамского канала; корабль шел дальше. Пассажирский комитет рассылал свои призывы к политическим и религиозным

деятелям по всей Европе; однако сами телеграммы теперь стали короче, так как судоходная компания лишила комитет права бесплатного пользования телеграфом. Одна из придуманных в это время уловок заключалась в следующем: самые лучшие пловцы среди евреев должны по очереди прыгать за борт, чтобы вынуждать «Сент-Луис» менять курс на обратный и подбирать их. Это замедлит его продвижение к Европе и позволит дольше вести переговоры. Идею не поддержали.

Немецкое правительство заявило, что раз ни одна страна не соглашается принять полный корабль евреев, фатерланду придется пустить их обратно и устроить на содержание. Нетрудно было догадаться, где их устроят на содержание. Более того, если «Сент-Луис» вынужден будет освободиться от своего груза, состоящего из дегенератов и преступников, в том же самом Гамбурге, это докажет, что мнимое сочувствие мирового сообщества является чистейшим лицемерием. Презренные евреи никому и не нужны, а значит, никто не имеет права критиковать фатерланд за тот прием, какой он намерен устроить этим паразитам по их возвращении.

Именно после этого группа молодых евреев

попыталась захватить корабль. Они вторглись на мостик, но капитан отговорил их от дальнейших действий. Сам он предложил поджечь «Сент-Луис» поблизости от Бичи-Хед[33] — тогда стране, которая спасет их, придется взять пассажиров к себе. Этот отчаянный план едва не привели в исполнение. Наконец, когда у многих уже не оставалось надежды и Европа была совсем недалеко, бельгийское правительство заявило, что примет 200 беженцев. В последующие дни Голландия согласилась принять 194 человека, Великобритания — 350 и Франция — 250.

Покрыв в общей сложности 10 000 миль, «Сент-Луис» причалил к берегу в Антверпене, всего на 300 миль отстоящем от порта его отправления. Представители четырех стран, ответственные за трудоустройство безработных, уже собрались, чтобы решить, кто из евреев кому достанется. Большинство пассажиров имели право дальнейшего въезда в Соединенные Штаты; в американском списке эмигрантов за каждым из них был закреплен номер. Было подмечено, что представители четверки стран борются за пассажиров с номерами поменьше, так как эти беженцы долж-

[33] Сноски: 33
Мыс на юге Англии.

ны будут покинуть их страны скорее прочих.

Пронацистская молодежная организация Антверпена распространила листки с таким текстом: «Мы тоже хотим помочь евреям. У нас для каждого припасен дармовой кусок веревки и большой гвоздь». Пассажиры сошли на берег. Доставшихся Бельгии посадили в поезд с запертыми дверьми и наглухо забитыми окнами; им было сказано, что эти меры необходимы для их же безопасности. Доставшиеся Голландии были немедленно переправлены в лагерь с колючей проволокой и сторожевыми собаками.

Беженцы с «Сент-Луиса», принятые Великобританией, высадились в Саутгемптоне 21 июня, в среду. Они могли заметить, что их скитания по морю длились ровно сорок дней и сорок ночей.

1 сентября началась Вторая мировая война, и пассажиры «Сент-Луиса» разделили общую участь евреев Старого Света. Их шансы на выживание были выше или ниже в зависимости от того, в какую страну они попали. Оценки числа уцелевших различны.

8. Вверх по реке

Открытка

Обратный адрес: джунгли

Дорогая,

только и времени на открытку — через полчаса едем — вчера вечером «Джонни Уокер», а теперь или местная огненная вода, или уж без, — помни, что я говорил по телефону, и не стриги их слишком коротко. С любовью — твой Силач Бамбула.

Письмо 1

Дорогая моя,

только что провел 24 часа в автобусе — вся приборная доска там была залеплена св. Христофорами[34], или кто тут у них вместо него. По мне, лучше бы шофер был суеверен на какой-нибудь языческий лад — старое доброе христианство что-то не шибко повлияло на его манеру крутить баранку. Между виражами, когда не боишься, что тебя вот-вот вывернет кишками наружу, глядишь

---

[34] Сноски: 34

Существует поверье, согласно которому образ святого Христофора предохраняет от внезапной смерти.

в окно и любуешься. Здоровенные деревья, горы и тому подобное — я купил несколько открыток. Вся наша компания сейчас малость перевозбуждена — если услышу очередной анекдотец вроде «Еду я как-то в Каракас...», честное слово, придушу кого-нибудь. Вообще-то, для такой работы это нормально. Не то чтобы у меня был опыт по этой части, но, наверное, будет здорово интересно. А иначе я не играю — зря, что ли, терпел все эти уколы против бери-бери и остальных здешних прелестей.

До чего славно избавиться от людей, которые узнают тебя в лицо. Представляешь, в Каракасе меня все-таки раскололи — и очки с бородой не спасли. В аэропорту-то само собой, но и в других местах тоже. Забавная, кстати, штука. Догадайся, где они меня видели? Вовсе не в том суперпопулярном ужастике по сценарию Пинтера, который получил «Золотую ветвь», — ничего подобного. А в той дрянной рекламке американского мыла, которую я делал для Хэла Жопандопулоса. Ее крутят здесь ДО СИХ ПОР. Дети на улице подходят и говорят: «Здрасте, мистер Рик». Как тебе это нравится? Нищета тут страшная. Правда, после Индии меня уже ничем не удивишь. Ладно, а что ты сделала со своими волосами? Надеюсь, не

пошла и не натворила глупостей, только чтоб отомстить мне за мой отъезд. Я же знаю, как это бывает у вас, девиц: сначала ты скажешь, что тебе охота проверить, как ты будешь выглядеть с короткой стрижкой, потом — что Педро из салона не дает тебе отращивать их, но это только пока, а потом — что ты должна явиться на какую-нибудь там свадьбу или вроде того в наилучшем виде и нельзя же идти растрепой, а кончится тем, что ты так их и не отрастишь, и если я не буду надоедать тебе каждый день, ты решишь, что я привык и мне нравится, а если буду, скажешь, что я зануда, и мне придется молчать, и я останусь с носом. И нечестно говорить, что это из-за моей бороды, потому что тут я не виноват, просто в джунглях в каком бишь там веке никто не брился, и я знаю, что отрастил ее раньше чем надо, но так уж я устроен, мне необходимо начинать вживаться в роль задолго до старта. Знаешь, как Дэрк говорит: он начинает с ботинок, мол, как наденет правильные ботинки, так уже знает все о персонаже, ну а для меня это лицо. Извини, что тебе приходилось любоваться этим зрелищем спозаранку каждое утро; зато не всякая ведь может похвастаться, что спит с иезуитом. Да еще с таким старым. Здесь жара — чувствую, будут проблемы со стиркой.

Пока исправно глотаю свои таблетки от живота. Перекинулся с Виком парой слов насчет сценария, и он сказал — успеется, но они же всегда так говорят на этой стадии, верно? Я сказал ему то же, что тебе по телефону: не сделать ли его больше похожим на обычного человека, ведь священники нынче штука не очень-то кассовая, а Вик сказал, давай потолкуем об этом ближе к делу. С Маттом ладим неплохо — конечно, когда начнется работа, будет что-то вроде соревнования, но он вовсе не такой параноик, как я думал, немножко фамильярен, но янки есть янки. Я рассказал ему свою сказочку по типу «Ванессы»[35], а он мне свою, и мы оба уже слышали их раньше! В последний вечер в городе нализались с ним очумеловки и под конец оторвали в ресторане танец Зорбы![36] Матт начал было бить тарелки, но нам сказали, что это у них не принято, и выпихнули оттуда. Еще и за тарелки содрали.

---

[35] Сноски: 35

«Ванесса: Ее история любви» (1935) — сентиментальная драма Уильяма Ховарда, в ролях Роберт Монтгомери и Хелен Хэйес.

[36] Сноски: 36

Зорба — жизнерадостный грек из фильма «Грек Зорба» (1964), экранизации одноименного романа Никоса Казандзакиса. Роль Зорбы исполнил Энтони Куинн.

Знаешь, как тут называют почту? Богиня связи. Наверное, полагается падать на колени перед каждым почтовым ящиком. Хотя мы уже сколько миль как ни одного не видали. Неизвестно, удастся ли мне отправить это до того, как начнутся джунгли. Если встретим дружественного туземца с расщепленным посохом, изображу улыбку-широкоэкранку и отдам ему. (Шутка.) За меня не волнуйся. С любовью

Чарли

Письмо 2

Дорогая,

если заглянешь в свой фотоальбом, ты увидишь, что среди снимков с той нашей тоскливой вечеринки кое-чего не хватает. Не пугайся — это я взял. Ту, где ты похожа на бурундучонка. Ты тут слегка подмокла — пару дней назад был ужасный ливень, — но пока не возражаешь, чтобы тебя регулярно целовали на ночь. И еще маленько помялась, вот здесь и здесь, — это когда мы последний раз были в гостинице. А теперь пошла бойскаутская житуха, все костры и палатки. Надеюсь, что хоть высыпаться буду. Очень тяжело работать на полную катушку после каких-нибудь двух часов сна. Ладно — как бы там ни было, а

в джунгли мы забрались уже довольно далеко. Много задержек. Обычная история — вы договариваетесь, что прибудете в такой-то день, у вас столько-то людей и столько-то багажа, и он переправит вас в следующую точку, а когда вы появляетесь, он начинает объяснять вам, что все изменилось, и вы говорили пять, а не двадцать пять, а цены-то, между прочим, выросли, и так далее, и тому подобное, пока не выцыганит себе лишку. Честное слово, в таких случаях меня всегда подмывает заорать: я хочу работать! Однажды, когда дело было совсем дрянь, я не выдержал, влез туда, где очередной бандит пытался обобрать нас, уткнул свою бороду в его и заорал ему прямо в лицо: я хочу работать, черт возьми, дайте мне работать, но Вик сказал, что это бесполезно.

Позже. Матт отливал в реку, а один из радистов подошел к нему и сказал, что это он зря. Якобы здесь водятся такие крошечные рыбешки, которых привлекает тепло или еще что-то, и, когда отливаешь, они могут заплыть вверх по твоей струе. Звучит вроде бы неправдоподобно, но вспомни, к примеру, лососей. А потом она забирается прямо тебе в конец, растопыривает шипы и застревает там. Короче, полный мрак. Радист

говорит, ее уже не вынешь, у тебя внутри точно раскрытый зонтик, и приходится оттяпывать в больнице все это добро. Матт не знал, верить ему или нет, но рисковать-то ведь не резон! Теперь, во всяком случае, никто больше в реку не отливает.

Позже. Мы ползли вдоль реки, дело шло к вечеру, и солнце садилось за эти огромные деревища, и рядом взлетела стайка больших птиц, аистов или вроде того — кто-то сказал, что они похожи на розовые гидропланы, — и второй ассистент вдруг остановился и завопил, это рай, едрить твою, рай. А я, откровенно говоря, как-то не в своей тарелке. Извини, лапуля, я знаю, что нечестно перекладывать на тебя свои неприятности, ведь когда ты получишь письмо, у меня уже, наверно, все будет о'кей. Это Матт, дубина, меня расстроил. Надо же быть таким самовлюбленным. Можно подумать, он один умеет делать фильмы; я только и вижу, как он крутит шуры-муры со всей съемочной группой, чтобы они потом упрощали ему работу перед камерой, так что он будет выглядеть на пять лет моложе, а у меня будет блестящий нос. А у Вика, прямо скажем, хватка не та. Спроси меня, так здесь нужен хороший погоняла из старых студийных боссов, а не одухотворенный выпускник университета, который пошел в кино, потому что

ему нравились облака у Антониони, а после заделался очередным поклонником «новой волны» и без верности правде жизни шагу ступить не может. Подумать только, сорок человек тащатся по джунглям, свято уверовав в необходимость вжиться в мир двух давным-давно мертвых иезуитских священников. Не знаю уж, каким боком прилепить сюда съемочную группу, но у Вика небось и на этот счет имеется своя теория. Отправить нас пешком, а оборудование потом забрасывать по воздуху — вот уж действительно все через жопу. Он даже запретил нам пользоваться радиотелефоном, по крайней мере, до встречи с индейцами. У подружки ассистента оператора родился ребенок, и он хотел позвонить на нашу базу в Каракасе, узнать, что нового, так Вик сказал нет.

Погода дрянь. Все время дикая жара. Потею как свинья, *comme un porco*. До сих пор беспокоюсь насчет сценария. Наверное, роль придется кое-где переписать. Никакой надежды на стирку, разве что наткнемся на бригаду туземных прачек, поджидающих клиентов у цинковой хибарки вроде тех, что мы с тобой видели тогда в прованской деревушке, помнишь? Сегодня утром на фактории — жестяной щит с рекламой кока-колы. С ума сойти — на сотни миль вокруг сплошная глухомань, а эти долбаные кока-кольщики уже успели побывать тут раньше тебя и изгадить пейзаж. Или какой-нибудь Маттов приятель поставил, чтоб он чувствовал себя здесь как дома. Грустно это.

Целую, Чарли

Письмо 3

Эй, милашка!

Прости за скулеж в конце предыдущего письма. Сейчас все намного лучше. Во-первых, мы снова начали отливать в реку. Мы спросили радиста Рыбу (такое у него теперь прозвище), откуда он узнал про рыбешек, которые могут забраться в тебя по твоей струе, и он ответил, что видел по «ящику» выступление какого-то толстого малого, путешественника, — это было похоже на правду.

Но потом мы стали расспрашивать дальше, и тут он дал маху. Сказал, что тот путешественник придумал себе специальные подштанники, чтобы спокойно отливать в реку. По словам радиста, он взял крикетный щиток, вырезал в нем дырку и присобачил туда чайное ситечко. Ну знаете ли! Если уж берешься сочинять, так сочиняй попроще, верно? Ври, да не завирайся. Короче, мы высмеяли его как следует, а потом все вместе расстегнули штаны и отлили в реку, даже кто не хотел. Только Рыба к нам не присоединился — сдрейфил, что его будут считать трепачом, и все уверял, будто говорит правду.

После этого, сама понимаешь, мы немножко воспрянули духом, но по-настоящему обрадовала нас встреча с индейцами. До сих пор на душе было как-то неспокойно: ведь если туземные бандиты по дороге сюда так и норовили нас надуть (а мы уже где-то поблизости от Мокапры — можешь заглянуть в свой школьный атлас), то с чего же индейцам держать свое слово? Матт мне потом заметил, что вся эта затея казалась ему почти безнадежной, да и я думал, что ничего не выгорит. Но они были именно там, где обещали, четыре человека, — стояли на лужайке у излучины в чем мать родила, с очень прямыми спинами, хотя

росту все равно невысокого, и глядели на нас без всякого страха. И без всякого любопытства, вот что странно. Поначалу я малость струсил: кто их знает, возьмут да продырявят тебя копьем. Но они просто стояли и смотрели на нас как на этаких непрошеных чужаков, и если поразмыслить, то так ведь оно и есть. Наблюдали, как мы распаковываемся, а потом вместе с нами двинулись дальше. Помочь они нам не предложили, и мы этому слегка удивились, но они же в конце концов не шерпы[37] какие-нибудь. До остального племени и реки, которую мы ищем, примерно два дня пути. Они-то знали, куда идут, но мы никакой тропинки не различали — поразительно, как они здесь в джунглях умеют ориентироваться. Ты бы тут точно заблудилась, уж поверь мне, ангел, ты ведь без полицейского эскорта даже из Шепердс-Буша до Хаммерсмита не доберешься*. После двухчасового марша мы остановились на ночлег и поели рыбы, которую индейцы успели наловить, пока нас ждали. Очень устал, но день был замечательный. Целую.

* Шутка (не всерьез).

Позже. Целый день шли. Хорошо, что я успел до

---

[37] Сноски: 37

Шерпы — тибетская народность.

отъезда подзаняться гимнастикой. У некоторых из наших уже через полчаса ходьбы язык на плече, и неудивительно, поскольку единственное их упражнение в обычной жизни — это сунуть ноги под стол и уткнуться ряшкой в корыто. Да еще иногда махнуть рукой, чтобы принесли очередной бутылек. Матт тоже в форме после киношек, которые он делал на воле (тех, где героям смазывают перси оливковым маслом), хотя мог бы выглядеть и получше, и мы с ним на пару заставили попотеть остальную команду — говорили им, что в джунглях профсоюзный устав не действует и так далее. Отставать явно никому не хотелось! Радист Рыба, который заметно посмурнел с тех пор, как мы его раскусили, решил, что будет смешнее некуда называть индейцев всякими именами вроде Сидящего Быка или Тонто, но они, разумеется, не понимали, да и мы вели себя так, что он счел за лучшее заткнуться. Шутник фигов. А они удивительные, эти индейцы. В лесу как дома, поразительно проворные, никогда не устают, убили обезьяну на дереве — плюнули в нее из трубки. Мы ее ели на обед, правда, не все — кто побрезгливей, тот ел тушенку. А я обезьяну. По вкусу смахивает на бычий хвост, но гораздо темнее. Мясо немного жилистое, но нежное.

Вторник. Как у нас будет с почтой, одному Богу известно. Пока отдаем все Рохасу — он четвертый ассистент, из местных, и его выбрали почтальоном. Это значит, что он складывает наши письма в пластиковую сумку, чтобы их не изгрызли жуки, древесные черви и прочая нечисть. А потом отправит их с вертолетом. Так что когда ты это получишь, один Бог знает.

Скучаю по тебе (погоди минутку, покуда я испущу горестный бамбульский вопль). Сегодня должны встретиться с остальным племенем, но не очень-то к этому готовы. Провалиться мне, если кое-кто из наших не рассчитывал, что его повезут по джунглям на моторе, а через каждые несколько миль будут стоять фургончики со жратвой и девицы в цветочных гирляндах будут подносить ему гамбургеры и чипсы. Толстый Дик, звукооператор, наверно, не забыл положить в рюкзак гавайку покруче.

Между прочим, надо отдать должное Вику. Отношение числа людей к бюджету минимальное — давно такого не помню. Мы с Маттом сами выполняем свои трюки (старина Норман изловчился выколотить для меня деньгу по этому пункту). И даже съемки не каждый день — вертолет прилетает только раз в три дня, потому что

Вик говорит, иначе мы не сможем сконцентрироваться или что-то там еще такое же заумное. Отчеты о работе по радиотелефону, съемки — когда вертолет. И студия со всем этим мирится. Чудеса, правда?

А вообще-то, ничего чудесного тут нет, и ты прекрасно это знаешь, милая. В студии считают Вика гением и давали ему все что могли, пока страховщики не заартачились: как это, мол, суперзвезды будут вываливаться из каноэ, и тогда они поглядели в конец списка и нашли парочку ребят, которыми производство может пожертвовать*. И пусть я иногда вел себя плохо, но они решили, что из джунглей-то я вряд ли удеру, а Матт у нас хоть и с норовом (это значит, что он не желает работать, пока ему не выдадут корзину с белой пудрой), но, кажется, уже об этом забыл — да и то сказать, здесь ведь нету коммерческих агентов, которые скакали бы по деревьям, как Тарзан. И мы слушаемся Вика, потому что нам и впрямь некуда деваться и еще потому, что в глубине души, наверное, тоже считаем его гением.

* Шутка. Ну, вроде того. Уверен, что настоящего риска нет.

Пожалуй, не стоило мне вчера вечером есть обезьяну. Сегодня после этого что-то тяжеловато,

да и Матт тоже долго сидел за кустиком.

Позже. То есть уже среда. Нашли племя. Самое грандиозное событие в моей жизни. Конечно, если не считать нашей с тобой встречи, детка. Они появились внезапно — мы как раз перевалили через холм и увидели внизу реку. Затерянная река и затерянный народ на берегу — с ума сойти. Они довольно низенькие и вроде как полноваты, но на самом деле все это сплошные мускулы, и никакой одежды. И девушки симпатичные (не волнуйся, ангел, — вошек по челку). Странная вещь, но стариков, похоже, нет вовсе. А может, они их где-нибудь оставили. Хотя мы думали, что все племя держится вместе. Непонятно. А еще у меня кончилась мазь от москитов — между прочим, весьма эффективная. Здорово покусали. Вик говорит, нечего горевать — разве у отца Фермина, который путешествовал здесь черт-те когда, был с собой репеллент? Я сказал, достоверность — дело хорошее, но зрителям вряд ли понравится моя физиономия на большом экране, испещренная полуметровыми следами укусов. Вик ответил, что искусство требует жертв. Я послал Вика нахер. Тоже мне правдолюбец.

Четверг. Разбили на берегу лагерь. Вернее, два: один для белых (они теперь по большей части коричневые с красными пятнами), а другой для индейцев. Я сказал, давайте устроим один общий, чего дурака валять. Некоторые из наших были против, потому что боялись, как бы у них не украли часы (рехнуться можно!), а некоторые за, потому что удобнее будет глазеть на баб (рехнуться можно!). Вик сказал, два ему кажется лучше, потому что тогда их тоже было два, и это поможет индейцам психологически настроиться, чтобы сыграть своих предков, а я заметил, что логика логикой, а расизмом это тем не менее попахивает. Короче, спор зашел довольно далеко, и в конце концов одного из проводников отправили к индейцам, и он принес ответ, что они все равно не будут с нами объединяться, — странно, правда? К нам летит вертолет, так что я заканчиваю.

Целую, Чарли

Письмо 4

Милая Пипс,

первая встреча! Привезли на вертолете генератор и другое оборудование. Все очень рады (кроме индейцев, которым начхать). Кошт, сигареты. А средства от москитов у них нет — можешь себе

представить? И еще — Вик запретил им брать с собой газеты, и я здорово расстроился. Дети мы, что ли? Ну, прочитаю я «Индепендент» двухнедельной давности — разве это скажется на моей игре? Хотя кто его знает. Удивляюсь, как это еще Вик разрешил нам письма. Но для Чарли ничего нет. Я знаю, что просил тебя писать только в случае необходимости, но тут я чуточку покривил душой. Надеюсь, ты поняла.

Пятница. Слушай, я знаю, что ты не хочешь об этом говорить, но, по-моему, нам очень пойдет на пользу то, что мы ненадолго расстались. Во многих отношениях. Правда. Я-то, во всяком случае, уже слишком стар, чтобы закатывать скандалы. «МОИ БУЙНЫЕ ДЕНЬКИ ПОЗАДИ», — ГОВОРИТ ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ ДЕБОШИР ЧАРЛИ. Люблю тебя.

Пиппа-лапа, я правда думаю, что это действуют индейцы (ох, извини, — суббота). Они такие открытые, такие бесхитростные. Вот они перед нами, безо всяких одежек, говорят то, что думают, делают, что им хочется, едят, когда голодны, занимаются любовью, словно это самая естественная вещь на свете*, и ложатся умирать, когда их жизнь подходит к концу. Это просто потрясающе. Я не хочу сказать, что сам бы так смог, по крайней

мере, не сразу же, но я чувствую к этим людям огромную симпатию. Мне начинает казаться, что я и приехал-то сюда именно ради того, чтобы они немного научили меня жизни. Как тебе это нравится? Да нет, дорогая, все в порядке, я не приеду обратно с косточкой в носу, разве только вот голова у меня будет уже не такая костяная. Вся эта история с Линдой — я знаю, что мы договорились этого не обсуждать, но я чувствую себя здесь таким дерьмом. Потому что огорчал тебя. Врал тебе. Сейчас, когда у моих ног бежит затерянная в глуши река, а я учу названия птиц, которых не знаю по-английски, я просто уверен: все у нас будет нормально.

* Сам не пробовал. У Чарли на рыльце ни пушиночки.

Воскресенье. Дело не в том, что издалека все видится в розовом свете. Важно, что находишься *здесь*. Помнишь американских астронавтов, как они полетели на Луну и вернулись совсем другими, потому что увидели Землю, какая это обыкновенная старушка планета, такая маленькая и так далеко отсюда? Если не ошибаюсь, кто-то из них ударился в религию, а кто-то спятил, но суть в том, что после полета они совершенно изменились. Вот и со мной примерно то же са-

мое, только вместо путешествия в будущее с его фантастической техникой я угодил в прошлое. На самом-то деле это не совсем так — в прошлое. Вся наша съемочная группа думает, что раз у индейцев нет радио, значит они невероятно отсталые. А я думаю, что отсутствие радио — это признак высокого развития и настоящей зрелости. Они многому меня учат, сами того не замечая. Я начинаю видеть вещи в истинном свете. Черт, какой же я был дурак с этой Линдой.

Понедельник. Долго готовили оборудование, потом пошел дождь. Одна из девушек учит меня языку. Не волнуйся, бурундучонок: не иначе как вошек по челку*. Пытался выяснить, как они называют самих себя, ну, знаешь, название племени. Удивительная штука — У НИХ НЕТ ДЛЯ СЕБЯ НАЗВАНИЯ!!! и для своего языка тоже. Потрясающе!! Какая зрелость. Получается, что национализму просто неоткуда взяться.

* Это у нас в компании такая присказка. Если кто из наших заводит треп о сексе или засматривается на индианок, кто-нибудь обязательно говорит: «Не иначе как вошек по челку». В Лондоне, наверно, не так смешно.

Вторник. Как приятно, что мы наконец начали. Все очень собранные. Напрочь забыли об

этом идиотском профсоюзном уставе. Каждый старается как может. Уверен, что это благодаря индейцам. Все так, как и должно быть.

Среда. Полегоньку осваиваю их произношение. Тут есть такие большие белые птицы вроде аистов, называются *ткарни* (я бы написал это так). В общем, когда какая-нибудь из них взлетает или садится на воду, я говорю *ткарни*, и индейцев это страшно веселит. Они чуть не лопаются со смеху. Сами-то небось «Чарли» выговаривают не лучше.

Четверг. Ничего особенного. Весь распух от укусов. Матт отпускает дурацкие шуточки. Ей-богу, если поглядеть поближе, у него ноги кривые.

Пятница. Думаю и поражаюсь. Вот это индейское племя, абсолютно неизвестное, даже сами себя никак не называют. Пару веков назад на них натыкаются двое иезуитских миссионеров, ищущих обратную дорогу к Ориноко; по их просьбе индейцы строят плот и с помощью шестов переправляют двоих боголюдей на несколько сот миль к югу, а тем временем эти самые боголюди проповедуют им Евангелие и пытаются научить их носить «Левис». Когда путешествие уже близится к концу, плот переворачивается, миссионеры едва не тонут, а индейцы исчезают.

Пропадают в джунглях, и с тех пор о них ни слуху ни духу, покуда следопыты нашего Вика не отыскивают их год назад. Теперь они помогают нам сделать то же самое, правда, двумя столетиями позже. Мне безумно любопытно, помнит ли что-нибудь это племя? Есть у них баллады о том, как двоих белых мужчин в женском платье переправляли к огромной водяной анаконде на юге, или что-нибудь подобное? Или те белые люди целиком стерлись из памяти индейцев, так же как сами они исчезли для белых людей? Да, тут есть над чем подумать. А что будет после нашего ухода? Пропадут ли они опять на два-три столетия? Или их выкосит какая-нибудь эпидемия и они исчезнут совсем, а единственным, что от них останется, будет фильм, где они играют своих собственных предков? Я не уверен, что смогу осмыслить все это.

Благословляю тебя, дочь моя, больше не греши*.

Целую, Чарли

* Шутка!!

Ни в воскресенье, ни в среду от тебя ни строчки. Надеюсь, завтра Рохас меня порадует. Я не хотел, чтобы ты не писала, неважно, что я там говорил. Это отправлю все равно.

Письмо 5

Дорогая,

неудобней этой иезуитской одежды для путешествия по джунглям вряд ли что-нибудь придумаешь. Потею в ней как свинья, *comme un porco*. И как только отец Фермин умудрялся сохранять достоинство, непонятно. Пожалуй, можно сказать, что он страдал за свою религию, как я за свое искусство.

Воскресенье. Вот так номер — угадай, что случилось? Вчера вечером Толстый Дик, звукооператор, отливает в реку, и вдруг к нему подбегает один из индейцев, страшно возбужденный, что-то показывает жестами, вроде как загребает руками и тому подобное. Дик тупо смотрит на него — вообще-то, он решил, что малый оскорбился за своих женщин, хотя, если бы ты их видела, ты поняла бы, насколько это смешно, — и тогда индеец бежит за Мигелем, одним из наших проводников. Опять они там размахивают руками и объясняются, после чего Дик живехонько застегивает штаны. Знаешь, что оказалось? Индеец говорил ему про маленьких рыбок, которые водятся в реке, и — сама понимаешь, что дальше!!! Маловероятно, чтобы именно этот туземец именно из

этого племени смотрел британскую программу в тот же самый вечер, что и радист Рыба. И вряд ли наш Рыба так навострился понимать их язык, что ему удалось все это подстроить. Поэтому нам пришлось признать, что он был прав с самого начала. Вот уж действительно, хорошо смеется последний!

Понедельник. Любопытная штука: хотя индейцы вроде бы примерно понимают, чем мы занимаемся — с удовольствием делают дубли, и их совершенно не смущает этот направленный на них большой глаз, — сама идея игры им, видимо, непонятна. То есть они, конечно, играют своих предков и (в обмен на кое-какие микки-маусовские презенты) очень охотно взялись построить нам плот и переправить нас вверх по реке и быть при этом снятыми на пленку. Но и только. Когда Вик говорит, а не встанете ли вы вот так и не оттолкнетесь ли шестом вот эдак, и показывает как, они просто не желают его слушать. Пропускают все мимо ушей. Мы, мол, управляемся с плотом по-своему и не собираемся делать это иначе только потому, что белый человек смотрит через свою дурацкую машинку. А еще поразительнее другое. Они искренне верят, что когда Матт и я одеваемся как иезуиты, мы и правда становимся иезуитами!

Думают, что мы ушли и откуда-то появились эти два чудака в черном. Отец Фермин для них так же реален, как и Чарли, хотя мне приятно отметить, что Чарли им нравится больше. Но мы так и не смогли объяснить им, в чем тут соль. Наша команда решила, что у них просто шариков не хватает, но мне кажется, они проявляют фантастическую зрелость. Наши считают их примитивным народом, которому еще неизвестна идея игры. А мне кажется, все наоборот, и у них что-то вроде постактерской цивилизации, может быть, первой на земле. То есть игра им уже не нужна, поэтому они и забыли про нее и больше ее не понимают. Ай да я — каков умник!

Среда. Надо бы почаще писать о работе. Продвигается недурно. Сценарий не тот, что я помню, но так бывает почти всегда — его обычно успевают изменить. Матт не самый плохой напарник. Я предложил гримеру подрисовать ему парочку москитных укусов, но тот отказался наотрез. Сказал, что хочет для разнообразия побыть симпатягой. Вот смехота — я хочу сказать, что где-то в глубине души он считает себя форменным красавцем! Наверное, не стоит пересказывать ему твои слова: помнишь, ты заметила, что его лицо будто вырезано из куска солонины.

Четверг. Случилась ужасная вещь. Просто ужасная. Один индеец упал с плота и утонул. Исчез, и все. Мы смотрели на буруны и ждали, что он вот-вот появится, но он так и не появился. Разумеется, мы сказали, что устроим перерыв на день. И знаешь что? Индейцы даже слышать об этом не хотели. Надо же какие трудолюбивые!

Пятница. Все думаю о вчерашнем происшествии. Нас оно расстроило гораздо больше, чем индейцев. То есть он ведь, наверное, был чьим-нибудь братом, или мужем, или еще кем, но никто его не оплакивал, ничего такого. Я был почти уверен, что вечером, когда мы остановимся на ночлег, будет какая-нибудь церемония — ну там сжигание одежды или уж не знаю что. Но я не угадал. Лагерь жил самой обычной жизнью, и все выглядели довольно весело. Я подумал, может, они не любили того, который свалился в воду, но это слишком натянуто. Просто, наверное, жизнь и смерть для них в каком-то смысле одно и то же. Наверное, они в отличие от нас не считают, что он «ушел», — а если и ушел, то, по крайней мере, не насовсем. Скажем, на какую-нибудь речку получше этой. Я сунулся с этими рассуждениями к Матту, и он сказал: «Слушай, старина, а я и не знал, что ты у нас хиппи в душе». По части муд-

рости и одухотворенности Матт явно не из самых продвинутых. Верит, что по жизни надо шагать прямо, никого не надувать, пялить бабешек (так он говорит) и плевать на тех, кто пытается подложить тебе свинью. К этому, видимо, и сводится вся его философия. Он считает индейцев смышленными ребятами, которые покамест еще не успели изобрести видеомагнитофон. Забавно, что такому молодцу досталась роль иезуитского священника, ведущего в джунглях религиозные диспуты. По сути, он один из тех американских актеров, чья на редкость удачная карьера — заслуга их импресарио, создателей имиджа. Я сказал ему, что неплохо бы взять шестимесячный отпуск и поработать в провинции — там хоть вспомнишь, что такое живая игра и живой зритель, и он поглядел на меня так, словно я сообщил ему о своем душевном расстройстве. Может, ты не согласна, но я считаю, что играть учишься только на сцене. Матт умеет сокращать любые лицевые мускулы на выбор и щурить глаза, зная, что все эти пигалицы, которые от него без ума, будут писаться от восторга. Но разве он владеет своим телом? Можешь называть меня старомодным, но, по-моему, очень многие американские актеры просто осваивают этакую развязную манеру иг-

ры, а дальше уже не идут. Я пробовал объяснить это Вику, но он сказал, что я молодец и Матт молодец и на экране мы вместе будем выглядеть на все сто. Хоть раз бы выслушал меня по-человечески! Вон летит почта, по крайней мере вертолет. От тебя пока ничего.

Целую, Чарли

Письмо 6

Пиппа-лапа,

послушай, я знаю, что мы договорились этого не обсуждать, и, наверное, это нечестно с моей стороны, я ведь не знаю, в каком настроении ты будешь читать письмо, но почему бы нам все-таки не уехать за город и не завести детей? Нет, я не упал в речку, ничего такого. Ты себе не представляешь, как здорово на меня подействовало это путешествие. Я бросил пить кофе после ланча и почти совсем не курю. Индейцы же не курят, говорю я себе. Индейцам не надо поддерживать могучую фирму «Филип Моррис инкорпорейтед» или «Ричмонд», Виргиния. Когда их припрет, они могут сжевать один-другой маленький зеленый листочек — это, надо полагать, их заменитель сигаретки, которую ты перехватываешь, когда режиссер ведет себя как премированный осел.

Так почему бы и мне не завязать? И еще эта история с Линдой. Я знаю, ты, наверное, не хочешь больше слышать ее имя, и если так, я тебе обещаю никогда его не упоминать, но ведь все это Лондон виноват, верно? Мы-то сами тут ни при чем. Это все наш гнусный Лондон с его грязными улицами, копотью и пойлом. В городе нельзя жить настоящей жизнью, правда? И потом, я думаю, города заставляют людей врать друг другу. Как ты считаешь? Индейцы никогда не врут, так же как не умеют быть актерами. Никакого притворства. И я вовсе не думаю, что это говорит об их примитивности, я думаю, они очень высокоразвиты. И я уверен, что это благодаря жизни в джунглях, а не в городе. Они все время общаются с природой, а чего природа не умеет делать, так это врать. Она просто идет напролом и делает свое дело, как сказал бы Матт. Шагает прямо и никого не надувает. Иногда она может быть не слишком приятной, но врать не станет. Поэтому я и думаю, что уехать и завести детей — самое лучшее. И когда я говорю «за город», я имею в виду отнюдь не поселок рядом с автострадой, где полным-полно людей вроде нас и все покупают у местного виноторговца «австралийское шардонне», а провинциальный выговор можно услышать, только

когда включишь в ванной «Арчеров»[38]. Я имею в виду настоящую провинцию, какой-нибудь глухой уголок — в Уэльсе, скажем, или в Йоркшире.

Воскресенье. Насчет детей. Это любопытным образом связано с индейцами. Помнишь, я говорил, что они все фантастически здоровые, а стариков почему-то нет, хотя мы думали, что все племя путешествует вместе? Так вот, я наконец попросил Мигеля выяснить у них, в чем тут секрет, и оказалось, что среди них нет стариков по той причине, что мало кому удается прожить больше 35. Значит, я ошибался, когда считал их фантастически здоровыми и живой рекламой джунглей. На самом деле только фантастически здоровые и могут здесь существовать. Такой вот неожиданный оборот. Но что я, собственно, хотел сказать: выходит, почти никто из этого племени не доживет до моих лет — аж не по себе становится, как подумаешь. И если мы уедем в провинцию, это не значит, что я буду каждый вечер являться домой измотанный и требовать, чтобы меня обхаживали, а вместо этого получать на руки орущего дитятю. Если брать одни боль-

[38] Сноски: 38

«Арчеры» — радиосериал о жизни деревенской семьи, выходит на Би-би-си с 1951 г.; мировой рекордсмен-долгожитель среди мыльных опер на радио.

шие роли и не заниматься всякой халтурой на ТВ, я стану уезжать только на съемки, а уж когда буду дома, так по-настоящему. Ведь правильно? И я бы сделал ему манеж, и купил бы ему такой большой деревянный ковчег со всеми зверями, и раздобыл бы сумку, в которой носят детей, — индейцы пользуются такими много веков. А потом пошел бы побродить с ним по пустоши, а ты бы отдохнула от нас обоих, как ты на это смотришь? Между прочим, я правда жалею, что ударил Гэвина.

Понедельник. Я немножко расстроен, лап. Поругался с Виком из-за роли — так нелепо все вышло! Какие-то несчастные шесть слов, но *я знаю*, что Фермин не мог их сказать. Понимаешь, я живу в его шкуре уже добрых три недели, и не Вику объяснять мне, как говорить. Он сказал, ладно, перепиши их, и я затормозил работу на целый час, а под конец он сказал мне, что я его не убедил. Мы все равно стали делать по-моему, потому что я уперся, и знаешь что? Этого болвана Матта я, видите ли, тоже не убедил. Я сказал, что он не может отличить кусок диалога от куска ветчины, и вообще у него морда из солонины, и он пообещал смазать мне по физиономии. Провались они все.

Вторник. Никак не успокоюсь.

Среда. Поразительная вещь. Я уже говорил тебе, что индейцы не понимают смысла игры. Так вот, в последние два дня отношения между Фермином и Антонио все больше портились (что нетрудно было изображать, поскольку Чарли с Маттом нынче тоже не питают друг к другу особой симпатии), и индейцы явно стали принимать происходящее близко к сердцу — они следили за нами со своего конца плота так, будто сейчас решается их судьба, и, между прочим, кое-какой резон в этом был, потому что мы спорили, имеют ли они право креститься, а значит, спасти свои души, или нет. Они как-то чувствовали все это, что ли. А сегодня мы снимали сцену, где Матт якобы случайно задевает меня веслом. Конечно, оно было из бальзового дерева, хотя индейцы и не могли этого знать, но я добросовестно упал как подкошенный, а Матт притворился, что он не нарочно. Индейцам полагалось смотреть на все так, словно эти белые люди в юбках просто идиотничают. Вик их заранее проинструктировал. Но они повели себя по-другому. Гурьбой бросились ко мне, и стали гладить меня по лицу, и смачивать мне лоб, и вроде бы даже горестно причитать, а потом трое из них пошли на Матта с самым угрожающим видом. Невероятно! И они

действительно могли бы избить его, если бы он не сообразил очень вовремя скинуть с себя балахон и превратиться обратно в Матта, — тут они успокоились. Поразительно! Это был всего-навсего старина Матт, а тот мерзкий священник Антонио ушел. Потом я медленно поднялся на ноги, и они все счастливо засмеялись, точно я едва избежал смерти. Нам повезло, что Вик все время снимал, и мы ничего не потеряли. Теперь он думает вставить эту сцену в фильм — и очень хорошо, потому что раз индейцы так реагируют на нас с Маттом, то и зрители могут повести себя соответственно.

Четверг. Вик говорит, что вчерашняя стычка оказалась плохо отснятой. Наверняка этот чертов Матт к нему подкатывал — понял небось, что камера засекла, как он обосрался. Я сказал, подождем, поглядим, какой выйдет позитив, и Вик согласился, но дело, чувствую, дохлое. Вот они, правдолюбцы: жизнь как она есть нужна им только на словах.

Пятница. Я не считаю сценарий идеальным, и вообще далеко не все спланировано как надо, но есть у этого фильма один плюс: он не пустопорожний. Не боится спорных вопросов. Обычно фильмы бывают вообще ни о чем, я убеждаюсь

в этом все больше и больше. «Два попа бредут по джунглям» (как время от времени, на мотив «Красных парусов на закате», напевает наш радист Рыба) — да, конечно, но он о конфликте того рода, какой знаком людям всех эпох и всех цивилизаций. Дисциплина против попустительства. Приверженность букве закона против приверженности его духу. Цели и средства. Совершение хороших поступков из плохих побуждений против совершения плохих поступков из хороших побуждений. Как великие идеи вроде Церкви увязают в бюрократии. Как христианство, которое вначале ратовало за всеобщий мир, подобно другим религиям кончает насилием. То же самое можно сказать и о коммунизме, о любой великой идее. Я думаю, этот фильм действительно станет для Восточной Европы подрывным, и не только потому, что он о священниках. Возьмут ли его там в прокат — это другой вопрос. Я сказал Рыбе, что наш фильм мог бы кое-чему научить и профсоюзы, если они захотят учиться, и он сказал, что поразмыслит над этим. Пиппа-лапа, подумай насчет ребенка, ладно?

Твой Чарли

P. S. Сегодня был любопытный случай. Так, мелочь, но индейцы меня озадачили.

P. P. S. Ума не приложу, отчего ты не пишешь.

Письмо 7

Милая Пиппа,

сволочные джунгли. Не дают никакого передыху. Тучи москитов и всякой кусачей гнуси и жужжащей сволочи, и первую пару недель думаешь, как тут замечательно, ну и хрен с ним, что покусают, всех кусают, кроме Матта с его персональным репеллентом производства НАСА и противомоскитной мордой из солонины. Но они все вьются, и вьются, и вьются, черт бы их драл. Через какое-то время начинаешь мечтать, чтобы джунгли устроили себе выходной. Хочется крикнуть: эй, джунгли, нынче воскресенье, давайте завязывайте, а они гудят себе и гудят все 24 часа в сутки. Впрочем, не знаю. Может, это не джунгли виноваты, а фильм. Напряжение растет на глазах. Мы с Маттом грыземся все больше, что по сценарию, что сами по себе. Фильм переливается через край, ни на минуту не выпускает нас из-под своего контроля. Даже индейцы, кажется, не уверены, что я не всегда Фермин, а Матт не всегда Антонио. Похоже, они думают, что на самом-то деле я Фермин и только иногда прикидываюсь белым человеком по имени Чарли. В общем, все

шиворот-навыворот.

Воскресенье. Про тот случай с индейцами. Честно сказать, я порядком разозлился, когда узнал, но теперь уже могу смотреть на это с их точки зрения. Я ведь писал тебе, что учу их язык, — она действительно очень миленькая и ходит в чем мама родила, но я уже говорил, что тебе не о чем беспокоиться, вошек по челку, помимо всего прочего, конечно. Обнаружилось, что половина слов, которым она меня учила, неправильные. То есть они настоящие, только смысл у них другой. Первое слово, которое я более или менее запомнил, было *ткарни* — она сказала, что так называются птицы, похожие на белых аистов, их тут довольно много. И когда какая-нибудь из них, хлопая крыльями, пролетала мимо, я кричал *ткарни*, и индейцы смеялись. Оказывается — я узнал это не через Мигеля, а от второго нашего гида, который почти всю дорогу молчит, — словом «ткарни» индейцы называют сама догадайся что (вообще-то, у них для этого много имен). Ну, то самое, куда заплывают мелкие рыбешки из реки, если будешь неосторожен. И так обстоит дело с половиной слов, которым научила меня эта озорница. Всего я выучил, наверное, слов 60, и половина из них липовые — или нецензурщина, или означа-

ют что-нибудь совсем другое. Сама понимаешь, что в первый момент мне это здорово не понравилось, но потом я подумал: а у индейцев-то, между прочим, колоссальное чувство юмора. Ну и решил показать им, что умею ценить шутки, и когда над нами опять пролетел большой аист, я прикинулся, будто не знаю, как он называется, и спросил у своей девицы. *«Ткарни»*, — сказала она с невозмутимым видом. Я притворился, что очень удивлен, и стал мотать головой, и сказал, нет, это не может быть *ткарни*, потому что *ткарни*-то вон где (нет, я его не вынул, ничего такого — просто показал туда). И она поняла, что отхулиганилась, и захихикала, да и я тоже — пусть знают, что я не держу на них зла.

Понедельник. Конец не за горами. Осталась только одна большая сцена. А прежде два дня отдыха. По-моему, Вик зря так решил, но ему же надо с профсоюзами ладить. Говорит, не мешало бы перед важной съемкой перезарядить аккумуляторы. А я думаю, если ты на подъеме, то уж пили вперед без оглядки. Ну понятно, золотко, это я не всерьез, так я говорю Матту, чтобы его позлить, хотя обычно у меня ничего не выходит — он ведь страшно толстокожий и принимает все за чистую монету, поэтому я подкалываю

его, пожалуй, только ради собственного удовольствия. «Эй, Матт, — говорю я ему, — мы нынче на подъеме, так что давай-ка пилить вперед без оглядки», и он кивает, точно пророк в «Десяти заповедях»[39]. В общем, по плану сегодня и завтра отдыхаем, потом два дня репетируем сцену с переворачиванием плота и в пятницу — большая съемка. А может, Вик и прав, нам нужно быть в самой лучшей форме. Надо ведь не только верно сыграть, а еще и со всем остальным справиться. Для безопасности на нас будут веревки, как и положено по контракту. Прошу тебя, милая, не волнуйся, никакого серьезного риска нет. Мы нагоним метраж на том участке реки, где есть места с быстрым течением, и плот якобы перевернется там, но это только в фильме. У нас тут имеется парочка машин, которые месят воду, и она будет пениться и разбиваться о скалы, похожие на настоящие, — их поставят на якорь, чтобы не унесло. Так что бояться нечего. Честно говоря, мне не терпится начать, хотя мы, конечно, еще малость поспорили насчет этой сцены — всё старые споры. Там происходит вот что: оба священника падают в воду, один из них ударяется головой

[39] Сноски: 39

«Десять заповедей» — экранизация библейских историй о Моисее, дважды поставленная в Голливуде Сесилем Демиллем, в 1923 и 1956 гг.

о скалу, а другой его спасает. Вопрос в том, кто кого? Понимаешь, всю дорогу вверх по реке эти два человека борются не на жизнь, а на смерть, у них непримиримые религиозные разногласия, один очень жесткий и властный (я), другой очень мягкий и снисходительный к индейцам (Матт). По-моему, было бы гораздо эффектней, если бы тот, кто кажется твердолобым упрямцем и вроде как может дать другому спокойно утонуть, на самом деле спас его, пусть даже считая при этом, что его мысли насчет индейцев и намерение окрестить их, когда они доберутся до Ориноко, кощунственны. Однако придется делать наоборот — Матт будет спасать меня. Вик говорит, что так оно было в действительности, а Матт — что так написано в сценарии, который он читал в Пижонвилле, Северная Дакота, или где там его родная крыша, и ни на что другое он не согласен. «Не родился еще тот парень, который спасет Матта Смитона», — сказал он. Так и сказал, можешь себе представить? «Не родился еще тот парень, который спасет Матта Смитона». Я сказал, что припомню это, если мне случится застать его висящим вниз головой на одном пальце ноги на тросе лыжного подъемника. В общем, все будет идти, как написано в сценарии.

Четверг. Опять выходной.
Позже
Позже
Позже

Целую, Чарли

Письмо 8

Господи Боже, Пиппа. Господи Боже. Я просто не мог продолжать то последнее письмо. Трепаться, как идут съемки. Не мог после того, что случилось. Но со мной все в порядке. Честное слово, в порядке.

Позже. Бедняга Матт. Черт, он был славный малый. Конечно, мог влезть в печенки, но на такой работе и святой Франциск Ассизский осточертел бы. Вечно глазел на этих идиотских птиц в джунглях, вместо того чтобы читать роль. Извини, милая. Это бестактно, знаю. Просто не могу подобрать слов, чтобы рассказать. Убит совершенно. Бедняга Матт. Пытаюсь представить, откуда ты обо всем узнаешь и что подумаешь.

Какие же сволочи эти индейцы. Мне кажется, я умру. Еле держу ручку. Потею как свинья, *comme un porco*. Боже мой, я люблю тебя, Пиппа, только за это я и держусь.

Ч.

Письмо 9

Я достаю твою карточку, где ты похожа на бурундучонка, и целую ее. Все остальное неважно, только ты и я и наши будущие дети. Давай сделаем их, Пиппа. Твоя матушка будет рада, верно? Я спросил Рыбу, есть у тебя дети, он сказал да, я их берегу как зеницу ока. И я обнял его за плечи, крепко, как следует. Ведь только благодаря этому и продолжается жизнь, разве не так?

Правду говорят: отправляйся в джунгли и поймешь, кто есть кто. Вик — нытик, я и раньше это знал. Ноет, что пленка подмокла. Я сказал, плюнь, ты же всегда продашь в газету свои мемуары. Он посмотрел на меня волком.

Зачем они это сделали? Зачем?

Целую, Ч.

P. S. Хорошо бы ты написала. Сейчас было бы кстати.

Письмо 10

Ведь это мог бы быть я. Вместо него. Кто решает такие вещи? Или вообще никто? Эй, там, наверху, есть кто-нибудь дома?

Я думал об этом весь день. Спросил у Рыбы, есть ли у него дети, и он сказал да, я берегу их как зеницу ока, и мы с ним обнялись прямо тут же, у всех на глазах, и с тех пор я думаю, что бы это значило. Зеница ока. Что это значит? Говоришь вот так что-нибудь, и все понимают, что это значит, а как задумаешься, непонятно. И с фильмом нашим так же, и со всей этой экспедицией. Работаешь, и тебе кажется, будто ты твердо знаешь, что и как, а потом остановишься, подумаешь и не видишь никакого смысла — такое впечатление, что смысл, может, только потому и был, что все притворялись, будто он есть. Есть в этом какой-нибудь смысл? По-моему, это как индейцы и те фальшивые скалы, у которых пенилась вода. Они все смотрели на них и смотрели, и чем дольше смотрели, тем меньше понимали. Сначала знали, что это скалы, а кончили тем, что уже ничего не знали. По лицам видно было.

Сейчас я отдам это Рохасу. Недавно он проходил мимо и сказал, ты сегодня пишешь уже третье письмо, вложил бы их в один конверт да сэкономил на марках. Я встал и, честное слово, точно превратился на минуту в Фермина и говорю: «Слушай, ты, Богиня связи, я буду писать в день столько писем, сколько мне приспичит, а ты знай отправляй». То есть Фермин, конечно, не сказал бы «приспичит», но манера была его. Этакая упертость и недовольство всем, что в этом мире недотягивает до совершенства. Ладно, пойду-ка я лучше извинюсь, а то он их все выкинет.

Целую, Чарли

Письмо 11

Пока ждем вертолета

Пиппа-лапа,

когда мы отсюда выберемся, я сделаю вот что. Дерну самый большой стакан виски, какой только нальют в этом долбаном Каракасе. Приму самую большую ванну, какую только нальют в этом долбаном Каракасе. Буду говорить с тобой по телефону, пока не наговорюсь вволю. Я уже слышу в трубке твой голос, точно вышел из дому за сигаретами и звоню сказать, что задержался. Потом пойду в британское посольство и возьму

номер «Дейли телеграф», и мне плевать, если он будет трехнедельной давности, и прочту там даже то, на что обычно не обращаю внимания, вроде заметок о природе. Пусть мне скажут, что городские ласточки начали вить гнезда или что, если вам повезет, вы можете увидеть барсука. Я хочу слышать про самые обыкновенные вещи, которые происходят все время. Я посмотрю результаты крикетных матчей и почувствую себя этаким старым болельщиком, приехавшим из Средней Англии в полосатом блейзере и с бутылкой джина в кулаке. А может, прочту еще колонку, где поздравляют с новорожденными. Эмму и Николаса с рождением дочери Сюзи, сестры́ Александра и Билла. Славные мои Александр и Билл, скажу я, теперь у вас есть малышка Сюзи, она будет играть с вами. Вы должны быть с ней ласковы, должны защищать ее всю жизнь, она ваша маленькая сестренка, вы должны беречь ее как зеницу ока. Господи, я плачу, Пиппа, слезы так и льются у меня по щекам.

Целую, Ч.

Письмо 12

Каракас, 21 июля

Пиппа-лапа, я не могу в это поверить, честное

слово, не могу. Мы наконец возвращаемся к тому, что зовется у нас цивилизацией (смешные мы люди!), наконец попадаем туда, откуда можно звонить через Атлантику, я наконец отстаиваю очередь, пробиваюсь по телефону домой, а тебя нет. «Номер не отвечает, сэр». Пробую еще раз. «Опять не отвечает, сэр». Еще раз. «Хоросо, сэр, номер опять не отвечает». Где же ты? Мне больше никто не нужен. Я не хочу звонить твоей матушке и говорить, вы знаете, у нас таки были известные неприятности, но теперь мы вернулись в Каракас, а Матт погиб, ну да, вы ведь слыхали об этом по новостям, но я не хочу говорить об этом. Я хочу говорить только с тобой, золотко, и не могу.

Звоню еще.

Звоню еще.

Ну ладно, тогда я беру бутылку виски, которая стоит около 50 фунтов, и если студия мне ее не оплатит, я больше никогда не буду на них работать, и толстую стопку гладкой почтовой бумаги, которую они держат у себя в гостинице. Остальные отправились в город. А я не смог. Я помню наш последний вечер здесь — в этой же гостинице, все то же самое — и как мы с Маттом вместе пошли пить очумеловку и кончили тем, что сплясали под Зорбу, и нас вытолкали оттуда,

а Матт показывал на меня и говорил официантам, эй, да вы что, не узнаете мистера Рика с Зеленого Полуострова, а они не узнали и взяли с нас за тарелки.

Мы отдыхали два дня, и еще три оставалось работать. Первое утро провели на большой воде — должен тебе сказать, что риск постарались сделать минимальным. Вик со съемочной группой был на берегу, а мы с Маттом на плоту вместе с дюжиной индейцев — они гребли и отталкивались шестами. Ради пущей безопасности плот был привязан длинной веревкой к дереву на берегу, так что, если бы индейцы с ним не совладали, он не уплыл бы. На нас с Маттом тоже были веревки — все по контракту. Утренняя репетиция прошла как по маслу, а после обеда работали на мелководье, с той самой взбивалкой. Я считал, что репетировать на следующий день уже ни к чему, но Вик настаивал. Поэтому на второе утро пошли опять, теперь уже с радиомикрофонами. Вик еще не решил, со звуком будем работать или без. Привязали к дереву веревку, группа расположилась на берегу, а мы приготовились сделать перед камерой три-четыре рейда: в этой сцене мы с Маттом так заняты спором, можно ли крестить индейцев, что не видим опасности у себя за

спиной, а зрители ее видят. О том, что случилось после, я думал миллион раз и все-таки не знаю ответа. Был третий прогон. Нам дали с берега отмашку, мы начали спорить и потом заметили что-то неладное. Вместо дюжины индейцев на плоту были только двое: они стояли с шестами у задней кромки плота. Наверное, мы оба подумали, что Вику взбрело в голову попробовать такой вариант, когда мы с Маттом уже были поглощены ссорой, и это показывает, что он профи до мозга костей — даже виду, хитрец, не подал. Во всяком случае, так подумал я. Потом, в конце сцены, мы заметили, что индейцы не делают того, что должны делать, то есть не упираются шестами в дно, чтобы остановить плот. Они толкали его вперед, и Матт крикнул: «Эй, ребята, хорош», но они не отреагировали, и я еще, помню, подумал, может, они хотят проверить веревку, удержит ли она, и мы с Маттом одновременно повернулись и увидели, куда правят индейцы — прямо на скалы, в бурлящую воду, — и я понял, что веревка лопнула или отвязалась. Мы закричали, но это, конечно, было бесполезно, слишком сильно шумела река, да и не понимают они по-нашему, а потом мы очутились в воде. Когда плот перевернуло, я думал о тебе, Пиппа, честное слово. Увидел твое

лицо и пытался думать о тебе. Потом хотел было плыть, но мешало течение и эта гребаная ряса, а потом меня крепко шарахнуло по ребрам, точно ногой ударили, и я уж думал, что мне хана, наверное, налетел на скалу, — подумал и сразу ослаб, вроде как отключился. А на самом деле это резко натянулась веревка, которой я был привязан. Больше ничего не помню до того момента, как очухался на берегу: из меня льется вода, стою и блюю в грязь, а наш звуковик колотит меня по спине и тычет кулаком в живот. Моя веревка выдержала, Маттова нет. Вот как оно получилось — мне просто повезло.

Все были в шоке, сама понимаешь. Некоторые из наших пытались пройти вдоль берега — якобы люди иногда цепляются за нависшие над водой ветки, и их находят на целую милю ниже по течению. Но все без толку. Такие вещи бывают разве что в кино. Матт погиб, и все равно они не ушли дальше чем на 20 или 30 ярдов от того места — в джунглях ведь нет этих тропинок вдоль реки, чтобы таскать лодки на буксире. «Почему их было только двое? — все повторял Вик. — Почему только двое?» Стали искать индейцев, которые помогали группе разворачиваться, но их нигде не было. Тогда мы вернулись в лагерь и нашли

там одного-единственного человека, переводчика Мигеля, который сказал, что долго беседовал с каким-то индейцем, а когда обернулся, всех остальных уже след простыл.

Потом мы пошли смотреть, что стряслось с привязанной к дереву веревкой, и ничего там не обнаружили, она просто исчезла. И это было очень и очень странно, потому что ее завязывали одним из тех хитрых узлов, которые никак не могут развязаться сами, — контракт был соблюден во всех мелочах. Чертовски подозрительно. Потом мы снова поговорили с Мигелем, и выяснилось, что индеец затеял с ним ту долгую беседу еще до того, как мы перевернулись. Видно, они знали, что произойдет. И прежде чем удрать, забрали из лагеря все подчистую: одежду, продукты, оборудование. Зачем им одежда? Они же ее не носят.

Мы чуть не подохли, пока дождались вертолета. Индейцы утащили радиотелефоны (они бы и генератор сперли, если б у них был подъемный кран), а в Каракасе решили, что мы их опять кокнули, и прилетели как обычно. Два дня тянулись, как два месяца. По-моему, я все-таки схватил какую-то гнусную лихорадку, несмотря на уколы. Говорят, когда меня достали из реки и выкачали

из моего брюха воду, первое, что я сказал после того, как очухался, было: «Не иначе как вошек по челку», и на всю группу напал истерический смех. Сам-то я не помню, но на Чарли это похоже. Я уж думал, что подцепил какую-нибудь местную бери-бери. Короче, полный мрак.

Зачем они это сделали? Вот чего я никак не могу понять. Зачем? Большинство моих спутников считает, что с таких примитивных людей и спрашивать нечего — это, мол, тебе не белые, туземцу доверять нельзя и тому подобное. Чепуха! Я никогда не считал их примитивными, они никогда не врали (если забыть о тех уроках языка) и, клянусь тебе, гораздо больше заслуживали доверия, чем кое-кто из наших белых работничков. Перво-наперво я подумал: наверняка мы их чем-нибудь обидели, сами того не замечая, например, жестоко оскорбили их богов. Но я не мог вспомнить ничего такого.

Я пытаюсь понять, есть тут какая-нибудь связь с тем, что произошло два века назад, или нет. Может быть, это просто случайное совпадение. Так уж сложилось, что потомки тех индейцев, у которых перевернулся плот, плыли на другом плоту, и он тоже перевернулся примерно на том же месте. Может, этим индейцам просто надоело

тащить иезуитов вверх по реке, и они вдруг слегка тронулись и озверели и вывалили их за борт. Маловероятно? Наверное, между этими двумя событиями все-таки *есть* связь. Я почти уверен. По-моему, индейцы — наши индейцы — знали, что случилось с отцом Фермином и отцом Антонио в ту далекую пору. Такие легенды могут рассказывать женщины — например, когда толкут корни маниоки или делают еще что-нибудь в этом роде. Возможно, те двое иезуитов были в индейской истории очень важными фигурами. Представь себе, как этот рассказ передается из поколения в поколение, как его усложняют и приукрашивают. А потом появились мы, еще одна компания белых, среди которых тоже есть два человека в длинных черных юбках, которые тоже хотят добраться по реке до Ориноко. Понятно, имеются и отличия: эти привезли с собой одноглазую машинку и так далее, но по сути-то все одинаково, и мы даже сказали им, что конец будет тот же самый — плот перевернется. Ясное дело, тут трудно проводить параллели, но вообрази себе, что ты живешь в Гастингсе в 2066 году и вышла погулять на бережок, а к тебе плывут галеры, из них высыпают люди в кольчугах и остроконечных шлемах и говорят, что они прибыли

на битву при Гастингсе и не потревожишь ли ты короля Гарольда, чтобы они могли вышибить ему мозги, а за исполнение этой роли предлагают тебе толстенный бумажник с деньгами. Ведь сначала ты не прочь будешь согласиться, верно? И только потом задумаешься, для чего это нужно *им*. И тебе может прийти в голову — это моя идея, Вик ее не поддерживает, — что они (то есть мы) вернулись, чтобы повторить некую церемонию, страшно важную для их племени. Индейцы могли увидеть тут что-то религиозное, вроде празднования 500-летия собора или чего-нибудь в этом духе.

Не исключена и другая возможность — что индейцы действительно следили за спором между иезуитами и понимали его намного лучше, чем нам казалось. Они — то есть Матт и я — спорили о том, крестить ли индейцев, и к моменту аварии весы как будто начали склоняться на мою сторону. В конце концов, я был выше саном и я возражал против крещения — по крайней мере, пока индейцы не соберутся с духом и не откажутся от кое-каких мерзопакостных привычек. А индейцы, может быть, поняли это и перевернули плот, думая убить отца Фермина (меня!), чтобы оставшийся в живых отец Антонио окрестил их. Как тебе моя догадка? А дальше есть два вари-

анта: либо они увидели, что Фермин уцелел, и сбежали с испугу, либо обнаружили, что погиб Антонио, а значит, все пошло наперекосяк и им тоже оставалось только сбежать.

Так ли это? В одном я уверен: все тут гораздо сложнее, чем будет выглядеть в газетах. Не удивлюсь, если Голливуд отправит сюда самолет, чтобы скинуть на индейцев парочку бомб и отомстить таким образом за смерть Матта. Или будут переснимать фильм — да-да, вот это скорее всего. Кто получит роль Матта? Какую карьеру можно сделать! Раз — и в дамки.

Похоже, застряну здесь еще дней на шесть-семь. Долбаная студия с ее долбаными юристами. Кажется, фильм должен быть каким-то манером списан со счетов, а на это нужно время.

Вручаю это письмо Богине связи — оно будет отправлено срочной почтой. Приятно иметь дело с обычным почтальоном.

Крепко целую, Чарли

Письмо 13

Прошу тебя, перестань, я больше не выдержу. Только два дня, как выбрался из этих сволочных джунглей, чуть не подох там, а ты вешаешь трубку. Слушай, я же ведь объяснял тебе, она приезжала сюда работать, это случайное совпадение. Я знаю, что вел себя как свинья, *comme un porco*, чуток покривил душой, но, пожалуйста, прочти все мои письма из джунглей, и ты увидишь, что я теперь другой человек. Между мной и Линдой все кончено, я говорил тебе это еще перед отъездом. Согласись, не могу же я запретить ей работать, где она хочет. Да, я знал, что она будет в Каракасе, да, я не сказал тебе об этом и да, я поступил плохо, но разве лучше было бы, если б я сказал? Как ты вообще умудрилась узнать? А сейчас ее здесь нет — по-моему, хотя меня это мало волнует, она где-то в Вест-Индии. Ради бога, Пиппа, не зачеркивай ты пять лет.

Твой Чарли

P. S. Посылаю срочной почтой.

P. P. S. Каракас грязная дыра. Торчу здесь как минимум до 4-го.

P. P. P. S. Люблю тебя.

Телеграмма

ПОЖАЛУЙСТА ПОЗВОНИ ЧАРЛИ ГОСТИНИЦА ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ СРОЧНО ТЧК ЦЕЛУЮ ЧАРЛИ ТЧК

Телеграмма

РАДИ БОГА ПОЗВОНИ ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ ЕСТЬ СРОЧНЫЙ РАЗГОВОР ТЧК ЦЕЛУЮ ЧАРЛИ

Телеграмма

ПОЗВОНЮ ПОЛДЕНЬ ВАШЕМУ ВРЕМЕНИ ЧЕТВЕРГ НАДО МНОГОЕ ОБСУДИТЬ ТЧК ЧАРЛИ

Телеграмма

ЧЕРТ ТЕБЯ ПОБЕРИ СНИМИ ТРУБКУ ИЛИ ПОЗВОНИ САМА ПИППА ТЧК ЧАРЛИ

Письмо 14

Дорогая Пиппа,

поскольку ты не хочешь отвечать на телеграммы по причинам, которые лучше известны тебе самой, я решил сообщить тебе письмом, что не приеду домой сразу же. Мне нужно время и место не только для того, чтобы немного забыть о тех страшных событиях, которые мне пришлось пережить и которые тебя, кажется, совсем не интересуют, но и для того, чтобы обдумать наши с тобой отношения. Наверное, не стоит повторять, что я люблю тебя по-прежнему, так как это почему-то только раздражает тебя по неизвестным мне причинам, которые ты не желаешь ни объяснять, ни комментировать. Я позвоню или приеду, когда во всем разберусь.

Чарли

P. S. Посылаю срочной почтой.

P. P. S. Если тут хоть как-нибудь замешан этот ублюдок Гэвин, я ему, сволочи, собственными руками шею сверну. Надо было еще тогда вмазать ему покрепче. Между прочим, он никогда не выберется из десятых ролей. Кишка тонка. И бездарь полная.

Письмо 15

Санта-Лючия
Числа не помню, и хер с ним

Ты сука знать тебя не хочу больше слышишь, уйди ты из моей жизни УЙДИ. Всегда всем засирала мозги, это ты хорошо умеешь, мозги засирать. Говорили мне друзья, она тебе устроит сладкую жизнь, не вздумай пускать ее к себе, а я, идиот, не послушался. Черт возьми, если ты думаешь, что я эгоист, погляди в зеркало, детка. Конечно, я пьяный, а как по-твоему, только так и можно вышибить тебя из башки. Пойду пить это говно очумеловку. Гад буду, истина в вине.

Дебошир Чарли

P. S. Шлю срочной почтой.

Телеграмма

ВОЗВРАЩАЮСЬ ЛОНДОН ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНАДЦАТОГО ТЧК БУДЬ ДОБРА ОСВОБОДИ КВАРТИРУ СЕБЯ И ВЕЩЕЙ ЗАРАНЕЕ ТЧК ОСТАВЬ КЛЮЧ ТЧК ВСЕ ТЧК

Интермедия

Я хочу кое-что рассказать вам о ней. На дворе та срединная часть ночи, когда занавески не пропускают света, уличную тишину нарушает лишь ворчанье какого-нибудь бредущего домой Ромео, а птицы еще не начали своей повседневной, но жизнерадостной суеты. Она лежит на боку, отвернувшись от меня. Я не вижу ее в темноте, но по тихому и мерному ее дыханию я мог бы очертить вам контуры ее тела. Когда она счастлива, она может спать в одной позе часами. Я подолгу наблюдал за ней в эту пору глубинных ночных течений и твердо знаю, что она даже не шевелится. Конечно, это можно списать на хорошее пищеварение и спокойные сны; но мне это кажется признаком счастья.

Наши ночи не похожи друг на друга. Она засыпает, словно подхваченная ласковой, теплой приливной волной, которая доносит ее, безмятежную, до самого утра. Я засыпаю менее охотно, борясь с прибоем, не желая расставаться с удачным днем или все еще сетуя на свое сегодняшнее невезенье. Разные потоки струятся сквозь наше дремлющее сознание. Меня часто сбрасывает с

постели страх времени и смерти, панический ужас перед надвигающейся пустотой; просыпаясь — ноги на полу, руки сжимают виски, — я выкрикиваю бессмысленное (и удручающе невыразительное) «нет, нет, *нет*». Тогда ей приходится гладить меня, успокаивая, точно пса, с лаем выскочившего из грязной речки.

Бывает, что и ее сон прерывается вскриком, и тогда наступает мой черед бросаться на помощь. Я мгновенно выныриваю из забытья, и она сонными губами шепчет мне, что ее напугало. «*Очень* большой жук», — поясняет она, словно из-за жука поменьше не стала бы меня беспокоить; или: «Ступеньки были скользкие»; или просто (сбивая меня с толку тавтологической загадочностью этих слов): «Ужасная гадость». Затем, избавившись от мокрой жабы или мусорной пробки, послуживших причиной затора, она вновь засыпает спокойным сном. Я лежу, сжимая склизкое земноводное, баюкая в руках комок влажной грязи, встревоженный и восхищенный. (Между прочим, я не хочу сказать, что мои сновидения значительнее. Сны демократизируют страх. Во сне потерять ботинок или опоздать на поезд — ничуть не меньшая трагедия, чем попасть в лапы герильеров или угодить под ядерный обстрел.) Я

восхищаюсь ею, потому что она гораздо лучше меня справляется с этой работой, которую мы обязаны выполнять регулярно до самой смерти: ведь людям на роду написано спать по ночам. Она ведет себя как опытный путешественник, бесстрашно вступающий в зал нового аэропорта. А я лежу во тьме с просроченным паспортом, подталкивая свою скрипящую багажную тележку не к тому транспортеру.

Короче говоря… она спит на боку, спиной ко мне. Вдоволь наворочавшись и убедившись в бесплодности обычных уловок, помогающих нырнуть обратно в забвение, я решаю продублировать мягкий зигзаг, образованный ее телом. Когда я начинаю пристраивать свою голень к ее икре, мышцы которой расслаблены сном, она чувствует мою возню; не просыпаясь, она поднимает левую руку и сдвигает свои волосы с плеч на затылок, чтобы я мог уткнуться в ее голую шею. В ответ на эту неизменную инстинктивную любезность я всякий раз содрогаюсь от прилива чувств. Мои глаза щиплет от слез, и я едва сдерживаюсь, так мне хочется разбудить ее и напомнить о том, как я ее люблю. Своим бессознательным жестом она затрагивает самые основы моей любви к ней. Конечно, она ни о чем не догадывается; я никогда

не говорил ей об этой крохотной ночной радости, которую она дарит мне с таким постоянством. Хотя, наверное, говорю сейчас…

Вы думаете, что на самом-то деле она успевает на секунду проснуться? Я понимаю, что это ее движение может казаться сознательным актом вежливости — мелочью, которая сама по себе приятна, однако едва ли свидетельствует о том, что корни любви уходят куда-то под смоляной пласт сознания. Вы правы в своем скептицизме: влюбленным можно доверять лишь до известного предела, ведь они тщеславны, как политики. Но я докажу вам свою правоту. Вы уже поняли, что волосы у нее до плеч. Но несколько лет назад, когда нам пообещали затяжную летнюю жару, она коротко постриглась. Ее шея была открыта для поцелуев круглые сутки. И в темноте, когда мы лежали под одной простыней и я истекал потом, как калабриец, когда срединная часть ночи была коротка, но одолеть ее все равно было непросто, — я поворачивался к этой стилизованной букве S рядом с собой, и она, что-то неразборчиво бормоча, пыталась убрать с шеи несуществующие волосы.

«Я люблю тебя, — шепчу я в этот спящий затылок, — я люблю тебя». Все романисты знают,

что их искусство выигрывает от недоговоренности. Соблазняясь дидактикой, писатель должен представлять себе щеголеватого капитана корабля перед надвигающимся штормом: как он кидается от прибора к прибору в фейерверке золотой тесьмы, как отдает в переговорную трубу решительные команды. Но внизу никого нет; машинное отделение отсутствует, и руль отказал много веков назад. Капитан может разыграть прекрасный спектакль, убедив не только себя, но и кое-кого из пассажиров; все-таки судьба их плавучего мира зависит не от него, а от безумных ветров и угрюмых течений, от айсбергов и случайных рифов.

Однако иногда обиняки литературы все же вызывают у романиста естественное раздражение. В нижней части эль-грековских «Похорон графа Оргасского» в Толедо есть группа угловатых фигур в плоеных воротниках. Предающиеся своей показной печали, они смотрят в разные стороны. И только один из них с мрачной иронией смотрит прямо на нас — и мы не можем не заметить, сколь нелестен его взгляд. По традиции считается, что это изображение самого Эль Греко. Вот я, говорит он. Я и есть автор. И я за все это в ответе, потому и не прячу глаз.

Поэтам, видимо, проще писать о любви, чем прозаикам. Для начала у них есть это уклончивое «я» (если я напишу «я», вы потребуете, чтобы не позже чем через пару абзацев вам объяснили, кто имеется в виду — Джулиан Барнс или какой-нибудь вымышленный персонаж; поэт может вальсировать между тем и другим, не теряя ни в глубине чувства, ни в объективности). Еще поэты, похоже, могут обращать плохую любовь — любовь эгоистическую, дрянную — в хорошую лирическую поэзию. Прозаикам не дано навевать этот восхитительный обман. Плохую любовь мы можем обратить только в прозу о плохой любви. Поэтому мы слегка завидуем (и не совсем доверяем) пишущим о любви поэтам.

А они сочиняют то, что именуется любовной поэзией. Из их опусов составляются книги под названьями типа «Поющие Сердца — Антология Шедевров Любовной Лирики». Кроме того, есть еще письма; из них получаются сборники, озаглавленные «Сокровищница Золотого Пера, Лучшие Любовные Послания Всех Времен и Народов» (книга — почтой). Но нет такого жанра, который подходил бы под определение любовной прозы. Это звучит неуклюже, почти парадоксально. «Любовная Проза: Справочник Работяги».

Продается в магазинах плотницкого инвентаря.

Канадская писательница Мейвис Галлант сказала: «Тайна, которую представляет собой любящая пара, — это, пожалуй, единственная настоящая тайна, еще не раскрытая нами, и когда мы раскроем ее, литература — да и любовь тоже — будет уже не нужна». Прочтя это впервые, я нарисовал на полях шахматную пометку «!?», означающую красивый, но, возможно, ошибочный ход. Однако со временем точка зрения канадки возобладала, и пометка сменилась на «!!».

«Пусть мы умрем — но будет жить любовь». К такому выводу осторожно подобрался в своем стихотворении «Арундельская могила» Филип Ларкин. Эта строчка удивляет нас, ибо почти все творчество поэта есть похожее на выкручиванье фланелевой тряпицы избавление от иллюзий. Нам приятно, когда нас подбадривают; но сначала прозаику положено нахмуриться и спросить, а не сфальшивила ли эта поэтическая фанфара? Действительно ли любовь переживет нас? Мысль, конечно, соблазнительная. Было бы куда как приятно, если бы любовь оказалась источником, который будет излучать энергию и после нашей смерти. На экранах старых телевизоров,

когда их выключали, оставалось световое пятно размером с флорин — потом оно понемногу таяло, превращаясь в микроскопическую искорку, и исчезало. Мальчишкой я ежевечерне наблюдал этот процесс, смутно желая замедлить его (и с юношеской меланхолией усматривая в нем подобие неизбежного исчезновения во вселенском мраке крохотного огонька человеческой жизни). Что ж, и любовь будет так вот светиться, когда телевизор уже выключат? Мой опыт этого не подтверждает. Вместе с последним из любящих умирает и любовь. Если от нас что и останется, так скорее что-нибудь другое. Ларкина переживет отнюдь не его любовь, а его стихи; это очевидно. Перечитывая конец «Арундельской могилы», я всегда вспоминаю Уильяма Хаскиссона. В свое время он был очень известным политиком и финансистом; но теперь мы помним его только потому, что 15 сентября 1830 года, на открытии Ливерпульско-Манчестерской железной дороги, его первого задавило насмерть поездом (вот чем он *стал*, во что обратился). Любил ли Уильям Хаскиссон? Пережила ли его эта любовь? Никто не знает. Все, что от него осталось, — это тот миг роковой беспечности; смерть превратила его в камею, в иллюстрацию безжалостной поступи

прогресса.

«Я тебя люблю». Первым делом спрячем эти слова на верхнюю полку; в железный ящичек, под стекло, которое при случае полагается разбить локтем; в надежный банк. Нельзя разбрасывать их где попало, точно трубочки с витамином С. Если эти слова всегда будут под рукой, мы начнем прибегать к ним не думая; у нас не хватит сил воздержаться. Мы-то, конечно, уверены в обратном, но это заблуждение. Напьемся, одолеет тоска или (самое вероятное) взыграет известного рода надежда, и вот пожалуйста — слова уже использованы, захватаны. Нам может показаться, что мы влюбились, и захочется проверить, так ли это. Как мы узнаем, что у нас на уме, покуда не услышим собственных слов? Остерегитесь — они не отмываются. Это высокие слова; мы должны быть уверены, что заслужили их. Вслушайтесь, как звучат они по-английски: «I love you». Подлежащее, сказуемое, дополнение — безыскусная, незыблемая фраза. Подлежащее — коротенькое словцо, которое как бы помогает влюбленному самоустраниться. Сказуемое подлиннее, но столь же недвусмысленно — в решающий миг язык торопливо отскакивает от нёба, освобождая дорогу гласной. В дополнении, как и в подлежащем,

согласных нет; когда его произносишь, губы складываются словно для поцелуя. «I love you». Как серьезно, как емко, как веско это звучит.

Мне видится тайный сговор между всеми языками мира. Собравшись вместе, они постановили придать этой фразе такое звучание, чтобы людям было ясно: ее надо заслужить, за нее надо бороться, надо стать ее достойным. *Ich liebe dich*: полуночный сигаретный шепот, в котором счастливо рифмуются подлежащее и дополнение. *Je t'aime*: здесь сначала разделываются с подлежащим и дополнением, чтобы вложить весь сердечный пыл в долгий гласный последнего слова. (Грамматика тут надежнее; заняв второе место, предмет любви может уже не бояться, что его заменят кем-то другим.) *Я тебя люблю*: дополнение снова занимает вселяющую уверенность вторую позицию, но теперь — несмотря на оптимистическую рифму вначале — здесь слышится намек на трудности, препятствия, которые нужно будет преодолеть. *Ti amo* — возможно, это чересчур смахивает на аперитив, но выигрывает благодаря твердому согласию подлежащего и сказуемого, делателя и действия, слитых в одно слово.

Извините за любительский подход. Я охотно

передаю эту тему на рассмотрение какой-нибудь филантропической организации, стремящейся увеличить сумму человеческих знаний. Пусть созданная при ней исследовательская группа изучит эту фразу на всех языках мира, пронаблюдает за ее изменениями, попытается понять, что слышат в ее звуках те, к кому она обращена, как от богатства ее звучания зависит мера даримого ею счастья. Вопрос к залу: есть ли на земле племена, в лексиконе которых отсутствуют слова «я тебя люблю»? Или все они давно уже вымерли?

Пусть эти слова лежат у нас в ящичке, под стеклом. А вынув их оттуда, будем обращаться с ними бережно. Мужчины говорят «я тебя люблю», дабы залучить женщин в постель, женщины говорят «я тебя люблю», дабы женить на себе мужчин; и те и другие говорят «я тебя люблю», дабы держать страх на привязи, дабы обрести ложную уверенность, дабы убедить себя в том, что благословенное состояние достигнуто, дабы не замечать того, что все уже позади. Не нужно использовать эти слова в таких целях. *Я тебя люблю* не должно звучать слишком часто, становиться ходкой монетой, пущенной в оборот ценной бумагой, служить для нас источником прибыли. Конечно, вы можете принудить эту

послушную фразу играть вам на руку. Но лучше приберегите ее для того, чтобы прошептать в шею, с которой только что были убраны несуществующие волосы.

Сейчас мы далеко друг от друга; наверное, вы догадались. Трансатлантический телефон передразнивает меня своим эхом, точно хочет сказать: слыхали, мол. «Я тебя люблю» — и прежде чем она успевает ответить, мой металлический двойник повторяет: «Я тебя люблю». Это малоприятно; тиражируясь, произнесенная мною фраза превращается в общее достояние. Пробую еще раз, с тем же успехом. I love you, I love you — выходит какая-то популярная песенка из тех, что с месяц держатся на пике моды, а затем сдаются в репертуар клубных турне, где коренастые рок-певцы с сальными волосами и томлением в голосе пытаются с их помощью раздеть вольготно расположившихся в первых рядах девиц. I love you, I love you — а ведущая гитара хихикает, и в открытом рту барабанщика лежит влажный язык.

К любви, к ее словарю и жестам нужно относиться бережно. Если ей суждено спасти нас, мы должны смотреть на нее так же честно, как хорошо бы научиться смотреть на смерть. Следует ли преподавать любовь в школе? Первый триместр:

дружба; второй триместр: нежность; третий триместр: страсть. Почему бы и нет? Наших детей учат готовить, и чинить машины, и трахаться так, чтобы не залететь; и мы полагаем, что дети умеют все это гораздо лучше, чем в свое время умели мы, но какой им прок от всего этого, если они не умеют любить? Считается, что тут они и без нас как-нибудь разберутся. Природа, мол, возьмет свое; она будет служить им автопилотом. Однако Природа, на которую мы привыкли сваливать ответственность за все, чего не понимаем сами, не слишком надежно работает в автоматическом режиме. Доверчивые девицы, мобилизованные в армию замужних женщин, по выключении света обнаруживают, что Природа знает ответы отнюдь не на все вопросы. Доверчивым девицам говорили, что любовь — земля обетованная, ковчег, на котором дружная чета спасется от Потопа. Может, она и ковчег, но на этом ковчеге процветает антропофагия; а командует им сумасшедший старик, который чуть что пускает в ход посох из дерева гофер и может в любой момент вышвырнуть тебя за борт.

Давайте начнем сначала. Любовь делает вас счастливым? Нет. Любовь делает счастливой ту, кого вы любите? Нет. Благодаря любви все в

жизни идет как надо? Разумеется, нет. Когда-то я, конечно, во все это верил. А кто же не верил (и у кого эта вера до сих пор не лежит где-нибудь в трюме души)? Об этом пишут книги, снимают фильмы; это закат тысячи историй. Если любовь не решает всех проблем, тогда зачем же она? Разве мы не можем быть уверены — ведь нам так этого хочется, — что любовь, стоит только найти ее, облегчит наши ежедневные муки, станет для нас чем-то вроде дармового анальгетика?

Двое любят друг друга, но они несчастны. Какой мы делаем вывод? Что один из них любит другого не по-настоящему; что их любовь недостаточно крепка? Я против этого «не по-настоящему»; я против этого «недостаточно». За свою жизнь я любил дважды (по-моему, это не так уж мало), раз счастливо, раз несчастливо. Больше всего о природе этого чувства я узнал благодаря несчастной любви — хоть и не сразу, а только годы спустя. Даты и подробности — выбирайте их по своему усмотрению. Но я любил и был любим очень долго, много лет. Сначала я был беспардонно счастлив, преисполнен надежд и обуян солипсическим восторгом; но большую часть времени, как это ни странно, я был удручающе несчастен. Что же, я недостаточно крепко ее любил? Я

знаю, что это не так, — ради нее я пожертвовал половиной своего будущего. Может быть, она недостаточно крепко меня любила? И это не так — ради меня она отказалась от половины своего прошлого. Мы много лет прожили бок о бок, мучительно стараясь понять, что же неладно в нашей связке. Взаимная любовь не делала нас счастливыми. Но мы упрямо не желали этого признавать.

Позже я разобрался в том, каково было мое представление о любви. Мы считаем любовь активной силой. Моя любовь *делает* ее счастливой; ее любовь *делает* меня счастливым — где тут может быть ошибка? А ошибка есть: неверна сама модель. Подразумевается, что любовь — это волшебная палочка, которая в мгновение ока распускает запутанные узлы, наполняет цилиндр платками, а воздух хлопаньем голубиных крыльев. Но модель надо заимствовать не из магии, а из физики элементарных частиц. Моя любовь отнюдь не обязательно *сделает* ее счастливой; она может лишь раскрыть в ней способность к счастью. И тогда все становится понятнее. Отчего я не могу сделать ее счастливой, отчего она не может сделать счастливым меня? Очень просто: ожидаемой ядерной реакции не происходит, у

луча, которым мы бомбардируем частицы, не та длина волны.

Но любовь не атомная бомба, так что давайте подберем более мирное сравнение. Я пишу эти строки в гостях у одного приятеля в Мичигане. У него обычный американский дом со всеми хитроумными устройствами, какие только может измыслить современная технология (кроме устройства для выпечки счастья). Вчера мой друг привез меня сюда из Детройтского аэропорта. Свернув на подъездную аллею, он вытащил из бардачка прибор дистанционного управления, коснулся нужной кнопки, и перед нами распахнулись ворота гаража. Вот модель, которую я предлагаю. Вы возвращаетесь домой — во всяком случае, хотите так думать — и с помощью привычного волшебства пытаетесь открыть гараж. Однако ничего не происходит; двери по-прежнему закрыты. Вы пробуете еще раз. Опять ничего. Сначала удивленный, потом встревоженный, потом разъяренный этим загадочным непокорством, вы сидите в машине с работающим мотором; сидите неделю, месяц, год, много лет и ждете, когда же откроются двери. Но вы находитесь не в той машине, не у того гаража, ждете не перед тем домом. Вот в чем одна из бед: наше

сердце не сердцевидно.

«Жребий наш — любить иль умереть», — написал У. Х. Оден, что побудило Э. М. Форстера заявить: «Поскольку он написал „жребий наш — любить иль умереть“, он имеет право приказать мне следовать за собой». Однако сам Оден был недоволен своей знаменитой строкой из «1 сентября 1939». «Это брехня! — высказался он. — Умереть нам все равно придется». Поэтому, переиздавая стихотворение, он заменил вышеприведенную фразу на более логичное «Жребий наш — любить и умереть». Позже он и вовсе убрал ее.

Эта замена «или» на «и» — одна из самых знаменитых в поэзии. Узнав о ней впервые, я восхитился неумолимой объективностью Одена-критика, скорректировавшего Одена-поэта. Если звонкая фраза таит в себе ложь — прочь ее; такой подход радует отсутствием у автора самовлюбленности. Теперь мое мнение уже не столь однозначно. Разумеется, «жребий наш — любить и умереть» выглядит логичнее; кроме того, в этом примерно столько же новизны и красоты, как и во фразах «жребий наш — слушать радио и умереть» или «жребий наш — регулярно мыть посуду, а затем умереть». Оден был прав,

не слишком доверяя собственной риторике, но сказать, что строка «жребий наш — любить иль умереть» грешит против истины, поскольку умирать придется всем (или поскольку те, что никого не любят, вовсе не мрут из-за этого как мухи), может лишь человек недалекий или забывчивый. Есть не менее логичные и более убедительные способы прочтения варианта с «или». Первый, самый очевидный, таков: будем же любить друг друга, ибо в противном случае мы друг друга поубиваем. Второй таков: будем же любить друг друга, ибо в противном случае, если любовь не будет придавать нашей жизни смысл, нам ни к чему и жить. Ведь утверждать, что те, кто черпает наивысшее наслаждение не в любви, а из других источников, живут пустой жизнью, что они похожи на чванливых раков, которые ползают по дну морскому, щеголяя чужими панцирями, вовсе не значит заниматься «брехней».

Тут мы вступаем на трудную территорию. Нам нужно быть точными и стараться не впадать в сентиментальность. Желая противопоставить любовь таким коварным и могучим соперникам, как власть, деньги, история и смерть, мы не должны скатываться к самовосхвалению и напускать кругом снобистского туману. Враги любви крити-

куют ее за расплывчатость притязаний, за ярко выраженную склонность к изоляционизму. Так с чего же мы начнем? Любовь может дать счастье, а может и не дать; но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию. Вспомните, как вы любили впервые, — разве когда-нибудь еще вы говорили так гладко, спали так мало, занимались сексом так жадно? Анемичный — и тот оживает, а обыкновенный здоровый человек становится просто невыносимым. Далее, она распрямляет нам спину, наделяет уверенностью. Вы чувствуете, что наконец-то крепко стали на ноги; пока это чувство с вами, вы способны на все, вы можете бросить вызов миру. (Справедливо ли будет такое различие: что любовь добавляет уверенности, а сексуальные победы всего лишь укрепляют людей в их эгоизме?) Затем, она сообщает ясность видению: глаза влюбленного точно снабжены автомобильными «дворниками». Разве в пору первой любви вы не видели все гораздо яснее обычного?

Когда любовь вступает в игру? Мы глядим на животных — и не находим ответа. Кажется, представители некоторых видов действительно выбирают себе пару на всю жизнь (хотя представьте себе, сколько возможностей для

адюльтера открывается во время всех этих долгих морских миграций и перелетов); но, как правило, мы видим только проявления силы, доминирование одних над другими и погоню за сексуальным комфортом. Сторонники и противники феминизма интерпретируют природу по-разному. Первые ищут в животном царстве бескорыстия и обнаруживают, что самцы иногда выполняют работу, которая у людей обычно выпадает на долю женщин. Возьмите, например, королевского пингвина: самец высиживает яйца, носит их у себя на ногах и месяцами защищает от антарктического холода под жировой складкой внизу живота… Ладно, отвечают вторые, а как насчет самца морского слона? Валяется целый день на пляже и трахает всех самок в пределах досягаемости. Как это ни огорчительно, похоже, что поведение морского слона более типично, чем поведение пингвина. К тому же, хорошо зная свой пол, я склонен усомниться в альтруизме последнего. Скорее всего, самец пингвина просто сообразил, что коли уж приходится торчать в Антарктиде столько лет кряду, разумнее будет сидеть дома и нянчиться с яйцом, покуда самка ловит рыбу в ледяной воде. То есть просто избрал самую выгодную для себя тактику.

Так когда же вступает в игру любовь? Ведь в ней вроде бы нет особой нужды. Мы можем, как бобры, строить без любви плотины. Можем, как пчелы, объединяться без любви в сложные сообщества. Можем, как альбатросы, преодолевать без любви огромные расстояния. Можем, как страусы, прятать без любви голову в песок. Можем, как дронты, вымереть без любви до последнего экземпляра.

А что, если любовь — полезная мутация, которая помогает человечеству в его борьбе за существование? Я не вижу, чем это подтверждается. Была ли она, к примеру, изобретена ради того, чтобы воины, сохранившие где-то глубоко в сердце щемящие воспоминания о родном камельке, отчаяннее дрались за свою жизнь? Непохоже: мировая история учит нас, что решающими факторами в войне являются новая форма наконечника стрелы, благоразумие генерала, полный желудок и перспектива грабежа, а отнюдь не сентиментальность вздыхающих о доме вояк.

Значит, любовь — это роскошь, прерогатива мирного времени, нечто вроде вышивания полотенец? Нечто приятное, сложное, но необязательное? Этакое побочное достижение, продукт культуры, лишь по случайности оказавшийся

любовью, а не чем-то другим? Иногда мне кажется, что в этом есть доля правды. Когда-то на дальнем северо-западе Соединенных Штатов обитало индейское племя (это не выдумка), ведущее необычайно беззаботную жизнь. Воевать в их далеком краю было не с кем, а земля приносила огромные урожаи. Стоило им бросить через плечо горстку сухих бобов, как сзади сразу подымался целый бобовый лес и осыпал их стручками. К тому же эти здоровые и довольные люди были лишены всякого вкуса к междоусобным войнам. В результате у них образовалась уйма свободного времени. Без сомнения, они преуспели в занятиях, порождаемых праздностью: стали плести корзины в стиле рококо, подняли искусство эротики до высокого гимнастического уровня и научились погружаться в наипродолжительнейшие трансы, используя для этой цели перетертые листья неких растений. Мы не осведомлены об этих сторонах их жизни, однако знаем, каково было главное развлечение, помогающее им коротать долгие часы досуга. Они пристрастились к воровству — вот что им нравилось и вот что они культивировали. Когда к ним начинал ластиться очередной погожий денек, они вылезали из вигвамов, втягивали в себя медвяный воздух и

спрашивали друг у друга, не случилось ли этой ночью чего интересненького. В ответ следовало робкое, а то и нахальное признание в краже. Серый Волчонок опять умыкнул одеяло у старика Краснощека. Серьезно? А он таки делает успехи, наш Серый Волчонок. Ну а ты чем занимался? Я-то? Да я всего-навсего слямзил брови с верхушки тотемного столба. Что, еще раз? И как тебе, право, не надоест.

Значит, нам наконец удалось нащупать верный подход? Мы можем прожить и без любви, так же как индейцы без воровства. Однако благодаря ей мы обретаем индивидуальность, обретаем цель. Отнимите у индейцев их невинное хобби, и им будет труднее определить себя. Стало быть, это просто неожиданный мутационный выброс? Любовь не способствует развитию человечества; наоборот, она враждебна всякой организованности. Не будь любви, нам было бы гораздо проще удовлетворить свои сексуальные притязания. Браки были бы откровенней — и, наверное, много прочнее, — если бы мы не тосковали по любви, не радовались ее зарождению, не боялись, что она нас покинет.

На общем фоне мировой истории любовь кажется чем-то чужеродным. Это какой-то нарост,

уродство, запоздалое добавление к повестке дня. Она напоминает мне те половинки домов, которых согласно обычным правилам картографии как бы не существует. Недавно я ездил по такому североамериканскому адресу: Йонг-стрит, 2041 1/2. Наверное, владелец дома номер 2041 продал когда-то маленький участок, а на нем был построен этот полупризнанный дом с половинчатым номером. А люди вполне комфортабельно в нем устроились, называют его родным… Тертуллиан сказал о вере в Христа: она истинна, потому что абсурдна. Возможно, и любовь так важна потому, что необязательна.

Та, что теперь снова рядом со мной, — центр моего мира. Армяне верили, что центр мира — Арарат, но его поделили между собой три великие империи, а армянам в конце концов ничего не осталось, так что я не буду развивать свое сравнение. *Я тебя люблю*. Я снова дома, и эхо больше не передразнивает меня. *Je t'aime. Ti amo* (с содовой). А если бы вы были лишены дара речи, не имели в своем распоряжении медной трубы языка, вы сделали бы так: скрестили бы свои руки в запястьях, обратив ладони к себе; прижали бы скрещенные запястья к сердцу (или хотя бы к середине груди); потом чуть отвели бы

руки вперед и разомкнули их, обернув ладонями к предмету вашей любви. По выразительности это не уступит словам. И заметьте, сколько возможностей открывается здесь для более тонкой передачи чувства, сколько изыска вы можете привнести в этот жест, соединяя ладони, целуя костяшки пальцев или играя их кончиками, которые несут в себе неповторимый узор, печать вашей индивидуальности.

Но сомкнутые ладони могут ввести нас в заблуждение. Сердце не сердцевидно, вот в чем одна из бед. Мы ведь воображаем себе этакую аккуратную двустворчатую ракушку, форма которой говорит о том, что любовь объединяет две половинки, два отдельных существа в одно целое; не правда ли? Этот четко очерченный символ представляется нам алым, словно бы залитым ярким румянцем; ал он и от прилива крови, сопутствующего вспышке страсти. Учебник по медицине разочаровывает нас не сразу; здесь сердце похоже на схему лондонской подземки. Аорта, левая и правая легочные артерии и вены, левая и правая подключичные артерии, левая и правая венечные артерии, левая и правая сонные артерии… Тут все кажется изящным и продуманным; мы верим, что эта сложная си-

стема трубок безупречна в работе. Уж она-то не подведет, думаем мы.

Знаменательные факты:

— сердце развивается в эмбрионе раньше всех прочих органов; мы еще величиной с фасолину, а уже видно, как оно пульсирует внутри;

— относительный вес сердца ребенка намного больше, чем у взрослого: у первого он составляет 1/130 общего веса тела, у второго — 1/300;

— в течение жизни размеры, форма и положение сердца претерпевают существенные изменения;

— после смерти сердце принимает форму пирамиды.

Бычье сердце, купленное мною в магазине «Корриганс», весило 2 фунта 13 унций, а стоило 2 фунта 42 пенса. Самое крупное на прилавке, это было сердце животного, однако многое роднило его с человеческим. «У него сердце быка» — фраза из детства, из приключенческой литературы Империи. Все эти рыцари в тропических шлемах, которые одним метким выстрелом из армейского револьвера отправляли злобного носорога на тот свет, покуда дочь полковника дрожала за баобабом, имели довольно простую душевную

организацию; но сердца у них, если судить по приобретенному мной экземпляру, были далеко не простыми. Этот увесистый, плотный, окровавленный ком походил на свирепо сжатый кулак. В отличие от железнодорожной схемы из учебника по медицине настоящее сердце не торопилось выставлять напоказ свои тайны.

Я вскрыл его вместе с одной приятельницей, рентгенологом. «Этот бык в любом случае недолго бы протянул», — заметила она. Если бы это сердце принадлежало кому-нибудь из ее пациентов, он недалеко ушел бы по джунглям со своим мачете. Наше собственное маленькое путешествие было проделано с помощью кухонного ножа «сабатье». Мы врубились в левое предсердие и левый желудочек, подивившись толщине мышц, из которых вышел бы добрый бифштекс. Погладили элегантную шелковистую подкладку, запустили пальцы в зияющие входы и выходы. Вены легко растягивались, артерии смахивали на крепеньких головоногих. В левом желудочке лежал темно-багровый шматок засохшей крови. Мы часто теряли ориентацию в этом хитросплетении тканей. Вопреки моим наивным ожиданиям, сердце не желало с легкостью распадаться пополам; две его половинки тесно приникали друг к

другу, словно тонущие влюбленные. Мы дважды забирались в один и тот же желудочек, думая, что попали в новый. Нас восхитило мудрое устройство клапанов и *chordae tendineae*, которые не дают клапанам раскрываться до предела: маленькая, прочная подвесная система, которая не позволяет куполу парашюта разворачиваться больше, чем надо.

По окончании наших трудов сердце пролежало на заляпанной газете весь остаток дня; теперь это была лишь заготовка для малообещающего обеда. В поисках руководства я перелистал поваренные книги. Там нашелся один рецепт фаршированного сердца с гарниром из риса и ломтиков лимона, но это блюдо показалось мне не слишком аппетитным. Оно явно не заслуживало названия, которое дали ему его изобретатели, датчане. Они нарекли его так: Пламенная Любовь.

Помните парадокс, связанный со временем, загадку первых недель и месяцев Пламенной Любви (поначалу нам всегда хочется написать эти слова с большой буквы, как название блюда)? Вы любите, и восторженность борется в вашей душе с дурными предчувствиями. Какой-то частью своего существа вы хотите затормозить время: ибо сейчас, говорите себе вы, наступила лучшая

пора моей жизни. Я люблю — и хочу смаковать свою любовь, изучать ее, упиваться ее сладким томлением; пусть сегодняшний день длится вечно. Таково мнение живущего в вас поэта. Однако рядом с ним приютился еще и прозаик, которому хочется не тормозить время, а подгонять его. Почем ты знаешь, что это любовь, нашептывает он вам на ухо, словно скептически настроенный адвокат, ведь прошло всего несколько недель, несколько месяцев. Ты не узнаешь, серьезно ли это, пока позади не останется ну хотя бы год; вот единственный способ проверить, не повторяешь ли ты ошибку стрекозы. Проживи этот отрезок времени поскорей, как бы он тебя ни радовал; и если твои (и ее) чувства не изменятся, ты убедишься в том, что вы действительно любите друг друга.

В кювете с проявителем возникает фотография. Прежде это был всего-навсего чистый лист фотобумаги в светонепроницаемом пакетике; теперь он приобрел значение, смысл, определенность. Мы быстро переносим его в кювету с фиксажем, чтобы уберечь этот ясный, легко уязвимый миг от распада, сделать изображение надежным и стойким, сохранить его совершенство — пусть лишь в течение нескольких лет. Но что, если

фиксаж не сработает? Процесс, идущий в вашей душе, эта эволюция любви, может воспротивиться закреплению. Видели, как фотография иногда неумолимо проявляется, пока не почернеет совсем, пока не сотрется всякое воспоминание о ее звездном миге?

Нормально ли само состояние влюбленности? С точки зрения статистики, конечно, ненормально. Лица жениха и невесты на свадебных фотографиях не так интересны, как лица стоящих рядом гостей: младшей сестры невесты (неужели и меня это ждет? невероятно), старшего брата жениха (пусть ему повезет больше, и она не окажется стервой вроде моей), матери невесты (до чего это напоминает мне молодость), отца жениха (если бы только парень знал то, что я знаю теперь, — эх, кабы *мне* тогда это знать), священника (удивительно, какими красноречивыми делают эти древние клятвы даже самых застенчивых), хмурого юнца (на хрена им жениться-то?) и так далее. Состояние тех двоих, что находятся в центре, совершенно ненормально; но попробуйте-ка сказать им об этом. Они чувствуют себя нормальнее, чем когда бы то ни было. Сейчас с нами все нормально, говорят они друг другу; а вот раньше, когда нам казалось, что все нормально, мы же-

стоко ошибались.

И эта убежденность в своей правоте, эта вера в то, что их сущность была проявлена и закреплена любовью, а теперь, вставленная в рамочку, сохранится навеки, сообщает им трогательное высокомерие. Что, конечно же, ненормально: когда еще высокомерие бывает трогательным? А здесь оно трогает. Посмотрите на фотографию снова: каким серьезным самодовольством дышит эта сцена в счастливом окаймлении зубчиков! Разве это может не тронуть? Шумные излияния влюбленных (до них ведь никто не любил — во всяком случае, не так, правда?) могут надоесть, но этих людей нельзя высмеять. Даже когда имеется что-нибудь, вызывающее у конформиста по части эмоций невольную ухмылку: ошеломительная разница в облике, возрасте, образовании, несходство социальных претензий, — все равно это сейчас не имеет значения; пузырящийся плевок смеха просто испаряется. Юноша рядом с женщиной постарше, неряха об руку с франтом, танцовщица в союзе с анахоретом — все они чувствуют себя абсолютно нормально. И это не может не трогать нас. Они-то могут смотреть на нас свысока, потому что мы не захлестнуты торжествующей любовью; но нам лучше не спешить

проявлять снисходительность.

Не поймите меня превратно. Я не отстаиваю преимуществ одной формы любви перед другой. Я не знаю, что лучше — осторожная любовь или безрассудная, что надежнее — любовь с полной мошной или без гроша, что сексуальней — разнополая любовь или однополая, что сильнее — любовь в браке или вне оного. Впасть в менторский тон легко, но это не книга полезных советов. Я не могу сказать вам, любите вы или не любите. Раз спрашиваете, то, наверно, нет, вот и все, что я способен ответить (и даже это может оказаться неправдой). Я не скажу вам, кого любить или как; будь в школах соответствующие курсы, там учили бы не столько тому, что и как надо делать, сколько тому, чего и как делать не надо (это похоже на уроки писательского мастерства: вы не можете объяснить ученикам, как и что писать, только указываете им на ошибки, благодаря чему они экономят время). Но я могу сказать вам, зачем любить. Взгляните: ведь история мира, которая притормаживает у домика любви, строения с дробным номером, лишь для того, чтобы своим бульдозерным ножом превратить его в груду щебня, без нее просто нелепа. Без любви самомнение истории становится невыносимым.

Наша случайная мутация так важна, потому что необязательна. Любовь не изменит хода мировой истории (вся эта болтовня о носе Клеопатры годится только для самых сентиментальных); но она может сделать нечто гораздо более важное: научить нас не пасовать перед историей, игнорировать ее наглое самодовольство. Я не принимаю твоих законов, говорит любовь; извини, но они не внушают мне почтения, да и дурацкий же мундир ты на себя нацепила. Разумеется, мы любим не ради того, чтобы помочь миру избавиться от эгоизма; но это одно из непременных следствий любви.

Любовь и правда, это жизненно важная связка — любовь и правда. Разве вы когда-нибудь говорили правду чаще, чем в пору первой любви? Разве видели мир яснее? Любовь заставляет нас видеть правду, обязывает говорить правду. Ложь не для ложа: вслушайтесь в звучащее здесь предостережение. *Ложь не для ложа* — эта фраза словно взята из букваря. Но не сочтите ее просто каламбуром: это моральное предписание. Не надо закатывать глаза, испускать показные стоны, изображать оргазм. Пусть ваше тело говорит правду, даже если — особенно если — этой правде не хватает мелодраматизма. В постели

легче всего лгать, не рискуя быть пойманным, вы можете вопить и хрипеть в темноте, а потом хвастать, как ловко вы ее «разыграли». Секс — не спектакль (в какое бы восхищение ни приводил нас собственный сценарий); секс напрямую связан с правдой. То, как вы обнимаетесь во тьме, определяет ваше видение истории мира. Вот и все — очень просто.

Мы боимся истории; мы позволили датам запугать себя.

> *В год тысяча четыреста девяносто второй*
>
> *Колумб переплыл океан голубой.*

И что же? У людей прибавилось после этого ума? Они перестали строить новые гетто и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые ошибки, или новые ошибки, или старые ошибки на новый лад? (И действительно ли история повторяется, первый раз как трагедия, второй — как фарс? Нет, это слишком величественно, слишком надуманно. Она просто рыгает, и мы снова чувствуем дух сэндвича с сырым луком, который она проглотила несколько веков назад.)

Даты не говорят правды. Они только и знают,

что орать на нас: налево, направо, налево, направо, а ну пошевеливайся, ты, жалкий позер. Они хотят заставить нас верить в прогресс, в неуклонное движенье вперед. Но что случилось после 1492 года?

В год тысяча четыреста девяносто третий

Он вновь объявился в Старом Свете.

Вот какие даты мне нравятся. Давайте праздновать не 1492-й, а 1493-й; не открытие, а возвращение. Что было в 1493-м? Ну конечно, неизбежные чествования, королевские милости, лестные изменения в геральдике рода Колумбов. Но было и другое. Перед отплытием тому, кто первый увидит Новый Свет, была обещана премия в 10 000 мараведи. Эту щедрую награду заслужил простой матрос, однако по возвращении Колумб приписал честь открытия себе (голубь снова выпихнул ворона из истории). Обиженный матрос уехал в Марокко, где, по слухам, сменил веру. Это был любопытный год, 1493-й.

История — это ведь не то, что случилось. История — это всего лишь то, что рассказывают нам историки. Были-де тенденции, планы, развитие, экспансия, торжество демократии; перед нами

гобелен, поток событий, сложное повествование, связное, объяснимое. Один изящный сюжет влечет за собой другой. Сначала это были деяния королей и архиепископов с легкой закулисной коррекцией божественных сил, потом это был парад идей и движение масс, потом мелкие события местного значения, за которыми якобы стоит нечто большее; но это всегда связи, прогресс, смысл, одно вытекает из другого, третье ведет к четвертому. А мы, читающие историю, страдающие под ее игом, мы окидываем взглядом весь этот узор, надеясь сделать благоприятные выводы на будущее. Мы упорно продолжаем смотреть, на историю как на ряд салонных портретов и разговоров, чьи участники легко оживают в нашем воображении, хотя она больше напоминает хаотический коллаж, краски на который наносятся скорее малярным валиком, нежели беличьей кистью.

История мира? Всего только эхо голосов во тьме; образы, которые светят несколько веков, а потом исчезают; легенды, старые легенды, которые иногда как будто перекликаются; причудливые отзвуки, нелепые связи. Мы лежим здесь, на больничной койке настоящего (какие славные, чистые у нас нынче простыни), а рядом

булькает капельница, питающая нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы такие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали и долго ли еще придется здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопределенности, — разве мы не добровольные пациенты? — мы сочиняем. Мы придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или которые не хотим принять; берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Фабуляция умеряет нашу панику и нашу боль; мы называем это историей.

История хороша одним: она умеет находить спрятанное. Мы многое пытаемся скрыть, но историю не обманешь. Время на ее стороне, время и наука. Как бы отчаянно ни вымарывали мы свои первые мысли, история все равно прочтет их. Мы тайно хороним наши жертвы (удавленных принцев, зараженных радиацией оленей), но история выносит наши поступки на свет божий. Казалось бы, мы навеки утопили «Титаник» в чернильных фантомах, но дело выплыло наружу. Не так давно у берегов Мавритании были обнаружены останки «Медузы». Никто не надеялся отыскать там что-нибудь ценное; несколько медных гвоздей из корпуса фрегата да пара пушек — вот и все, что

удалось поднять со дна морского через сто семьдесят пять лет после крушения. Но работы были проведены, и то, что можно было найти, нашли.

На что еще способна любовь? Коли уж мы рекламируем ее, нам стоит заметить, что это отправная точка для гражданских добродетелей. Любя, мы обретаем недюжинную способность к сочувствию, обязательно начинаем видеть мир иначе. Без этого дара вы не сможете стать ни хорошим любовником, ни хорошим художником, ни хорошим политиком (прикинуться-то, конечно, сможете, но речь не об этом). Покажите мне тирана, который прославился бы в роли влюбленного. Я говорю не о сексе; все мы знаем, что власть разжигает похоть (одновременно способствуя развитию нарциссизма). Даже наш герой-демократ Кеннеди обслуживал женщин, как конвейерный рабочий с распылителем на покраске автомобильных кузовов.

В течение последних тысячелетий, по ходу отмирания пуританизма, не раз вспыхивали споры о связи сексуальной ортодоксии с обладанием властью. Если президент не может держать штаны на застежке, теряет ли он право руководить нами? Если слуга народа обманывает жену, значит ли это, что он надует и избирателей? По

мне, лучше уж пусть у кормила стоит донжуан и гуляка, чем строгий приверженец целибата или болезненно верный супруг. Продажные политики обычно специализируются на коррупции, так же как преступники на отдельных видах преступлений; юбочника тянет трахаться, а взяточника — брать взятки. А посему разумнее не изолировать донжуанов от общественной деятельности, а наоборот, выбирать их. Я не говорю, что надо прощать им измены; нет, лучше ругать их почаще. Но их ненасытность поможет нам добиться того, чтобы они грешили лишь в сексуальной сфере, компенсируя свой блуд собранностью в государственных делах. Впрочем, это только моя теория.

В Великобритании, где политикой в основном занимаются мужчины, члены партии консерваторов имеют обыкновение интервьюировать жен своих потенциальных кандидатов. Процедура эта, конечно, унизительная: местные товарищи претендента по партии проверяют его жену на нормальность. (Здорова ли она психически? Уравновешенна ли? Каковы ее симпатии? Трезвый ли у нее взгляд на вещи? Хороши ли манеры? Как она будет выглядеть на фотографиях? Можно ли поручать ей сбор голосов?) Они задают

этим женам, которые послушно соревнуются друг с другом в обнадеживающей серости, уйму вопросов, и жены торжественно заверяют их, что они тверды в своих взглядах на проблему ядерного вооружения и не сомневаются в святости института семьи. Но им не задают самого главного вопроса: любит ли вас ваш муж? Не надо считать этот вопрос чисто практическим (надежен ли ваш брак?) или сентиментальным; это тест, помогающий выяснить, способен ли муж экзаменуемой быть представителем других людей. Это проверка кандидата на способность к сочувствию.

Когда речь идет о любви, мы должны быть точными. Ах, вон оно что — вы, пожалуй, ждете описаний? Какие у нее ноги, грудь, губы, какого цвета волосы? (Это уж извините.) Нет, быть точными в любви значит быть верными сердцу, его биению, его убежденности, его правде, его силе — и его несовершенствам. После смерти сердце превращается в пирамиду (которая всегда была одним из чудес света); но даже при жизни сердце никогда не бывает сердцевидным.

Обратите внимание на разницу между сердцем и мозгом. Мозг аккуратен, поделен на доли, состоит из двух половинок — таким правиль-

ным мы представляли себе сердце. С мозгом можно поладить, думаете вы; это восприимчивый орган, размышление — его стихия. Мозг выглядит толково. Конечно, он сложен: стоит только поглядеть на все эти морщины и борозды, желобки и канальцы; он похож на коралл, и вы невольно задаетесь вопросом, а не живет ли он самостоятельной жизнью, полегоньку разрастаясь без вашего ведома. У мозга есть свои тайны, хотя криптоаналитики, строители лабиринтов и хирурги наверняка смогут раскрыть их, если возьмутся за дело сообща. Как я уже сказал, с мозгом можно поладить; он выглядит толково. А вот в сердце, в человеческом сердце — в нем, боюсь, сам черт не разберется.

Любовь антимеханистична, антиматериалистична; вот почему плохая любовь все равно хороша. Она может сделать нас несчастными, но она кричит, что нельзя ставить материю и механику во главу угла. Религия выродилась либо в будничное нытье, либо в законченное сумасшествие, либо в некое подобие бизнеса, где духовность путается с благотворительными пожертвованиями. Искусство, обретая уверенность благодаря упадку религии, на свой лад возвещает о трансцендентности мира (и оно живет, живет!

искусство побивает смерть!), но его открытия доступны не всем, а если и доступны, то не всегда воодушевляющи или приятны. Поэтому религия и искусство должны отступить перед любовью. Именно ей обязаны мы своей человечностью и своим мистицизмом. Благодаря ей мы — это нечто большее, чем просто мы.

Материализм, конечно, нападает на любовь; на что он только не нападает. Вся любовь сводится к феромонам, говорит он. Этот стук сердца в груди, эта ясность видения, эта внутренняя сила, эта моральная определенность, этот восторг, эта гражданская добродетель, это тихое *я тебя люблю* имеют единственную причину — незаметный запах, исходящий от одного партнера и подсознательно воспринимаемый другим. Мы вроде того жука, который в ответ на постукиванье карандашиком тычется головой в стенку спичечного коробка; только что покрупнее. Верим ли мы этому? Ладно, давайте на минутку поверим: тем ярче будет триумф любви. Из чего сделана скрипка? Из деревяшек да из овечьих кишок. Но разве музыка становится от этого пошлее или банальней? Наоборот, благодаря этому она восхищает нас еще больше.

И я не утверждаю, будто любовь сделает вас

счастливым — уж что-что, а это вряд ли. Скорее она сделает вас несчастным либо сразу же, если вы напоретесь на несовместимость, либо потом, годы спустя, когда древесные черви проделают свою тихую разрушительную работу и епископский трон падет. Но можно понимать это и все же стоять на том, что любовь — наша единственная надежда.

Это наша единственная надежда, даже если она подводит нас, несмотря на то, что она подводит нас, потому что она подводит нас. Я говорю слишком неопределенно? Но я ищу всего лишь верного сравнения. Любовь и правда — вот важнейшая связка. Все мы знаем, что объективная истина недостижима, что всякое событие порождает множество субъективных истин, а мы затем оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло «в действительности»; так сказать, с точки зрения Бога. Сочиненная нами версия фальшива — это изящная, невозможная фальшивка вроде тех скомпонованных из отдельных оценок средневековых картин, которые разом изображают все страсти Христовы, заставляя их совпадать по времени. Но даже понимая это, мы все-таки должны верить, что объективная истина до-

стижима; или верить, что она достижима на 99 процентов; или, на худой конец, верить в то, что истина, объективная на 43 процента, лучше истины, объективной на 41 процент. Мы должны в это верить — иначе мы пропадем, нас поглотит обманчивая относительность, мы не сможем предпочесть слова одного лжеца словам другого, спасуем перед загадкой всего сущего, вынуждены будем признать, что победитель имеет право не только грабить, но и изрекать истину. (Между прочим, чья правда лучше — победителя или побежденного? Пожалуй, гордость и сострадание искажают действительность ничуть не слабее, чем стыд и страх.)

Так же и с любовью. Мы должны верить в нее, иначе мы пропали. Мы можем не найти ее, а если найдем, она может сделать нас несчастными; но все-таки мы должны в нее верить. Без этой веры мы превратимся в рабов истории мира и чьей-нибудь чужой правды.

В любви все может пойти вкривь и вкось; так оно обычно и бывает. Сердце, этот загадочный орган, похожий на кусок бычьего мяса, не выносит прямых и открытых путей. В нашу современную модель вселенной входит понятие энтропии, что на бытовом уровне переводится так: чем дальше,

тем больше путаницы. Но даже когда любовь подводит нас, мы должны по-прежнему в нее верить. Действительно ли в каждой молекуле уже заложено, что все безнадежно запутается, что любовь непременно подведет? Может быть. Но мы все-таки должны верить в любовь, как верим в свободную волю и объективную истину. А если любовь не удастся, винить в этом надо историю мира. Оставь она нас в покое, мы могли бы быть счастливы, наше счастье не покинуло бы нас. Любовь ушла, и в этом виновата мировая история.

Но пока этого еще не случилось. А может, и не случится. Ночью мы способны бросить вызов миру. Да-да, это в наших силах, история будет повержена. Возбужденный, я взбрыкиваю ногой. Она шевелится и испускает подземный, подводный вздох. Не будить ее. Сейчас это кажется огромной правдой, а утром решишь, что не стоило тревожить ее из-за этого. Она вздыхает тише, спокойнее. Я ощущаю во тьме рядом с собой контуры ее тела. Поворачиваюсь на бок, ложусь параллельным зигзагом и жду сна.

9. Проект «Арарат»

Чудесный нынче денек, и вы катите по основной гряде у берегов Северной Каролины — этому подобию коралловых островков у изножья Флориды, только в более строгом стиле. По дороге из Пойнт-Харбора в Андерсон вы пересекаете Карритакский залив, потом поворачиваете на юг по 158-й магистрали и вскоре добираетесь до Китти-Хока. За дюнами вас ждет Национальный мемориал братьев Райт; но, возможно, вы отложите его посещение до другого раза, и в любом случае не этим запомнится вам Китти-Хок. Нет, вы запомните вот что: на правой, западной обочине шоссе, обратив к океану высоко подъятый нос, стоит ковчег. Он велик, как амбар, с планчатыми деревянными боками и выкрашен в коричневый цвет. Проезжая мимо и окидывая его любопытным взором, вы вдруг замечаете, что это церковь. Там, где обычно ставят имя корабля да еще иногда порт приписки, выведены слова, указывающие на назначение ковчега: ХРАМ БОЖИЙ. Вас предупреждали, что в Каролинах хватает религиозных изысков, и поэтому вы принимаете его за образчик какого-нибудь фун-

даменталистского рококо, в своем роде довольно симпатичный, но не останавливаться же.

Позже, вечером, вы садитесь на семичасовой паром, который идет от Хаттераса до острова Окракок. Ранней весной в этот час уже прохладно, и вам немного зябко и одиноко в темноте: внизу чернеет вода, наверху, в пылающем небе, взятом напрокат из «Юниверсал пикчерс»[40], висит перевернутый Ковш. Парому тоже не по себе, его огромный прожектор освещает воду на двадцать ярдов вперед; шумно, но как-то неуверенно пробирается он меж огоньками-ориентирами, белыми, красными и зелеными. Только теперь, выйдя на палубу и задышав ровней, вы вспоминаете о том ковчеге. Конечно, он оказался там неспроста, и если бы вы дали себе труд остановиться и поразмыслить, а не просвистели бы мимо, лишь на мгновенье бездумно приподняв ступню с педали газа, смысл его появления мог бы открыться вам. Вы миновали место, откуда Человек впервые пустился в небо; и вам напомнили о событии более давнем и значительном: о том, как Человек впервые пустился в море.

Однако в 1943 году, когда отец Спайка Тиглера,

---

[40] Сноски: 40
Голливудская киностудия.

едва выросшего из коротких штанишек, взял его с собой в Китти-Хок, этого ковчега еще не было. Помните Спайка Тиглера? Ну ясное дело, кто же не помнит Спайка Тиглера. Это тот, что швырнул на Луне футбольный мяч. Тот самый малый, который зашвырнул на Луне мяч хрен знает куда? Правильно. Наидлиннейший пас за всю историю НФЛ, четыреста пятьдесят ярдов, прямо в нетерпеливые руки вулканического кратера. Гол! Вот что он крикнул, и возглас этот с треском покатился к нам — сюда, вниз, на Землю. Форвард Тиглер: под таким именем знал его тянувший шею мир, и оно было у всех на устах целое лето, а то и два. Форвард Тиглер, парень, который протащил футбольный мяч в капсулу (это ж надо было умудриться!). Помните, как его спросили, зачем он отколол такую штуку, а он и глазом не моргнул? «Всегда хотел попасть в команду „Краснокожих“, — сказал он. — Надеялся, что ребята увидят». Ребята видели; видели они и его пресс-конференцию и попросили Тиглера продать им свой мяч, назначив за него цену, которая даже сейчас кажется вполне приличной. Но Спайк оставил его в пепле того далекого кратера — на случай, если туда вдруг забредет какой-нибудь любитель футбола с Марса или Венеры.

«Форвард Тиглер» — так было написано на полотнище, протянутом над главной улицей Уэйдсвилла, Северная Каролина, — маленького городка об одном банке, где хозяину автозаправочной станции приходилось торговать еще и спиртным, чтоб хоть как-то свести концы с концами. УЭЙДСВИЛЛ СЧАСТЛИВ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СВОЕГО ЛУЧШЕГО СЫНА, ФОРВАРДА ТИГЛЕРА. Этим жарким утром 1971 года все вылезли поглазеть на Тиглера, ехавшего по городу, точно кинозвезда, в лимузине с откинутым верхом. Даже Мэри-Бет, которая двадцать лет назад позволила Спайку перейти известные границы и провела пару беспокойных недель, а пока Спайка не внесли в список участников проекта «Аполлон», едва ли хоть единожды нашла для него доброе слово, по такому случаю тоже очутилась здесь и напомнила стоящим рядом — отнюдь не в первый раз освежая это у них в памяти, — что когда-то давно они со Спайком были, ну, в общем, по-настоящему близки. Уже в те годы, заявила она, ей было ясно, что он далеко пойдет. А как далеко он зашел с тобой, Мэри-Бет, спросила одна из самых острых на язычок молоденьких женушек, и Мэри-Бет блаженно улыбнулась, словно Святая Дева с цветной картинки, зная, что при

любом варианте ответа она только выиграет.

А Форвард Тиглер тем временем достиг конца Главной улицы, повернул обратно у заведения парикмахера по прозвищу Стригущий Лишай, который позаботится и о вашем пуделе, если вы зайдете с ним с заднего крыльца, и под несмолкаемые звуки песенки «Я деревенский паренек, / И я всегда мечтал вернуться / Под кров родной…» был приветствуем трижды по одну сторону праздничного полотнища и трижды по другую. Автомобиль двигался медленно, так как после первого триумфального прогона Спайк Тиглер уселся на кузов, чтобы все могли его видеть, и каждый раз, когда лимузин проползал мимо бензоколонки и/или винного магазина, его владелец Бак Вейнхарт кричал: «Жми, а то выдою!» — в память о привычке Спайка задирать флегматичных шоферов, когда они вдвоем гоняли по городку в ту далекую пору. Шесть раз Бак проорал: «Эй, Спайк, жми, а то выдою!» — и Спайк, темноволосый крепыш, неизменно отвечал старому приятелю помахиваньем руки и дружеским кивком. Затем, на званом обеде в уэйдсвиллском ресторане, который прежде казался Спайку великолепным, а теперь напоминал ему вестибюль крематория, вернувшийся герой, поначалу неузнаваемый из-

за своего астронавтского «ежика» и гражданского костюма — ни дать ни взять актер, пробующийся на роль Эйзенхауэра, — произнес речь о том, что родной дом всегда помнишь, как бы далеко ты ни забрался, и присутствующие нашли эти слова прекрасными и благородными, а один из ораторов, отвечавших ему экспромтом, предложил даже похерить Уэйдсвилл и в честь их знаменитого земляка переименовать город в Мунсвилл — идея, которая была принята на ура, но через несколько недель отмерла сама собой, отчасти благодаря противодействию старухи Джесси Уэйд, единственной оставшейся в живых внучки Рубена Уэйда, путешественника, на заре века решившего посеять в этом краю тыквы. Затея с тыквами себя не оправдала, но оскорблять память местной знаменитости все равно не стоило.

Спайк Тиглер не всегда был так популярен в Уэйдсвилле, как в этот день 1971 года, и не одна мать Мэри-Бет считала его ненормальным и жалела, что война кончилась слишком рано — а то отправили бы его на Восток, и пусть лучше дрался бы там с япошками, чем тут с половиной города. Спайку было пятнадцать, когда на Хиросиму сбросили бомбу — событие, огорчившее мать Мэри-Бет по чисто личным мотивам; но и

он в свой черед отправился на войну и летал на «F-86» над рекой Ялу. Двадцать восемь вылетов, два сбитых «МиГ-15». Вполне достаточно для чествования в Уэйдсвилле, хотя Тиглера долго еще не видали в родном городе. Как толковал он в 1975-м, впервые объявляя о своем проекте в ресторане «Лунная пыль» (это переименование одобрила даже Джесси Уэйд), вся жизнь человека состоит из чередующихся уходов и возвращений. Туда и обратно, туда и обратно, как прилив в Албемарском заливе, что добирается по реке Паскуотанк до самого Элизабет-Сити. Всех нас подхватывает приливом и увлекает назад отливом. Кое-кто из слушавших вообще вряд ли когда покидал Уэйдсвилл, так что не имел насчет этого своего мнения, а Джефф Клейтон после заметил, что в прошлом году, когда он ездил через Фейетвилл и Форт-Брагг посмотреть на знаменитый Музей гольфа в Пайнхерсте и поспел домой как раз вовремя, чтобы выбрать свою норму пива в «Альме», это было не очень-то похоже на приливы и отливы в реке Паскуотанк; но что он там понимал, этот Джефф Клейтон, и все решили, что слова Спайка можно принять на веру, ведь он не только уходил от них в мир, но — как верно заметила старуха Джесси Уэйд — уходил и из

мира тоже.

Первый щелчок, сигнализирующий о подключении к его жизни приливно-отливного механизма, Спайк Тиглер относил ко дню поездки с отцом в Китти-Хок, когда ковчега, исполняющего функции церкви, еще и в помине не было. В ту пору там было только плоское шоссе да плоское небо вверху, а если глянешь за пустую дорогу, на которой разве что где-нибудь вдалеке маячит одинокий грузовик, увидишь плоские дюны и позади них — море в легких барашках. Ровесники Спайка находили отраду в крашеных ресницах и джазе шумного города, а он нашел ее в спокойной простоте земли, моря и неба в Китти-Хоке. По крайней мере, так он сказал на очередном благотворительном обеде, устроенном в поддержку его проекта, и ему поверили, хотя в то далекое время, о котором шла речь, ни Мэри-Бет, ни Бак Вейнхарт ничего подобного от него не слыхали.

В родном городе Спайка Тиглера было много демократов и еще больше баптистов. Энтузиазм, с которым Спайк говорил о братьях Райт в воскресенье после поездки в Китти-Хок, показался кое-кому из жителей, только что посетивших церковь Святой Воды, не слишком уместным, и старая Джесси Уэйд заметила тринадцатилетне-

му мальчишке, что если бы Бог хотел сделать из нас летунов, он дал бы нам крылья. «А против того, чтобы мы ездили, он не возражает?» — последовал ответ, слишком быстрый, чтобы быть вежливым; при этом юнец нахально указал на заново отлакированный «паккард», на котором пожурившая его леди проехала двести ярдов до церкви, после чего Тиглер-старший заметил ему, что, кабы не воскресенье, Бог вряд ли возразил бы против хорошей затрещины, которая научила бы Спайка себя вести. Только этот разговор, не имеющий ничего общего с землей, морем и водой, и всплывал в памяти жителей Уэйдсвилла, пытавшихся припомнить, что они слыхали от Спайка Тиглера году этак в 1943-м.

Минуло два года, бомба упала на Хиросиму рановато для матери Мэри-Бет, а Спайк обнаружил, что хоть Бог и не наделил его колесами, их можно иногда занять у отца. Теплыми вечерами они с Баком Вейнхартом играли в свою игру: выезжали на проселочную дорогу и пристраивались за каким-нибудь медленно ползущим автомобилем, так что их радиатор едва не упирался тому в кузов. Потом плавно отставали, поддавали газу и проносились мимо с дружным воплем: «Жми, шеф, а то выдою!» В той же машине и примерно

тогда же Спайк с налитыми надеждой глазами сказал Мэри-Бет: «Но если Бог не хотел, чтобы мы этим пользовались, зачем он нам это дал?» — слова, застопорившие дело на порядочный срок, поскольку Мэри-Бет была заметно более богобоязненна, нежели юный Спайк, да и избранный им способ ухаживания явно не принадлежал к числу самых эффективных. Однако пару недель спустя Спайк уже бормотал на заднем сиденье: «Я правда не знаю, как бы я жил без тебя, Мэри-Бет», и это оказалось аккурат то что надо.

Вскорости Спайк исчез из Уэйдсвилла, и в городе практически ничего о нем не знали, пока не прослышали, что он в Корее: летает на реактивном «F-86 Сейбр» и не пускает коммунистов на ихних «МиГах» за реку Ялу. Этому повороту в судьбе Спайка предшествовал ряд событий и переживаний, не всегда логически связанных, и если представить его жизнь в виде комикса, что он иногда мысленно пытался сделать, первая картинка изображала бы, как Спайк стоит на дюнах в Китти-Хоке и смотрит в море; вторая — как он сжимает грудь покорной Мэри-Бет и думает: «Не может быть, чтобы Бог меня за это угрохал»: третья — как они с Баком Вейнхартом катаются на машине и ждут, когда загорятся

первые звезды. Тут нашли бы свое отражение и его любовь к автомобилям, и патриотизм, и отчетливое сознанье того, как красит его синяя форма; но, странное дело, живее всего помнились ему сценки из самого далекого прошлого. Вот что он имел в виду, когда, объявляя в 1975-м о своем проекте, говорил насчет возвращения жизни каждого человека к своему началу. Разумеется, Спайк поступил мудро, решив не подкреплять эту общую сентенцию конкретными воспоминаниями, иначе он как минимум не дождался бы взноса от Мэри-Бет.

Покидая Уэйдсвилл, юный Тиглер оставил там не только отцовскую машину и возмущенную Мэри-Бет, но и свою веру. Хотя во время службы на флоте Спайк дисциплинированно писал во всех анкетах «баптист», он не думал ни о Божьих заповедях, ни о спасении, ни о благодати; не думал даже в те черные дни, когда один из его знакомых авиаторов — да что уж там, хороший приятель! — сыграл в ящик. Но и смерть друга не вызвала у Спайка охоты налаживать радиосвязь с Господом Богом. Он был летчиком, человеком науки, инженером. Можно признавать Бога на бумаге, так же как слушаться старших по званию, пока торчишь на базе; но момент, когда чувствуешь

себя самим собой, настоящим Спайком Тиглером, мальчишкой, сменившим чужой автомобиль в тихой провинции на ревущий истребитель в пустом небе, наступает потом — когда взмоешь вверх и выровняешь свои серебряные крылья в прозрачном воздухе к югу от реки Ялу. Тут уж ты главный и вместе с тем совсем один. Это и есть жизнь, и подвести тебя не может никто, разве что ты сам. На носу своего «Ф-86» Спайк написал: «Жми, а то выдою!» — совет неосторожным «МиГам», которые осмелятся подпустить лейтенанта Тиглера вплотную к своему хвосту.

После войны в Корее он отправился в Военно-морскую школу летчиков-испытателей на Патаксент-ривер, Мэриленд. Когда русские вывели на орбиту первый спутник и стартовал проект «Меркурий», Спайк вызвался добровольцем, хотя какой-то голос внутри его — и голоса очень немногих его коллег снаружи — упорно твердил, что для первых полетов можно было бы взять и шимпанзе, да что там — *надо* было взять шимпанзе. Тебя сажали в ракету, и только, — ты представлял собой что-то вроде груза с торчащими наружу проводами, подопытный шмат мяса. Отчасти он не был расстроен тем, что не попал в первую семерку избранных, хотя от

другой части — был; в следующий раз он снова предложил свою кандидатуру и прошел. Фотография на первой странице «Фейетвилл обсервер» побудила Мэри-Бет простить Спайка и черкнуть ему письмецо; но поскольку его новоиспеченная жена Бетти относилась к подобным штучкам с неприязнью, он сделал вид, что забыл эту девчонку из Уэйдсвилла, и оставил письмо без ответа.

Летом 1971 года, стоя на поверхности Луны, Спайк Тиглер бросил футбольный мяч на четыреста пятьдесят ярдов. Гол! Это произошло в те полчаса, когда не нужно было выполнять никаких заданий и двое парней на Луне могли заняться чем пожелают. Что ж, Спайк всегда желал выяснить, как далеко можно зашвырнуть футбольный мяч в разреженной атмосфере, и теперь его желание исполнилось. Гол! И когда Спайк сказал, что хочет доскакать до своего мяча и забрать его, ни Центр управления, ни его напарник Бад Стомовиц возражать не стали. Спайк припустил по мертвой равнине, как заяц на роликах. С его точки зрения, Луна была довольно-таки корявой и побитой, а взбаламученная им пыль, которая медленно оседала позади, смахивала на песок с грязного пляжа. Мяч лежал за маленьким кратером. Тиглер поддал его ногой,

и он скатился в сухую ложбину; затем Спайк обернулся посмотреть, куда он убежал. Лунный модуль был едва виден и казался махоньким и ненадежным — этакий игрушечный паучок с севшей батарейкой. Во время полета Спайк не предавался пустым размышлениям — рабочий график составили так, что заниматься самоанализом было некогда, — но сейчас ему пришло на ум, что их с Бадом (да еще Майка, который кружится над ними в командном модуле) отделяет от остального человечества самое большое из доступных на нынешний момент расстояний. Вчера они наблюдали восход Земли, и, несмотря на заготовленный ими к этому случаю запас шуточек, это зрелище потрясало, от него кружилась голова. Теперь он почувствовал, что стоит на самом краешке мира. Еще десять шагов, и он запросто может свалиться с кончика его крыла и полететь вверх тормашками в глубины космоса. Хотя он и понимал, что с научной точки зрения такая возможность исключена, это ощущение не проходило.

И тут чей-то голос сказал ему: «Найди Ноев ковчег».

«Не понял», — ответил он, решив, что это Бад.

«Я ничего не говорил», — теперь голос принад-

лежал Баду. Спайк узнал его; во всяком случае, он, как обычно, донесся из наушников. Другой же голос как будто бы обошелся без них, он прозвучал вокруг Спайка, внутри его, рядом с ним и был громким, но доверительным.

Тиглер одолел с десяток ярдов обратного пути, когда голос повторил свой приказ: «Найди Ноев ковчег». Спайк продолжал передвигаться плавным лунным скоком, размышляя, не дурачат ли его. Но магнитофон в шлем не подсунешь: некуда, он бы заметил, да и не разрешили бы. Этак ведь можно и крышу человеку перекосить, и хотя у одного из двоих прилетевших с ним астронавтов было довольно-таки ракообразное чувство юмора, обычно этого парня хватало только на то, чтобы вырезать в твоем куске дыни ямку, намазать ее горчицей и снова заткнуть. А такой серьезный розыгрыш был ему явно не по плечу.

«Ты отыщешь его на горе Арарат, в Турции, — вновь заговорил голос. — Найди его, Спайк».

Большинство физических реакций Спайка отслеживалось специальными электродами, и он подумал, что при воспроизведении этого участка записи приборы нарисуют крутые пики. Если так, нетрудно будет придумать в объяснение какую-нибудь байку. А пока он хотел просто

поразмыслить над тем, что услышал, понять, что бы это значило. Поэтому, добравшись до лунного модуля, он пошутил насчет раззявы, неудачно принявшего пас, и снова вошел в роль нормального астронавта, то бишь летчика-испытателя, который из шимпанзе превращается в национального героя, потом в звезду высшего пилотажа, а потом баллотируется в Конгресс или становится почетным членом правления дюжины корпораций. Он не был первым ступившим на Луну человеком, но вполне мог рассчитывать на долгую известность и неиссякаемый поток наград: таких, как он, не скоро наберется слишком много. В отличие от Спайка Тиглера, Бетти обладала недюжинной практической сметкой, и благодаря этому брак их оказался устойчивым. Он думал, что заполучил в жены высокую спортивную девушку с хорошей фигурой, которая любит читать «Радости кулинарии», а когда он запаздывает с возвращением на базу, держит про себя свои страхи; но потом обнаружил, что она гораздо лучше его знакома с репродуктивными свойствами доллара. «Ты летай, а думать буду я», — иногда говорила она, подшучивая над ним; во всяком случае, оба они старались делать вид, что это просто шутка. Так что Спайк Тиглер

вернулся к своим обязанностям и выполнению рабочего графика и не дал никому заподозрить, будто что-нибудь изменилось, хотя изменилось все.

За приводнением последовал дружеский привет из Белого дома, потом медосмотр, отчет о полете, первый телефонный разговор с Бетти, первая *ночь* с Бетти… и слава. В кипучих городах, которым он никогда не доверял, — самодовольном Вашингтоне, циничном Нью-Йорке, чокнутом Сан-Франциско — Спайк Тиглер был крупной фигурой; в Северной Каролине он был гигантом. Серпантин вываливали на него охапками; его правая рука устала принимать поздравления; его целовали, обнимали, трясли, хлопали по спине и тыкали в живот. Пацанята лезли к нему в карманы и бесстыдно выклянчивали горсточку лунной пыли. И самое главное, люди просто хотели побыть *рядом*, подышать с ним одним воздухом и подивиться на человека из космоса, который был еще и человеком из соседнего округа. Несколько месяцев осыпаемый ласками Спайк сновал от побережья к побережью, после чего законодатели Северной Каролины, гордые своим земляком и немного задетые тем, что он стал в некоторого роде достоянием нации, объявили о его награж-

дении специально отчеканенной медалью. Но где же и вручить ее, как не в Китти-Хоке, на плоской равнине под плоским небом?

В тот день, как водится, прозвучали торжественные речи, но Спайку удалось оценить их лишь наполовину; Бетти была в новом наряде со шляпкой и нуждалась в заверении, что выглядит и впрямь сногсшибательно; так оно и было, но Спайк ей об этом не сказал. Большую золотую медаль — с одной стороны Китти-Хок, с другой «Аполлон» — повесили Спайку на шею; рука его вытерпела еще несколько десятков пожатий; и все это время, вежливо улыбаясь и кивая, он думал о том, что случилось по пути сюда, о полученном им очередном указании.

Ехать на заднем сиденье губернаторского лимузина было не только лестно, но еще и удобно, и Бетти выглядела так хорошо, что он хотел шепнуть ей об этом, да постеснялся губернатора с женой. Шла обычная беседа о гравитации, и прыжках по Луне, и восходе Земли, и скажите на милость, а как же насчет уборной, и вдруг, на подъезде к Китти-Хоку, он увидел у обочины дороги Ковчег. Огромный Ковчег, стоящий на суше, с высокими носом и кормой, с планчатыми деревянными боками. Губернатор снисходитель-

но проследил, как голова Спайка повернулась на 180 градусов, потом ответил на не заданный вслух вопрос.

— Что-то вроде церкви, — сказал губернатор. — Не так давно построили. А может, и зверей уже загрузили. — Он рассмеялся, и бывшая начеку Бетти присоединилась к нему.

— Вы верите в Бога? — внезапно спросил Спайк.

— Иначе я не стал бы губернатором Северной Каролины, — последовал добродушный ответ.

— Нет, но вы верите в *Бога*? — повторил Тиглер с настойчивостью, которую легко можно было счесть нежелательной.

— Милый, — тихонько сказала Бетти.

— По-моему, мы уже от этого недалеки, — ответила жена губернатора, поправляя бант затянутой в белую перчатку рукой.

Вечером, в гостиничном номере, Бетти поначалу была настроена примирительно. Как ни нелепа его выходка, думала она, ее вполне можно объяснить переутомлением. Мне тоже вряд ли понравилось бы лезть на сцену и в сотый раз говорить всем и каждому, как это было и какую гордость я тогда чувствовала, даже если бы я действительно чувствовала гордость и действи-

тельно хотела рассказывать об этом без умолку. Так что она приголубила его и спросила, не устал ли он, и попыталась выжать из него хоть какое-нибудь объяснение тому, отчего он ни разу, черт возьми, *ни единого разу* за весь день не помянул о ее новом платье, неужто он не знал, что она сомневалась, так ли уж идет ей цвет желтой примулы. Но это не сработало, и Бетти, которая никогда не отправлялась спать, не выяснив всего до самого конца, спросила, не хочет ли он выпить и какая муха его укусила, да еще прямо перед церемонией, и если он не против откровенности, то она считает, что самый простой способ загубить его будущую карьеру, на которую так надеются они оба, — это начать спрашивать губернаторов, верят ли они в Бога. Надо же, додумался! Да кто он вообще такой?

— Моя жизнь изменилась, — произнес Спайк.

— Ты хочешь мне что-то сказать?

Бетти была в меру подозрительна и не могла не обращать внимания на то, что знаменитости получают вагоны писем от незнакомых женщин, всяких там Мэри-Бет и потенциальных Мэри-Бет, рассеянных по всему свету.

— Хочу, — ответил он. — Каждый возвращается туда, откуда начал. Я одолел двести сорок тысяч

миль, чтобы посмотреть на Луну, — а смотреть-то стоит только на Землю.

— Тебе все-таки *надо* выпить. — На полдороге к бару-холодильнику она помедлила, но он ничего не сказал, не двинулся, не шелохнулся. — Тьфу, черт, это *мне* надо выпить. — Налив себе виски с лимоном, она уселась рядом с мужем и стала ждать.

— Когда я был мальчишкой, отец взял меня в Китти-Хок. Мне было двенадцать, не то тринадцать. Это сделало меня летчиком. С тех пор я больше ничего не хотел, только летать.

— Знаю, милый. — Она взяла его за руку.

— Я пошел на флот. Был хорошим летчиком. Потом перевелся на Пакс-ривер. Вызвался работать в проекте «Меркурий». Сначала меня не приняли, но я не сдался и в конце концов попал туда. Меня подключили к проекту «Аполлон». Я прошел всю подготовку. Прилетел на Луну…

— Я знаю, милый.

— …и там… *там*, — продолжал он, сжав руку Бетти перед тем, как сказать ей в первый раз, — Бог велел мне найти Ноев ковчег.

— Ага.

— Я только что бросил мяч. Только что бросил мяч, и нашел его, и добил ногой в маленький

кратер, и думал, следит ли за мной камера, и не назначат ли они штрафной, если видели, и тут Бог заговорил со мной. *Найди Ноев ковчег*. — Он покосился на жену. — Вроде как ты взрослый человек, добрался до Луны, и что ты делаешь? Играешь в мячик. Пора бросать эти детские штучки, вот что сказал мне Бог.

— С чего ты взял, что это был Бог, милый?

Спайк пропустил ее вопрос мимо ушей.

— Я никому не рассказывал. Я знаю, что это была не галлюцинация. Знаю, что слышал то, что слышал, но молчу. Может, я не совсем уверен, может, я хочу забыть про это. И что же? В тот самый день, когда я возвращаюсь в Китти-Хок, где все и началось столько лет назад, в тот самый день, когда я возвращаюсь, я вижу этот чертов Ковчег. *Не забудь, что я сказал* — разве не так это надо понимать? Коротко и ясно. Вот что это значит. *Поезжай, бери свою медаль, но не забудь, что я сказал.*

Бетти глотнула виски.

— И что же ты собираешься делать, Спайк? — Обычно при обсуждениях его карьеры она говорила «мы», а не «ты»; на сей раз он был предоставлен самому себе.

— Пока не знаю. Пока не знаю.

Психиатр из НАСА, к которому обратилась Бетти, все кивал да кивал, словно давая ей понять: прежде чем он навострит ручку и запишет, что у парня шариков в голове не хватает, что у него потолок поехал, она должна сообщить ему нечто гораздо более сногсшибательное. Он кивал и говорил, что они с коллегами предвидели возникновение кое-каких *адаптационных трудностей*, ведь в конце концов, всякий, кто летал на Луну и глядел оттуда на Землю, похож на того, кто первым встал на голову и посмотрел на мир под совершенно новым углом, а это может повлиять на ваш *поведенческий рисунок*, да учтите еще напряжение в полете и всю эту шумиху потом, так что нет ничего удивительного, если имеет место легкое *искажение реальности*, но нет никаких причин полагать, что подобные эффекты могут быть сколько-нибудь серьезными или продолжительными.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— На какой вопрос? — Психиатр не помнил, чтобы она его о чем-нибудь спрашивала.

— Мой муж — я не знаю, какой термин вы употребили бы, доктор, — мой муж псих или нет?

Голова врача снова пришла в движение, на сей раз уже в горизонтальной плоскости, а не в

вертикальной, и были упомянуты случаи *перцептуальной дезориентации* и извлечены анкеты Спайка, в которых он аккуратно писал «баптист», и Бетти показалось, что психиатр удивился бы больше, если бы Спайк *не* услышал, как Бог говорит с ним на Луне, а когда она спросила его: «Так, по-вашему, это не галлюцинация?» — он ответил только: «А как вы думаете?» — что отнюдь не рассеяло сомнений Бетти; похоже было, что это *она* ненормальная, раз не верит собственному мужу. В результате Бетти ушла, чувствуя, что скорее предала Спайка, чем помогла ему; а еще одним результатом этой беседы было то, что три месяца спустя, когда Спайк попросился на выход из космической программы, он не встретил серьезного сопротивления, и все было сделано без лишнего шума, ибо из отчета психиатра с полной ясностью следовало, что у парня *шариков в голове не хватает*, что у него потолок поехал, что он форменный псих и, пожалуй, верит, будто Луна сделана из зеленого сыра. А потому его перевели на сидячую работу в отдел рекламы, после чего он опять вернулся на флот инструктором, но не прошло и года, как эти бестолковые метания закончились и Спайк Тиглер снова оказался на гражданке, а Бетти начала гадать, что бывает

с людьми, когда их счастливая звезда падает с небосклона и разлетается на мелкие осколки.

Когда Спайк заявил, что хочет открыть сбор пожертвований для своего проекта, выступив в уэйдсвиллском ресторане «Лунная пыль», Бетти всерьез задумалась о том, не пора ли ей отложить «Радости кулинарии» и похлопотать о разводе, — наверно, это было бы самым безболезненным решением. Спайк уже почти год как ничего не делал, только однажды пошел и купил себе Библию. По вечерам он куда-то пропадал, и она находила его на заднем крыльце: глаза мужа были обращены к небу, а на коленях у него лежало раскрытое Писание. Подруги донимали ее своим сочувствием: конечно, мол, человеку, вернувшемуся *оттуда*, тяжело снова привыкнуть к нашей будничной тягомотине. Бетти было ясно, что даже без дозаправки слава Спайка Тиглера забуксует не скоро, а еще ей было ясно, что она может рассчитывать на материальную поддержку, так как сдвиг по фазе на службе отечеству — это вам не пустяк, но все равно она чувствовала себя обманутой. Столько лет помогать Спайку делать карьеру, мотаться по стране, не иметь нормального дома, ждать, надеяться, что тебе воздастся сторицей… а потом, когда приходит

успех, когда большие круглые доллары начинают сыпаться на них дождем и остается только подставить шляпу, Спайк вдруг плюхается на заднее крылечко и возводит очи горе. Познакомьтесь с моим мужем, вон он сидит — Библия на коленях, рваные штаны и глаза как у шизика. Нет, никто на него не нападал, просто его счастливая звезда свалилась ему на голову.

Спрашивая Спайка, что ей надеть на его первое выступление в «Лунной пыли», Бетти вложила в свой голос толику сарказма; а когда он сказал, что ему всегда нравилось то платье цвета желтой примулы, в котором она была на вручении ему медали в Китти-Хоке, какой-то внутренний голос, явно не божественного происхождения, вновь прошептал ей слово «развод». Но странное дело: похоже, он не прикидывался и дважды, сначала до выхода из дому, а потом — когда они пересекали границу штата, сказал ей, как замечательно она выглядит. Бетти не могла не заметить в нем одной перемены. Теперь он всегда говорил то, что думал, и ничего больше. Казалось, он оставил свою бесшабашность, свою привычку шутить и озорничать в том самом кратере вместе с футбольным мячом (тоже ведь, если подумать, дурацкий был трюк; пожалуй, можно

было и раньше сообразить, что у него голова не в порядке). Спайк Тиглер стал серьезным; он стал скучным. Он по-прежнему говорил, что любит ее, и Бетти ему верила, но иногда задумывалась, а не маловато ли этого женщине. Он потерял свой шарм. Если это значило бросить детские штучки, то эти самые детские штучки, по мнению Бетти, явно заслуживали пары слов в свою защиту.

Апрельским вечером 1975 года, который Спайк Тиглер избрал для обнародования своих планов, ресторан «Лунная пыль» был полон. Здесь собрался чуть ли не весь город плюс парочка корреспондентов и фотограф. Бетти опасалась худшего. Ей мерещились газетные заголовки вроде: «„СО МНОЙ ГОВОРИЛ БОГ“, — ЗАЯВЛЯЕТ УВОЛЕННЫЙ АСТРОНАВТ» или «У ПАРНЯ ИЗ УЭЙДСВИЛЛА НЕ ХВАТАЕТ ШАРИКОВ». Она напряженно сидела рядом с мужем и слушала, как местный священник приветствует его от лица земляков. Публика захлопала; Спайк мягко взял жену за руку и не отпускал, даже встав на ноги и приготовившись говорить.

— Я рад, что вернулся сюда опять, — сказал Спайк и обвел взглядом зал, дружески кивая знакомым. — Знаете, совсем недавно я сидел у себя на заднем крылечке, смотрел на звезды и вспо-

минал те давние времена, когда я был простым уэйдсвиллским мальчишкой. Мне было пятнадцать, а может, шестнадцать, и тогда вы вряд ли назвали бы меня паинькой, и старая Джесси Уэйд, упокой, Господи, ее душу, думаю, многие из вас помнят Джесси, так вот, она сказала мне: «Слушай, пострел, если ты и дальше будешь так носиться на машине и орать, то в конце концов взлетишь», — и мне сдается, что старушка Джесси Уэйд хорошо знала жизнь, потому что через много лет именно это со мной и случилось, хотя ей и не суждено было увидеть, как исполнится ее предсказание, да будет ей земля пухом.

Этого Бетти ожидала меньше всего. Он пудрил им мозги. Он вешал им лапшу на уши. Он никогда не говорил об Уэйдсвилле с особенной теплотой; она даже никогда не слышала от него этой истории про старую Джесси Уэйд; но вот вам, пожалуйста, он стоит тут и вспоминает все это, охмуряет своих земляков. Он рассказал им кучу историй о своем детстве, а потом об астронавтском житье-бытье, ради чего они, собственно, сюда и пришли, а на заднем плане его рассказов все время маячила мысль, что без этих людей Спайк не улетел бы дальше Фейетвилла, что на Луну он попал именно благодаря

им, а не тем умникам, что сидят перед экранами в Центре управления полетом. Не менее удивительным для Бетти было и то, что Спайк выступал с прежним блеском, уснащая свои воспоминания шуточками, на которые, как ей казалось, он был уже не способен. Потом он снова завел речь о том, что жизнь каждого состоит из уходов и возвращений — туда и обратно, туда и обратно, как воды реки Паскуотанк (тогда-то Джефф Клейтон и подумал, что это не так, вспомнив свою поездку в Музей гольфа в Пайнхерсте); и пояснил, что ты всегда возвращаешься к тем вещам и тем местам, откуда начал. Вот он, например, уехал из Уэйдсвилла несколько лет назад, а сейчас снова здесь. Или еще пример: в детстве он регулярно посещал церковь Святой Воды, потом сбился с путей Господних, а сейчас снова вернулся на них — что было для Бетти новостью, хотя и не такой уж неожиданной.

Ну а теперь, продолжал он, перейдем к серьезной части нашего вечера, к тому, ради чего мы собрались (и Бетти затаила дыхание, думая, *форменный псих*, как-то они переварят заявление о том, что Бог велел ему перестать играть в мячик и заняться вместо этого поисками Ковчега). Но Бетти и тут недооценила Спайка. Он ни разу не

упомянул об инструкциях, полученных от Всемогущего. Несколько раз он заговаривал о своей вере и о возвращении к родимым местам, сказал пару слов о трудностях на пути осуществления космической программы; так что когда он в конце концов начал говорить о том, как размышлял над всеми этими вещами, сидя у себя на заднем крылечке и любуясь звездами, и как ему пришло на ум, что пора бы уже отыскать ту колыбель, из которой мы все появились, и что он замыслил организовать экспедицию и найти то, что осталось от Ноева ковчега, который, как известно, лежит на вершине горы Арарат поблизости от турецкой и иранской границ, его слова произвели впечатление вполне осмысленных, логичных. Действительно, для НАСА было бы сейчас самое время объявить о новом проекте — «Арарат»; и слушатели свободно могли сделать вывод, что, занимаясь только космическими полетами, НАСА ведет себя немножко эгоистично, проявляет некоторую приземленность и ограниченность, ведь есть и другие проекты, которые ближе душе и сердцу налогоплательщика и являются более благодатной почвой для применения ее сложнейшей технологии.

Он их охмурил, он запудрил им мозги, подумала

Бетти, когда ее муж сел на место, а зал наполнился шумом. Он даже вскользь не помянул о деньгах, он хотел только одного: чтобы они почтили его своим присутствием, пока он будет делиться с ними кое-какими своими мыслями, и если они решат, что он на правильном пути, то он соберется с духом и начнет искать себе помощников. Вот он, мой Спайк, невольно пробормотала Бетти себе под нос, хоть это и был далеко не тот Спайк, за которого она выходила.

— Миссис Тиглер, как вы смотрите на проект вашего мужа? — спросили ее, когда они рука об руку стояли перед фотографом из «Фейетвилл обсервер».

— О, я «за» на сто десять процентов, — ответила она, глядя на Спайка с улыбкой невесты.

«Обсервер» процитировал ее слова, и журналист даже не поленился отметить, как великолепно выглядела миссис Тиглер в своем горчичном платье с соответствующей шляпкой *(горчичном!* — сказала Бетти Спайку. — *Можно подумать, что он приправляет свои бифштексы примулами!)*. Когда они в тот вечер вернулись домой, Спайк был в приподнятом настроении — таким она не видела его уже с год — и явно не испытывал охоты улизнуть на заднее крылечко

с Библией под мышкой; наоборот, он сразу потащил жену в спальню, где они давно уже только спали и ничего больше не делали, и Бетти, не ожидавшая такого поворота событий, была приятно удивлена, а когда она на их особом языке пробормотала что-то насчет ванной, Спайк сказал, что не стоит тратить на это время, и Бетти с удовольствием покорилась.

— Я тебя люблю, — сказал Спайк уже под утро.

Колонка в «Фейетвилл обсервер» породила очерк в «Гринсборо ньюс энд рекорд», который в свою очередь породил краткое сообщение, распространенное агентством печати по разным газетам. Потом наступило затишье, но Спайк не огорчался и вспоминал праздничные костры, на которые любил смотреть в детстве: тебе кажется, что они уже затухают, как вдруг вспыхивает ослепительное пламя; и он был совершенно прав, потому что его имя внезапно просверкало на первых страницах «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс». Потом приехали телевизионщики, за ними опять потянулись газетчики, а потом — иностранное телевидение и иностранные газетчики, и все это время Бетти и Спайк трудились над подготовкой проекта «Арарат» не покладая рук (они снова работали вместе, как в

самом начале). Репортерам выдавали подробные списки новых пожертвований, будь то пятьдесят долларов от соседнего религиозного братства или комплект тросов и палаток, дар известного универмага. Скоро на лужайке перед домом Бетти и Спайка был водружен большой деревянный градусник, индикатор успехов кампании; утром каждого понедельника, вооружившись кистью, Спайк сам подымал уровень ртути еще на один дюйм.

Неудивительно, что Спайку и Бетти нравилось сравнивать этот критический период с запуском ракеты: обратный отсчет времени приятно щекочет нервы, момент зажигания вызывает восторг, но пока ты не увидишь, как тяжелая серебряная штуковина приподымается с корточек и неспешно направляется в небо, ты не можешь быть уверен, что не опозоришься перед всем миром. А такого конца Бетти вовсе не хотелось — особенно теперь, когда она уже решила поддерживать мужа на сто десять процентов. Бетти была не особенно религиозна и в глубине души не знала, как относиться к тому, что произошло со Спайком на Луне, но открывшиеся перед ними возможности упускать не собиралась. После целого года унылого изучения Библии и сочув-

ственных намеков подруг, от которых ее уже начинало трясти, Спайк Тиглер снова заставил всех говорить о себе, и это было совсем неплохо. За проектом «Аполлон» — проект «Арарат»; что может быть естественней этого перехода, этого крошечного алфавитного шажка? И никто ни в одной из газет не рискнул предположить, что у Спайка шариков в голове не хватает, что у него потолок поехал.

Спайк справлялся с делами очень ловко и ни разу не упомянул о том, как Бог выступил в роли президента Кеннеди, дав стартовый толчок всему предприятию. Благодаря этому Бетти легче было заинтересовать людей, которые остались бы в стороне, почуй они, что тут пахнет сдвигом по фазе. Даже губернатор Северной Каролины извинил Тиглеру нахальную попытку проверить на доброкачественность его религиозную платформу и милостиво согласился воссесть во главе стола в Шарлотте, где угощали обедом добровольных взносчиков — сбор по 100 долларов с тарелки. В таких случаях Бетти неизменно надевала платье цвета желтой примулы, хотя ее подруги склонны были полагать, что это необязательно и к тому же идет вразрез с духом моды; но Спайк уверял, будто этот цвет приносит ему удачу. Говоря с

журналистами, Спайк иногда просил их вставить в репортаж пару слов о наряде жены — горчичного цвета, как они, разумеется, и сами заметили. Кое-кто из корреспондентов или по лени, или по неумению различать цвета покорно выполнял эту просьбу, а Спайк потом посмеивался, читая газеты.

Участвовал он и в нескольких религиозных передачах. Порой Бетти охватывали дурные предчувствия — это бывало, когда на экране, сразу после рекламной паузы, появлялся очередной торговец в тройке, желающий поделиться со зрителями открытием, что Божья любовь подобна штилю в центре грозного смерча, и один из наших гостей, который побывал там собственной персоной, готов засвидетельствовать, какой там царит покой, но обратите внимание, что христианство есть вера, все время увлекающая тебя вперед, ведь смерч — он не стоит на месте, а сейчас мы дадим слово второму нашему гостю, Спайку Тиглеру, за которым в иные минуты и смерч бы не угнался, а вот теперь он ищет того самого тихого центра, абсолютного покоя, да будет благословен Господь. И Спайк, снова вернувшийся к своему астронавтскому ежику и голубому костюму, вежливо отвечал на вопросы

и ни разу не ляпнул, на радость ведущему передачу торговцу, что Господь побывал прямо *вот тут*, внутри его шлема, пошептал ему на ушко. Он был прост, и мил, и искренен, а Бетти Тиглер, спасибо мужу, едва успевала регистрировать взносы, поступающие в фонд проекта «Арарат», не забывая, конечно, платить себе жалованье.

Они создали комитет: его преподобие Ланс Гибсон, личность уважаемая или, по крайней мере, хорошо известная жителям штата, — кое-кто считал его завзятым фундаменталистом, однако денег в разумных количествах он не чурался; доктор Джимми Фулгуд, бывшая баскетбольная звезда своего колледжа, а теперь геолог и любитель подводного плавания, в качестве человека от науки придававший делу необходимую солидность; и сама Бетти, председатель, координатор и казначей. Губернатор согласился фигурировать на бумаге в качестве почетного члена; и единственным сбоем во всем процессе подготовки экспедиции было то, что для проекта «Арарат» не удалось выхлопотать статус благотворительного мероприятия.

Самые начитанные журналисты иногда спрашивали у Спайка, с чего это он так уверен, что Ковчег надо искать на горе Арарат. Разве Коран

не утверждает, что он причалил к горе Йуди, которая находится в нескольких сотнях километров от Арарата, поблизости от иракской границы? И разве еврейская традиция не выдвигает свою версию, перенося место высадки Ноя куда-то на север Израиля? В таких случаях Спайк включал свое обаяние на чуть более высокие обороты и говорил, что каждому, разумеется, вольно иметь свое мнение, и если израильский астронавт захочет поискать в Израиле, честь ему и хвала, а если мусульманский астронавт займется поисками в Ираке, он тоже будет молодец. Репортеры-скептики уходили, думая, что Тиглер хоть и простачок с виду, однако же себе на уме.

Другим стандартным вопросом был такой: допустим, что теоретически место, куда причалил Ковчег, действительно можно найти, но вот осталось ли от него что-нибудь — ведь за столько тысяч лет он вполне мог сгнить или быть съеден термитами. Однако Спайка и тут не удавалось смутить, тем более настолько, чтобы он сослался на разговор с Богом: мол, раз Он велел ему найти Ковчег, значит есть что искать. Вместо этого он советовал журналисту заглянуть в Библию, которую журналист, кажется, забыл прихватить с собой, но которая сообщает, что Ковчег

был сделан из дерева гофер, а это, как известно, очень твердый сорт древесины, способный долго сопротивляться и гниению, и термитам; потом Спайк приводил несколько примеров того, как отдельные вещи чудесным образом сохранялись в течение целых веков: скажем, мамонты в ледниках, чье мясо оказывалось таким свежим, словно вы купили его в соседнем магазинчике «Джайент»; и заключал тем, что раз всемогущий Господь иногда консервирует отдельные вещи на целые века, то уж Ковчег-то Он вряд ли обошел Своим вниманием.

Его преподобие Ланс Гибсон консультировался с церковными историками из баптистских университетов насчет того, где, по современным воззрениям, следует искать Ковчег; одновременно с этим Джимми Фулгуд взялся изучать предполагаемые картины воздушных и морских течений в эпоху Потопа. Сравнив результаты, они сочли наиболее вероятным местом область на юго-восточном склоне горы, километрах в двух от вершины. О'кей, согласился Спайк, можно начать и оттуда, но он предложил бы сделать отправной точкой вершину и спускаться кругами, чтобы ничего не пропустить. Сама идея Джимми понравилась, но как альпинист он

предвидел здесь слишком много трудностей, и в этом пункте Спайк уступил. В свою очередь Джимми внес следующее предложение: почему бы Спайку не использовать свои связи с НАСА и флотом, чтобы раздобыть комплект хороших рекогносцировочных снимков горы с воздуха, — тогда они увеличили бы их и посмотрели, нет ли там чего похожего на Ковчег. Спайк признал, что это было бы логично, но выразил сомнение в том, что Бог одобрил бы такой короткий путь. Разве их экспедиция не является чем-то вроде христианского паломничества? А ведь в прошлом пилигримы рады были терпеть лишения. Когда речь идет о палатках, веревках, обуви и наручных часах — тут он готов выбирать самое лучшее, но, после того как они попадут на гору, хотелось бы все-таки руководствоваться не современной технологией, а чем-нибудь другим.

Пастырские обязанности его преподобия Гибсона не позволяли ему ехать в Турцию, но он собирался обеспечивать духовную поддержку и с помощью молитвы постоянно напоминать Всемогущему о том, что двое других членов комитета заняты угодным Ему делом в далекой стране. Бетти должна была остаться дома и осуществлять связь со средствами массовой информации,

чей интерес к их предприятию обещал быть огромным. Собственно экспедиции — Спайку и Джимми — предстояло отправиться в путь летом этого же, 1977 года, в июле. Они решили не пытаться оценить, сколько времени займут поиски. Нечего умничать в очах Господних, заметил его преподобие Гибсон, не то и схлопотать можно.

Доброжелатели, церковные братства и торговые фирмы засыпали их всяким барахлом; вскрывая посылки, которые исправно приходили в их адрес вплоть до самого отъезда путешественников, Бетти не переставала удивляться тому, как своеобразно понимают цели их проекта некоторые американцы. Отдельные дары явно выглядели не слишком христианскими. Вид комнаты, где складывали походное оборудование, наводил на мысль, что Спайк и Джимми — два нищих беженца, нанятые, чтобы истребить большую часть населения Восточной Турции.

Они оставили дома ворох старой одежды, несколько автоматов, четыре осколочные гранаты, одну гарроту и парочку пожертвованных каким-то фанатиком пилюль со смертельным ядом. Их полезный груз состоял из легкого лагерного снаряжения, витаминов, автоматической

японской кинокамеры, кредитных карточек и дорожных чеков «Американ экспресс», кроссовок, пинты виски, теплого белья и носков, большого пластикового пакета с хлопьями из отрубей против запора, таблеток от поноса, прибора ночного видения, средства для очистки воды, сухих продуктов в вакуумной упаковке, подковы на счастье, карманных фонариков, зубной ленты, запасных батареек для электрических бритв, двух снабженных футлярами ножей, достаточно острых, чтобы разрезать планку из дерева гофер или выпустить кишки бандиту, противомоскитного репеллента, крема от загара и Библии. Тайком проверив багаж, Джимми Фулгуд нашел сдутый футбольный мяч и баллончик со сжатым воздухом для его накачки; снисходительно усмехнувшись, он аккуратно вернул их на место. Когда багаж тайком проверил Спайк, он обнаружил коробку презервативов и выкинул их, ни словом не обмолвившись об этом Джимми. Комитет обсудил, что взять в качестве подарков для дружественных обитателей Восточной Турции. Бетти предлагала цветные открытки со Спайком на Луне, но Спайк отверг их как не соответствующие случаю, ведь он едет туда исполнять Божью волю, а не рекламировать себя самого. Поразмыс-

лив, они остановили свой выбор на паре сотен значков, выпущенных в память торжественного введения в должность президента Джимми Картера и Первой леди государства, прекрасной Розалии, которые приятель его преподобия Гибсона уступил им со скидкой, да еще спасибо сказал.

Они прилетели в Анкару, где им пришлось взять напрокат смокинги, так как посол устроил в их честь роскошный обед. Спайк скрыл свое разочарование тем, что большинство гостей беседовали с ним об астронавтике и явно не жаждали расспросить его о проекте «Арарат». Когда же в послеобеденной речи Спайк воззвал к их патриотизму и предложил организовать дополнительный сбор пожертвований, это их нимало не тронуло, если не сказать огорчило.

Хотя Бетти по церковным каналам пыталась заказать в Эрзуруме джип или «лендровер», ее просьбу поняли неправильно, и потому путешественники отправились дальше в большом «мерседесе». На восток до Хорасана, потом на восток-юго-восток, в Догубаязит. Местность выглядела опрятной, все кругом было как бы светло-зеленое и светло-коричневое одновременно. Они ели спелые абрикосы и раздавали

улыбающихся Картеров маленьким детям: некоторых это как будто устраивало, однако другие продолжали вымогать доллары или, на худой конец, шариковые ручки. Всюду попадались военные, что навело Спайка на раздумья относительно стратегической важности этого района. Джимми, оказывается, и понятия не имел о том, что с сотню лет назад Арарат, или Агри-Даги, как упорно называли его здешние жители, был точкой, где сходились три великие империи — Россия, Персия и Турция, — причем каждая из них владела частью горы.

— Несправедливо, что у Советов тоже был кусок, — высказался Джимми.

— Тогда они вроде не были Советами, — ответил Спайк. — А просто русскими, то есть такими же христианами, как и мы.

— Может, это Бог лишил их доли в горе, когда они стали Советами.

— Может, и так, — сказал Спайк, не уверенный, что границы сместились именно тогда.

— Не хотел, видно, оставлять святую гору в руках язычников.

— Да уловил я, — сказал Спайк, слегка раздраженный. — Только, по-моему, турок тоже христианами не назовешь.

— Они не такие язычники, как в Советах. — Джимми не собирался сдаваться при первом же возражении.

— Угу.

По дороге из Догубаязита на север Спайк возгласом попросил Джимми затормозить. Они вышли, и Спайк показал на маленький ручеек. Сомнений не было — вода в нем хоть и медленно, но текла по склону вверх.

— Восславим Господа, — произнес Спайк Тиглер и опустился на колени, чтобы сотворить молитву.

Джимми наклонил голову на несколько градусов, однако же остался стоять. Через пару минут Спайк сбегал к «мерсу» и наполнил водой из ручья две пластиковые бутылочки.

— Это край чудес, — заявил он, когда они тронулись дальше.

Джимми Фулгуд, геолог и любитель подводного плавания, обождал несколько миль, а затем попробовал объяснить, что картина, которую они наблюдали, с научной точки зрения не является невозможной. Все зависит от веса и давления водных масс, расположенных выше по горе, и на длинном спуске может попасться небольшой участок подъема, где ручей течет вверх. Насколь-

ко ему известно, этот феномен уже описывали прежде. Сидя за рулем, Спайк покладисто кивал.

— Согласен, можно объяснить и так, — сказал он под конец. — Но главный-то вопрос в другом: кто заставил воду течь наоборот? Кто выбрал для этого ручья такое место, чтобы мы могли увидеть его по пути к Арарату? Господь Бог, вот кто. Это край чудес, — повторил он с удовлетворенным кивком.

Спайк всегда казался Джимми жизнерадостным малым; здесь же, в Турции, он превзошел самого себя. Его не смущали ни москиты, ни мелкие неудачи; на чай он давал с истинно христианской щедростью; а едва завидев на дороге корову, высовывался в окошко и орал ее хозяину, а иногда и просто окрестным полям: «Жми, парень, а то выдою!» Временами это начинало действовать на нервы, но поскольку Джимми был на сто десять процентов обеспечен фондами проекта «Арарат», он мирился с восторженным состоянием своего партнера, как мирился бы с его придирками, будь он не в духе.

Они ехали, пока дорога не кончилась и горы, Большой и Малый Арарат, не выросли перед ними во всей красе.

— Прямо как муж с женой, правда? — заметил

Спайк.

— Что-что?

— Ну, как брат с сестрой, Адам с Евой. Один здоровый, а рядом такая аккуратненькая, симпатичная. Улавливаешь? *Мужчину и женщину сотворил их.*

— По-твоему, Бог уже тогда имел это в виду?

— Бог все имеет в виду, — сказал Спайк Тиглер. — Всегда.

Джимми Фулгуд поглядел на пару горных силуэтов впереди, и у него чуть не сорвалось с языка, что Бетти Тиглер на дюйм-другой выше Спайка.

Прежде чем прибегнуть к наиболее угодному Господу способу передвижения, то есть отправиться дальше на своих двоих, они рассортировали груз. Виски было оставлено в багажнике, поскольку они догадывались, что негоже употреблять алкоголь на Боговой горе; значки с Картером тоже свое отслужили. Они взяли с собой дорожные чеки, подкову и Библию. Джимми заметил, как Спайк, собираясь, украдкой сунул в рюкзак сдутый футбольный мяч. Затем они двинулись на штурм южных предгорий Большого Арарата — долговязый бывший баскетболист в нескольких шагах позади пышущего энергией астронавта, словно младший офицер под пред-

водительством генерала. Иногда геологические интересы побуждали Джимми остановиться и изучить какую-нибудь скальную породу; но Спайк нетерпеливо тащил его вперед.

Они были на горе одни и наслаждались своим уединением. На нижних склонах они видели ящериц, выше стали попадаться козероги и обычные дикие козы. Путники миновали оперативные высоты ястребов и канюков и приблизились к снеговой кромке, где уже не было ничего живого — разве что промелькнет вдалеке юркая маленькая лисица. Холодными вечерами, при резком шипящем свете газовой лампы Джимми заполнял дневник экспедиции, а Спайк читал Библию.

Они начали с юго-восточного сектора горы — области, на которую указывали заключившие временное перемирие религия и наука. Они спускались в бесплодные провалы и заглядывали в зияющие пещеры. Джимми не особенно хорошо представлял себе, что надо искать: то ли целый, нетронутый Ковчег — в этом случае они вряд ли пройдут мимо, — то ли какую-нибудь его важную деталь вроде руля или досок обшивки со следами битума, которым конопатили щели.

Первый поверхностный осмотр не дал никаких результатов, что не удивило и не разочаровало

их. Они пересекли снеговую границу и двинулись к вершине. В конце подъема небо стало медленно менять цвет; когда путники достигли самой высокой точки, оно превратилось в ярко-зеленое. Чудеса сыпались одно за другим. Спайк преклонил колена, и Джимми на пару секунд присоединился к нему. Прямо под ними была пологая заснеженная долина, которая сбегала вниз ко второму пику. Это место казалось естественной гаванью для Ковчега. Однако они ничего здесь не нашли.

Северный склон горы был расколот гигантским ущельем, тянущимся на несколько тысяч футов. Спайк указал вниз, туда, где оно кончалось, и заметил, что когда-то там был монастырь. Настоящие монахи и все такое. Потом, в 1840 году, на горе произошло страшное землетрясение. Ее здорово потрепало, и церквушка развалилась, и поселок рядом с ней — он вроде бы назывался как-то на А — тоже был разрушен. Все, ясное дело, погибли, продолжал Спайк; если не сразу, то очень скоро. Видишь эту расселину? Ну так вот, дня через четыре-пять после землетрясения по ней поползла вниз лавина из снега и воды. И уж она-то сметала на своем пути все подряд. Настоящая кара Господня. Стерла монастырь и

поселок с лица земли.

Слушая рассказ Тиглера, Джимми Фулгуд серьезно кивал в такт своим мыслям. Катастрофа, думал он, случилась в ту пору, когда этот кусок горы принадлежал Советам. И пускай они тогда были просто русские и христиане — все равно это показывает, что Бог имел на них зуб еще до того, как они стали Советами.

Их поиски продолжались три недели. Джимми высказал идею, что Ковчег может быть погребен глубоко в толще льда, который венчает гору; и Спайк согласился, что это возможно, но прибавил, что даже в этом случае Бог, конечно, нашел бы способ помочь им обнаружить его. Ведь Он же не стал бы посылать их на гору, а потом прятать то, на поиски чего они были посланы: Бог в такие игры не играет. Это показалось Джимми убедительным. Они осматривали склоны невооруженным глазом, а также с помощью бинокля и инфракрасного прибора ночного видения. Спайк ждал какого-нибудь знака. Но поймет ли он его тайный смысл? Может быть, надо искать там, куда дует ветер. Они пошли туда, куда дул ветер. Опять ничего.

Каждый день солнце нагревало лежащую под ними равнину, теплый воздух поднимался с нее

и образовывал вокруг вершины горы облачный нимб, скрывающий от их глаз нижние склоны; и каждую ночь, под воздействием холода, облако рассеивалось. Через три недели они спустились к своей машине, чтобы пополнить запасы еды. Они съездили в ближайший поселок, и Спайк отправил Бетти открытку с сообщением «Ничего — это уже хорошо», слегка ее озадачившим. Потом они вернулись на гору и провели в поисках еще три недели. За это время луна успела округлиться, и Спайк глядел на нее вечерами, вспоминая, как там, в зыбучей пыли, зародилось их нынешнее предприятие. Как-то ночью, стоя бок о бок с ним, Джимми тоже рассматривал этот рябой шар кремового цвета. «Ну точно как сладкий пирог», — заметил он с беспокойным смешком. «Вблизи она больше смахивает на грязный пляж», — откликнулся Спайк. Он продолжал смотреть вверх, ожидая знака. Знака не было.

Только когда они поднялись на гору в третий раз, обещавший быть в этом году последним, Спайк сделал свою находку. Они были на две-три тысячи футов ниже вершины и только перебрались через предательскую осыпь, как увидели две темнеющие рядышком пещеры — словно Бог ткнул в скалу двумя пальцами. Джимми Фулгуд,

по-прежнему стойко переносивший неизлечимый оптимизм своего спутника, остался снаружи, а бывший астронавт проворно нырнул в одну из пещер; вскоре тишину нарушил усиленный эхом вопль. Сначала Джимми подумал о медведях — даже об ужасном снежном человеке, — однако продолжительный вопль почти без задержки дыхания перешел в серию коротких спортивных кличей.

Джимми обнаружил главу экспедиции в пещере, недалеко от входа: коленопреклоненный, Спайк Тиглер творил молитву. Перед ним был распростерт человеческий скелет. Джимми опустился рядом. Даже на коленях бывший баскетболист сохранял свое преимущество в росте. Спайк выключил фонарик, Джимми последовал его примеру. Несколько минут в холодной темноте пещеры царило глубокое молчание, затем Спайк произнес: «Мы нашли Ноя».

Джимми ничего не ответил. Спустя некоторое время они снова включили фонарики и с помощью двух лучей света благоговейно исследовали лежащий на камнях скелет. Он был обращен ногами ко входу и казался нетронутым, во всяком случае на первый взгляд. Кое-где между костями застряли лоскутки материи — одни белые, другие

сероватые.

— Восславим Господа, — сказал Спайк Тиглер.

Они разбили палатку в нескольких ярдах ниже по склону, а затем осмотрели вторую пещеру. Спайк втайне надеялся, что они отыщут Ноеву жену или, может быть, бревно от Ковчега, но его надежды не оправдались. Позже, когда стемнело, в их палатке послышалось шипение сжатого воздуха, а потом, стоя на скалах Большого Арарата, Спайк Тиглер послал свой футбольный мяч в неуверенные руки Джимми Фулгуда. Раз за разом этот спортивный снаряд шлепался прямо в большие ладони бывшей баскетбольной звезды. Возвращая мяч, Джимми нередко мазал, но Спайка это не смущало. В тот вечер он бросал и бросал, пока совсем не похолодало; к концу разминки их фигуры были озарены только светом поднявшейся луны. Но прицел Спайка по-прежнему оставался точен: мяч снова и снова прилетал к Джимми, словно ручная летучая мышь. «Эй, Спайк, — в какой-то момент крикнул он, — у тебя там что, прибор ночного видения?» Из густых сумерек, где маячил едва различимый силуэт его партнера, донесся негромкий смешок.

После еды Спайк взял фонарик и опять ушел к Ноевой могиле — так он окрестил заветное

место. То ли суеверие, то ли соображения такта помешали Джимми последовать за ним. Примерно часом позже Спайк сообщил, что, судя по положению скелета, умирающий Ной мог видеть в отверстие пещеры Луну — ту самую Луну, на которой совсем недавно стоял Спайк Тиглер. «Восславим Господа», — повторил он, застегивая палатку на ночь.

Вскоре стало ясно, что оба не спят. Джимми тихонько кашлянул.

— Спайк, — с легкой опаской произнес он. — Знаешь… ну… мне кажется, тут все не так просто.

— Непросто? А по-моему, *чудесно*! — ответил Спайк.

— Ну да, чудесно. Но есть, понимаешь, одна загвоздка.

— Какая загвоздка, Джимми? — Его тон был приподнятым, миролюбивым, чуть ли не покровительственным — тоном квотербека, который знает, что не подведет свою команду.

Джимми заговорил, осторожно подбирая слова, сам еще не зная, во что верить:

— Ну… допустим, я просто думаю вслух, Спайк, и допустим, на меня напала охота посомневаться.

— Отлично. — Ничто не могло омрачить Спайку

этот день. Смесь бурного восторга и облегчения напомнила ему миг посадки космического корабля на воду.

— Мы же ищем Ковчег, правильно? Тебе же… *велели* найти Ковчег.

— Ага. И найдем. Может, другим разом.

— Но мы искали Ковчег, — упорствовал Джимми. — Нам… тебе… *велели* найти Ковчег.

— Боролись за серебро, выиграли золото.

— Ну да. Я только подумал… разве Ной так никуда и не делся, когда сошел с Ковчега? То есть по Библии-то ведь он еще несколько сот лет прожил?

— Ага, точно. Триста пятьдесят. Помнишь, когда мы были на вершине, я говорил тебе про поселок. Аргури. Как раз там Ной и осел. Выращивал виноград. Обзавелся хозяйством. Там была его первая ферма.

— Так это *Ноев* поселок?

— Точно. В советском секторе, — поддразнил приятеля Спайк.

Теперь Джимми еще больше запутался.

— Выходит, Бог наслал землетрясение на Ноев поселок?

— Значит, было за что. Зря-то не стал бы. Да ладно, какая разница. Главное, что Ной там жил.

Может, перебрался потом еще куда-нибудь, а может, и нет. Но умирать-то он запросто мог вернуться на Арарат — это ж вполне естественно. Почувствовал гнет Времени, и его потянуло сюда. Может, он приметил эту пещерку, еще когда сошел с Ковчега. И решил: как почует, что его час близко, так подымется на гору в знак смирения пред Господом и благодарности за то, что Он его спас. Типа слонов в джунглях.

— Спайк, а эти кости в пещере — они не… как бы получше сказать… они не слишком хорошо сохранились? Я сейчас работаю за адвоката дьявола, понимаешь.

— Нормально, Джимми, все путем.

— Но они правда как-то уж слишком хорошо сохранились?

— Джимми, тут же на каждом шагу чудеса и знамения. Было бы странно, если б кости *не* сохранились. Ной ведь у Бога на особом счету. И потом, сколько ему было, когда он помер? Девятьсот пятьдесят. Он был праведник перед лицом Божьим. И раз его костяк исправно носил хозяина почти тысячу лет, то вряд ли он будет разлагаться в обычном темпе, как по-твоему?

— Это ты прав, Спайк.

— Какие еще вопросы? — Он словно радовался

сомнениям Джимми, твердо зная, что примет и обработает любой посланный им мяч.

— Ну хорошо, а что конкретно мы теперь будем делать?

— Мы расскажем об этом миру, вот что мы будем делать. И мир возрадуется. Благодаря нашему открытию многие души обратятся к истинной вере. И здесь, на горе, снова построят церковь, возведут ее над Ноевой могилой. Может быть, в форме Ковчега. Или даже в форме ракеты «Аполлон». Это будет логичней; тогда круг замкнется.

— Насчет последствий я с тобой согласен, Спайк. Но можно я тебе еще кое-что скажу? Мы с тобой люди верующие.

— И люди науки тоже, — ответил геологу астронавт.

— Вот-вот. Как люди верующие, мы, понятно, хотим уберечь нашу веру от всякой лишней клеветы.

— Ясное дело.

— Так, может, прежде чем объявлять о своем открытии, мы как люди *науки* проверим то, что нашли как верующие?

— В смысле?

— В смысле не будем подымать большой кипеж, пока не проведем кое-каких лабораторных

исследований Ноевой одежды.

На другой половине палатки воцарилось молчание: Спайк в первый раз сообразил, что обитатели Земли вовсе не обязательно примутся дружно салютовать им сомкнутыми над головой руками, как это было по возвращении с Луны. Наконец он сказал:

— Молодцом, Джимми. Заодно ты навел меня на мысль, а нету ли загвоздки с самой этой одеждой.

— О чем ты?

Теперь роль скептика перешла к Спайку.

— Ну, я только предполагаю. Помнишь историю с наготой Ноя? Как сыновья его прикрыли? Мы, конечно, можем быть уверены, что Ноевы кости у Бога на особом счету, но вот относится ли то же самое и к его одежде? — Он умолк, потом заговорил снова: — По-моему, нечего нам играть на руку всяким занудам типа Фомы неверующего. Что, если Ной был положен здесь в погребальном уборе, а через несколько сот лет этот убор рассыпался в прах? А после приходит какой-нибудь паломник — может, он еле пробрался сюда через языческие племена — и видит мощи. Вроде как опять повторяется история с Ноевой наготой. И паломник отдает Ною *свою* одежду — это объ-

ясняет, почему он так и не вернулся домой и не рассказал о своей находке. Но тогда мы можем здорово наколоться, если будем определять сроки углеродным методом.

— Ты прав, — сказал Джимми.

Наступила долгая тишина, словно каждый из них полуосознанно надеялся, что следующий логический шаг сделает другой. Наконец Джимми его сделал.

— Интересно, как на это посмотрит закон.

— Ммм. — В голосе Спайка не слышалось неодобрения.

— Как ты думаешь, кому принадлежат Ноевы кости? Кроме Всемогущего Господа, — поспешно добавил Джимми.

— Пока суды в этом разберутся, они могут не один год тянуть резину. Ты ж знаешь этих юристов.

— Ясное дело, — сказал Джимми, который еще ни разу не бывал в зале суда. — По-моему, Бог вряд ли одобрит нас, если мы будем так уж стараться, чтобы все было по закону. Это как искать помощи у кесаря, типа того.

Спайк кивнул и понизил голос, хотя они были на Ноевой горе одни:

— Но ведь тем-то ребятам немного нужно, а?

— Да. Да. По-моему, немного. — Джимми очнулся от грезы наяву: ему представлялось, как вертолет Военно-морских сил США одним махом забирает отсюда всю петрушку.

Ничего больше не обсуждая, бывший астронавт и любитель подводного плавания вернулись в пещеру и при свете дрожащих фонариков стали решать, какие части Ноева скелета умыкнуть из Восточной Турции. Завязалась незримая борьба между благочестием, соображениями удобства и алчностью. Наконец они выбрали маленькую косточку от левой руки и шейный позвонок, который выпал со своего места и закатился за правую лопатку. Джимми взял кусочек пальца, а Спайк — отвалившийся позвонок. Они сошлись на том, что лететь домой вместе было бы безумием.

Спайк направился через Атланту, но репортеры все-таки выследили его. Нет, пока он ничего сказать не может. Да, идея проекта «Арарат» себя не посрамила. Нет, никаких затруднений. Нет, доктор Фулгуд летит отдельно, ему надо было уладить кое-какие дела в Стамбуле. Что за дела? Да, в свое время будет пресс-конференция, и у Спайка Тиглера припасено к этому дню кое-что особенное, есть приятные новости. А как вы себя чувствуете (в том самом наряде цвета примулы),

миссис Тиглер? Отлично, я за мужа на сто десять процентов, счастлива, что он наконец вернулся.

По размышлении и после продолжительных молитв его преподобие Гибсон согласился подвергнуть две частички Ноева скелета научному анализу. Они отослали позвонок и кончик пальца в Вашингтон с надежным посредником, якобы нашедшим их в Греции. Бетти ждала, что счастливая звезда Спайка вот-вот снова вспыхнет на небосклоне.

Вашингтон сообщил, что возраст присланных на исследование костей составляет сто пятьдесят плюс-минус двадцать лет. В качестве дополнительной информации было указано, что позвонок почти наверняка женский.

Морской туман апатично расползается над черной водой, мешая семичасовому парому идти от мыса Хаттерас к острову Окракок. Прожектор освещает парому путь. Каждый вечер ему опять, будто впервые, приходится искать дорогу. Огни-ориентиры, зеленые, белые и красные, помогают суденышку преодолевать его непростой маршрут. Поеживаясь от холода, вы поднимаетесь на палубу и глядите вверх; но на сей раз туман мешает видеть звезды, и невозможно понять, есть ли в небе луна. Вы снова поводите плечами

и возвращаетесь в прокуренную каюту. А сотней миль западнее, в ресторане «Лунная пыль», высоко подняв пластиковую бутылочку с водой из текущего в гору ручья, Спайк Тиглер объявляет о старте второго проекта «Арарат».

10. Сон

Мне снилось, что я проснулся. Это самый старый сон, и я только что видел его опять. Мне снилось, что я проснулся.

Я лежал в своей постели. Сначала это показалось мне немного странным, но по секундном размышлении я понял, что логика тут есть. В чьей же еще постели я должен был проснуться? Озираясь, я пробормотал себе под нос: так-так-так. Не очень-то умно, согласен. Но разве, когда случается что-нибудь экстраординарное, мы всегда находим нужные слова?

В девять постучали, и вошла женщина — спиной вперед и немножко в сторону. Это должно было бы выглядеть неуклюже, но нет: у нее это получилось очень ловко и элегантно. Она держала в руках поднос, оттого и вошла так. Когда она повернулась, я увидел, что на ней форменное платье. Медсестра? Нет, она больше походила на стюардессу какой-то неведомой авиакомпании.

— Я ваша горничная, — сказала она, чуть улыбнувшись, словно ей было непривычно представляться так или мне непривычно слышать; или и то и другое вместе.

— Горничная? — повторил я.

Там, откуда я явился, такое бывает только в кино. Я сел в кровати и обнаружил, что на мне ничего нет. Куда подевалась моя пижама? Это было что-то новое. Новым было и еще одно: когда я заметил, что сижу на кровати голый до пояса и женщина видит мою, как бы вам сказать, нахальную наготу, меня это ни капли не смутило. Приятный пустячок.

— Ваша одежда в шкафу, — объяснила она. — Можете не спешить. У вас впереди целый день. И, — добавила она, улыбнувшись пошире, — весь завтрашний тоже.

Я перевел взгляд на поднос. Дайте я расскажу вам про это чудо. Именно о таком завтраке я мечтал всю жизнь. Во-первых, грейпфрут. Ну, вы знаете, что за штука грейпфрут: как он брызжет соком вам на рубашку и выскальзывает из-под руки, пока его не прижмешь вилкой или еще чем-нибудь, как мякоть ни за что не хочет отставать от этих матовых перегородок, а потом вдруг выдирается вместе с белыми несъедобными волокнами, какой он всегда бывает кислый, но перспектива насыпать на него сахару вас почему-то не вдохновляет. Верно я говорю? А теперь послушайте, каким был *этот* грейпфрут.

Для начала, мякоть у него оказалась не желтая, а розовая, и каждая долька была уже аккуратно отделена от своей оболочки. Сам плод заранее пришпилили к тарелке какой-то специальной вилочкой, так что мне не надо было держать его или даже трогать. Я поискал глазами сахар, но только по привычке. Вкус его распадался на два отдельных ощущения — за бодрящей свежестью сразу следовала благоуханная сладость; и все эти маленькие каплевидные сегментики, размером с головастиков, как будто лопались во рту по очереди. Да что говорить — это действительно был грейпфрут моей мечты.

Словно император, я оттолкнул выеденную шкурку прочь и снял выпуклую серебряную крышку с фигурного блюда. Конечно, я знал, что увижу под ней. Три ломтика поджаренного бекона без хрящей и корочки — хрустящее сало еще рдеет, точно угли праздничного костра. Яичницу из двух яиц: желтки молочного цвета, потому что на сковородке их вовремя полили жиром, а белок по краям переходит в тончайшее золотистое кружево. Приготовленный в гриле помидор, про который я могу сказать только, каким он не был. Это не был сморщенный мешочек волокнистой красной бурды с семечками и несъедобной

белесой сердцевиной; нет, он был плотен, везде одинаково пропечен, легко резался и имел вкус — это я отчетливо помню — вкус помидора. И сосиска тоже — не презерватив, начиненный тепловатой кониной, а сочная, темно-коричневая… сосиска, одним словом. Все прочие сосиски, которые я ел (и думал, что люблю) в предыдущей жизни, лишь подражали этой; они только пробовались на роль, но были далеки от того, чтобы получить ее. Еще здесь стояла маленькая тарелочка в форме рогалика с такой же серебряной крышечкой. Я открыл ее: ну да, там лежали отдельно поджаренные корочки от бекона — грызи на здоровье.

Тосты, мармелад — вообразите их себе сами, попытайтесь нарисовать их подобие в своих мечтах. Но вот о чайнике я расскажу непременно. Чай, конечно, был замечательный, будто с личных плантаций какого-нибудь раджи. А что до чайника… Когда-то, несколько лет тому назад, я ездил в Париж по турпутевке, в стоимость которой включались все расходы. Я отбился от остальных и забрел туда, где живут настоящие богачи. Во всяком случае, туда, где они едят и делают покупки. На углу улицы я заметил кафе. Оно выглядело не особенно шикарным, и я уже

было собрался зайти к ним перекусить. Но не зашел, потому что увидел там посетителя — он сидел за столиком и пил чай. Когда он наливал себе очередную чашку, я обратил внимание на одну мелочь, показавшуюся мне чуть ли не квинтэссенцией роскоши: его чайник был снабжен ситечком, прикрепленным к носику тремя изящными серебряными цепочками. Когда этот человек наклонил посудину, чтобы налить себе чаю, ситечко тоже отклонилось, и струя из носика попала как раз туда, куда надо. Мне трудно было поверить, что когда-то человеческая мысль всерьез занялась проблемой, как избавить этого гоняющего чаи джентльмена от непосильного труда держать обычное ситечко свободной рукой. Я покинул это место, испытывая нечто вроде праведного негодования. Теперь на моем подносе стоял чайник из фешенебельного французского кафе. Ситечко было подвешено к его носику на трех серебряных цепочках. И я вдруг понял, в чем тут соль.

После завтрака я поставил поднос на столик рядом с кроватью и отправился к шкафу. Там была вся моя любимая одежда. Спортивная куртка, которая не разонравилась мне и после того, как знакомые стали говорить, вот странная штука,

ты что, на барахолке ее купил, еще лет двадцать, и она опять будет в моде. Те самые плисовые штаны, которые моя жена выбросила, потому что они безнадежно протерлись на заду; но кто-то все-таки умудрился зачинить их, и они стали почти как новые, хотя и не настолько, чтобы чувствовать себя в них неуютно. Мои рубашки приветливо простирали ко мне рукава, да оно и понятно, ведь их в жизни так не баловали: каждая на своих персональных плечиках, обтянутых вельветом. Тут были ботинки, о кончине которых я сожалел; заново заштопанные носки; галстуки, виденные мной на витринах. Пожалуй, вы бы такому гардеробу не позавидовали, но дело было не в этом. Он вселил в меня уверенность. Теперь я опять стану самим собой. Более чем самим собой.

Рядом с моей кроватью висел шнурок с кисточкой — видимо, звонок, который я сразу не приметил. Я дернул за него, потом вдруг слегка застеснялся и снова нырнул под простыни. Когда появилась моя сестричка-стюардесса, я похлопал себя по животу и произнес:

— Знаете, я бы и еще разок съел то же самое.

— Ничего удивительного, — ответила она. — Я так и думала, что вы это скажете.

Я провалялся в постели весь день. У меня был

завтрак на завтрак, завтрак на ланч и завтрак на обед. Я был доволен. О ланче я позабочусь на следующий день. Вернее, на следующий день мне не надо будет заботиться о ланче. На следующий день мне ни о чем не надо будет заботиться. Между завтраком-ланчем и завтраком-обедом (выдумка с ситечком начинала мне по-настоящему нравиться — пока наливаешь, свободной рукой можно есть булочку) я как следует поспал. Потом принял душ. Можно было залезть в ванну, но мне сдается, что за свою жизнь я просидел в ванне не один десяток лет, поэтому я выбрал душ. Я обнаружил стеганый халат, на нагрудном кармане которого были золотой тесьмой вышиты мои инициалы. Сидел он хорошо, но буквы как-то уж слишком лезли в глаза. Не для того я сюда попал, чтобы залупаться, как кинозвезда. Когда я смотрел на эти золотые завитушки, они вдруг исчезли. Я мигнул, а потом гляжу — их уже нет. С обычным карманом халат стал гораздо удобней.

На следующий день я проснулся — и снова позавтракал. Этот завтрак оказался не хуже трех предыдущих. Проблема завтрака явно была решена.

Когда Бригитта пришла за подносом, она спросила:

— Как насчет шопинга?

— То, что надо. — Она словно прочла мои мысли.

— Пойдете в магазин сами или займетесь этим тут?

— Сам пойду, — сказал я; по правде говоря, я не совсем ее понял.

— Отлично.

Мой шурин как-то провел десять дней во Флориде. Вернувшись, он сказал: «Когда я помру, не надо мне вашего рая — дайте мне походить по американским магазинам». На это, второе утро я начал понимать, что он имел в виду.

Когда мы добрались до супермаркета, Бригитта спросила, как я предпочитаю передвигаться внутри: пешком или ездить. Я ответил, лучше поедем, это звучит заманчиво, и она ничуточки не удивилась. Если подумать, работа у нее довольно скучная — мы же, наверно, все ведем себя примерно одинаково, правда? В общем, мы поехали. Там у них такие тележки с мотором и металлической сеткой — они носятся по магазину, как автомобильчики в аттракционе, только друг с другом не сталкиваются, потому что на них установлен какой-то электронный глаз. Когда вам уже кажется, что вы сейчас врежетесь в того,

кто едет навстречу, ваша тележка сворачивает и огибает его стороной. Это здорово интересно — пытаться устроить крушение.

Торговля организована очень удобно. У вас есть пластиковая карточка, и вы опускаете ее в щель рядом с товаром, который хотите купить, а потом пробиваете нужное количество. Через секунду-две ваша карточка возвращается. Доставка товаров (все они продаются в кредит) автоматическая.

Я славно покатался на своей тележке. Помню, когда я ходил по магазинам прежде, в те давние дни, я иногда встречал детей, которых родители возили в таких тележках, точно в клетках; и мне было завидно. Теперь я уже не завидовал этим детям. И, бог ты мой, сколько же я накупил разных разностей! Я практически очистил их прилавки от розовых грейпфрутов — так мне, во всяком случае, показалось. Я купил завтрак, я купил ланч, я купил обед, я купил того, что можно погрызть перед ланчем, и сладостей к чаю, и легких закусок, которые едят перед обедом, и того, чем можно потешить себя, если проснешься ночью. Я купил фруктов, названий которых не знал, и овощей, которых никогда раньше не видел; набрал необычных по форме кусков мяса,

принадлежащего известным мне животным, и знакомых на вид вырезок из туш животных, которых никогда прежде не ел. В австралийской секции я нашел отбивную из крокодильего хвоста, филе буйвола, *terrine de kangarou*[41]. Все это я купил. Отдел для гурманов серьезно пострадал от моего набега. Сублимированное суфле из омара с вишней — разве я мог устоять против такого?

А что касается стеллажей с выпивкой… Мне и в голову не приходило, что опьянения можно достигнуть столькими способами. Вообще-то, я больше люблю пиво и крепкие напитки, но мне не хотелось демонстрировать предвзятость, так что я купил еще несколько корзин с вином и коктейлями. Этикетки на бутылках оказались очень полезными: там было подробно изложено, насколько пьяным сделает вас содержимое, с учетом таких факторов, как пол, вес и количество жира в теле. Нашлась одна марка алкоголя (прозрачная жидкость) с очень неряшливой этикеткой. На ней значилось: «Очумеловка (производство Югославии)», и дальше: «Эта бутылка сделает вас пьянее, чем когда бы то ни было». Не мог же я не захватить домой хотя бы ящик

[41] Сноски: 41
Паштет из кенгуру *(фр.).*

такого пойла!

Я хорошо потрудился в то утро. Пожалуй, для утра лучшей работы и не придумать. Между прочим, я не советую вам задирать нос. Вряд ли ваш выбор сильно отличался бы от моего. Ну ладно, допустим, вы не пошли бы в магазин — а что бы вы тогда выбрали? Захотели бы встретиться со знаменитыми людьми, заняться сексом, поиграть в гольф? Число вариантов конечно — главное, ни о чем не забыть, и то попробовать, и се. Пускай я сначала пошел в магазин — что ж, значит, такой я человек. Я, например, не стал бы задирать перед вами нос, если б вы решили первым делом повидать знаменитых людей, или заняться сексом, или поиграть в гольф. Я тоже все это перебрал, только потом. Говорю ведь — не такие уж мы разные.

Вернувшись домой, я почувствовал себя… не то чтобы усталым, а каким-то пресыщенным, что ли. Мне понравилось гонять на тележке; теперь я вряд ли когда-нибудь стану ходить по магазинам пешком, да и то сказать — по-моему, в супермаркете я вообще не видал ни одного пешего. Затем наступило время ланча, и Бригитта принесла завтрак. После еды я вздремнул. Я ждал, что мне будут сниться сны — раньше мне всегда снились

сны, стоило только прикорнуть днем. Но снов не было. Это показалось мне странным.

Меня разбудила Бригитта — пора было пить чай с моим любимым печеньем. Это было печенье со смородиной, изобретенное специально для таких, как я. Может быть, вы другого мнения на этот счет, но меня всю жизнь огорчало, что в печенье со смородиной недокладывают смородины. Разумеется, *слишком* много смородины тоже ни к чему, иначе у вас получится не печенье, а просто комок ягод, но я всегда считал, что пропорцию надо слегка изменить. В пользу смородины, конечно, — чтоб было примерно фифти-фифти. Теперь я припоминаю, что это печенье как раз так и называлось: «Фифти-фифти». Я купил три тысячи коробок.

Я развернул газету, которую Бригитта заботливо положила на поднос, и едва не пролил чай. То есть я его пролил — только на такие вещи можно больше не обращать внимания. На первой полосе была сенсационная новость. Что ж, этого следовало ожидать, правда? «Лестер-Сити» выиграла Кубок футбольной ассоциации. Нет, кроме шуток, «Лестер-Сити» так-таки взяла и выиграла Кубок футбольной ассоциации! Да вы небось не поверите. Хотя, может, и поверите — в том слу-

чае, если ничего не смыслите в футболе. Но я-то кое-что понимаю в футболе, а за «Лестер-Сити» болею всю жизнь, и если б кто-нибудь сказал мне, что они получили Кубок, я засмеялся бы ему в глаза. Не поймите меня превратно, я люблю свою команду. Это хорошая команда, иногда даже очень хорошая, но им, по-моему, никогда не удавалось осилить ведущие клубы. Чемпионы второй группы — это пожалуйста, сколько угодно, но в первой группе они чемпионами не были. Однажды заняли второе место — да, было такое, ничего не скажешь. Но вот насчет Кубка… ведь это факт, неоспоримый факт, что ни разу с тех пор, как я начал болеть за «Лестер-Сити» (и ни разу *до* того), они не выигрывали Кубка футбольной ассоциации. После войны они довольно регулярно выходили в финал — и не менее регулярно уступали трофей сопернику. 1949, 1961, 1963, 1969 — все это черные годы, и один-два из тех проигрышей, на мой взгляд, можно приписать чистому невезению, особенно я бы выделил… Ладно, вижу, что вы не настолько интересуетесь футболом. Но это неважно, если вы поняли главное: что «Лестер-Сити» никогда не выигрывала ничего, кроме фиги с маслом, а теперь, впервые в истории клуба, им достался Кубок футбольной

ассоциации. Газета сообщала, что матч заставил-таки зрителей поволноваться: «Сити» выиграла 5:4 в дополнительное время, причем до того нагоняла противника в счете ни много ни мало четыре раза. Какой захватывающий спортивный спектакль! Какое блестящее сочетание мастеров и воли к победе! Я был горд своими ребятами. Завтра Бригитта раздобудет мне видеозапись, в этом я не сомневался. А покамест решил сопроводить свой обеденный завтрак глоточком-другим шампанского.

Газеты привели меня в настоящий восторг. Пожалуй, лучше всего я запомнил именно газеты. «Лестер-Сити» выиграла Кубок футбольной ассоциации — ах да, ведь об этом я уже говорил. Врачи нашли средство от рака. Моя партия неизменно побеждала на всеобщих выборах[42] до тех пор, покуда всем не стало ясно, что ее идеология безупречна, и тогда большинство оппозиции перешло на нашу сторону. Старушки каждую неделю богатели на своих нефтяных вкладах. Насильники раскаивались, получали свободу и вели образцово-показательную жизнь. Летчики научились избегать воздушных столк-

---

[42] Сноски: 42
В палату общин.

новений. Ни у одной страны не осталось ядерного оружия. Английский менеджер решил, что вся «Лестер-Сити» *en bloc* будет представлять Англию в розыгрыше Кубка мира, и они привезли домой трофей Жюля Риме (блестяще победив в финале Бразилию со счетом 4:1). Когда вы читали газету, текст бесконечно разворачивался у вас перед глазами, и новостям, соответственно, тоже не было конца. Дети опять стали невинными созданиями; мужчины и женщины прекрасно ладили друг с другом; ни у кого не возникало нужды пломбировать себе зубы; а женские колготки и не думали рваться.

Чем еще я развлекался на этой первой неделе? Как я уже говорил, играл в гольф, занимался сексом, встречался со знаменитыми людьми и все время прекрасно себя чувствовал. Начну хотя бы с гольфа. Вообще-то, я никогда толком не умел играть, но, бывало, шлепал по мячу на общественном поле, где травяное покрытие смахивает на кокосовые циновки и никому не приходит в голову затыкать обратно вырванные комья дерна, потому что на лужайках давным-давно живого места нет, — все равно не разберешь, откуда вылетел твой комок. Но я смотрел по телевизору соревнования на многих известных

полях и всегда хотел поиграть… ну, скажем, в гольф моей мечты. И когда, стоя у начальной метки, я в первый раз нанес полновесный удар драйвером[43] по мячу и увидел, как мяч пролетел ярдов двести, я действительно почувствовал себя на седьмом небе. Все клюшки были мне точно по руке; роскошные лужайки мягко пружинили и подавали мне мяч, словно официант — коктейль на подносе; а мой мальчик для гольфа (раньше у меня никогда не было мальчика, но этот вел себя со мной, как с Арнольдом Палмером) не скупился на полезные советы, не проявляя при этом ни малейшей навязчивости. На самом же поле чего только не встречалось — ручьи, озера и старинные мостики, гряды прибрежных дюн, как в Шотландии, заросли цветущего кизила и азалии из Огасты, буковые рощи, сосны, можжевельник и папоротник. Да, препятствий здесь хватало; но их все-таки можно было одолеть. Тем солнечным утром я закончил партию за 67 ударов — это было на пять больше, чем полагается хорошему игроку, и на двадцать меньше моего личного рекорда на общественном поле.

Я был так доволен своими спортивными успе-

---

[43] Сноски: 43
Одна из разновидностей клюшек для гольфа.

хами, что, придя домой, спросил Бригитту, не займется ли она со мной сексом. Она сказала, конечно, с удовольствием, я очень симпатичный, и хотя она видела только верхнюю половину, она не сомневается, что и нижняя в прекрасном рабочем состоянии; есть, правда, маленькие неувязочки, а именно: она горячо любит другого, и перед приемом на работу ее предупреждали, что половые связи с новоприбывшими караются увольнением, и у нее слабое сердце, так что перенапряжение может оказаться опасным, но если я дам ей пару минут, она прямо сейчас быстренько сбегает и наденет какое-нибудь белье посексуальней. Ну ладно, наедине с собой я взвесил все плюсы и минусы того, что мне предлагается, и когда она вернулась, вся благоухающая и с таким низким вырезом, я сказал ей, что хорошенько подумал и продолжать нам, по-моему, все же не стоит. Она была весьма разочарована и села напротив и скрестила ноги (зрелище, скажу я вам, потрясающее), но я остался непреклонен. И только потом — собственно говоря, на следующее утро — сообразил, что это она дала мне от ворот поворот, а не я ей. Мне еще никогда не отказывали таким приятным способом. Они тут умеют даже плохое превращать в хорошее.

Я прикончил под осетра с жареной картошкой двухлитровую бутыль шампанского (похмелья здесь тоже не бывает) и уже погружался в сон, вспоминая, как ловко мне удалось подкрутить мяч у шестнадцатой лунки, чтобы не дать ему сойти с той верхней зеленой террасы, но тут почувствовал, как кто-то приподнимает мое одеяло. Сначала я решил, что это Бригитта, и немного расстроился, а как же ее сердце, и риск потерять работу, и любовь к другому, но когда я обнял ее и прошептал: «Бригитта?» — мне ответили: «Нет, не Бригитта», и голос был чужой, с такой хрипотцой и иностранным акцентом, а потом и другие признаки убедили меня, что это не Бригитта, хотя и Бригитта была особой, прелестною во многих отношениях. А то, что случилось после — под словом «после» я подразумеваю отнюдь не короткий промежуток времени, — я даже не берусь описать. Скажу лучше так: утром этого дня я завершил партию в гольф за 67 ударов, что было на пять больше показателя хорошего игрока и на двадцать меньше моего личного рекорда, а ночью добился примерно столь же почетного результата. Надеюсь, вы понимаете, что я не хочу критиковать по этой части свою горячо любимую жену; просто когда столько лет уже позади, а

тут еще и дети, и усталость, вам ведь не может не быть друг с другом малость скучновато. Все это по-прежнему очень мило, но ведь вы как бы делаете что-то обязательное, не правда ли? Но вот чего я раньше не знал — так это того, что если в одних случаях секс изматывает обоих партнеров, то в других, наоборот, только придает им обоим сил. Ого! Я и не думал, что мне это по плечу! Я не думал, что это вообще кому-нибудь по плечу! Казалось, мы оба инстинктивно понимали, чего хочет другой. Да, такого мне испытывать не приходилось — надеюсь, у вас не сложится впечатления, будто я критикую свою горячо любимую жену.

Я опасался, что наутро встану усталым, но у меня опять не было ничего, кроме этого приятного чувства насыщения, как после шопинга. Может, мне это просто приснилось? Нет: два длинных рыжих волоса у меня на подушке подтверждали, что все произошло наяву. А их цвет лишний раз доказывал, что моей ночной гостьей была не Бригитта.

— Хорошо спали? — спросила она, войдя ко мне в комнату с завтраком; в ее улыбке мне почудилось какое-то легкое бесстыдство.

— Вчерашний день удался с начала до кон-

ца, — ответил я, пожалуй, с налетом некоторой гордости, так как догадывался, что ей все известно. — Кроме одного, — поспешно добавил я. — Мне было очень грустно слышать, что у вас слабое сердце.

— Ничего, мы еще поскрипим, — сказала она. — На пару тысчонок лет моего мотора хватит.

Мы отправились за покупками (я еще не настолько обленился, чтобы делать их дома), затем я почитал газету, съел ланч, сыграл в гольф, посмотрел экранизацию Диккенса, пытаясь одновременно следить за текстом по книжке, полакомился осетриной с чипсами, выключил свет и вскоре после этого опять занялся сексом. Это был неплохой день, я бы сказал, даже замечательный, и я снова закончил партию за 67 ударов. А если бы не угодил на последнем этапе в заросли кизила — пожалуй, слишком уж я был доволен собой, — мог бы занести в свою личную таблицу рекордов цифры 66 или даже 65.

Так оно все, как говорится, и катилось. Шли месяцы, а то и годы; через некоторое время как-то перестаешь обращать внимание на дату под заголовком газеты. Я понял, что правильно сделал, отказавшись переспать с Бригиттой. Мы стали добрыми друзьями.

— А что будет, — спросил я у нее в один прекрасный день, — когда здесь появится моя жена? — Я должен объяснить вам, что моей горячо любимой жены в ту пору со мной не было.

— Я так и думала, что вы забеспокоитесь на этот счет.

— О, на *этот* счет у меня все в порядке, — сказал я, имея в виду свою ночную гостью, потому что мое теперешнее житье-бытье, по-моему, немножко смахивало на заграничную поездку какого-нибудь бизнесмена, верно? — Я говорю так, знаете ли, — вообще.

— Тут нет никакого «вообще». Это зависит только от вас. И от нее.

— Она не расстроится? — спросил я, на сей раз уже более определенно намекая на свою гостью.

— А она узнает?

— По-моему, кое-какие проблемы все-таки могут возникнуть, — сказал я, снова переключаясь на широкий план.

— Здесь проблем не бывает.

— Вам видней. — Во мне начинала брезжить уверенность, что все утрясется.

Между прочим, у меня давно была такая мечта. Ну, не то чтобы мечта — просто мне очень этого хотелось. Хотелось, чтобы мне вынесли

приговор. Нет, это звучит как-то странно, точно я мечтал, чтобы мне оттяпали голову гильотиной, или высекли, или уж не знаю что. Поймите меня правильно: я хотел, чтобы мне… ну, вынесли приговор. Ведь этого каждому хочется, разве не так? Я хотел какого-то подведения итогов, хотел, чтобы на мою жизнь посмотрели со стороны. Такое бывает с нами только в суде да на приеме у психиатра, но мне не приходилось попадать ни туда, ни сюда, и меня, честно сказать, не слишком огорчало, что я не преступник и не псих. Нет, я обыкновенный человек и хочу того же, чего хотят многие обыкновенные люди. Чтобы на мою жизнь посмотрели со стороны. Понимаете?

Как-то раз я завел подобный разговор со своей подругой Бригиттой, не уверенный, что растолкую ей все это лучше, чем вам, но она поняла меня сразу. Сказала, что это очень распространенное желание и его нетрудно будет исполнить. Так что через пару дней уже подошла моя очередь отправляться. Ради моральной поддержки я попросил ее составить мне компанию, и она согласилась.

Сначала все было как я и ожидал. Там стояло такое старое здание с колоннами и красивым орнаментом, над входом у него были высечены

какие-то длинные изречения — кажется, по-гречески или по-латыни, — а двери охраняли стражи в форме, и я порадовался, что сообразил заказать себе на сегодня новый костюм. Внутри была огромная лестница из тех, что раздваиваются и описывают два больших круга в противоположных направлениях, а потом снова сходятся наверху. И везде сплошной мрамор, и начищенная до блеска латунь, и внушительные панели из красного дерева, где никогда не заведутся древесные черви.

Сама комната была невелика, но тут размеры уже роли не играли. Главное, что у тебя создавался нужный настрой — обстановка была официальная, но не слишком обескураживающая. И в чем-то даже уютная: несмотря на то, что тут делались серьезные дела, бархатные занавески выглядели довольно потрепанными. За столом сидел очень приятный пожилой джентльмен. Немножко похожий на моего отца — нет, пожалуй, скорее на дядюшку. Взгляд дружелюбный, смотрит прямо в лицо; такого, сразу видно, не надуешь. Он сообщил, что прочел все мои бумаги. Здесь же, у его локтя, они и лежали — история моей жизни, все, что я сказал и сделал, передумал и перечувствовал, вся эта сумасшедшая меша-

нина, и хорошее, и плохое. Представляете себе, какая набралась кипа? Я не знал, можно ли мне к нему обращаться, но рискнул. Сказал, ну и лихо же вы читаете. Он ответил, что у него большая практика, и мы с ним малость посмеялись. Потом он взглянул на часы — нет-нет, очень вежливо — и спросил, желаю ли я услышать приговор. Я невольно расправил плечи и сжал кулаки, опустив руки по швам. Потом кивнул и сказал: «Да, сэр», слегка нервничая, сами понимаете.

Он сказал, что у меня все в порядке. Нет, я не шучу, так прямо и сказал: «У вас все в порядке». Я думал, он еще что-нибудь добавит, но он опустил глаза, и я увидел, как его рука потянулась к верхнему документу из другой стопки. Потом он опять глянул на меня, чуть улыбнулся и сказал: «Нет, правда в порядке». Я снова кивнул, и на сей раз он уже окончательно вернулся к своей работе, так что мне больше ничего не оставалось, кроме как уйти. Когда мы вышли оттуда, я признался Бригитте, что немного разочарован, и она сказала, что так говорят почти все, но пусть я не беру этого в голову, и я не стал.

Примерно тогда же я начал встречаться со знаменитыми людьми. Сперва мне мешала робость, и я выбирал только кинозвезд и любимых

спортсменов. Встречался, например, со Стивом Маккуином и Джуди Гарленд; с Джоном Уэйном, Морин О'Салливан, Хамфри Богартом, Джин Тирни (мне всегда страшно нравилась Джин Тирни) и Бингом Кросби. Встречался с Дунканом Эдвардсом и остальными игроками «Манчестер юнайтед», попавшими в мюнхенскую авиакатастрофу. И еще с несколькими ребятами из «Лестер-Сити», — которых помнил по старым матчам, — вам их имена, наверное, ничего не скажут.

Спустя некоторое время я понял, что могу встретиться с кем угодно. Я встретился с Джоном Ф. Кеннеди и Чарли Чаплином, с Мэрилин Монро, президентом Эйзенхауэром, папой Иоанном XXIII, Уинстоном Черчиллем, Роммелем, Сталиным, Мао Цзэдуном, Рузвельтом, генералом де Голлем, Линдбергом, Шекспиром, Бадди Холли, Пэтси Клайн, Карлом Марксом, Джоном Ленноном и королевой Викторией. Почти все они были очень милы — держались, знаете ли, очень естественно и совсем не важничали. Вели себя как обычные люди. Я спросил, нельзя ли устроить встречу с Иисусом Христом, но мне сказали, что тут может выйти заминка, и я не настаивал. Я встречался и с Ноем — правда, нам слегка помешал языковой

барьер, да это и неудивительно. На некоторых людей я хотел только взглянуть. Гитлер, к примеру, — такому, как он, я бы руки не подал, но мне просто дали возможность спрятаться за кустами, когда он проходил мимо в этой своей мерзкой форме, самый что ни на есть живехонький.

Догадываетесь, что случилось потом? Меня начали заедать тревоги. Причем по абсолютно пустячным поводам. Стало, например, беспокоить собственное здоровье. Ну разве не бред? Может, тут была какая-то связь с тем, что Бригитта сказала мне насчет своего слабого сердца, но я вдруг вообразил, будто со мной что-то неладно. Поверите ли? Меня стали донимать всякие дурацкие предчувствия и мысли о том, что я не так питаюсь; я приобрел тренажер для гребли и велосипед, начал делать упражнения с гантелями; отказался от соли и сахара, от животных жиров и пирожных с кремом; даже сократил свою ежедневную порцию «Фифти-фифти» до какой-нибудь половины коробки. На меня накатывали приступы волнения касательно целости моих волос, езды по супермаркету (так ли уж безопасны эти тележки?), моих половых функций и моего счета в банке. Почему меня тревожил мой счет в банке, ведь я этого банка и в глаза не

видел? Я боялся, что моя карточка в магазине вдруг не сработает, мучился размышлениями о предоставленном мне огромном кредите. Чем я его заслужил?

Конечно, большую часть времени я чувствовал себя прекрасно, развлекался шопингом, гольфом, сексом и встречами со знаменитыми людьми. Но иногда думал: а ну как мне нельзя гонять мяч по этим лункам? А ну как на самом деле я не могу себе позволить свое «Фифти-фифти»? Наконец я поделился этими мыслями с Бригиттой. По ее мнению, меня пора было передавать в другие руки. Она свое дело сделала, объяснила Бригитта. Мне стало грустно, и я спросил, что ей купить в знак благодарности. Она сказала, у нее есть все что нужно. Я попробовал написать стихи, потому что «Бригитта» рифмуется с «разбито», но, кроме этого, мне удалось придумать только «закрыто» и «иди ты», и я отказался от своего намерения; да и вообще, решил я, стихи ей уже наверняка дарили и до меня.

Теперь я перешел под опеку Маргарет. На вид она была серьезней Бригитты, в строгом костюме и прическа волосок к волоску — так выглядят финалистки конкурса «Деловая женщина года». Я ее слегка испугался — мне было трудно представить

себе, как можно обратиться к ней с предложением лечь в постель, которое я когда-то сделал Бригитте, — и ждал, что она вот-вот выразит свое неодобрение по поводу того, как я живу. Но ничего подобного, конечно, от нее не услышал. Нет, она только сказала, что я, видимо, уже достаточно здесь освоился, а если мне понадобится что-нибудь большее, чем практическая помощь, то я могу рассчитывать на нее.

— Можно вас спросить, — сказал я ей сразу после нашего знакомства, — я, наверно, зря волнуюсь насчет своего здоровья?

— Это совершенно излишне.

— И насчет денег тоже зря?

— Это совершенно излишне, — повторила она.

В ее тоне я почувствовал намек на то, что можно было бы найти и более серьезные причины для волнений, стоит только как следует поискать; но пока решил с этим не торопиться. Времени у меня впереди хватало. В чем в чем, а во времени здесь никогда недостатка не будет.

Ну вот; честно признаться, я отнюдь не семи пядей во лбу и в своей прежней жизни больше любил просто делать то, что надо было сделать, или то, что мне хотелось сделать, а не ломать голову понапрасну. Это ж нормально, правда? Но

если времени у человека навалом, он обязательно до чего-нибудь да додумается и начнет задавать себе вопросы посерьезнее. Например, кто здесь настоящие хозяева и почему я их ни разу не видел? На их месте я бы устроил какие-нибудь вступительные экзамены или хотя бы иногда выносил нам оценки; но, кроме одного — прямо скажем, не слишком впечатляющего — визита в суд, когда тот старый чудак сообщил мне, что со мной все в порядке, никаких хлопот по этой части у меня не было. Гоняй себе мячик целые дни напролет. Что же, я должен принимать это как само собой разумеющееся? Стало быть, им от меня ничего не нужно?

И потом, эта история с Гитлером. Я сидел за кустами, а он прошагал мимо, приземистый человечек в этой своей мерзкой форме и с фальшивой улыбкой на лице. Прекрасно, я его видел и удовлетворил свое любопытство, но скажите на милость, спрашивал я себя, а что он-то здесь делает? Тоже заказывает завтраки, как и все прочие? Я уже убедился, что ему разрешили носить свою одежду. Стало быть, он может и в гольф играть, и сексом заниматься, когда пожелает? Не слишком ли?

А еще мне до сих пор не давали покоя мои тре-

воги насчет здоровья, денег и езды на тележке по супермаркету. Конкретные вещи меня больше не волновали, меня волновал сам факт, что я волнуюсь. В чем тут причина? Может быть, это не просто легкие неурядицы, связанные с привыканием, как предположила Бригитта?

Мне кажется, что поводом, который наконец побудил меня обратиться к Маргарет за разъяснениями, был гольф. После всех этих долгих месяцев, а то и лет, что я провел на великолепном здешнем поле, изучая его маленькие хитрости и подначки (сколько раз мой мяч улетал в воду на коротком одиннадцатом перегоне!), уже не могло остаться никаких сомнений: я освоил эту игру в совершенстве. Однажды я прямо так и сказал Северьяно, моему бессменному мальчику: «Я освоил эту игру в совершенстве». Он согласился, и только потом, между обедом и сексом, я вдруг начал вдумываться в свои слова. Моим первым результатом было 67 ударов; затем я стал заканчивать партии все быстрее и быстрее. Еще недавно я стабильно делал не более 59 ударов, а теперь, под безоблачным небом, уверенно шел к 50. Моя техника гона абсолютно изменилась, драйвером я без труда посылал мяч на 350 ярдов, а паттером клал его точно в лунку — он падал

туда, словно притянутый магнитом. Я предвкушал, как доведу счет до сорока, потом — вот он, ключевой психологический момент — возьму барьер на отметке 36, то есть в среднем по два удара на лунку, затем пойду вниз к 20. *Я освоил игру в совершенстве*, подумал я и повторил про себя последние слова: *в совершенстве*. На самом деле пока-то я его еще не достиг, но предел моим успехам поставлен. В один прекрасный день я закончу партию за 18 ударов, угощу Северьяно выпивкой, отмечу свое достижение осетром с чипсами, а потом сексом — но что дальше? Разве кто-нибудь, пусть даже здесь, способен закончить партию в гольф за 17 ударов?

В отличие от Бригитты, Маргарет не являлась на вызов, если подергать шнурок с кисточкой; о встрече надо было договариваться по видеофону.

— Меня беспокоит гольф, — начал я.

— Вообще-то, это не моя специальность.

— Неважно. Понимаете, когда я сюда попал, я заканчивал партию за шестьдесят семь ударов. А сейчас уже приближаюсь к пятидесяти.

— И в чем же тут проблема?

— Чем дальше, тем лучше я играю.

— Поздравляю вас.

— И когда-нибудь я наконец пройду все поле за восемнадцать ударов.

— Вы чрезвычайно самоуверенны. — В ее словах мне послышалась издевка.

— Но что мне делать потом?

Она помедлила.

— Может быть, стараться заканчивать за восемнадцать ударов каждую следующую партию?

— Это не годится.

— Почему?

— Не годится, и все.

— Но наверняка ведь есть много других полей…

— Это дела не меняет, — прервал ее я; боюсь, что мои слова прозвучали грубовато.

— Но вы можете заняться каким-нибудь другим спортом, правда? А потом, когда надоест тот, вернуться к гольфу.

— Но это дела не меняет. Когда я закончу партию за восемнадцать ударов, гольф исчерпает себя.

— Есть масса других видов спорта.

— Они тоже себя исчерпают.

— Что вы каждое утро едите на завтрак? — По тому, как она кивнула после моего ответа, я понял, что она и раньше все это знала. — Вот видите.

Каждое утро одно и то же. Завтрак-то ведь вам не надоедает.

— Нет.

— Ну и относитесь к гольфу так же, как к завтраку. Может быть, вам никогда не надоест проходить все поле за восемнадцать ударов.

— Может быть, — с сомнением сказал я. — Сдается мне, вы ни разу не играли в гольф. А потом, есть еще и другое.

— Что именно?

— Насчет усталости. Здесь никогда не устаешь.

— Вас это огорчает?

— Не знаю.

— Усталость мы вам организуем.

— Оно конечно, — ответил я. — Только я уверен, что это будет какая-нибудь приятная усталость. Ничего общего с той жуткой усталостью, от которой помереть хочется.

— А вам не кажется, что вы просто капризничаете? — Ее голос звучал решительно, почти нетерпеливо. — Чего вы хотели? На что надеялись?

Про себя я с ней согласился, и беседа была закончена. Жизнь продолжалась. Эта фраза меня тоже слегка забавляла. Жизнь продолжалась, и я освоил гольф в совершенстве. Еще я занимался

самыми разными вещами:

— совершил несколько морских путешествий;
— учился плавать на каноэ, покорять горные вершины и летать на воздушном шаре;
— подвергался всем мыслимым опасностям и уцелел;
— исследовал джунгли;
— присутствовал на судебном процессе (и остался недоволен приговором);
— пробовал быть художником (получалось вовсе не так плохо, как я думал!) и хирургом;
— влюблялся, конечно же, много раз;
— испытал, каково быть последним человеком на Земле (и первым тоже).

Все это не значит, что я бросил делать то, чем занимался с самого начала. Ко мне приходили все новые и новые женщины, и иногда я спал с несколькими сразу; я ел все более редкие и экзотические блюда; я перевстречался со всеми знаменитыми людьми, каких мне удалось откопать в памяти. Повидал, например, всех футболистов, какие только были. Я начал со знаменитых, затем переключился на тех, которые мне нравились, но не были особенно знаменитыми, потом на средних, потом — на тех, чьи имена

я помнил, хотя не помнил, как они выглядят и как играют; наконец, я стал заказывать встречи с последними игроками, которых еще не видел, — с противными, неинтересными, грубыми игроками, которые мне ни капли не нравились. Встречаться с ними мне никакого удовольствия не доставляло — в жизни они были такими же противными, неинтересными и грубыми, как на поле, — но я хотел оттянуть тот момент, когда все футболисты кончатся. Потом футболисты кончились. Я снова обратился к Маргарет.

— Я повидал всех футболистов, — сказал я.

— Боюсь, я и в футболе мало что смыслю.

— И сны мне не снятся, — добавил я жалобным голосом.

— Зачем они вам нужны, — ответила она. — *Зачем* они вам нужны?

Я чувствовал, что она как бы проверяет меня, хочет выяснить, насколько я серьезен. Может быть, все это действительно нечто большее, чем трудности привыкания?

— По-моему, я заслужил объяснение, — сказал я — признаю́сь, что это вышло у меня чересчур торжественно.

— Спрашивайте, что вам угодно. — Она откинулась на спинку своего рабочего стула.

— Понимаете, я хочу во всем разобраться.

— Похвальное желание. — Она говорила со мной как бы немножко свысока, что ли.

Я решил начать с главного:

— Скажите, это ведь Рай, так?

— О да.

— А как же воскресенья?

— Не понимаю вас.

— По воскресеньям, — объяснил я, — если не ошибаюсь, потому что я здесь не очень-то аккуратно слежу за днями, я играю в гольф, хожу по магазинам, обедаю, занимаюсь сексом и прекрасно себя чувствую.

— Разве это не… замечательно?

— Я не хочу показаться неблагодарным, — осторожно сказал я, — но где же Бог?

— Бог. Вам что, Бог нужен? Вы этого хотите?

— А что, разве важно, хочу я или нет?

— Только это и важно. Значит, вам нужен Бог?

— Честно говоря, я думал совсем по-другому. Честно говоря, я думал, что или Он есть, или Его нет. И хотел узнать, как оно на самом деле. Я не думал, что это от меня как-нибудь зависит.

— Разумеется, зависит.

— Ох.

— Рай в наши дни демократичен, — сказала

она. Потом добавила: — По крайней мере, если вы этого хотите.

— То есть как это — демократичен?

— Мы больше не навязываем Рай людям, — сказала она. — Мы прислушиваемся к их нуждам. Если они его хотят, они его получают; а нет так нет. И к тому же получают именно такой Рай, какой хотят.

— А какого обычно хотят?

— Ну, обычно хотят продолжения жизни, так можно сказать. Только… лучше, сами понимаете.

— Секс, гольф, шопинг, обед, встречи со знаменитыми людьми и прекрасное самочувствие? — спросил я, как бы защищаясь.

— Всякое бывает. Но если откровенно, я не сказала бы, что разница так уж велика.

— Не то что в старые времена.

— Ах, старые времена. — Она улыбнулась. — Я-то их, конечно, не застала, но вы правы, тогда Рай представлялся людям чем-то гораздо более изысканным.

— А как насчет Ада? — спросил я.

— Что насчет Ада?

— Ну, есть он, Ад?

— О нет, — ответила она. — Это была всего-навсего необходимая пропаганда.

— Вот я и засомневался. После встречи с Гитлером.

— С ним многие встречаются. Он тут вроде… туристской достопримечательности, что ли. Ну и как он вам?

— Вообще-то, я с ним не говорил, — твердо сказал я. — Он не из тех, кому я подал бы руку. Я только посмотрел на него из-за кустов.

— Да-да. Такой способ предпочитают очень многие люди.

— Вот я и подумал, если он здесь, стало быть Ада нету.

— Разумный вывод.

— Просто ради любопытства, — сказал я, — а чем он тут занимается? — Я представил себе, как он каждый день ходит на Олимпийские игры тридцать шестого года в Берлине, смотрит, как Джесси Оуэнс падает, а немцы выигрывают все призы, а потом идет есть кислую капусту, слушать Вагнера и развлекаться с пышной блондинкой чисто арийских кровей.

— К сожалению, у нас не принято разглашать чужие секреты.

— Извините. — Это было правильно. Если подумать, я тоже не согласился бы, чтобы все узнали, как я провожу время.

— Так, значит, нет вовсе никакого Ада?

— Есть то, что мы *называем* Адом. Но это больше похоже на парк аттракционов. Ну, знаете — скелеты, которые выскакивают у вас перед носом, ветки в лицо, безвредные бомбы, в общем, всякие такие вещи. Только чтобы вызвать у посетителей приятный испуг.

— То есть испуг обязательно должен быть приятным, — заметил я.

— Ну да. В наше время люди хотят именно этого.

— А вы знаете, какой был Рай в старые времена?

— Старый Рай? Да, мы знаем о Старом Рае. У нас есть архивы.

— Что с ним произошло?

— Он, можно сказать, закрылся. Люди его больше не хотели. Он стал им не нужен.

— Но у меня были знакомые — правда, мало, — которые ходили в церковь, крестили своих детей, не употребляли грубых слов. С ними-то как же?

— Есть у нас и такие. Их тоже обслуживают. Они молятся и благодарят Бога, примерно как вы играете в гольф и занимаетесь сексом. Им, кажется, неплохо, они получили то, что хотели. Мы построили для них несколько очень симпа-

тичных церквей.

— Выходит, для них Бог существует? — спросил я.

— Ну конечно.

— А для меня, значит, нет?

— Похоже, что нет. Если только вы не захотите изменить свои представления о Рае. Тут я вам не помощница. Но могу посоветовать, куда обратиться.

— По-моему, пока у меня и так есть над чем подумать.

— Прекрасно. Тогда до следующего раза.

Той ночью я спал плохо. Моя голова не была занята сексом, хотя все они старались как могли. Не желудок ли в этом виноват? Наверное, я переел осетрины? Ну вот, пожалуйста, — я снова начал тревожиться за свое здоровье.

Наутро я пошел играть в гольф и закончил круг за 67 ударов. Мой мальчик Северьяно вел себя так, словно это моя лучшая партия, как будто не знал, что я могу сделать на 20 ударов меньше. После этого я навел необходимые справки и отправился к единственному облачку на горизонте. Как я и ожидал, Ад оказался никуда не годным; гроза над автомобильной стоянкой удалась им лучше всего. Там были безработные актеры, ко-

торые протыкали других безработных актеров длинными вилами и окунали их в бочонки с надписью: «Кипящее масло». Фальшивые звери с пристегнутыми клювами клевали трупы из пористой резины. Я видел Гитлера, который ехал на Призрачном Поезде, держа под мышкой *Mädchen* с косичками. Еще там были летучие мыши, и скрипящие крышки гроба, и запах гнилых половиц. Так, значит, вот чего хотят люди?

— Расскажите мне про Старый Рай, — попросил я Маргарет на следующей неделе.

— Он в основном соответствовал вашим описаниям. Я имею в виду сам принцип Рая: вы получаете то, чего хотите, то, чего от него ждете. Я знаю, что некоторые думают иначе: будто бы в Раю человек должен получать по заслугам, но такого никогда не бывало. Нам приходится их разочаровывать.

— И что, они огорчаются?

— Как правило, нет. Людям больше нравится получать то, чего они хотят, а не то, чего они заслуживают. Хотя кое-кто из них проявлял недовольство тем, что другие не были примерно наказаны. Видимо, в их представление о Рае входило и то, что остальные должны попасть в Ад. Не очень-то это по-христиански.

— А они… становились бесплотными? Превращались в чистый дух и всякое такое?

— Да, разумеется. Они же этого хотели. Во всяком случае, в определенные эпохи. Мода на развоплощение — вещь очень нестойкая. Сейчас, например, очень многие предпочитают сохранять свое собственное тело и свою индивидуальность. Хотя и это, скорее всего, чисто временное явление.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил я.

Она меня удивила. Я думал, что Маргарет, как и Бригитта, служит всего-навсего источником информации. Однако она явно имела свое мнение о происходящем и не скрывала этого.

— Просто иногда кажется забавным, что люди так цепляются за свое тело. Бывают, конечно, просьбы о незначительных операциях. Но это выглядит так, словно от идеального представления о себе их отделяет только неправильный нос, или морщинки на лице, или горсть силикона.

— И что же случилось со Старым Раем?

— Он еще немного продержался после того, как открыли новый. Но спрос на него постоянно падал. Новый Рай нравился людям больше. Что ж, ничего удивительного. Мы ведь смотрим далеко вперед.

— А что случилось с обитателями Старого Рая?

Маргарет пожала плечами с самодовольным видом, точно глава планового отдела какой-нибудь корпорации, чьи прогнозы оправдались с точностью до последнего десятичного знака.

— Вымерли.

— То есть как это? Вы хотите сказать, что закрыли Старый Рай и поэтому они вымерли?

— Нет-нет, что вы, наоборот. У нас тут другие законы. По конституции Старый Рай должен функционировать до тех пор, пока он нужен его обитателям.

— А кто-нибудь из его обитателей еще жив?

— По-моему, да, но их очень мало.

— Можно мне встретиться хотя бы с одним?

— К сожалению, они никого не принимают. Раньше принимали. Но люди из Нового Рая обычно вели себя как в увеселительном парке с уродцами, показывали пальцем и задавали глупые вопросы. Поэтому обитатели Старого Рая отказались встречаться с ними. Стали говорить только друг с другом. Потом начали вымирать. Теперь их уже совсем немного. Мы им, конечно, ведем учет.

— А они бесплотные?

— Кто да, а кто и нет. Зависит от секты. Тем, кто

бесплотен, разумеется, нетрудно избегать встреч с обитателями Нового Рая.

Ну что ж, какой-то резон в этом был. Резон был во всем, кроме самого главного.

— А что вы имели в виду, когда сказали, что другие вымерли?

— Каждому предоставлена возможность умереть, если он захочет.

— А я и не знал.

— Вот видите, тут есть свои маленькие сюрпризы. Неужели вы действительно хотели бы знать все наперед?

— А как они умирают? Накладывают на себя руки? Или вы их убиваете?

Маргарет была заметно шокирована такими грубыми предположениями.

— Боже мой, нет. Я же сказала: у нас демократия. Хотите умереть — умирайте. Просто надо хотеть этого достаточно долго, и тогда оно происходит само собой. Смерть больше не является делом случая или горькой неизбежностью, как было в первый раз. Воля человека для нас закон, вы ведь и сами это заметили.

Я не был уверен, что правильно все понял. Мне надо было пойти и переварить услышанное.

— Скажите, — спросил я, — а эти мои пере-

живания насчет гольфа и прочего — они как, и у других тоже бывают?

— В общем-то, да. Люди часто просят у нас, например, плохой погоды или каких-нибудь неприятностей. Они скучают по неприятностям. Некоторые просят боли.

— Боли?

— Ну да. Вот вы, скажем, как-то жаловались, что у вас не бывает такой усталости, от которой — по вашему же выражению — помереть хочется. Ваши слова показались мне любопытными. Люди просят боли, и не так уж редко. Кое-кто даже настаивает на операции. Не на косметической, а на серьезной.

— И вы соглашаетесь?

— Только если они упорствуют. Сначала мы пробуем убедить их, что желание оперироваться на самом деле обусловлено чем-то другим. Обычно нам это удается.

— А сколько людей используют возможность умереть?

Она посмотрела на меня спокойно, точно призывая не волноваться.

— Да все сто процентов, конечно. Через много тысячелетий, разумеется, если считать по-старому. Но раньше или позже эту возможность

использует каждый.

— Так, стало быть, тут все как в первый раз? В конце концов обязательно умираешь?

— Да, но не забывайте, что качество жизни здесь значительно выше. Люди умирают не прежде, чем сами решат расстаться с жизнью. Во второй раз это гораздо более приемлемо, чем в первый, потому что совершается добровольно. — Она помедлила, затем добавила: — Как я уже говорила, мы прислушиваемся к нуждам людей.

Я ее не винил. Не в моих это привычках. Я просто хотел разобраться, как у них тут все устроено.

— Выходит… что даже верующие люди, которые попали сюда затем, чтобы вечно славить Бога… выходит, что через несколько лет, или веков, или тысячелетий они тоже сдают позиции?

— Вы правы. Я говорила вам, что у нас еще есть обитатели Старого Рая, но их число постоянно сокращается.

— А кто начинает просить смерти раньше всех?

— Мне кажется, «просить» — не то слово. Не просить, а хотеть. Ошибок тут не бывает. Если вы достаточно сильно этого хотите, вы умираете — вот главное правило.

— Ага.

— Ну да. А насчет вашего вопроса — боюсь, что раньше всех начинают желать смерти люди, немного похожие на вас. Те, кто хочет заполнить вечность сексом, пивом, наркотиками, гоночными автомобилями и так далее. Сначала они не могут поверить в свое везение, а через несколько столетий не могут поверить в свое невезение. Начинают понимать, что такие уж они люди. Слишком стремятся быть самими собой. Тысячелетие за тысячелетием — и все самими собой. Вот они-то обычно и умирают скорее прочих.

— Я никогда не принимаю наркотиков, — твердо сказал я. Она меня крепко обидела. — И автомобилей у меня всего семь. По здешним меркам это не так уж много. И езжу я, между прочим, довольно тихо.

— Конечно, конечно. Я просто имела в виду общий характер развлечений, понимаете.

— А кто держится дольше всех?

— Что ж, отдельные обитатели Старого Рая оказались весьма твердыми орешками. Молитва помогала им коротать век за веком. А сейчас… да вот юристы, например. Они любят разбирать свои старые дела, а потом чужие. Это может тянуться до бесконечности. Фигурально выражаясь, —

быстро добавила она. — И ученые — те тоже крепкий народ. Сидят и читают все книги, какие только есть на свете. И еще обожают спорить о них. Некоторые из этих споров, — она подняла глаза к небу, — длятся тысячелетиями. Похоже, что споры о книгах помогают их участникам сохранять молодость.

— А как насчет тех, кто пишет книги?

— Они не дотягивают и до половины того срока, какой выпадает на долю спорщиков. И художники с композиторами тоже. Они как-то чувствуют, когда их лучшее произведение уже создано, а потом потихоньку угасают.

Казалось бы, все это должно было испортить мне настроение, но я ничего подобного не замечал.

— Разве это не должно меня угнетать?

— Нет, конечно. Вы же здесь для того, чтобы наслаждаться. Вы получили, что хотели.

— Вроде бы так. Может, я просто не могу привыкнуть к мысли, что когда-нибудь тоже захочу умереть.

— Всему свое время, — сказала она деловито, но дружелюбно. — Всему свое время.

— Кстати, последний вопрос. — Я видел, как она играет своими карандашами, раскладывает

их в ряд. — А вы-то, собственно, кто такие?

— Мы? Вообще-то, мы очень похожи на вас. Мы могли бы быть вами. А может, мы и есть вы.

— Если получится, я еще вернусь, — сказал я.

Несколько следующих веков — я говорю ориентировочно, потому что бросил считать время по-старому, — ушли у меня на серьезные занятия гольфом. Наконец я добился стабильного результата в 18 ударов, и восторги моего мальчика стали обыденным явлением. Тогда я сменил гольф на теннис. Довольно скоро я побил все знаменитые ракетки мира на глине, траве, бетоне, дереве, ковре — на любых покрытиях по их выбору. Я оставил теннис. Я сыграл за «Лестер-Сити» в финале Кубка и получил медаль лучшего игрока (мой третий гол, забитый с двенадцати ярдов мощным ударом головой, решил судьбу матча). Я нокаутировал Роки Марчиано в четвертом раунде на ринге в Медисон-сквер-гарден (последние раунд-другой я немножко поиздевался над ним), снизил рекорд марафона до 28 минут, стал чемпионом мира по дартз; результат, который я показал во встрече с крикетистами Австралии на стадионе «Лордс» (мои 750 перебежек за один тур надолго останутся рекордом), будет превзойден еще не скоро. Через некоторое время мне наскучили и олимпийские

золотые медали. Я оставил спорт.

После этого я серьезно увлекся шопингом. Я съел больше разных тварей, чем их плавало на Ноевом ковчеге. Перепробовал все марки пива в мире, не считая изобретенных лично мной, стал знатоком вин и насладился самыми редчайшими их сортами; они кончились слишком быстро. Знаменитостей, с которыми я встречался, не перечесть. Я занимался сексом с огромным количеством партнеров и огромным количеством способов, но существует всего-навсего столько-то партнеров и столько-то способов. Между прочим, не поймите меня неправильно: каждый день приносил мне массу удовольствия. Просто я теперь знал, что делаю. Я искал выхода.

Я решил комбинировать развлечения и начал заниматься сексом со знаменитостями (я не скажу вам, с кем именно, — они просили меня держать это в секрете). Одно время я даже читал книги. Я помнил слова Маргарет и пробовал — всего пару столетий, не больше — спорить об этих книгах с другими людьми, которые тоже их читали. Но такая жизнь показалась мне довольно скучной, во всяком случае, по сравнению с самой жизнью, и продлевать ее явно не стоило. Пытался я и войти в круг тех людей, которые пели и

молились в церквях, но понял, что мне это не по нутру. Однако прежде, чем отправиться на свой последний (я знал это) разговор с Маргарет, я должен был перебрать все что можно. Она выглядела почти так же, как несколько тысячелетий назад, когда мы увиделись впервые; правда, я и сам мало изменился.

— У меня есть идея, — сказал я. Что ж, за такой срок грех ничего не придумать, верно? — Послушайте, если в Раю можно получить все что хочешь, тогда я хочу никогда не уставать от вечности! — Довольный собой, я откинулся в кресле. К моему удивлению, она кивнула, почти ободряюще.

— Если угодно, попробуйте, — сказала она. — Я выпишу вам бумагу о переводе в такое состояние.

— Но?.. — спросил я, зная, что есть и *но.*

— Я выпишу вам бумагу, — повторила она. — Это пустая формальность.

— Сначала скажите мне про *но*. — Я не собирался грубить ей. Но, с другой стороны, не хотел и маяться несколько тысячелетий, если она может сэкономить мне это время.

— Такие попытки уже были, — сказала Маргарет сочувственным тоном, словно ей по-настоя-

щему жаль было меня огорчать.

— И что же не вышло? В чем тут *но?*

— Видите ли, здесь имеется логическое противоречие. Вы не можете стать кем-то иным, не прекратив быть тем, кто вы есть. А этого еще никому вынести не удавалось. Во всяком случае, пока, — добавила она, как бы подразумевая, что я могу оказаться первым, кто решит эту проблему. — Какой-то из моих прежних собеседников — очевидно, он, как и вы, увлекался спортом, — сказал, что одно дело быть бегуном, и совсем другое — вечным двигателем. Рано или поздно вам снова захочется бежать. Согласны?

Я кивнул.

— И все, кто это пробовал, попросились назад?

— Да.

— А после они все использовали возможность умереть?

— Ну да. И скорее раньше, чем позже. Кажется, кое-кто из них еще жив. Я могу попросить их переговорить с вами.

— Мне достаточно вашего слова. Я знал, что тут должна быть какая-то неувязка.

— Простите.

— Нет-нет, не извиняйтесь.

На здешний сервис я никак не мог пожаловать-

ся. Все были вежливы со мной с самого начала. Я сделал глубокий вдох.

— Мне кажется, — снова заговорил я, — что Рай — это прекрасная идея, даже, может быть, безупречная идея, но она не для нас. Не так мы устроены.

— У нас не принято влиять на чужие выводы, — сказала она. — Но я вас вполне понимаю.

— Тогда зачем это все? Зачем нам Рай? Зачем нам эти мечты о Рае? — Похоже было, что ей не очень хочется отвечать, возможно, для нее это значило превысить свои полномочия; но я упер-ся. — Намекните хоть, что вы об этом думаете?

— Может быть, вам это нужно, — предполо-жила она. — Может быть, вы не прожили бы без такой мечты. Стыдиться тут нечего. По-моему, это вполне нормально. Правда, если бы вы знали о Рае заранее, вы, наверно, не очень стремились бы сюда.

— Ну, это еще вопрос.

Ведь все было действительно очень здорово: шопинг, гольф, секс, встречи со знаменитыми людьми, и ни болезней, ни смерти.

— Всегда получать то, что хочешь, или никогда не получать того, чего хочешь, — в конце концов, разница не так уж и велика.

На следующий день, решив тряхнуть стариной, я еще раз сыграл в гольф. Партия прошла безупречно: восемнадцать лунок, восемнадцать ударов. Мое умение осталось при мне. Потом я съел завтрак на ланч и завтрак на обед. Посмотрел видеозапись финала Кубка, в котором «Лестер-Сити» победила 5:4, хотя с учетом прошлых событий эта запись была уже не совсем та. Выпил чашечку горячего шоколада с Бригиттой, которая любезно заглянула навестить меня; позднее занялся сексом, правда, только с одной женщиной. После чего вздохнул и перекатился на другой бок, зная, что завтра утром наступит время принять решение.

Мне снилось, что я проснулся. Это самый старый сон, и я только что видел его опять.

Примечание автора

В главе третьей нашли отражение характер судопроизводства и действительные случаи, описанные в книге Э. А. Эванса «Уголовное преследование и смертная казнь животных» (1906). Первая часть главы пятой заимствует факты и язык из перевода «Отчета о путешествии в Сенегал» Савиньи и Корреара, вышедшего в Лондоне в 1818 г.; вторая часть опирается на образцовый труд Лоренца Эйтнера «Жерико: жизнь и творчество» (Orbis, 1982). Факты, приведенные в третьей части главы седьмой, почерпнуты из «Путешествия проклятых» Гордона Томаса и Макса Моргана-Уиттса (Hodder, 1974). Я благодарен Ребекке Джон за большую помощь в моих изысканиях; Аните Брукнер и Говарду Ходжкину за консультации по истории искусств; Рику Чайлзу и Джею Макинерни за корректировку языка моих американских персонажей; доктору Джеки Дэвис за пояснения, касающиеся хирургии; Алану Хауарду, Галену Строусону и Редмонду О'Ханлону; а также Гермионе Ли.

Дж. Б.

Англия, Англия[44]

Посвящается Пат

[44] Сноски: 44
Перевод С. Силаковой.

I. Англия

— Какое у тебя самое первое воспоминание? — спрашивал кто-нибудь.

И всякий раз она отвечала:

— Не помню.

Обычно собеседник решал, будто она шутит; некоторые принимали шутку на свой счет и обижались. Но она говорила абсолютно серьезно. Как на духу.

— Да-да, по себе знаю, — отзывались утешители, всегда готовые разъяснить и упростить. — Из-за всякого самого первого воспоминания выглядывает другое, еще более раннее, но выудить его невозможно.

Опять мимо; она-то подразумевала совсем другое. Первое воспоминание не чета первому лифчику, или первому мальчику, или первому поцелую, или первому совокуплению, или первому браку, или первому ребенку, или первой смерти родителя, или первой внезапной догадке, что человек на этом нашем свете обречен, убог и сир. Первое воспоминание — совсем другое дело. Не путайте его с твердыми, хватабельными вещами. Конечно, даже вещи время может с течением лет

приукрасить (кропотливо и иронично, как только оно умеет), присобачивая всякие эффектные детали: шифоновый лоскуток тумана, грозовую тучу, диадему, — но бесследно исключить вещь из инвентарной описи… нет, такое времени не по плечу. Воспоминание — уже по определению не вещь, воспоминание — это… воспоминание. В данном случае — воспоминание о чуть более раннем воспоминании о предшествующем воспоминании об очень давнем воспоминании. Итак, люди четко помнят некое лицо, колени, на которых подпрыгивали, весенний лужок; собаку, бабушку, плюшевую зверюшку, которую слюнявили и жевали, пока не отгрызли ей ухо; они помнят коляску, как выглядит мир из коляски, как упали из коляски и стукнулись головой о перевернутый цветочный горшок, который подставил брат, чтобы, взобравшись на этот пьедестал, увидеть новоиспеченного родственничка (правда, много лет спустя у них появляются подозрения, что брат нарочно разбудил их и стукнул головой о горшок в приступе первобытной братоубийственной зависти…). Все это люди помнят уверенно и однозначно, но чем бы ни были эти первые воспоминания — чужим рассказом, благостной фантазией или подспудно

спланированной попыткой ухватить слушателя двумя пальцами за сердце и, ущипнув, оставить синяк, из которого разовьется гематома любви, — каковы бы ни были их причины и следствия, она им не верила. Марте Кокрейн было суждено прожить долгую жизнь и за все эти годы ни разу не встретить первого воспоминания, которое не показалось бы ей ложью.

И потому она сама тоже лгала.

Ее первое воспоминание, рассказывала она, вот какое: она сидит на кухонном полу, покрытом циновкой из рафии, слабого плетения, дырчатой такой — эти дырки можно было расширять, засовывая в них ложку, и получать за это по шее, — чувствует себя в полной безопасности, потому что где-то на заднем плане вполголоса напевает мама — за стряпней она всегда пела старые песни, а не те, которые в другое время любила слушать, и даже сейчас, если, включив радио, Марта слышит «Ты просто блеск», или «Соберемся у реки», или «Ночью и днем», она тут же ощущает запах крапивного супа или жареного лука, ну не странное ли дело? — да, ведь была и такая еще, «Странное, странное, самое странное дело — любовь», которая всегда означала для нее моментально очищенный и выжатый в чашку

апельсин, — а вокруг, разложенный на циновке, валяется ее пазл «Графства Англии»: мама, решив помочь, собрала всю внешнюю часть и море, и на ее долю остался незаполненный контур страны, чудной кусочек циновки, немного похожий на толстобрюхую старушку, сидящую вытянув вперед ноги на скамейке: ноги — это был Корнуолл, хотя, разумеется, это она теперь додумывает, она и слова такого не знала, «Корнуолл», или какого цвета деталь, да вы сами в курсе, как дети обращаются с головоломками — просто хватают первую попавшуюся деталь и силятся затиснуть в проем, так что она наверняка сгребла Ланкашир и попыталась навязать ему роль Корнуолла.

Да, это и было оно, ее первое воспоминание, ее первая искусно и невинно смонтированная ложь. И часто отыскивался человек, у которого в детстве был тот же пазл, и начинался добродушный спор: с какой детали обычно начинали — как правило, это был Корнуолл, но иногда Гемпшир, потому что Гемпшир с прицепом из острова Уайт выдавался в море и его дырка легко опознавалась, а после Корнуолла или Гемпшира шла Восточная Англия, поскольку Норфолк и Суффолк сидели друг у друга на голове, как брат с сестрой, или прижимались друг к дружке,

как муж с женой, совокуплялись лежа, взгромоздившись один на другого, — также их можно сравнить с половинками лесного ореха. Затем — Кент, предостерегающе указующий то ли пальцем, то ли носом на Континент: берегитесь, туземцы начинаются с Кале! Оксфордшир, который, заигравшись в ложки с Бекингемширом, давит Беркшир в лепешку; Ноттингемшир и Дербишир — точно лежащие бок о бок морковки или сосновые шишки; гладкий, как морской лев, силуэт Кардигана. Они припоминали, что большинство крупных, ясных-понятных графств было по краям, и, когда их рассуешь, в середине остается обескураживающая лужица для всяческой странно очерченной мелкоты, и вечно забываешь, куда девать Стаффордшир. А затем они пытались вспомнить цвета графств, которые в детстве казались такими же важными, как имена, а теперь, сто лет спустя… Корнуолл был, кажется, розовато-лиловый, а Йоркшир — желтый, а Ноттингемшир — коричневый, или это Норфолк был желтый, если только я его не путаю с братом Суффолком?

Воспоминания такого сорта при всей их неточности были менее лживы.

Но вот другое, думала она, может быть, и

правдивое, необработанное воспоминание: она поднялась в своем развитии с кухонного пола до кухонного стола, и ее пальцы теперь проворнее перекладывали графства, были аккуратнее и честнее — не пытались силой сделать из Сомерсета Кент, — и она обычно вставляла прибрежные детали по порядку, по кругу: Корнуолл, Девон, Сомерсет, Монмутшир, Гламорган, Кармартен, Пемброкшир (поскольку Англия включала в себя и Уэльс, толстое брюхо старушки) — и так вновь до Девона, а потом заполняла остальные дырки, оставив на закуску капризные Центральные графства… И вот, разложив по местам все детали, какие были, она обнаруживала: одной не хватает. Как правило, то была одна из нижеперечисленных: Лестершир, Дербишир, Ноттингемшир, Уорикшир или Стаффордшир, и потому Марту захлестывало чувство отчаяния, поражения в бою, разочарования в этом несовершенном мире, пока папа, который в этот момент непременно болтался где-то неподалеку, не находил потерянное графство в самом неожиданном месте. Что забыл Стаффордшир в кармане папиных брюк? Как он туда забрался? Она, случайно, не заметила, как Стаффордшир туда скакнул? А может, его там кошка спрятала? А она, твердя «не-а» и мотая го-

ловой, улыбалась ему, потому что Стаффордшир нашелся и в ее головоломке, в ее Англии, в ее сердце больше не зияет ни одной дыры.

Воспоминание было подлинное, но Марта все равно сомневалась; подлинное-то подлинное, но как насчет необработанности? Марта знала, что эта сцена произошла в реальности, поскольку она повторялась несколько раз; и, слившись, все эти конкретные инциденты утратили свои отличительные черты, которые ей теперь приходилось выдумывать из головы, вроде того случая, когда отец выходил под дождь и вернул ей Стаффордшир размокшим или когда он загнул угол Лестершира. Детские воспоминания — это сны, которые остаются с тобой после пробуждения. Сны ты смотрела всю ночь или в течение долгих, солидных отрезков ночи, и, однако, проснувшись, обнаруживаешь, что у тебя осталось лишь воспоминание о том, как тебя покинули или предали, поймали в ловушку, бросили на ледяной равнине; а иногда вообще ничего — лишь гаснущий отблеск чувств, вызванных забытыми событиями.

Был и еще один резон для недоверия. Если воспоминание — не вещь, но воспоминание о воспоминании о воспоминании, череда отража-

ющихся друг в друге зеркал, тогда рассказ твоего мозга о том, что, по его утверждению, когда-то имело место, будет окрашен всем произошедшим за истекший период. Так вспоминает свою историю любая страна: не бывает прошлого как такового, прошлое — это то, на фоне чего современный период может считаться вполне нормальной эпохой. Это верно и для индивидов, хотя в их случае процесс преобразования реальности, очевидно, не столь прямолинеен. Те, кто разочаровался в жизни, что они вспоминают — идиллию или, наоборот, то, что оправдывает неутешительный финал их биографий? А те, кто доволен своей жизнью, возвращаются ли они в мыслях к былому изобилию или же к мигу героического преодоления красивых препятствий? Между человеком внутренним и человеком внешним всегда затесывается посредник — отдел продаж и маркетинга, ведомство пропаганды.

Хронический самообман здесь тоже налицо. Ибо даже если ты раскусила все эти фокусы, постигла развращенность и коррумпированность структуры под названием «память», на дне твоей души все равно живет вера в эту непорочную, неподдельную вещь — да, вещь, которую ты именуешь воспоминанием. В университете Марта

сдружилась с Кристиной, девушкой из Испании. Общая история их стран — по крайней мере, ее спорный период — была отделена от современности несколькими веками; но все равно, когда, дружески подначивая Марту, Кристина заявила: «Фрэнсис Дрейк был пират», Марта возразила: «Ничего подобного», так как знала: он был Английский Герой, Сэр и Адмирал, а следовательно, Джентльмен. Когда же Кристина, посерьезнев, повторила: «Он был пират», Марта сочла эту фразу необходимым, утешительным измышлением побежденных. Позднее она нашла Дрейка в одной английской энциклопедии, и, хотя слово «пират» в статье не фигурировало, термины «капер» и «добыча» встречались часто; Марта отлично понимала, что «капера, который вернулся с богатой добычей», кто-нибудь да назовет «пиратом», и все равно сэр Фрэнсис Дрейк остался для нее Английским Героем, не осквернённым ее новыми познаниями.

Итак, оглядываясь на свою жизнь, она видела четкие и важные воспоминания, которым не доверяла. Что может быть ярче и памятнее того дня на сельскохозяйственной выставке? День игривых облаков на чопорной синеве. Родители осторожно взяли ее за руки и подкинули вы-

соко в небо; когда же она приземлилась, купы травы запружинили под ногами, как трамплин. Белые павильоны с полосатыми портиками, построенные не менее добротно, чем дома викариев. За ними — холм, с которого беззаботные замурзанные животные глядели свысока на своих холеных взнузданных родичей на выставочной арене в ложбине. Запах из черного хода пивного павильона, когда усилилась жара. Очереди к общественным туалетам и запах, мало отличавшийся от пивного. Картонные беджи распорядителей, свисающие с пуговиц клетчатых рубашек из искусственной фланели. Женщины, расчесывающие шелковистую шерсть коз, мужчины, гордо катящие на тракторах-ветеранах, ревущие дети, падающие с пони, пока на заднем плане проворные фигуры заколачивают дыры в заборе. Работники «Скорой помощи Святого Иоанна», ожидающие, пока кто-нибудь упадет в обморок, свалится с каната или схватится за сердце; ожидающие беды.

Но ничего плохого не случилось — только не в тот день, только не в ее воспоминании о том дне. И много десятилетий она хранила брошюру со списками — эту странную поэму, которую выучила почти наизусть. «Реестр номинаций

премии приходского сельскохозяйственно-садоводческого общества». Всего-то две дюжины страниц в красном бумажном переплете, но для Марты — нечто несравнимо большее: книжка с картинками, хотя в ней содержались лишь слова; фермерский альманах на круглый год; травник аптекаря; волшебная шкатулка — суфлерский экземпляр ее памяти.

Три морковки – длинные.
Три морковки – короткие.
Три репы – форма произвольная.
Пять картофелин – продолговатые.
Пять картофелин – круглые.
Шесть штук фасоли обыкновенной.
Шесть штук фасоли огненно-красной.
Девять штук фасоли карликовой.
Шесть шалотов – крупные красные.
Шесть шалотов – маленькие красные.
Шесть шалотов – крупные белые.
Шесть шалотов – маленькие белые.
Овощи – коллекция-ассорти. Шесть разных родов. Цветную капусту выставлять строго со стеблями.
Поднос с овощами. Поднос разрешается украсить, но исключительно петрушкой.

20 колосьев пшеницы.

20 колосьев ячменя.

Кусок дерна со вновь засеянного пастбища в помидорном ящике.

Кусок дерна с постоянного пастбища в помидорном ящике.

Обследованных ветеринаром коз необходимо вести на узде, ПОСТОЯННО сохраняя двухъярдовую дистанцию между ними и необследованными козами.

Все выставляемые козы должны быть самками.

Козы, выставляемые в номинациях 164 и 165, должны прежде выносить козленка; козленком считается детеныш козы с рождения до двенадцатимесячного возраста.

Банка варенья.

Банка джема фруктового жидкого.

Банка сыра лимонного.

Банка желе фруктового.

Банка лука маринованного.

Банка майонеза сливочного.

Корова фризская дойная.

Корова фризская стельная.

Телка фризская дойная.

Телка фризская неразвязанная, у которой видно не более 2 резцов.

Особей крупного рогатого скота, обследованных на туберкулез и признанных здоровыми, необходимо вести на узде, ПОСТОЯННО сохраняя трехъярдовую дистанцию между ними и необследованными особями.

Не все слова Марта понимала, а правила вообще оставались непостижимы, но в списках — в их спокойной упорядоченности, в их полноте — было нечто, пробуждавшее в ней чувство удовлетворенного спокойствия.

Три георгина, декоративные, более 8 д. – в трех вазах.

Три георгина, декоративные, 6–8 д. – в одной вазе.

Четыре георгина, декоративные, 3–6 д. – в одной вазе.

Пять георгинов, мини-шар.

Пять георгинов «Помпон», менее 2 д. в диаметре.

Четыре георгина кактусовых, 4–6 д. – в одной вазе.

Три георгина кактусовых, более 8 д. – в

трех вазах.

Весь мир георгинов охвачен. Ничто не осталось неучтенным.

Надежные руки родителей раскачивали ее до самого неба. Она шла между отцом и матерью по дощатым настилам, под парусиновыми тентами, сквозь горячий, пропахший травами воздух; с авторитетностью творца она зачитывала вслух строки из своей книжечки. Ей казалось, что лежащие перед нею экспонаты смогут существовать по-настоящему, лишь когда она назовет их по именам и распределит по категориям.

— А тут что такое, мисс Мышка?

— Два семь ноль. Пять яблок для варки.

— Похоже на правду. Действительно, пять штук. Интересно, какой они формы.

Марта вновь справлялась с брошюрой.

— Форма произвольная.

— Отлично-отлично. Яблоки для варки произвольной формы — запомни, потом спросим в лавке. — Отец делал серьезное лицо, но мать всякий раз начинала смеяться и совершенно без всякой надобности поправлять Марте волосы.

Они видели овец, зажатых между ногами огромных, с литыми бицепсами мужчин и осво-

бождаемых из своих шерстяных дорожных пальтишек одним кратким «ж-ж-ж» летучих ножниц; в проволочных клетках сидели взволнованные кролики, такие огромные и чисто отмытые, что казались ненастоящими; затем шли «Парад крупного рогатого скота», «Конкурс на лучший маскарадный костюм для наездника» и «Бега терьеров». Внутри душных палаток — пироги на сале, ячменные лепешки, эклсские слойки и блинчики с сиропом; яйца по-шотландски, располовиненные, как аммониты; пастернак и морковь ярдовой длины с тонкими, как свечные фитильки, кончиками; блестящие луковицы, связанные бечевками за шейки, чтобы не убежали; наборы из пяти яиц и шестого, надбитого, выложенного на отдельную тарелку для судьи; разрезанная свекла — с годовыми кольцами, как у деревьев.

Но лишь фасоль мистера Э. Джонса озарила ее душу — и тогда, и позже — и доселе продолжает озарять, как святые мощи. За первое место давали красные карточки, за второе — синие, а за поощрительный приз — белые. Все красные карточки за всю фасоль собрал мистер Джонс. «Девять штук фасоли огненно-красной — форма произвольная», «Девять штук фасоли вьющейся

— круглые», «Девять штук фасоли карликовой — плоские», «Девять штук фасоли карликовой — круглые», «Девять штук фасоли обыкновенной белой», «Девять штук фасоли обыкновенной зеленой». Также он получил премию за «Девять стручков гороха» и «Три морковки — короткие», но они Марту уже не заинтересовали. Потому что с фасолинками мистер Джонс проделал один фокус. Он разложил их на лоскутах черного бархата.

— Совсем как витрина ювелира, правда, милая? — сказал ее отец. — Кто хочет новые серьги?

Он потянулся к «Девяти карликовым фасолинкам — круглым» мистера Э. Джонса, мать захихикала, а Марта сказала: «Не надо», довольно громко.

— Ну хорошо, мисс Мышка. Не надо так не надо.

Зря он это сделал, даже если и не взаправду. Не смешно. Мистер Э. Джонс умел показать фасолинку с самой лучшей стороны. Ее цвет, ее пропорции, ее сглаженность. А девять фасолинок — красивее в девять раз.

В школе они декламировали нараспев. Они сидели по четверо в ряд, одетые в зеленую форму, совсем как фасолинки в стручках. Восемь ног

— круглые, восемь ног — короткие, восемь ног — длинные, восемь ног — произвольной длины.

Каждый день начинался с религиозных декламаций, которые Марта Кокрейн фальсифицировала. Затем шли сухие иерархические декламации из области математики и туманные поэтические. Но самыми странными и пылкими были декламации по истории. Здесь в них воспитывали горячую веру, которая была бы неуместна на утреннем молитвенном собрании. Религиозные декламации произносились невнятной скороговоркой; но на истории мисс Мейсон — жирная, как курица, и старая, как несколько веков, — руководила ритуалом, словно величавая жрица, задавала ритм, дирижировала своими певчими.

> До Рождества Христова пятьдесят пять (хлоп-хлоп в ладоши) Римляне Англию пришли завоевать.
>
> Один ноль шестьдесят шесть (хлоп-хлоп) Битва при Гастингсе, Гарольд погиб.
>
> Один два пятнадцать (хлоп-хлоп) Хартия Вольностей дарована нации.

Эта, последняя, строчка ей всегда нравилась — легко запоминалась из-за рифмы. «Один во-

семь пятьдесят четва (хлоп-хлоп) Разразилась Крымская война (хлоп-хлоп)» — именно так они всегда выговаривали, сколько бы мисс Мейсон их ни поправляла. И так декламация продолжалась вплоть до:

> Один девять сорок (хлоп-хлоп) Битва за Британию.
>
> Один девять семьдесят четыре (хлоп-хлоп) Британия вступила в Общий рынок в Риме.

Мисс Мейсон выводила их из стародавней древности и возвращала в ту же точку, от Рима к Риму, назад к истокам. Таким образом, она устраивала для их умов разминку — добивалась податливости. Затем она начинала рассказывать истории о рыцарстве и славе, чуме и голоде, тирании и демократии; о королевской роскоши и достоинствах здравого индивидуализма; о святом Георге, небесном покровителе Англии, Арагона и Португалии, а также защитнике Генуи и Венеции; о сэре Фрэнсисе Дрейке и его героических плаваниях; о Боадицее и королеве Виктории; о местном сквайре, который побывал в Крестовых походах, а теперь, обратившись в камень, покоится в приходской церкви подле своей жены, положив ноги

на собаку. Они слушали, навострив уши, потому что, если мисс Мейсон была ими довольна, в конце урока она опять переходила к декламациям — но уже иным. Нужно было по событию назвать дату; бывали вариации, импровизации и подковырки; слова увертывались и прятались, но класс отчаянно цеплялся за обрывок ритма. «Елизавета и Виктория» (хлоп-хлоп-хлоп-хлоп), и они отвечали «1558 и 1837» (хлоп-хлоп-хлоп-хлоп). Или (хлоп-хлоп) «Вольф в Квебеке» (хлоп), и надо было ответить (хлоп-хлоп) «1759» (хлоп). Или вместо подсказки «Пороховой заговор» (хлоп-хлоп) мисс Мейсон подсовывала «Гай Фокс — живым был взят» (хлоп-хлоп), и нужно было подобрать рифму, «Один шесть ноль пять» (хлоп-хлоп). Она таскала их туда-сюда по двум тысячелетиям, и история из упрямого, постепенного продвижения вперед превращалась в ряд ярких, стремящихся затмить друг друга моментов, в фасоль на черном бархате. Много времени спустя, когда в ее жизни произошло все, чему было предначертано произойти, Марта Кокрейн все еще слышала хлопки мисс Мейсон, когда встречала в книге какое-нибудь имя или дату. Бедный Нельсон в битве пал, Трафальгар 1805, Эдуард Восьмой расплатился за свое увлечение, 1936, отречение.

Джессика Джеймс, подруга и христианка, сидела сзади нее на истории. Джессика Джеймс, ханжа и предательница, сидела перед ней на собрании. Марта была умная девочка, а следовательно, в Бога не верила. За утренней молитвой, крепко зажмурив глаза, она молилась не так, как все, а:

Потчуй кашей иже неси нам на всех,
Да сварится вымя твое,
Да убудет лекарствие твое,
Да будет школа твоя на Сене, там, где Орли.
Хлеб ваш не нужен – дождь нам взвесь,
И оставь вигвам, стог и чаши, якоже мы
оставляем скворушкам кашки;
И поведи нас в цирк Шеннона, но убавь
насос плюгавого.
Яко твои есть лекарство, лилии, сказка,
Ныне, и присно, навеки век опрокинь.

Одна-две строчки, по ее мнению, не очень-то удались, но она над ними работала. Стишок не казался ей богохульным — ну разве что место на-

счет вымени. Кое-что она считала довольно-таки красивым: кусочек про лекарство, лилии и сказку почему-то всегда воскрешал в ее памяти «Девять штук фасоли вьющейся — круглые», которые Бог, если бы он существовал, почти непременно бы одобрил. Но Джессика Джеймс ее выдала. Нет, она поступила умнее: подстроила так, что Марта выдала сама себя. Однажды утром по знаку Джессики все вокруг Марты умолкли, и отчетливо послышался одинокий голос, торжественно призывающий взвесить дождь, оставить вигвам, стог и чаши и повести в цирк Шеннона; тут, открыв глаза, она уткнулась взглядом в шарнирные плечи, куриную грудь и горящие христианским гневом глаза мисс Мейсон, которая сидела на молитве с ее классом.

До конца учебного года ее заставляли выходить вперед и молиться громко, чтобы за ней повторяла вся школа, произносить слова отчетливо, имитировать горячую веру. Вскоре Марта обнаружила, что получается у нее очень даже неплохо; уверовавший во Христа заключенный, она доказывала совету по условно-досрочному освобождению, что дочиста отмыла свою душу от грехов — не соблаговолят ли они поразмыслить на досуге насчет амнистии? И чем настороженнее

становилась мисс Мейсон, тем больше удовольствия получала Марта.

Ее начали отзывать в сторонку для разговора по душам. Спрашивали, чего она добивается своим смутьянством. Говорили, что для ее поведения есть особое слово — «умничать». Советовали: дескать, цинизм, Марта, — это родной брат одиночества. Надеялись, что она все-таки не зарвется. А также намекали — кто тонко, кто не очень, — что семья Марты не похожа на другие, но испытания даются человеку, дабы он выходил из них с честью, и всякий — сам строитель своего характера, так уж заведено.

Как можно «строить характер», она не понимала. Характер — это ведь то, что у тебя уже есть, в крайнем случае то, что меняется из-за происходящего с тобой, — вот ее мама, к примеру, теперь стала жестче и раздражительнее. Разве человек может сам построить свой характер? В поисках ответа она рассматривала деревенские каменные ограды: каменные блоки, а между ними — известка, а увенчана стена остроугольными кусками кремня, которые и означают, что ты выросла, построила себе характер. Чушь какая-то. На фотографиях Марта всегда морщила лоб над тайнами мироздания, надув нижнюю

губу, намертво сдвинув брови. Что это было — неодобрение окружающей действительности, проявление ее неудобного «характера»? Или же дело было совсем в другом — что ее матери (когда та сама была маленькой девочкой) сказали, будто фотографировать надо, обязательно встав правым боком к солнцу?

В любом случае тогда у нее были дела поважнее, чем строительство характера. Спустя три дня после сельскохозяйственной выставки — и это уже было правдивое, бесхитростное, необработанное воспоминание, в котором Марта не сомневалась… практически не сомневалась, — Марта сидела за кухонным столом; мать готовила, хотя и не напевала, и Марта это помнила — нет, знала, она достигла возраста, когда воспоминания отвердевают до степени факта, — итак, ее мать молча возилась у плиты, и это был факт, Марта собрала свой пазл до конца, и это был факт, в пазле оставалась дырка размером с Ноттингемшир, через которую виднелись разводы на деревянной столешнице, и это был факт, отца на заднем плане не было, и это был факт, Ноттингемшир находился в отцовском кармане, и это был факт, она подняла глаза, и это был факт, с подбородка матери капали в суп слезы, и это был факт.

Защищенная прочными стенами своей детской логики, она осознала, что маминым объяснениям верить не следует. Она даже глядела слегка свысока на эту непонятливость и слезы. Для Марты все было просто, проще не бывает. Папа ушел искать Ноттингемшир. Думал, он лежит в кармане, а потом посмотрел — оказывается, нет. Вот почему он не улыбался ей с высоты своего гигантского роста и не сваливал вину на кошку. Он знал, что нельзя подвести дочку, вот и пошел разыскивать пропажу, но дело оказалось долгое. Вскоре он вернется, и все наладится.

Позднее — и это «позднее» настало слишком быстро — ужасное чувство вошло в ее жизнь, чувство, которое она пока не умела выразить словами. Внезапное, логичное, в рифму (хлоп-хлоп) объяснение причин ухода папы. Это она, она сама потеряла деталь, она потеряла Ноттингемшир, засунула куда-то и забыла, а может, оставила там, где им завладел вор, и потому ее отец, который любил ее, который говорил, что любит ее, всегда боялся ее подвести, в жизни не хотел, чтобы мисс Мышка дула губки как на крупу, ушел искать деталь пазла, и поиски эти — если верить книгам и рассказам — отнимут ужас сколько времени. Возможно, отец вернется лишь через много-мно-

го лет, за это время у него отрастет борода, и в ней будет искриться снег, и лицо у него будет — как там пишут? — заостренное от недоедания. И все из-за нее, из-за ее неосторожности или глупости, из-за нее исчез отец и горюет мать, поэтому она никогда больше не должна совершать неосторожностей или глупостей — ведь ничем хорошим они не кончаются.

У кухни, в коридоре, она нашла дубовый листок. Отец всегда приносил в дом листья на подошвах. Говорил: потому что торопится поскорее вернуться, ему вечно не терпится увидеть Марту. Мама всегда раздраженно говорила ему, что нечего перед ребенком заискивать — Марта преспокойно подождет, пока он вытрет ноги. Сама Марта, боясь рассердить маму, всегда старательно вытирала ноги, весьма гордясь при этом своей смышленостью. А теперь у нее на ладони лежал дубовый листок. С зубчатыми краями, совсем как деталь пазла, — и на миг у нее полегчало на душе. Это был знак, или совпадение, или еще что-нибудь: если она сбережет этот листок как память о папе, тогда он сбережет Ноттингемшир и вернется. Ничего не говоря маме, она спрятала листок в тонкую красную брошюру с сельскохозяйственной выставки.

Что до Джессики Джеймс, подруги и предательницы, со временем представился шанс отомстить, и Марта воспользовалась им. Она ведь была не христианка; так что всепрощение в список ее достоинств не входило. Джессика Джеймс, с глазками-пуговками, поросячьими и благочестивыми, с голосом как заутреня, Джессика Джеймс, чей отец никогда не исчезнет, начала ходить с высоким, нескладным мальчиком; руки у него были красные и влажно-дряблые, невнятные, точно мясной фарш. Как его звали, Марта скоро забыла, зато руки запомнила. Будь Марта постарше, она бы решила, что самое жестокое — это не мешать Джессике Джеймс и ее мордатому ухажеру: пускай гордятся собой, целуясь коленками, покамест не пойдут к алтарю мимо крестоносца, положившего ноги на собаку, пускай они в обнимку скроются за горизонтом, соединенные узами на всю оставшуюся жизнь.

Но до такой изощренности Марте было еще далеко. Вместо этого Кейт Беллами, подруга и тайная союзница, дала мальчику знать, что Марта, возможно, решит, что с ним стоит ходить, если он согласен пожертвовать худшим ради лучшего. К тому времени Марта уже открыла, что может завлечь практически любого парня при

том условии, если сама им не увлечена. Оставалось обсудить варианты дальнейших действий. Можно было просто-напросто увести мальчика и пофасонить им немножко, унизив Джессику Джеймс перед всей школой. Или лучше разыграть маленькую комедию: Джессика Джеймс приглашается Кейт на невинную прогулку, и по чистой случайности они забредают в место, где чопорное сердечко Джессики вдребезги разбивается при виде пальцев-сарделек, тискающих некрупную грудь.

Марта, однако, предпочла самую жестокую и одновременно наименее трудоемкую месть. Кейт Беллами, с ее невинным голоском и черным сердцем, убедила мальчика, что в душе Марты наверняка проснется настоящая любовь к нему — как только она его получше узнает, — но поскольку к делам любовным и всему прочему, связанному с личной жизнью, она относится очень серьезно, то его единственный шанс — безвозвратно и прилюдно порвать с мисс Благочестие. Поразмыслив и покоптившись на огне желания несколько дней, мальчик выполнил условие, и Джессику Джеймс — о сладостная картина воздаяния! — узрели плачущей. Шли дни, Марта мелькала там и сям, обращая ко всем

свой хохочущий профиль, но знака все не было. Всполошившись, мальчик обратился к ее товарке по заговору, которая, прикинувшись дурочкой, заявила, что он что-то напутал: да разве Марта Кокрейн станет с ним ходить? Ни фига себе, деловой выискался. Взбешенный и оскорбленный, мальчик подстерег Марту после школы; она посмеялась над его богатой фантазией относительно ее чувств. Мальчик выживет; мальчики — они такие. Что до Джессики Джеймс, она так и не доискалась, кто стоял за ее несчастьем, и это согревало душу Марты до самого дня окончания школы.

Шли зимы, и Марте постепенно становилось ясно, что ни Ноттингемшир, ни ее отец не вернутся. Правда, она еще верила, что это возможно, пока мать плачет, прикладывается к одной из бутылок с верхней полки, слишком крепко прижимает ее к себе и говорит, что мужчины бывают двух видов: подлецы либо бесхребетники, а некоторые — подлецы и бесхребетники сразу. В такие минуты Марта тоже начинала плакать, словно объединенная сила их слез могла вернуть отца назад.

Но вот они переехали в другую деревню, более отдаленную от школы, и Марте пришлось

ездить на занятия автобусом. Верхней полки для бутылок здесь не было; мать перестала плакать и остриглась. Несомненно, она занялась строительством своего характера. В этом новом доме, поменьше прежнего, отсутствовали фотографии отца. Мать реже говорила Марте, что мужчины бывают двух видов: подлецы либо бесхребетники. Зато она твердила, что женщина должна быть сильной и сама о себе заботиться — ни на кого больше полагаться нельзя.

В ответ на это Марта решила кое-что предпринять. Каждое утро перед уходом в школу она доставала из-под кровати коробку с пазлом, поднимала, зажмурившись, крышку и доставала какое-нибудь графство. Она это делала не глядя — а то вдруг окажется одно из любимых, Сомерсет или Ланкашир. Разумеется, Йоркшир она узнавала и так — его было не обхватить рукой, но к Йоркширу она никогда не питала особенно нежных чувств. Затем, уже в автобусе, она заводила руку за спину и разжимала пальцы, спуская графство по задней стороне сиденья. Один-два раза ее пальцы натыкались на другое графство, застрявшее в обивке, выброшенное несколько дней или недель назад. Графств было штук пятьдесят, и она провозилась с ними почти до конца

полугодия. Море и коробку она выбросила на помойку.

Она не знала, что ей полагается делать с прошлым — запомнить его или забыть. Такими темпами характер никогда не построишь. Она лишь надеялась, что в постоянных мыслях о выставке нет ничего дурного; да и не могла она никак погасить ее сияющий образ в своей душе. Их последняя семейная прогулка. Как взлетала до неба в месте, где, несмотря на гомон и толкотню, существовали порядок и правила и мудрые вердикты мужчин в белых, как у врачей, халатах. Она считала, что в школе — да и дома — человека часто осуждают ни за что, но на выставке можно приобщиться к высшей справедливости.

Разумеется, она не формулировала свои мысли такими словами. Спросив, можно ли ей участвовать в выставке, она сразу же испугалась, что мама рассердится и конфискует «Реестр номинаций» за то, что из него она «нахваталась неподходящих мыслей». То был еще один из тех грехов детства, которые Марта никак не могла научиться предугадывать. Марта, ты, часом, не зарываешься? Цинизм, знаешь ли, родной брат одиночества. Где это ты нахваталась таких мыслей?

Но мать просто кивнула и раскрыла книжечку. На пол слетел дубовый листок.

— Что это? — спросила мать.

— Я его храню, — ответила Марта, опасаясь упрека или разоблачения.

Но мать всего лишь заложила листок между страницами и с новой решительностью, которой отныне было проникнуто все ее поведение, начала читать список номинаций в «Детском разделе».

— «Пугало (максимальная высота двенадцать д.)»? «Изделие из соленого теста»? «Поздравительная открытка»? «Вязаная шапочка»? «Маска лицевая — материал произвольный»?

— Фасоль, — произнесла Марта.

— Ну-ка посмотрим: «Четыре песочных печенья», «Четыре пирожных „Бабочка“», «Шесть сладостей с марципаном», «Ожерелье из макарон». А отличная мысль — «ожерелье из макарон».

— Фасоль, — повторила Марта.

— Фасоль?

— «Девять штук фасоли вьющейся — круглые».

— Насчет фасоли я не уверена, можно ли тебе. В «Детском разделе» ее нет. Давай посмотрим правила. «Раздел А. К участию допускаются владельцы земельных угодий и арендаторы садовых

участков в радиусе десяти миль от места проведения выставки». Марта, ты у нас владелец угодий?

— А если садовый участок арендовать?

— В наших местах с ними туго. «Раздел Б. К участию допускаются все без ограничений». А, тут одни цветы. Георгины? Ноготки? — (Марта замотала головой.) — «Раздел В. Допускаются исключительно садоводы и огородники, проживающие в радиусе трех миль от места проведения выставки». По-моему, это к нам вполне относится. Марта, ты у нас садовод и огородница?

— А где мы возьмем семена?

Вместе они вскопали участок земли, засыпали ямки конским навозом и выстроили два домика-вигвама. Теперь дело было за Мартой. Она высчитала, за сколько недель до выставки нужно посадить семена, зарыла в землю фасоль, поливала ее, дожидалась, выпалывала сорняки, поливала, дожидалась, выпалывала, убирала комья грунта — мало ли где фасоль вздумает пробиться наружу, а тут преграда, — смотрела, как проклевываются блестящие, упругие ростки, подбадривала усики в их спиральном стремлении ввысь, смотрела, как распускаются и опадают красные цветы, поливала, и прямо под струей воз-

никали малюсенькие почки, поливала и полола, поливала, поливала, и наконец, по истечении положенного срока, накануне выставки она смогла выбирать из семидесяти девяти экземпляров фасоли вьющейся. Приезжая на автобусе из школы, она сразу же, не заходя домой, бежала проверить свой огород. Яко твое есть лекарство и силос, и сказка. Ничего богохульного не вижу, ей-богу.

Мать хвалила Марту: умница какая, и дар к огородничеству у нее есть — что называется, «зеленые пальчики». Марта возразила, что ее фасоль не очень-то похожа на фасоль мистера Э. Джонса. У той стручки были плоские, гладкие, со всех сторон равномерно зеленые, точно их покрасили из баллончика. Ее — все в одинаковых выпуклостях, как подушечки на пальцах, — это фасолинки выпирали, а на кожице тут и там виднелись пятнисто-желтые крапины. Мать сказала, что фасоль всегда такая, пока растет. Ее характер еще строится.

В выставочную субботу они встали рано, и мать помогла Марте оборвать фасоль с конька вигвама. Затем Марта произвела отбор. Она просила черный бархат, но единственный кусочек такой ткани в доме все еще был составной частью платья, поэтому бархат заменили листом черной

шелковой бумаги, который мать прогладила утюгом, — но все равно он выглядел помято. И вот Марта на заднем сиденье чьей-то машины придерживает большими пальцами шелковую бумагу, глядит, как на поворотах дрожит и перекатывается по блюду фасоль.

— Не так быстро, — сурово сказала она наконец.

Тут их подкинуло на «спящем полицейском» при въезде на автостоянку, и Марте вновь пришлось спасать фасоль. В садово-огородном павильоне мужчина в белом халате выдал ей бланк, на котором значился лишь номер — чтобы судьи не знали, кто она, — и провел ее к длинному столу, где раскладывали свою фасоль все остальные. Дряхлые садоводы радушными голосами восклицали: «Смотрите, кто пришел», хотя видели ее впервые, и еще: «Ну, Джонсик, смотри, не видать тебе теперь лавров!» Она не могла не заметить, что ее фасоль не была ни на чью похожа, но, видимо, тут каждый выращивал свой сорт, вот и все. Потом всех попросили выйти — настало время для распределения премий.

Победил мистер Э. Джонс. Второй приз получил Кто-то Другой. Поощрительный — Кто-то Третий.

«В следующий раз повезет!» — говорили все.

Огромные руки с узловатыми суставами торжественно спускались с высот, чтобы ее утешить. «В будущем году не видать нам наших лавров», — повторяли старики.

Позднее ее мать сказала: «И все равно она очень вкусная». Марта смолчала. Ее нижняя губа, влажная и упрямая, выпятилась. «Тогда я и твою съем», — заявила мать, и вилка потянулась к ее тарелке. Но Марта не стала подыгрывать — очень уж тоскливо было у нее на душе.

Иногда за матерью заезжали на своих автомобилях мужчины. Им самим — матери и Марте — машина была не по карману, и, наблюдая, как мать столь стремительно увозят — взмах руки, улыбка, вскидывается голова, и мать оборачивается к человеку за рулем раньше, чем автомобиль скроется из виду, — наблюдая все это с начала до конца, Марта всегда задумывалась, не исчезнет ли и сама мать. Мужчины, приезжавшие за матерью, ей не нравились. Некоторые пытались заискивать, гладя ее, как кошку, другие держались подальше и смотрели исподлобья, думая: «Вот еще напасть на мою голову». Она предпочитала мужчин, считавших ее напастью.

Дело было не только в том, что ее покидали. Главное — мать тоже покидали. Она рассматри-

вала этих случайных мужчин, и — садились ли они рядом с ней на корточки для вечных расспросов о том, что там задают в школе и показывают по телику, или оставались стоять, звеня ключами и бормоча: «Ну ладно, поедем, а?» — всех их она воспринимала одинаково: как мужчин, которые причинят матери боль. Вряд ли это произойдет сегодня или завтра. Но когда-нибудь точно. Она поднаторела в сознательном самовнушении жара, недомоганий и особых менструальных синдромов, требовавших присутствия матери в качестве сиделки.

— Ты настоящая маленькая тиранка, вот ты кто, — говорила мать с интонацией, колеблющейся между любовью и раздражением.

— Тиран — это Нерон, — отвечала Марта.

— Нет сомнения, даже Нерон иногда отпускал свою маму погулять.

— Не-а. Нерон приказал убить свою маму, нам мистер Хендерсон сказал. — Эй, Марта, говорила она себе, теперь ты точно зарываешься.

— Если так и дальше пойдет, скорее уж я тебе яду в суп подсыплю, — парировала мать.

Как-то раз они складывали простыни, высохшие на веревке во дворе. Внезапно, словно бы обращаясь сама к себе, но достаточно громко,

чтобы слышала Марта, мать произнесла:

— Вот единственное, для чего нужен второй человек.

Они продолжали складывать простыни, не говоря ни слова. Растянуть вширь (руки у тебя еще коротковаты, Марта), поднять, ухватить верхний угол, опустить левую руку, подхватить уголок не глядя, растянуть по косой, потянуть на себя, перевернуть и-и-и подхватить, а теперь тяни, тяни (сильнее, Марта), и, шагая навстречу, дотянуться до маминых рук, опустить и подхватить, еще разок на себя, вот и сложили, передай мне и подожди следующую.

Единственное, для чего нужен второй человек. Когда они тянули, по полотну словно бы пробегал некий ток — нечто объединяющее, словно не только в простыне дело. Странное влечение: сперва тянете вы, точно пытаясь отдалиться друг от друга, но простыня вас не пускает, а потом как бы сама начинает вас тянуть, сбивая с ног, и подтаскивает друг к дружке. Неужели так всегда?

— Ой, я не тебя имела в виду, — сказала мать и неожиданно обняла Марту.

— Какого сорта был папа? — спросила Марта позже, в тот же день.

— В смысле «какого сорта»? Папа был… папа.

— Я спрашиваю, кто он был, подлец или бесхребетник. Который из них?

— Даже не знаю…

— Ты говорила, они бывают только двух сортов. Ты так сказала. Кто он был?

Мать пристально посмотрела на нее. Какая-то новая напористость.

— Ну что ж, если уж выбирать одно из двух, то он был бесхребетник.

— А как можно узнать?

— Что он был бесхребетник?

— Нет, как отличить подлецов от бесхребетников?

— Марта, ты до таких вещей еще не доросла.

— Мне нужно знать.

— Нужно знать? Зачем?

Марта замялась. Она знала зачем, но вслух сказать боялась.

— Чтобы я не повторила твоих ошибок.

И осеклась, потому что ожидала от матери слез. Но плач был теперь не в характере ее матери. Взамен мать разразилась сухим смешком — то был ее нынешний коронный номер.

— Какое мудрое дитя я родила. Смотри, Марта, не состарься прежде времени.

Ага, репертуар обновился. «Не зарывайся». «Где

это ты набралась таких мыслей?» А теперь, значит, «не состарься прежде времени».

— Почему ты мне не хочешь сказать?

— Я расскажу тебе все, что знаю, Марта. Но ответ тут один: их распознаёшь слишком поздно, если судить по моей жизни. А моих ошибок ты не повторишь, потому что каждый совершает свои ошибки, такое уж правило.

Марта тщательно рассмотрела лицо матери.

— От твоего совета толку не много, — заявила она.

Но в конечном итоге совет принес свои плоды. Она росла, ее характер строился, и вот, когда она перестала зарываться и стала все делать по-своему и достаточно поумнела, чтобы догадываться, когда лучше прикинуться неумной; и вот, когда она открыла для себя друзей, светскую жизнь и новый вид одиночества, когда она переехала из деревни в город и начала накапливать свои будущие воспоминания, она приняла материнское правило: старшие свои ошибки совершили, твой черед совершать твои. Из этого правила вытекало логическое следствие, которое стало одним из параграфов личного кодекса Марты: когда ты старше двадцати пяти, сваливать вину на родителей запрещается. Конечно, за исключением

случаев, когда родители сделали с тобой что-нибудь ужасное — изнасиловали, убили, отобрали все деньги и продали в публичный дом, — но, если у тебя нормальная биография и нормальный жизненный путь, если ты наделен средним умением жить и средними умственными способностями (коли они у тебя выше среднего, так вообще…), родителей ни в чем винить нельзя. Конечно, иногда все равно срываешься — больно уж велик соблазн. Если б только они купили мне ролики, как обещали, если б только они не запрещали мне встречаться с Дэвидом, если б только они были другими: поласковее, побогаче, поумнее, попроще. Если б только меня чаще гладили по голове; если б только меня почаще пороли. Если б только меня больше хвалили; если б только меня хвалили исключительно за дело… Нет уж, к черту эти пустые рассуждения. Конечно, и Марта испытывала подобные чувства, как же, бывало: иногда ее так и подмывало поцацкаться с обидами, но она тут же одергивала себя. Ты — сама себе голова, детка. Травмы — обычная составляющая детства. Сваливать вину на других давно уже запрещено. Запрещено.

Но была одна рана, тоненькая, но неискоренимо-болезненная заноза, от которой она так и

не нашла средства. Она окончила университет и приехала в Лондон. Она сидела в офисе, делая вид, что страшно довольна своей работой; сердце у нее немножко ныло — ничего серьезного, так, один мужик, привычная буря в стакане воды; у нее были месячные. Все это она запомнила. Зазвонил телефон.

— Марта? Это Фил.

— Кто? — В ее голове возник образ одного противного живчика в красных подтяжках.

— Фил. Филип. Твой отец.

Она не знала, что и сказать. Спустя какое-то время, словно своим молчанием она ставила его статус под сомнение, он подтвердил еще раз:

— Папа.

Он спрашивал, нельзя ли им встретиться. Может быть, как-нибудь за ланчем? Он знает одно местечко, которое, как ему кажется, ей понравится, и она еле удержалась от вопроса: «Тебе-то почем знать?» Он сказал, что надо много о чем поговорить, он считал, что им обоим не следует ждать слишком многого от встречи. В этом она с ним согласилась.

Она стала советоваться с друзьями. Некоторые говорили: расскажи ему, что ты в связи со всем этим чувствуешь; скажи, что думаешь. Некото-

рые говорили: разберись, чего ему надо; почему вдруг сейчас приспичило? Некоторые говорили: не встречайся с ним. Некоторые говорили: скажи матери. Некоторые говорили: поступай, как считаешь нужным, но матери ни в коем случае не говори. Некоторые говорили: приди на свидание заранее. Некоторые говорили: пусть эта сволочь подождет.

Ресторан был старомодный, весь в дубовых панелях, с престарелыми официантами, чья усталость от жизни уже переходила в сардонический непрофессионализм. Погода стояла жаркая, но в меню имелись лишь солидные, отягощающие желудок блюда — типичная клубная английская кухня. Он убеждал ее не стесняться, заказывать все, что душе угодно; она заказала по минимуму. Он предложил взять бутылочку вина; она пила только воду. Она отвечала ему, точно заполняя анкету: да, нет, наверное; очень, нет, нет. Он сказал, что она выросла очень привлекательной женщиной. Замечание показалось ей неуместным. Не желая ни соглашаться, ни перечить, она произнесла: «Вероятно».

— Неужели ты меня не узнала? — спросил он.

— Нет, — ответила она. — Моя мать сожгла ваши фотографии.

Это была правда; он болезненно скривился (поделом, поделом, можно еще добавить!). Она посмотрела поверх тарелок на пожилого краснолицего мужчину с редеющими волосами, который сидел напротив. Перед встречей она старательно внушала себе ничего хорошего не ждать; и все равно он выглядел потрепаннее, чем она предполагала. Тут до нее дошло, что все это время она исходила из ложных предпосылок. Все эти пятнадцать или сколько там их бишь лет она мнила, будто люди исчезают, бросают жен и детей ради перемен к лучшему: чтобы выгадать побольше счастья, побольше секса, побольше денег, побольше всего того, чего в прошлой жизни им не хватало. Разглядывая мужчину, который именовал себя Филом, она подумала: «Ну и видуха… Останься он дома, был бы до сих пор на человека похож». Но возможно, она принимала желаемое за действительное.

Он рассказал ей некую историю. Марта не пожелала высчитывать степень ее соответствия действительности. Он влюбился. Так уж случилось. Не думай, что я пытаюсь оправдаться. Тогда он решил, что полный и окончательный разрыв всем пойдет на благо. У Марты есть единокровный брат, зовут Ричард. Неплохой парень,

правда, не знает еще, куда приложить свои силы в жизни. Ну, для его возраста нормальная проблема. Стефани — это имя внезапно рухнуло на тарелку Марты, как опрокинутый неуклюжей рукой бокал, — Стеф три месяца как умерла. Рак — мерзкая болезнь. Диагноз ей поставили пять лет назад, потом наступила ремиссия. Но он вернулся. Когда он возвращается, всегда хуже. Уже не отпускает.

Все это казалось — каким? — не то чтобы неискренним, но маловажным, совершенно непригодным для заполнения четкой, уникальной, выпиленной лобзиком дыры в душе Марты. Она попросила у него Ноттингемшир.

— Прости?

— Когда вы ушли, у вас в кармане лежал Ноттингемшир.

— Да-а? Значит, я правильно расслышал…

— Я собирала пазл «Графства Англии». — Произнеся это, она почувствовала себя неловко; ей не то чтобы было стыдно, но казалось, будто она слишком уж обнажила свое сердце. — Вы обычно забирали у меня какую-нибудь деталь и прятали, а потом находили. Уходя, вы унесли Ноттингемшир с собой. Разве не помните?

Он покачал головой:

— Ты собирала пазлы? Наверно, все дети так, они их обожают. Ричард тоже. Во всяком случае, одно время. Помню, у него был один невероятно трудный, сплошь облака или что-то подобное — пока не соберешь до половины, вообще непонятно, где верх, где низ…

— Вы не помните?

Он взглянул ей в лицо.

— Действительно не помните? В самом деле?

И это она всегда вменяла ему в вину. Ей было уже за двадцать пять, и она становилась все старше и старше, все старше и старше двадцати пяти лет, все старше, старше и старше двадцати пяти лет, и она была сама себе голова; но этого проступка она так и не смогла ему простить.

II. Англия, Англия
Глава первая

«Питмен-хаус» был верен архитектурным принципам своей эпохи. Он был выдержан в духе умеренной, не чуждающейся гуманизма светской власти: ясень и бук умиротворяли стекло со сталью; салатовые и кислотно-желтые вкрапления указывали на потаенную страстность; в вестибюле тускло-красный барабан укрощал мощь жестких углов. Интенции этого мирского собора были объективизированы в божественно прекрасном атриуме: выполняя функцию пассивного энергоемкого вентилятора, он наглядно доказывал преданность здания благу общества и окружающей среды. Гибкая организация пространства и честные трубопроводы; согласно пресс-релизу архитектурной фирмы «Слейтер, Грейсон и Уайт», здание сочетало изысканность средств с откровенностью целей. Еще одной принципиально важной чертой была гармония с природой: позади «Питмен-хауса» простиралось искусственное болотце, и, прогуливаясь по галереям (изготовленным, согласно надежным

источникам, из массива древесины ценных пород), сотрудники могли, жуя свой обеденный сэндвич, изучать повадки перелетных птиц хертфордширских окраин.

Архитекторы привыкли к вмешательствам со стороны клиентов; тем не менее у них слегка отнялись языки при знакомстве с личным вкладом сэра Джека Питмена в их замысел: на уровне конференц-зала он желал встроить в здание свой, так сказать, кабинет-зал в форме сдвоенного куба. Зал с лепниной, с ковром из длинноворсной овчины, с угольным камином, со стандартными светильниками, с обоями «рогожка», с писанными маслом картинами, с фальшивыми окнами, задрапированными тяжелыми шторами, и круглыми, с «пипочкой», выключателями. Как задумчиво произнес сэр Джек: «Достижения нынешней эпохи заслуживают высочайших похвал, но, на мой взгляд, не стоит чрезмерно тратиться на презрение к прошлому». Слейтер, Грейсон и Уайт попытались было возразить, что в наше время строительство прошлого обходится, увы, значительно дороже, чем строительство настоящего и будущего. Клиент никак не отреагировал на их мнение, и архитекторам оставалось лишь тешить себя надеждой, что заинтересованные

лица почти наверняка отнесут это укромное логово капиталистической акулы на счет капризов сэра Джека. Ладно, пусть думают что хотят, лишь бы не поздравляли с остроумным апофеозом постмодернистской иронии.

Между продуваемым всеми ветрами, напоенным шепотами пространством — творением архитекторов — и уютной берлогой, на которой настоял сэр Джек, располагалось небольшое помещение, почти туннель в сущности, известное под именем «Цитатная». Здесь сэр Джек любил мариновать посетителей, чтобы ждали, пока их вызовет референт. Все знали, что сэр Джек сам любит надолго задерживаться в этой комнате по дороге из внешнего офиса в свое заветное святилище. То было простое, аскетическое, слабо освещенное помещение. Ни журналов, ни видеомониторов с рекламой империи Питмена. Отсутствовали здесь и безвкусно-мягкие диваны, обитые шкурами редких животных. О нет, здесь не было ничего, кроме одной-единственной высокоспинной дубовой скамьи в якобитском стиле, которая была обращена к подсвеченной прожекторами каменной стеле. Тем самым посетителя настоятельно приглашали, а говоря начистоту, обязывали вчитаться в высеченную шрифтом

«Таймс-Роман» надпись:

ДЖЕК ПИТМЕН – великий человек во всех смыслах этого слова

Велики его устремления, велики его аппетиты, велика его щедрость.

Это человек, которого можно адекватно воспринять лишь ценой огромного напряжения воображения.

Начав скромно, он взлетел, как метеор, к великим делам.

Предприниматель, новатор, генератор идей, покровитель искусств, волшебник, созидающий очаги кипучей жизни на месте заброшенных руин.

Не просто бизнесмен, но Бизнес-Супермен, сэр Джек – это человек, который запросто разговаривает с президентами, но никогда не боится засучить рукава и замарать руки.

При всей его славе и богатстве он тем не менее остается сугубо частным лицом, добрым семьянином до последних фибр души.

При необходимости властный, всегда прямолинейный, сэр Джек не из тех, ко-

му можно положить палец в рот; он не терпит ни дураков, ни непрошеных советчиков.

Но он наделен великим даром милосердия.

Как прежде, все такой же неугомонный и амбициозный, сэр Джек поражает головокружительной энергичностью, ослепляет нечеловеческим обаянием.

Эти слова — по крайней мере их добрая половина — несколько лет тому назад родились под пером некоего обозревателя «Таймс», которого сэр Джек затем ненадолго взял в свой штат. Упоминания о своем возрасте, внешности и предполагаемой величине капитала сэр Джек вымарал, поручил специальному литобработчику увязать текст воедино, а конечный продукт распорядился высечь на плите из корнуоллского сланца. Он был доволен, что догадался убрать подпись под цитатой: ссылка на «Таймс» была вырублена и заменена свежим, гладким куском камня. Это, как считал сэр Джек, превратило былой панегирик в непоколебимо-авторитетный приговор вечности.

В данный момент сэр Джек стоял точно посреди

своего кабинет-зала, более всего напоминающего шикарный ресторан. Стоял под венецианской люстрой, на равном удалении от парных каминов а-ля «баварский охотничий домик». Повесив свой пиджак на скульптуру Бранкузи (повесив так, чтобы создавалось — по крайней мере у него самого — впечатление скорее добродушного панибратства, чем непочтительности), он демонстрировал свою округленно-ромбическую фигуру референту и Мыслелову. Последняя должность когда-то носила иное, официозное наименование, но сэр Джек дал ей имя «Мыслелов». Однажды кто-то сравнил его с гигантским фейерверком «огненное колесо», рассыпающим идеи, как искры, а если что-то летит, кто-то же должен это ловить, логично ведь? Попыхивая своей послеобеденной сигарой, он щелкал своими подтяжками цветов МКК: красно-желтыми, кетчупно-яичными. К МКК он отношения не имел, но его подтяжечный мастер мудро воздерживался от уточняющих вопросов. Кстати, в Итоне он тоже не учился, и в Гвардии не служил, и членом «Гаррика» так и не стал; однако в его гардеробе имелись подтяжки, намекающие на обратное. Мятежная душа, обращался он сам к себе мысленно. Чуточку смутьян. Человек, ни перед кем не преклоняющий

колен. Но в глубине души патриот.

— Что мне осталось совершить? — начал он. Пол Харрисон, Мыслелов, не торопился включать беспроводной микрофон, который сэр Джек носил под мышкой, ибо данный зачин за последние несколько месяцев повторялся многократно. — Почти все скажут, будто я сделал за свою жизнь все, что только в силах сделать человек. И уже говорят. Я создавал фирмы на пустом месте. Я сколотил капитал — кто будет это отрицать? Меня удостаивали почестей. Я — ближайший наперсник для глав многих государств. Я был любим, посмею признаться, многими красавицами. Я достопочтенный — но, подчеркну, не чересчур «достопочтенный» — член общества. У меня есть титул. Моя жена сидит по правую руку от президентов. Что мне осталось?

Сэр Джек выдохнул, и его слова закачались поплавками на волнах сигарного дыма, доходящих до нижних капелек люстры. Присутствующие знали: прозвучавший вопрос — чисто риторический. Одна из предыдущих референтов наивно вообразила, будто в такие минуты сэр Джек взыскует полезных советов или (наивность в квадрате!) утешения; ей подыскали менее обременительную работу в другой области пит-

меновской империи.

— Что есть реальность? Вот как я порой формулирую для себя этот вопрос. К примеру, вот вы — вы и вы — реальны? — Сэр Джек с саркастической учтивостью, но не поворачивая головы, не отвлекаясь от своих мыслей, указал рукой на присутствующих. — Конечно, сами для себя вы существуете взаправду, но в высших сферах вас будут судить совсем по другим критериям. Я отвечу: «Нет». Увы. И, уж простите за прямоту, я могу заменить вас преемниками… симулякрами быстрее, чем продать моего милого Бранкузи. А деньги, они как — реальны? В каком-то смысле пореальнее вас. А Бог реален? Этот вопрос я предпочитаю отложить до дня, когда я отправлюсь на небеса. Конечно, у меня есть свои гипотезы, я даже, как вы могли бы выразиться, взял на себя кое-какие посмертные деловые обязательства. Позвольте признаться — как там говорится, «плюньте мне в ухо, если вру»? — что я порой воображаю этот день. Позвольте поделиться с вами моими предположениями. Вообразите миг, когда меня приглашают встретиться с моим Создателем, который в Его бесконечной мудрости с интересом следит за нашей банальной жизнью в сей долине слез. Что, спрошу я у вас, мог Он

заготовить для сэра Джека? Будь я Им — да-да, я вполне сознаю дерзость этого допущения, — я, естественно, был бы вынужден наказать сэра Джека за его многочисленные человеческие слабости и суетные стремления. Нет, нет! — Сэр Джек воздел руки, сдерживая вполне вероятные протесты своих служащих. — И что бы тогда я — Он — сделал? Он… не устоял бы перед искушением подержать меня — надеюсь, относительно недолго — в своей собственной Цитатной. В личном Лимбе сэра Джека. Да, я устроил бы ему — мне! — каменную стелу в лучах прожекторов! Громадную скрижаль. И ни-ка-ких жур-на-лов, даже самых благочестивых!

Тут были уместны приглушенные смешки, и они действительно прозвучали из предупредительных подчиненных уст. Сэр Джек запросто разговаривает с божеством, леди Питмен обедает по правую руку от Господа.

Сэр Джек прошел тяжелой поступью к столу Пола, наклонился. Мыслелов знал правила: теперь ему и начальнику надлежит встретиться взглядом. В обычное время полагалось прикидываться, будто работать у сэра Джека — значит гнуть спину, приспускать веки, безраздельно сосредоточиваться. Теперь же Пол поднял глаза,

сканируя лицо начальника: волнистые волосы чернее ваксы; мясистые уши: левая мочка длиннее правой (растянута вследствие привычки нервно теребить ее на переговорах); блестящая гора подбородка, скрывающая в своих недрах кадык; бургундский цвет лица; еле заметная оспина на месте удаленной бородавки; брови-тюфяки, расшитые сединой; и вот они, ждут тебя, фиксируют, сколько секунд ты собирался с духом, — глаза. Сколько всего можно увидеть в этих глазах: благодушное презрение, безразличную симпатию, терпеливое раздражение, рассудочный гнев, — но действительно ли сэр Джек испытывает все эти изощренные чувства, это уже совсем другой вопрос. Разум подсказывает, что тактика общения сэра Джека с персоналом сводится к одному-единственному правилу — видимое со стороны настроение или выражение лица никогда не должно быть адекватно ситуации. Но порой начинает чудиться, будто, стоя перед тобой, сэр Джек закрывает глаза парой крохотных зеркал, кружочков, в которых ты зришь свое собственное смятение.

Удовлетворившись — а что именно приносит сэру Джеку удовлетворение, определить никоим образом невозможно, — сэр Джек вновь повлек

свое тяжелое тело в середину комнаты. Муранское стекло звенело над его головой, ворсинки ковра лизали его шнурки; сэр Джек полоскал во рту новый серьезный вопрос.

— А мое имя… реально?

И сэр Джек призадумался. Задумались и оба подчиненных. Одни поговаривали, что имя сэра Джека нереально, ибо неподлинно: видите ли, всего пару десятков лет назад оно лишилось своего изначального центральноевропейского привкуса. Их противники, ссылаясь на авторитетные источники, утверждали, что крошка Джеки действительно родился намного восточнее Рейна — но зачат он был в гараже дочерью английских полей (женой венгра, стекольного фабриканта) и заезжим шофером, уроженцем Лафборо, так что, несмотря на полученное в детстве воспитание, прежнее гражданство и изредка проскакивающие в речи фонетические ошибки, кровь в его жилах текла стопроцентно британская. Отъявленные циники и упертые разоблачители тайных всемирных заговоров шли еще дальше, утверждая, что нелады с фонетикой — коварная уловка: сэр Джек Питмен — сын скромных мистера и миссис Питмен, от которых он давным-давно откупился, а миф о континентальном происхож-

дении — всего лишь миф, сложившийся с подачи самого сэра Питмена; зачем ему этот миф, оставалось спорным: то ли как неотъемлемая деталь желанного имиджа супердельца, то ли как дань суеверной прихоти… Но в данный миг ни одна из этих гипотез не получила подтверждения, ибо сэр Джек сам ответил на свой вопрос:

— Если мужчина произвел на свет божий только дочерей, его имя — лишь жалкая безделушка, временно одолженная у вечности.

По телу сэра Джека Питмена пробежал трепет вселенского размаха (и предположительно, желудочно-кишечного происхождения). Повернувшись на каблуках, он выдохнул облако дыма и перешел к заключительной части своей речи.

— А великие мысли реальны? Философы заверяют нас, что да. Конечно, в свое время меня посещали великие мысли, но не знаю уж почему — Пол, этого записывать не надо, по-моему, для архива не очень годится, — невесть почему я порой сомневаюсь в их реальности. Возможно, я выжил из ума — не слышу протестующих воплей, а потому вынужден заключить, что с данным заявлением вы согласны, — но как знать, не теплится ли в этом дряхлом псе последняя искра жизни? Может статься, одна, последняя великая

мысль утолит мою жажду. На посошок, а? Вот это, Пол, можешь записать.

Пол набрал: «Может статься, одна, последняя великая мысль утолит мою жажду», перечитал фразу на экране, вспомнил, что в его обязанности входит и редактура — сэр Джек именовал Пола «мой личный Хансард», — и стер малодушное «может статься». В этой, более резкой форме данное высказывание, датированное с точностью до секунды, войдет в архив.

Сэр Джек шутя засунул сигару в брюшное отверстие макета работы Генри Мура, потянулся, сделал задорный пируэт.

— Скажи Вуди: «пора», — велел он референту, чьего имени ни разу еще не смог припомнить. Правда, в определенном смысле он это имя отлично помнил: Сюзи. Дело в том, что всех своих референтов он называл Сюзи. Текучесть кадров на этой должности была, бог весть почему, страшная. Так что на самом деле он сомневался не в имени сотрудницы, а в ее индивидуальных отличительных признаках. Как же он был прав несколько минут назад, усомнившись в ее реальности. Метко подмечено. Не в бровь, а в глаз.

Сняв пиджак с Бранкузи, он натянул его на себя, скрыв МКК-шные подтяжки. В Цитатной задер-

жался перечитать знакомые слова. Разумеется, он знал их наизусть, но все равно посмаковать приятно. Да, одна, последняя великая мысль. В последние год-два мир был к нему не совсем почтителен. Следовательно, пора устроить миру сюрприз.

Пол поставил под меморандумом подпись и сохранил его. Текущая Сюзи позвонила шоферу и отрапортовала о настроении начальника. Затем взяла сигару и вернула на положенное место, в ящик стола сэра Джека.

* * *

— Умоляю, давайте немножко помечтаем вместе. — И сэр Джек вопросительно приподнял со стола графин.

— Мое время — ваши деньги, — ответил Джерри Бэтсон из «Кэбот, Альбертаччи и Бэтсон».

В общении с людьми он был неизменно тактичен — и неизменно непроницаем. Вот и сейчас он никак вроде бы не отозвался — ни словом, ни жестом — на предложение выпить, но каким-то образом стало ясно, что он вежливо соглашается пригубить арманьяка, которому затем вынесет вежливый, тактичный и непроницаемый приговор.

— Ваши *мозги* — мои деньги, — добродушно рявкнул сэр Джек, поправляя.

Людей класса Джерри Бэтсона осаживать неразумно, но первобытная тяга к главенству не унималась в сэре Джеке никогда. Дородная фигура и извечное радушие, обычай оставаться на ногах, когда остальные сидят, привычка машинально поправлять собеседника с первой же фразы — все это составляло арсенал, с помощью которого сэр Джек утверждал свое превосходство. У Джерри Бэтсона метод был иной. Бэтсон был тщедушно сложен; его голову украшала шапка седеющих кудряшек; пожатие его руки — впрочем, этого приветствия он обычно избегал — было неизмеримо нежным. Его техника утверждения своего превосходства — или оспаривания чужого — сводилась к отказу от борьбы; Бэтсон погружался в смиренную дзенскую медитацию, превращаясь в жалкий камушек, омываемый шумным потоком, — и сидел себе, соблюдая нейтралитет, исподтишка вникая в «фэн-шуй» места, где находился.

Сэр Джек имел дело только с *crème de la few*[45], а потому поручил представлять свои интересы

---

[45] Сноски: 45
Сливки общества *(фр., англ.).*

Джерри Бэтсону из «Кэбот, Альбертаччи и Бэтсон». Большинство людей мнило, будто Кэбот и Альбертаччи — это заокеанский и миланский партнеры Джерри, и воображало, будто эти юристы втайне недолюбливают Бэтсона за то, что он присваивает славу этого международного триумвирата себе одному. Но на деле Кэбот и Альбертаччи были совершенно равнодушны к первенству Бэтсона, поскольку ни Кэбот, ни Альбертаччи — имевшие свои офисы, свои банковские счета и кругленькие месячные оклады — в действительности не существовали. Еще на заре своей карьеры Джерри сотворил их из того волшебного вещества, в которое обращалась при соприкосновении с его нежными руками истина. «Если ты не в состоянии подать себя, как же ты собираешься подавать продукт?» — был он склонен мурлыкать в дни своей невинной предтранснациональной юности. И даже теперь, спустя добрых два десятка лет, в послеобеденном или ностальгическом настроении он все еще был склонен отзываться о своих спящих партнерах как о реальных людях. «Боб Кэбот втолковал мне, что при подобных сделках главное…» — начинал он. Или: «На эту тему мы с Сильвио, бывало, до хрипоты спорили, и неудивительно, ведь…»

Вероятно, реальность ежемесячных трансфертов через Нормандские острова постепенно способствовала материализации этих счетовладельцев на нашем уровне действительности.

Согласившись угоститься арманьяком, Джерри замер и затих, меж тем как сэр Джек совершил все положенные церемониальные действия: покрутил бокал в руке, понюхал его, пополоскал напиток во рту, закатил глаза. Джерри был в темном костюме, черных туфлях и крапчатом галстуке. В эту униформу легко было внести мелкие коррективы, шепотком намекающие на юность — или на зрелость, на чуткость к модным веяниям — или на степенный консерватизм; нюансировка осуществлялась при помощи кашемировых пуловеров, носков от Миссони и изящных очков с простыми стеклами. Но при сэре Джеке Бэтсон обходился без каких-либо атрибутов своей профессии, включая технические средства. Просто посиживал в кресле, улыбаясь номинально-подобострастной улыбкой, словно пришел на собеседование и теперь ждет, пока работодатель заговорит о зарплате, штрафах за опоздание и прочих условиях труда.

Конечно, те времена, когда Джерри Бэтсона «нанимали», давно минули. Десять лет назад про-

изошла радикальная смена предлогов: Джерри решил, что отныне работает *с* людьми, а не *на* них. Итак, в разные периоды (а иногда и одновременно) он работал с «Си-би-ай» и «Ти-ю-си», с освободителями животных и производителями мехов, с «Гринписом» и ядерной промышленностью, со всеми основными политическими партиями и рядом радикальных организаций. Примерно тогда же он начал исподволь дистанцироваться от таких грубых кличек, как «пиарщик», «лоббист», «менеджер по кризисам», «имиджеправ» и «специалист по стратегиям крупного бизнеса». Теперь Джерри — затянутый в безупречный смокинг человек-загадка со страниц светской хроники (в последнее время пестревших намеками, что вскоре к его имени прибавится приставка «сэр») — предпочитал позиционировать себя совсем по-иному. Он — консультант избранных. И не просто избранных, подчеркивал он, а избранных избранными. Это, собственно, и привело его в городской пентхаус сэра Джека, где он потягивал арманьяк сэра Джека, нежно позвякивая носками туфель по стеклянной стене, за которой раскинулся весь погруженный во мрак, подмигивающий фонарями и рекламами Лондон. Он пришел сюда, чтобы

разгрызть и попробовать на вкус несколько идей. Чтобы запустить процесс синергии, достаточно было одного его присутствия.

— Вам открыт новый счет, — объявил сэр Джек.

— Мне? — В голосе Джерри прозвенело кроткое, непроницаемое замешательство. — Всеми новыми счетами занимаются Боб и Сильвио.

То была азбучная истина. Сам Джерри всегда находился над схваткой. Он предпочитал считать себя адвокатом высшего разбора, отстаивающим интересы своих партнеров в горних, бескрайних судах общественного мнения и общественного сомнения, а не так давно, решив, что пора расти, вообще произвел себя в судьи. Вот почему разговоры о счетах в его присутствии — это, называя вещи своими именами, легкая вульгарность. Впрочем, от кого от кого, а от сэра Джека тактичности никто не ждал. Всякий соглашался, что с *finesse* и *savoir*[46] у этого человека, бог весть почему, как-то туго.

— Нет, Джерри, друг мой, это одновременно очень новый и очень старый счет. Все, чего я прошу, — это, как я выразился, немножко помечтать

---

[46] Сноски: 46
Чувство такта *(фр.).*

со мной вместе.

— И мне понравится эта мечта? — Джерри разыграл легкое беспокойство.

— Ваш новый клиент — Англия.

— Англия?

— Именно.

— Вы ее покупаете, Джек?

— Давайте помечтаем, что да. В некотором роде.

— Вы хотите, чтобы я помечтал?

Сэр Джек кивнул. Джерри Бэтсон достал серебряную табакерку, откинул крышку, взял — его пальцы нервно напряглись — щепотку табака, зарядил ноздри и неубедительно чихнул в узорчатый носовой платок. На самом деле — как доподлинно знал сэр Джек — в табакерке был подчерненный кокаин. Собеседники сидели в парных креслах от Луи Фарука. Лондон распростерся у их ног, точно напрашиваясь в качестве темы для разговора.

— Вся проблема во времени, — начал Джерри. — Так мне кажется. Беда извечная. Люди просто не мирятся со временем, не впускают его в свою обыденную жизнь. «Не важно, сколько тебе лет: только душой не старей», — говорят они. *Вношу поправку*. Сколько тебе лет, важно,

поскольку ты не старше и не моложе своего возраста. Это верно для индивидуумов, браков, обществ, наций. Прошу вас, поймите меня правильно. Я патриот, и я никому не уступлю в том, что касается преклонения перед нашей великой страной; я обожаю нашу родину. Но ее проблему можно выразить простыми словами: отказ смотреться в зеркало. Вполне допускаю, что мы в этом далеко не уникальны, но даже на фоне тех членов семьи народов, которые по утрам штукатурят свои щеки, насвистывая: «Ты только душой не старей», мы — клинический случай.

— Клинический? — внес запрос сэр Джек. — Я тоже патриот, не забывайте.

— Итак, Англия идет ко мне, и что я ей говорю? Я говорю: «Послушай, крошка, взглянем на вещи прямо. На дворе третье тысячелетие, и грудки у тебя обвисли. И лифчик на каркасе уже не поможет».

Одни считали Джерри Бэтсона циником, другие — банальным аферистом. Но ханжой он не был. Он считал себя патриотом; более того, он законно принадлежал ко всем тем сообществам, к которым сэр Джек заочно примазывался посредством подтяжек. Но в бездумный культ предков Джерри Бэтсон не верил; для него патриотизм

был упреждением назревающих невзгод. Еще не повымерли старые хрычи, вздыхающие по Британской империи; были на свете и те, кто заранее пачкал штаны от ужаса перед возможным распадом Соединенного Королевства. Осторожный в публичных высказываниях (пока он не стал сэром Джерри, осмотрительность была для него превыше всего), Джерри упоенно отстаивал свои взгляды в частных беседах с подобными себе вольнодумцами. К примеру, в идее, что Дублин должен стать столицей всей Ирландии, он не видел ничего, кроме исторической неизбежности. Если шотландцы захотят провозгласить независимость и вступить в Европейский союз в качестве суверенного государства, Джерри — в свое время работавший как с движением «Шотландия для шотландцев», так и с ребятами из «Вечного союза» и знавший назубок все аргументы всех сторон — Джерри не будет преграждать им дорогу. Как и валлийцам, если уж на то пошло.

Но, по его убеждению, человек способен — и обязан — смотреть на время, перемены и старение спокойными глазами. Исторически-депрессивный синдром излечим. За Джерри водилась привычка сравнивать прекрасную страну Бри-

танию с благородной наукой Философией. Когда началось изучение и формирование философии как дисциплины — случилось это, кажется, в Греции, но место действия непринципиально, — она включала в себя все возможные области знаний и умений: медицину и астрономию, право, физику, эстетику… К философии относилось почти все, что только не вырабатывала маслобойка человеческого мозга. Но постепенно, с течением столетий разные ветви отпочковывались от основного ствола и начинали самостоятельную жизнь. Та же самая история (любил твердить — и твердил в данный момент Джерри) произошла и с Британией: когда-то она владела огромными кусками нашей планеты, раскрасив глобус розовым цветом от полюса до полюса. Шло время, и имперские владения одно за другим отваливались, превращаясь в суверенные государства. Так ведь? Так. И что же мы имеем теперь? Нечто под названием Соединенное Королевство, которое, если быть честным и смотреть на вещи прямо, не исполняет обязательств, заложенных в эпитете «соединенное». Его члены едины в том смысле, в каком едины арендаторы, сидящие на землях одного и того же помещика. А всякий знает, что арендованную землю можно законно выкупить.

Но перестала ли философия заниматься фундаментальными проблемами бытия оттого, что астрономия и ее подружки переселились в другие сферы? Никоим образом. Можно даже заметить, что ей стало легче сосредоточиться на главном. А утратит ли Англия свою яркую и уникальную индивидуальность, которая создавалась не один век, если (чисто теоретическое допущение) Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия решат смотаться? Джерри был убежден, что ни капельки.

— Грудки, — напомнил сэр Джек.

— Я как раз об этом. Именно-именно. Взглянем на вещи прямо. На дворе третье тысячелетие, и грудки у тебя, крошка, пообвисли. Дни, когда достаточно было послать канонерку или солдатиков в красных мундирах, давно миновали. Наша армия самая лучшая — это не требует доказательств, — но нынче мы сдаем ее напрокат для мелких войн, организованных другими странами. Из хит-парада мы вылетели. Почему у некоторых это никак не уложится в голове, а? Прядильные машины сданы в музей, нефть иссякает. У других народов себестоимость товаров дешевле. Наши друзья в Сити все еще куют деньги, и пищу мы сами себе выращиваем; мы — мелкая фабричка с подсобным хозяйством. Иногда мы

вырываемся в авангард, иногда плетемся в хвосте. Но одной вещи у нас не отнимешь, вещи, которой нет больше ни у кого: это накопленное время. Время. Вот, понимаете ли, мой пароль.

— Понимаю.

— Если ты старый хрен и сидишь на крылечке в кресле-качалке, не ходи играть в баскетбол с молодняком. Старики не прыгают. Сиди и извлекай все самое лучшее из того, что у тебя есть. А еще ты должен вот что проделать: убеди молодежь, что прыгать может каждый дурак, но правильно сидеть и качаться в кресле умеет лишь мудрый стреляный волк… Есть в нашей стране люди (их воззрения я лично классифицирую как типичный случай исторически-депрессивного расстройства), которые считают, что наша должность в мире, наша личная геополитическая функция — это служить символом упадка, моральным и экономическим пугалом. Мы, дескать, научили мир играть в крикет, а теперь наш долг, проявление комплекса рецидивной имперской вины — сидеть сложа руки и позволять себя обыгрывать. Бред. Я хочу повернуть это направление мысли вспять. В нашей стране нет человека, который любил бы ее больше, чем я. Нужно лишь правильно позиционировать этот товар… Отпо-

зиционируй этот товар для меня, Джерри. — Глаза сэра Джека подернулись мечтательной дымкой, но в голосе гудело вожделение.

Консультант избранных избранными угостился еще одной понюшкой табака.

— Вы — мы — Англия — мой клиент — великая и древняя нация. У нее великое прошлое. Ее великая мудрость накапливалась веками. Ее социально-культурные исторические реалии — а их легион, тьма! — штучный, ходкий товар. В особенности при нынешнем общественном климате. Шекспир, королева Виктория, индустриальная революция, садоводство и прочее в том же роде. Позвольте слоган — авторское право закрепляю за собой: «Вы движетесь — а мы уже пришли». Это не самоутешение, это сила нашей позиции, наша слава, имидж нашего продукта. Пальма первенства — вновь у нас. Мы продадим наше прошлое другим странам в качестве их будущего!

— Феноменально, — пробормотал сэр Джек. — Феноменально.

* * *

— Па-па-па-па, пум, пум, пум, — пропел сэр Джек, когда Вуди, держа под мышкой фуражку,

открыл перед ним дверь лимузина, — пум, па-па-па-па, пумм, пумм, пумм. Ну как, Вуди, узнаёте?

— Это, случайно, не будет гениальная Пасторальная, часом, сэр? — в очередной раз прикинулся робким профаном шофер, за что был удостоен начальственного кивка и еще одной порции сведений, известных лишь кругу избранных.

— Пробуждение безмятежных впечатлений по приезде в деревню. Некоторые переводчики пишут «счастливых»; я предпочитаю «безмятежных». Встретимся в «Собаке и барсуке» через два часа.

Вуд тронулся с места и медленно поехал к вышеупомянутой достопримечательности, в другой конец долины, чтобы заплатить хозяину паба, дабы тот поднес начальнику стопку за счет заведения. Сэр Джек поддернул язычки своих туристских ботинок, переложил из одной руки в другую трость тернового дерева и, распрямившись, неспешно, с расстановкой пустил газы: на слух казалось, будто продувают радиатор. Удовлетворенный, он постучал палкой по каменной ограде, расчерченной безупречно ровными — хоть в скрэббл играй — клеточками, и зашагал куда глаза глядят, окруженный со всех сторон осенней природой. Сэр Джек любил возносить

хвалы простым радостям жизни — и делал это ежегодно в качестве Почетного президента Ассоциации пеших странников, — но ему было известно, что в наше время простота из радостей испарилась. Молочница и ее ухажер-пастух больше не бегают вокруг майского древа, предвкушая лакомый кусок холодного пирога с бараниной. Индустриализация и свободный рынок давным-давно сдали их в утиль. Еда превратилась в сложный процесс, и аутентичное воссоздание питания исторической молочницы сопряжено с огромными трудностями. Пить в наши времена тоже непросто. Секс? Чтобы отнести его к простым радостям, надо быть распоследним идиотом. А как размять тело? Танцы у майского древа сменились занятиями на тренажерах. Искусство? Переродилось в шоу-бизнес.

И слава богу, считал сэр Джек. Па-па-па-па, пум, пум, пум. Живи Бетховен в наше время, кем бы он сейчас был? Богатым и знаменитым пациентом лучших врачей. Какой бардак творился в тот декабрьский вечер в Вене. В 1808-м, если память не изменяет. Недоумки-меценаты, тупая, дрожащая от холода публика. Музыкантам не дали времени для репетиций. А какой умник сообразил совместить премьеры Пятой и гени-

альной Пасторальной в один и тот же вечер? И приплюсовать Четвертый концерт. И добавить Хоральную фантазию. Четыре часа в неотапливаемом зале. И разумеется, провал. Теперь же, с толковым импресарио и шустрым директором, а еще лучше — с просвещенным спонсором, исключающим необходимость в хапугах, которым лишь бы свой процент сорвать… Со сведущим человеком, который проследит, чтобы вещь была как следует отрепетирована… Сэр Джек сочувствовал великому Людвигу, сочувствовал искренне. Па-па! Па-па-па-пум-дидди-ум.

Даже пешая прогулка — казалось бы, нет радости проще — и та сопряжена с самыми разными сложностями: техническими и правовыми, теоретически-философского и практически-гардеробного плана. Никто уже не «гуляет» просто так, не бродит, чтобы побродить, чтобы наполнить легкие свежим воздухом, доводя тело до ликующего визга. Впрочем, вполне возможно, и раньше никто никогда этого не делал, кроме кучки чудаков. Точно так же сэр Джек сомневался, что в старое время хоть кто-нибудь по-настоящему «путешествовал». Сэр Джек имел долю во множестве фирм, работающих в сфере досуга, и его уже тошнило от самозваных специалистов,

заявляющих, будто вульгарный «туризм» вытеснил благородные «путешествия». Какие снобы и невежды — все эти плакальщики над прошлым. Или они воображают, будто их обожаемые стародавние путешественники были идеалистами? Что они «путешествовали» не по тем же мотивам, что и современные «туристы»? Чего они хотели: выбраться из Англии, побывать в чужих странах, погреться на солнышке, увидеть странные места и странных людей, накупить всякой всячины, обогатить свой эротический опыт, вернуться домой с сувенирами, воспоминаниями и хвастливыми байками, так ведь? Те же яйца, вид сбоку, заключал сэр Джек. Со времен «поездок на воды» изменилось лишь одно — путешествия демократизировались, и слава богу, как он постоянно твердил своим акционерам.

Сэр Джек любил бродить пешком по землям, которые ему не принадлежали. Он одобрительно махал палкой фанерным коровам на зеленых взгорках, могучим коням в брюках клеш, круглым стогам, похожим на брикеты сладкой ваты. Но он никогда не впадал в заблуждение, будто среди всего этого найдется хоть что-нибудь простое или естественное.

Он вошел в лес, кивнув встречным туристам

— молодой паре. Кажется, они презрительно хмыкнули — или послышалось? Возможно, их удивили его твидовая тиролька, охотничья куртка, саржевые лосины, краги, ботинки ручной работы из оленьей кожи и хайкерский посох. Все, разумеется, английского производства; сэр Джек даже в частной жизни был патриотом. Попавшиеся на его пути туристы были одеты в спортивные костюмы ядовитой, как промышленные отходы, расцветки. На ногах — кроссовки на резиновой подошве, на головах — бейсболки, на спинах — нейлоновые рюкзаки; один был с плеером и слушал, несомненно, вовсе не Пасторальную. Только не подумайте, будто сэр Джек был сноб. Несколько лет назад в Ассоциацию пеших странников поступило предложение провести закон о том, чтобы туристы носили исключительно одежду гармонирующих с природой цветов. Сэр Джек боролся с этим проектом руками и ногами, зубами и когтями. Он объявил его фантастическим, проэлитарным, неосуществимым и антидемократичным. Между прочим, производство спортивной одежды также входило в область его деловых интересов…

Лесная тропа — несколько поколений пружинистых березовых листьев — настоящий ковер из

войлочных лоскутов. Многоярусные трутовики на гнилом бревне — макет спроектированных Корбюзье рабочих кварталов. Гениальность — это дар преображения: так соловей, перепел и кукушка стали флейтой, гобоем и кларнетом. Но ведь гениальность — это еще и умение видеть вещи, как в первый раз, глазами невинного ребенка. Так ведь?

Выйдя из леса, он поднялся на невысокий холм: открылся вид на волнистые поля, спускающиеся мимо рощицы к узкой речушке. Опершись о посох, он мрачно задумался о своем разговоре с Джерри Бэтсоном. Тоже мне, патриот, решил Джек. Какой-то он скользковатый. Не идет на честный мужской разговор, в глаза не смотрит — сидит, медитирует, хиппи галстучный! И все-таки Джерри подаст тебе руку помощи — в случае, если ты ее предварительно позолотишь. Время. Ты не старше и не моложе своего возраста. Идея банальная — до того банальная, что балансирует на грани мистики. Итак, определим возраст сэра Джека. Больше, чем по паспорту, это уж точно. Много ли времени ему осталось? Порой его посещают необъяснимые дурные предчувствия. Когда он восседает на порфирном унитазе в своем личном туалете в «Питмен-хаусе», его

иногда обуревает чувство бренности. Что, если смерть захватит тебя врасплох, со спущенными штанами? Нет конца постыднее…

Нет, нет! Прочь эти мысли. Они недостойны ни карапуза Джеки Питмена, ни Веселого Джека, ни сэра Джека, ни будущего, к примеру, лорда Питмена — насчет своего следующего прозвания он еще точно не решил.

Нет, он должен двигаться дальше, действовать, не ждать подходящего времени — а схватить его за горло! Вперед, вперед! Ахнув посохом по густым кустам, он вспугнул фазана; птица, одетая в мешковатый аранский свитер, тяжело поднялась в воздух и шумно — авиамоделью с барахлящим моторчиком — улетела.

Чистый октябрьский ветерок все сильнее задувал в лицо сэру Джеку, пока он шел вдоль эскарпа. Ржавый ветряной насос изображал собой задорного петушка Пикассо. Вдали уже горела горстка ранних огней: деревушка, служащая дальним спальным пригородом Лондона, паб, чью аутентичность воссоздали пивовары. Его странствие подходило к концу слишком рано. Погодите, подумал сэр Джек, погодите! Иногда он чувствовал себя просто-таки братом старины Людвига, и не зря — в журнальных очерках о сэре Джеке

часто употреблялось слово «гений». Правда, не всегда оно было окружено лестным контекстом, но, как он сам любил говорить, журналисты бывают только двух видов: те, кому платит он, и те, кому платят его завистливые конкуренты. И вообще, раз даже писакам приходит на ум именно это слово… Но где же его Девятая симфония? Может быть, идея, вызревающая сейчас в его голове, — это она и есть? Несомненно, умри Бетховен автором всего лишь восьми симфоний, мир все равно распознал бы в нем выдающегося человека. Но Девятая, Девятая!

Мимо пролетела сойка, рекламируя модные в этом сезоне цвета автомобилей. Березовый перелесок пылал, как антикоррозийная краска. Вот окунуться бы в нее… *Muss es sein?* Ответ знал любой бетховенианец — а сэр Джек считал себя таковым. *Es muss sein*[47]. Но только после Девятой.

Подняв и застегнув на специальные крючки воротник своей охотничьей куртки, чтобы защититься от ветра, он направился к прогалу в дальней живой изгороди. Двойной бренди в «Собаке и барсуке», чей бакенбардистый хозяин

---

[47] Сноски: 47

Должно ли существовать на свете? ⟨…⟩ Существовать — должно *(нем.).*

патриотично откажется брать с него плату — «Рад и польщен, как всегда, сэр Джек», — и лимузин умчит его назад в Лондон. Обычно он озвучивал салон Пасторальной, но сегодня, пожалуй, изменит привычке. Третью? Пятую? Хватит ли у него храбрости на Девятую? Когда он дошел до деревьев, навстречу «черным воронком» выпорхнула ворона.

* * *

— Есть люди, которым нравится окружать себя подхалимами, — сказал сэр Джек на собеседовании с Мартой Кокрейн, которая претендовала на пост Специального Консультанта. — Но я известен как ценитель «противошерстников» и «противошерстниц» — это мой термин. Солдат, которым стыдно стрелять в народ. Отрицателей. Верно, Марк? — Он махнул Менеджеру Проекта, молодому блондину с проказливой эльфийской мордашкой, чьи глаза так рьяно следили за каждым движением начальника, что порой буквально забегали вперед.

— Нет, — ответил Марк.

— Хо-хо, Марко. Уели вы меня. А с другой стороны, спасибо за наглядное доказательство.

Сэр Джек перегнулся через свой письменный

стол двойной ширины, намереваясь побаловать Марту толикой благожелательного «фюрерконтакта». Марта выжидала. Она ждала, что ее попробуют выбить из колеи, и действительно сильно опешила, узрев длинноворсовый уют сэра Джека, — так вопиюще контрастировал его стиль с остальной частью «Питмен-хауса». Она чуть не подвернула ногу в этих шерстяных чащах.

— Вы заметите, мисс Кокрейн, что я специально избегаю обобщающих существительных мужского рода. Среди бизнесменов своего уровня я выделяюсь тем, что держу в штате больше женщин. Перед женщинами я преклоняюсь. Также я убежден, что женщины, когда они не бывают еще бóльшими идеалистками, чем мужчины, циничнее их. Короче, я ищу особу на должность, так сказать, Штатного Циника. Не придворного шута — эта вакансия занята нашим юным Марком, — но человека, который не побоится высказать свое мнение, не побоится мне противостоять и в то же самое время не возомнит, что с его советами и мудростью непременно будут считаться. Мир — моя устрица, но в данный момент я ищу не жемчужину, а песчинку — песчинку, нужную мне как воздух. Скажите, вы согласны, что женщины циничнее, чем мужчины?

Марта на несколько секунд задумалась.

— Ну что ж, женщины традиционно подлаживались под нужды мужчин. А нужды мужчин — это, разумеется, палка о двух концах. Вы возносите нас на пьедестал, чтобы заглянуть под наши юбки. Когда вам потребовались образцы непорочности и высочайшей духовности, те, кого можно заочно идеализировать, пока убиваешь врагов или пашешь землю, мы подстроились. Если теперь вы хотите от нас цинизма и разочарованности в жизни, мы, осмелюсь сказать, подстроимся запросто. Хотя, конечно же, мы это сделаем не всерьез — как и раньше подлаживались не всерьез. К цинизму мы отнесемся цинично.

Сэр Джек, интервьюировавший соискателей на демократичный манер — без пиджака, выжал из своих подтяжек цветов «Гаррик-клуба» резиновое пиццикато:

— И это будет уже верх цинизма.

Он снова просмотрел ее резюме. Сорок, разведена, без детей; диплом историка, диссертация о наследии софистов; пять лет работы в Сити, два — в Управлении по делам искусства и исторического наследия, восемь — в качестве независимого консультанта. Когда он переключился с

досье на лицо, глаза Марты уже поджидали его, глядя непоколебимо. Темно-каштановые волосы, строгое каре, синий деловой костюм, одинокий зеленый камушек на левом мизинце. Увидеть ноги мешал стол.

— Я должен задать вам несколько вопросов, никак не связанных между собой. Посмотрим… — Ее пристальное внимание странным образом действовало на нервы. — Посмотрим. Вам сорок лет. Верно?

— Тридцать девять. — Прежде чем дать отповедь, она выждала, пока он откроет рот. — Но если бы я написала, что мне тридцать девять, вы наверняка решили бы, что мне сорок два или сорок три, а вот если я напишу, что мне сорок, вы скорее поверите.

Сэр Джек попробовал издать сдавленный смешок.

— А остальные пункты вашего резюме так же близки к истине, как и этот?

— В них столько правды, сколько вам угодно. Если резюме вас устраивает, оно правдиво. В противном случае я его перепишу.

— Как вы думаете, за что наша великая нация любит королевскую семью?

— Закон об оружии. Не будь этого закона, вы бы

задали противоположный вопрос.

— Ваш брак закончился разводом?

— Оказалось, что счастье для меня слишком тихоходная штука.

— Мы — гордая нация, не терпевшая поражений в войнах с тысяча шестьдесят шестого года?

— Одержавшая выдающиеся победы в Американской революционной войне и Афганских войнах.

— И все же мы победили Наполеона, кайзера, Гитлера.

— Не без помощи друзей.

— Как вам вид из окна моего кабинета? — Он взмахнул рукой, привлекая внимание Марты к парным, доходящим до самого пола шторам, подвязанным золочеными шнурами; между шторами располагалось откровенно фальшивое окно, с нарисованной на стеклах панорамой золотых пшеничных полей.

— Красиво, — обронила Марта ни к чему не обязывающим тоном.

— Ха! — отозвался сэр Джек. Он прошел к окну, надавил на искусно вырисованные обманки-шпингалеты и, к удивлению Марты, распахнул его. Золотые поля исчезли, открыв взору атриум «Питмен-хауса». — Ха!

Сэр Джек снова уселся с благодушием победителя.

— Вы со мной переспите, чтобы получить должность?

— Думаю, что нет. Это дало бы мне слишком большую власть над вами.

Сэр Джек презрительно фыркнул. Придержи язык, сказала себе Марта. Не надо играть на публику — Питмен это делает за двоих. Да и публика не бог весть какая: придворный шут-блондинчик, честный трудяга — Разработчик Концепций, щуплый очкарик неопределенных обязанностей, сгорбившийся над лэптопом, и немая референтка.

— А что вы думаете о моем великом Проекте, если судить по его предварительным описаниям?

Марта выдержала паузу.

— Думаю, он увенчается успехом, — сказала она и погрузилась в молчание.

Сэр Джек, решив, что сила на его стороне, выбрался из-за стола и встал, рассматривая профиль Марты. Теребя мочку своего левого уха, он уставился на ее ноги.

— Почему?

Произнося вопрос, он гадал, к кому обратится соискательница вакансии — к кому-то из его под-

чиненных или вообще к пустому креслу? Либо, полуобернувшись к начальнику, в замешательстве скосит глаза? К удивлению сэра Джека, она поступила совсем иначе. Встала, повернулась к нему лицом, раскованно скрестила руки на груди и проговорила:

— Потому что никто еще не разорился на том, что потворствовал лени своих ближних. А точнее, никто еще не разорился на том, что потворствовал лени, за шанс предаться которой ближние платят хорошие деньги.

— Программа «Не просто отдых» предлагает целый спектр занятий по интересам.

— Вот именно.

Теперь перед каждым очередным вопросом сэр Джек перемещался на новое место, надеясь сбить Марту. Но она спокойно стояла, всякий раз просто оборачиваясь к нему. Остальных она игнорировала. Порой сэру Джеку чудилось, что он кружит по комнате вопреки своему желанию — иначе за Мартой не угнаться.

— Скажите, вы стрижку сделали специально для этого собеседования?

— Нет, для следующего.

— Сэр Фрэнсис Дрейк?

— Пират. — (Спасибо, Кристина!)

— Ну-ну. А святой Георг, наш покровитель?

— Также святой покровитель Арагона и Португалии, полагаю. И защитник Генуи и Венеции. Видно, он победил не одного дракона, а целых пять.

— А если бы я сказал вам, что функция Англии в мире — это служить символом упадка, моральным и экономическим пугалом; мы, дескать, научили мир играть в хитроумную игру крикет, а теперь наш долг, проявление комплекса рецидивной имперской вины — сидеть сложа руки и позволять себя обыгрывать. Что бы вы на это сказали?

— Я бы сказала, что на вас это не очень похоже. Разумеется, я прочла почти все ваши речи.

Сэр Джек улыбнулся сам себе, как обычно радушно демонстрируя окружающим свою симпатию к самому себе. Его кругокабинетный поход был к тому времени закончен, и он вновь уселся в свое президентское кресло. Марта тоже села.

— А почему вы хотите получить эту должность?

— Потому что вы будете платить мне больше, чем я заслуживаю.

Сэр Джек, не таясь, расхохотался.

— Есть еще вопросы? — спросил он сотруд-

ников.

— Нет, — нагло отрезал Марк, но начальник не уловил отсылки к началу разговора.

Марту проводили до выхода. В Цитатной она задержалась, делая вид, что осматривает подсвеченную прожекторами стелу; вдруг скрытой камере тоже нужно понравиться? На самом деле она пыталась вспомнить, что же ей напомнил кабинет сэра Джека. Наполовину клуб для джентльменов, наполовину аукционный дом, исчадие настырно-дурного вкуса. В этом кабинете чувствуешь себя как в холле какого-нибудь загородного отеля, где назначаются свидания для случайных, от нечего делать, адюльтеров, где беспокойство, проглядывающее в поведении всех окружающих, помогает скрыть твою собственную тревогу.

Тем временем сэр Джек Питмен отодвинул кресло к стене, шумно потянулся и ослепительно улыбнулся сотрудникам.

— Бо́рзая — и жем-чу-жи-на. Джентльмены — разумеется, я выражаюсь метафорически, ибо в моей грамматике мужской род всегда объемлет женский, — джентльмены, по-моему, я влюблен.

* * *

Краткая история сексуальности в случае Марты Кокрейн:

1. НЕЧАЯННОЕ ОТКРЫТИЕ. Зажатая между ног подушка, бешеный стук в голове, еще горячая полоска света под дверью спальни. «Метод невинного тыка», назвала она это.

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ. Переход с одного пальца на два; с сухих на послюнявленные.

3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСА. Первый мальчик, сказавший, что она ему нравится. Саймон. Первый поцелуй и недоуменное размышление: как не сталкиваться носами? Первый раз, когда после танца, прислонившись к стене, она почувствовала, что в ее бедро что-то тычется; мимолетное предположение, будто это, возможно, какой-то физический недостаток и почти точно резон больше не видеться с этим мальчиком. Позднее мальчик был рассмотрен целиком: визуальное знакомство с органом вызвало легкую панику. «Он же не влезет!» — подумала она.

4. ПАРАДОКСЫ ИМПУЛЬСА. Как в старой песенке: «Кого хочу, тех не имею, кого имею, не хочу». Глубокое и непризнанное влечение к Нику

Дердену, с которым она даже рукавом не соприкоснулась ни разу. Любезное согласие допустить к своему телу Гарета Дайса, который трахнул ее три раза подряд на колючем ковре, пока она с улыбкой похваливала его, про себя гадая, предел это наслаждения или бывает лучше, слегка обескураженная странным распределением веса в мужском теле: ниже пояса, в «этом самом месте» он был невесомый, просто пар, зато в районе груди так навалился своими тяжеленными костьми, что весь воздух из легких выдавил. Да и имя Гарет ей не понравилось выговаривать, когда она произносила его до акта и после.

5. «ЛУНА-ПАРК». Туда-сюда обратно, тебе и мне приятно. Могучие кони и златорогие козлы наперебой звали с собой; о, как переливались змейки электрогирлянд, как гремела, затягивая в водоворот, музыка! Взлетаешь на качелях, размазываешься по стенам «Сюрприз-вертушки», рвешь путы земного притяжения, исследуешь потенциальные возможности человеческого тела, одновременно проверяя его на прочность. И конечно, были — по идее, были — призы, хотя чаще, чем ты ожидала, кольцо рикошетом отскакивало от деревянного колышка, разболтанная удочка ничегошеньки не подцепляла на крючок,

а в павильоне «Сбей орех» кокос, как оказывалось, был прочно приклеен к чашке.

6. ПОИСКИ ИДЕАЛА. В разных постелях, иногда путем прямого отказа или отмазки от постели. Гипотеза, будто полное счастье возможно, желанно, жизненно важно — и достижимо лишь в присутствии и с помощью Другого. Надежда на То, что Так Возможно, воплощенная: а) в Томасе, который повез ее в Венецию, где она обнаружила, что его глаза куда ярче сияют при виде Джорджоне, чем когда она стоит перед Томасом, одетая в специально купленное иссиня-черное нижнее белье, а за окном причмокивает узкий канал-переулок; б) в Мэтью, который превыше всего обожал ходить по магазинам, который, даже не снимая вещь с вешалки, безошибочно определял, пойдет ли она Марте, который доводил собственноручно состряпанный ризотто до нужной кондиции липкой влажности, но вот Марту, как ни бился, до сходной кондиции довести не мог; в) в Теде, который показал ей, чем хороши деньги и благостное ханжество, порождаемое их наличием, который сказал, что любит ее, что хочет жениться на ней и иметь от нее детей, но не соизволил упомянуть, что каждое утро по дороге из ее квартиры в свой офис всегда проводит заветный

час наедине со своим психиатром; г) в Расселе, с которым она беспечно сбежала ради интима и любви в горы Уэльса, в хижину на полпути к облакам, чтобы жить на холодной воде, которую приходилось качать ручным насосом, и парном козьем молоке; он был идеалист и аккуратист, он был бескорыстный сознательный член общества, но она вскоре начала подозревать, что просто не может жить без самодовольства, суеты, лености и порочности современной городской жизни. Опыт общения с Расселом также заставил ее усомниться в том, что любовь можно воспитать в себе усилием воли или сознательным решением; похоже, порядочный человек — еще не все, что нужно для любви. И вообще, где это написано, будто возможно еще что-то, помимо приятного компанейского разврата? (В книгах, но книгам она не верила.) После этих открытий ее жизнь несколько лет сопровождало чувство легкого, почти пьянящего отчаяния.

6-бис. ПРИЛОЖЕНИЕ. Не забыть — несколько женатых. Выбор за тобой, Марта, а предлагается вот что: мобильники, телефоны в машине, автоответчики; чувства, не поверяемые бумаге, боязнь расплачиваться кредитной карточкой; секс без предупреждения, а не успеешь опомниться, дверь

квартиры захлопывается за гостем; интимные послания по электронной почте и безмолвие на Пасху; живенький такой темп беспечной непричастности ни к чему, просьба не пользоваться никакой парфюмерией; прелести воровской жизни, минимализированные надежды, ревность, которую каленым железом не выжжешь. А также друзья, в которых видишь потенциальных секс-партнеров. А также секс-партнеры, в которых видишь потенциальных друзей. А также (но до дела так и не дошло) Джейн (если бы не слишком устала, если бы не так зверски хотелось спать).

7. СТРЕМЛЕНИЕ К САМОДОСТАТОЧНОСТИ. Потребность мечтать. Реальность этой мечты. Другой может страховать тебя со спины, помогать, и его условное присутствие дополнительно скрасит вашу гипотетическую общую реальность. Но от его реальности — и от его «я» — ты абстрагируешься, и в этом твое спасение. Ты это серьезно, Марта, спрашивала она себя порой, или просто завертываешь в красивый фантик свою склонность к беззастенчивому эгоизму в сексе?

7-бис. Не забыть — десять с половиной месяцев целомудрия. Лучше, хуже или просто по-другому?

8. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ. К примеру, вот

этот. Как раньше говорили, хороший добытчик. Показал себя таковым. Хороший упругий член без проблем; симпатичный торс с несколько бабскими сосками, похожими на моллюски «блюдечко»; ноги коротковаты, но в лежачем положении незаметно. А как он хлопочет, как хлопочет, отлично знает, чего ему надо, подгоняет ее к какому-то шаблону вечной женственности, который давно уж создал сам. Словно Марта — банкомат: набери правильный код, и деньги потекут рекой. Лощеная уверенность, самодовольное знание, что проверенный метод в очередной раз даст отличный результат.

Откуда такая уверенность берется? От недомыслия; внесли свою лепту и ее предшественницы, подкрепляя его поведение своими положительными реакциями. Да и она реагировала на него по-своему положительно: в смысле, могла положиться на то, что он по уши занят своими хлопотами и не отвлечется на что не надо. А самодовольство означало, что он и не заметит, как она абстрагируется от его реальности. И, даже обратив внимание на ее отрешенность, только возгордится: вознес, дескать, подругу к новым вершинам блаженства, на пятое, шестое, седьмое небо.

Исподтишка послюнив палец, она начала теребить себе клитор. Партнер замялся, точно получив нагоняй, передвинулся поудобнее, рыкнул, намекая, что возбужден столь вопиющей порочностью, и возобновил свои хлоп-хлоп-хлопоты. Она мысленно покинула его: пусть себе остается там, ниже пояса, наедине со своими выделениями и гидравликой, своим надежным таймером и верхней, чемпионской ступенькой пьедестала. Когда придет время, она организует притворную овацию.

(В скобках: тайна женского оргазма, за которым когда-то охотились, точно за редким зверем — нарвалом каким-нибудь, единорогом… Где он — в дальних странах, в недоступных океанских впадинах, среди мерзлой тундры? Вначале его выслеживали женщины, затем к погоне присоединились мужчины. Драка за совочек в песочнице. Мужчины на каких-то странных основаниях возомнили его своей собственностью — дескать, без их помощи никак. Они хотели промчаться по улицам триумфальной кавалькадой, волоча его за собой. Но кто его в свое время потерял? Мужчины же и потеряли, так что женщины имеют полное право завладеть тем, что с воза упало. Необходима новая завеса секретности,

новые законы об охране живой природы.)

Она распознала знакомые симптомы. Почувствовала, как все сильнее напрягается его тело, услышала придушенные хрипы — басовитые, как кряхтенье при запоре; и звуки более высокие, точно в самолете уши заложило и пытаешься их прочистить. Она исполнила свою партию, изобразила нежные протесты, возмущение и бурный восторг жертвы, пронзаемой сладостным клинком; и вот, в одно и то же мгновение времени, но в разных секторах вселенной, он кончил и кончила она.

Вскоре он пробормотал:

— Понравилось?

Вероятно, он хохмил, но все равно фраза была произнесена очень уж по-официантски. Надежно защищенная двусмысленностью слов, она ответила:

— Отличное угощение.

Он хохотнул:

— Мне не говори, скажи своим подругам.

Куда девается ненормативная лексика, когда она тебе действительно нужна? Проблема, впрочем, в том, что большая часть таких слов описывает то, что проделывает уже битый час она сама. А остальные слабоваты. Даже эту его

звонкую фразочку она уже слыхивала когда-то на своем извилистом жизненном пути. И стопроцентно услышит вновь: она поделится впечатлениями о нем, хотя и не теми, на которые он рассчитывал. Чуть-чуть об этой ночи и этом партнере; и долго-долго — о сладкой, мать ее за ногу, силе обмана, что срывает, возвышает, к земле швыряет и вновь хватает.

* * *

Величайшие из дающих право на налоговые льготы умов были приглашены выступить перед Координационным комитетом Проекта. Среди них был французский интеллектуал, оказавшийся на поверку щуплым, отглаженным человечком в английском твидовом пиджаке, который был ему велик на полразмера; пиджак дополнялся голубой рубашкой из американского хлопка, с воротником на пуговках, итальянским цветисто-строгим галстуком, интернациональными угольно-черными чистошерстяными брюками и французскими туфлями-мокасинами. Круглое лицо, загоревшее под несколькими поколениями настольных ламп; пенсне; редкие, очень коротко остриженные волосы. Портфеля он с собой не принес и шпаргалки в кулачке не прятал. Зато

скупо-изящными жестами он извлекал из своих рукавов голубей, а изо рта — длинную гирлянду флагов. Паскаль выводил к Соссюру через Лоренса Стерна; Руссо — к Бодрийяру с остановками в Эдгаре По, маркизе де Саде, Джерри Льюисе, Декстере Гордоне, Бернаре Ино и ранней Анн Сильвестр, далее везде; Леви-Стросс — к Леви-Строссу.

— Здесь фундаментально, — провозгласил он, как только цветные платки спланировали на пол, а голуби расселись по карнизам, — здесь фундаментально осознать, что ваш великий Проект — а у нас во Франции всегда рады приветствовать чужие *grands projets* — глубоко современен. Мы в нашей стране имеем определенную концепцию *patrimonie,* а вы в вашей стране имеете определенную концепцию *culturel*-наследия. Мы не говорим о таких концепциях здесь, то есть избегаем прямых аллюзий, хотя, разумеется, в нашем интертекстуальном мире подобные аллюзии, при всей их *ironie,* естественно, имплицитны и неизбежны. Надеюсь, все мы понимаем, что территории, свободной от аллюзий, в природе не существует. Но это все, как вы выражаетесь, попутные слова.

Нет, мы говорим о глубоко современной вещи.

Точно установлено — строго говоря, неопровержимо доказано многими из ранее процитированных мной авторов, — что в наши дни мы предпочитаем копию подлиннику. Репродукцию произведения искусства мы предпочитаем самому этому произведению искусства, идеальный звук и уединение компакт-диска — симфоническому концерту в обществе тысячи больных ОРЗ, книгу на аудиокассете — книге на коленях. Если вы посетите гобелен Байё в моей стране, вы обнаружите, что дойти до оригинала одиннадцатого века можно лишь мимо копии масштаба один в один, выполненной современными мастерами; это документальная экспозиция, диктующая посетителю — невзирая на то, что он является паломником, — подлинное место произведения искусства. Более того! Я знаю из авторитетных источников, что количество человеко-минут, проводимых перед копией, при любой методике подсчета значительно превышает количество человеко-минут перед подлинником.

Когда подобные явления были открыты впервые, некоторые старомодные люди заявили, что чувствуют разочарование и даже стыд. Это как обнаружить, что мастурбация с использованием порнографического зрительного ряда слаще, чем

секс. *Quelle horreur!*[48] Вандалы вновь ворвались в город, кричали они, подрезается ткань нашего общества. Но дело обстоит не так. Важно понять, что в современном мире мы предпочитаем копию подлиннику, потому что она доставляет нам более сильный *frisson*[49]. Это слово я оставлю не переведенным с французского, так как думаю, что вы его и так понимаете.

Более того! Вопрос, который должен быть задан, таков: почему мы предпочитаем копию подлиннику? Почему она доставляет нам более сильный *frisson*? Чтобы это понять, мы должны понять и вполне осознать нашу неуверенность, нашу экзистенциальную нерешительность, тот глубокий атавистический страх, который мы испытываем, оказавшись с подлинником лицом к лицу. Столкнувшись с альтернативной, не нашей реальностью, реальностью, которая выглядит более мощной и потому нам угрожает, мы обнаруживаем, что спрятаться негде. Не сомневаюсь, вы знакомы с работами Виолле-ле-Дюка, которому в начале девятнадцатого века было поручено спасти многие из приходящих в

---

[48] Сноски: 48
Какой ужас! *(фр.)*

[49] Сноски: 49
Дрожь *(фр.)*.

упадок замков и *forteresses*[50] моей страны. Есть два традиционных взгляда на его деятельность: первый — что он старался насколько возможно спасти древние камни от полного разрушения и исчезновения, что он прилагал все усилия для их сохранения; и второй — что он поставил себе гораздо более сложную задачу, а именно — воссоздать здания в их изначальном виде, что в своих трудах он руководствовался воображением и получал результаты, которые одним кажутся удачными, а другим — нет. Но возможен еще один, третий взгляд, и он таков: Виолле-ле-Дюк хотел у-ни-что-жить ре-аль-ность этих древних зданий. Перед лицом кон-ку-рен-ции со стороны реальности, реальности более сильной и более глубокой, чем его собственная эпоха, он мог лишь одно — движимый экзистенциальным страхом и чисто человеческим инстинктом самосохранения, он был вынужден уничтожать подлинники!

Позвольте процитировать одного из моих коллег-соотечественников, одного из этих старых *soixante-huitards* прошлого века, чьи ошибки многие из нас находят столь поучительными и плодотворными. «Все, что раньше пережива-

---

[50] Сноски: 50
Крепости *(фр.)*.

лось непосредственно, — написал он, — теперь остраняется в представление». Это есть глубокая истина, хотя и рожденная глубокой ошибкой. Ибо автор вложил в нее, как это ни поразительно, отнюдь не похвальную, но критическую интенцию. Продолжим цитату: «За исключением некоторого наследия, пока остающегося значимым, но уже обреченного на непрерывное исчезновение и состоящего из книг или древних строений… ни в культуре, ни в природе больше не существует ничего, что бы не было трансформировано и загажено сообразно средствам и интересам современной индустрии».

Вы видите, как разум, взлетев столь высоко, внезапно утрачивает храбрость? И как мы можем локализовать эту утрату храбрости в движении, в дегенерации от семантически нейтрального глагола «трансформировать» к глаголу с этически-неодобрительной коннотацией «загадить». Он понимал, этот старый мыслитель, что мы живем в мире зрелищ, но сентиментальность и некий политический рецидивизм заставили его устрашиться собственных пророческих видений. Я предпочел бы развить его мысль следующим образом. Когда-то был только мир, переживаемый непосредственно. Теперь имеется представление,

то есть репрезентация — позвольте расчленить это слово: «ре-презентация», повторная презентация — мира. Это не заменитель неказистого первобытного мира, но его улучшенный и обогащенный, иронизированный и суммированный вариант. Вот где мы отныне живем. Черно-белый мир стал цветным, одинокий хриплый динамик — системой «Долби-сёрраунд». Мы что-то на этом потеряли? Нет, мы приобрели, мы победили.

В заключение позвольте констатировать, что мир третьего тысячелетия неизбежно, неискоренимо современен и что наш интеллектуальный долг — подчиниться этой современности и отринуть как сентиментальные и глубинно-фальшивые все вздохи по тому, что именуется сомнительным термином «подлинник». Мы должны требовать копий, ибо реальность, истина, аутентичность копии — это то, что мы можем присваивать, колонизировать, реструктурировать, использовать как источник *jouissance*[51], и наконец, когда мы того захотим — если захотим, — реальность копии станет реальностью, которую нам суждено встретить на своем пути, оспорить и уничтожить.

---

[51] Сноски: 51
Наслаждение *(фр.).*

Джентльмены и леди, я поздравляю вас, ибо ваше предприятие глубоко современно. Желаю вам храбрости, достойной этой современности. Невежественные критики будут, несомненно, утверждать, будто вы всего лишь пытаетесь воссоздать Старую Добрую Англию — тут меня особенно интригует женский род наименования страны, но это другая тема. Более того, если вы позволите, это шутка. Я говорю вам в заключение, что ваш Проект должен быть очень Старым-Добрым, поскольку именно тогда он станет истинно новаторским, станет современным! Джентльмены и леди, я салютую вам!

Лимузин корпорации «Питко» отвез французского интеллектуала в центр Лондона, где он истратил часть своего гонорара на бахилы от «Фарлоу», блесны от «Дома Харди» и выдержанный карфилли от «Пакстона и Уитфилда». А потом улетел, по-прежнему без шпаргалок, через Франкфурт-на-Майне на следующую конференцию.

* * *

О сэре Джеке Питмене бытовало множество разных мнений, почти каждое из которых исключало все остальные. Кто он — злодей и садист?

Либо прирожденный лидер и сила природы? Неизбежное, злокозненное порождение свободного рынка — либо одержимый своим делом человек, ни при каких обстоятельствах не утрачивающий связи со своей затаившейся на дне подсознания душой? Одни приписывали ему глубокий, интуитивный ум, позволявший ему равно чувствовать как перепады биржевой активности, так и слабые струнки деловых партнеров; другие находили, что он — тупое, бездумное общее звено между деньгами, самомнением и отъявленной бессовестностью. Одни наблюдали, как он заставлял своих абонентов ждать на линии, дабы без помех похвастаться коллекцией прэттовского фаянса; другим он звонил сам, приняв любимую, «переговорную» позу — восседая на своем порфирном унитазе, — и собеседники слышали, как он оскорбленно спускает их наглые требования в канализацию вместе с водой. Почему же суждения о нем были столь противоречивы? Разумеется, и на этот вопрос всякий отвечал по-своему. Одни считали, что сэр Джек — просто-напросто слишком крупная, слишком многогранная фигура, которая просто не умещается в головах простых (и вдобавок завистливых) смертных; другие подозревали, что секрет его си-

лы — в чисто тактической скрытности: сэр Джек не давал наблюдателям никаких поддающихся дешифровке — точнее, вообще никаких — улик и сведений.

Тем же дуализмом заражались те, кто пытался анализировать деятельность Питмена-бизнесмена. Им приходилось метаться между двумя крайностями. Либо: Питмен — рисковый игрок, иллюзионист от финансов, умеющий на краткий, ключевой миг убедить вас, будто деньги настоящие и практически у вас в руках; он не пропускает ни одной лазейки в законах; он со Спаса дерет да на Николу кладет; он, как бешеный пес, все роет и роет, чтобы землей из новой ямы закидать предыдущую; и доныне не умолкло эхо фразы, произнесенной одним инспектором из Министерства торговли и промышленности: «Я бы его не допустил даже бычками на базаре торговать». Либо: это динамичный человек из древней породы купцов-мореплавателей, чьи успехи и энергичность вызывают, естественно, зависть и клевету у консерваторов, для которых бизнес — прерогатива мелких династических фирм, а его законы — замшелые правила крикета; Питмен — архетип транснационального предпринимателя, функционирующего на современном глобальном

рынке, и вполне понятно, что он старается свести свои налоговые выплаты до минимума — иначе его бизнес не будет конкурентоспособен. Либо: вы только посмотрите, как он использовал сэра Чарльза Энрайта, чтобы втереться в Сити, ноги ему лизал, не знал, как подольститься, а потом сбросил личину и слопал его с потрохами, выставил из совета директоров в тот же миг, как с Чарльзом случился первый инфаркт. Либо: Чарли был старой закваски человек, честный, конечно, но, откровенно говоря, немного копуша, фирму давно было пора перетряхнуть, пенсию ему предложили более чем щедрую, и вообще, вы в курсе, что сэр Джек оплатил образование младшего сына Чарли из своего кармана? Либо: никто из его бывших сотрудников слова плохого о нем не сказал. Либо: надо признать, Питмен всегда был мастаком договоров-кляпов и подписок о неразглашении.

Даже нечто с виду столь однозначное, как двадцатипятиэтажный стеклянно-стальной, буково-ясеневый архитектурный факт «Питмен-хауса», поддавалось диаметрально противоположным трактовкам. Что означает его местоположение в административно-деловых кварталах, отвоеванных у зеленого пояса на северо-западе Лондона:

умение сэкономить или симптом того, что у сэра Джека кишка тонка соваться к большим людям, в Сити? Выбор фирмы «Слейтер, Грейсон и Уайт» — всего лишь дань градостроительной моде или удачная инвестиция? И самый интересный, практически основной вопрос: а владел ли Джек Питмен хотя бы один день «Питмен-хаусом»? Может, здание и построено на его деньги, но, по слухам, последний всплеск экономического кризиса доказал, что сэр Джек зря гоняется за десятью зайцами и отправил великого дельца с протянутой рукой в некий французский банк для заключения договора о продаже и взятии обратно в аренду. Но даже эта правда — если она не была ложью — могла быть понята двояко: либо у «Питко» туго с оборотным капиталом, либо сэр Джек, как обычно, всех обскакал, сообразив, что замораживать деньги в такой дорогой штуке, как главный офис, — полный идиотизм.

Даже те, кто не переваривал владельца (либо арендатора) «Питмен-хауса», соглашались, что он умеет проводить свои планы в жизнь. Или, по крайней мере, умеет провести их в жизнь чужими руками. Итак, Питмен стоял под своей люстрой, раз за разом слегка поворачивая голову в сторону очередного члена своего Ко-

ординационного комитета, раздавая приказы. Журналисты, в особенности те, кто писал в его собственных газетах, часто отмечали, как легок он в движениях для такого крупного мужчины; также было известно, что сэр Джек давно мечтает научиться танцевать танго. В подобные минуты он порой сравнивал себя и с американским ковбоем, который, обернувшись, успевает выхватить револьвер раньше нахального задиры-новичка. Или лучше уподобиться укротителю, щелкающему кнутом перед выводком нахальных львят?

Марта, скептически дивясь мощи сэра Джека, наблюдала, как он инструктирует Разработчика Концепций.

— Джеффри, пожалуйста, опрос. Пятьдесят самых популярных ассоциаций на слово «Англия» у предполагаемых покупателей «Не просто отдыха». Солидные фокус-группы. О детях и их любимых певунчиках слышать не хочу.

— По стране? По Европе? По всему миру, сэр Джек?

— Джеффри, вы меня знаете. По всему миру. Среди вечнозеленых долларов и длинных иен. Можешь опросить марсиан — если у них наберется денег на входной билет. — Сэр Джек выждал, пока утихнет одобрительный смех. — Доктор

Макс, я хочу, чтобы вы выяснили, много ли люди знают.

Сэр Джек вновь начал поворачиваться, постукивая средним пальцем по воображаемой кобуре, а доктор Макс откашлялся. Должность Официального Историка была учреждена только что, и Марта увидела его впервые: элегантный, твидовый, томно-развязный, галстук-бабочка.

— Не могли бы вы высказаться более определе-е-енно, сэр Джек?

Повисло леденящее кровь молчание. Затем сэр Джек перефразировал свою команду:

— Что они знают — выясните.

— Это, мнэ-э-гм, по стране, по Европе или по всему миру?

— По стране. Чего в стране не знают, остальному миру нахер не нужно.

— Если вы только позволите, сэр Джек, — но Марта уже видела по мелодраматично сдвинутым бровям начальника, что позволять он никак не намерен, — это весьма-а-а широ-о-кая формулировка.

— Потому вам и платят весьма широкий оклад. Джефф, пожалуйста, помогите доктору Максу воздержаться от дальнейших. А теперь, Марко, вам придется доказать, что вы достойны своего

имени.

У Менеджера Проекта хватило ума дождаться разъяснений сэра Джека. Хохотнув, сэр Джек выдал ключ к своей остроте:

— Марко Поло.

И вновь Менеджер, словно поучая доктора Макса, в ответ начальнику всего лишь глянул на него своими широко распахнутыми голубыми, подобострастно-наглыми глазами. А сэр Джек прошел к предмету мебели, который именовал Маршальским столом, тем самым объявив о начале новой фазы собрания. Легким движением своей мясистой руки он собрал своих солдат вокруг себя. Марта оказалась ближе всех, и его пальцы обхватили ее плечо.

— Речь не о тематическом парке, — начал он. — Речь не об этнографическом центре. Не о Диснейленде, не о Всемирной ярмарке, не о Британском фестивале, не о Леголенде, не о Парке Астерикса. Колониальный Уильямсбург? Нет уж, увольте — пара престарелых индюков жарится на очаге, где пылает гнилой штакетник; безработные актеры разносят оловянные миски с овсянкой и принимают в оплату кредитные карточки. Нет, джентльмены, — «джентльменами» я вас именую метафорически, поскольку, как вы

понимаете, в моей грамматике мужской род объемлет женский, как я сейчас — мисс Кокрейн… Джентльмены, речь о том, чтобы подняться на качественно новый уровень. Грошовые туристы нам не нужны. Пришло время удивить мир. Мы предложим клиентам нечто гораздо большее, чем все возможные значения словосочетания «Индустрия развлечений»; даже предмет моей гордости — слоган «Не просто отдых» — в данной ситуации кажется недостаточно ярким. Мы предложим стопроцентно натуральный продукт. Марк, что это за огнь сомнения в глазах?

— Лишь в том смысле, сэр Джек, что, насколько я понял со слов нашего давешнего французского *amigo*…[52] Я о том, что копию предпочитают подлиннику. Разве не к этому мы стремимся?

— Господи, Марк, опять вокруг да около! На вашем фоне я иногда перестаю себя чувствовать англичанином. Хотя Англия — это сам воздух, которым я дышу и живу.

— Вы имеете в виду… — Поборовшись с какими-то школьными воспоминаниями, Марк продолжал: — Что реальную вещь мы можем постичь лишь через копию. Ну, типа, как у Пла-

---

[52] Сноски: 52
Друг *(исп.).*

тона? — добавил он себе под нос, одновременно взывая к остальным.

— Теплее, Марки-Марк, пальчики поджариваются. Не позволите ли помочь вам проползти последние пять-шесть ярдов до финиша? Попытаюсь. Марк, вы любите природу?

— Конечно. Да, люблю. В принципе люблю. В смысле, люблю смотреть на нее из автомобиля.

— Буквально на днях я был на природе. Подчеркиваю, «на» природе. Не сочтите за нотацию, но с природой следует сливаться в объятиях — а не просто смотреть на нее из автомобиля. Иначе это и не природа вовсе. Я провожу эту мысль ежегодно, когда выступаю на заседании Ассоциации пеших странников. И все равно, Марк, когда вы видите ее *из автомобиля*, вы, полагаю, по-своему, скромно и краем глаза, любуетесь ею?

— Да, — ответил Менеджер. — Любуюсь.

— И вы ею любуетесь, полагаю, поскольку она кажется вам естественной? Творением сил природы, уж простите за тавтологию?

— Можно выразиться и так. — Сам Марк никогда бы так не выразился, но он сознавал, что начальник вовлек его в почти что сократовский — но более жестокий — диалог.

— И все естественное создано Силами Природы,

как все искусственное — Человеком?

— Примерно так.

— Примерно и близко не лежит, Марк. На днях я стоял на холме и смотрел на поле, спускавшееся уступами к реке мимо рощи, и в это время прямо у меня под ногами закопошился фазан. Вы — проезжий в автомобиле, — несомненно, пришли бы к выводу, что все это — неприкосновенное творение Ее Естественности Матушки Природы. Но я, Марк, осведомлен шире. Холм? Погребальный курган железного века. Поле — атавизм саксонского сельского хозяйства, роща стала рощей только после того, как были вырублены сотни других деревьев, река на самом деле — канал, а фазана вырастил, чуть ли не сам высидел егерь. Мы все переделываем, Марк, — деревья, растения, животных. Продолжим нашу экскурсию. Озеро, которое виднеется на горизонте, — это водохранилище; но, когда оно просуществует несколько лет, когда в нем заведется рыба, когда его включат в свой маршрут перелетные птицы, когда деревья обживут берега, а по глади вод примутся сновать всякие там красивые лодчонки, когда все это произойдет, оно станет вполне нормальным озером, неужели не ясно? Теперь оно — стопроцентно натуральный продукт.

— Ах вот к чему вел наш французский *amigo*?!

— По-моему, он не оправдал возложенных на него ожиданий. Я распорядился, чтобы бухгалтеры выписали ему доллары вместо фунтов, а в случае протеста аннулировали чек.

— Фунты — подлинник, а доллары — копия, но со временем подлинник становится копией?

— Отлично, Марк. Просто отлично. На уровне Марты. Это похвала. — Сэр Джек сжал плечо своего Специального Консультанта. — Но хватит этих задорных пикировок. На повестке дня вопрос: «ГДЕ?»

На Маршальском столе была разложена карта Британских островов; Координационный комитет сэра Джека воззрился на пазл «Графства Англии», гадая, что лучше — попасть в яблочко или вообще промазать. Скорее всего, ни то ни другое. Сэр Джек, прохаживаясь за их спинами, дал подсказку:

— Англия, как заметил великий Вильгельм и многие другие, является островом. Следовательно, если наши намерения серьезны, если мы хотим предложить стопроцентно натуральный продукт, нам следует отправиться на поиски дивного, как там бишь его, в серебряной оправе этого самого.

Они разглядывали карту, точно сомнительное новое изобретение. Выбор казался то чересчур широким, то чересчур узким. Возможно, требовался какой-то дерзкий концептуальный скачок.

— Может быть… вы, случайно, не подразумеваете… Шотландию, нет?

Скорбный бронхиальный выхлоп дал понять: «Нет, остолоп, сэр Джек подразумевает не Шотландию».

— Острова Силли?

— Далековато.

— Нормандские?

— Слишком французские.

— Ланди?

— Освежите мою память.

— Знаменитые птичьи базары. Ту́пики.

— О господи, Пол, хрен с ними, с ту́пиками! И увольте меня от всех этих нудных песочных куличиков в эстуарии Темзы!

Что у него на уме? Англси явно не подходит. Остров Мэн? Возможно, сэр Джек задумал выстроить свой собственный суррогатный офшорный остров. А что, вполне в его духе. Учтите, сэр Джек потому и сэр Джек, что он способен на все — кроме того, чего делать не желает.

— Здесь, — сказал он, и его кулак опустился на

карту, как штамп таможенника — на паспорт. — *Здесь.*

— Остров Уайт, — отозвались ему в нестройный унисон.

— И-мен-но. Поглядите, как этот карапуз тыкается в мягкое подбрюшье Англии. Красавчик. Лапуля. Посмотрите, какой он формы. Ромб. Иными словами, алмаз. Это меня поразило с первого же взгляда. Чистый алмаз. Бесценный мой лапуля.

— И как он выглядит, сэр Джек? — спросил Марк.

— Как он выглядит? На карте — превосходно, вот как он выглядит. Бывали там?

— Нет.

— Кто-нибудь бывал?

Нет; нет; нет; нет и нет. Сэр Джек подошел к карте с другой стороны, оперся руками о горную часть Шотландии и уставился на своих ближайших соратников.

— А что вы о нем знаете?

Соратники переглянулись. Сэр Джек не унимался.

— В таком случае позвольте развеять ваше невежество. Назовите пять знаменитых исторических событий, связанных с островом

Уайт. — (Молчание.) — Назовите одно. Доктор Макс? — (Молчание.) — Очевидно, не ваш период, хо-хо. Хорошо. Назовите пять знаменитых, охраняемых государством зданий, чья реконструкция может вызвать шум в Министерстве Национального Достояния.

— Осборн-хаус, — отчеканил доктор Макс, как на телевикторине.

— Замечательно. Доктор Макс выиграл фен. Назовите еще четыре. — (Молчание.) — Хорошо. Назовите пять знаменитых и исчезающих видов растений, птиц или зверей, чью среду обитания рискуют уничтожить наши священные бульдозеры. — (Молчание.) — Хорошо.

— Каусская регата, — неожиданно произнес чей-то голос.

— Ага, фагоциты зашевелились. Замечательно, Джефф. Но по-моему, это не растение, не птица и не зверь, не здание и не историческое событие. Есть еще предположения?

Долгое молчание.

— Хорошо. Говоря по чести, идеально.

— Но, сэр Джек… он же, вероятно… там полно жителей?

— Нет, Марк, там полно не-жителей. Там полно благодарных будущих служащих. Но спасибо,

что согласились подвергнуть испытанию свое любопытство. Марко Поло, как я уже сказал. На коня. Отчитаетесь через две недели. Насколько я понимаю, остров знаменит дешевизной своих пансионов.

* * *

— Ну и что вы думаете? — спросил Пол.

Они сидели в каком-то ресторанчике в полумиле от «Питмен-хауса». Перед Мартой стоял стакан с минеральной водой, перед Полом — бокал противоестественно желтого белого вина. За его спиной, на оклеенной дубовым шпоном стене, висела гравюра с двумя собачками, ведущими себя совершенно по-людски; вокруг тявкали и повизгивали мужчины в темных костюмах.

Что она думает? Прежде всего она думает: как странно, что именно он пригласил ее пропустить по рюмочке. Марта давно уже обрела дар предвидения всяческих поползновений в офисах, где преобладали лица мужского пола. Поползновений и антипоползновений. В минуты профинструктажа пальцы-сардельки сэра Джека многозначительно вдавливались в ее плечо, но это прикосновение она интерпретировала скорее как начальственную требовательность, чем как

вожделение, — хотя вожделение не исключалось. Юный Марк, Менеджер Проекта, так и норовил ослепить ее своими ясными голубыми глазами, но в этих взглядах читалась зацикленность на себе; дальше начальной фазы флирта мальчик не суется. Доктор Макс — ну-у, конечно, они уже не раз ломали напополам сэндвичи на галерее у искусственного болота, но доктор Макс питал очаровательную и нескрываемую страсть к доктору Максу, да к тому же Марта почти наверняка была для него существом иного биологического вида. И потому она ждала, что к ней подойдет Джефф, консервативный, положительный, женатый Джефф с детскими креслицами в джипе; он должен был оказаться первым, кто лукаво прошепчет: «А не пропустить ли нам по рюмочке после работы?» В «Питмен-хаусе» — этом зоопарке самомнений — она совершенно проглядела Пола или приняла его за тихое, порой испуганно трепещущее соломенное чучело. Пол, согнувший спину над лэптопом, безъязыкий писец, Мыслелов, подхватывающий никелированные банальности сэра Джека и складирующий их для потомков или, на худой конец, для какого-нибудь будущего Питменовского мемориального фонда.

— Что я думаю? — А еще она думала, что ее

хотят подставить: Пол, этот офисный лакей, прощупывает ее по заданию сэра Джека или кого-то другого. — Ой, это не имеет значения. Я всего лишь Штатный Циник. Мое дело — реагировать на чужие мысли. Вот и всё. Ну а вы-то что думаете?

— Я всего лишь Мыслелов. Я ловлю мысли. Своих у меня нет.

— Не верю.

— Что вы думаете о сэре Джеке?

— А вы что думаете о сэре Джеке?

E2 — e4, e2 — e4, белые начинают, черные повторяют каждый их ход, если только белые не изменят тактику. Пол выдал нечто неожиданное:

— Мне кажется, он хороший семьянин.

— Странно, эта фраза всегда казалась мне оксюмороном.

— В душе он хороший семьянин, — повторил Пол. — Знаете, у него где-то на окраине живет старушка-тетка. Навещает ее регулярно, как часы.

— Гордый отец, верный муж?

Пол мрачно зыркнул на нее: очевидно, подумал, что из вредности она даже вне офиса продолжает функционировать в профессиональном режиме.

— А почему нет?

— А почему да?
— А почему нет?
— А почему да?

Временный пат; Марта решила переждать. Мыслелов был на дюйм-два ниже ее (пять футов девять дюймов) и на несколько лет моложе; бледное круглое лицо, серьезные голубовато-серые глаза за стеклами очков, которые не делали его похожим ни на ученого, ни на зануду-ботаника — разве что на человека с плохим зрением. Униформа служащего сидела на нем несколько мешковато, точно досталась с чужого плеча; в данный момент он так и сяк двигал свой бокал по бумажной подставке с изображением героев Диккенса. Периферическая проницательность доложила ей, что, стоило ей отвернуться, он начинал пристально рассматривать ее. Робость или расчетливость? Уж не напоказ ли он это проделывает, а? Марта мысленно вздохнула: в наши дни даже самые простые вещи редко бывают просты.

Как бы то ни было, она пережидала. Молчать Марта умела виртуозно. Давным-давно она поняла — точнее, впитала из окружающей среды путем социального осмоса, — что женщина призвана разговорить мужчину, победить его скованность; тогда он развлечет тебя, расскажет,

как устроен свет, впустит в свой внутренний мир и в итоге женится на тебе. К тридцати годам Марта осознала, что этот совет никуда не годится. В большинстве случаев последовать ему означало допустить, чтобы собеседник долго нудел тебе в ухо; а предполагать, будто мужчины могут кого-то впустить в свой внутренний мир, — вообще верх наивности. У многих внутреннего мира и в заводе нет — один внешний.

И потому вместо того, чтобы заранее одобрять мужские высказывания, она воздерживалась, смакуя могущество молчания. Некоторых мужчин это нервировало. Они заявляли, что такое молчание, по сути своей, враждебно. Говорили, что у нее «синдром пассивной агрессивности». Спрашивали, не феминистка ли она, используя это слово не как нейтральный термин — и тем более не как комплимент. «Но я ничего не говорила», — возражала она. «И все равно я твое неодобрение просто чую», — высказался один. Другой, как-то раз по пьяному делу после ужина, обернулся к ней, зажав в зубах сигару и гневно сверкая глазами, и сказал: «По-твоему, все мужчины делятся на два вида: те, кто уже сморозил какую-нибудь глупость, и те, кто сморозит глупость с минуты на минуту. Знаешь что, милая,

катись-ка ты подальше».

Итак, Марта не собиралась допускать, чтобы ее перемолчал смотрящий искоса мальчик с бокалом желтого вина.

— Мой отец играл на гобое, — произнес он наконец. — Знаете, профессиональным музыкантом он не был, но играл неплохо, участвовал в маленьких любительских ансамблях. По воскресеньям меня постоянно таскали по холодным церквам и приходским клубам. «Маленькая ночная серенада» Моцарта, ну-ка, друзья, еще разок. Такого типа вещи… Извините, это всё лишние детали. Однажды он рассказал мне историю. О каком-то советском композиторе, котором — точно не скажу. Было это во время войны, у них ее называли Великой Отечественной. Войны с Германией. Все для фронта, все для победы — ну и Кремль приказал советским композиторам писать музыку, которая вдохновит народ и поможет ему отразить натиск агрессоров. Никакой этой вашей филармонии, сказал Кремль, нашему народу нужна музыка, восходящая к творчеству самого народа… Итак, лучших композиторов разослали по разным областям с предписанием не возвращаться без бодрых сюит на народные мотивы. Нашего композитора направили на Кавказ — ручаться не

могу, но мне кажется, что на Кавказ, в любом случае это была одна из областей, которые Сталин за несколько лет до того пытался стереть с лица земли, — ну, знаете, коллективизация, репрессии, этнические чистки, голод, вообще-то с этого мне следовало и начать. Ну хорошо. И вот он ездит, ищет крестьянские песни, какого-нибудь старого скрипача, который играет на свадьбах и всякое такое. И угадайте, что он обнаружил? Подлинной народной музыки не осталось вообще! Видите ли, Сталин уничтожил деревни и изгнал крестьян, а при этом была уничтожена и музыка.

Пол пригубил бокал. Что это, пауза или конец рассказа? Еще одно социально-коммуникативное умение, которым должна владеть всякая женщина, — это угадывать момент, когда заканчивается рассказываемая мужчиной история. В большинстве случаев это не проблема — конец истории до ужаса очевиден; либо — безошибочный симптом — рассказчик начинает заранее фырчать от смеха. Давным-давно Марта решила для себя, что будет смеяться, лишь когда ей действительно смешно. Правило вроде бы разумное, но некоторые мужчины обижались, точно на незаслуженный упрек.

— Итак, перед ним, перед композитором, встала

проблема. Не мог же он вернуться назад в Москву и сказать: «Боюсь, Великий Вождь нечаянно, чисто по ошибке уничтожил всю музыку в тех местах». Это было бы неумно. И что же он тогда сделал? Он выдумал из головы новые народные песни. Потом сочинил на их основе сюиту и вернулся с ней в Москву. Задание было выполнено.

Еще один глоток, затем — полувзгляд на Марту. Она интерпретировала это как знак, что история закончилась. Он подтвердил ее предположение, сказав:

— Боюсь, я вас немножко стесняюсь.

Ну что ж, это, на ее взгляд, было еще туда-сюда. Хуже, когда на тебя наваливается краснолицый, испачканный мелом чемпион по боксу и бильярду с подозрительно безупречными зубами и в порядке дружеского трепа заявляет: «А знаешь, чего мне на самом деле хочется? Повеселиться с тобой, чтобы дым пошел». Да, бывает и хуже. Но фразу Пола она тоже уже слыхивала. Возможно, она выросла из возраста, когда возможны новые зачины, — набор исчерпан.

С нарочитой резкостью Марта заявила:

— Значит, вы хотите сказать, что сэр Джек похож на Сталина?

Пол растерянно воззрился на нее, точно полу-

чив пощечину:

— Что? — и опасливо окинул взглядом ресторанный зал, словно высматривая стукачей КГБ.

— Мне показалось, что суть истории именно в этом.

— О господи, нет, почему вы решили…

— Сама не знаю, — отозвалась Марта, улыбаясь.

— Мне просто так вспомнилось.

— Давайте замнем.

— В любом случае нет ничего общего…

— Замнем.

— Я хочу сказать, это же как дважды два, современная Англия ничуть не похожа на Советскую Россию тех времен…

— Я и слова не сказала.

В ее интонации все явственнее слышалась мягкость, и, ободренный, он поднял глаза от стола, хотя встретиться с ней взглядом все еще страшился. Он глядел мимо нее, точнее, поглядывал, стреляя глазами то в одну сторону, то в другую. Медленно-медленно, боязливый, как бабочка, его взгляд опустился на ее правое ухо. Марта опешила. Она так привыкла к интригам и козням, к заговорщической откровенности и уверенным рукам, что безыскусная робость поразила ее в

самое сердце.

— А какова была реакция? — спросила она спонтанно, охваченная почти панической нежностью.

— Какая реакция?

— Когда его сюита из крестьянских песен попала в Москву и была исполнена. Я к тому, что в этом весь смысл истории, верно? Ему заказали патриотическую музыку для воодушевления рабочих и тех крестьян, которые уцелели после всех репрессий и голода… И что эта музыка — музыка, которую он выдумал с начала до конца, — была ли она такой же полезной и бодрящей, как музыка, которую он нашел бы, если бы она существовала? Вот в чем, по-моему, главный вопрос.

Она сама знала, что слишком усложняет. Хуже — она начала трещать как сорока, что было ей, вообще-то, несвойственно. Но ей удалось вернуть его с дороги, на которую он ступил. Перестав глядеть на ее ухо, он словно бы укрылся за стеклами своих очков. И помрачнел — обидевшись, впрочем, скорее сам на себя, чем на нее, почувствовала Марта.

— История не знает слова «если», — ответил он наконец.

Уф. Молодчина, Марта. Еле ушла живой.

История не знает слова «если».

Ей понравилось, что он не смог вспомнить имени композитора. И точно ли дело было на Кавказе.

* * *

Доктор Макс выделялся из всей коллекции теоретиков, консультантов и снабженцев тем, что никак не мог уяснить себе неписаные принципы и правила Проекта. Вначале это относили на счет академического изоляционизма — однако же доктор Макс был принят на работу именно потому, что вроде бы не пах книжными червями. С самого начала профессиональной карьеры он легко порхал между своей профессорской конторкой и теле-, а также радиостудиями; звезда претендующих на интеллектуальность телевикторин, он запросто называл по имени большинство ведущих, а те безмятежно давали ему время на изложение его элегантно-нонконформистских теорий. Он казался горожанином до мозга костей — но вел в «Лондон Таймс» колонку «Заметки фенолога» под умело рассекреченным псевдонимом Сельская Мышь. Что до одежды, он предпочитал твидовые костюмы, дополняемые целым спектром почти неуловимо различаю-

щихся по тону замшевых жилетов и коронным галстуком-бабочкой; колумнисты, пишущие о модах и стилях, упоминали его сплошь и рядом. И как бы ни задирались его брючины, покамест он картинно нежился на диванах телестудий — этих ловушках для неуклюжих растяп, — голые лодыжки не обнажались никогда. Так что его кандидатура не вызывала никаких нареканий.

Первым проявлением тактической наивности со стороны доктора Макса был вопрос, где находится библиотека Проекта. Вторым — когда он пустил по рукам ксероксы своей статьи в журнале «Косуха», озаглавленной «Носил ли принц Альберт „принца-альберта“? Герменевтический экскурс в культурную историю пениса». Еще опаснее была его тенденция на заседаниях Координационного комитета обращаться к сэру Джеку с такой развязностью, на какую не решилась бы даже Штатный Циник. Не забудем и о том, что во время мозгового штурма на тему «Великие герои Британии» он, как показалось многим, дал чересчур личностную гомоэротическую интерпретацию прощальной просьбе Нельсона (как известно, умирающий адмирал сказал капитану своего флагманского корабля: «Поцелуй меня, Харди»). Сэр Джек, звучно перечислив семейные газеты,

находящиеся под его пасторальным руководством, затем пригласил доктора Макса убираться к чертям собачьим, предварительно засунув галстук-бабочку себе в зад; правда, в журнал заседаний это предложение не попало.

Джеффу не нравилась его новая роль няньки при Официальном Историке — в основном потому, что сам Официальный Историк ему не нравился. Ну какое отношение доктор Макс имеет к Разработке Концепций? Похоже, сэр Джек просто решил поиздеваться… Джефф не считал, будто за его неприязнью к доктору Максу кроется предубеждение против гомосексуалистов. Если он, Джефф, к кому и относится предубежденно, так это ко всяким денди, эгоистам и стрекозам, к субчикам, которые видят в нем плечистого, медлительного, слабоумного работягу и спрашивают с ужимками, которые сами же объявляют «остроумием», много ли Концепций он разработал за эти выходные. На такие вопросы Джефф всегда отвечал прямо и буквально, что укрепляло заблуждения доктора Макса. Но выбор у Джеффа был невелик — либо ломать комедию, либо придушить профессора без всяких церемоний.

— Макс, если позволите.

Они находились в Оазисе — папоротниковой,

пальмовой, водопадной зоне «Питмен-хауса», которая, вероятно, была обязана своим существованием какой-нибудь архитектурной теории. Конечно, в метафорах Джефф не смыслил ни уха ни рыла — но звук льющейся воды всегда вселял в него желание отлить самому. И сейчас он стоял, глядя сверху вниз на Официального Историка, на его дурацкие усики, сутенерскую цепочку для часов, гнусный телевизионный жилет, самодовольные манжеты. Официальный Историк смотрел снизу вверх на Джеффа, на его буйволиные плечи, длинное лошадиное лицо, ослиные волосы, влажно поблескивающие овечьи глазки. Они стояли скованно, точно хореограф приказал Джеффу приобнять доктора Макса за плечи в знак товарищеской солидарности, но ни один из двоих не мог вымучить из себя этот жест — или принять его.

— Макс. Послушайте, — сказал Джефф, чувствуя, что очень, очень устал. В разговорах с доктором Максом он никогда не знал, с чего начинать. Точнее, всякий раз обнаруживал, что приходится начинать с еще более примитивного уровня, чем в прошлый. — Когда вы пришли к нам работать, это означало, что вам обязательно придется изменить темп.

— О, я бы так не сказал. — Сегодня доктор Макс был настроен великодушно. — Одного или двоих из вас я принял бы в свой се-е-минар на правах вольно-о-слушателей.

— Нет, я имел в виду другое, Макс. Речь об ускорении, а не о замедлении.

— А-а. Да. Опять пробил час «ай-ай-ай». Ну хорошо, хорошо, поучите меня.

Разработчик Концепций замялся. Доктор Макс, как он предпочитал представляться перед телекамерами, поскольку в этом имени сочетались раскованность и чинность, стоял перед ним, изящно подбоченясь, готовый просиять по знаку режиссера.

— Позвольте мне описать ситуацию вот под каким углом. Вы — наш Официальный Историк. На вас лежит ответственность за… как бы тут лучше выразиться… за нашу историю. Вы понимаете, о чем я?

— Пока, мой дорогой Джефф, все ясно, ка-ак дважды два.

— Хорошо. Так вот, смысл нашей истории — я подчеркиваю, «нашей» — это сделать так, чтобы у наших гостей, покупателей того, что в данное время именуется рабочим названием «Не просто отдых», у-луч-ши-лось настроение.

— Улучшилось. О, эти вековые э-ти-и-ческие вопросы, истый змеюшник. Улучшилось. В смысле?

— Они должны почувствовать, что больше узнали.

— Именно-о. Для этого, полагаю, меня и на-а-значи-ли на эту должность.

— Макс, вы упустили из виду глагол.

— Который?

— «Почувствовать». Мы хотим, чтобы они почувствовали, будто больше узнали. Узнали ли они что-то на самом деле — это совсем другое дело. Более того, это вне нашей юрисдикции.

Доктор Макс заложил большие пальцы рук в карманы своего палевого жилета. Жест, означающий в понимании телезрителей шутливый скептицизм. Ох, с каким удовольствием Джефф вывернул бы этого типа наизнанку — но надо все же попытаться хоть что-нибудь ему втолковать.

— Суть вот в чем: то, что вы и ваши коллеги считаете историей — то, что пишут в книгах, — большинству людей ни к чему. Они просто не знают, что с этими штучками-дрючками делать. Я лично всей душой за. В смысле, за них. Я несколько раз пытался читать книги по истории, и, хотя, конечно, я не так умен, чтобы к вам на семинары

ходить, у меня есть насчет этих книг мнение. Их объединяет одна закавыка: авторы обычно предполагают, будто большую часть других книжек по истории вы уже прочли. Это замкнутая система. Не с чего начать. Все равно как искать кончик ленточки, когда хочешь распечатать компакт-диск. Знаете это чувство? Вокруг коробочки идет такая цветная полоска, и ты отлично видишь, что там, под оберткой, внутри, хочешь достать, но у полоски нет ни начала, ни конца, сколько ни скреби ее ногтем.

Доктор Макс достал маленький блокнот и занес над страницей серебряный карандашик в виде копья.

— Вы не против, если я это при-и-свою? Чрезвычайно ярко. Я имею в виду фрагмент об обертке компакт-диска. — Он что-то нацарапал на листке. — Да? И отсюда следует?

— Отсюда следует, что мы людей не пугаем. Мы не оскорбляем их невежество. Мы даем им то, что они уже понимают. Возможно, чуточку добавляем. Но никакие глобальные новости не приветствуются.

— А после того, как мой галстук был перемещен в другое место нашим достосла-а-вным вождем, какова, могу ли я солипсически поинтересовать-

ся, будет функция этого тела-контейнера, иными словами, Официального Историка, внутри которого приказано находиться галстуку?

Вздох Джеффа был подобен звукам железнодорожной сортировочной станции. Простак-краснобай — худшее сочетание двух миров.

— Историк должен указывать нам, какая часть Истории уже есть у людей в головах.

— Очевидно, да, — отозвался доктор Макс с профессиональной томностью.

— Макс, черт подери, люди не будут выкладывать деньги за новые знания. Если им этого захочется, пусть идут в какую-нибудь задрипанную библиотеку, если не все еще позакрывались. А к нам они приедут наслаждаться тем, что и так знают.

— И моя работа — сообщить вам, что именно.

— Добро пожаловать на наш корабль, доктор Макс. Добро пожаловать. — (У них за спиной невидимый вентилятор ворошил кроны пальм.) — И если позволите, еще один малюсенький совет.

— Премного о-о-бязан. — Доктор Макс изобразил из себя первокурсника.

— Благоухаете слишком сильно. Поймите, я лично ничего против не имею. Я думаю о Председателе.

— Рад, что вы за-а-метили. *Eau de toilette*[53], естественно. «Петербург». Возможно, вы уловили аллюзию? Нет? Мне она показалась довольно уместной.

— Вы хотите сказать, что вы замаскированный русский?

— Хо-хо, Джефф, как же мне нравится, когда вы играете в мужлана. Очевидно, вам нужны мои разъяснения. — Джефф торопливо задрал голову к высокому потолку Оазиса, но не успел: доктор Макс уже преобразился из студента в профессора. — Секреты великих *pa-a-rfumiers*, как вы догадываетесь, всегда строго охранялись. Они передавались от стариков к мальчикам в форме тайных обрядов, их записывали шифром, если вообще доверяли бумаге. И — вообразите — каприз моды, разрыв цепочки, безвременная смерть, и их нет, они растворились в воздухе. Катастрофа, которой никто не замечает. Мы читаем прошлое, слушаем его музыку, видим его визуальные образы, но наши ноздри прозябают в бездействии. Подумайте, как ярко можно было бы вводить студентов в тему, если бы вы имели возможность, откупорив флакон, сказать: «Вот так пах Версаль,

---

[53] Сноски: 53
Туалетная вода *(фр.)*.

а так — сады Воксхолла». Помните, два года назад газеты писали о находке в Грассе?

Джефф, очевидно, не помнил.

— Книга рецептов в заложенном кирпичом дымоходе? Романтично до полного невероятия. Компоненты и пропорции множества забытых ароматов, записанные кодом, который удалось расшифровать. Каждый был обозначен буквой греческого алфавита, соответствующей перечню в книге заказов, уже находившейся в музее. Рука, бесспорно, одна и та же. И это, э-то-о, — доктор Макс скосил шею в сторону Джеффа, — «Петербург», которым душился аристократ при дворе царя два столетия назад — и после него никто. Волнует, правда? — Видя, что Джефф не выказывает ни малейших признаков волнения, доктор Макс услужливо подбросил ему сравнение: — Так ученые клонируют животных, которых наша планета потеряла тысячи лет назад.

— Доктор Макс, — произнес Джефф. — Это вы сами от своего «Петербурга» пахнете как клонированное животное.

* * *

— Основные факты, мистер Поло. Вот все, что нам нужно. Вы знаете, как вянут мои уши от

каменных топоров и осадочных пород.

— Тем лучше, сэр Джек.

Марк обожал подобные ситуации, когда начальник и подчиненный сходились, распустив султаны, в рыцарском поединке, обожал атмосферу победительного раболепия. Ни шпаргалок, ни документов — лишь комплект кудрявых светло-русых фактов в кудрявой светло-русой голове. Ходить гоголем перед коллегами — однако не забывая ежесекундно измерять изменчивую реакцию начальника. Правда, «измерение» предполагает точность; на деле же в темные туннели капризов сэра Джека углубляешься, как ассенизатор с маломощным фонариком…

— Остров, — начал он, — как подчеркнул две недели назад сэр Джек, представляет собой ограненный алмаз. Другими словами, ромб. Или косоугольник. Некоторые уподобляют его белокорому палтусу. Длина — двадцать три мили, ширина — до тринадцати. Площадь — сто пятьдесят пять квадратных миль. Углы ромба приблизительно соответствуют главным румбам компаса. Когда-то, в дни осадочных пород и каменных топоров, остров соединялся с континентом. Точную дату могу выяснить, но что в дотелевизионную эру — это точно. Топография

— компот из довольно-таки красивых меловых возвышенностей и дистопированных бунгало.

— Марк, опять это ложное разграничение Природы и Человека. Я вас предупреждал. А также длинные слова. Ну-ка, повторите последнее, что вы сказали.

— Дистопированные бунгало.

— Как антидемократично. Какой снобизм. Вполне возможно, мне придется позаимствовать это выражение.

Марк знал, что выражение сэр Джек позаимствует непременно и что в данных обстоятельствах это комплимент. А Марк напрашивался на комплименты, словно шлюха. Пока все идет как по маслу. Он вновь подхватил нить повествования.

— В общем и целом местность довольно плоская. Симпатичные утесы. Я предположил, что Комитету будет приятно получить сувенир. — И достал из кармана маленький стеклянный маяк, весь полосатый: внутри, слоями, был насыпан песок разных цветов. — Местный эксклюзив. Из бухты Эйлам. Двенадцать цветов или около того. По-моему, легко воспроизвести искусственно — я имею в виду песок.

Он поставил маяк на стол сэра Джека, пригла-

шая желающих высказаться по этому вопросу. Высказываний не воспоследовало.

— Есть также нечто, именуемое «ущельями», — это такие овраги, где реки, стекающие в море, размывают меловые утесы. Широко использовались контрабандистами *vide infra*, или, точнее, *audi infra*[54]. Флора и фауна: ничего чересчур редкого или вымирающего. Интересная подробность о белках: там водятся только рыжие — остров, понимаете ли, а серые проказницы водный транспорт еще не освоили. Но я даже в страшном сне вообразить не могу, будто из-за белок кто-нибудь решит устроить бучу. О да, сэр Джек, одна слегка дурная новость. — Марк выждал, пока выгнется косматая, черная, расшитая сединой бровь. — Птицы ту́пики там действительно есть.

— Ну-ка, все вместе, — весело вскричал сэр Джек. — Нахер ту́пиков!

— Правильно, — продолжал Марк. — Что там еще есть? Ага, самый поганый во всей стране капучино. Я набрел на него в Шенклине, в одном маленьком кафе на набережной. Если мы планируем создать музей пыток, этот автомат стоит сохранить.

---

[54] Сноски: 54
Смотри ниже, слушай ниже *(лат.).*

Марк сделал паузу — и почувствовал спиной, как наваливается на него безмолвие. Идиот. Опять облажался. Свою ошибку он осознал раньше, чем успел докончить фразу. Нельзя острить сразу после того, как сострит сэр Джек. Позволительно острить до него, чтобы он мог вас затмить, но отвечать остротой на остроту — уже не подхалимство, но конкуренция. Эх, когда только научусь?

— Что на острове нам пригодится? Все понемножку, я бы сказал, но в то же самое время ничего такого уж экстраординарного там нет. Ничего такого, что при необходимости нельзя будет убрать. Итак. Замок — одна штука. Довольно приятный: валы, башня с воротами, донжон, часовня. Рва нет, но ров — дело наживное. Далее: королевский дворец — одна штука. Осборн-хаус, как и доложил нам доктор Макс. В итальянском стиле. Мнения о художественной ценности разноречивы. Монархи, с чьими именами связан остров, — две штуки. Карл Первый был заточен в вышеупомянутом замке перед казнью. Королева Виктория жила и умерла в вышеупомянутом дворце. Перспективные, осмелюсь заметить, сюжеты. Знаменитых поэтов, живших на острове, — одна штука. Теннисон. Парочка римских

вилл, знаменитые мозаики — мне и более авторитетным специалистам они кажутся несколько грубоватыми в сравнении с их европейскими аналогами. Много дворянских поместий разных времен. Несколько приходских церквей; фрески, энное количество медных мемориальных плит, уйма фотогеничных надгробий. Множество домиков с соломенными крышами, буквально созданных для кафе. Поправка: большая их часть уже используется как кафе, но модернизация не помешает. Из относительно современных зданий стоит упоминания лишь одно — Кваррское аббатство, около тысяча девятьсот десятого года, шедевр раннего экспрессионизма, бельгийский кирпич, влияние каталонского, кордовского и клюнийского стилей, а также Гауди, автор проекта — монах-бенедиктинец; как вам известно, подобные сведения я черпаю из Певзнера. Рекомендую приспособить здание для иных нужд… Что еще? Безусловно, Каусская регата, как правильно отметил Джефф. Поле для игры в мяч, которым пользовался король Карл. Теннисный корт Теннисона. Один-два виноградника. Утесы Ниддлз. Несколько обелисков и монументов. Две крупные тюрьмы, битком набитые заключенными. Основным занятием, если не считать

яхтостроительной промышленности, во время оно была контрабанда. А также провокация кораблекрушений с последующим грабежом. Ныне островитяне переключились на туризм. Как вы и намекали, курорт не для самых денежных людей — в этом старая пословица, что на острове сроду не бывало монахов, лис и адвокатов, абсолютно верна. Теннисон сказал, что за пинту уайтского воздуха можно запросто брать шесть пенсов, — хотел бы я получать шесть пенсов или пинту каждый раз, когда мне попадается эта фраза. Могила поэта Суинберна. Бывали наездами Китс и Томас Маколей. Еще Джордж Морленд, если это кого-то интересует. А кто знает Х. де Вер Стэкпула? Предположения? Словосочетание «Голубая лагуна» никому ничего?.. Точно? Так я и думал. Прозаик, житель Бончерча. И все же поведаю вам радостную весть, что Х. де Вер Стэкпул подарил Бончерчу пруд в память о своей покойной жене.

Эту последнюю информацию Марк произнес бесстрастно, втайне подзуживая сэра Джека. Усилия не пропали втуне.

— Засыпать его! — вскричал сэр Джек, давясь от смеха. — Залить бетоном!

Марк молча просиял. В то же самое время он ощутил в выкрике сэра Джека некую фальшь

отрепетированного ритуала. Сэр Джек засэрджековался. Впрочем, нет ни малейших оснований полагать, будто сэр Джек иногда перестает быть сэром Джеком…

— Однако не будем поспешны. Кто мы такие есть, спрашиваю я себя, чтобы беспечно насмехаться над мужем, хранившим верность своей покойной супруге? Мы живем в эпоху цинизма, но я, джентльмены, не делаю из этого профессию. Скажите, Марк, жена Стэкпула погибла трагически? Попала под поезд и изодрана в клочья? Изнасилована и убита бандой хулиганов?

— Я выясню, сэр Джек.

— Возможно, из этого можно сделать сюжет. Боже, тут потенциала на целое кино!

— Сэр Джек, я вынужден признаться, что часть краеведческих материалов, с которыми я работал, появилась еще в стародавние времена. Сам я пруда не видел. Легко может оказаться, что он давно уже засыпан.

— Тогда, Марко, мы опять его раскопаем и возродим умилительную легенду. Возможно, достославные рыжие белки подгрызли телеграфный столб, который снес ей голову? — Да, в это утро сэр Джек был поистине Веселым Джеком. — Подытожьте, мистер Поло. Подытожьте для нас

свои скитания по чужедальней стороне.

— Выводы. Всю историческую фигню я описал в своем письменном докладе. Надеюсь, она не вызовет нареканий у доктора Макса. Но позвольте процитировать писателя по фамилии Уэсли-Фицджеральд. — Здесь Марк сделал микроскопическую паузу на тот случай, если сэр Джек пожелает пройтись насчет помпезности старомодных фамилий. — «Когда-то Остров-Сад, а ныне чисто туристический курорт». Разумеется, с тех пор прошло время. И ныне…

Он глянул на сэра Джека, вымаливая комплимент. Сэр Джек не подвел.

— И ныне, если вы мне позволите выразиться несколько дерзко, это дистопированные бунгало, где даже сносного капучино не найдешь.

— Благодарю вас, сэр Джек. — Менеджер Проекта отвесил поклон, в котором присутствующие могли бы прочесть иронию, если бы того хотели. — Короче, остров идеально отвечает нашим целям. Этой местности смертельно требуются апгрейд и косметическая операция.

— Замечательно. — Сэр Джек нажал ногой на звонок, и появился бармен. — Поттер! Х. де Вер Поттер, знаете ту бутылку «Крюга», которую я просил положить в ведерко со льдом? Что ж,

верните ее в погреб. Мы все будем капучино, с лучшей пенкой, на какую только способен ваш автомат.

* * *

Еще одна рюмочка после работы, приглашение на ужин под откровенно жульническим предлогом, посещение кинотеатра, еще одна рюмочка после работы, и гораздо позже, чем обычно бывало у нее с другими мужчинами, для них наступил момент принять однозначное решение. Нет, скорее момент, когда следует принять решение о том, будет ли когда-либо принято более крупномасштабное решение. К своему удивлению, Марта не ощущала нетерпения; отсутствовала и нервическая, псориазообразная скованность, которую она уже несколько раз испытывала на том же месте в тот же час. Позавчера вечером он поцеловал ее в щеку, но сознательно избрал — или нечаянно угодил — тот район щеки, что примыкал к уголку рта; и все же ее сердце не вскричало, как бывало прежде, «ну же, решайся», «не тяни кота за хвост», «либо по-настоящему целуй, либо никак». Вместо этого она просто подумала: «Мило, даже если я и заметила, что ты встал на цыпочки. В следующий раз надену

туфли без каблука».

Они сидели у нее на диване, полусоприкасаясь пальцами, все еще оставляя себе пути к отступлению, шансы все благоразумно взвесить и передумать.

— Послушай, — сказала она. — Лучше, если я скажу без обиняков. Я не завожу интрижек с мужчинами, с которыми вместе работаю, и не встречаюсь с мужчинами, которые моложе меня.

— За исключением тех случаев, когда они ниже ростом и носят очки, — ответил он.

— Ни с мужчинами, которые зарабатывают меньше меня.

— За исключением тех случаев, когда они ниже ростом.

— Ни с мужчинами, которые ниже меня ростом.

— За исключением тех случаев, когда они носят очки.

— Вообще-то, против очков я ничего не имею… — произнесла она, но он начал ее целовать прежде, чем она докончила фразу.

В постели, когда дело вновь дошло до слов, Пол обнаружил, что его мозг превратился в губку для впитывания счастья, а язык — в сорвиголову.

— А что ж ты о моих принципах не спросила, — произнес он.

— О которых?

— Что ж, у меня тоже есть принципы. Насчет женщин, с которыми я работаю, женщин, которые старше меня, женщин, которые зарабатывают больше меня.

— Да, полагаю, принципы у тебя должны быть. — Она почувствовала, что ее выбранили, и скорее за бестактность, чем за агрессию.

— Да еще какие. Мои принципы предписывают всех их обожать.

— При условии, что они не выше тебя ростом.

— Вот уж чего не переношу, того не переношу.

— И волосы у них не, э-э, темно-каштановые и не коротко остриженные.

— Нет, подайте мне блондинок.

— И сексом им не нравится заниматься.

— Нет, я всегда отдаю предпочтение женщинам, которые лежат как мертвые.

Они несли чушь, но сердцем Марта чувствовала: нет никакого списка запретных тем. Она чувствовала, что не вызовет у него ни шока, ни ревности — он просто поймет. Ее следующая фраза была произнесена не для того, чтобы его испытать.

— Когда-то чья-то рука побывала там, где сейчас твоя.

— Мерзавец, — пробурчал Пол. — Точнее, мерзавец со вкусом.

— И знаешь, что он сказал?

— Если сердце у него было хотя бы на пять процентов человеческое, он лишился бы речи. Даже «мама» не смог бы сказать.

— Правдивая лесть, — заметила она. — Удивительно, как от нее становится приятно. Все страны должны овладеть этим искусством. Тогда прекратятся войны.

— И что же он сказал? — Этот вопрос словно бы задали его пальцы.

— О, я ждала, что он скажет что-нибудь хорошее.

— Правдивая лесть.

— Именно. И я почти чувствовала, как крутятся у него в голове шестеренки. А потом он сказал: «Наверно, ты носишь тридцать четыре-Си».

— Идиот. Дебил. Я его не знаю?

Она помотала головой. Не знаешь.

— Полный идиот, — повторил он. — Ты носишь тридцать четвертый-Би, это же ясно.

Она стукнула его подушкой.

Позднее, очнувшись от полудремы, он про-

изнес:

— Можно задать один вопрос?

— На все вопросы отвечаем. Это обещание. — Такое же обещание она одновременно дала и самой себе.

— Расскажи о твоем замужестве.

— Моем замужестве?

— Да, замужестве. Я присутствовал при твоем собеседовании. Я — тот самый, кого ты не заметила. Когда плясала с сэром Джеком.

— Что ж, если ты никому не скажешь…

— Обещаю.

— На каждом собеседовании я всегда позволяю себе одну тактическую ложь. Это была она.

— Значит, тебе не придется разводиться, перед тем как выйти за меня.

— По-моему, тут есть более серьезные препятствия.

— К примеру?

— Не слишком люблю заниматься сексом.

Когда он сходил пописать и вернулся, она спросила:

— Пол, как ты узнал, что я ношу тридцать четвертый-Би?

— Да так, ерунда. Чисто за счет моей феноменальной интуиции и знания женской натуры.

— Продолжай.

— «Продолжай»?

— Извини. Я хотела сказать: «А еще как?»

— Ну, ты, вероятно, заметила, что с твоим лифчиком я управился ценой большого труда. Боюсь, я случайно прочел ярлычок. В смысле, не нарочно.

Прежде чем они уснули, он сказал:

— Итак, подведем итоги переговоров: если я сменю место работы, получу прибавку к зарплате, переправлю в документах дату рождения и повешусь на двери для увеличения роста, а также надену контактные линзы, будет шанс, что ты решишь со мной встречаться.

— Я рассмотрю этот вариант.

— А ты взамен поработаешь над устранением препятствий с твоей стороны.

— Которых?

— Замужества и нелюбви к сексу.

— Да, — ответила она и почувствовала, как ее захлестывает нежданная, не имеющая оправдания печаль. Нет, оправдание есть, поскольку печаль означала: «Ты этого не стоишь, чем бы оно ни оказалось в реальности. Это наступило, чтобы над тобой посмеяться».

— Вот только… Я хочу сказать, я не знаю, воз-

можно, ты с кем-то встречаешься.

— Да, думаю, что да, — ответила она и, ощутив, как напряглась его рука, поспешила добавить: — Прямо в данное мгновение.

На следующее утро, после того как она разбудила его спозаранок, чтобы он успел съездить на другой конец Лондона и прибыть в «Питменхаус» с нормальной стороны и в нормальной одежде, она подумала: «А что, да, может быть».

* * *

Респондент — мужчина сорока девяти лет. Опрос провел доктор Макс.

Респондент — белый, представитель среднего класса, коренной житель Англии, хотя свое генеалогическое древо может проследить не дальше прадедов. Мать родилась на границе с Уэльсом, отец — в Северном Мидленде. Начальное образование получил в государственной школе, учился достаточно хорошо, чтобы удостоиться стипендий для обучения в частной средней школе и университете. Работает в сфере гуманитарных наук и СМИ. Сколькими иностранными языками владеет — одним. Считает себя культурным, осведомленным, умным, хорошо информированным человеком. Условиям теста соответствует — то

есть никогда не изучал историю как профильную дисциплину и не работал в областях, связанных с этой наукой.

Цель опроса не указывалась. Для отвода глаз упоминались маркетинговые исследования по заказу широко известного производителя безалкогольных напитков. Присутствие доктора Макса не педалировалось. Вопросы задавала женщина в одежде нейтрального стиля.

Респондента спросили, что произошло во время битвы при Гастингсе.

Респондент ответил:

— Тысяча шестьдесят шестой.

Вопрос был повторен.

Респондент рассмеялся:

— Битва при Гастингсе, тысяча шестьдесят шестой. — Пауза. — Король Гарольд. Получил стрелу в глаз.

Респондент вел себя так, как будто ответил на вопрос. Респондента спросили, может ли он назвать других участников битвы, прокомментировать стратегию, указать возможные причины конфликта и его последствия.

Респондент молчал двадцать пять секунд.

— Герцог — кажется, герцог — Вильгельм Нормандский переправился со своей армией из

Франции через море, хотя тогда это, кажется, была еще не Франция — ну, эта его родина, — победил в битве и стал Вильгельмом Завоевателем. Или он уже был Вильгельмом Завоевателем и стал Вильгельмом Первым. Нет, беру назад, я правильно ответил сначала. Первым настоящим королем Англии. То есть были еще Эдуард Исповедник и этот, который лепешки сжег, Альфред, но они в счет не идут, верно? Кажется, он был в родстве с Гарольдом. Скорее всего, двоюродный брат. В те времена они все были родственники, так ведь? Все они были нормандцы. То есть Гарольд-то был сакс, наверное…

Респондента попросили поразмышлять над вопросом, действительно ли он считает Гарольда саксом.

Респондент молчал двадцать секунд.

— А что, почему нет. Наверно, сакс. Хотя если хорошенько подумать — вряд ли. По-моему, он тоже был нормандец, но какой-то другой. Раз уж Вильгельм ему приходился двоюродным братом. Или не двоюродным? Тут врать не буду.

Респондента спросили, где именно произошла битва.

Респондент:

— Это что, вопрос с подковыркой?

Респондента уверили, что вопросы с подковыркой в анкете отсутствуют.

Респондент:

— В Гастингсе. Ну, думаю, что не в самом городе. Хотя город, наверно, тогда был совсем небольшой. На берегу?

Респондента спросили, что произошло между битвой при Гастингсе и коронацией Вильгельма Завоевателя.

Респондент:

— Точно не скажу. Наверно, был какой-то марш на Лондон, типа марша Муссолини на Рим, всякие там мелкие стычки и, возможно, еще одна битва, а местные жители стекались под флаг победителя, как оно в таких случаях водится.

Респондента спросили, что случилось с Гарольдом.

Респондент:

— Это что… ах да, вы же сказали, что их нет. Он получил стрелу в глаз. — (Агрессивно.) — Это всякий знает.

Респондента спросили, что произошло после этого инцидента.

Респондент:

— Он умер. Конечно же. — (Более мирно.) — Я почти уверен, что стрела его убила, но не знаю,

сколько еще он прожил после ранения. Думаю, в те времена стрела в глаз — это было практически безнадежно. Если задуматься, ему очень не повезло. Полагаю, история Англии была бы совсем иной, не задери он в тот момент голову. Это как с носом Клеопатры. — Пауза. — Учтите, я, вообще-то, не в курсе, на чьей стороне был перевес в тот момент, когда Гарольд получил стрелу в глаз, так что история Англии осталась бы той же самой, вполне может быть.

Респондента спросили, что он может добавить к своему рассказу.

Респондент молчал тридцать секунд.

— Они были в кольчугах и остроконечных шлемах с такими пластинами, чтобы защищать носы. И с двуручными мечами.

Будучи спрошен, которую из сторон он имеет в виду, Респондент ответил:

— Думаю, что обе. Да, это же логически вытекает из того, что все они были нормандцы, верно? Вот разве что Гарольд был сакс. Но парни Гарольда определенно бегали не в кожаных камзолах, или как там они назывались… Погодите. Нет, вообще-то, могли. Те, кто победнее, пушечное мясо. — (Опасливо.) — Я не говорю, будто у них были пушки. Я о тех, которые не были рыцарями.

Что-то мне не верится, что простой человек мог себе кольчугу позволить.

Респондента спросили, все ли это, что он может сообщить.

Респондент (радостно):

— Нет! Гобелен из Байё, я только что вспомнил. Он как раз про битву при Гастингсе. Или про ее эпизод. Также это, по-моему, первое наблюдение или первое зафиксированное упоминание кометы Галлея. Нет, я хотел сказать, первое изображение. Это важно?

Респондент согласился с утверждением, что этим его познания полностью исчерпываются.

Удостоверяем, что протокол опроса точен, а Респондент является типичным представителем своей фокус-группы.

* * *

Доктор Макс снял колпачок со своей перьевой ручки и излил на протокол утомленные инициалы. Опросов он провел множество, и все они были одинаковы, вследствие чего у него уже начиналась депрессия. Большинство людей припоминали исторические события с той же замешанной на верхоглядстве надменностью, с какой вспоминают свое собственное детство.

Доктор Макс считал, что знать так мало о происхождении и формировании собственной нации — чрезвычайно непатриотично. Тем не менее (парадоксально, но факт) самый преданный друг патриотизма — невежество, а не знание.

Доктор Макс вздохнул. Ему стало грустно не только как историку, но и как человеку. Неужели они прикидываются — и прикидывались с самого начала, все эти люди, что стекаются на его лекции, звонят на его передачи, смеются его остротам, раскупают книги? Когда он пытается прочистить их извилины — это столь же тщетно, как топтание фламинго в луже? Неужели им что в лоб, что по лбу, черт их подери, неужели все они таковы, как вот этот сидящий перед ним невежественный собачий хвост, считающий себя культурным, осведомленным, умным и хорошо информированным?

— Козел! — вырвалось у доктора Макса.

* * *

Распечатка результатов опроса, проведенного Джеффом, лежала перед сэром Джеком на его Маршальском столе. Потенциальных покупателей «Не просто отдыха» в двадцати пяти странах попросили перечислить шесть характерных

черт, качеств или квинтэссенций, которые приходят им на ум при слове «Англия». Свободных ассоциаций не требовалось; опрошенные не были ограничены во времени; предлагать им набор готовых ответов, из которого следовало что-то выбрать, также не стали.

— Если мы даем людям то, что они хотят, — настаивал сэр Джек, — не будем заноситься: попробуем сначала выяснить, чего им, собственно, хочется.

Итак, граждане разных стран мира открыто и прямо сообщили сэру Джеку, что, на их взгляд, является Пятьюдесятью Квинтэссенциями Самого Наианглийского:

1. Королевская семья.
2. Биг-Бен / Здание Парламента.
3. Футбольный клуб «Манчестер юнайтид».
4. Сословия / Лорды и дворецкие.
5. Пабы.
6. Малиновка на снегу.
7. Робин Гуд, его «Веселые стрелки» и Шервудский лес.
8. Крикет.
9. «О, Дувра белые утесы…»
10. Империализм.
11. Флаг «Юнион Джек».

12. Снобизм.
13. «Боже, храни королеву/короля».
14. Би-би-си.
15. Уэст-Энд.
16. Газета «Таймс».
17. Шекспир.
18. Домики с соломенными крышами.
19. Чай / Чай со сливками по-девонширски.
20. Стоунхендж.
21. Прямая спина / Флегматичность / «Темза, сэр!».
22. Магазины.
23. Пудинг.
24. Бифитеры / Лондонский Тауэр.
25. Лондонские такси.
26. Шляпа-котелок.
27. «Джейн Эйр» и другие классические телесериалы.
28. Оксфорд / Кембридж.
29. «Хэрродз».
30. Двухэтажные автобусы / Красные автобусы.
31. Лицемерие.
32. Садоводство.
33. Ненадежность / «Коварный Альбион».
34. Архитектурный стиль «фахверк».
35. Гомосексуализм.

36. «Алиса в Стране чудес»:
37. Уинстон Черчилль.
38. «Маркс-энд-Спенсер».
39. «Битва за Британию» / Подвиги англичан во Второй мировой войне.
40. Фрэнсис Дрейк.
41. Вынос знамен — парад в день рождения королевы.
42. Пессимизм / Нытье.
43. Королева Виктория.
44. Замки.
45. Пиво / Теплое пиво.
46. Эмоциональная фригидность.
47. Стадион Уэмбли.
48. Порка / Частные школы-интернаты.
49. Нечистоплотность / Уродливое нижнее белье.
50. «Хартия вольностей».

Джефф наблюдал, как меняется лицо сэра Джека по мере чтения списка: его выражение колебалось между мудрым признанием своих заслуг и горьким разочарованием. Затем мясистая рука указала Джеффу на дверь, и Разработчик Концепций познал на себе, как печальна участь гонца, приносящего дурные вести.

Оставшись один, сэр Джек вновь вчитался в

список. К концу этот перечень, что греха таить, становился все отвратнее и отвратнее. Вычеркнув позиции, отнесенные на счет дурацкой методики опроса, сэр Джек задумался над остальными. Многое было вполне предсказуемо: так, магазинов и домиков с соломенными крышами, где можно выпить чаю по-девонширски, на Острове хватит. Садоводство, лондонские такси, пабы, двухэтажные автобусы — все это полезные удобства. А вот откуда взялась «Малиновка на снегу»? Видимо, с классических рождественских открыток. «Хартию вольностей» уже переводят на удобоваримый английский. Газету «Таймс» легко приобрести; бифитеров умаслим, а Дувра белые утесы переместим, не особенно насилуя родной язык, в бывшую Белую бухту. Биг-Бен, Битва за Британию, Робин Гуд, Стоунхендж — это мы одной левой…

Но в самом начале списка — если точно, под номерами Один, Два и Три — шли сплошные незадачи. Сэр Джек уже начал было прощупывать обстановку в парламенте, но предварительное деловое предложение, сделанное им за рабочим завтраком с законодательной властью (воплощенной в спикере палаты общин), было встречено с бесчувственным непониманием;

увы, уместнее даже сказать «презрением». С футбольным клубом проще: в Манчестер отправлены Марк и бригада лучших переговорщиков. Ясноглазый юный Марк — с виду невинная овечка — такой льстивой лапши на уши навешает, что сердце из груди вынешь и юридически законно подаришь. Очевидно, придется считаться с гордостью манчестерцев, общественными традициями и так далее — обычная история. Как знал сэр Джек, в таких случаях дело решают не деньги — а деньги же, подкрепленные необходимой иллюзией верности бескорыстным принципам. Какой, собственно, принцип тут сгодится? Ладно, Марк подберет. А если они упрутся своими раздвоенными копытцами, всегда можно за спиной клуба перекупить название. Или просто назваться «Манчестер юнайтид» без спросу, и пусть утрутся.

К Бук-хаусу подход нужен иной: не столько кнут и пряник, сколько пряник, пряник и еще раз пряник. Их величества в последнее время подвергаются особенно злостным нападкам со стороны своих обычных недоброжелателей — циников, склочников и смутьянов. Газетам сэра Джека предписано патриотически опровергать все эти изменнические козни, в то же самое время

перепечатывая их во всех прискорбно-смачных подробностях. Возьмем то гадкое происшествие с принцем Риком. Как там звучал заголовок: «Кузен короля в наркотическом угаре развлекался с подружками-лесбиянками»? Разумеется, журналиста он выгнал, но грязь, увы, такая вещь — как прилипнет, так уж не отмоешься. Пряники, пряники; пусть берут хоть весь мешок, если иначе не выйдет. Предложить им прибавку к окладам и комфортные условия труда; работа непыльная, а право на тайну личной жизни — незыблемое; противопоставить прогрессирующую неблагодарность их нынешних подданных юридически гарантированному обожанию со стороны будущих; подчеркнуть запустение их нынешнего королевства по сравнению с радужным будущим дивного алмаза в серебряной оправе океана.

И как будет сверкать эта драгоценность? Сэр Джек вновь провел пальцем сверху вниз по списку Джеффа. С каждой вычеркнутой позицией из его глотки раздавался все более грозный рык верноподданнического гнева. Опрос? Да это же открытое очернительство. Кем мнят себя эти мудаки, наговорившие об Англии такого? О его-то Англии! А сами-то ни в зуб ногой. Сволочи эти туристы, подумал сэр Джек.

* * *

Осторожно, робко Пол представил на суд Марты свою жизнь. Заря жизни в пригороде, в псевдотюдоровском пригороде: сливовые деревья и форсайтия, стриженые газоны и «Общественный дозор» (увидишь на улице подозрительных — сразу в полицию). В воскресенье утром — мытье машины; любительские концерты в сельских церквах. Нет, конечно, не каждое воскресенье; но казалось, будто каждое. Его детство было мирным; или скучным, если тебе так больше нравится. Когда ввели запрет на шланги, соседи стучали на соседей, которые пользовались поливалками. На окраине поселка высился псевдотюдоровский полицейский участок; а в его палисаднике — псевдотюдоровская кормушка для птиц на высоком столбе.

— Жалко, я ничего дурного не натворил, — сказал Пол.

— Почему жалко?

— Тогда бы я тебе открылся, а ты бы поняла… или простила…

— Не обязательно. И вообще, вдруг ты бы мне тогда разонравился?

Пол немного помолчал.

— Я когда-то много дрочил, — заявил он с надеждой в глазах.

— Не криминал, — возразила Марта. — Я тоже.

— Вот черт.

Он показал ей фотографии: Пол в ползунках, в шортах, в крикетной форме, в смокинге; его волосы постепенно темнели, превращаясь из соломы в торф; очки балансировали на грани немодности, подростковая пухлость отступала под натиском тревожной взрослости. Он был середочкой, вторым из троих детей, затиснутым между сестрой, вечно поднимавшей его на смех, и забалованным младшим братом. Он хорошо учился в школе и хорошо прикидывался мебелью. После колледжа он устроился стажером в «Питко»; рос по службе, никого не оскорбляя своими успехами, пока однажды в туалете не сообразил, что фигура рядом с ним — фигура невероятно объемистая, фигура, буквально раздвигавшая плечами стены, — это не кто иной, как сэр Джек Питмен: вероятно, начальник отринул роскошь и уединенность своего порфирного унитаза ради упражнений в демократическом мочеиспускании. Сэр Джек насвистывал вторую часть Крейцеровой сонаты, вследствие чего у Пола от волнения пересохло в мочеточнике. Почему-то — Пол так и не смог

потом понять почему — он начал рассказывать сэру Джеку историю о Бетховене и сельском полицейском. Разумеется, он не дерзал взглянуть на Председателя — просто рассказывал. Когда история пришла к концу, он услышал, как сэр Джек застегнул молнию и ушел вперевалочку, насвистывая третью часть, «престо», и дико при этом фальшивя, чего Пол не мог не заметить. На следующий день он был вызван в личный кабинет сэра Джека и год спустя сделался его Мыслеловом. По истечении каждого месяца он вручал Председателю очередной том летописи его деяний. Иногда даже удавалось удивить сэра Джека забытыми жемчужинами его мудрости. Кивком щекастой головы сэр Джек, вообще-то, поздравлял себя с собой, несравненным, но одновременно этот жест призван был поощрить в Мыслелове его умение подхватывать на лету хрустальные афоризмы.

— Девушки, — произнесла Марта. Про сэра Джека Питмена она наслушалась вдоволь.

— Да, — таков был его краткий ответ. Подразумевалось: иногда, осторожно, робко. Но чтоб так, как сейчас, — никогда.

Она ответила предварительным вариантом своей собственной жизни. Он напряженно слу-

шал, когда она описывала «Графства Англии» и предательство отца. Расслабился на сельскохозяйственной выставке и мистере Э. Джонсе, неуверенно посмеялся над историей Джессики Джеймс, посерьезнел, когда дошло до: «После двадцати пяти лет родителей ни в чем не винить». Затем Марта изложила ему мнение своей матери, что мужчины делятся на подлецов и бесхребетников.

— А я кто?

— Присяжные все еще заседают. — Она шутила, но он опустил глаза. — Все нормально. После двадцати пяти лет уже не положено соглашаться со всем, что говорят родители.

Пол кивнул:

— Как ты думаешь, это как-то связано?

— Что связано?

— То, что твой отец ушел нахер, как ты выразилась, и твоя работа у сэра Джека?

— Пол, смотри мне в глаза.

Он неохотно повиновался; время, когда у него хватало смелости лишь на ее уши, давно миновало, но все же были моменты, когда он предпочитал смотреть ей на щеки и рот.

— Наш начальник — не замена утраченного отца, договорились?

— Просто иногда он обходится с тобой как с дочерью. С мятежной дочерью, которая вечно ему противоречит.

— Это его проблема. И дешевая психология.

— Я не имел в виду…

— Нет…

Но что-то он все-таки должен был иметь в виду. Марта сконструировала свою жизнь, выстроила свой характер — и потому сопротивлялась противоречивым интерпретациям.

Воцарилось молчание. Наконец Пол произнес:

— А ты знаешь историю о Бетховене и сельском полицейском?

— Ты сейчас не на прослушивании в отделе кадров. — Ой, Марта, придержи язык, ты хотела лишь пошутить, но он краснеет. Твой острый язычок уже прирезал не один роман. Она постаралась смягчить интонацию. — Расскажи в другой раз. Сейчас у меня есть идея получше.

Он отводил глаза.

— Я буду бесхребетно подлой, а ты — подло бесхребетным. Или наоборот, если хочешь.

Они делили ложе уже в четвертый раз. Первоначальная старательная робость испарилась — коленками они больше не сталкивались. Но в этот раз, когда она почувствовала, что их тела

начинают расходиться своими дорогами, он приподнялся на локте и тихо вымолвил:

— Марта.

Она повернула голову. Очки Пола лежали на тумбочке, и его взгляд был наг. Интересно, подумала Марта, что он видит вместо меня — расплывчатое пятно? Может, так ему легче выдержать мой взгляд?

— Марта, — повторил он. И этим в каком-то смысле все уже было сказано. Но он продолжил: — Я еще здесь.

— Вижу-вижу, — отвечала она. — Чувствую-чувствую. — Она покрепче сжала его член — сама понимая, что закрывается этой нарочитой беспечностью, как щитом.

— Да. Но ты понимаешь, о чем я.

Она кивнула. Да-да, присутствовать она отвыкла. Улыбнулась ему. Возможно, жизнь опять станет простой. В любом случае она была благодарна ему за смелость. Она осталась с ним, наблюдала, внимала, вторила, вела, поощряла. Она была старательна и честна — как и он.

И все же то не был самый лучший секс в ее жизни. Впрочем, где написано, будто ловкость в постели как-то связана с человеческой порядочностью? И кто распределяет своих любовников

по лигам, составляет из них турнирные таблицы? Только невротики, озабоченные своей конкурентоспособностью. А спроси нормальных людей про лучший секс в их жизни, они вообще не вспомнят. Исключения редки. Вот разве что Эмиль. Старина Эмиль, ее приятель, гей. Он помнит. Как-то, оказавшись в Каркассоне, она послала ему открытку. А вернувшись домой, обнаружила на коврике перед дверью срочный, ликующий ответ. Письмо начиналось так: «В Каркассоне у меня случился самый факельный фак за всю мою жизнь. Сто лет назад. Гостиничный номер в старом городе, балкон нависает над раскаленными крышами. Надвигается потрясающая, а-ля Эль-Греко, гроза, и тучи делают свое дело, а мы — свое, пока разрыв между молнией и громом не сокращается до нуля, и гроза зависает над нашими головами и всем, что мы делаем, словно бы дирижирует небо. Потом мы раскинулись на постели, внимая звукам удаляющейся к холмам бури, и, сделав паузу, услышали, как начался очистительный дождь. После такого аж в Бога можно уверовать — правда, Марта?»

Что ж, с точки зрения Марты, после такого аж можно уверовать, что Бог, буде Он есть, ничего не имеет против геев. Но для нее Бог — да и человек,

если уж на то пошло, — ни разу не организовал такого величественного контрапункта. Самый факельный фак в ее жизни? Замнем. Она зарылась лицом в подмышку Пола. С нее и просто хорошего довольно.

* * *

Добрый старый английский ростбиф был, разумеется, с ходу одобрен Гастрономическим подкомитетом — как и йоркширский пудинг, ланкаширский хотпот, сассекский фунтовый пудинг, ковентрийские «божьи кексы», эйлсберийские утята, бурый виндзорский суп, девонширская фруктовая окрошка, мелтон-моубрейский пирог, бедфордширские клэнгеры, ливерпульский рождественский паштет, булочки «Челси», камберлендские колбаски и кентский куриный пудинг. Без проволочек было решено кредитовать рыбу с картошкой и яичницу с беконом, мятный соус и почечный пудинг, «Обед пахаря» и пастуший пирог, крестьянскую картофельно-мясную запеканку и вареный пудинг с коринкой, заварной крем и хлебный пудинг, печенку с ветчиной и фазанов, жареную картошку по-охотничьи и жареную говядину по-королевски. Благодаря своим живописным названиям (в конкретное

наполнение всегда можно внести поправки, если надо будет) в список перспективных инвестиций попали «Слава Лондона», «Королева пудингов», «Бедные виндзорские рыцари», «Побудка Хиндли», пирог «Глядящий на звезды», соус «Ням-ням», «Невестины подружки», оладушки, пухлячки, пышки, «Жирный жулик», босуортовы кольца, могги и имбирная коврижка. Подкомитет вычеркнул овсянку из-за шотландских аллюзий, «Петушиные яички» и леденцы-сосунки — чтобы, не дай бог, не лишиться голубых долларов, а также «песий уд», несмотря на его переименование в «Песий рог». «Конные дьяволы» и «Конные ангелы» прошли; «Жаба в норке» и «Жеребячьи палки» — нет. Валлийские сырные гренки, ирландское рагу и яйца по-шотландски даже не принимались к рассмотрению.

Богатый ассортимент элей должна была поставлять собственная пивоварня, которую планировалось возвести в Вентноре; фирменные вина Острова предполагалось подавать в графинах (если только эджстоунские виноградники переживут окончательный вариант Стратегического Плана). Но для привлечения на Остров длинных иен и вечнозеленых долларов будут трудиться приятно зудящие вкусовые сосочки выдающихся

сомелье; энофилы, размякшие после экскурсий по подвалам, глубоко запрятанным в меловых утесах («былые склады контрабандистов превратились в настоящие музеи виноделия»), охотно согласятся на четырехкратную наценку. После обеда, когда по славному английскому обычаю джентльмены уединятся в своем кругу для вкушения мужских напитков, им ненавязчиво порекомендуют отведать «старинную шропширскую сливовую наливку „Бабушка Мод“», но также предложат богатый выбор виски, за исключением тех, что носят агрессивно-гибернийские имена. Карту арманьяков сэр Джек составит лично.

— Остается лишь секс, — заявил Менеджер Проекта после того, как патриотические меню были одобрены Координационным комитетом.

— Прошу прощения, Марко?

— Секс, сэр Джек.

— Я всю жизнь издаю семейные газеты.

— Семейные газеты, — отметила Марта, — традиционно зациклены на внебрачных и противоправных связях.

— На то они и семейные! — в сердцах воскликнул начальник. Пощелкав своими подтяжками цветов «Гаррик-клуба», он вздохнул. — Ну хо-

рошо. Регламент наших заседаний крайне демократичен, так что продолжайте.

— Я иду от гипотезы, что мы должны хоть как-то охватить область секса, согласны? — проговорил Марк. — В отпуск люди ездят, чтобы заниматься сексом, — это общеизвестно. А точнее, когда они думают об отпуске, некий отдел их мозга вспоминает о сексе. Если они не состоят в браке, то мечтают с кем-нибудь познакомиться; а супруги надеются вырваться из своей постылой спальни. Особенно из постылой спальни, где вообще ничего не происходит.

— Что ж, поверим на слово. Ох вы, молодежь…

— Итак, как я это вижу: если трехгрошовый турист стремится к сексу за четыре гроша, то покупателям «Не просто отдыха» захочется «не просто секса».

— Это подтверждает и история, — вмешалась Марта. — Заниматься сексом англичане всегда ездили за границу. Империя держалась на неспособности британских мужчин обрести сексуальную удовлетворенность вне брака. Да и в браке, если уж на то пошло. Запад всегда воспринимал Восток как бордель с дорогими и дешевыми отделениями. Теперь же все перевернулось с ног на голову. Мы гоняемся за

долларами Тихоокеанского региона, а значит, должны предложить исторически обоснованное «quid pro quo»[55].

— А как отзовется Официальный Историк об этой скандальной версии славного прошлого нашей нации? — Сэр Джек указал сигарой на доктора Макса.

— Мне она зна-а-кома, — ответил тот. — Правда, обычно ее излагают не столь брутально. Теория спорная.

В томном голосе доктора Макса сквозило, что его лично под дулом пистолета не заставишь спорить на вышеуказанную тему.

— А, — вымолвил начальник. — Теория спорная. Сказано истым историком, если вы мне позволите капельку *lèse-majesté*[56]. И о чем же, собственно, спор? Выставляют ли английских девственниц на открытые торги — нагих, прикованных к телегам, продают ли их в почасовое сексуальное рабство в дорогих бордель-отелях, оснащенных водяными матрасами, поворотными зеркалами и порнографическими видеофильмами? Я говорю, как вы понимаете,

---

[55] Сноски: 55
Qui pro quo *(лат.)* — услуга за услугу. Quid *(англ. разг.)* — фунт.

[56] Сноски: 56
Оскорбление монарха *(фр.)*.

метафорически.

Воцарилось пристыженное безмолвие — но ловкий Марк поспешил его нарушить.

— Мне кажется, мы несколько отвлеклись. Я всего лишь сказал, что размышляю, нужно ли нам охватить область секса. Не знаю, в чем это должно выражаться. Я не мыслитель — я просто менеджер. Мое дело — внести предложение: «Не просто отдых», вечнозеленые доллары, длинные иены, тенденции развития рынка, Англия и секс. Позвольте преподнести господам заседающим этот коктейль.

— Очень хорошо, Марко. Давайте, извиняюсь за только что выдуманное крылатое выражение, поместим этот вопрос на виброкровать. И давайте начнем с простого. Секс и Англия, кто скажет?

— «Швейцарский флот», — отозвалась Марта.

— Мои соболезнования, мисс Кокрейн. — И сэр Джек от всей души расхохотался. — Хотя сороки приносят мне на хвосте несколько другие известия.

Когда Марта хлестнула его взглядом, он уже рассеянно пялился в угол. На Пола она смотреть не смела.

— Кто разовьет мысль?

— Ладно. Ладно. — Обозленная Марта приняла

вызов. — Я начну. Англичане и секс. Что первым приходит на ум? Оскар Уайльд. Королева-девственница. «Отец мой знал Ллойд Джорджа, Ллойд Джордж знавал отца». Леди Годива.

— Покамест — один ирландец и один валлиец, — публичным шепотом отметил доктор Макс.

— Плюс одна девственница и одна стриптизерка, — добавил Марк.

— Английский порок, — продолжала Марта, буравя взглядом доктора Макса. — Содомия или порка, выбирайте на вкус. Детская проституция Викторианской эпохи. Несколько маньяков и ряд громких убийств по сексуальным мотивам. Ну как, входные билеты уже идут нарасхват? Был ли в Англии свой Казанова? Полагаю, да, — лорд Байрон. Аристократ в ортопедических ботинках, со слабостью к инцесту. Скользкая область, не так ли? О да, если это важно, мы изобрели презерватив. По легенде.

— Ровно ничего пригодного, — произнес сэр Джек. — Обструкционизм, еще более вопиющий, чем обычно. Новый рекорд. Что мы, прошу прощения за банальность, ищем? Женщину, воплотившую в себе лучшие стороны секса, славную девчонку, известную каждой собаке,

потрясную милашку с большими буферами — разумеется, я выражаюсь в образном смысле.

Комитет проникся беспрецедентным интересом к узору столешницы, рисунку обоев, переливам люстры. Внезапно ладони сэра Джека взметнулись в воздух, оттолкнувшись от его лба.

— Нашел. Нашел. Она, и только она. Нелл Гвинн. Ну разумеется. Кошка может смотреть на то, что получше короля. Несомненно, она прелесть. Покорила сердца нации. И кстати, очень демократичная история, как раз для наших времен. Возможно, профильтровать — слегка-слегка, — привести в соответствие со здоровой семейной моралью третьего тысячелетия. Да-да, и не забудем о лицензии на торговлю апельсинами. Ну что? Говорите, «хорошо»? Говорите, «хорошо — слишком скромная оценка»?

— Хорошо — слишком скромная оценка, — подхватил Марк.

— Хорошо, — обронила Марта.

— Сомнительно, — молвил доктор Макс.

— Почему? — проворчал начальник. Неужели он должен тащить на себе весь воз творческой работы, да еще и терпеть банду вставляющих палки в колеса скептиков?

— Это не совсем мой пе-е-риод, — произнес

Официальный Историк свой коронный зачин, после которого обычно следовала пространная лекция, — но, насколько я помню, биография крошки Нелл имела мало отношения к здоровым семейным ценностям. Она открыто именовала себя «протестантской блудницей» — в те времена король, как вы понимаете, был католик. Родила ему двоих внебрачных детей, делила его мягкое ложе с другой фавориткой, чье имя временно изгладилось из моей памяти…

— Вы хотите сказать, шесть-ног-под-одеялом, — пробормотал сэр Джек, воображая газетные заголовки.

— …и хотя деталь требует уточнений, я знаю, что пост королевской любовницы она заняла в относительно нежном возрасте, так что, возможно, придется учесть и мотив растления малолетних.

— Отлично, — заявила Марта. — То, что надо. Западные педофилы традиционно удовлетворяли свои аппетиты на Востоке. Пускай теперь восточные едут на Запад.

— Катастрофа, — заключил сэр Джек. — Я всю жизнь выпускаю семейные газеты.

— Можно сделать ее старше, — бодро предложила Марта, — детей вычеркнуть, других любовниц вычеркнуть, социально-религиозную подопле-

ку вычеркнуть. Получится честная девушка из среднего класса, которая в итоге выходит замуж за короля.

— При живой жене, — сделал сноску доктор Макс.

— В мои времена все было гораздо проще, — вздохнул сэр Джек.

* * *

— Как ты думаешь, сэр Джек о нас пронюхал?

Они лежали в постели, без света; их тела устали, но головы, взбодренные кофе, полнились тревожными мыслями.

— Нет, — ответил Пол. — Он просто удочки закидывал.

— Не похоже как-то на удочки. Скорее на… капканы. Я тебе говорила, нет зверя страшней, чем хороший семьянин.

— Он тебя обожает, разве не видишь?

— Приберег бы свое обожание для невидимой леди Питмен. Почему ты его всегда защищаешь?

— А ты почему всегда на него нападаешь? И вообще провоцируешь.

— Я? Ты имеешь в виду мой угольно-черный костюм и доверху застегнутую блузку?

— Твои антипатриотичные взгляды на секс.

— Провокационные и антипатриотичные в одном флаконе. Тем лучше. За это мне деньги и платят.

— Ты знаешь, о чем я.

Они впали в нервную болтливость, балансирующую на грани свары. Почему так? — спросила себя Марта. Почему внутри любви непременно тикает ее обязательная начинка — бомба скуки, а нежность всегда комплектуется докучливостью? Или это ее, Марты, личный недостаток?

— Я просто сказала, что англичан не секс прославил. Всего-то. Секс по-английски — это гребные гонки: вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, финиш, и все валятся от усталости на весла.

— Спасибо.

— Я не тебя имела в виду.

— Нет уж — или я правдивую лесть на слух не узнаю? «Все должны овладеть этим искусством», — помню-помню. «Тогда прекратятся войны», — сказали мы, — щебетал Пол, а сам думал: «Что я сделал не так? Почему мы вдруг, с бухты-барахты, принялись рычать друг на друга во тьме? Миг назад все было прекрасно. Миг назад я тебя ценил и любил; а теперь только люблю. Сердце падает в пятки».

— О Пол, расскажи еще какую-нибудь исто-

рию. — Ей не хотелось ссоры.

И ему тоже.

— Еще какую-нибудь историю. — Он умолк, дожидаясь, пока испарится его легкая обида. — Я как раз собирался тебе рассказать про Бетховена и сельского полицейского. Ту, что я поведал сэру Джеку.

Марта вся напряглась. Она предпочитала оставлять сэра Джека в офисе. Пол все время тащил его домой. Теперь он лежал в постели вместе с ними. Ну ладно, разок можно.

— Ага. Воображаю себе эту сцену. Бок о бок в уборной. Что он мурлыкал?

— Крейцерову. Вторую часть. *Adagio espressivo.* Это, впрочем, прямого отношения не имеет… Короче, дело было так. Как-то утром, году в тысяча, полагаю, уже восемьсот… лохматом, суть в том, что он уже был знаменитым композитором, Бетховен рано встал и вышел прогуляться. Как ты, возможно, знаешь, он был в некотором роде неряха. Он надел свое видавшее виды пальто — а шляпы он не имел, в отличие от всех приличных людей, которые не являлись великими композиторами, — и побрел по тропке вдоль канала, на берегу которого стоял его дом. Вероятно, он думал о своей музыке — слышал ее в голове — и

ничего вокруг не замечал, поскольку он шагал, шагал, шагал — и вдруг обнаружил себя в конце канала, на краю водохранилища. Он не знал, где находится, а потому стал заглядывать в чужие окна. Ну, дело было в благопристойной области Германии, или как там эта страна тогда называлась, и, естественно, вместо того чтобы спросить, что ему нужно, или пригласить на чашечку кофе, обыватели вызвали местного констебля и потребовали арестовать чужака за бродяжничество. Бетховен был, мягко говоря, удивлен таким развитием событий и стал спорить с полицейским. Он сказал: «Но, инспектор, я — Бетховен». А полицейский ответил: «Конечно, вы Бетховен — почему бы и нет?»

Он умолк, но Марту и тут не подвело ее инстинктивное чутье к ритмам мужского нарратива. Она подождала.

— И тут-то — да, очень верно сказано «и тут-то» — и тут-то полицейский объяснил, почему он его арестовал. Он сказал: «Вы — бродяга. Бетховен выглядит совсем по-другому».

Марта улыбнулась во тьме и, сообразив, что он ее не видит, коснулась его рукой.

— Хорошая история, Пол.

Они дали задний ход с неведомой дороги, на

которую съехали. Вернулись, потому что оба этого захотели. Ну а не захоти кто-нибудь один? Или оба? Засыпая, она задумалась над двумя загадками. Почему даже в постели они называют сэра Джека «сэром»? И почему Бетховен решил, что заблудился? Всего-то надо было развернуться и пойти назад вдоль канала. Или гений не повинуется логике простых смертных?

Позже, в ту же ночь, она проснулась от мыслей о сексе. Она прислушалась к эху собственного голоса. С меня и просто хорошего довольно, сказала она. Довольно? Не рано ли, Марта, успокаиваться на достигнутом? Ой, не знаю, в конце концов все успокаиваются. Нет, Марта, ты с самого начала жила назло успокоению, потому-то и не… не успокоилась.

«Вот что, я только сказала, что в постели с ним очень приятно, но не Каркассон. И из-за такой ерунды ночей не спать? Ладно будь это полная противоположность Каркассона — фу, даже не вообразить. Чернобыль. Аляска. Гилфордская транспортная развязка. И вообще, отношения мужчины и женщины к сексу не сводятся».

«Сводятся-сводятся, Марта, в этом и есть их суть — в этой, ранней стадии. Или твои прежние романы начинались с занятий керамикой или

колокольного звона?»

«Послушай, все только-только начинается. В данном романе».

«Роман только-только начинается, а вместо всей этой былой веры и прелестного самообмана и… и немереных амбиций… ты делаешь благоразумные уступки и подбираешь благоразумные оправдания».

«Ни фига подобного».

«Ага, как же. Ты употребляешь слова типа „очень приятно“».

«Ну, наверно, старею».

«Ага, сама сказала».

«Как сказала, так и возьму назад. Наверно, я взрослею. И перестаю себя обманывать. Теперь все по-другому. Совсем другое ощущение. Я уважаю Пола».

«О боже. У тебя, случайно, нет ощущения, что ты сидишь — успокоенная-успокоенная — и слушаешь лекцию „Биографии великих композиторов“?»

«Нет. Ощущение вот какое: никаких игр, никаких обманов, никакого позерства, никаких предательств».

«Четыре минуса дают плюс?»

«Умолкни. Умолкни. Между прочим — да, на-

верняка дают. Так что умолкни».

«Считай, я ничего не говорила, Марта. Спокойного сна. А чисто из спортивного интереса: как ты сама думаешь, почему ты сейчас проснулась?»

* * *

Краткая история сексуальности в случае Пола Харрисона была бы короче, чем в случае Марты Кокрейн:

— зачаточное влечение к девочкам вообще, а поскольку девочки вообще — как минимум большинство девочек в его ближайшем окружении — носили белые гольфы, зеленые клетчатые юбки до середины икры (матери знали, что выгоднее брать на вырост) и белые блузки с зелеными галстуками, такова была и первоначальная парадигма его желания;

— особое влечение к Ким, подруге сестры, которая училась играть на альте, которая в одно воскресное утро зашла к ним домой и заставила его осознать (на основе наблюдений за сестрой он этого пока не сделал), что от девочек, одетых не в школьную форму, губы сохнут, разум помрачается, а в трусах топорщится несравнимо сильнее, чем от девочек в школе. Ким, старше его на два года, игнорировала Пола — или притворялась,

будто игнорирует, что не меняло результата. Раз он небрежно поинтересовался у сестры: «Как там Ким?» Она смерила его испытующим взглядом, а потом расхохоталась так неудержимо, что ее чуть не вырвало;

— открытие девочек в журналах. Впрочем, сразу было видно: это не девочки, а женщины. Женщины с безупречными грудями необъятной величины, безупречными грудями средней величины и безупречными грудями небольшой величины. Стоило их увидеть, как мозг начинал колотиться о крышку черепа, пытаясь вырваться наружу. Все они, неоспоримо, блистали красотой, даже те, у которых был вульгарный, шлюховатый вид; если честно, не «даже те», а «особенно те». Что до других частей тела — не грудей, а «этих самых», — вначале изумлявших его до полной немоты, они также являли удивительное разнообразие форм и физиологических подробностей, но в каждом случае были идеально совершенны. Эти женщины казались ему такими же недоступными, как кроту — козьи тропы на скалах. Они были аристократией, шедевром дезодорантов и эпиляции; а он — вонючим, оборванным крестьянином;

— тем не менее он продолжал любить Ким;

— но обнаружил, что журнальных женщин может любить одновременно. Среди них у него были любимицы и верные фаворитки. Те, кто, по его предположениям, тактично и участливо покажет ему, как делать Это; а затем другие — те, кто покажет ему, уже кое-что умеющему, как Это делается по-настоящему; и третья категория — трепетные лани, бесприютные сиротки, невинные девы, которым, когда придет пора, он сам покажет, как делать Это. Вкладки с женщинами, ранившими его сердце, он выдирал и хранил под матрасом. Дабы не измять их (что было бы непрактичностью и святотатством), он складывал их в конверт для пересылки бандеролей. Спустя некоторое время пришлось купить второй;

— девочки в школе вырастали из своих юбок, то есть юбки заканчивались уже на уровне колен. Он слонялся по коридорам со стаями мальчиков, глазея на стайки девочек. Ему казалось, что он никогда-никогда не сумеет повести себя правильно, оставшись наедине с девочкой (сестра была не в счет). А вот наедине с журнальными женщинами — это пожалуйста. Когда он занимался с ними сексом, они смотрели понимающе-понимающе… И вот еще что: после акта полагалось чувствовать печаль, но с ним такого никогда не бывало. Лишь

досада, что надо ждать несколько минут, прежде чем этот дохлый агрегат опять раскочегарится. Он купил третий конверт для бандеролей;

— однажды на спортплощадке Джефф Гласс рассказал ему замысловатую, конфиденциальную историю о коммивояжере, все время разъезжавшем по командировкам, и про то, что он делал, когда не мог найти женщину. Он делал «так», а иногда «сяк», а порой, для разнообразия и чтобы хозяйка пансиона не увидела, он занимался этим в ванной. Ну, ты знаешь, как оно бывает в ванной, — на что Пол, не желавший, чтобы история прерывалась, сказал «Да», а надо было «Нет», потому что Джефф Гласс заорал на всю площадку: «Харрисон знает, как оно бывает в ванной!» Он осознал, что секс — это западня;

— и прочувствовал это открытие всей душой и телом, когда, вернувшись домой, обнаружил, что мать затеяла генеральную уборку и перевернула матрас;

— какое-то время он составлял в тетрадях по математике, куда мать никогда бы не додумалась заглянуть, шифрованный график зависимости кожных высыпаний от своих интимных актов с утраченными журнальными женщинами. Выводы вызывали сомнения — но и не совсем

разубеждали в правоте гипотезы. Он обнаружил, что феноменально четко помнит Черил и Ванду, Сэм и Тиффани, Диану и Триш, Линди и Джилли, Билли, Келли и Кимберли. Иногда он погружался с этими воспоминаниями в ванну. Лежа в постели, он больше не тревожился, что мать увидит свет и войдет. Его донимали новые тревоги: встретится ли на его пути реальная женщина или девочка, которая разбудит в нем столь же жадную чувственность. Он понимал, почему мужчины умирали за любовь;

— кто-то сказал, что, если делать это левой рукой, покажется, будто тебя ласкает кто-то другой. Оно, может, и так; но очень чувствовалось, что эта «чужая» рука — левая, и становилось странно, что «партнерша» не пользуется правой;

— и вдруг, нежданно-негаданно, — Кристина, которую не смущали его очки, которая в свои семнадцать лет и один месяц была на три месяца старше его, что находила довольно милым и оригинальным. Он соглашался, как соглашался с каждым ее словом. Он обнаружил, что в параллельном мире реальной жизни ему позволено делать то, о чем раньше лишь мечталось. С Кристиной он прорвался в мир менструаций и раскатывания презервативов, где позволялось

трогать руками все (все в пределах разумного, все, кроме нечистого), пока он помогал ей сидеть с ее младшим братом; мир головокружительной радости и социальной ответственности. Когда, указывая на какую-нибудь мульку в освещенной витрине магазина, она ворковала с непостижимой тоской, казавшейся ему исключительно женственной, он чувствовал себя Александром Великим;

— как-то Кристина спросила: «Ну а дальше мы с тобой что будем делать?» Он сказал: «Я думал, в кино пойдем, а что, ты передумала?» Она разрыдалась. Он обнаружил, что согласие порой мирно сосуществует с непониманием;

— когда он сказал Линн насчет презерватива, она заявила: «Терпеть их не могу» — и дала ему просто так, на вечеринке, уже под утро; оба были пьяны. Он обнаружил, что спьяну может долго не кончать. Позднее, уже на другой вечеринке, удостоверился, что этот ценный эффект не усиливается пропорционально количеству выпитого. Родители считали, что Линн дурно на него влияет, — так оно и было, иначе бы он ее не любил. Ради нее он был готов на все, а потому быстро ей надоел;

— после разрыва с Кристиной пошли полув-

стречи, попадания в «молоко», увлечения, растворявшиеся в самоуничижении, связи, которые ему хотелось прекратить еще до их начала. Женщины, в чьих взглядах он читал: «На безрыбье сгодишься». И другие — с первого же поцелуя они крепко брали его под руку, и их цепкие, подрагивающие в локтевой впадинке пальцы давали понять: его доведут до алтаря, а оттуда — до самой могилы. На других мужчин он начал поглядывать завистливыми, непонимающими глазами. «Красавиц только храбрецы достойны», — написал какой-то глупый старинный поэт. В жизни все наоборот. Разве достоинства вознаграждаются? Пока храбрецы воюют на фронте, тыловые подонки, бабники и всякая напористая мразь расхватывают красавиц. Вернувшись домой, храбрецы выбирают из второсортных. А люди типа Пола вынуждены довольствоваться бросовым товаром. Их долг, понимаете ли, принять жизнь такой, как она есть, зажить своим домком и плодить пехоту для храбрецов или невинных дочек на потребу подонкам и бабникам;

— он вернулся к Кристине на несколько часов, что, очевидно, было ошибкой;

— но Пол воспротивился неписаному приговору судьбы как в общем смысле, так и в частном,

воплощенном в Кристине. Он не верил, что в области секса и чувств существует справедливость: ведь нет никакой табели о рангах, объективно оценивающей тебя как человека, спутника, любовника, мужа и т. п. Люди — в особенности женщины, — скользнув по тебе глазами, уходят своей дорогой. И разве можно тут возмущаться, совать всем буклет «Почему я — выгодное приобретение?». Но из отсутствия объективных рангов логически вытекает реальность удачи, а в удачу Пол верил истово. Только что ты был простым сотрудником «Питко» — и вдруг стоишь рядом с сэром Джеком у писсуара, а он чисто по случайности насвистывает нужную мелодию;

— когда он впервые увидел Марту: скульптурное «каре» на голове, синий костюм, спокойное, но обескураживающее молчание, когда он поймал себя на мысли: «Голос у тебя темно-каштановый, под цвет темно-каштановых волос, и тебе никак не сорок, не может этого быть», когда он смотрел, как она, изящно поворачиваясь, поводит плащом перед носом бьющего копытами, ревущего сэра Джека, он подумал: «Кажется, очень милый человечек». Он понимает, что реакция несколько неадекватная — пожалуй, ей рассказывать никак нельзя. А если и рассказать, то

опустив нижеследующее примечание. Покинув родительский дом, он на какое-то время вновь увлекся журналами, но частенько ловил себя на одной странности: когда он глядел на женщину, которая раскинулась перед ним на развороте, вся — персонифицированная доступность, ему на ум вдруг приходил вывод: «Кажется, очень милый человечек». Наверно, для журнального секса он все-таки не создан. Блин, этим женщинам, рожденным только для того, чтобы возбуждать мужчин, он вечно отвечал: «А знаешь, мне бы хотелось вначале узнать о тебе побольше»;

— как он давно еще заметил, когда ты с женщиной, у тебя меняется ощущение времени: настоящее трепещет, как готовая в любой момент вспорхнуть птица, прошлое еле волочит ноги, будущее гибко и метаморфозно. Теперь же он еще тверже знал, как меняется ощущение времени, когда женщины у тебя нет;

— и потому, когда Марта спросила, что он о ней подумал при первой встрече, ему захотелось сказать: я почувствовал, что ты изменишь мое чувство времени безвозвратно, что будущее и прошлое втиснутся в настоящее, что грядет то, чего еще не бывало на памяти сотворенной Богом вселенной, — возникнет новая, нераздельная

святая троица времени. Но то была не совсем правда, и потому он рассказал о четком ощущении, обуявшем его тогда, в шикарном офисе сэра Джека, и потом, когда, сидя напротив нее в ресторане, он понял, что она потихоньку управляет ходом разговора. «Я подумал, что ты очень милый человек», — сказал он, слишком ясно сознавая, что его фраза не может соперничать с гиперболами, этим оружием подонков, бабников и всякой там напористой мрази. Но оказалось, он выразился уместно, или уместно подумал, или то и другое сразу;

— с Мартой он чувствовал себя более интеллектуальным, более взрослым, более остроумным. Кристина непременно смеялась его шуткам, что в итоге заставило его усомниться в ее чувстве юмора. Позднее он познал унижение саркастически выгнутых бровей, подразумевающих: «Молодой человек, этот анекдот надо уметь рассказывать». Какое-то время он острил только мысленно. С Мартой он вновь начал шутить, и она смеялась, когда находила что-то смешным, и не смеялась, когда не находила. Пол считал это редкостным чудом. И символом: прежде он жил мысленно, а жить вслух — страшился. Благодаря сэру Джеку у него появилась нормальная работа; благодаря

Марте — нормальная жизнь, жизнь вслух;

— ему самому не верилось, как проще все стало, когда он влюбился в Марту. Нет, надо подобрать другое слово, если только в «проще» не заложены такие смыслы, как «интенсивнее», «вкуснее», «сложнее», «сфокусированно», «звучно». Одна половина его разума просто-таки скакала, обалдело дивясь своей удаче; другая полнилась ощущением долгожданной, сияющей подлинности. Ага, слово найдено: любовь к Марте сделала весь мир подлинным. Настоящим.

Глава вторая

Нет, не по топографическому наитию выбирал сэр Джек свой Остров. За каждым капризом Питмена стоял тонкий финансовый расчет. В данном случае ключевыми факторами были величина, местоположение и доступность Острова. Плюс — отсутствие оснований для его включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс — рабочая сила, эластичные нормативы застройки, уступчивая местная власть. Сэр Джек полагал, что запрячь уайтцев в свою упряжку — дело нехитрое: опыт строительного подрядчика научил его эксплуатировать исторически обусловленные

обиды на соседей — и, более того, создавать их искусственно. Депутата палаты общин от Острова он приобрел с потрохами. Ряд удачно разрекламированных инвестиций на благо электората плюс безупречно оформленные письменные показания троих лондонских мальчиков по вызову, лежащие в сейфе одного поверенного на Линкольн-Инн-Филдз, гарантировали, что сэр Перси Наттинг, депутат и королевский адвокат, будет продвигать Проект с неослабевающим энтузиазмом. Пряник и кнут — беспроигрышный метод; а еще лучше сперва кнут, потом пряник.

Вначале он планировал просто-напросто купить Остров. В обмен на акции Проекта у пенсионных фондов и специальных уполномоченных англиканской церкви были приобретены несколько тысяч акров сельскохозяйственных угодий; оставалось лишь договориться, чтобы Вестминстер продал ему суверенитет. Ничего невероятного в этом замысле не было. Уцелевшие осколки Британской империи как раз сейчас распродавались подобным, на взгляд сэра Джека, абсолютно правомерным образом. Когда-то колонии отделялись второпях — в них внезапно просыпалась принципиальность, подзуживаемая пальбой партизан. Но последние оплоты

империализма меняли свой статус, руководствуясь благоразумными экономическими резонами: Гибралтар был продан Испании, а Фолкленды — Аргентине. Конечно, и продавцы, и покупатели описывали эту передачу территорий из рук в руки совсем в иных терминах; но у сэра Джека были свои источники.

Вышеупомянутые источники печально доложили, что Вестминстер воспринял идею продажи острова Уайт частному лицу крайне холодно, сославшись на такой благовидный предлог, как необходимость сохранения целостности государства. Несмотря на давление со стороны верных лоббистов сэра Джека, правительство наотрез отказалось назначить суверенитету цену. Такие вещи не продаются, заявили государственные мужи. Сэр Джек сперва немного обиделся, но вскоре вновь воспрянул духом. В конце концов, честные сделки на то и честные, что радости от них никакой. Ты хочешь что-то купить, владелец называет цену, ты ее сбиваешь, и вещь твоя. Скука смертная!

Да, а ведь если подумать, не устарело ли понятие собственности как таковой? А точнее, представление о том, что она должна приобретаться по формальной договоренности (всякое

там «сертификат, подтверждающий право собственности на данное имущество, выдается по выплате финансового возмещения в сумме…»). Сэр Джек предпочел бы радикально реформировать эту концепцию. Разве не правда, что владелец имущества — мелкая сошка по сравнению с тем, кто владеет властью? А на данный момент Питмен, между прочим, собрал все нужные ему земельные опционы и разрешения на застройку. Банки, пенсионные фонды и страховые компании — все у него в кармане; соотношение собственных и заемных средств в кошельке сэра Джека ни у кого не вызывало нареканий. Разумеется, ни пенса своих денег сэр Джек в Проект не вложил, если не считать небольшой финансовой «затравки»; он знал, что деньги к чужим деньгам идут. И все же за всем этим юридически непогрешимым пиратством крылась совершенно первобытная, звериная тяга к свободе, атавистическое стремление вырваться за флажки современного жизненного уклада. Назвать сэра Джека варваром — что, кстати, делали многие — было бы несправедливо; но в нем зрела тоска по предклассическим, добюрократическим методам приобретения собственности. К примеру, по разбою, завоеваниям и абордажу.

— Крестьяне, — заявила Марта Кокрейн. — Вам понадобятся крестьяне.

— В наше время, Марта, они именуются «недорогой рабочей силой». Без проблем.

— Нет, я говорю о крестьянах. Ну знаете, такие, все соломинки жуют да песни поют? Парни в смазных сапогах. Сиволапые дурни. Ребята с косами на плечах. Уж мы просо сеяли, сеяли — а может, веяли. Молотьба, овины…

— Сельское хозяйство, — ответил сэр Джек, — отлично охвачено и как фон, и как позиция в списке сюжетов для повторного визита. О ваших деревенских подружках никто не позабыл. — В его интонации нетерпение переплеталось с неискренностью.

— Я не о сельском хозяйстве. Я о людях. *Лю-дях*. Мы с утра до ночи толкуем о позиционировании продукта, типологии ожидаемых Гостей, структурировании экскурсий, о пропускной способности и теории отдыха, но мы, похоже, забыли, что одна из старейших уловок в нашей профессии — рекламировать самих людей. Открытых, радушных, простых людей. Когда улыбаются глазки ирландки, Гость — посланник Бога и все такое.

— Отлично, — произнес с легкой подозрительностью сэр Джек. — Это можно обсудить. Очень

позитивное предложение. Но по вашей манере чувствуется, что вы ждете проблем.

— Двух проблем. Во-первых, у вас нет сырья. То есть ни один представитель вашего контингента недорогой рабочей силы не видывал зерна иначе как в форме магазинных булок.

— Тогда они увлекутся молотьбой или этой… как там вы ее назвали… с энтузиазмом нового поколения, начинающего с нуля.

— А многовековая традиция сердечности и радушия?

— И этому научим, — возразил сэр Джек. — Отрепетированное радушие даст сто очков вперед настоящему. Или, Марта, для вас такой подход слишком циничен?

— Переживу. Но есть и вторая проблема. Суть в том, что неясно, как рекламировать англичан. Приезжайте познакомиться с представителями народа, который, что подтвердил даже наш собственный опрос, славится на весь мир своей холодностью, снобизмом, эмоциональной отсталостью и ксенофобией. А также, разумеется, коварством и лицемерием. Конечно, я знаю, что вы, мужчины, любите трудные задачи…

— Замечательно, Марта, — вмешался сэр Джек. — Превосходно. А я-то на миг испугался,

что вы перешли на конструктивное мышление. Итак, «вы, мужчины»! Отрабатывайте свое зерно, будь оно провеяно от руки или обработано на хлебозаводе. Джефф?

Глядя на Разработчика Концепций, который призадумался, обдумывая вопрос, Марта поняла, что Джефф в Координационном комитете — белая ворона. Он производил впечатление человека, который не имел никаких своекорыстных целей, был искренне предан делу Проекта, подходил к проблемам так, словно они требовали решения; также он производил впечатление женатого мужчины, который даже не пытался за ней поухаживать. Странно, очень странно.

— Ну что ж, — сказал Джефф, — вот первое, что пришло мне в голову: тут лучше всего будет расхваливать не продукт, а самого клиента. К примеру: посидите за пинтой «Веселого Джека» в «Старом быке и кусте», познакомьтесь с колоритными завсегдатаями, и вы увидите, как знаменитая английская сдержанность улетучивается просто-таки на глазах. Или: они не впускают в свое сердце кого попало, но, раз удостоив человека своей дружбой, остаются верны до гроба и пойдут за ним, как собаки.

— Это, последнее, уже отдает угрозой, вер-

но? — вступил Марк. — В отпуск ездят не друзей заводить.

— Мне кажется, что здесь вы все же не правы. По всем нашим социологическим исследованиям выходит, что очень многие другие люди — в смысле, не англичане — считают обретение новых друзей одной из главных целей отпуска и даже, дерзну сказать, его самой приятной стороной.

— Вот чудаки-то. — Марк издал недоверчивый смешок, а его взгляд так и запорхал по колоссальному телу сэра Джека, пытаясь угадать мнение начальника. — И за этим они поедут на Остров? Все эти вечнозеленые доллары и длинные иены закорешатся с нашей недорогой рабочей силой, будут обмениваться адресами и поляроидными снимками. «Уорцель из Дыршира демонстрирует старый английский обычай — как выпить пинту „Старого мозголомского“, засунув в каждую ноздрю по хворостине». Нет, простите, даже в страшном сне не воображу. — Марк обвел членов комитета туманным взглядом и тихо фыркнул себе под нос.

— Марк любезно продемонстрировал те самые исконные английские качества, которые я перечислила, — заметила Марта.

— А почему нет? — произнес Марк, не прекра-

щая презрительного фырканья. — Я все-таки англичанин.

— К делу, — заявил сэр Джек. — Столкнемся мы с этой проблемой или не столкнемся — давайте все равно ее решим.

Они взялись за работу. Вопрос, по сути, сводился к приоритетам и механике человеческого восприятия. Было уже решено представить сельское хозяйство в виде жизнеподобных диорам, отлично видимых с любых транспортных средств, будь то лондонские такси, двухэтажные автобусы или двуколки, запряженные пони. Пастухи, сидящие под раскидистыми, согнутыми вечным ветром с Атлантики деревьями, будут махать своими посохами и свистеть фальцетом старым добрым английским овчаркам, охраняющим их стада; деревенские парни в смазных сапогах с деревянными вилами будут швырять сено на стога, изваянные ландшафтными архитекторами; перед коттеджем в морлендском стиле егерь арестует браконьера и посадит его в колодки у колодца, где, по древнему поверью, живет исполняющая желания водяная фея. Требовался лишь концептуальный скачок от чисто декоративного статуса к миссии потенциальных коммуникативных субъектов. Пастуха позднее

посчастливится встретить в «Старом быке и кусте», где он на пару с егерем-волынщиком даст концерт из подлинных народных мелодий, одни из которых были записаны Сесилом Шарпом и Перси Грейнджером, а другие сочинены полвека назад Донованом. Стогометатели отвлекутся от своего турнира по кеглям, чтобы порекомендовать Гостям то или иное блюдо, браконьер откроет профессиональные секреты, меж тем как Старая Мэг, греющая скрюченное тело у камина, вынет изо рта свою глиняную трубку и поделится мудростью, передающейся из поколения в поколение. И всего-то надо переместить фон на передний план, решил Комитет. Дело техники.

— С другой стороны… — начал Марк.

— Да, Марко. Обрушится ли на нас очередная вспышка антипатриотизма?

— Нет. А может быть, и да. Сегодня я, похоже, принял эстафету у Марты. Возможно, я нервничаю по пустякам, но… вам не кажется, что следует опасаться Синдрома Калифорнийского Официанта?

— Просветите мой ограниченный ум, — заявил сэр Джек.

— Вообразите типа, который вместо того, чтобы записать в блокнот заказанные блюда, заткнуть-

ся и уйти к чертям собачьим, — произнес Марк с чувством, — усаживается рядом с вами и рассказывает, с какой почтительностью к правам растений они давили клубнику для мороженого, а также многословно сочувствует вашим аллергиям.

Сэр Джек сделал изумленное лицо:

— Марко, и это для вас заурядное происшествие? Вы не выбираете какие-то неприличные рестораны? Признаюсь, мой опыт так узок, что я еще не встречал официанта, который осведомился бы о моих аллергиях.

— Но вы улавливаете общую мысль? Заходишь в паб, чтобы тихо выпить свою пинту, и натыкаешься на вонючего старого игрока в кегли, который обливает тебя пивом и отпускает комплименты твоей жене.

— Что ж, очень английская ситуация, — заметила Марта.

Джефф кашлянул:

— Послушайте, вероятность такого происшествия равна нулю. Наши гигиенические требования и параграф о сексуальных домогательствах исключают подобный сценарий. В любом случае Гости отправились в паб по собственной воле, верно? Разрабатывается целый ряд альтернатив-

ных вариантов заведений, где можно пообедать. Все, что хотите, — от уик-энда в загородном поместье с банкетом до кофе в номер.

— Да, но… Только не считайте меня снобом, — упорствовал Марк. — М-да, хорошо, пусть я и сноб. Вы просите какого-нибудь мужика, который раньше работал, скажем, на чулочной фабрике, весь день стоять и молотить зерно. Потом он идет в паб и вместо того, чтобы потрепаться с ребятами о бабах и футболе, должен опять гнуть на вас спину: изображать деревенского дурня перед Гостями, которые, смею ли сказать хотя бы шепотом, вполне могут оказаться чуть-чуть интеллектуальнее и душистее нашего верного служащего?

— Тогда пусть обедают с доктором Джонсоном в «Чеширском сыре», — заявил Джефф.

— Нет, тут другое. Скорее… Иногда в театре после спектакля актеры спускаются в зал и пожимают руки зрителям, и это словно значит: «Мы существовали лишь в вашем воображении, но убедитесь: мы такие же, как и вы, мы существа из плоти и крови». Немного не по себе становится, вот и все.

— Это потому, что вы англичанин, — пояснила Марта. — Чужое прикосновение вы воспринима-

ете как агрессию.

— Нет, я о том, что иллюзию следует отграничивать от реальности.

— Тоже очень по-английски.

— Черт! Я и есть англичанин, — прошипел Марк.

— А наши Гости — нет.

— Дети, — укоряюще проговорил сэр Джек. — Джентльмены. Леди. Скромное предложение из директорского кресла. Не открыть ли на Острове так называемый эспрессо-бар, если я не ошибаюсь в термине, под названием «Препоганый капучино»? Владелец — синьор Марко.

Дежурный общий взрыв хохота послужил сигналом к закрытию заседания.

* * *

— Скажите Вуди, что уже пора, — распорядился сэр Джек.

В этот день он был в подтяжках Французской академии, что оказалось пророческой деталью: на заседании его уста были щедры на неподражаемо питменовские *bon mots* и *aperçus*[57]. Комитету посчастливилось засвидетельствовать

---

[57] Сноски: 57
Меткие словечки и мимолетные впечатления *(фр.).*

экстраординарно широкий *tour d'horizon*[58].

Текущая Сюзи была новенькой Сюзи, и порой сэр Джек безуспешно силился припомнить, почему, собственно, ее нанял. Фамилия, разумеется, и отец, и отцовские деньги, и так далее, и временами шаловливая улыбка, и этакая податливая сексуальность, которую он провидел под ее накрахмаленными платьицами… Но все это были обычные условия приема на данную должность. Однако от Сюзи также требовалась капелька чутья, толика экстрасенсорных способностей, этакое «je ne sais quoi»[59], в общем. А ведь любой дурак вам скажет, будто референт — это учтивый и аккуратный передатчик информации…

— Ой, — произнесла Сюзи в трубку, а затем, с неуместной улыбкой, промолвила: — Боюсь, что Вуди был вынужден уйти домой, сэр Джек. Полагаю, у него разыгрался радикулит.

При случае надо будет ее поправить насчет «Вуди». «Вуди» шофера зовет сэр Джек. Вроде бы не совсем дура, ну что ей стоит сказать «Вуд»?

— Вызовите кого-нибудь другого.

Последовало бормотание с вопиюще неподхо-

---

[58] Сноски: 58
Обзор *(фр.).*

[59] Сноски: 59
«Нечто необъяснимое» *(фр.).*

дящей интонацией: бодрая констатация фактов вместо глубокой скорби из-за того, что планы начальника срываются.

— Они все выехали, сэр Джек. Обслуживают конференцию. Может быть, вызвать вам такси?

— Такси, девочка? *Так-си?* — Этот ляп был столь ужасен, что сэр Джек почти развеселился. — Вы воображаете себе, что начнется на бирже, если меня сфотографируют садящимся в такси? Пятьдесят пунктов? Двести? Женщина, в вашей пустой головке шариков не хватает. *Такси!* Достаньте мне лимузин, *limousine,* — повторил он с французским прононсом, демонстрируя, что шокированное неодобрение можно сочетать с юмором. — Нет, — призадумался он. — Нет, Пол меня отвезет. Согласны, Пол?

— Вообще-то, сэр Джек, — сказал Пол, не глядя на Марту, но думая об участке ее кожи позади и выше левой коленки, о разнице между пальцем и языком, между плотью, одетой в шелка, и плотью как таковой, между ногой и ногой, — вообще-то, у меня встреча.

— Верно-верно, встреча. У вас встреча со мной. Мы встречаемся, и вы меня везете к моей тетушке Мэй. Так что найдите себе, блин, фуражку, дегаражируйте свой хренов служебный «ягуар»

и отвезите меня в Чорливуд.

Член Пола, уже поднявший было голову в предвкушении свидания, юркнул назад в норку. На Марту Пол взглянуть не посмел. Ему было плевать, что начальник унизил его прилюдно — фортелями сэра Джека тут никого не удивишь, — но Марта… Марта. Три минуты спустя он обнаружил, что, согнувшись, открывает заднюю дверь своей собственной машины. Сэр Джек недобро замешкался, выжидая, — пока Пол не отдал ему честь неуклюжим, заимствованным из какого-то полузабытого военного фильма жестом.

— Вы очень любезны, — раздался из-за его левого уха голос, когда привратник поднял шлагбаум в более отработанном салюте. — Несколько мелких замечаний — уверен, вы не сочтете мои советы оскорбительными. Ваша машина — а по совести говоря, *моя* машина — выглядит так, точно только что гналась вслед за лисой задним ходом по вспаханному полю. Неотмываемое в погоне за несъедобным, если разрешите скаламбурить. Прежде чем меня везти, всегда меняйте галстук на какой-нибудь попроще — желательно простой черный. И последовательность событий должна быть вот какая: фуражка снимается и

зажимается под мышкой левой руки, вы распахиваете дверь, вытягиваетесь по струнке, отдаете честь. *Capito?*[60]

— Да, сэр. — Вот только Пол скорее изобразит эпилептический припадок, чем пройдет через все это еще раз.

— Хорошо. А Марта, бьюсь об заклад, вас дождется и еще слаще поцелует.

Пол машинально покосился на зеркало — и увидел, что сэр Джек, предвосхитив этот порыв, смотрит на него с презрительным торжеством.

— Не отвлекайтесь от дороги, Пол, ваше поведение абсолютно недостойно шофера. Ну конечно же, я «знаю». Я знаю все, что мне нужно знать. К примеру — да будет это вам утешением, — я знаю, что на свете очень мало вещей, которые от ожидания портятся. Рисовая каша, конечно, и суфле, и старое доброе бургундское. Но женщины, Пол? Женщины? Мой опыт гласит: отнюдь. А говоря начистоту — прошу не считать мой намек неуместно-непристойным, — совсем наоборот.

Хихикнув, как водевильный распутник, сэр Джек раскрыл свой портфель. Пока они продвигались медленными рывками среди влажно

---

[60] Сноски: 60
Понятно? *(ит.)*

моргающих фар, Мыслелов перебирал в уме известные ему наизусть рациональные объяснения произошедшего. Самомнение сэра Джека пожирает столько кислорода, что он искренне считает: красть этот живительный газ из легких окружающих — вполне резонно и справедливо. Сэр Джек — нормальный дотошный начальник, платит он хорошо и ждет взамен безупречной службы, а за всякий сбой кто-то должен отдуваться. Просто пришла твоя очередь на этой неделе, в этот день, в эту наносекунду, хватит обращать внимание на ерунду! Вывод: унижение было совершенно неоправданным, но сама несправедливость, сама экстремальная форма, в которую было облечено недовольство, указывает, что сэр Джек вовсе не имеет на тебя зуб. Альтернативная версия: он имеет на тебя зуб, и это факт — потому-то и выбрал тебя в шоферы, выделил из общей массы и дал тебе это понять. Будь ему плевать, он бы не напрягался. Со стороны сэра Джека — почти что признание в любви.

Все это Пол твердил себе, пока пробка перед светофором постепенно рассасывалась. Поскольку иначе он был бы обязан слегка крутануть руль — вот та-ак, к примеру, — и, направив «ягуар» на встречный грузовик, прикончить начальника

и себя. Вот только любой служащий «Питко» скажет, чем дело кончится: Пол превратится в стейк-тартар, а сэр Джек бодрым шагом выйдет из раздавленной машины и упоенно расскажет о щедрой душе Провидения первым же телевизионщикам, добравшимся до места катастрофы.

После часового молчания, за время которого у Пола — и он это заметил сам — до предела съежилось чувство собственного достоинства, они выехали в пригород, полный мокрых берез и мерцающих огоньков домовой сигнализации.

— Здесь. Два часа. Кстати, мои шоферы никогда не пьют.

— Дождь, сэр Джек. Может быть, подвезти вас к дверям?

— Зонтик. Сверток.

Пол вытерпел неловкую процедуру с фуражкой, дверью и отдаванием чести, затем проводил глазами сэра Джека, зажавшего под мышкой бумажный пакет с бутылкой хереса. Пол залез назад в машину, швырнул фуражку на пассажирское сиденье и потянулся к телефону. Прости, Марта, прости, что я не смел на тебя взглянуть. Надеюсь, ты меня не презираешь, не ненавидишь. Я тебя люблю, Марта. А насчет сэра Джека ты права, ты всегда права, вот только мне не хотелось глядеть

в лицо фактам. Завтра я, возможно, заговорю по-другому, но сегодня ты права. Все в порядке? Или я тебя потерял? Я ведь не потерял тебя, правда?

Набрав номер до половины, Пол застыл: кровь вновь прихлынула к его щекам, а с ней вернулся разум. Ну естественно: начальник наверняка получает перечни всех телефонов, по которым звонят из всех служебных машин. Таких деталей сэр Джек никогда не упускает. Потому и насчет Марты догадался, это как пить дать. А если Пол позвонит ей сейчас, сэр Джек узнает и придержит этот факт в своей слоновьей, злопамятной памяти до какого-нибудь момента — момента неподходящего, прилюдного.

Значит, телефонная будка. По нашим временам редкость. Пол стал колесить по пустынным улицам, сворачивая наугад. Собаки и их хозяева, респектабельный алкоголик, ковыляющий домой с грузом, никаких будок… и вдруг в двадцати ярдах впереди, на кривой улочке с особняками, еле-еле освещенной копиями викторианских газовых фонарей, его фары высветили полосатый зонтик, какими пользуются при игре в гольф. Вот гадость. Что теперь — проехать мимо или резко затормозить? Что ни сделай, все выйдет нехорошо — или сэр Джек найдет резон, почему

это нехорошо. И вообще, перед тем как выйти, он наверняка запомнил пробег машины, чтобы потом содрать с Пола за лишний бензин.

Проехать мимо покажется большей наглостью: лучше остановиться. Пол затормозил как можно тише, но ходячий зонтик, не сбавляя шага, двинулся дальше и вскоре нырнул в какую-то калитку. Спустя несколько минут Пол отпустил ручной тормоз и с черепашьей скоростью проехал по улочке. Тетушка Мэй обитала в доме, выстроенном в стиле староанглийского возрождения: черепичная кровля, рассаженные ровными рядами кусты, пихта, к которой привинчена деревянная табличка с названием особняка: «Ардох». Пол вообразил себе хрупкую старую деву с кружевным платочком на шее, приглашающую угоститься изюмным кексом и рюмочкой мадеры. Затем она преобразилась в крупную надушенную даму, венскую еврейку, накладывающую ложками взбитые сливки поверх захерторта. А та — возможно, сэр Джек выбирает подтяжки далеко не наобум — сделалась ироничной, тонкой в кости парижанкой: рукав ее твидового жакета элегантно ползет вверх по руке, когда она наливает изысканный травяной чай через серебряное ситечко. Да, порой сэра Дже-

ка заносит, но его святая преданность тетушке Мэй, все эти неизменные ежемесячные визиты показывают его с лучшей стороны…

Пол злобно разглядывал дом, пытаясь не думать о Марте. Интересно, числится ли «Ардох» на балансе «Питко». Платить родной тетке оклад с бонусом в виде служебного особняка — с сэра Джека станется. Время шло. Дождь лил. Пол покосился на шоферскую фуражку, лежащую на соседнем сиденье. Может, сэр Джек ревнует Марту? Завидует им с Мартой? Вот где собака-то зарыта… Тут Пол в порыве безрассудного бунтарства совершил нечто. Он достал из кармана диктофон, полуприкидываясь перед самим собой, будто это телефон, по которому можно позвонить Марте, и включил беспроводной микрофон под воротником сэра Джека.

Микрофон работал на расстоянии пятидесяти футов, что было нелишне в дни, когда сэр Джек изволил задумчиво прогуливаться по залам, огромным, как его мысли. Дверь «Ардоха» находилась в тридцати футах от Пола, да и стены, очевидно, ослабляли сигнал. Но те два слова, которые Пол записал на пленку и в тот же вечер прокрутил Марте, два слова, после которых им на какое-то время стало не до секса, прозвучали

так отчетливо, словно сэр Джек сидел за своим столом, а Пол — рядом.

«Ягуар» вернулся в назначенное место встречи; дождь все еще лил, когда в глубине улицы показался полосатый зонт. Пол отдал честь на пять с плюсом. Лицо сэра Джека в зеркале заднего вида выражало добродушное спокойствие. К его дому они прибыли в четверть одиннадцатого, и Пол благодарно кивнул, когда слегка дрожащие пальцы засунули ему в нагрудный карман купюру достоинством в сто евро. Но эта благодарность относилась к совсем иному подарку.

* * *

«Пи-и-ка… „Пи“!» — прошептал Пол, очнувшись от краткой посткоитальной дремы. Содрогаясь от смеха, Марта выпихнула из себя его член, а потом и вовсе выползла из-под Пола, чтобы не мешал дышать.

— А если он просто рассказывал анекдот? — Марта сознательно осторожничала.

— Своей тетушке? С такой концовкой? Нет, тут моя правда.

Марта хотела, чтобы правда оказалась на стороне Пола; а еще важнее ей было сохранить Пола таким, каким он вернулся три вечера назад, — ти-

хо разгневанным, тихо торжествующим, рвущим в клочья сотенную бумажку. Она не желала, чтобы он вновь погряз в почтительном благоразумии, сделавшись покорным бараном «Питко» с фирменным клеймом на заднице. Пусть наконец-то покомандует.

— Послушай, — продолжал он, — в реестре недвижимости дом не значится, а, клянусь, будь она его настоящей тетушкой Мэй — значился бы. И оклад ей бы платили как штатной служащей. И я тебе уже говорил, он точен, как часы. Первый четверг каждого месяца. Иногда Вуд везет его туда прямиком из Хитроу. И в обществе он с ней не бывает.

— Может, она безногая. Или типа того.

— Тетушек так не навещают. Даже безногих.

Марта согласно кивнула:

— Разве что эти тетушки — совсем не тетушки.

— «Пи-и-ка… „Пи“!»

— Хватит. Ты меня уморишь. — Хохотать, лежа на спине, казалось ей почти извращением. Привстав, она взглянула на перевернутое лицо Пола. Зажала двумя пальцами мочку его уха. — И как ты думаешь, что нам делать?

— Выяснить, что к чему. Точнее, кого-нибудь нанять, чтобы выяснил.

— Зачем?

— Как это «зачем»? — взвился Пол так, словно Марта усомнилась в его руководящих способностях.

— А затем, что мы должны знать свою цель.

— Для страховки.

— Для страховки?

— Даже горячие поклонники сэра Джека, — он заглянул в лицо Марте, точно дистанцируясь от вышеупомянутых поклонников, — признают, что в своей кадровой политике он не всегда руководствуется реальными заслугами работников.

Марта кивнула:

— Ты на мне фокусируешься, когда без очков?

— На тебе — всегда, — ответил он.

В качестве оперативного агента был избран Гэри Десмонд. Гэри Десмонд, еще совсем недавно — ведущий автор всей сети газет сэра Джека. Гэри Десмонд, удаливший с политической арены трех министров — в том числе одну даму; это он разгласил имя внебрачного ребенка капитана сборной Англии по крикету, выразил свое сочувствие двум молоденьким дикторшам «Метеоновостей» по поводу их прискорбной слабости к кокаину и, наконец, незаконно — но без особых противоправных эксцессов — проникнув

в некий частный дом, вручил своему работодателю фотографии, уличающие принца Рика в сеансах любви втроем с высокооплачиваемыми эскортницами.

Что это было — чрезмерная самонадеянность или банальная наивность? В любом случае Десмонд исходил из ложной предпосылки, а именно предположения, что нравственные ценности, имплицитно присутствующие в его статьях и энергично пропагандируемые читателями и владельцем газет, в каком-то смысле реальны; а если и не реальны, то хотя бы непреложны. Но Гэри Десмонд, ожидая — позвольте смиренный каламбур — королевских почестей за королевский цикл статей, обнаружил, что победы бывают слишком полными. Гипотетическая реальность его профессии треснула по швам. Нельзя было сомневаться в общем восторге, когда он открыл читателям, что молодой человек, «без шести биений сердца король», живущий на государственные деньги и — кстати, за особые гонорары — совершающий заграничные вояжи в качестве полномочного представителя нации, нежился с Синди и Петронеллой в одном из «дворцов класса люкс», возведенных на средства налогоплательщиков. Но день ото дня, с каждым новым разоблачением,

сладострастное негодование почему-то уступило место сконфуженному молчанию, а там и вовсе сменилось патриотическим самоедством. На местном уровне это означало, что сэр Джек Питмен нервно щелкал своими подтяжками цвета палаты лордов, опасаясь, что так и не удостоится положенной к ним горностаевой мантии.

Статьи Гэри Десмонда были выстроены крепче «Питмен-хауса»; фотографические улики были бесспорны, а обе девушки сроду не преступали закона — даже машины парковали исключительно в положенных местах. Тем не менее Гэри Десмонду заткнули рот отступным. В той же газете, что раньше публиковала его эксклюзивы, он был разоблачен как «зарвавшийся охотник до чужого грязного белья». В качестве примера приводилась — удар ниже пояса — его командировка в Вест-Индию, из которой не вышло, строго говоря, ничего подходящего для публикации. С собой он брал бухгалтершу Кэролайн, так вот, эти мерзавцы напечатали ее фотографию в приспущенном бикини, где она выглядела на редкость утомленной, — фотографию, которую у Кэролайн можно было только украсть или купить за очень солидную сумму. По всем этим причинам ценность Гэри Десмонда в глазах работодателей

несколько поблекла.

Марта с Полом назначили ему встречу в холле туристического комплекса.

— Условия вот какие, — объявила Марта. — Статья принадлежит нам. Мы сами решаем, давать ее в газеты или нет. Возможно, полезнее будет воздержаться от публикации. Вам мы платим гонорар, за хорошие результаты — бонус, и еще один бонус либо за публикацию, либо за сохранение тайны, в зависимости от нашего решения. Итак, вы в любом случае ничего не теряете. По рукам?

— По рукам, — ответил репортер. — Вот только что делать, если туда проторят дорогу лишние люди?

— Не проболтаетесь вы сами — не проторят. Знаем только мы и вы — больше никто. Да будет так и впредь. По рукам?

— По рукам, — ответил Гэри Десмонд.

Теперь, задним умом, он понимал поведение «Питмен-хауса» в деле принца Рика. Как его уверили, имело место «беспрецедентное давление» со стороны дворца и Министерства внутренних дел сразу. Отступное представляло собой кругленькую, более чем справедливую сумму; на его будущую пенсию случившееся никак не

повлияло; подписка о неразглашении в подобных ситуациях — обычное дело. Гэри Десмонд не был лишен воображения; он знал, что отступное платят сплошь и рядом. Но кое-чего Гэри Десмонд простить так и не смог — потому и заключил сделку с Мартой и Полом. Дело было в одной фразе, которую сэр Джек, забираясь в лимузин под сенью стоящего навытяжку Вуди, бросил, как кость, своре журналистов: «Как я всегда говорю: человеку с двойным именем лучше не доверяться». Фраза попала на первые полосы трех газет и ранила Гэри Десмонда неисцелимо.

* * *

Аттракцион «Завтрак Настоящих Островитян» начался с поисков логотипа. Отдел дизайна поставлял варианты целыми ящиками, но в основном то были шаблонные, неофициально видоизмененные либо простодушно украденные символы. Львы в разном количестве, стоящие в позах, более или менее напоминающих стойку на задних лапах; короны королевские и короны пэров на все размеры и фасоны; стилизованные башни и зубчатые стены; искривленная решетка с ворот Вестминстерского дворца; маяки, пылающие факелы, силуэты знаменитых

зданий; профили Британии, Боудикки, Виктории и святого Георгия; розы всех видов, одиночные и двойные, чайные и собачьи, щитконосные и тупоушковые, морщинистые, прелестные и щетинистоногие; дубовые листья, яблоки, абстрактно-схематические деревья; крикетные калитки и двухэтажные автобусы, меловые утесы Дувра, бифитеры, рыжие белки и малиновка на снегу; феникс, сокол и лебедь, орел и зеленый дятел, гиппогриф и морской конек.

— Не то, совсем не то, — столкнул сэр Джек штабель очередных заявок с Маршальского Стола на ковер. — Одно сплошное «Вчера». Дайте мне «Сейчас».

— Может, вашим вензелем обойдемся?

Полегче, Марта, полегче: не смешивай профессиональный цинизм с любительским презрением. Но когда им открылось то, что им открылось (если догадка верна), она стала относиться к сэру Джеку совсем по-другому — и Пол тоже.

— Что нам нужно, — заявил сэр Джек, игнорируя Марту и отбивая такт кулаком по столу, — так это *ма-ги-я*. Нам нужно *здесь*, нам нужно *сейчас*, нам нужен *остров* — и *магия* в придачу. Мы хотим, чтобы наши Гости чувствовали себя как в Зазеркалье. Пусть ощущают, что покинули свои

прежние миры и вошли в совершенно новый, ни на что не похожий и все же странно знакомый, где все происходит совсем не так, как в других уголках Земли, — а словно в необычайном волшебном сне.

Комитет выжидал, полагая, что замысловатые требования сэра Джека являются всего лишь прелюдией к решению, достойному овации. Но классическая драматическая пауза растянулась до неловкого молчания.

— Сэр Джек.

— Макс, мой почтенный друг. Спасибо, не ожидал, что вы возьмете слово первым.

Доктор Макс неуверенно улыбнулся. Сегодня он был одет в тона дубовой коры. Нервно потрогав, точно на счастье, галстук-бабочку, он сцепил свои тонкие, как церковные шпили, пальцы, что означало режим «расшевелить телезрителей историческим анекдотом».

— В один из дней первой половины девятнадцатого века, — начал он, — некая женщина шла на Вентнорский рынок с корзинкой яиц. Жила она в какой-то деревне на побережье и потому, что вполне естественно, выбрала тропинку, которая вилась над обрывом. Начался дождь, но у этой предусмотрительной особы был при себе зонтик.

Поскольку конструирование зонтиков находилось в ту пору на самой заре своего развития, то было огромное, неуклюжее устройство. Когда она уже приближалась к Вентнору, сильный порыв ветра, дувшего в сторону моря, застал ее врасплох… и сдул с обрыва. Она уж думала, что погибнет — тут я несколько экстраполирую, но любой нормальный человек, будучи при подобных обстоятельствах сброшен в пропасть, решил бы, что смерть близка, а у нас нет никаких сведений, будто психика нашей героини в каком-либо аспекте отклонялась от нормы, — но ее зонтик, словно парашют, замедлил падение. Одежда также раздулась на ветру, служа естественным тормозом. Во что она была одета, нам доподлинно неизвестно, но, по всей вероятности, то был кринолин, обтянутый муслином, так что, по сути, парашютов было два, один сверху, другой снизу. Правда, сейчас, когда я вам все это рассказываю, в мою душу закрадывается сомнение: очевидно, кринолин носили представительницы великосветских и буржуазных слоев, ибо сама его круговая форма — так сказать, круговая оборона — более чем явно выражает защищенность, «noli

me tangere»[61] подобных дам. Могла ли торговка яйцами принадлежать к среднему классу, спрашиваю я себя? Или же существование процветающей рыболовецкой промышленности на Острове означало, что китовый ус, это основное средство для придания жесткости нижней женской одежде, был социально более доступен, чем на континенте? Как вы понимаете, это не совсем моя область, и мне придется особо исследовать вопрос о нижней одежде яйцеторговых слоев в тот период времени, когда предположительно могло произойти это событие…

— Черт подери! Хватит тянуть кота за хвост, приятель, — вскричал сэр Джек. — Вы нас между небом и землей бросили.

— Да-да. — На сэра Джека доктор Макс обратил не больше внимания, чем на какого-нибудь осветителя в телестудии. — Итак, как вы понимаете, она летела, плавно снижаясь, зажав в одной руке корзинку с яйцами, а в другой — зонтик. Зонтик и кринолин раздувались под давлением восходящих потоков воздуха, возникающих над открытым морем. Легко можно вообразить, как она окидывает взглядом волны, шепотом молится

---

[61] Сноски: 61
Не прикасайтесь ко мне *(лат.).*

Богу и видит, как мягкий песок радушно стелется ей под ноги. Она благополучно приземлилась на пляже и, по моим источникам, не получила никаких травм. Единственное: несколько яиц в корзинке, по слухам, разбилось.

Лицо сэра Джека выражало глубочайшее наслаждение. Он пососал сигару — наслаждение пошло на убыль.

— Мне нравится. Ни слову не верю — но нравится. Это «Здесь» и это «Магия». И мы можем осуществить это «Сейчас».

Логотип рисовали и переделывали в разных стилях — от прерафаэлитского гиперреализма до скупого экспрессионистского росчерка левой ногой. Но некоторые ключевые элементы кочевали из варианта в вариант: три гармонирующие дуги (зонтик, чепец и раздутые юбки); осиная талия и пышная грудь — отличительные признаки женщин прошедших веков; и полушарие плетеной корзинки, а над ним полушарие поменьше — округлая горка яиц. За спиной сэра Джека мотив именовали «Стриптиз королевы Виктории»; с лицевой стороны сэра Джека торговке долго подбирали имя (Бет, Мод, Делила, Фейт, Флоренс, Мэдж), пока не остановились на Бетси. Как кто-то припомнил или раскопал, в старые времена

была поговорка «Господи ты Бетси», что как бы узаконивало данное имя, хотя точного значения поговорки никто не знал.

Итак, логотип, объединяющий в себе «Здесь» и «Магию», был готов; за «Сейчас» отвечал отдел технически-рационализаторской поддержки. Первоначальное, вполне резонное решение состояло в том, чтобы парашютный прыжок Бетси повторял, когда ветер подует в нужном направлении, наряженный викторианской дамой каскадер. Была намечена посадочная зона к западу от Вентнора; при успехе испытаний планировалось выгородить этот участок пляжа и превратить в безопасную площадку; Гости будут наблюдать за полетом с трибун либо с яликов, стоящих на якоре в море. Был проведен ряд экспериментов, дабы определить оптимальные высоту прыжка, силу ветра, площадь зонтика и объем кринолина. Спустя двадцать прыжков с использованием чучел наступил день, когда сэр Джек, утюжа биноклем свои непокорные брови, широко расставив ноги на покатом склоне, стал очевидцем первого испытания на живом человеке. Преодолев три четверти пути вниз, плечистый «Бетси», похоже, утратил контроль над кринолином, яйца посыпались из корзинки,

и испытатель приземлился рядом с нечаянным омлетом, сломав лодыжку в трех местах.

— Остолоп, — прокомментировал сэр Джек.

Спустя несколько дней второй парашютист — самый худощавый, какого смогли найти, каскадер (авось сойдет за женщину) — уберег содержимое корзинки, но сломал копчик. Был сделан вывод: легендарный счастливый полет Бетси мог состояться лишь при условии экстраординарной метеорологической обстановки. То есть он был чудом. Или сказкой.

Возникла новая идея: «Господи ты Бетси» для скайдайверов, ценная тем, что предполагала активное участие Гостей. На испытаниях скайдайверы обоих полов и самого разного телосложения, надев на руку корзинку с яйцами, совершали прыжки со специально перестроенного обрыва — и неизменно приземлялись благополучно. Но зрелище перетянутого ремнями прыгуна, который, поболтавшись вверх-вниз на тарзанке, затем медленно спускался на пляж, не навевало никаких ассоциаций с магией — более того, навевало совсем противоположные; да и «сегодняшность» его была явно чрезмерна.

После нескольких личных вмешательств сэра Джека техники-рационализаторы нашли реше-

ние. Все агрегаты и «сбруя» прыгуна останутся прежними, но «тарзанку» заменят закамуфлированным, невидимым со стороны канатом, который будет постепенно разматывать специальный оператор. Для имитации восходящих потоков воздуха будут использоваться потайные вентиляторы. В результате — стопроцентная безопасность гостей и полная независимость от погоды. Отдел маркетинга нанес завершающий, сногсшибательный штрих — переименовал «Господи ты Бетси» в «Аттракцион „Завтрак Настоящих Островитян“». На обрыве расположится старинный птичий двор, кишащий пернатыми щеголями и щеголихами; свежие яйца будут ежедневно и бесперебойно доставляться авиатранспортом; именно с этого обрыва Гость/Гостья будет опускаться на пляж, причем «Корзинку Бетси» для верности прикрепят к специальным нагрудным ремням. Внизу официантка в чепчике проводит Гостя/Гостью в таверну «Бетси» (слоган «Завтрак — круглосуточно!»), где яйца извлекут из «Корзинки» и сварят в мешочке либо превратят в яичницу-глазунью или болтунью согласно воле Гостя/Гостьи прямо у него/нее на глазах. К счету будет прилагаться гравированный «Сертификат о полете» с факсимильной подписью сэра

Джека и датой.

* * *

Покуда бульдозеры хлопотали, а краны покачивались на своих длинных ногах, покуда на месте унылого ландшафта, словно на детских «волшебных картинках» от прикосновения мокрой кисти, расцветали пестрые отели и пристани, аэропорты и поля для гольфа, пока жителей расположенных в неподходящих местах домов задабривали компенсациями, а суровых «зеленых» улыбчиво заверяли в полной безопасности меловых холмов, рыжих белок и всех этих чертовых бабочек, имя которым легион, — сэр Джек Питмен сконцентрировал все силы на муниципальном совете Острова. Вестминстер с Брюсселем подождут: сначала нужно взять в оборот и запрячь в упряжку местную власть.

Вести переговоры будет Марк. А то при виде сэра Джека они ощетинятся, как ежи. Возомнят, будто он не солидный благодетель, а акула капитала какая-нибудь. Лучше, гораздо лучше препоручить дело голубым глазам и светлым кудрям Марко Поло.

— Что мне понадобится? — спросил Менеджер Проекта перед отъездом.

— Врожденная смекалка, мешок пряников и букет кнутов, — ответил сэр Джек.

Переговоры проходили на двух уровнях. Официальные встречи-консультации между «Питко» и муниципальным советом Острова проводились в «Доме гильдий» в Ньюпорте. В зал допускалась публика, соблюдались все законные демократические процедуры, что означало (как отметил сэр Джек в неофициальной обстановке), что тон задавали социально-культурные меньшинства и особые группы, царила показуха, юристы гребли деньги лопатой, а «Питко» стояла на четвереньках, жаря на солнце голый зад. Но одновременно работал параллельный коллоквиум, посещаемый ключевыми деятелями Острова и маленькой командой «Питко» во главе с Марком. Эти переговоры по самой своей природе были пробными и ни к чему не обязывающими; протоколы не велись, чтобы не создавать препон ярким, оригинальным идеям, дабы, как посоветовали выразиться одному приручённому члену совета, мечты растекались вольной рекой. Сэр Джек предписал Марку, чтобы мечты растекались каналом — по прямой к нужной точке. Когда он назвал эту точку, даже Марк опешил.

— Но как вы это сделаете? Сейчас, в третьем

тысячелетии?! Есть Вестминстер, есть Брюссель, есть… даже ума не приложу, Вашингтон, ООН?

— Как я это сделаю? — просиял сэр Джек. Вопрос, конечно, банален — но в какую изысканную форму он отлит! — Марк, я хочу посвятить вас в самую страшную тайну, какую я знаю. Вы готовы?

Марку даже не пришлось специально изображать энтузиазм. Сэр Джек, со своей стороны, хотел было потянуть время, но соблазн взял верх.

— Много, много лет назад, когда я был молод, как вы сейчас, я задал тот же самый вопрос великому человеку, у которого работал. Великий человек — сэр Мэтью Смитон, в наше время, увы, напрочь забытый, — *sic transit*[62] — планировал невероятно дерзкий шаг. Я спросил его, как он собирается это сделать, и знаете, что он ответил? Он сказал: «Джеки (в ту пору меня звали Джеки), Джеки, ты спрашиваешь, как я это сделаю. Что ж, я отвечу. Чтобы это сделать, надо это сделать». Я никогда не забывал этого совета. До сих пор он вдохновляет меня, — произнес сэр Джек почти охрипшим от благоговения голосом. — А теперь пусть эти слова вдохновят вас.

---

[62] Сноски: 62
Так проходит [мирская слава] *(лат.).*

Пробный диалог Марк начал с попытки поместить текущее положение Острова в исторический контекст и объять ряд предварительных вопросов. Только не сочтите его нахалом, который считает себя вправе давать на эти вопросы ответы. К примеру, с учетом грандиозного объема предлагаемых «Питко» инвестиций и количества уже созданных и потенциально возможных рабочих мест, принимая во внимание гарантии многолетнего процветания, не пришла ли пора пересмотреть принципы, на которых зиждутся отношения Острова с материком? Это факт, что просьбы о помощи, обращаемые Островом к Вестминстеру на протяжении десятилетий — да что там, веков, — встречают холодную реакцию, а уровень безработицы традиционно высок. Почему же Вестминстер и налоговое ведомство должны получать дивиденды с нынешнего и грядущего экономического бума?

По рукам пошел исторический обзор — составленный доктором Максом, стилистически отредактированный и резюмированный командой Марка.

Также надо учесть, что при рутинных архивных разысканиях — коммерческие юристы обычно проводят их при подготовке к столь масштабным

проектам — уже всплыло несколько документов и гипотез, которыми Марк по долгу службы не может не поделиться с присутствующими. Разумеется, при условии строгой конфиденциальности. Просьба отнестись к этим идеям без предвзятости. Итак, он не может умолчать, что, по мнению юристов «Питко» и экспертов-правозащитников, сделка о первичной продаже Острова в 1293 году — Эдуард I купил его у Изабеллы де Форс за шесть тысяч марок — была откровенно сомнительной и, скорее всего, незаконной. Шесть тысяч марок — это же мизер! Очевидно, сделка была нечестной. Вымогательство есть вымогательство, даже если оно имело место в конце тринадцатого века.

На следующем заседании Марк подал идею: раз уж они не связаны формальными условностями, позвольте сделать дерзкий новый рывок. Если исходить из предпосылки — которую никто не вызвался опровергнуть, — что Остров был приобретен Британским Королевским домом незаконно, как это отразится на современном положении дел? Поскольку, нравится вам это или нет, перед советом Острова встает историческая, конституционная и экономическая дилемма. Убрать факт вымогательства в долгий

ящик — или запрячь в колесницу прогресса? Если присутствующие здесь члены совета простят ему чересчур вольно растекшиеся мечты, Марк хотел бы внести предложение: любой рациональный, объективный анализ нынешнего кризиса диктует план атаки с трех сторон, который можно резюмировать следующим образом.

Во-первых, следует официально оспорить на общеевропейском уровне, в соответствующих органах судопроизводства сделку Эдуард — Фортюбисская от 1293 года. Издержки на процесс, конечно же, оплатит «Питко». Во-вторых, провозгласить совет Острова полноправным парламентом с соответствующей его статусу собственностью, схемой финансирования, окладами, расходами и полномочиями. В-третьих, одновременно подать прошение о приеме в Европейский союз в качестве полноправного члена, то есть суверенного государства.

Марк начал ждать. В особенности он был доволен, что ввел в обиход понятие «кризис». Разумеется, никакого кризиса не было — по крайней мере, пока. Но ни один представитель власти, от члена совета на грошовом острове до президента США, не позволит себе публично отрицать наличие кризиса, если кто-то утверждает, что

кризис есть. Нельзя же показать себя лентяем или некомпетентным! Так что отныне Остров официально оказался в тисках кризиса.

— Вы всерьез предлагаете разрыв с монархией? — Разумеется, вопрос задал «подсадной». Консерваторы и идеалисты все равно будут протестовать — так пусть покамест думают, будто их большинство.

— Отнюдь, — возразил Марк. — На мой взгляд, связи с королевской семьей для Острова чрезвычайно значимы. Да, под давлением нынешнего кризиса мы будем вынуждены в некотором роде порвать с метрополией — но это будет разрыв с Вестминстером, а вовсе не с монархией. Скажу вам больше: отношения с королем мы должны укреплять, не жалея сил.

— Что вы имеете в виду? — уточнил «подсадной».

Вопрос застал Марка словно бы врасплох. Его щеки зарделись. Он обвел взглядом других членов своей команды — те на помощь не спешили. Он неубедительно пробурчал, что его величество, возможно, станет Официальным Гостем Острова. Затем почувствовал себя обязанным намекнуть, учитывая дух искренности и открытости, царящий на переговорах, что как раз сейчас дворец

очень серьезно раздумывает над предложением о переезде. НЕТ! А почему нет? Ничто не вечно под луной — таков закон Истории. На Острове есть отличный королевский дворец, и он уже реставрируется. Конечно, ни единой живой душе об этом — ни звука! После чего, естественно, всем нужным людям горячие губы нашептали на ухо все, что требовалось.

На следующем заседании неблагодарное быдло и сентиментальные консерваторы высказали опасения относительно ответной агрессии материка. Что, если будут санкции, блокада, даже вооруженная интервенция? «Питко» и люди, с которыми компания посоветовалась, придерживаются мнения, что: а) подобная реакция маловероятна; б) компания гарантирует, что о происходящем во всех подробностях узнает мир; и в) поскольку Остров будет действовать в строгом соответствии с законными и конституционными нормами, Вестминстер сам побоится репрессалий со стороны Европы и даже ООН. А потому наверняка вернется за стол переговоров и назначит справедливую цену. Членов совета, возможно, заинтересует еще один небольшой секрет: начальная цена, предложенная сэром Джеком, — полмиллиарда фунтов стерлингов за

суверенитет, была урезана до шести тысяч марок плюс один евро. Что оставит в копилке гораздо больше денег на модернизацию Острова.

Почему вдруг «Питмен-хаус» будет лучшим хозяином, чем Вестминстер? Справедливо сказано, признал Марк. За агрессивность он даже благодарен. И в то же самое время, улыбнулся он, сказано несправедливо. Нас объединяют взаимовыгодные интересы — а таких уз никогда не может быть между центральной властью и отдаленным регионом. В современном мире гарантом стабильности и долговременного экономического процветания являются скорее транснациональные корпорации, чем старомодные национальные государства. Достаточно сравнить «Питко» с метрополией: что расширяется, а что неуклонно съеживается?

А вы что с этого имеете? Стабильные взаимовыгодные результаты, как здесь уже говорилось. Если выложить все наши карты на стол, мы, наверное, попросим отменить кое-какие маловажные статьи устаревшего законодательства о застройке, большинство которых было продиктовано презренным Вестминстером. А в какой форме, будь то официальная или неофициальная, «Питко» собирается влиять на новый парла-

мент нашего Острова? Ни в какой. По мнению «Питмен-хауса», разделение властей между экономической движущей силой и выборным органом власти — краеугольный камень здоровой современной демократии. Конечно, вы могли бы оказать сэру Джеку любезность, предложив ему какой-нибудь бумажный титул или чисто номинальную должность.

— Типа пожизненного президента? — вскричал какой-то горлопан.

Марк в жизни так не веселился. Приступ кашля и слезы на глазах выглядели совершенно неподдельными. Нет, насчет президента он сболтнул под давлением минутного порыва, учитывая пробный, ни к чему не обязывающий характер этих бесед. Будьте покойны, сэр Джек ничего подобного не предлагал — да с ним вообще ни о чем таком не заговаривали. Честно говоря, единственный способ заставить сэра Джека занять эту должность — припереть его к стенке. Пусть совет примет соответствующий указ или что угодно — название придумайте сами.

— Указ совета о присвоении ему статуса пожизненного президента?

О господи, кажется, он нечаянно направил беседу в неподходящее русло. Но — учтите, сей-

час просто праздно теоретизирую — возможно, найдется какое-нибудь церемониальное, не противоречащее вашей будущей конституции звание. Кто там был в этих старых английских графствах? Дядька с мечом и шлеме с плюмажем? Лорд-лейтенант. Нет, слишком уж отдает метрополией; Марк сделал вид, словно перелистывает исторический обзор доктора Макса. Ага, у вас были капитаны и губернаторы, верно? Оба варианта сойдут, хотя «капитан» в наше время звучит как-то легковесно. И при условии, что все понимают: полномочия сэра Джека, теоретически закрепленные замысловатой вязью на оправленном в слоновую кость пергаменте, в реальности никогда не будут реализованы. Разумеется, каретой он обеспечит себя сам. И мундиром. Только не подумайте, будто мы с ним это обсуждали.

Тем временем будущий губернатор зрел своим орлиным оком пророческие видения. Всегда заглядывай за горизонт. Играй по маленькой, а мысли по-крупному. Пусть мелкота мечтает о грошах и медных пуговицах — грезы сэра Джека исчислялись миллионами долларов. Храбрость и еще раз храбрость; подлинный творец играет по своим правилам; где сила, там и закон. Банки и фонды, доверившись транснациональному раз-

маху «Питко», слали деньги вагонами; но лишь всплеск вдохновения — удивительно, как порой схожи фантазия финансиста и душа художника! — надоумил его ссудить эти капиталы (слово, всегда вселявшее в сэра Джека томную страстность) одной из своих собственных дочерних компаний на Багамах. Естественно, это означало, что со всех будущих доходов от этих вложений маклерам «Питко» полагаются комиссионные. Сэр Джек саркастически-сочувственно тряхнул головой. Увы, комиссионные нынче высоки. Сами стонем.

Следующий вопрос: что делать сразу после Дня независимости? Допустим, что новый парламент Острова, имея полное право наплевать в лицо общественному совету сэра Джека, изберет курс национализации. Банки и акционеры не обрадуются — но что тут поделаешь? К сожалению, Остров пока не подписал ни одного из международных правовых соглашений. А затем — когда дитя натешится вдоволь — сэр Джек будет вынужден воспользоваться своими чрезвычайными губернаторскими полномочиями. Вследствие чего весь Остров практически — и юридически — перейдет в его собственность. Конечно, расплатиться с кредиторами он пообещает. Со временем.

Сунет им некий процент с суммы. После долгой и тщательной реструктуризации долга. О, как сладко воображать все это! Подумать только, как все в штаны наложат. Юристы будут блаженствовать, как козлы в огороде. Должно быть, в крупных финансовых центрах он станет персоной нон грата. Что ж, Остров еще не подписывал никаких договоров о выдаче преступников. И не подпишет! Упереться, пока сами не предложат уладить дело по-хорошему. Или просто послать всех нахер и окопаться в «Питмен-хаусе-2». В конце концов, дни *Vanderlust*[63] для него миновали…

Вот только… не слишком ли сложен этот план, не слишком ли конфликтен? Как бы не пришлось жалеть, что его бойцовский характер задурил мозги собственной мудрой старой голове! С национализацией надо бы поосторожнее. В наше время порядочный турист пугается одного этого слова — и кстати, не зря. Нельзя оставлять детей без присмотра. Надо смотреть на вещи шире. В чем его главная цель? Наладить Остров, как машину. Отлично сказано. И если текущие прогнозы относятся к той же вселенной, что и наша планета, Проект имеет все шансы на сногсшиба-

[63] Сноски: 63
Жажда странствий *(нем.)*.

тельный успех. Сэр Джек — такой уж был у него характер — всегда учитывал вероятность того, что инвесторов придется разочаровать. Но что, если его Последняя Великая Идея и вправду сработает? Что, если получится выплатить инвесторам проценты — и даже дивиденды в придачу? Что, если — выворачивая пословицу наизнанку — где закон, там и сила? Вот была бы хохма…

* * *

— Скажите, доктор Макс, вы эту историю выдумали? — спросила Марта. Они ломали напополам сэндвичи из сыра с питой на галерее (с легкозаменяемым в случае повреждения настилом из массива древесины ценных пород) над искусственным болотом. Доктор Макс был одет по-дачному: кардиган с треугольным вырезом, на шее — желто-крапчатый галстук-бабочка.

— Это которую же историю?

— О женщине с корзинкой яиц.

— Вы-ы-думал? Я историк. Официальный Историк, если вы не запамятовали. — Доктор Макс несколько минут дулся, но обида была ненастоящая, «на телекамеру». Жуя питу, он задумчиво смотрел на воду. — Меня слегка покоробило, что никто не попросил меня сослаться на источники.

Источники глубоко почтенные, если не сказать «святоправдивые».

— Я не хотела… Понимаете, я решила, будто вы это выдумали, поскольку это было бы очень умно.

Доктор Макс надулся вновь — значит, то, что он сделал в действительности, неумно, или же от него, видите ли, никто не ждет умных поступков, или же…

— Видите ли, я предположила, будто вы это выдумали, поскольку у фиктивного Проекта и логотип должен быть фикцией.

— Вы переоце-е-ниваете мой ум, мисс Кокрейн. Разумеется, Килверт не видел своими глазами белье этой летуньи, а только описал его с чужих слов, но есть некоторая вероятность, что нечто похожее, выражаясь на народном языке, «действительно произошло».

Марта полизала свои передние зубы, между которыми застрял остов листка фиалки.

— И все же, как вам кажется, Проект — фикция?

— Фик-ция? — Доктор Макс просиял. Любой прямой вопрос, лишенный откровенно оскорбительных обертонов и предполагающий возможность длинного ответа, приводил его в хорошее

расположение духа. — Фик-ция? Нет, я бы так не сказал. Нет-нет, отнюдь. Проект вульгарен — да, в том смысле, что он основан на огрубляющем упрощении всего, что только можно. Умопомрачительно коммерческий в скромном понимании такой жалкой сельской мышки, как я. Ужасный во многих своих побочных проявлениях. Направленный на манипуляцию людским сознанием — по своему основному философскому принципу. Все это — да, но фикция? Не думаю… «Фик-ция», как я понимаю это слово, предполагает измену подлинности. Но — спрашиваю я себя — применимо ли это семантическое значение к данному случаю? И не является ли сама идея подлинности в каком-то плане фикцией? Я вижу, мисс Кокрейн, мой парадокс для вас несколько ярковат и спеловат.

Она улыбнулась ему: в самолюбовании доктора Макса было что-то трогательно невинное.

— Позвольте ра-а-звить мысль, — продолжал он. — Возьмем то, что мы видим сейчас перед собой, этот неожиданный лоскуток заболоченной земли в предосудительной близости от урбанистических джунглей. Возможно, на этом месте когда-то — сколько веков тому назад, непринципиально — уже существовала такая же купальня

для пернатых путешественников. А может, и не существовало ничего такого никогда. В общем и целом, даже наверняка. Значит, болото выдумано. Становится ли оно от этого фикцией? Очевидно, нет. Разница лишь в том, что его интенция и функция обеспечиваются человеком, а не природой. Строго говоря, можно даже заявить, что подобная искусственность, замещающая надежду на голую стихийность природы, повышает статус этой полоски воды.

Доктор Макс потянулся было засунуть руки в карманы жилета, упраздненные нынешними модельерами. Руки соскользнули на бедра.

— На пра-а-актике же этот водоем действительно превосходит другие, и вот в каком плане. Орнитология, кстати, один из моих коньков. Странное выражение, между прочим, «конек» ассоциируется скорее со спортом, а на одном коньке не покатаешься… Следовало бы говорить, «одна из моих любимых лошадок». Ну хорошо. Этот заболоченный участок, доложу я вам, был особым образом распланирован и засеян специальными растениями, дабы поощрять присутствие некоторых желательных видов птиц и одновременно отваживать крайне неприятные — прежде всего канадского гуся. Не будем углубляться в по-

дробности, но ключевую роль тут играют вон те заросли тростника… Итак, мы можем заключить, что это по-о-зитивная перемена по сравнению с прежним порядком вещей. И — если взглянуть более широко — та же картина имеет место, когда мы анализируем некоторые неоправданно расхваленные и явно фетишизированные концепции, как то… позвольте привести примеры наугад… афинская демократия, палладианская архитектура, все еще властвующая над массами доктрина некоей секты пустынников… что ни возьми, но, как бы ни притворялись фанатики этих концепций, их подлинное начало, идею в ее первозданной чистоте обнаружить невозможно. Мы можем, выбрав наудачу какой-то миг, нажать на кнопку «пауза» и заявить: «Тут-то все и началось», — но как историк я вынужден вам сказать: подобные заявления на интеллектуальном уровне недоказуемы. То, что мы видим, всегда является копией — если в данном здании этот термин не запрещен — чего-то более раннего. Никакого локализованного во времени начала просто нет. Можно ли сказать, будто в один конкретный день конкретного года некий орангутанг распрямился, напялил целлулоидный набрюшник и возопил: «Рыбу — ножом?!

Фу, какая пошлость»? Или, — захихикал доктор Макс за себя и Марту, — что гиббон вдруг написал Гиббона? Маловероятно, правда?

— Так почему же мне всегда казалось, что вы презираете Проект?

— О, мисс Кокрейн, *e-e-entre nous*[64], вы правы. Вы правы. Но это всего лишь социально-эстетическая оценка. Для любого существа, наделенного вкусом и пониманием, Проект — это страшилище, задуманное и спланированное, если вы мне позволите так назвать нашего любимого дуче, другим страшилищем. Но как историк сознаюсь: практически ничего не имею против.

— Несмотря на тот факт, что все это… искусственный конструкт?

Автор «Заметок фенолога» расплылся в благостной улыбке.

— У реа-а-альности много общего с кро-о-ликом, простите за цитату. Почтенная публика — те, кто заочно, и хорошо, что заочно, оплачивает наш хлеб с маслом, — желает видеть вместо реальности пушистую ручную зверушку. Чтоб беззаботно скакала, чтоб картинно била в барабан в своей самодельной клетке, чтоб ела салат с ладони. Дайте

---

[64] Сноски: 64
Между нами *(фр.)*.

им реальное существо, которое кусается и, прошу прощения, гадит, — и они не будут знать, что с ним делать. Разве что придушить и сварить?.. А насчет констру-укта… что ж, и вы, мисс Кокрейн, сконструированы, и я. И, простите за откровенность, моя искусственность чуть более искусна — в том смысле, в каком этот эпитет применяется в выражении «искусная уловка», — чем ваша.

Жуя сэндвич, Марта проводила глазами медленно летящий по небу самолет.

— Я невольно заметила, что на днях, когда вы говорили на комитете, ваше нервное заикание как рукой сняло.

— По-о-разительно сильная шту-у-ка — этот а-а-ад-реналин.

Марта от всей души рассмеялась и положила руку на плечо доктора Макса. Он слегка вздрогнул, вновь рассмешив Марту.

— Ну а вот сейчас вы поежились — это тоже искусный конструкт?

— Ка-а-кой цини-изм, мисс Кокрейн. Я мог бы побить вас тем же оружием, спросив, был ли искусен ваш вопрос. Но что касается моего движения плечами: да, это была искусная уловка — другими словами, отрепетированная, сознательная реакция на определенный жест —

имейте в виду, что я по-настоящему не обиделся. В своей детской кроватке я не знал этой ужимки. Но в некий юрский период своего психического развития я выбрал ее, присмотрел в необъятном каталоге актов невербальной коммуникации. Возможно, я купил эту манеру в супермаркете. Или самостоятельно скроил по своей мерке. Не исключено также, что она украдена. Я вообще считаю, что люди по большей части строят себя из ворованных деталей. Если б не воровали, были бы — ни кожи ни рожи. И вы тоже — конструкт не хуже прочих, только выдержанный в вашем оригинальном, не столь… пикантном, не сочтите за оскорбление, стиле.

— Например?

— Например, этот ваш вопрос. Вы не говорите: «Вы не правы, дурак» или «Вы правы, мудрец», а просто спрашиваете: «Например?» Вы себя прячете. Мое впечатление — существующее, мисс Кокрейн, в контексте моей симпатии к вам — таково: иногда вы активны, но активны как-то стилизованно, тщательно создавая образ человека без иллюзий (а это уже пассивность), в других случаях вы провокационно отмалчиваетесь, подзуживая окружающих, чтобы поглубже садились в лужу. Поймите правильно: я ничего

не имею против того, чтобы дураки выказывали свою глупость. Так им и надо. Но и в том и в другом случае вы не даете себя изучать и, осмелюсь предположить, уходите от контактов.

— Доктор Макс, вы что, приударить за мной решили?

— Об этом я и говорю. Переводите разговор на другую тему, задаете вопросы, избегаете контакта.

Марта замолчала. У них с Полом таких разговоров не бывало. Нормальная, будничная, день ото дня полная откровенность. Тут тоже откровенность — но взрослая, абстрактная. Чушь это все — или нет? Она попробовала придумать вопрос, который не был бы средством избежать контакта. Ей всегда казалось, что задавать вопросы — это одна из форм контакта между людьми. Правда, тут еще как ответишь… Наконец с девчоночьей надеждой она произнесла:

— Это канадский гусь?

— О, невежество молодежи, мисс Кокрейн. О-хо-хо, м-да, о-хо-хо. Э-то совершенно заурядная и, сказать по чести, довольно грязная кряква.

* * *

Марта знала, что ей нужно: правда, простота, любовь, доброта, хорошая компания, много смеха и счастье в интимной жизни стояли во главе гипотетического списка. Также она знала, что составлять такие списки — идиотизм; нормальное человеческое занятие, конечно, но все равно идиотизм. И потому, хотя ее сердце раскрылось, разум продолжал нервничать. Пол вел себя так, словно их отношения — уже данность: параметры заданы, задача ясна, а проблемы возможны разве что в будущем. Ситуация была ей слишком знакома — блаженное стремление стать парой еще до того, как оформятся с точностью до параграфа законы и механизмы, регулирующие жизнь этой пары. В этой точке пути Марта уже бывала. И слегка жалела, что попала в нее не впервые; порой биография казалась ей тяжелой обузой.

— Как ты думаешь, я ухожу от контакта?

— Что?

— Как ты думаешь, я ухожу от контакта?

Они сидели у нее на диване с бокалами в руках. Пол гладил руку Марты со стороны локтевой ямки. Когда он доходил до определенного места

чуть выше запястья, на третьем или четвертом разе она тихо взлаивала от удовольствия и выдергивала руку. Зная это наперед, он подождал ее вскрика, а затем ответил:

— Да. Что и требовалось доказать.

— Но как ты думаешь, я, э-э-э, раздражаю своей молчаливостью или вообще что-то из себя строю?

— Нет.

— Точно?

Пол улыбнулся весело и самодовольно:

— Скажем так, я не заметил.

— Что ж, если ты не заметил, это еще ничего не значит.

— Послушай, я же сказал, что нет. Какая тебя муха укусила? — проговорил Пол, видя, что не убедил ее. — Я думаю, что ты… настоящая. И с тобой я чувствую себя настоящим. Тебе этого достаточно?

— Должно быть достаточно, я знаю. — И тут, словно бы переводя разговор на другую тему, она заметила: — За ланчем я поболтала с доктором Максом. — (Пол хмыкнул, выражая свое безразличие.) — Знаешь болотце за «Питмен-хаусом»?

— Ты пруд имеешь в виду?

— Это болото, Макс. Мы с доктором Максом о

нем говорили. Он орнитолог-любитель. Ты знал, что Сельская Мышь в «Таймс» каждую субботу — это он и есть?

Пол совместил вздох с улыбкой.

— По-моему, это самая неинтересная единица информации, которую я услышал от тебя за все наше время вместе. Сельская Мышь — ну и имечко для… для напудренного жлоба, который с людьми говорит как с телекамерой. Ничуть не удивлюсь, если Джефф однажды начистит ему морду. О да, и какой он про-о-тивный, когда за-а-икается.

— Он нескучный. Человека можно находить нескучным, даже если он тебе не нравится. А он мне, вообще-то, нравится. Строго говоря, я его обожаю.

— А я не перева-а-риваю.

— Неправда.

— Пра-ав-да, о да-а. — Пол вновь потянулся к ее руке.

— Не-а. Он рассказал мне нечто сногсшибательное. Если ему верить, болото спланировали особым образом. Это связано с ландшафтом, с местами посадки тростников, с высотой берегов, с направлением, в котором течет вода. И все для того, чтобы там не садились канадские гуси.

Вероятно, они создают проблемы или отгоняют других птиц. Во время ланча там плавала очень красивая кряква.

— Марта, — заявил в сердцах Пол, — я знаю, что ты деревенская девчонка, но мне-то зачем это рассказывать? Доктор Макс готовит для Проекта раздел «Птицы»? Он что, забыл распоряжение сэра Джека: «Нахер ту́пиков!»?

— Я думала, ты завязал с цитированием питморизмов. Думала, ты исцелен. Нет, просто это все навело меня на кое-какие мысли. В смысле… как ты думаешь, мы тоже так устроены?

— Мы?

— Не мы с тобой. Люди вообще. Все эти дела насчет того, с кем у тебя… слаживается, а с кем — нет. В сущности, это же загадка, верно? Почему меня привлекаешь ты, а не кто-то другой?

— Мы это уже обсуждали. Потому что я моложе, ношу очки, ниже ростом, меньше зарабатываю и…

— Ладно тебе, Пол. Я тут мысль пытаюсь развить, а ты… Я же не говорю, что моя симпатия к тебе — это… глупо.

— Спасибо. Аж от сердца отлегло. Ну так как, пойдем в постельку? Докажешь на практике.

— Видишь ли, если бы кто-то пытался взглянуть

на это все объективно, он мог бы решить, что все это как-то завязано на моем отце.

— Погоди. — Пол и сам не понимал, смешно ему или обидно. — Мы же договорились, что я *младше* тебя.

— Во-во. Значит, я, к примеру, не доверяю мужчинам, которые старше. И все такое.

— Это, как ты сама мне сказала не столь давно, дешевенькая психология.

— Прости, — отозвалась Марта. — Или ты скажешь, что являешься противоположностью мужчин, с которыми я встречалась прежде. Или скажешь, что никаких общих принципов просто нет.

— Типа того, что мы оба гетеросексуальны и случайно работаем в одной комнате и *нас свела судьба?*

— Или скажешь, что принцип есть, но мы его не знаем или не можем понять. Дескать, некая сила нас толкает, а мы и не замечаем.

— Погоди. Погоди. Стоп. — Вскочив, Пол встал перед ней. Прижал к губам палец, уговаривая ее замолчать. — Дошло. Наконец-то дошло. Наверно, меня сбила с толку идея, будто доктор Безумный Макс в состоянии сказать что-то относительно толковое об отношениях между людьми. Но

теперь я просек. Болото — это ты. И ты никак не можешь понять, почему все эти красивые плечистые канадские гуси летят мимо и тебе приходится утешаться глупой серой уткой — то есть мной.

— Нет. Не совсем. Совсем не так. И вообще, утки очень милые.

— Если это правдивая лесть, то, кажется, я ее не переживу.

— Так что ты думаешь?

— Я не думаю. Я крякаю.

— Нет, серьезно.

— Кря-кря.

— Пол, перестань.

— Кря. Кря. Кря. — Он увидел, что Марта еле удерживается от смеха. — Кря.

* * *

Гэри Десмонд умел кончать вовремя. Так говорили о нем восхищенные коллеги. Связи у него были отличные, тайну источников он хранил, не ленился трижды перепроверить любую сомнительную подробность и приносил шефу статью, только когда у нее (у статьи) уже лопался на груди лифчик. Было у него и еще одно достоинство — будучи добытчиком и поставщиком

историй с «клубничкой», он внешне не походил на такового. Несведущие читатели, как правило, воображали себе неотесанного закоренелого шантажиста, что строчит в блокноте, то и дело похотливо облизывая карандаш; гуманоида в длинном пальто, испещренном пятнами от пива, а скорее всего, не от пива вовсе.

Гэри Десмонд носил темный костюм и строгий галстук, иногда дополняя ансамбль обручальным кольцом; он был умен, учтив и почти никогда не давал своим информаторам заметить своего на них давления. Его подход был — или казался — человечным, но деловитым. В его газете стало известно об одной истории, и после обстоятельного расследования была подготовлена статья, которая вскоре будет опубликована; но прежде они хотят, согласно правилам хорошего тона и, более того, по этическим соображениям, сверить информацию с основным действующим лицом. Есть ряд деталей, которые он/она, возможно, захотят прояснить, и, очевидно, газета могла бы вам помочь, когда конкуренты пронюхают о случившемся и — будем смотреть на вещи трезво — подговорят другие стороны изложить дело в ином ключе. Короче, есть проблема, и проблема эта сама никуда не денется, но Гэри Десмонд

пришел вам помочь. Вместо того чтобы со значением облизывать карандаш, он неспешно писал наливной ручкой с золотым пером — этаким полуантикварным агрегатом, отличным поводом для светской беседы, — а держался он с бесконечным терпением и легким подобострастием, так что в итоге о деньгах первым заговаривали вы. Одно лишь кроткое: «Полагаю, мои расходы будут возмещены?» или наглое: «А бутылку поставите?» — и, не успев опомниться, вы уже оказывались «под вымышленным именем в тайном убежище», что звучало куда экзотичнее, чем отель на обочине автострады в двух шагах от Лондона, и все же… И колесики диктофона все мотали и мотали пленку (миленькую наливную ручку давно уже убрали), так как Гэри Десмонд все спрашивал и спрашивал о том, что и так знает или вроде бы знал, но хотел перепроверить. К этому времени вы уже подписали контракт и видели билеты на самолет. Честно сказать, вы так привязались к Гэри — как незаметно начали его называть, — что даже думали, прелестно отбрасывая со лба свои осветленные волосы, не позвать ли его с собой полежать пять дней на солнышке, пока скандал рассосется. Иногда он соглашался, а иногда это было, к сожалению,

против правил.

Все эти высокопрофессиональные колыбельные никак не готовили вас к заголовку «ПРИНЦ РИК И МЫ: ПОДРУЖКИ-ЛЕСБИЯНКИ В НАРКОТИЧЕСКОМ УГАРЕ РАЗВЛЕКАЛИ ЕГО ВЫСОЧЕСТВО» на всю первую страницу. Внутри вы видели самое себя на целом развороте, чуть ли не в натуральную величину — широко расставив груди под французской баской, развалившись на бильярдном столе, вы шаловливо сжимали в руке пару шаров. Телефон начинал разрываться: родители, которые всегда так гордились вами, а теперь стыд-то какой, ни в паб зайти, ни людям в глаза взглянуть; и звонила вам только мама, потому что у папы просто язык отнялся. Новые статьи — откровения бывших приятелей минувших лет («Развалится на постели, вся такая толстая, вылитая пуделиха, и ни хрена не делает — а я ее лижи…», «Я уже купил кольца, но тут она завела себе лорда…», «Да, она всегда любила тусовки, но кто бы мог подумать, что дело кончится иглой и сексом втроем…»). Клевета, одна клевета, какие же сволочи в этих газетах, и ничего такого у нас не было, разве что кокаин, и вообще, это все Петронеллина была идея, ну, почти. И вы искали опору в Гэри Десмонде, и, конечно, он

вас не бросал, вот только уже не очень спешил перезванивать; но нет, увы, на этой неделе у него нет времени с вами пообедать, готовит огромный материал, в городе его не будет, может, выпьем как-нибудь пивка, ничего, выше нос, девочка, поверьте опыту Гэри, ты хорошо выдержала испытание, с достоинством, и, как там говорится, вестника всегда казнят, верно? И только в том случае, если вы не переставали ныть, он заговаривал чуть более жестким тоном и напоминал, что мир не детская сказочка, играешь с огнем — не удивляйся ожогам, и, если уж ты просишь у него совета, чек-то у тебя в кармане лежит, верно? Сходи чуточку пошвыряйся деньгами, в своей жизни он еще не встречал девушки, которой новое платье не поправило бы настроения, извини, милая, надо бежать. И вы не успевали намекнуть, что если он пойдет с вами в магазин, то может сказать, что вы по-прежнему выглядите отлично, а не как потасканная шлюха, которой вас обозвали не далее чем вчера и совершенно ни за что. Как там врач сказал, сколько этих надо принять с бессонницы?

Темно-синий фургон Гэри Десмонда (типичная машина высококвалифицированного мастера-ремонтника; что именно чинит владелец,

по фургону определить было невозможно, но квалифицированностью буквально пахло) уже некоторое время стоял напротив особняка тетушки Мэй в Чорливуде. Кабина все время была пуста, и ни одна леди с собачкой, ни один бдительный член «Общественного дозора» не подозревали, что отдушины в кузове — на самом деле глазки с перископами и что внутри трудится Гэри, вооруженный блокнотом, магнитофоном и фотокамерой со скоростным затвором. Для идентификации гостей «Ардоха» пришлось привлечь к делу еще кое-кого; угостив старого приятеля коктейлем, он получил доступ к номерам кредитных карточек, но тайну хранил стойко: имя главного проказника, этого жирного борова, ни разу не упоминалось.

Главная загвоздка состояла в том, чтобы завязать контакты, поскольку Гэри Десмонд не знал об «Ардохе» ровным счетом ничего. К тому же всегда был риск, что первый же взятый в оборот лох заорет: «Отвали, паскуда», побежит к телефону и настучит тетушке Мэй, спалив всю операцию. Но робкий, лысеющий пилот гражданской авиации, разменявший шестой десяток разведенный недотепа — которого Гэри Десмонд решил отловить в его обычном пабе, дабы сни-

зить до минимума возможность неучтивой реакции, — моментально купился на обходительность Гэри и рассказанную им (естественно, лживую) историю. Разумеется, Гэри вовсе не журналист (больно уж предосудительно); по документам он — следователь по особым делам из Королевского таможенно-акцизного управления. Расследуется дело о наркобизнесе всемирного масштаба, плюс кое-какие убийства, и один из ключевых подозреваемых часто посещает некий дом. Глядя в глаза своей испуганной жертве, Гэри Десмонд особо подчеркнул, что полиция этим делом не занимается, пресса ничего не ведает, а против заведения тетушки Мэй как такового они ничего не имеют. С точки зрения таможни законопослушные граждане и исправные налогоплательщики в частной жизни могут делать все, что угодно, — при условии, что в этих развлечениях не участвуют несовершеннолетние и не используются (а) редкие и исчезающие животные и растения и (б) запрещенные вещества. Может быть, мы пойдем куда-нибудь, где вас не так хорошо знают, — есть один разговор…

По окончании ужина Гэри заплатил по счету и смущенно положил на ресторанный столик некий конверт. Не подумайте, будто это его ини-

циатива, нет, начальство само настаивает: добровольные помощники таможни заслуживают возмещения их расходов. Пилот отказался. Гэри вполне одобрил его позицию, но тут же добавил, что подобные выплаты проходят вне бухгалтерии — никаких имен, никаких квитанций. Не знаю уж, почему их зовут «черными» — на мой взгляд, чище не бывает. Считайте, канцлер возвращает вам часть налогов. Спустя несколько минут пилот взял конверт, не заглядывая внутрь. Гэри Десмонд почти уверен, что больше никаких услуг с его стороны не понадобится, хотя при необходимости они знают, где его найти (если что, через работу). Скажу вам по секрету: расследование продлится еще пару месяцев, после чего тетушка Мэй утратит одного клиента, но больше ничего в ее жизни не изменится.

Следующий этап был проще: имена, графики, информаторы, цены, сценарии, методы — рутина… И наконец, финальная важная дилемма — выходить на тетушку Мэй или нет? Если она в панике сбежит или окажется верна клиенту, все пропало. Но если она даст согласие на жалкий часок съемок, в крайнем случае два… Гэри Десмонд переписал свою «легенду» заново. Секретная служба? Связи с неким арабским диктатором.

Помните тех детишек с перерезанными глотками, просто сердце кровью обливалось смотреть на эти снимки, один-единственный клиент, больше нам никто не нужен, да, известное лицо, более того, очень-очень известное лицо, но в каком-то смысле я бы посоветовал вам предпочитать не столь яркие лица. Кстати, расходы не вопрос, абсолютно не вопрос. Предлагаем вам солидный гонорар — строго говоря, настаиваем. Очень солидный гонорар. Всего три часа. Придется проделать в штукатурке маленькое отверстие, и все, а так — «мотор», «стоп» и забудем друг о друге!

Гэри Десмонд рассудил, что рискнуть стоит.

* * *

— Бук-хаус, — провозгласил сэр Джек. — Без Бук-хауса у нас руки связаны.

В отелях постелили ковры и расставили кадки с пальмами, башни-двойняшки стадиона Уэмбли ждали окончательной отделки, в «Питмен-хаус-2» как раз сейчас засовывали копию пресловутого кабинет-зала, а теннисоновские холмы уже обогатились тремя полями для гольфа. Торговые центры и выставку пастушеских собак можно было открывать хоть завтра. Хэмптон-кортский лабиринт — готов, Белая Лошадь

— уже украшает склон, а на горном плато, выходящем на запад, специалисты по фигурной стрижке деревьев создали композицию «Великие вехи английской истории», блистающую черным фризом в лучах заката. Все было на месте: Биг-Бен в половинную величину, могилы Шекспира и принцессы Дианы, Робин Гуд и его «Веселые стрелки» в Шервудском лесу и меловые утесы — в Дувре-2; черные лондонские такси, озаряя фарами лондонский туман, сновали между глостерширскими деревеньками, где под каждой соломенной крышей можно было выпить чаю со сливками по-девонширски; имелись «Битва за Британию», крикет, пабы, оборудованные для игры в кегли, Алиса в Стране чудес, газета «Таймс» и Сто один далматинец. Мемориальный пруд имени супруги Стэкпула вырыли заново и обсадили плакучими ивами. Бифитеров научили подавать «Великий Английский Завтрак»; доктор Джонсон учил текст программы «Обед в „Чеширском сыре“»; а тысяча малиновок постепенно акклиматизировалась к вечным снегам. Команде «Манчестер юнайтид» предстояло принимать всех своих зарубежных соперников на «Островном Уэмбли»; непосредственно после игры матчи будут повторяться в Манчестере

командой-дублером, обязательно с тем же результатом. Ни одного члена парламента заполучить не удалось; но нанятые вместо них актеры были совсем как настоящие. Собрание Национальной галереи развесили и покрыли патиной времени. Наличествовали родина семейства Бронте, дом Джейн Остин, первобытный лес с исконной фауной Англии, мюзик-холл, пудинги, исполнители танца «моррис» и сельской чечетки, Королевская шекспировская труппа, Стоунхендж, прямые спины, шляпы-котелки, кабельная сеть для показа классических телесериалов, здания в стиле «фахверк», красные автобусы, восемьдесят сортов теплого пива, Шерлок Холмс — и Нелл Гвинн, чья внешность отметала все слухи о педофилии. Недоставало только Бук-хауса…

Конечно, в каком-то смысле он уже был. Фасад дворца и решетка были вполне готовы; гвардейцев в медвежьих шапках из лайкролита обучили не поднимать на штыки маленьких сорванцов, порывающихся измазать их сапоги мороженым; знамена — всех цветов радуги — хоть сейчас выноси. По поводу всех этих приготовлений пресса хранила многозначительное молчание, из чего простые граждане, разумеется, заключали, что королевская семья на переезд согласна. Лишним

подтверждением служили регулярные опровержения со стороны Букингемского дворца. Но факт оставался фактом — Бук-хаус не соглашался.

А ведь, казалось бы, простое дело! В метрополии репутация семейства давно уже пошатнулась. Смерть Елизаветы Второй и крах наследственного принципа правления были восприняты массами как конец традиционной монархии. Длительные публичные дебаты на тему престолонаследия еще более подорвали мистическую ауру королевских особ. Молодые король и королева старались изо всех сил: участвовали в ток-шоу, пользовались услугами лучших пиарщиков и, как умели, утаивали свои интрижки. Из двадцатистраничного фоторепортажа в журнале «Сюси-Пуси» народ Англии узнал крайне умилительную подробность: на вышитой подушке, узор для которой королева Дениза нарисовала лично, читатели прочли ласковую кличку, придуманную ею для супруга, — Хорек-Королек. И все равно нация ворчала по-прежнему — Англию то ли раздражала нормальность королевской четы, то ли смущала ее стоимость. Возможно также, что за много веков страна просто притомилась любить своих правителей.

В общем, вода лилась на мельницу сэра Джека

мощным потоком — а дворец упирался. Королевские советники, эти виртуозные мастера тянуть кота за хвост, прозрачно намекали, что зарубежные счета Виндзоров прокормят семейство еще не один десяток лет. На Мэлл господствовал менталитет обитателей бомбоубежища — «отсидимся, дескать!» — порой выражаемый во вспышках первостатейного стеба. Когда премьер-министр лишний раз повторил лозунг «пересадим монархию на велосипеды», пресс-секретарь дворца заявил, что, хотя велосипеды ни при каких условиях не станут приличествующим королям транспортным средством, его величество, учитывая сложную экономическую обстановку и истощение запасов полезных ископаемых, готов превратить Дом Виндзоров в монархию на мопедах. И действительно, время от времени по Мэлл проносилась, хладнокровно отключив глушитель, фигура в мотоциклетном шлеме и «косухе» с королевским гербом на спине, хотя был ли это король, его беспутный кузен Рик, наемный двойник кого-то из них или просто безвестный шутник, оставалось загадкой.

При всем безразличии страны дворец, Министерство туризма и сэр Джек знали, что для Англии королевская семья — главный козырь

в финансовой игре. Переговорщики сэра Джека вконец охрипли, втолковывая противной стороне, что, переехав на Остров, их величества сильно выиграют в деньгах, а условия их труда можно будет без натяжки именовать условиями отдыха. Обещали Букингемский дворец со всеми современными удобствами плюс для уик-эндов в стиле ретро Осборн-хаус; вместо критики и наглого вмешательства в личные дела — одно лишь квалифицированно организованное обожание *ad libitum*[65]; налогов семья платить не будет, а Собственный Их Величеств Бумажник заменят прогрессивные отчисления от прибылей Проекта; и никаких назойливых папарацци, поскольку газета на Острове только одна — «Лондон Таймс», а ее редактор — патриот до мозга костей; скучные обязанности будут сведены до минимума, зарубежные поездки — осуществляться лишь с целью отдыха, а занудливым главам чужеземных государств просто не дадут виз; дворец будет иметь право вето над всеми монетами, медалями и марками, выпускаемыми на Острове, — и даже, если хотите, над открытками; и, наконец, никто, никогда, ни при каких обстоятельствах и не за-

[65] Сноски: 65
По усмотрению *(лат.).*

икнется о велосипедах — собственно, к тому и затеян весь этот переезд, чтобы возродить атмосферу величественной роскоши, которой семья лишилась за последние десятилетия вследствие происков пошлых парвеню. Была упомянута сумма подъемных, достаточная, чтобы вызвать обморок у любого футболиста, — а дворец стоял на своем. Удалось договориться — ценой фантастической, выраженной преимущественно в деньгах лести, — что их величества прилетят на церемонию торжественного открытия. Но принимающую сторону многократно призвали не придавать этому факту излишне большого значения.

Штатный Циник пыталась взглянуть на ситуацию с положительной стороны.

— Послушайте, — сказала она, — у нас на Острове уже есть Елизавета Первая, Карл Первый и королева Виктория. Нужны нам эти бездарные попрошайки?!

— Увы, нужны, — возразил сэр Джек.

— Что ж, если все здесь присутствующие — даже, как ни удивительно, доктор Макс — предпочитают копии подлинникам, добудьте копии.

— Вот что, если я еще раз такое услышу, — пробурчал сэр Джек, — я кому-нибудь что-нибудь

оторву. *Естественно*, запасной вариант есть. «Королевская чета» репетирует уже который месяц. Они справятся отлично — надежные люди, очень надежные. Но все равно — это *не! их! величества!*

— Логика подсказывает, что наши величества наверняка лучше.

— Увы, Марта, бывают моменты, когда на логике, как и на цинизме, далеко не уедешь. Наша цель — «Не просто отдых». Наша цель — Вечнозеленые доллары и длинные иены. Без Бук-хауса у нас руки связаны, и он об этом знает, боже ж ты мой!

Тут раздался голос, звучавший очень редко:

— А не пригласить ли старика Георга? Может, он вернется из монастыря в мир?

Сэр Джек даже не посмотрел в сторону Мыслелова. За последние несколько недель юнец определенно обнаглел. Или забыл, что его работа — ловить Мысли, а не подсовывать свои собственные жалкие непрожеванные идейки? Обострение самомнения у Пола сэр Джек объяснял тем, что мальчишке невероятно подфартило: все-таки пробрался в постель Марты Кокрейн. Как же низко пала «Питко»! Не фирма, а бюро знакомств для сотрудников! Конечно, в положен-

ный срок час возмездия пробьет; но не сегодня.

Помариновав мальчишку в неуклонно крепнущем безмолвии, сэр Джек шепнул Марку:

— Вот было бы всем сумасбродствам сумасбродство.

Презрительный смех Марка послужил сигналом к закрытию заседания.

— Два слова, Пол, если — если! — у вас есть время.

Пол проводил глазами остальных, выходящих гуськом, а точнее, проводил глазами ноги Марты.

— Да, чудо что за женщина, — одобрительно проговорил сэр Джек. — Говорю как знаток чудес в женском облике. И как человек семейный, конечно. Чудо что за женщина. Не ходит, а летает.

Пол смолчал.

— Помню, как увидел ее впервые. И как впервые увидел вас, Пол, тоже помню. Правда, мы с вами встретились в менее официальной обстановке.

— Да, сэр Джек.

— Вы очень выросли, Пол. Под моим руководством. Она тоже выросла. Под моим руководством.

На сем сэр Джек умолк. Давай, парень, не разочаровывай меня. Покажи, что в штанах у тебя не

лыком шито.

— Вы хотите сказать, — в привычный учтивый тон Пола вплелись новые, агрессивные нотки, — что мои… отношения… с мисс Кокрейн вас не устраивают?

— Почему я вдруг должен так считать?

— Или что они плохо сказываются на моей работе?

— Нимало, Пол.

— Или что они плохо сказываются на ее работе?

— Нимало.

Сэр Джек был доволен. Приобняв Пола, проводив своего протеже до двери, он почувствовал под рукой желанную скованность мускулов.

— Счастливый вы человек, Пол. Прямо завидки берут. Молодость. Любовь достойной женщины. Вся жизнь впереди. — Сэр Джек потянулся к дверной ручке. — Благословляю вас. Вас обоих.

Пол понял лишь одно: сэр Джек ломает комедию. Но что за этим стоит?

* * *

Шериф приказал обыскать Ноттингем вдоль и поперек, а Робин бродил по веселым лесам — веселей, чем на липе листок. Грабил богатых

и оделял бедных. Первичный миф; нет, лучше — английский первичный миф. Миф о свободе и мятеже — праведном мятеже, естественно. Мудрая при всей своей стихийности концепция — зародыш системы налогообложения и перераспределения доходов. Индивидуальная инициатива, призванная сглаживать крайности свободного рынка. Людское братство. Вполне христианский миф, кстати, несмотря на легкую антиклерикальную направленность. Шервудский лес как пасторальный монастырь. Триумф хорошо вооруженных праведников-разбойников над бароном — подлинным бароном-разбойником. А главное — номер семь в Джеффовом перечне Пятидесяти Вечных Квинтэссенций Самого Наианглийского, отредактированном сэром Джеком Питменом.

«Миф о Робине» с самого начала получил статус наибольшего благоприятствования. Паркхерстский лес легко преобразился в Шервудский, а окрестности Пещеры приобрели новую живописность благодаря репатриации нескольких сотен зрелых дубов, ранее окаймлявших бассейн в имении саудовского принца. Камни, которыми Пещера была облицована снаружи, как раз сейчас обрабатывали отбойными молотками, придавая

им аутентичную щербатость; общую спальню уже оштукатурили вторым слоем копоти. К очагу, где будут ежедневно жарить целого быка, подвели газ, конкурс на вакансии разбойников находился на стадии финальных прослушиваний. И Марта Кокрейн, по сути, даже не хотела быть циничной, когда на четверговом заседании с ее языка сорвался вопрос:

— Кстати, а почему в шайке одни мужчины?

— А папа римский — католик? — возразил Марк.

— Бросьте вы свой феминизм, Марта, — вмешался Джефф. — Вечнозеленым долларам и длинным иенам он абсолютно до фени.

— Я просто…

Но доктор Макс скороговоркой пришел ей на выручку — если и невпопад, то благородно.

— Конечно, вопрос о католическом вероисповедании папы римского как в исторической перспективе, так и в применении к современности… невзирая на тот факт, что в пивных этот тезис используется в качестве решающего аргумента… — тут доктор Макс смерил Марка испепеляющим взглядом, — остается для историков серьезной проблемой. С одной стороны — популярное при всей его непродуманности

мнение, что любой поступок понтифика *ipso facto*[66] является католическим деянием, иначе говоря, папство по определению равносильно католичеству. С другой стороны — более зрелое суждение моих коллег, состоящее в следующем: на протяжении веков самой фундаментальной проблемой католической церкви, из-за которой она слишком часто попадала, аки кур, в исторический либо клерикальный ощип, был именно дефицит подлинно католических свойств у пап, ибо, будь они истинными…

— Заткните фонтан, доктор Макс, — произнес сэр Джек не без одобрения. — Поделитесь с нами своей мыслью, Марта.

— Я не уверена, что слово «мысль» тут не будет преувеличением, — начала Марта. — Мне просто…

— Ну, знаете ли, — прервал ее Джефф. — Переигрывать поздно. Такие вещи финансируют только меньшинства. О Робин Гуде знают все. И не смейте Робин Гуда трогать. Вот так-то, — раздраженно закатил глаза Джефф.

Нападки Джеффа захватили Марту врасплох, ведь обычно Разработчик Концепций вел себя

---

[66] Сноски: 66
В силу самого факта *(лат.).*

крайне благопристойно, слушал развесив уши, а терпеливо дождавшись, пока остальные примут решение, выполнял их волю.

— Мне просто пришло в голову, — произнесла Марта кротко, — что в наши задачи, в задачи разработчиков Проекта, входит и репозиционирование мифов в современном ключе. Не вижу, что такого особенного в мифе о Робине. Более того, раз уж он идет под седьмым номером, тем внимательнее следует его проанализировать.

— Вы мне позво-о-лите процитировать пару самодовольных, не обессудьте за эпитет, высказываний Джеффа?

Доктор Макс откинулся на спинку стула, вальяжно сцепив пальцы на затылке, грозя скептикам острыми локтями, — словом, окончательно переключившись в режим «семинар». Марта покосилась на сэра Джека, но Председатель был сегодня настроен терпимо — или злокозненно.

— «О Робин Гуде знают все» — крайне близорукая формулировка. От таких заявлений у историков шерсть дыбом встает. Все знают, увы, только то, что знают все, как, к моему глубокому сожалению, показали мои исследования в рамках Проекта. Но еще ярче другой перл: «И не смейте Робин Гуда трогать». Мой дорогой Джефф,

что такое, по-вашему, История? Четкая, полиокулярная видеозапись действительности? О-хо-хо. Исторические материалы о второй половине тринадцатого века — это не прозрачный поток, в который мы могли бы войти, посвистывая. Что до мифологии, в ней всегда доминировали и доселе доминируют мужчины. История — это, грубо говоря, мачо. Практически вылитый вы, Джефф. Перехожу к первому, что пришло мне в голову в связи с нашей темой. Мисс Кокрейн очень к месту подняла вопрос о том, состояла ли шайка из одних мужчин и если да, то почему. Мы знаем, что среди них, бесспорно, была одна женщина — дева Мэриан. Значит, мотив исключительно мужского братства изначально отпадает. Более того, имя вожака — Робин — двусмысленно, поскольку это сокращенная форма и от Роберта, и от Роберты. Его двусмысленность находит свой отзвук в традиции английской пантомимы, где разбойника играет молодая особа женского пола. Фамилия Гуд — пишется «Hood» — означает «капюшон», «плащ с капюшоном» — то есть унисексуальный предмет одежды. Итак, ваш покорный слуга мог бы, если бы пожелал немножко попроказничать и подразнить Джеффа, предложить репозиционирование мифа о Робине путем восстановления

подлинного исторического контекста — образа женщины-разбойницы. Многим, если не всем, тут вспомнятся Молль Срежь-Кошель, Мэри Рид и Грейс О'Мэлли.

Сэр Джек упивался смятением Джеффа.

— Ну-с, Джефф, хотите парировать удар?

— Послушайте, я всего лишь Разработчик Концепций. Я разрабатываю концепции. Если Комитет решит превратить Робин Гуда и его товарищей в банду… гомиков, дайте мне знать, вот и все. Но я вам одно скажу: вечнозеленые доллары не пойдут в дверь, через которую ходят голубые фунты.

— А может, им понравится тесниться у входа, — заметил доктор Макс.

— Джентльмены. Сказано уже достаточно. Все задумки излагайте доктору Максу, а он пусть сделает доклад на чрезвычайном заседании Комитета в понедельник. Да, и вот еще что: Джефф, приостановите пока работы в спальне. Вдруг понадобится расширить дамскую комнату.

Утром в понедельник доктор Макс вынес на суд коллег свой доклад. Марта отметила про себя, что Официальный Историк был, как обычно, щеголеват и суетлив, но в его манерах прорезалась новая решимость. Она побилась сама с собой

об заклад, что заикание у него сегодня пройдет, и задумалась, заметит ли это Пол. Доктор Макс откашлялся с таким видом, точно главный здесь он, а не сэр Джек.

— Из уважения к мнению нашего Председателя об осадочных породах и каменных топорах, — начал он, — я опускаю, хотя она весьма занимательна, историю зарождения легенды о Робин Гуде, ее параллели с артуровским мифом и аргументы в пользу ее происхождения от великого арийского солярного мифа. Точно так же обойдемся с Петром-пахарем, Эндрю Винтаунским и Шекспиром. Все это осадочные породы. Также я не буду докучать вам результатами проведенного мною при помощи электроники исследования — скажу лишь, что на его основе я составил портрет Джо-Представителя-Масс, или, лучше выразиться, Джеффа-Представителя-Масс. Да, это верно, что «о Робин Гуде знают» все, и знают они то, что и следовало ожидать. Жаргонно выражаясь, «ни фига». Оставляя в стороне все вышеизложенное, задумаемся, что собой представляли Гуд и его «Веселые стрелки». Джефф-Представитель-Масс, полагаю, приветствовал бы легенду о предвечном борце за свободу — ему импонировали бы не только героические акции Робина со това-

рищи, не только его экономическая политика перераспределения богатств, но и демократичный подход мистера Гуда к отбору соратников. Брат Тук, Маленький Джон, Билль Скарлет, он же Билль Алая Рожа, и Мук Мельников Сын. Кто перед нами? Священник-расстрига, хронический обжора; лицо, страдающее либо задержкой роста, либо гигантизмом — смотря по тому, склонно ли было к иронии сознание человека Средневековья; больной *pityriasis rosea*[67] — либо алкоголик; и работник мукомольной промышленности, чей личностный статус обусловлен социальным положением его отца. Есть еще Алан Э-Дейл, чье «сердце воробышком бьется в груди», — явный аллегорический намек на нарушения сердечной деятельности… Другими словами, это группировка маргиналов, а ее лидер — активный противник какой бы то ни было дискриминации — был, сознавал он это или нет, одним из пионеров движения за мультикультурализм и социальное равноправие.

Марта уставилась на доктора Макса с совершенно непрофессиональным недоумением. Не может быть, чтобы он говорил серьезно;

---

[67] Сноски: 67
Розовый лишай *(лат.).*

Джеффа подкалывает, ясное дело. Но обтекаемая самопародийность была скорее характерна для нормальной манеры доктора Макса. Вопросительный взгляд Марты отскочил рикошетом от его блестящего забрала.

— Все это неизбежно заставляет нас задуматься о сексуальной ориентации шайки. Могла ли она быть гомосексуальным сообществом, что усугубляло бы и оправдывало изгойский статус ее членов? Правда, с изгойством по принципу ориентации в истории все не так просто, достаточно вспомнить некоторых английских королей… но все же… На наших последних посиделках мы отметили половую двусмысленность имен — как то, прежде всего, Робин и Мэриан. Тут следует добавить случай Мельникова Сына, который в одних текстах именуется Мук — что может ассоциироваться с дюжей маскулинностью или джеффоподобностью, — а в других Мидж, то есть известным ласкательным прозвищем невысоких женщин. Вообще говоря, мы должны иметь в виду, что в пасторальных сообществах со значительным численным превосходством мужчин над женщинами однополые интимные связи, дополняемые либеральной этикой, являются исторической нормой. Подобное поведение со-

провождается элементами трансвестизма, порой ритуального, порой, э-э-э, не ритуального. Также мне хотелось бы отметить — хотя я вполне пойму, если эту концепцию Комитет развивать откажется, — что пасторальные сообщества этого вымышленного мира наверняка ублажали бы себя и скотоложством. В данной ситуации наиболее подходящими объектами для сближения были бы олени и гуси; с лебедями сложнее, а кабаны по очевидным причинам не подходят вообще… Что же касается исторических данных, подтверждающих гипотезу о гомосексуальной ориентации шайки, ключевым тут является случай девы Мэриан. Согласно дошедшим до нас обрывочным сведениям, Мэриан, урожденная Матильда Фицуотер, формально вступила в брак с Робин Гудом, причем церемонию венчания проводил брат Тук — так что с церковной точки зрения законность союза выглядела весьма сомнительно. Однако консумировать брак она отказалась, пока ее супруг не будет восстановлен в социально-имущественных правах, то есть перестанет быть изгоем. Соответственно, она именовала себя девой Мэриан, хранила целомудрие, носила мужскую одежду и ходила на охоту наравне с соратниками-мужчинами. Какие будут

гипотезы, джентльмены и мисс Кокрейн?

Но все молчали, завороженные то ли рассказом доктора Макса, то ли живописными подробностями, то ли его дерзостью, если не сказать «наглостью», по отношению к владельцу семейных газет. Сам сэр Джек хранил глубокомысленное молчание.

— По этому поводу в голову — по крайней мере, в мой несовершенный череп — тут же приходят три версии, — продолжал без запинки доктор Макс. — Первая — нейтрально-объективистская (хотя любой настоящий историк скажет вам, что нейтральный объективизм, в сущности, невозможен): дева Мэриан следовала рыцарскому кодексу тех времен в своем его понимании. Версия вторая: то была уловка с целью избежать дефлораций. Из исторических источников остается неясным, предполагал ли обет целомудрия отказ от нонпенетративных видов секса, к примеру орального. Возможно, Мэриан стремилась угнаться за двумя зайцами. И версия третья: Матильда Фицуотер, являясь в глазах закона и церкви особой женского пола, в биологическом плане являлась мужчиной; формальную лазейку в рыцарском кодексе она использовала, дабы избежать разоблачения. Несомненно, вы затаив

дух ждете моего мнения о всех этих гипотезах. Мое заключение таково: мне лично глубоко все равно; работа над этим докладом оскорбила мою профессиональную гордость, как никогда еще в жизни, а мое прошение об отставке вы получите по почте. Благодарю вас, джентльмены, мисс Кокрейн и господин Председатель.

После этого доктор Макс встал и изящной прыгучей походкой покинул комнату. Все ждали вердикта сэра Джека. Но Председатель, вопреки своим правилам, абстрагировался от происходящего. Наконец Джефф произнес:

— Самострел, я бы сказал. Дезертир.

Сэр Джек, встрепенувшись, пожал плечами:

— Значит, вы бы так сказали, Джефф?

Разработчик Концепций сообразил, что ухватился за слишком легкое объяснение.

— Я же, — продолжал сэр Джек, — сказал бы, что доклад доктора Макса был более чем конструктивным. Скандальным — оно, конечно, порой на грани гнусности. Но я стал тем, чем стал, не потому, что брал на работу подхалимов, да, Марко?

— Нет.

— Или в данном случае ваше «нет» означает «да»? Ну да ладно.

Заседание продолжалось. Сэр Джек задал курс.

Джефф надулся. Марту мучила совесть из-за доктора Макса. Марк, будучи прирожденным флюгером, поддержал идею широкого набора служащих из числа геев и представителей нацменьшинств. Также он согласился с тем, что следует более детально исследовать предположение, что профессия разбойника давала людям с ограниченными возможностями шанс на полноценную жизнь — в противоположность нынешнему социуму, где такие люди, как правило, остаются невостребованными. Ибо у кого лучше всего развит нюх, если не у людей с ослабленным зрением? Кто лучше всех выдержит пытки, если не глухонемой?

В журнал было внесено и финальное предложение. Не учредить ли в Шервудском лесу две разные шайки, связанные общей идеологией, но автономные: традиционную чисто мужскую, ориентированную на меньшинства организацию во главе с Робин Гудом; и сепаратистскую женскую группировку под началом девы Мэриан? Этот вопрос предстояло обдумать.

Когда все начали расходиться, сэр Джек поманил пальцем Разработчика Концепций:

— Джефф, кстати, вы сознаете, что я возлагаю на вас всю ответственность?

— Спасибо, сэр Джек.

— Хорошо. — Сэр Джек обернулся к новейшей Сюзи.

— Э-э… Извините, сэр Джек. А за что?

— Что «за что»?

— За что, собственно, на меня возложена вся ответственность?

— За то, чтобы доктор Макс продолжал вносить свой посильный вклад в наш банк идей. Догоните его, дубина.

* * *

— Виктор, — проговорила тетушка Мэй. — Какой приятный сюрприз!

И пошире распахнула перед ним дверь «Ардоха». Некоторые племянники предпочитали, чтобы им открывала горничная — и не просто горничная, а именно та, которую они заказывали. Но племянник Виктор любил, чтобы все было как полагается, — раз это дом тетушки Мэй, то пусть она сама и открывает.

— Я тебе бутылочку хереса принес, — объявил сэр Джек.

— Какой же у меня внимательный племянник, таких просто не бывает. — Сегодня она была элегантной дамой в твидовом костюме с

серебристыми, слегка подсиненными волосами; а завтра Тетушка, оставшись Тетушкой, изменится неузнаваемо. — Попозже откроем. — Она знала, что в бумажном пакете также лежит нужное количество бумажек по тысяче евро. — Когда ты приходишь, у меня сразу на сердце легче становится.

Это была правда. Некоторые девушки хныкали, что дело не стоит надбавки — почему это Виктору позволено то, чего нельзя другим? Что ж, недолго еще он будет им докучать; да и у нее хлопот поубавится, а то не больно-то легко каждые два-три месяца подыскивать новую Хайди.

— Тетенька, можно, я пойду поиграю?

Среди племянников Виктор выделялся тем, что быстрее всех приступал к делу. Он знал, что ему нужно, когда и под каким соусом. В этом смысле она будет по нему скучать. Иногда с новым племянником целый век промучаешься, пока выдавишь из него его пожелания. Пытаешься им помочь, угадать и иногда ошибаешься. А они ноют: «Ну во-от, вы все испортили…»

— Да, Виктор, иди поиграй, милый. А я ненадолго прилягу. У меня был очень утомительный день.

Сэр Джек направился к лестнице — уже совсем

другой походкой. Ягодицы потяжелели, коленки подгибались, ноги выворачивались носками наружу. Он спустился по ступеням бочком, вперевалочку, чуть ли не падая. Но он удерживал равновесие; он теперь большой мальчик, а большие мальчики знают, куда идти. В первый раз тетушка Мэй пыталась его проводить, но он это пресек.

Детская — двенадцать на семь метров, ярко освещенная, с прелестными картинками на желтых стенах. В ней царили два предмета: деревянный манеж полутораметровой высоты, площадью три квадратных метра, и коляска — два с половиной метра в длину, на колесах с толстыми спицами и прочными осями. Кузов коляски окаймляли фестоны в виде британских флагов. Крошка Виктор отрегулировал выключателями, размещенными над гигантским плинтусом на высоте колена, яркость света и громкость шипения газового рожка. Повесил костюм на вешалку, а рубашку и белье швырнул на лошадку-качалку. Когда он подрастет, будет качаться на лошадке, но пока он еще маленький.

Раздевшись догола, он отодвинул медную задвижку манежа и вошел внутрь. На пластмассовом подносе лежало, трепеща, зеленое желе,

только что из формы, полуметровой высоты. Иногда ему нравилось ронять желе на пузико. Иногда ему нравилось хватать его и кидать в стену; тогда его ругали и шлепали. Сегодня желе его не соблазнило. Он лег навзничь и закопался в мохнатый розовый ковер, по-лягушачьи вывернув коленки. Потом, полуобернувшись, уставился на великанский комод. Высоченная стопка пеленок, метровый пузырек с детским маслом, такая же банка присыпки. Тетушка Мэй знает, что делает. Не сразу он ее нашел, но она стоит своей цены до последнего евро.

В нужный момент дверь детской отворилась.

— Крошка! Крошка Виктор!

— Агу-гу-гу-гу!

— Крошка-голопопка. Наденем на попку пеленку.

— Пелека, — мурлыкал сэр Джек. — Пеле-е-е-ка!

— Хоро-о-шая пелека, — подтвердила Люси.

Она была одета в свежеотглаженную коричневую форму няни; на самом деле ее звали Хизер; втайне от тетушки Мэй она писала докторскую по психологии секса в Редингском университете. Но здесь ее называли Люси и платили наличными. Взяв с комода неохватную банку с присыпкой,

она поставила ее на перила манежа. Из отверстий диаметром с носик чайника посыпалась ароматная присыпка; Виктор на радостях пускал пузыри и вертелся волчком. Помедлив, нянюшка начала щеткой из верблюжьей шерсти, надетой на палку от швабры, натирать кожу Крошки присыпкой. Он перевернулся на спинку, и она присыпала его с другой стороны. Затем взяла с комода пеленку — хотя, вообще-то, это была махровая простыня. Сэр Джек делал вид, будто не помогает нянюшке, а Люси — будто без труда ворочает по упругой простыне тучное тело. Крошка артистично сучил ногами, пока Люси обворачивала его пеленкой и застегивала ее полуметровой медной булавкой. Как правило, крошки предпочитали памперсы на липучках; один лишь звук отдираемой липучки действовал на них мгновенно. Но Крошка Виктор выбрал пеленки из полотенец и булавки. Хизер задумалась, каким было детство, которое они сейчас на пару разыгрывали заново, кто были его родители — «зеленые», упертые бытовые консерваторы или просто-напросто бедняки?

— Крошка хочет ням? — спросила Люси.

Также этот Крошка любил старомодное сюсюканье. Другие нуждались во фразах взрослого толка, — вероятно, это означало, что с ними с

рождения обращались как со взрослыми, лишая аутентичного опыта грудничка, потому-то они и стремятся теперь наверстать упущенное; но также это могло указывать на желание контролировать ситуацию по-взрослому или же неспособность регрессировать еще дальше.

— Может быть, Крошка хочет, чтобы ему сменили пеленку? — произносила няня, подходя к грамматике совершенно серьезно. Но этот Крошка требовал считать его Крошкой до мозга костей. Матерчатые пеленки, натуральные междометия и… и все остальное, то, о чем она в данный момент предпочитала не думать.

— Крошка ням хочет? — повторила Люси.

— Сисю, — пробурчал он. Для трехмесячного младенца речь развита просто на диво; но жизнеподобная невнятность в выражениях слишком затруднила бы работу.

Она высунулась за дверь и вскричала: «Крошка хочет ня-ям!» — специально отрепетированным тоном, благостным и двусмысленно-задорным одновременно. В двух метрах над ее головой Гэри Десмонд радостно показал сам себе два больших пальца, восхищенный качеством звука. Гэри увидел на экране, как Люси вышла в коридор, а сэр Джек встал в манежике. Переставляя неук-

люжие ножки, вперевалочку, с отвисшим задом, он прошлепал к комоду, рванул на себя нижний ящик и вытащил чепчик в голубую клеточку. Завязав под подбородком тесемки, он решительно вскарабкался по стальной лесенке в коляску и бухнулся в кузов. Коляска закачалась на рессорах, как океанский лайнер — на волнах, но с места не стронулась. Тетушка Мэй не зря каждый раз проверяла, крепко ли она привинчена к полу.

Сидя под поднятым тентом коляски, глядя на трепещущие «Юнион-Джеки», сэр Джек начал хныкать и скалить зубки. Спустя какое-то время рев прекратился, и — почти таким же тоном, как в своем рабочем кабинете, — он возопил:

— СИСЮ!

То был знак, по которому в детскую вбежала Хайди. Всех кормящих матерей, работавших у тетушки Мэй, звали Хайди; такова была традиция. У данной Хайди молоко уже истощалось, а может, ей просто надоело подставлять свои груди чавкающим седым Крошкам; в любом случае через неделю-две ее придется заменить. То была главная закавыка в работе тетушки Мэй. Однажды, совсем отчаявшись, она взяла Хайди ямайского происхождения. Ох, какую истерику закатил Крошка Виктор! Ужасный вышел ляп.

Также Виктор настаивал на благопристойном лифчике для кормления. Некоторым Крошкам нравились кормилицы-топлес, этакие стриптизерки; но Крошка Виктор старался быть хорошим Крошкой. Хайди, с заплетенными в «колосок» мелированными волосами, чуть-чуть выпростала блузу из-под своей юбки в тирольском стиле, взобралась по лестнице к коляске, расстегнула пуговицы и сняла колпачок, прикрывающий сосок. Сэр Джек, вновь промурчав: «Сися», вытянул губы трубочкой, чтобы получился как бы ротик с голыми деснами, и впился в оголенный сосок. Хайди осторожно надавила на свою грудь; Виктор, подняв свою лопатообразную ручонку, прижал ладонь к чашке лифчика и зажмурился, наслаждаясь. Спустя несколько нескончаемых минут Хайди убрала сосок, брызнув молоком ему на щечки, и дала Крошке другую грудь. Она давила, а он вновь сосал своим детским ротиком, шумно глотая. Чтобы кормить его этой грудью, Хайди пришлось неловко перегнуться — ужас, что за работа. Наконец он открыл глаза, словно после глубокого сна, и нежно отпихнул ее. Еще чуть-чуть опрыскав его молоком, Хайди предположила, что он почти готов. Она знала: он предпочитает, чтобы молоко вытирала Люси.

Вновь упрятав соски в колпачки, Хайди застегнула блузу и небрежно скользнула рукой по пеленке, под которой что-то топорщилось. Да, Крошка Виктор в нужной кондиции.

Хайди вышла из детской. Сэр Джек захныкал — сначала вполголоса, затем все громче. Наконец он взревел: «ПЕЛЕКА!», и Люси — ожидавшая за дверью, держа руки в тазике с ледяной водой — поспешила на зов.

— Намочил пелеку? — спросила она встревоженно. — Крошка намочил пелеку? Ну-ка, няня посмотрит.

Пощекотав Крошке Виктору пузико, она медленно, осторожно, шаловливо расстегнула булавку. У сэра Джека стояло в полный рост. Холодные руки Люси ощупали его член и все вокруг.

— Пелека не сырая, — произнесла она озадаченно. — Крошка Виктор не сырой.

Сэр Джек вновь расхныкался, намекая, чтобы она искала другие причины. Она утерла с его бычьих щек молоко Хайди, затем нежно потискала его мошонку. Наконец ее словно бы осенило.

— У Крошки зудит? — спросила она себя вслух.

— Удит, — повторил Виктор. — Удит.

Люси принесла бутыль с детским маслом.

— Зудит, — произнесла она жалостливо. — Бед-

ный Крошка. А вот няня сейчас — и все пройдет!

Запрокинув бутыль, она полила маслом городоподобный живот Крошки Виктора, его слоновьи ляжки и то, что они оба притворно считали его «пипиською-малыською». Затем она начала растирать Крошку.

— Крошка, хорошо я тебя тру?

— Ух… ух… ух, — бормотал сэр Джек, диктуя ритм.

С этого момента Люси старалась на него не смотреть. Вначале она пыталась быть объективной: в конце концов, ее зовут Хизер, а это — полезная, хорошо оплачиваемая работа и практика одновременно. Но она обнаружила, что странным образом может полностью абстрагироваться от происходящего, лишь уходя в свои обязанности с головой, убедив себя, что она и вправду Люси, а перед ней, голый, в одном голубом чепчике, отшвырнув пеленку, лежит самый настоящий Крошка Виктор.

— Ух… ух… — продолжал он, пока Люси брызгала маслом на его анус. — Ух… ух… — Он выпятил ляжки, намекая, чтобы она получше смазала яички. — Ух… ух, — потише, чуть более ворчливо, что означало «вот так правильно». Затем, громко, по-взрослому рыча, он сообщил: — Ка.

— Крошка хочет какать? — спросила она поощрительным тоном, словно не была до конца уверена в его способности совершить это подвластное лишь самым замечательным Крошкам деяние.

Некоторые Крошки предпочитали, чтобы им говорили: «Нельзя какать», и слушались. Другие хотели услышать «Нельзя какать», чтобы насладиться своим правонарушением. Но Крошка Виктор был настоящим Крошкой; его настойчивые требования не имели никакого тайного подтекста. Финал близится, понимала Люси.

Ляжки напряглись, Люси надавила своими блестящими руками, и сэр Джек Питмен, предприниматель, новатор, генератор идей, покровитель искусств, волшебник, созидающий очаги кипучей жизни на месте заброшенных руин, сэр Джек Питмен, не просто бизнесмен, но Бизнес-Супермен, сэр Джек Питмен, пророк, мечтатель, человек действия и патриот, издал гортанное крещендо, которое завершилось громовым сфорцандо: «КА-А-А-А-А-А-А-А!!!» Он испустил трескучие ветры, обдал спермой ладони Люси и эффектно обкакал пеленку.

Некоторые Крошки любят, чтобы их подмывали, вытирали, сушили и присыпали тальком, что

обходится в еще несколько тысяч евро надбавки и не особенно нравится девушкам. Но в данном случае Люси может быть свободна; Крошка Виктор предпочитает, чтобы в этот момент его оставляли одного. Финальная сцена фильма была такова: выпрыгнув из коляски и мужая на каждом шагу, он направляется в душ. Как сэр Джек одевается, Гэри Десмонд запечатлеть поленился, — возможно, его раздражали медлительность или нарциссизм этого процесса.

Тетушка Мэй, как всегда, проводила Виктора до двери, поблагодарила за шерри и выразила надежду, что в будущем месяце увидит его вновь. «Придет ли он?» — гадала она про себя. Ей не хотелось терять одного из самых постоянных племянников. Однако если он имел отношение к той ужасной бойне… а полковник Джеймс был диво как щедр… и эти фестоны для коляски, их же не упомнишь… да и девушки сранок не любят. Говорят, что даже для Крошек — это уж слишком…

Сэр Джек медленной рысью покинул «Ардох» и, насвистывая, достиг своего лимузина. Он чувствовал себя помолодевшим. Вуди, зажав под мышкой фуражку, уже распахивал дверцу. Соль земли — Вуди и ему подобные. Отличный шофер; и предан как собака. Не чета молодому Харрисо-

ну — в кои-то веки тому выпал шанс повозить сэра Джека, а он нос задрал. Харрисону лишь бы домой свалить да с мисс Кокрейн покувыркаться. А эта — футы-нуты-интриганка, решила растлить Хранителя его Мыслей. И все же даже краткое размышление об их убогих сношениях не поколебало его благодушия. Преданность. Да, у дома надо будет дать Вуди хорошие чаевые. А что послушаем по дороге? Может, Седьмую? Поддерживает в тебе бодрость, если ты и так в духе, снимает печаль, когда грустишь. Да, Седьмую. Старина Людвиг свое дело знал.

* * *

Королевский самолет, пилотируемый его величеством, вылетев из Норхольта, взял курс на Вентнор. Так считал его величество — и, в общем, не ошибался. Но после ряда аварий с участием особ королевской крови была введена в действие система особого контроля. Официальный второй пилот теперь присутствовал в кабине лишь для проформы — его нецелесообразность доказал принц Рик, по трагической случайности спалив дотла детский садик. Сложив руки на коленях, он должен был улыбаться и поддакивать, дабы король-пилот смотрел на него свысока. Однако

же навигационные решения короля выполнялись с легким запаздыванием — вначале они поступали в Олдершот, где их визировал и практически осуществлял сам главнокомандующий ВВС. Сегодня, при чистом небосклоне и легком юго-западном бризе, его величество вел машину практически сам. Олдершот почти что отдыхал; а второй пилот, улыбаясь благостному пейзажу, дожидался встречи с эскортом, назначенной чуть западнее Чичестера.

И вот они вынырнули из-за горизонта, курносые и дребезжащие, два «спитфайра» и один «харрикейн» — покачивая закругленными крыльями, готовые проводить летящую быстрее молвы сверхсовременную машину его величества на Остров, где сегодня должно было состояться Торжественное Открытие. Олдершот, временно перехватив штурвал, сбавил скорость до оговоренного темпа. «Спитфайры» пристроились по бокам, «харрикейн» же прикрыл его величество с хвоста.

Сверхсовременная радиоаппаратура, осуществлявшая связь между истребителями, накладывала на переговоры летчиков исторически верные звуки трескучих помех.

— Сэр, докладывает командир эскадрильи

Джонстон, позывной «Джонни». По левому крылу вас сопровождает командир звена Смит, позывной «Не-Спит», а по правому — лейтенант ВВС Догсон, позывной «Дог».

— Добро пожаловать на борт, джентльмены, — ответил его величество. — Ну что, расслабимся и оттянемся? До связи?

— До связи, сэр.

— Чисто из любопытства, о какой связи речь, господин комэск?

— О радиосвязи, ваше величество.

— Уж не о внебрачной ли?

— Простите, ваше величество, не пойму, о чем вы.

— Шучу, комэск, шучу. Сеанс окончен.

Покосившись на второго пилота, его величество разочарованно встряхнул головой. Сегодняшнее утро во дворце началось со сценарной планерки; ожидая вылета, он репетировал текст с Денизой, и та просто уссывалась. Дениза — настоящий друг, товарищ и сестр. Но публика, оказывается, не врубилась. На фиг, спрашивается, сценаристы получают свои бабки?

В районе Селси под крыльями открылось море. Ла-Манш. Они взяли курс на юго-запад.

— Ну что: дивный сей алмаз в серебряной

оправе океана? — риторически спросил его величество у второго пилота.

— Верно сказано, сэр, — кивнул тот невозмутимо, словно привык слышать от короля такие фразы каждую минуту.

Маленькая эскадрилья летела над волнами. Король всегда впадал в легкую меланхолию, осознавая, как недалеко до моря, как мало его королевство по сравнению с былыми владениями предков. Всего несколько поколений назад его прапра-не-упомнишь-сколько-прабабка царствовала на трети земного шара. Во дворце его воспитатели, находившие у подростка легкий комплекс неполноценности, частенько доставали с полок потрепанные атласы, дабы продемонстрировать ему, каким розовым был когда-то мир, какое великое наследие получил он по праву рождения. Ну и где все это? Справедливость и великолепие, спокойствие и сила, славное звание «Самой Крупной Шишки», мать вашу, — все куда-то кануло. Спасибо вам большое, господа Иностранцы! Теперь ютимся на пятачке, курицу выгнать некуда; старый король Альфред, ну, который лепешки сжег, и тот больше имел. Как любил говорить его величество Денизе: если Англия не возьмется за ум, придется вслед за

Альфом податься в хлебопеки.

Он все время отвлекался; порой ему казалось, что самолет летит сам собой. Тут в его ушные перепонки ударил дикий треск.

— На трехчасовом румбе бандиты, сэр.

Его величество посмотрел туда, куда указал второй пилот. Впереди, перпендикулярно их курсу, летел маленький самолетик, за которым тянулось длинное полотнище. «Сэнди Декстер и газета „Дейли“ приветствуют его высоч.», — прочел он.

— Вот ведь хренотень, — пробурчал под нос король. Обернувшись, он прокричал в распахнутую дверь салона: — Эй, Дениза, иди глянь, какая хренотень.

Королева, игравшая в скрэббл, собрала фишки в ладошку (вдруг фрейлине захочется сжульничать!) и всунула голову в кабину.

— Хренотень, — заявила ее величество. — Вот ведь хренотень.

Им обоим Сэнди Декстер был абсолютно не нужен. По общему мнению его и ее величеств, Декстер был грязный подонок, а «Дейли» не годилась даже на подтирки в деревенском нужнике. Естественно, «Дейли» читали, таясь друг от друга, оба: надо же знать, какой гнусной кле-

ветой пичкают их доверчивых подданных. И потому королева Дениза узнала о регулярных визитах супруга к этой суке, каких мало, той самой, которой грудь в Америке делали, — к Дафне Лоустофт. Пусть только сунется во дворец при Денизе — она ей свою пластическую хирургию устроит! Тем временем именно газета «Дейли» оповестила короля, что внезапный и похвальный интерес его супруги к защите дельфинов разделяет некто с аквалангом, чье имя его величеству было больно даже произнести. Удивительно, как подчеркивают фигуру резиновые костюмы для аквалангистов, — реклама не врет.

Теперь же они узрели, как маленький «апаш» Декстера, развернувшись, вновь пошел им наперерез. Его величество без труда вообразил, как подлая ищейка, хихикая, указывает фотографу, куда направить бесстыжее око телеобъектива. Снимок кабины у них наверняка уже есть.

— Хорек-Королек, — взмолилась королева. — Сделай что-нибудь.

— Вот ведь хре-но-тень, — повторил король. — Как нам отделаться от этого грязного подонка?

— Вас понял, сэр.

Комэск Джонстон (позывной «Джонни»), набрав высоту, взял курс на перехват и вскоре

настиг «апаша» с возмутительным хвостом. Ну что, в петуха и курицу сыграем? Тут же Джонстон подумал: «А не припугнуть ли писаку по-настоящему?» От вчерашней репетиции «Битвы за Британию» в бортовом пулемете оставался еще кое-какой боезапас. Всадить, что ли, пыж ему в задницу? Авось обкакается. Журналюги хреновы.

«Харрикейн» наседал «апашу» на хвост. Крикнув в шлемофон: «Этот — мой!» — Джонстон поймал цель в прицел, нажал гашетку и почувствовал всем телом, как задрожал самолет, выпуская две восьмисекундные очереди. Джонстон резко задрал нос самолета, как советовал учебник, и захихикал себе под нос, но тут радиомолчание прервал до боли знакомый голос «Не-Спита» Смита.

— Ни хера себе… — протянул он, не скрывая эмоций.

Комэск оглянулся. Вначале он не увидел ничего, кроме разрастающегося огненного шара. Медленно-медленно шар превратился в череду отвесно падающих обломков, над которой свободно парило нетронутое полотнище с приветствием. Парашютов не было видно. Время ползло как улитка. В эфире воцарилась полная тишина. Пилоты и пассажиры королевской эскадрильи

провожали обломки «апаша» глазами, пока те не ударились о далекую водную гладь и, слегка подпрыгнув, затонули.

Джонстон-«Джонни» вновь прикрыл королевский самолет с хвоста. Из дымки постепенно проступили очертания скалистого восточного побережья Острова. Затем послышался голос лейтенанта Догсона-«Дога».

— Запишите в бортовой журнал, шкипер, — заявил он. — По моему мнению, у него отказал двигатель.

— Фриц на свою бомбу сел, — добавил Смит-«Не-Спит».

Последовала долгая пауза. Наконец в эфир вышел его величество, осмысливший инцидент.

— Мои поздравления, комэск. Бандитам указали на место, я бы сказал.

А королева Дениза, одолжив три буквы у фрейлины, звонко плюхнула на приборный щиток слово «подонок».

— Проще пареной репы, сэр, — ответил Джонстон-«Джонни», припомнив свою финальную реплику из «Битвы за Британию».

— Но я бы напомнил, что болтун — находка для шпиона, — добавил его величество.

— Болтун — находка для шпиона, сэр.

Эскадрилья начала снижаться, делая круг над Вентнорским аэропортом, и получила разрешение на посадку. Когда дверь самолета распахнулась и духовой оркестр грянул «Королевский марш», его величество попытался припомнить, что же такого, собственно, сказал. Почему комэск, внезапно озверев, расстрелял Сэнди Декстера над Ла-Маншем? Как ужасно всегда находиться в центре общественного внимания: самые безобидные слова понимают не так. Тем временем командир эскадрильи гадал, кто и как умудрился заменить холостые патроны боевыми.

* * *

Отряд дюжих парашютистов в раздутых кринолинах, с плетеными корзинками, которые были доверху наполнены резиновыми, надежно склеенными яйцами, слетел с безветренных небес к деревенской общинной лужайке, что расстилалась перед Букингемским дворцом.

— Господи ты Бетси! — взревел с трибуны сэр Джек.

Его величество, стоявший рядом, изнывал от усталости. День был жаркий; кроме того, на дне его души все еще не утихали угрызения совести из-за вчерашнего воздушного боя с Сэнди

Декстером. Дениза, правда, головы не потеряла; молодец Дениза — лучший друг, товарищ и сестр. Но сам король втайне чуть-чуть расстроился — все-таки нехорошо сбивать журналистов — и даже спросил своего референта, нельзя ли помочь вдове Декстера анонимным пожертвованием. Референт обратился к пресс-секретарю, который доложил, что к семейным узам Декстер, судя по всему, не стремился — если честно, кое-какие его наклонности этому препятствовали, — что несколько утешило его величество.

Плюс — торжественная встреча в аэропорту; конечно, Остров — место необычное, вот только приветствие сэра Джека Питмена мало чем отличалось от приветствий некоторых президентов, чьи имена он тактично утаит… хорошо еще Питмен не полез целоваться. Потом прокатились на вертолете. Остров с птичьего полета — ну, это было еще ничего, забавно. Этакий видеодайджест Англии: вот Биг-Бен и тут же — музей Шекспира в доме Анны Хэтэуэй, а рядышком меловые скалы Дувра, стадион Уэмбли, Стоунхендж, родной старый дворец и Шервудский лес. Робин Гуду они послали сообщение на пейджер; в ответ разбойники обстреляли вертолет из луков.

— Бессовестные канальи, — проорал Питмен, —

сладу с ними нет.

Его величество засмеялся первым и, выказывая свое знаменитое королевское хладнокровие, сострил в ответ:

— Хорошо еще вы им зениток не дали.

Потом был бесконечный строй рук, протягиваемых для пожатия, всякой твари минимум по штуке — Шекспир и Фрэнсис Дрейк, ослик Мафин и ветераны из госпиталя в Челси, и целая футбольная команда, и доктор Джонсон (кошмарный, кажись, тип), Нелл Гвинн, Боудикка и больше сотни далматинцев, мать их за ногу. Странное это дело — здороваться за руку с собственной прапра-не-упомнишь-сколько-прабабкой, тем более когда она шуток не понимает и строит из себя королеву-императрицу. И кстати, еще неясно, хорошо ли это — представлять ему Оливера Кромвеля. В сущности, большой моветон. А вот Нелл Гвинн — о-го-го-девка, подумал он, эта самая штучка с вырезом и апельсины, знаете ли… Но Дениза умудрилась как-то так спросить: «Думаешь, они настоящие?» — словно холодной водой обдала. Все-таки стервоза она, эта Дениза; лучший друг, товарищ и сестр, но иногда стервенеет чисто так. Если бы не ее острый нюх на косметическую коррекцию… а в том, что касалось косметической

коррекции, его величество был человеком старой закалки, то есть мог любоваться красотой лишь в той мере, в какой не подозревал о ее рукотворном происхождении. Перед его мысленным взором развернулась сцена: шаловливая возня, апельсины катятся под кровать, дружище Хорек-Королек заявляет… как там говорят лягушатники?.. право сеньора… и в самый неподходящий момент в голове всплывают слова Денизы: «Думаешь, они настоящие?» Вот облом бы вышел.

Ланч. Куда ни приезжаешь, от ланча никуда не деться. Данный прошел бы лучше, если бы ему поменьше подливали эджстоунского вина, которым, как заключил его величество, Остров гордится зря. Затем — многочасовое стояние на почетной трибуне под жгучими лучами солнца. Мимо промаршировали гвардейцы, проехала колонна празднично украшенных лондонских такси (откровенно говоря, все равно что у окна в Бук-хаусе стоять), проползли исторические «живые картины» и карнавальные колесницы, стонущие под грузом мифов. Он увидел бифитеров и малиновок шестифутового роста, слаженно пляшущих на снегу, который почему-то не таял от зноя. Он внимал духовым и симфоническим оркестрам, рок-группам и оперным дивам — все

это были виртуальные проекции. Прогарцевала на коне леди Годива, и из невинного любопытства он поднес к глазам бинокль — надо же было проверить, виртуальная она или нет? Получив тычок в левый бок, он повелительно поднял царственную шуйцу, призывая королеву к молчанию. Впрочем, на людях Дениза знала свое место, и обошлось без гадких фразочек о целлюлите и подтяжках. Да, леди Годива — это класс.

— Повезло лошадке, — шепнул он мистеру Питмену, стоявшему справа.

— Верно, ваше величество. Но, позвольте добавить, я сам человек семейный.

Бли-и-ин! Что ж это на него сегодня все ополчились? Вот и утром, когда облетали Остров, специально сделали крюк к какому-то Мемориальному пруду. Подумаешь, деревенский пруд с утками и плакучими ивами! Но толстяк-хозяин, закатив глаза, понес байду не хуже архиепископа Кентерберийского.

И вот теперь эти спецназовцы, или кто они там, все как один наряженные бабами, держа корзинки яиц, спускались на парашютах чуть ли не ему на голову под звуки какой-то патриотической фонограммы. Поди знай, кого они изображают — нить сюжета он давно уже потерял. Сперва был

типа как «Королевский турнир», а потом вообще чушь собачья. Он вовсе не удивился бы, если бы все человечество плюс весь мир животных и еще миллион человек в костюмах растений прошли мимо него гуськом, требуя, чтобы он поздоровался с каждым за руку и словесно, одновременно вешая на всякую шею по медали. Эджстоунское бурлило в желудке; музыка рвала уши.

Но гены Виндзоров были даны ему не зря. Предки передали по наследству несколько профессиональных хитростей. «Не откладывай визит в уборную на потом» — гласило Правило Номер Раз. Правило Номер Два: «Переступай с ноги на ногу — пока на одну опираешься, другая отдыхает». Правило Номер Три открыла Дениза: «Всегда хвали то, что не откажешься позднее принять в подарок». А Правило Номер Четыре изобрел он сам: «Когда вконец затошнит от всей этой мутотени, когда совсем уже подохнешь со скуки, повернись к хозяину, — тут он повернулся к Питмену, — и скажи погромче, чтобы вокруг все слышали: „Отличное шоу“».

— Спасибо, ваше величество.

Покончив с комплиментами, король понизил голос:

— И отличная, извините за дерзость, леди Годи-

ва. Просто класс.

Сэр Джек продолжал глядеть перед собой, наблюдая, как трансвеститы из спецназа сворачивают свои парашюты. И всякий подумал бы, что сэр Джек именно их имел в виду, когда сказал:

— Она большая ваша поклонница, ваше величество, если вы меня извините за дерзость.

Фу-ты ну-ты! Старый ханжа. Что ж, авось день не пропадет зазря. Возможно, Денизе понадобится раньше срока вылететь домой.

— Никаких речей ни при какой погоде, — продолжал сэр Джек по-прежнему вполголоса. Вот ведь хрень какая! Дедуля буквально мысли читает! — Ну разве что сами захотите. Никаких налогов. Никакой желтой прессы. Нерегулярные появления королевских особ на публике, хотя большую часть бремени возьмут на себя отлично подготовленные двойники. Никаких занудных встреч на высшем уровне. Разве что сами захотите повидаться с кем-то, и я вполне пойму: родственный долг — дело серьезное. И разумеется, *строго* никаких велосипедов.

Короля предостерегали от каких бы то ни было прямых переговоров с Питменом, прослывшим скользким типом, а потому его величество огра-

ничился фразой:

— Знаете, в велосипедах есть что-то весьма неприличное. Колени, знаете, как-то так торчат…

— Двойное остекление, — продолжал сэр Джек, указав подбородком на Букингемский дворец. Как ни странно, в половинную величину здание смотрелось лучше. — Спутниковая антенна, кабель, цифровое телевидение. Бесплатная телефонная связь со всем миром.

— И что с того?

Последнее замечание покоробило короля своей бесцеремонностью. Он воспринял его как бестактный намек на тот факт, что после последнего вотума порицания, вынесенного палатой общин, в Бук-хаусе были установлены таксофоны. Нет, хватит! Хватит с него этой жарищи, этого назойливого хозяина и этого хренова вина.

— А почему вы думаете, что меня хоть капельку волнуют эти несчастные телефонные счета?

— Не сомневаюсь, что они вас не волнуют, ваше величество, не сомневаюсь. Мне просто подумалось, что не очень-то удобно бегать к автомату каждый раз, когда необходимо отправить ВВС в атаку. Если вы улавливаете мой намек.

Король продемонстрировал сэру Джеку свой

строгий медальный профиль, покручивая на пальце кольцо с печаткой. «Если вы улавливаете мой намек». Тут и захочешь не уловить, ничего не выйдет. Все равно как попасть под ветры Денизиных мастифов.

— А вот и они. Легки на помине.

Король задумался, получил ли этот продувной Питмен какой-то сигнал или ему просто повезло. Неясно. Но, словно по заказу, в небе появились два «спитфайра» и один «харрикейн», пилотируемые, как подтвердил голос из репродукторов, лейтенантом Догсоном-«Догом», командиром звена Смитом-«Не-Спитом» и командиром эскадрильи Джонсоном-«Джонни». Снизившись, они пронеслись на бреющем над почетной трибуной, покачали крыльями, сделали несколько «бочек» и «мертвых петель», постреляли холостыми и выпустили красно-бело-синюю дымовую завесу.

— Чисто из спортивного интереса, — проговорил король, — и не в обиду вам, как постоянно выражаются мои многоученые советники. Дома меня в случае чего всегда защитит целая армия, ВМС и ВВС, черт подери. А тут у вас — три музейные колымаги с рогатками. Думаете, господ Иностранцев ими припугнешь?

Сэр Джек, распорядившийся зафиксировать

беседу, остался доволен фразой, которую под давлением обстоятельств можно было бы использовать как очередной недипломатичный ляп его величества. Пока же он просто взял ее на заметку вкупе с ворчливостью короля, его любовью к алкоголю, пресыщенностью и похотливостью.

— Не в обиду вам, ваше величество, — ответил он, — э-э-э, признаюсь, я предпочел бы отложить подобные дебаты до моей следующей встречи с вашими многоучеными советниками… и все же сболтну, что вы бы очень удивились, узнав, как дешево в наше время стать ядерной державой.

Королева Дениза вылетела в метрополию на следующий день, чтобы вернуться к своей благотворительной деятельности. Король отменил рабочий завтрак, придя к решению, что на «переговорах о переговорах» наметился прорыв в сторону собственно переговоров, требующий его личного присутствия. Леди Годива оказалась ярой патриоткой, а ее тело, насколько он мог судить, не знало ни целлюлита, ни скальпеля пластического хирурга.

Как сообщила «Лондон Таймс», ныне выходящая в Райде, в четырех разных бортовых журналах появились совпадающие между собой во всех подробностях записи о том, что три дня

назад в десяти милях южнее Селси-Билл видели неопознанный легкий самолет. Все очевидцы сообщали, что машина неожиданно потеряла управление. Надежды на то, что уцелел кто-то из находившихся на борту людей, не было. «Таймс» подтвердила, что страна потеряла известного миллионам читателей деятеля желтой прессы и видного фотографа, скандально знаменитого своими драками с представителями высшего света. Корпорация «Питко» сделала специальное заявление, подтверждающее, что останки самолета затонули в территориальных водах Острова и что могилам во веки веков будет оказываться должное почтение. Два дня спустя, когда переговоры завершились с положительным исходом, сэр Джек Питмен пролетел над местом трагедии в своем служебном вертолете. Широко улыбаясь, он скинул на волны шикарный венок.

* * *

Наиболее подходящим для атаки был сочтен день шестидесятипятилетнего юбилея сэра Джека. Сидя в своем роскошном рабочем зале — точной копии кабинета из первого «Питмен-хауса», — сэр Джек вызывающе выпячивал грудь, украшенную подтяжками с Вестминстерским

дворцом. Ну и что, если он сам себе закрыл дорогу в палату лордов? Пусть. Всякие дурни и остолопы из всяческих партий, которых он уже десятки лет осыпал более чем щедрыми пожертвованиями, упустили шанс одеть его в горностаевую мантию. Ну и пусть. Маленькие людишки вечно подставляют подножки великим; лицемеры получат по заслугам. Подумать только, давным-давно какой-то желторотый инспектор из Министерства торговли и промышленности, ни черта не смыслящий в практической стороне современной коммерции, решил взлететь по служебной лестнице на дешевой фразе. Назвать сэра Джека Питмена «честным, как Тарас Бульба», — жалкая расистская клевета. Особенно гадостный привкус был у высказывания: «Я бы его не допустил даже бычками на базаре торговать». Тогда он приказал доставить в скромный домик инспектора в Рейгейте центнер свежих бычков — в присутствии целой своры писак, дабы унижение осталось в истории; но, увы, кажется, намек был слишком тонок. Проклятый инспектор повернул дело так, что бычки выглядели взяткой. Ситуация вышла из-под контроля, и добродушная шутка сэра Джека насчет того, что бычки — метафора такого его свойства, как конструктивное упрямство, была

понята превратно.

Что ж, пришел день, когда все эти депутатишки, своекорыстные министры, лицемеры и прочие людишки поймут, на кого подняли руку. Скоро он всю грудь себе медалями завесит, если захочет, дарует себе хоть сотню титулов. Что, например, сталось с родом Фортюбисских? Славное имя легко воскресить. Первый барон Фортюбисский и Бембриджский? Однако, заглядывая в глубины своей души, сэр Джек зрел там извечную простоту — да что там, аскетизм! Конечно, внешними условностями пренебрегать не следует — много было бы толку от доброго самаритянина, не имей он чем заплатить хозяину гостиницы? — но нельзя и глушить в себе человека. Нет, скорее всего, ему лучше остаться простым сэром Джеком — это как-то уместнее.

Все активы компании были переведены в офшорные зоны, то есть спасены от мелочно-мстительного Вестминстера. Срок аренды «Питмен-хауса-1» истекал через пару месяцев, инвесторов кормили «завтраками». Конечно, со временем им перешлют кое-какие товары и движимое имущество — в случае, если правительство Великобритании не распорядится о его конфискации. На конфискацию сэр Джек

скорее надеялся: тогда всех мелкотравчатых людишек и лицемеров можно будет потащить в Международный суд. И вообще, его уже проинформировали, что большую часть офисной техники пора заменить новыми моделями. Кстати, к персоналу это тоже относится.

Робкие адъютанты сэра Джека утверждали, что не следует наносить удар по всем направлениям сразу — дескать, у прессы просто глаза разбегутся. Сэр Джек смиренно возразил: настал час Большого Взрыва; тут вам сюжет для многотомника, а не сенсация-однодневка. И вообще, как это сделать? Чтобы это сделать, надо это сделать. Итак, в тот день центр событий будет стремительно перемещаться из Рейгейта в Вентнор, из Вентнора — в Гаагу, из Гааги — в Брюссель. Для Рейгейта сэр Джек зарезервирует уголок своего сердца и два разворота в одной из своих газет. Пресловутый инспектор МТП, сделавший за последние годы отличную карьеру, сядет завтракать со своей прелестной женой и с удивлением обнаружит среди утренней почты несколько заказных писем с адресами, написанными его собственной рукой, и южноамериканскими марками. Не успеет он закрыть дверь за балагуром-почтальоном, как вновь позвонят — и окажутся это пуритански

настроенные представители Королевского таможенно-акцизного управления. Последние, флаг им в руки, наделены широчайшими полномочиями в плане вторжений и обысков и, более того, очень сурово относятся — благодаря недавно проведенной кое-какими газетами кампании — к гнусной торговле смертоносными наркотиками, которую осуществляют двуличные почтенные чиновники, чья бесчеловечная алчность затягивает наше молодое поколение в адскую трясину.

Примерно одновременно с тем, как некто в темных брюках с мокрым пятном покидал псевдотюдоровский особняк в Рейгейте, а подозрительно эрудированные папарацци вопили: «Улыбочку, мистер Холдсуорт», сэр Джек размахивал своей губернаторской треуголкой, восседая в изготовленном за свой счет открытом ландо. Вдоль улиц, ведущих к новому дворцу островного совета в Вентноре, толпились сотрудники «Питко». Вначале сэр Джек в каске, потрясая золоченым мастерком, принял участие в торжественной укладке последнего кирпича и позволил заснять сцену своего непринужденного братания с кровельщиками и каменщиками. Затем, спустившись на землю, сэр Джек разрезал энное количество ленточек, объявил резиденцию

открытой и официально передал ее во владение народу Острова, олицетворяемому Гарри Дживонсом — главой совета. Затем на экранах появились внутренние помещения дворца совета, где сей орган сам себя привел к присяге и немедленно принял к рассмотрению свой последний законодательный акт. Члены совета единогласно объявили, что после семи веков порабощения Остров свергает иго Вестминстера. Сим была провозглашена независимость, совету присвоен статус парламента, а патриотов-островитян призвали повсеместно размахивать флагами, которые были изготовлены на деньги «Питко» и розданы толпе эскортом сэра Джека.

Не сходя с места, парламент издал свой первый административный указ — присвоил сэру Джеку Питмену титул губернатора Острова. То была чисто номинальная, почетная должность, наделенная, впрочем, остаточными правомочиями — начертанными лучшим каллиграфом на тончайшем пергаменте — на то, чтобы в случае угрозы благополучию нации приостанавливать деятельность парламента и действие конституции и править единолично. Эти правомочия были изложены и записаны по-латыни, дабы сгладить их воздействие на голосующих.

Сэр Джек, сидя на золоченом троне, напомнил о священном доверии и воскресил в памяти собравшихся образы прежних капитанов и губернаторов Острова, в особенности принца Генри Баттенбергского, который доказал свой патриотизм, героически погибнув на Ашантийской войне 1896 года. Следующим губернатором — тут сэр Джек подчеркнул, что в его грамматике мужской род всегда объемлет женский, — сделалась вдова принца, высокородная принцесса Беатрис; она правила вплоть до своей смерти, последовавшей почти полвека спустя. Сэр Джек смиренно признался в неведении относительно даты своего собственного переезда в мир иной, но простосердечно предложил в преемники свою обожаемую леди Питмен.

Пока колокола Вентнора торжествующе звонили, на той стороне Ла-Манша молодая уроженка Острова, выбранная лично сэром Джеком и олицетворявшая Изабеллу де Форс, подала в Международный суд в Гааге иск с требованием признать недействительной сделку о купле-продаже Острова, заключенную в 1293 году. Затем боевая колесница в стиле Боудикки отвезла девушку в «Дойчебанк», где она открыла счет на имя «Народа Великобритании» и положила на

него сумму в шесть тысяч марок и один евро. В качестве телохранителей ее сопровождала дружина из крестьян конца тринадцатого века, чье присутствие было призвано подчеркнуть, что так называемая покупка Острова Эдуардом I являла собой обман народных масс, которым толком не объяснили суть договора. Среди крестьян были менеджеры «Питко», выражавшие образными, тщательно отрепетированными фразами свое отношение к аннексии и семи векам замалчивания преступления.

Затем колесница отвезла Изабеллу де Форс к вокзалу, где ее ждал специальный экспресс на Брюссель. В бельгийской столице ее встретили юридические представители фирмы «Питмен-Офшор-Интернешнл», подготовившие заявление Острова с просьбой о срочном приеме в Европейский союз.

— Настал решающий момент, — заявил глава команды «ПОИ» прессе всего мира, — наступила кульминация долгой борьбы островитян за свободу, борьбы, на протяжении веков протекавшей под знаком героизма и бесстрашия. Отныне Остров смотрит на Брюссель, Страсбург и Гаагу как на гаранты своих прав и свобод. Этот момент открывает грандиозные перспективы, но он

же чреват огромной опасностью: Союз должен действовать решительно и твердо. Было бы более чем трагично допустить прямо на северном пороге Европы повторение истории с бывшей Югославией.

На лондонской фондовой бирже случился такой Черный вторник, что в обед торги приостановили без указания сроков, зато акции «Питко» по всему миру стремительно подскочили. В тот вечер, сидя у необаварского камина, в котором с пламенным патриотизмом горели дрова из возросших на Острове дубов, сэр Джек пил и пил. В мыслях, на видеомониторе и благодаря устным отчетам он вновь переживал произошедшее. Хихикал, переслушивая свои заранее записанные речи. Жонглировал полудюжиной телефонных трубок, делясь впечатлениями с каждым из своих восторженных слушателей поочередно. Любезно принял звонки от нескольких редакторов газет, желавших принести поздравления. Они называли событие «первым бескровным *coup d'etat*[68] в мире со времен…» — черт их упомнит, с каких времен. Твердили, что сделан Новый Шаг к Новой Европе. Долой шаблоны. Питмен-Миротворец.

---

[68] Сноски: 68
Переворот *(фр.).*

Приплели Давида и Голиафа. А также Робин Гуда. Ведущему обозревателю одного из самых интеллектуализированных изданий сэра Джека весь этот драматичный день напомнил «Фиделио»: как были разрублены оковы! О да, чувствовал всем сердцем новоиспеченный губернатор, некоему человеку все это понравилось бы. Почтительно склоняясь перед гением — нет, скорее с ощущением своей равновеликости ему, — он позволил славной «Героической» восславить свой триумф.

Тем слаще победа, чем хуже осознают ее истинную грандиозность те, кто ей аплодирует. К примеру, делать Остров членом Европейского союза он вовсе не собирается. Тамошнее трудовое законодательство, регулирование деятельности банков и прочее разное — это же просто катастрофа! Пусть Европа отвлекает от него Вестминстер, пока все не устаканится, большего от нее не требуется. Предложение выкупить Остров за шесть тысяч марок и один евро? Надо быть круглым дураком, чтобы воспринять его всерьез, а не как выстрел солью в зад метрополии; счет он закрыл, прежде чем пресса успела погрузиться в брюссельский поезд. Что же до попытки опротестовать законным путем договор от 1293 года

— дело гиблое: вообразите сами, какой ящик Пандоры откроет Европа, решив дело в пользу Острова. А этот гребаный островной парламент — нет, вы только поглядите на этих нахалов из совета, каждый сам себе Гарибальди… Так и тянет вскочить с губернаторского трона и сказать им, не по-латыни сказать, по-английски, чтобы каждый дурак и остолоп допер: «Через неделю я назначу перерыв в работе парламента». Нет, мудрено, не поймут. Надо будет выразиться попроще. Над нацией нависла угроза, проистекающая из нелепой уверенности парламента в своей способности самостоятельно руководить ею. Парламент распущен, поскольку ему тут просто-напросто нечего делать. Никаких заданий для парламента у него, сэра Джека Питмена, нет. А нахалы из совета пусть катятся с первым пароходом в Дьепп, если хотят. Правда, для них есть шанс воспользоваться своим недолгим опытом работы. Проект еще не закончил набор в группу обслуживания сюжета «Палата общин». Места на передних скамьях уже заняты, но все еще есть нужда в бессловесных статистах-заднескамеечниках, способных освоить начала хореографии: по сигналу спикера вставать с мест, размахивать, талантливо изображая горячность, документами,

а потом вновь плюхаться на свои обитые зеленой кожей скамьи. Также в их обязанности входят нечленораздельные, но осмысленные шумы и звуки: прежде всего презрительный лай, подхалимские стоны, неискренний смех и бормотание безумца. Будем надеяться, что это им по плечу.

Сэр Джек все пил и звонил. Звонил и пил. Выслушивал панегирик за панегириком. В два ночи он вызвал Марту Кокрейн и приказал ей привести ее жиголо, этого сопливого летописца, на тот случай, если в нем застоялась какая-нибудь смачная мечта. Собственно, вполне возможно, что он выразился: «сраный жиголо», от хорошего арманьяка язык распускается, знамо дело. В любом случае она состроила козью морду, что ее оторвали от ее черт их знает каких дел. Что до юного Пола, он окрысился на весь свет, как только сэр Джек позволил себе слегка фривольное замечание по поводу… Ох, да ну их всех нахер. Да, *нахер*. Плевать на все их необычайные способности и таланты — вокруг себя он хочет видеть людей, которые умеют *ра-до-вать-ся*. Не нужны ему наглые смутьяны вроде этих двоих — ишь, прихлебывают арманьяк, оскорбленно поджав губки. И в какой день? В такой день! Подобравшись к торжественному финалу вечера, сэр Джек

спонтанно решил распространить свой план реструктуризации и на эту парочку.

— Перемены на то и перемены, что подготовиться к ним не в силах никто. Это узнал на своей шкуре Вестминстер, это узнает и ваш так называемый Островной парламент, узнает как миленький. Если не опережаешь всех на шаг, опаздываешь на два шага. Большинство людей вынуждено бежать на месте только для того, чтобы угнаться за мной, пока я сплю. Например, вы двое.

Он сделал паузу. Ага, навострили уши. Сэр Джек смерил подчиненных прожекторным взглядом. Как и думал, как и думал: женщина нагло уставилась на него в упор, а мальчик сделал вид, будто что-то высматривает на подлокотнике кресла.

— Думаю, вы решили, что на денежные грядки сэра Джека как забрался, так и ходи руби капусту до самой пенсии. Что ж, у меня для вас сюрприз… меланхолики вы мои. Теперь Проект на ходу, и я не позволю, чтобы всякие нытики ему палки в колеса вставляли. Так что позвольте оказать вам честь и сообщить, что вы стоите первыми в списке на увольнение. Точнее, я вас уже выпер. Уже. Прямо сейчас. Считайте себя уволенными. И более того, согласно трудовому законодательству,

которое я проведу или не проведу через этот мой недоделанный парламент, и, кстати, согласно новым контрактам, имеющим обратную силу, а их уже кое-кто готовит, выходного пособия вы не получите. Вы уволены, мать вашу. И если вы не соберете свои манатки до первого утреннего парома, я их сам в море покидаю.

Быстро покосившись на Пола — тот кивнул, — Марта Кокрейн сказала:

— Что ж, сэр Джек, вы не оставляете нам никакого другого выхода.

— Не-а. Ни хера не оставляю. Могу сказать почему. — Он выпрямился в полный рост, демонстрируя свою ромбовидную фигуру, в очередной раз рыгнул, указал рукой поочередно на Марту и на Пола, а затем, то ли в качестве кульминации, то ли случайно, на себя. — Потому что, говоря попросту, потому что, как я всегда чувствовал, во мне есть извечная простота, потому что я гений. Так-то.

Он уже тянулся к своей барочной ручке звонка, готовый смыть из своей жизни эту придирчивую стерву и ее тупого жиголо, когда Марта Кокрейн произнесла два слова, которые он меньше всего ожидал услышать:

— Тетушка Мэй.

— Простите?

— Тетушка Мэй, — повторила она. А затем, смерив взглядом его пошатнувшуюся фигуру: — Сися. Пелека. Ка.

Глава третья

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МЕККА В СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ ОКЕАНА

Два года назад некая группа компаний, работающих в сфере досуга, открыла на Острове, неподалеку от южного побережья Англии, новый суперкомплекс. Вскоре это место завоевало популярность в кругах состоятельных туристов. Побывав там, наш обозреватель Кэтлин Сью спрашивает себя: «Может быть, опыт нового государства с простым названием „Остров“ окажется полезен не только для турфирм?»

Букингемский дворец в классический весенний день. В небесной вышине проплывают перистые облака, воспетые Уильямом Вордсвортом нарциссы облетают на ветру, гвардейцы в тради-

ционных «басби» — медвежьих шапках — стоят навытяжку перед своими сторожевыми будками. Решетку осаждает толпа взволнованных зевак, надеющихся хоть одним глазком увидеть короля и королеву Великобритании.

Ровно в 11 утра распахиваются высокие балконные окна с двойными стеклами и появляются всеобщие любимцы — монаршая чета. Их величества, улыбаясь, машут толпе. Стекла содрогаются от торжественного залпа десяти ружей. Гвардейцы берут на караул, фотоаппараты бешено щелкают, как старомодные турникеты в метро. Спустя четверть часа, ровно в 11:15, высокие окна вновь закрываются до следующего дня.

Однако реальность здесь неуловимо разбавлена иллюзией. Толпы и фотоаппараты — настоящие, как и облака. Зато гвардейцы — профессиональные актеры, Букингемский дворец — копия в половинную величину, а оружейный салют оцифрован и воспроизведен электронными устройствами. По слухам, даже их величества не подлинные, ибо контракт, подписанный ими два года назад с группой «Питко» (глава — сэр Джек Питмен), освобождает их от этого ежедневного ритуала. Наши источники в «Питко» подтверждают наличие в контракте с монархами статьи

о «сачковании», заверяя, однако, что король и королева не склонны отказываться от гонораров, которые полагаются за каждое появление в окне.

Итак, балаган? Да, балаган, а вернее, шоу-бизнес — и, расставляя все точки над «i», крупномасштабный. Вместе с первыми же Гостями (так здесь предпочитают именовать туристов) пришли Всемирный банк и МВФ. Их одобрение — вкупе с активной поддержкой портлендского центра нового мышления «Третье тысячелетие» — означает, что в ближайшие годы и даже десятилетия этому оригинальному Проекту будут неустанно подражать. Сэр Джек Питмен — автор идеи Острова — уступил место у руля другим, но все же не перестает ястребиным глазом следить за ситуацией со своего высокого поста Губернатора — поста, опирающегося на многовековую историческую традицию. Лицом «Питмен-хауса» в данный период является его генеральный директор Марта Кокрейн. Госпожа Кокрейн, сорокалетняя дама со стройной фигурой, мозгом университетской сборки, острым языком и целым гардеробом деловых костюмов от лучших дизайнеров, пояснила нашему корреспонденту, что одной из традиционных болевых точек туризма всегда был тот факт, что переезды между пятизвездоч-

ными достопримечательностями обычно долги и утомительны. «Помните, как вы умирали от скуки, едучи из „А“ в „Б“ через „Зет“? Помните пробки, состоящие исключительно из туристских автобусов?» Американцам, посещавшим лучшие достопримечательности Европы, все это знакомо не понаслышке: убогая инфраструктура, ничтожная пропускная способность, неудобные часы работы — все словно бы спланировано назло путешественнику. Здесь же даже открытки продаются уже с наклеенными марками.

Давным-давно это был остров Уайт, но его нынешние обитатели предпочитают иное, громкое в силу самой своей простоты название: они зовут это место Островом. Его официальный адрес уже два года, с момента провозглашения независимости, выдержан в бесшабашном пиратском стиле, столь характерном для сэра Джека Питмена. «Адм. обл. — Англия, страна — Англия» — начертало его перо. То есть «Англия, Англия». Нашим читателям непременно вспомнятся слова «Америка, Америка...».

Только такой своеобычный мыслитель, как сэр Джек, мог додуматься разместить на скромной площади в сто пятьдесят пять квадратных миль всю ту «Англию» в традиционном понимании

этого слова, которую захочется увидеть Гостю. В нашу эпоху вечного цейтнота очень даже неплохо посетить за одно утро Стоунхендж и дом Анны Хэтэуэй, отведать «обед пахаря», лежа среди меловых скал Дувра, а затем лениво прогуляться по суперунивермагу «Хэрродз» внутри лондонского Тауэра (причем вашу тележку с покупками покатят бифитеры!). Что же до переездов между достопримечательностями, то пропахшие бензином автобусы заменены экологически чистыми пони, запряженными в коляски. Если же пойдет дождь, к вашим услугам знаменитые черные лондонские такси или даже громадные двухэтажные автобусы. И те и другие не вредят окружающей среде, поскольку приводятся в движение солнечной энергией.

Стоит вспомнить, что история этого блистательного взлета к вершинам успеха началась с бурной критики. Планы «практически полного уничтожения острова Уайт», как это формулировалось в некоторых кругах, породили волну протестов. Теперь уже очевидно, что проблема была чересчур раздута. Памятники культуры и искусства, а также большая часть побережий и участки центральных холмов ничуть не пострадали. Но почти сто процентов жилого фонда

— домов, описанных активным противником Проекта, профессором Айвеном Фэйрчайльдом из Сассекского университета как «изящные бунгало межвоенного периода и середины XX века, возможно не слишком интересные в архитектурном смысле, но с необыкновенной явственностью сохранившие дух своей эпохи», — было разрушено до основания.

Разрушено — и все же не исчезло. В «Долине Бунгало» Гости могут побродить по тщательно воссозданной типичной улице до-Островной эры. Здесь вы найдете палисадники с декоративными каменными горками, боярышником и семействами гипсовых гномов (статуй большеголовых карликов). Дорожка, вымощенная «в лоскуток» (обломками бетонных плиток), ведет к двери с рифлеными стеклами. Мелодия музыкального звонка долго еще отдается в ваших ушах, когда вы ступаете на ковровую дорожку кричащей расцветки. Летящие утки на полосатых обоях, «мягкие гарнитуры» (наборы из софы и двух кресел) и стеклянные двери, ведущие на мощенный «в лоскуток» внутренний дворик. Вновь боярышник, висячие корзинки, гномы и антикварные спутниковые антенны. Довольно мило, но скоро приедается. Профессор Фэйрчайльд заявляет, что

«Долина Бунгало» — скорее пародия, чем реконструкция, ловкая подтасовка со стороны авторов Проекта, призванная обелить их преступления. Тем не менее он поневоле признает себя побежденным.

Остров принято ругать и за другое: он, дескать, предназначен лишь для элиты. Хотя большая часть расходов на пребывание на Острове оплачивается заранее, то есть входит в стоимость тура, чиновники иммиграционного ведомства, не интересуясь паспортами и справками о прививках, проверяют прибывших на кредитоспособность. Туроператорам настоятельно советуют оповещать клиентов, что те, состояние чьих банковских счетов не устроит власти Острова, будут отправлены назад первым же самолетом. В случае отсутствия мест на авиатранспорте нежеланных лиц высылают ближайшим рейсом парома, курсирующего между Островом и французским городом Дьеппом.

Недемократично? Марта Кокрейн возражает: «Мы всего лишь бережем свой дом». Вот как она аргументирует политику Острова: «Возможно, наши туры кажутся дорогими, но мы предлагаем вам то, чего вы еще никогда не испытывали. Кроме того, после визита к нам у вас не будет ни-

какого резона смотреть Старую Англию. Составив сметы, мы выяснили: чтобы обозреть „подлинники“, вы потратите в три-четыре раза больше времени. Так что наши „накрутки“ в действительности — вернейший способ сэкономить».

Слово «подлинники» она произносит с легким пренебрежением. Это намек на третье из основных возражений против Проекта — когда-то живо обсуждавшееся, а ныне практически забытое. Имеется в виду мнение, что достопримечательности привлекают туристов не только своей древностью, но и уникальностью. Дотошные исследования, проведенные «Питмен-хаусом», доказали, что оно мало соответствует истине. «В конце прошлого века, — поясняет мисс Кокрейн, — знаменитая статуя Микеланджело „Давид“, стоявшая на пьяцце де ля Синьория во Флоренции, была убрана и заменена копией. Оказалось, что популярность „копии“ среди туристов ничуть не упала. Более того, девяносто три процента опрошенных высказались в том духе, что, увидев эту точную копию, они не чувствуют никакой необходимости отправляться в музей в поисках подлинника».

Из этих исследований «Питмен-хаус» сделал два вывода. Во-первых, доныне туристы стекались

толпами к «подлинным» достопримечательностям, поскольку попросту не имели другого выхода. В прежние времена человек, желающий увидеть Вестминстерское аббатство, поневоле отправлялся к Вестминстерскому аббатству. Во-вторых, как показал случай с «Давидом», имея возможность выбирать между труднодоступным «подлинником» и удобной «копией», большинство туристов отдадут предпочтение последней. «И вот еще что, — добавляет мисс Кокрейн с лукавой улыбкой. — Разве вы не согласитесь, что предлагать людям более широкий выбор — будь то блюда на завтрак или исторические достопримечательности — это демократично и прогрессивно? Мы всего лишь следуем логике рынка».

И жизнь великолепнейшим образом доказала правоту Проекта. Оба аэропорта — Теннисон-1 и Теннисон-2 — работают практически с полной загрузкой. Приток Гостей превзошел самые оптимистичные ожидания. Остров набит битком — но работает спокойно и эффективно. Заблудились? На помощь немедленно придет какой-нибудь доброжелательный «бобби» (полицейский) или «бифитер» (стражник лондонского Тауэра). «Кэбби» (таксисты) свободно владеют как минимум

одним из основных туристских языков. Большинство даже говорит по-английски!

Мейзи Брэнсфорд из Фрэнклина, Теннесси, отдыхающая на Острове со своей семьей, сказала нашему корреспонденту: «Мы слышали, что в Англии все немножко обшарпанное и старомодное, — говорят, они не в силах, бедняжки, угнаться за быстрой поступью современного прогресса. Но, когда прилетели сюда, удивились ужасно. Так далеко от дома — а все как дома!» Пол Харрисон, главный советник Марты Кокрейн, курирующий стратегию и тактику в приложении к повседневной жизни Острова, поясняет: «Основополагающих принципов два. Первый — право клиента на выбор. Второй — никакого нажима. Мы никогда не пытаемся силком заставить людей наслаждаться, не внушаем им, будто им хорошо, когда им на самом деле плохо. Мы просто говорим: „Если эти достопримечательности вам не нравятся, у нас есть другие“».

Право клиента на выбор рельефно проявляется в том, как люди тратят свои деньги (в буквальном смысле). Мисс Кокрейн подчеркивает, что «Питмен-хаус» без труда мог бы надежно завуалировать финансовые операции с помощью путевок типа «все включено» либо мгновенно-

го снятия соответствующих сумм с кредитного счета клиента. Но, как показали исследования, большинство отдыхающих получает удовольствие уже от самого акта траты денег, причем очень важно, чтобы эти траты происходили при свидетелях. Итак, для тех, кто не может обойтись без пластика, придумана «Кредитная карта Острова» уникальной ромбической формы; при пользовании ею кредитный лимит вашей постоянной карты автоматически пополняется.

Зато любители финансовых авантюр могут вдоволь чесать в затылке, разбираясь в сложной системе настоящих старинных английских денег. Ваши карманы провиснут под тяжестью разноликих медных и серебряных монет: фартингов, полупенсов и пенсов, граутов и теннеров, шиллингов и флоринов, полукрон и крон, соверенов и гиней. Конечно, в традиционную игру английских пивных — шаффлборд, или «толкай полупенс», — можно играть и пластмассовыми фишками, но как же все-таки сладко прижимать палец к блестящему и увесистому кругляшу медной монетки! Заядлые игроки от Лас-Вегаса до Атлантик-Сити знают, как холодит ладонь серебряный доллар. Здесь, в казино «Остров», вы можете делать ставки, вытаскивая из бархатно-

го кошелька ангел-нобли (каждый равен семи шиллингам шести пенсам, каждый украшен чеканным силуэтом святого Михаила, убивающего дракона).

А каких драконов убили здесь, на Острове, сэр Джек Питмен и его команда? Если рассматривать это место не только как туристический комплекс — в чьем радужном будущем не приходится сомневаться, — но и как миниатюрное государство, каковым Остров благополучно является уже два года, какие уроки оно может преподать остальному миру?

Начнем с того, что на Острове полная занятость, что делает ненужными обременительные социальные программы. Левые критики упрямо утверждают, что эта достойная цель была достигнута недостойными средствами: всех стариков, тяжелобольных и иждивенцев «Питко» просто выслала в метрополию. Но от островитян что-то не слышно жалоб. Точно так же они не жалуются на отсутствие преступности, что позволило упразднить полицейских, службу надзора за условно осужденными и тюрьмы. Система медобслуживания социалистического толка, когда-то популярная в Старой Англии, заменена американской моделью. Каждый, будь

то Гость или житель, обязан иметь страховой полис; а все остальное обеспечивают вертолеты «скорой помощи», доставляющие заболевших в Питменовский корпус дьеппской больницы.

Ричард Поборски, аналитик из «Объединенного швейцарского банка», сказал нашему корреспонденту: «Я лично восхищен этими нововведениями. Остров — чисто рыночное государство. Правительство ни во что не вмешивается, поскольку никакого правительства нет. Соответственно, нет ни внутренней, ни внешней политики — только экономическая. Все сводится к взаимоотношениям между покупателями и продавцами. Рынок развивается свободно — его не калечат инициативы центрального правительства с его двуличными интересами и предвыборными обещаниями.

Уже не один десяток веков люди пытаются придумать, как им жить по-новому. Помните коммуны хиппи? Все они разваливаются — но почему? Потому что их создатели не понимают двух вещей: как устроены люди и как работает рынок. Но на Острове признали, что человек — это животное, движимое рынком, и рыночная стихия для него естественна, как для рыбы — вода. Воздержусь от пророчеств и просто ска-

жу: по-моему, я видел будущее и, по-моему, оно жизнеспособно».

Но это все — долгосрочные прогнозы. Побывать на Острове («НЕ ПРОСТО ОТДЫХ, НЕ ПРОСТО ОСТРОВ», как написано на рекламных плакатах) — это увидеть Англию такой, какой вы всегда себе ее воображали, только более чистой, комфортной, приветливой — словом, менее хаотичной. Археологи и историки могут возразить, что некоторые из ее памятников нельзя назвать подлинными в традиционном смысле этого слова. Однако, как подтверждают опросы «Питмен-хауса», основной контингент Гостей Острова составляют те, кто, решив впервые посетить Англию, сделал сознательный выбор между двумя товарами — «Англией, Англией» и Старой Англией. Что вы предпочтете: растерянно метаться на ветру где-то в недрах грязного Старого Лондона, тщетно пытаясь выспросить дорогу у потока бегущих рысью горожан: «Тауэр? А это где?» — или почувствовать себя почетным Гостем? На Острове, если вам захочется прокатиться на большом красном автобусе, вы обнаружите, что два или три из них примчатся веселой кавалькадой, прежде чем вы успеете вытрясти из кармана граутсы, а диспетчерша — поднести к

губам свисток.

Здесь вместо традиционного ледяного английского гостеприимства вам обеспечено радушие в интернациональном стиле. Ну а традиционная холодная погода? Она никуда не делась. Есть даже зона вечной зимы, где по снегу прыгают малиновки и можно поучаствовать в вековой местной игре — кидаться снежками в каску полисмена и удирать от него, пока он неуклюже скользит по льду. Также вы можете, надев противогаз военных времен, опробовать знаменитый лондонский туман, прозванный «гороховым супом». И дожди льют так, как льют. Но только снаружи. Однако какая же Англия, «настоящая» или иная, без дождя?

Несмотря на все демографические перемены, у многих американцев все еще пробуждаются родственные чувства и любопытство при мысли о маленькой стране, которую Вильям Шекспир назвал «дивным алмазом в серебряной оправе океана». В конце концов, именно отсюда отправился в плавание «Мэйфлауэр» (по четвергам в 10:30 можно увидеть сюжет «Мэйфлауэр поднимает паруса»). И это любопытство можно утолить только на Острове. Автор этих строк несколько раз посещала страну, которую в наше время все

чаще именуют Старой Англией. Но отныне туда будут вынуждены отправляться лишь ярые ненавистники комфорта или извращенцы, питающие некрофилическую склонность ко всему отжившему. С лучшим из того, чем была и остается Англия, можно безопасно и комфортно познакомиться на живописном и отлично оборудованном ромбе Острова.

* * *

Кэтлин Сью путешествовала инкогнито; расходы на поездку полностью оплачены «Уолл-стрит джорнал».

* * *

Не выходя из кабинета, Марта могла ознакомиться с положением дел на всем Острове. Посмотреть, к примеру, как кормят Сто одного далматинца, проверить, популярен ли среди посетителей дом викария в Хауорте, подслушать дружескую перепалку между сиволапым мужиком в смазных сапогах и токийским менеджером высшего звена. Ей без труда удавалось следить за ходом «Битвы за Британию», Процесса над Оскаром Уайльдом и Казни Карла Первого. На

одном мониторе король Гарольд, словно по зову рока, в последний раз поднимал глаза к небу; на другом — шикарные дамы в шляпках от Сиссинхерста высаживали рассаду и перечисляли виды бабочек, предпочитающих буддлею; на третьем рабочие покрывали искусственными ухабами поле для гольфа, названное в честь Альфреда, лорда Теннисона. Все эти картинки островной жизни, поступавшие с разных камер, Марта изучила так досконально, что уже и не помнила, видела ли их в реальности.

Бывали дни, когда она безвылазно сидела в кабинете. Но тут ей было некого винить, кроме себя самой, — раз уж решила строить отношения с сотрудниками по принципу открытых дверей, не жалуйся. Сэр Джек на ее месте наверняка поставил бы дело как в Версале: робкие просители толпились бы в приемной, а ястребиный глаз Питмена разглядывал бы их сквозь дырку в гобелене. Но сэр Джек смещен — теперь он сам проситель. В поле зрения камер порой попадало его ландо и сам сэр Джек, отчаянно машущий озадаченным Гостям треуголкой. Жалостное, честно говоря, зрелище: губернатор попал в собственноручно вырытую яму, сделавшись, как и уверял Марк членов совета, беспомощной

марионеткой, которая царствует, но не правит. Движимая сочувствием и цинизмом одновременно, Марта распорядилась выдавать ему побольше арманьяка.

Так, посмотрим: 10:15 — Нелл Гвинн. Привет из минувшего. Каким незапамятным прошлым казались теперь все эти споры в Комитете. В тот день доктор Макс сильно уел коллег и сэра Джека, но теперь очевидно: его демарш уберег их от будущих неприятностей. Потребовалось несколько докладов, чтобы Нелл все-таки не вылетела из английской истории; но, поскольку в Джеффов список Пятидесяти Самых-Самых Квинтэссенций она не попала, ее миф без зазрения совести задвинули на задний план.

Ныне она была милой, ничуть не честолюбивой девушкой, которая торговала соками в розлив в ларьке, стоящем в нескольких сотнях ярдов от дворцовой решетки. Однако ее натура была такой же концентрированной, как и соки, и в Нелл проглядывали черты той, кем она была когда-то, или, по крайней мере, той, кем историческую Нелл считали Гости, не исключая и читателей семейных газет. Волосы цвета воронова крыла, искорки в глазах, пикантная белая блузка с оборками, накрашенные губы, золотые украшения

и живость всех движений: английская Кармен. Однако сегодня утром она сидела перед Мартой в застегнутом до горла жакете, сама на себя не похожая.

— Нелл-два дежурит в ларьке?

— У Нелл-два грыпп, — ответила Нелл, сохраняя свой тщательно заученный простонародный выговор. — В лавке Конни сядит.

– *Кон-ни?* Господи, как же вы… — Марта связалась по интеркому с администраторами. — Пол, можешь решить одну проблему? В ларьке Нелл сидит Конни Чаттерли. Да, не спрашивай, я знаю. Вот именно. Можешь немедленно сварганить в реквизитной Нелл-два? Не знаю на сколько. Спасибо. Пока.

И обернулась к Нелл-1:

— Послушайте, правила вы знаете. В них все ясно написано. Если Нелл-два больна, вы напрямую связываетесь с реквизитной.

— Извините, мисс Кокрейн, просто я… э-э… в последнее время что-то совсем расклеилась. Нет, я неправильно выразилась. Я попала в несколько двусмысленное положение. — Нелл окончательно перестала быть Нелл, а экран перед Мартой подтвердил, что подлинная фамилия этой девушки — двойная и аристократическая,

а образование она получила в швейцарском пансионе.

Выждав, Марта переспросила:

— И что за неприятности?

— Ой, вы можете подумать, что я, ну, ябедничаю. Но с каждым днем ситуация все хуже. Я думала, мне удастся превратить это в шутку, понимаете ли, отделаться смехом, но, к сожалению… — Она приосанилась, расправила плечи. Все сходство с Нелл точно рукой сняло. — Я вынуждена подать официальную жалобу. Конни одобряет мое решение.

Конни Чаттерли и Нелл Гвинн пришли к единодушному выводу, что нынешняя хозяйка «Ларька Нелл» не обязана сносить непристойные домогательства и сексуальное преследование ни от кого, будь он хоть король Англии. А в данном случае именно о нем и шла речь. Вначале он был мил и приветлив, просил называть его Хорек-Королек — только не думайте, будто она согласилась. Но затем он начал отпускать кое-какие замечания, игнорировать кольцо, которое она носит в знак помолвки, совершать всякие двусмысленные манипуляции с фруктами. Теперь же он взял манеру донимать ее при покупателях, а те даже не заступаются — просто смеются, словно так и

надо по сценарию. Невыносимо.

Марта отпустила Нелл домой и распорядилась, чтобы его величество в три часа дня явился к ней в кабинет. Она справилась с его графиком работы: ничего особенного, утром — турнир между любителями и профессионалами на Теннисоновском поле, затем окно и в 16:15 награждение героев «Битвы за Британию». Тем не менее король вошел в кабинет, набычившись. Он все еще не привык к мысли, что его запросто могут вызвать на ковер. В первый раз он уселся на трон — ждать, чтобы Марта пришла сама. Но вместо нее прибыл вице-губернатор, бывший депутат палаты общин и королевский адвокат сэр Перси Наттинг и, весь светясь от многовекового злорадства, печальным голосом настойчиво повторял, что его величество, согласно всем юридическим нормам, обязан подчиняться как условиям контракта, так и исполнительной власти, которая ныне является на Острове верховной. По предыдущим вызовам Марта знала, что король явится весь красный и с порога начнет жаловаться.

— Ну и что я, по-вашему, натворил? — поинтересовался он, изображая из себя ребенка перед гувернанткой.

— Боюсь, ваше величество, на вас поступила

официальная жалоба. — Титул Марта употребила не из подобострастия, но чтобы напомнить: положение обязывает.

— И от кого же вдруг?

— Нелл Гвинн.

— Нелл? — изумился король. — Во дает! Откуда вдруг такой гонор-то?

— Значит, вы признаете, что жалоба соответствует действительности?

— Мисс Кокрейн, если человеку нельзя немножко пошутить насчет варенья…

— Дело гораздо серьезнее.

— Ну ладно, было дело. Я сказал… — Король на четверть улыбнулся Марте, точно сообщнице. — Я сказал, что в любой момент позволю ей выжать мои грейпфруты.

— И кто из ваших сценаристов это сочинил?

— Не забывайтесь, мисс Кокрейн. Это все я сам, — произнес он с явной гордостью.

— Верю. Но я еще не решила, смягчает ли это вашу вину или, наоборот, усугубляет. А непристойные жесты также были спонтанной импровизацией?

— Что-о?

Взгляд Марты был суров; почувствовав его на себе, король невольно пригнулся.

— Ну вообще-то… вы знаете, это я так, для смеха. Господи, настоящая полиция нравов. Да вы хуже Денизы. Иногда я жалею, что я не там. Жалею, что не остался настоящим королем.

— Речь не о морали, — произнесла Марта.

— Правда? — В глазах короля блеснула надежда. Слово «мораль» и его огорчительно разнообразное практическое содержание он привык ассоциировать с неприятностями.

— Нет, в моем понимании это не что иное, как нарушение контракта. Сексуальное преследование запрещено. И точно так же запрещено поведение, которое может скомпрометировать репутацию Острова.

— А-а, вы хотите сказать, «поведение нормального мужчины».

— Ваше величество, я издам административное предписание, запрещающее вам ухаживать за мисс Гвинн. В ее биографии есть… кое-какие загвоздки.

— О боже, только не говорите, что у нее триппер.

— Нет, тут другое. Мы не хотим, чтобы люди очень уж интересовались ее историей. Некоторые Гости могут неправильно понять. Ведите себя с ней так, точно ей… э-э-э… пятнадцать лет.

Король раздосадованно вскинул голову:

— Пятнадцать? Если она малолетка, я — царица Савская.

— Да, пятнадцать, — повторила Марта. — С точки зрения свидетельства о рождении. Давайте порешим на том, что на Острове — *на острове* — Нелл пятнадцать лет. И в том же смысле, на Острове, вы… король.

— Да я и так король! — вскричал он. — Везде, всегда, хоть в Африке!

Только пока ходишь по струнке, подумала Марта. Королем тебя делают контракт и наше соизволение. Если ты не подчинишься приказу и будешь сослан в Дьепп первым же паромом, никакого вооруженного восстания не будет. Так, мелкая проблема для отдела кадров. Претенденты на трон всегда найдутся. А если монархия очень уж раззадорится, всегда можно вывести на сцену Оливера Кромвеля. Хорошая мысль, кстати.

— Штука в том, мисс Кокрейн, — заныл король, — что она мне всерьез нравится. Эх, Нелл, Нелл… По ней видно, она не просто торговка. Я уверен, узнай она меня получше, нас водой не разольешь. Я бы научил ее говорить по-человечески. Вот только, — опустив глаза долу, он покрутил на пальце кольцо с печаткой, — вот

только, кажется, у нас первый блин вышел комом.

— Ваше величество, — произнесла Марта уже менее сурово, — на Острове много других женщин, которые могут вам «всерьез понравиться». Причем подходящих по возрасту.

— И кто же, например?

— Ну, не знаю…

— Не знаете. И никто не знает, как тяжело быть в моем положении. Вечно все пялятся, а ответить взглядом на взгляд не смей, а то потащат на этот ваш… коммерческий трибунал.

— Что ж, есть Конни Чаттерли.

— Конни Чаттерли? — изумился до глубины души король. — Она всем гопникам дает.

— Леди Годива?

— Пройденный этап, — сообщил король.

— Я о Годиве-два говорю, не о первой. Разве я вас не видела на прослушивании?

— Годива-два? — Лицо короля просияло, и Марта узрела «легендарное обаяние», с ритуальной частотой упоминаемое в лондонской «Таймс». — А знаете, мисс Кокрейн, вы просто друг, товарищ и сестр. Нет, конечно, Дениза тоже, — торопливо добавил он. — Дениза — свой парень. Но не все понимает, ну вы меня понимаете. Годива-два? Да,

помню, я еще подумал: «Девушка просто класс, то, что надо Хорьку-Корольку». Надо ей звякнуть. Пригласить на капучино. Вы ведь не…

— Биггин-Хилл, — распорядилась Марта.

— А?

— Сначала Биггин-Хилл. Медали героям.

— И не много ли им медалей, этим героям? А может, пусть Дениза меня подменит, только на сегодня? — умоляюще посмотрел он на Марту. — Нельзя? Ну ладно. В контракте записано, да? Блин, за что ни схватись, все в этом гребаном контракте. Ну ладно. Годива-два. Вы настоящий друг, мисс Кокрейн.

Итак, король вошел, передергиваясь от гнева, а ушел, подпрыгивая от радости. Марта переключила один из мониторов на военно-воздушную базу Биггин-Хилл. Кажись, все нормально: одни Гости толпились перед маленькой эскадрильей «харрикейнов» и «спитфайров», другие играли в компьютерную игру «Воздушный бой», третьи ходили по баракам, что стояли на краю летного поля. Здесь их взору представали герои в овчинных пилотских куртках, греющие руки над парафиновыми горелками или играющие в карты, ожидая, пока приказ «На вылет!» не прервет задорные танцевальные мотивчики, звучащие

из патефона. Героям можно задавать вопросы и получать ответы, лаконичные и спокойные, как и положено в трудные военные годы. Проще пареной репы. Наше дело правое. Фриц на свою же бомбу сел. Мы им показали. Болтун — находка для шпиона. Затем герои возвращались к своей карточной игре, и, пока они тасовали, снимали колоду и раздавали, Гости могли вдоволь поразмыслить о том, что вся жизнь этих людей — азартная игра: судьба когда джокер, а когда и злорадная дама пик. Медали, которые сейчас вручит им его величество, заслужены сполна.

Марта вызвонила своего личного референта.

— Викки, когда из Бэ-Ха позвонят насчет телефона Годивы-два, дайте его, я разрешаю. Но только не первой Годивы — строго второй. Спасибо.

Викки. Это вам не бесконечная череда Сюзи. Не то что у сэра Джека. Первое же, что сделала Марта, заняв кресло гендиректора, — это потребовала называть референтов их подлинными именами. Также она приказала разгородить логово сэра Джека на кофе-бар и мужской туалет. Мебель губернатора — точнее, ту часть обстановки, которая была сочтена служебной, а не личной собственностью, — раздали по отделам. Бранкузи сэр Джек отстоял. Взамен дворец вытребовал

себе баварские камины, которые теперь служили хоккейными воротами в спортзале.

Марта урезала штат личной обслуги губернатора, свела его транспортный парк к одному-единственному ландо, а самого сэра Джека переселила в более соответствующее его статусу жилище. Некоторые ее шаги не понравились Полу: он заявил, что приказ приставлять к сэру Джеку только референтов-мужчин — мелочная месть. Были ссоры. Сэр Джек капризничал, как Виктор, и дулся, как трагический актер, а его телефонные разговоры (оплачиваемые компанией) отличались поистине вагнерианской нескончаемостью. Марта отключила ему телефон за неуплату. Также она запретила ему давать интервью, даже тем газетам, которыми он еще владел. Ему остались мундир, титул и право участия в некоторых формальных церемониях. По Марте, этого было вполне достаточно.

Пререкания из-за прав и привилегий сэра Джека — или секвестров и унижений, как предпочитал выражаться он сам, — помогли завуалировать тот факт, что вступление Марты в должность гендиректора на деле мало что изменило. Замена эгоистической автократии слегка ограниченной олигархией была актом необхо-

димой самозащиты; но на Проекте как таковом это почти не отразилось. Финансовые структуры были творением специалиста в подтяжках Королевского казначейства; а отделы разработки концепций и мониторинга Гостей претерпели очень легкую реорганизацию. Флегматичный Джефф и огнеглазый Марк остались при своих должностях. Главная разница между бывшим и нынешним гендиректорами состояла в том, что Джек Питмен громогласно веровал в свой продукт, а Марта Кокрейн молчком не верила.

— Но если продажный папа мог править Ватиканом… — случайно сорвалось с ее языка после утомительного дня.

Пол уставился на нее испепеляющим взглядом. Он не терпел никаких шуточек насчет Острова.

— По-моему, дурацкое сравнение. И вообще, не думаю, что при продажном папе дела в Ватикане шли лучше. Отнюдь.

Марта мысленно вздохнула.

— Наверное, ты прав.

Когда-то они вместе боролись с сэром Джеком, что должно было укрепить их союз. Но, кажется, вышло совсем наоборот. Что же, Пол искренне верит в идею «Англии, Англии», разве не так? Или его вера — лишь симптом угрызений совести?

— А знаешь, давай позовем твоего бездельника, доктора Макса, и спросим, кто лучше руководит крупными политическими и религиозными организациями: идеалисты, циники или нормальные практичные люди. Спорим, он сорок бочек арестантов наговорит.

— Замнем. Ты прав. Мы здесь не католической церковью рулим.

— Да уж, по всему видно.

Его тон — педантичный, фарисейский — показался Марте невыносимым.

— Послушай, Пол, мы сорвались на спор, а с чего вдруг — я не понимаю. Я вообще в последнее время ничего не понимаю. Но если речь о цинизме, спроси себя, далеко бы ушел сэр Джек, не будь в его характере необходимой доли цинизма.

— И это тоже цинизм.

— Тогда сдаюсь.

Теперь же, сидя в своем кабинете, она подумала: в одном Пол прав. Я воспринимаю Остров как всего лишь благовидное и хорошо отлаженное средство для зашибания денег. Однако я им управляю, видимо, так же хорошо, как управлял бы Питмен. Может, это и оскорбляет Пола?

Подойдя к окну, она окинула взглядом пятизвездочную панораму, когда-то выбранную для

себя сэром Джеком. Внизу, на мощеной улочке, затененной выступающими верхними этажами домов в стиле «фахверк», Гости отворачивались от подобострастных лоточников и нищих, чтобы полюбоваться, как пастух гонит стадо на рынок. На среднем плане сверкали в вечерних лучах солнечные батареи двухэтажного автобуса, припаркованного у Мемориального Стэкпуловского пруда; еще дальше, на общинной лужайке, шумно играли в крикет, и кто-то как раз бежал к калитке. Наверху, в той единственной части панорамы, которая еще не принадлежала «Питко», реактивный самолет компании «Островфлот» делал вираж, чтобы половина его оплаченного груза могла окинуть прощальным взглядом теннисоновские холмы.

Марта отвернулась, хмуря лоб, ощущая, как сводит челюсти. Почему все в жизни шиворот-навыворот? В Проект она не верит — но успешно воплощает его в жизнь; а вечером возвращается с работы домой вместе с Полом — к тому, во что верит (или хочет, силится верить), — и все из рук валится. Она стоит одна, без брони, без цинизма, не абстрагируется, не иронизирует, она одна, она в одиночку разбирается с простыми человеческими взаимоотношениями, томится и тревожится,

стремится к счастью изо всех сил, как умеет. Почему же счастья все нет и нет?

* * *

Доктора Макса она уже несколько месяцев как собиралась выгнать. Не из-за какого-либо заметного со стороны нарушения контракта; отнюдь, любой инспектор буквально влюбился бы в Официального Историка за его пунктуальность и преданность делу. Более того, Марта его обожала, так как давным-давно разглядела под колючками и сарказмом доктора Макса нечто совсем иное… Теперь она видела в нем человека, панически боящегося простоты, и этот страх находил отзвук в ее душе.

Его красивый уход в отставку из-за репозиционирования Робин Гуда оказался, к счастью, всего лишь эпизодом — мятежным порывом, после которого его верность Проекту лишь усилилась. Но теперь эта верность превратилась в проблему. Доктора Макса наняли для работы над разработкой Концепции; но, когда Концепция была разработана и «Питмен-хаус» переехал на Остров, доктор Макс увязался вслед. Сельская Мышь исподтишка перетащила свою фенологическую колонку в «Лондон Таймс» (отныне выходящую

в Райде). Никто не возражал — даже Джефф. Строго говоря, никто вроде бы и не заметил. Итак, теперь Историк занимал кабинет двумя этажами ниже Марты, имея под своей холеной, с крашеными ногтями рукой все средства и возможности для исследовательской работы. Любой человек, будь то сотрудник «Питко» или Гость, мог обратиться к нему за консультацией по любому историческому вопросу. Его адрес и список предлагаемых услуг фигурировали в рекламно-информационных буклетах, которые лежали в каждом гостиничном номере. И даже если к доктору Максу заявится, к примеру, скучающий владелец «Не просто уик-энда» — самой дешевой путевки, — дабы поспорить насчет стратегии саксов в битве при Гастингсе, беседа — кстати, абсолютно бесплатная — будет длиться столько, сколько будет угодно клиенту.

Беда была лишь в том, что к доктору Максу вообще никто не обращался. Жизнь Острова вошла в размеренную колею: обмен информацией между Гостями и Сюжетами нуждался скорее в прагматической, чем в теоретической отладке; и потому роль Историка тихо… ушла в историю. Во всяком случае, именно это собиралась Марта сказать доктору Максу из своего гендиректорского крес-

ла. Для того и вызвала. Он появился в дверях, как появлялся всегда, исподволь оценивая степень заполненности зала. Только мисс Кокрейн? Ну, значит, совещание тет-а-тет на высшем уровне. Доктор Макс был весь лоск и беззаботность; напоминать о сомнительности и маргинальности его положения казалось дурным тоном.

— Доктор Макс, — начала Марта, — скажите, ваша работа соответствует вашим представлениям о счастье?

Юмористически хмыкнув, Историк принял профессорскую позу, смахнул с узорного лацкана несуществующую пылинку, заложил руки в карманы своего замшевого жилета цвета грозовой тучи и скрестил ноги — все это указывало, что он рассчитывает просидеть в кабинете Марты гораздо дольше, чем ей хотелось бы. Затем он сделал то, на что ни при каких условиях не были способны другие служащие «Питко», будь то распоследний косец из фонового отдела или вице-губернатор сэр Перси Наттинг, а именно доктор Макс воспринял вопрос буквально.

— Сча-а-стье, мисс Кокрейн, очень интересная с исто-о-рической точки зрения вещь. За три десятилетия в качестве одного из самых… не решусь сказать, выдающихся, но самых примель-

кавшихся ваятелей и граверов молодых умов я ознакомился с широким рядом интеллектуальных заблуждений; они словно бурьян, который надлежит выжечь перед тем, как вспахивать умственную почву… а говоря без обиняков, сплошной мусор и вздор. Разновидности ошибок разноцветны, как платье Иосифа, но самая вопиющая и ужасающая — это наивная убежденность, будто прошлое — всего лишь переряженная современность. Сорвите турнюры и кринолины, дублеты, шоссы и эти (гляди-ка, будто сам Диор шил!) тоги, и что останется? Обычные люди, удивительно похожие на нас. Их нежные сердца бьются в заветной глубине совсем как сердце нашей мамочки. Загляните в их несколько темные умы — обнаружатся залежи зачаточных понятий, которые, окончательно созрев, станут фундаментом наших великих современных демократий. Изучите их представления о будущем, рассмотрите их надежды и страхи, их робкие грезы о том, какова будет жизнь спустя много веков после их смерти, — оказывается, они смутно провидели наш с вами замечательный мир. Выражаясь совсем грубо, они хотят быть нами. В общем, вздор и мусор, конечно же, вздор и мусор. Вы за мной поспеваете?

— Пока да, доктор Макс.

— Хорошо. Итак, мне очень прия-атно — порой удовольствие несколько брутальное, но давайте не будем впадать в морализаторство — брать в руки мой верный серп и косить бурьян на ниве растущего ума. А в этих зарослях грубейших ошибок нет более неистребимого, упрямого сорняка — сравню его с бузиной, нет, скорее со всеядной пуэрарией, известной также как кудзу, — чем тезис, будто трепетное сердечко, тикающее в современном теле, всегда было на своем месте. Что в плане чувств и сантиментов мы неизменны. Что куртуазная любовь была всего лишь примитивным предком шашней в подъездах, если молодежь все еще этим балуется, — только ме-ня-а не спрашивайте… Что ж, давайте рассмотрим это Средневеко-о-вье, которое, нет смысла повторять, таковым себя не считало. К примеру, для точности возьмем Францию в период десятого–тринадцатого веков. Прекрасная и забытая цивилизация, которая возвела величественные соборы, сформировала рыцарские идеалы, временно приручила дикое животное под названием человек, создала *chansons de geste*[69] — конечно,

[69] Сноски: 69
Героические поэмы *(фр.).*

с голливудским кино их не сравнить, но все же… короче говоря, создала свою веру и политическую систему, породила целый комплекс обычаев и вкусов. И ради чего, собственно? — спрашиваю я этих мелких обитателей бурьяна. Ради чего эти люди торговали и женились, строили и творили? Потому что искали *счастья*? Как бы их насмешило это наше жалкое предположение. Не к счастью они стремились, а к *спасению души*. Более того, счастье в нашем современном понимании они сочли бы чем-то вроде греха, самым настоящим препятствием на пути к спасению. Меж тем как…

— Доктор Макс…

— Меж тем как в случае, если мы перемотаем время вперед…

— Доктор Макс. — Марта поняла, что тут нужен пейджер… нет, клаксон, а лучше сирена «скорой помощи». — Доктор Макс, боюсь, мы должны перемотать время на сейчас. Мне не хотелось бы походить на ваших студентов, но я вынуждена попросить вас ответить на мой вопрос.

Доктор Макс вытащил руки из карманов жилета, отряхнул оба лацкана от призрачных бактерий и уставился на Марту со студийным — вроде бы добродушным, но намекающим на су-

ровое *lèse-majesté* — раздражением, отточенным в битвах с суетливыми телеведущими.

— А, простите за де-ерзость, в чем он состоял?

— Я просто хотела узнать, доктор Макс, счастливы ли вы, работая здесь.

— Именно к этому-у я и ше-ел. Если и кружным, как вам показалось, путем. Дабы упростить фундаментально сложную ситуацию, хотя я понимаю, мисс Кокрейн, что ваш разум свободен от бурьяна, я вам отвечу. Я не «счастлив» в смысле шашней в подъезде. Более того, я бы сказал, что счастлив именно потому, что смеюсь над современной концепцией «счастья». Я счастлив — употребим этот неизбежный термин — именно потому, что счастья не ищу.

Марта молчала. Как странно, что сквозь все это пустословие, присыпанное блестками парадоксов, на нее глянули строгость и простота. Как он это делает, а? И тогда, почти без сарказма, она спросила:

— Значит, вы ищете спасения души, доктор Макс?

— Боже правый, нет. Для этого я слишком язычник, мисс Кокрейн. Я ищу… удовольствий. Они куда как надежнее счастья, куда как надежнее. Оформлены гораздо четче, при всем при том

намного замысловатее. У них есть оборотная сторона, но и она вычеканена прекрасно. Зовите меня, если хотите, язычником-прагматиком.

— Спасибо, доктор Макс, — произнесла Марта, поднявшись. Очевидно, смысла ее вопроса он не понял; и все же дал именно тот ответ, в котором она бессознательно очень нуждалась.

— Надеюсь, вам приятно было перекинуться со мной сло-овом, — заявил доктор Макс, словно это он был хозяином, а Марта — гостьей. Одним из самых надежных удовольствий для него были разговоры о себе, любимом, — а он искренне верил, что удовольствия надо разделять с ближними.

Марта улыбнулась захлопнувшейся двери и позавидовала беззаботности доктора Макса. Любой другой на его месте догадался бы о причине вызова к начальству. Пусть Официальный Историк и презирал спасение в высоком смысле этого слова, но сам только что нечаянно удостоился его в более низменном, временном варианте.

* * *

— Боюсь, случилось кое-что необычное.

Перед столом Марты Кокрейн стоял Тед Уэгстафф. В это утро Марта была одета в оливковый

костюм и белую рубашку без воротника, застегнутую у горла золотым зажимом; ее золотые серьги были точной музейной копией древнебактрийских украшений, колготки изготовлены швейцарской фирмой «Фогаль», а туфли — фирмой «Феррагамо». Все приобретено в «Хэрродз-Тауэре». Тед Уэгстафф был одет в зеленую зюйдвестку, непромокаемые рыбацкие штаны и бахилы с загнутыми голенищами — словом, одеяние достаточно мешковатое, чтобы скрывать под собой любую электронную аппаратуру. Его вечный румянец можно было бы назвать как буколическим, так и алкоголическим, хотя Марта и сама не знала, чем он обусловлен — воздействием ветра и солнца ли, слабостью ли к выпивке или просто прихотью визажистов.

Марта улыбнулась:

— Вот видите, до чего вас довело хорошее образование.

— Извините, мэм? — воззрился он на нее с неподдельной озадаченностью.

— Простите, Тед. Это я о своем, о девичьем, — произнесла Марта, мысленно выругав себя. Подумаешь, вспомнила его резюме. Пора уже привыкать, что если Тед Уэгстафф, замначальника службы охраны по оперативной деятельности

и координатор обратной связи с клиентами, является к тебе в образе простого бойца береговой охраны, значит и держаться с ним надо соответственно. Спустя несколько минут профессиональный имидж выветрится; терпение и еще раз терпение.

Этого распада личности — точнее, ее склеивания с личиной — никто из создателей Проекта не ожидал. Феномен, как правило, принимал безобидные формы, легко сходящие за похвальную увлеченность работой. К примеру, на третьем месяце независимости некоторые работники фонового отдела начали считать себя не служащими «Питко», а теми персонажами, чьи роли играли за деньги согласно контракту. Вначале им поставили неверный диагноз, сочтя недовольными. Но дело обстояло совсем наоборот — то были признаки полного довольства собой. Они были счастливы быть теми, кем стали, и не желали ничего другого.

Целые группы косцов и пастухов — и даже некоторые ловцы омаров — все неохотнее пользовались своими комфортабельными служебными апартаментами. Они заявляли, что им приятнее ночевать в ветхих хижинах без удобств, чем в сверхсовременных зданиях общежитий,

перестроенных из бывших тюрем. Некоторые даже просили платить им островными деньгами — просто-таки влюбились в тяжелые медные монеты, которыми по целым дням играли в шаффлборд. Ситуацию пристально отслеживали, для «Питко» она могла обернуться долгосрочными преимуществами — к примеру, экономией на обслуживании жилого фонда; но в то же самое время она была чревата каким-то сентиментальным хаосом.

Теперь же болезнь вырвалась за пределы фонового. Уэгстафф никому вреда не причинял; сложнее было с Джонстоном-«Джонни» и его отрядом имени Битвы за Британию. Они утверждали, что, поскольку сирены воздушной тревоги и приказ «На вылет!» могут прозвучать в любую минуту, им целесообразнее так и ночевать в бараках у летного поля. Иначе они были бы трусами и плохими патриотами. Итак, они разжигали парафиновые горелки, перекидывались на сон грядущий в картишки и засыпали, укутавшись в овчинные куртки, хотя остатками разума и должны были понимать, что фрицы ни за что не устроят внезапного налета, пока Гости не доедят свой Большой Английский Завтрак. И что теперь Марте делать? Вызвать менеджера по кризисам?

Или поздравить себя с тем, что Остров зажил настоящей жизнью?

Тут Марта сообразила, что Тед не сводит с нее глаз.

— Нечто необычное?

— Да, мэм.

— И вы… хотите мне об этом… рассказать?

— Да, мэм.

Новая пауза.

— Может быть, вы готовы, Тед?

Замначальника охраны сбросил с себя личину простого рыбака.

— Что ж, говоря без обиняков, есть одна загвоздка с контрабандистами.

— И в чем же дело?

— Они контрабанду возят.

Огромным усилием воли Марта подавила поднявшийся из глубин ее души беспечный, невинный, чистый, искренний смех — бесплотный, как дуновение ветерка, каприз природы, давно забытая свежесть восприятия; неиспорченность на грани истерики.

Вместо того чтобы смеяться, она сурово потребовала подробностей. На Острове было три поселка контрабандистов, и вот из Нижнего Тэтчема начала поступать информация о происшествиях,

противоречащих принципам Проекта. Гости Нижнего, Верхнего и Большого Тэтчемов имели возможность ознакомиться со всеми хитростями традиционной островной отрасли. Им показывали бочки с двойным дном, платья с зашитыми в подол монетами, комья табака, замаскированные под джерсийскую картошку. Складывалось впечатление, что любую вещь можно выдать за что-то другое: ликеры и махорку, шелк и зерно. Доказывая эту истину на практике, парень пиратского вида снимал с пояса кинжал и разнимал на две половинки лесной орех: внутри, в пустой скорлупке, оказывалась дамская перчатка фасона восемнадцатого века. Позднее Гостей вели в торговый центр, где им предлагалось купить такой орех — а лучше пару, — причем код содержимого был выгравирован лазером на скорлупке. Спустя несколько недель и несколько тысяч миль из шкафа достанут щипцы для орехов, и под аккомпанемент изумленных возгласов перчатка придется точно по руке той, кто ее приобрел.

Как выяснилось, в последнее время торговый центр Нижнего Тэтчема расширил свой ассортимент. Первые улики были слишком уж косвенными: неожиданное появление золотых украшений на некоторых жительницах поселка

(вначале вообще не беспокоились, считая кольца и цепочки простой бижутерией); видеокассета с порнофильмом, забытая в гостиничном проигрывателе; бутылка без этикетки, на четверть объема заполненная жидкостью, которая отчетливо пахла спиртом и, возможно, даже была ядовита. Путем скрытого наблюдения и засылки тайных агентов были установлены следующие преступления: обрезание островных монет и чеканка фальшивых; тайное производство из местных яблок бесцветного напитка с высоким содержанием спирта; пиратское издание путеводителей по Острову и подделка официальных островных сувениров; импорт порнографии в различной форме, а также сдача жительниц поселка напрокат.

Адам Смит одобрял контрабанду, вспомнилось Марте. Несомненно, он считал ее допустимым продолжением свободного рынка, честной эксплуатацией аномального разнобоя в налоговых и таможенных сборах. Возможно, также она импонировала Смиту как образец истинной предприимчивости. Но не стоит обсуждать эти принципиальные проблемы с Тедом, который стоял перед ней, ожидая, как и любой подчиненный, однозначной реакции, похвал и указаний.

— И что же нам, по-вашему, делать, Тед?

— Делать? *Делать?* Да их повесить мало.

Тед Уэгстафф хотел, чтобы злоумышленников выпороли, посадили на ближайший дьеппский паром и выкинули за борт — пусть им чайки глаза выклюют. Также — в жажде возмездия забыв о правах собственников фрихольдов — он хотел, чтобы Нижний Тэтчем был сожжен.

Островная судебная власть была не юридической, а исполнительной — то есть функционировала более гибко и быстро. И все же в данном случае, прежде чем карать злоумышленников, нужно все как следует взвесить. Взвесить не в старомодном смысле «справедливости». Взвесить последствия принятого решения для будущего Острова. Кара должна быть целесообразна. Тед Уэгстафф слишком горяч, но отнюдь не дурак: какой бы вердикт ни приняла Марта, в нем должен присутствовать элемент устрашения.

— Очень хорошо, — произнесла она.

— Значит, выдворить их с первым паромом? Сжечь поселок?

— Нет, Тед. Перебросить их на другой участок.

— Что-о? Простите за дерзость, мисс Кокрейн, но это им как с гуся вода. Мы имеем дело с закоренелыми преступниками.

— Вот именно. Значит, я применю статью контракта номер тринадцать-шесть.

Тед по-прежнему кипятился, словно Марта предложила какой-то мягкотелый женский компромисс. Статья 13-6 сводилась к тому, что в особых обстоятельствах, определяемых высшим руководством Проекта, служащие могут быть переведены на любую другую работу, пройдя при необходимости курс переподготовки; решение об этом принимается вышеозначенным высшим руководством.

— Значит, вы их переподготовить хотите? Мисс Кокрейн, это не в моих правилах.

— Что ж, вы сами сказали, что они преступники. Вот мы их на преступников и переподготовим.

На следующий день Самые Почетные Гости были приглашены, за соответствующую доплату, стать очевидцами аутентичной «Акции по охране национального достояния». В чем она состоит и где именно произойдет, не уточнялось. Несмотря на нестандартный (предрассветный) час отъезда, билеты шли нарасхват, и наутро триста СПГ, держа в руках кружки с горячим пуншем («Питко» угощает), лицезрели облаву, устроенную таможенниками в поселке Нижний Тэтчем. Место события освещалось пылающими факела-

ми и слегка подсвечивалось софитами; звучали подлинные ругательства соответствующего исторического периода; в окнах мелькали полуголые (по стандартам классических сериалов) подружки контрабандистов. Запах горящей смолы, тусклое посверкивание золоченых пуговиц на кителях таможенников; исполин-контрабандист, замахиваясь кинжалом, разъяренно кинулся на кучку СПГ, но вдруг один из последних отшвырнул кружку с пуншем, сбросил пальто, под которым — о радость! — оказался китель, и свалил злодея одним ударом. Когда взошло солнце, двенадцать вожаков в ночных рубашках и ножных кандалах были под гром искренних аплодисментов посажены на реквизированную телегу. Отбывание наказания — или процесс профессиональной переподготовки — должен был начаться на следующий день в замке Кэрисбрук: одних, посаженных в колодки, будут забрасывать гнилыми фруктами, другие же будут вручную толкать мельничное колесо и расписываться на обертках конечного продукта — хлеба «Арестантский». За двадцать шесть недель таких трудов они отработают штрафы, наложенные на них Мартой Кокрейн. К тому времени, когда преступников отправят на континент, закончат

курс обучения новые контрабандисты Нижнего Тэтчема, подписавшие более строгие контракты.

И это сработает. На Острове все работает, поскольку сложности пресекаются в зародыше. Структуры — проще не придумаешь; а основной принцип, проходящий красной нитью через всю жизнь Острова, таков: чтобы что-то сделать, надо это сделать. И потому преступность отсутствовала (не считая ляпов типа вышеописанного) вкупе с системой судопроизводства и тюрьмами — по крайней мере, настоящими. Никакого правительства — разве что отрешенный от дел губернатор — и, следовательно, ни выборов, ни политиков. Никаких юристов — кроме юристов «Питко». Никаких экономистов — кроме экономистов «Питко». Никакой истории — кроме истории «Питко». Кто бы знал в те далекие времена в «Питмен-хаусе-1», когда они разглядывали карты на Маршальском столе и острили насчет поганого капучино, — кто бы знал, что их руки, сами того не ведая, созидают не что иное, как зону беспрепятственного спроса и предложения, при виде которой радостно забилось бы сердце Адама Смита. Мирное царство, ни с кем не воюя, имеет простой продукт и богатеет своими трудами: а чего еще желать человеку, будь он хоть

философ, хоть простой обыватель?

* * *

Возможно, это и вправду было мирное царство, государство нового толка, опытная модель грядущего. Если так считают даже Всемирный банк с МВФ, зачем оспаривать свою собственную рекламу? Как электронные, так и старомодные читатели «Таймс» получали непоколебимо добрые новости с Острова, самые разные — из мира за его пределами и стабильно негативные — из Старой Англии. Последняя, судя по всему, стремительно катилась вниз, в плане экономики и нравственности превращаясь в настоящую помойную яму. В безумии своем отвергая азбучные истины третьего тысячелетия, ее неуклонно вымирающее население погрязло в нищете, грехах и безалаберности; а из всех чувств староангличанам были ведомы лишь два — уныние и зависть.

Напротив, на Острове быстро сформировался бодрый, современный патриотизм: не тот патриотизм, что держится на сентиментальных воспоминаниях и сказках про завоевателей, но патриотизм, который сэр Джек описал бы тремя словами: «здесь, сейчас и магия». Почему бы нам не восхищаться нашими достижениями? Ведь

остальной мир от них в восторге. Репозиционированный патриотизм породил новый вид горделивого островного менталитета. В первые месяцы независимости, когда Острову грозились судебным преследованием и поговаривали о блокаде, островитяне чувствовали себя храбрецами, тайно прокатившись паромом в Дьепп, а начальники — слетав служебным вертолетом на ту сторону Канавы. Но вскоре подобные вылазки утратили свою прелесть, поскольку были одновременно непатриотичны и бессмысленны. Зачем глазеть со стороны на язвы чужого общества? Зачем шляться по трущобам, где люди отягощены днем вчерашним, позавчерашним и позапозавчерашним — в общем, историей? Здесь, на Острове, они с историей расправляются одной левой — небрежно закидываешь ее на плечо и шагаешь по полям, подставив лицо свежему ветру. Путешествуй налегке: это верно не только для туристов, но и для наций.

Итак, Марта с Полом работали в пятидесяти футах друг от друга в «Питмен-хаусе-2», а отдыху — когда отдыху, когда «Не Просто Отдыху» — предавались в квартире дома для высшего руководства «Питко» с пятизвездочным видом на то, что карты упрямо именовали Ла-Маншем. Кстати,

мнение, что воду тоже необходимо переименовать, если не полностью репозиционировать, становилось все более популярным.

— Тяжелая неделька? — спросил Пол. Вопрос был, по сути, ритуальным, поскольку Пол был посвящен во все профессиональные тайны Марты.

— Да так, средняя. Поработала сводней у английского короля. Пыталась выпереть доктора Макса — безуспешно. Плюс дела с контрабандистами. Хорошо хоть это пресекли.

— Я ви-ви-выпру доктора Макса за тебя, — с энтузиазмом предложил Пол.

— Нет, он нам нужен.

— Нужен? Ты сама сказала, к нему никто и на милю не подходит. Доктор-Максова драная история никому не нужна.

— Он простодушный. Мне даже кажется, он единственный простодушный человек на всем Острове.

— Мар-та. Мы что, об одном и том же персонаже говорим? Герой телеэкрана — точнее, экс-герой — портновский манекен, фальшивый голос, фальшивые манеры. И он — простодушный?

— Да, — упрямо ответила Марта.

— Ладно, ладно, как неофициальный Мыслелов Марты Кокрейн сим вношу в анналы ее мнение,

что доктор Макс простодушный. Оформлено и сдано в архив.

Марта выдержала паузу.

— Ты по прежней работе скучаешь? — подразумевая: по прежнему начальнику, по своей жизни до того, как появилась я.

— Да, — просто ответил Пол.

Марта стала ждать. Она ждала нарочно. Теперь она почти подзуживала Пола, выжимала из него признания, после которых он падал в ее глазах. Банальное извращение или скрытая тяга к саморазрушению? Почему два года с Полом иногда кажутся ей двумя десятилетиями?

Итак, некоторые фибры ее души даже обрадовались, когда он продолжил:

— Я все равно считаю, что сэр Джек — великий человек.

— Отцеубийца раскаивается?

Пол поджал губы, опустил взгляд; в его голосе зазвенела стервозность педанта:

— Марта, ты иногда очень уж умничаешь, себе во вред. Сэр Джек — великий человек. Проект — его замысел от начала до конца, от корки до корки. Кто тебе зарплату платит, если подумать? Кто тебя одевает — он!

Очень уж умничаешь. Себе во вред. Марта

вернулась назад в детство. Ты, случайно, не зарываешься? Не забывай, что цинизм — родной брат одиночества. Она взглянула на Пола, вспоминая, как он впервые на ее памяти поднял голову, как соломенное чучело обернулось человеком.

— Что ж, возможно, доктор Макс не единственный простодушный человек на Острове.

— Не надо меня третировать, Марта.

— Ты неправильно понял. Простодушие мне нравится. В нашей среде с ним туго.

— И все равно ты меня третируешь.

— А сэр Джек все равно великий человек.

— Иди ты нахер, Марта.

— Давно там не бывала, кстати.

— Что ж, на мой сегодня не рассчитывай, большое спасибо за честь.

В другой ситуации ее бы тронули учтивые оговорки Пола. Такая уж у него привычка — говорить: «Я тебя, извини за выражение, ненавижу», «А ну тебя к чертям собачьим, грязная ты, прости господи, свинья». Но сегодня это было непростительно.

Позднее, в постели, прикидываясь спящим, Пол не мог удержаться от выводов, опровержения которым не находил. Ты заставила меня предать сэра Джека, а теперь предаешь меня сама. Ведь

ты меня не любишь. Или любишь, но так, по маленькой. Я тебе не нравлюсь. Ты сделала для меня весь мир настоящим. Но, увы, ненадолго. А теперь все опять по-прежнему.

Марта тоже прикидывалась спящей. Она знала, что Пол не спит, но ее тело и душа отвернулись от него. Она лежала и думала о своей жизни. Думала в соответствии со своей стандартной методикой: перелистывательно, упрекающе, нежно, инспекционно. На работе, обдумывая проблему или решение, ее разум действовал ясно и последовательно, а при необходимости и цинично. Под покровом ночи эти его свойства словно испарялись. Почему ей легче разобраться с королем Англии, чем с самой собой?

И почему она так донимает Пола? Просто разочарование в самой себе — или нечто посерьезнее? Теперь его пассивность словно бы провоцировала Марту. Так и подмывало огреть его хворостиной, чтоб выскочил из этого кокона пассивности. Нет, не из кокона бы выскочил, скорее — чтоб вышел из себя, будто (хотя реальность доказывает обратное) внутри Пола притаился кто-то совсем другой. Нет, чушь какая-то… Попробуй применить офисную логику, Марта. Что будет, если допечь пассивного человека? Был человек

пассивным, стал рассерженным, а вскоре опять станет пассивным. А толку-то?

А еще Марта знала, что та же самая кротость, то же самое отсутствие себялюбия — ныне переименованное ею в пассивность — и привлекли ее когда-то в Поле вместе с рядом других черт. Она подумала… что, собственно, она подумала? Она думала (сейчас), что подумала (тогда), что вот нашелся человек, который не будет ей себя навязывать (так, в принципе, и оказалось), который позволит ей быть самой собой. Она действительно так подумала или теперь задним умом домысливает? В любом случае туфта это все. Говоря «быть собой», люди имеют в виду совсем другое. Они подразумевают — это она, Марта, подразумевает — совсем другой глагол: «стать». Стать «собой»: а что значит «собой» — загадка, и как этого добиться — тоже. Правда вот в чем, Марта, — ну признай же! — ты рассчитывала, что уже само присутствие Пола подействует на твое сердце как гормон роста. Присядь вот здесь на диване, Пол, и просто свети мне огнем своей любви; тогда-то я стану зрелым, взрослым человеком, как всегда хотела. Вот он, верх эгоизма — и верх наивности. И, раз уж на то пошло, верх пассивности. И вообще, кто сказал, что люди созревают?

Наверно, они просто стареют.

Ее мысли, как все чаще случалось в эти дни, вновь перескочили на детство. Мама показала ей, как зреют помидоры. Точнее, как заставить помидоры созреть. Лето выдалось холодное и дождливое, и, когда листья свернулись, как старые обои, а по радио начали предсказывать заморозки, помидоры на грядках были еще зеленые. Мать собрала их и разложила по двум тазикам. В один положила только помидоры, чтоб вызревали естественным путем в своем кругу. В другой тазик добавила банан. Спустя несколько дней помидоры из второго тазика стали вполне съедобны, а те, что из первого, по-прежнему годились лишь на чатни. Марта попросила объяснить секрет фокуса.

— Так уж оно заведено, — ответила мать.

Да, Марта, вот только Пол не банан, да и ты не фунт помидоров.

Может, виноват Проект? Как там выразился доктор Макс, «огрубляющее упрощение всего» — может, оно разъедает душу? Нет, Марта, сваливать вину на работу — все равно что на родителей. Не разрешено тем, кто старше двадцати пяти лет.

Может, загвоздка в том, что в постели у них не

все идеально? Пол — человек предупредительный; он гладит ее локтевую ямку (и еще кое-что), доводя ее до визга; он выучил слова, которые ей приятно слышать в постели. Но, употребляя ее личный шифр, это не Каркассон. Ну и что, тоже мне сюрприз! Каркассон бывает раз в жизни — иначе это был бы уже не Каркассон. Не станешь же ездить туда вновь и вновь в надежде получить еще одного божественного любовника и еще одну эль-грековскую грозу. До такого даже старина Эмиль не докатился. Значит, все-таки не в постели дело?

Вот что, Марта: всегда можно свалить вину на судьбу. Родителей винить нельзя, сэра Джека с его Проектом — тем паче, нельзя винить Пола или кого-то из его предшественников, нельзя винить английскую историю. И что же остается, Марта? Ты и судьба. Оставь себя на сегодня в покое, Марта. Вини судьбу. Не родилась ты помидором. Не повезло. Иначе все было бы намного проще. Один банан — и готово.

* * *

В одну ненастную ночь, когда весты гнали по морю громадные водяные валы, когда звезды скрылись за тучами, когда лил неистовый дождь,

несколько мастеров-корабельщиков из одной деревушки в районе утесов Ниддлз были пойманы с поличным: стоя у самой воды, они светили фонарями грузовым судам, которые снабжали Остров всем необходимым. Один из теплоходов изменил курс, сочтя фонари огнями причала.

Спустя еще несколько дней экипаж транспортного самолета доложил, что при заходе на посадку в Теннисоне-2 в полумиле по правому борту была замечена неровная цепочка подложных взлетно-посадочных прожекторов.

Взяв все подробности на заметку, Марта дала Теду Уэгстаффу добро на расследование дела. Но он почему-то не уходил.

— Да, Тед? Что-то еще?

— Мэм…

— Из какой области: служба безопасности или обратная связь с Гостями?

— Есть кое-что по части связи с Гостями, мисс Кокрейн, вот решил вам сказать. Мало ли, вдруг важно. Это другой коленкор — не как с королевой Денизой и ее инструктором по шейпингу, вы тогда сказали, что это не мое дело.

— Нет, Тед, я так не говорила. Я сказала, что это не государственная измена. Самое большее, нарушение контракта.

— Понял.

— И кто же это на сей раз?

— Да этот, доктор Джонсон. Который с Гостями в «Чеширском сыре» обедает. Здоровенный такой детина, косорукий, в парике набекрень. Неряха, извините уж за выражение.

— Да, Тед, я знаю, кто такой доктор Джонсон.

— Так вот, на него поступают жалобы. От Гостей. Неофициальные. И официальные, понимаете?

— И что за жалобы?

— Говорят, он всем настроение портит. И неудивительно — это ж как дважды два четыре. Тоска зеленая, а не человек, не знаю, что им так всем хочется с ним обедать.

— Спасибо, Тед. Оставьте мне файл.

Марта вызвала доктора Джонсона на три часа. Он явился в пять и, пока его провожали в кабинет Марты, беспрестанно что-то бурчал себе под нос. То был неуклюжий плечистый мужчина; его щеки были изъязвлены глубокими рубцами. Глаза скользнули по Марте невидящим взглядом. Продолжая бормотать, он с фиглярскими жестами без спросу плюхнулся в кресло. Марта, участвовавшая в прослушивании претендентов на роль доктора Джонсона и присутствовавшая на прогоне «Обеда в „Чеширском сыре“» (прошед-

шем на ура), забеспокоилась всерьез — теперь она осознала, насколько он изменился. Когда его брали на работу, он производил впечатление человека надежного. Профессиональный актер — его подлинное имя она что-то запамятовала, он несколько лет гастролировал с моноспектаклем «Мудрец из Средней Англии» и отлично владел всем необходимым материалом — его даже привлекли как консультанта к проектированию «Чеширского сыра». Дабы доктору Джонсону не приходилось работать на износ, развлекая Гостей в одиночку, для него были наняты сотрапезники — Босуэлл, Рейнольдс, Гаррик. Также ему выделили подставного Гостя-Эрудита, чьи почтительные замечания служили кресалом для искрометного остроумия Великого Хана от Литературы. Итак, «Обед с доктором Джонсоном» был срежиссирован так, чтобы джонсоновские монологи, чередуясь с дружескими перепалками между его современниками-сотрапезниками, время от времени переходили в диалог разных эпох — беседу доброго Доктора с гостями из нашего века. В сценарии присутствовала даже ненавязчивая защита идеологии Проекта. Переведя разговор на тему путешествий Джонсона, Босуэлл спрашивал:

— Разве на «Дорогу Гигантов» не стоит посмотреть?

— Посмотреть стоит, — отвечал Джонсон, — но ехать, чтобы посмотреть, не стоит.

У Гостей, не чуждых иронии, эта фраза всегда вызывала польщенный смешок.

Марта Кокрейн прочла с монитора файл, резюмирующий жалобы на Джонсона. Плохо одет и дурно пахнет; пожирает пищу, как дикий зверь, и очень быстро — так что гости, чувствуя себя обязанными за ним угнаться, потом страдают от несварения желудка; либо всех третирует и задирает, либо сидит молча, как истукан; несколько раз, не договорив фразы, наклонялся под стол и сдергивал с женщин туфли; портит своим собеседникам настроение; отпускал националистические и расистские замечания о родных странах Гостей; при попытках расспросить его поподробнее срывается; несмотря на все его блестящее красноречие, клиентов весьма смущают астматический кашель и бестолковое ерзанье на стуле.

— Доктор Джонсон, — начала Марта. — На вас поступают жалобы.

Она подняла глаза от монитора и обнаружила, что подчиненный почти не обращает на нее

внимания. Подергиваясь с грацией мамонта, он пробурчал что-то похожее на отрывок из «Отче наш».

— Жалуются, что вы неучтивы с вашими сотрапезниками.

Доктор Джонсон встряхнулся.

— Я охотно готов возлюбить весь род человеческий, — ответил он, — но не американца.

— Мне кажется, вы сами должны сознавать, как обременяет вас этот предрассудок, — произнесла Марта. — Поскольку тридцать пять процентов приезжающих сюда — американцы.

Она подождала возражений, но Джонсон, по-видимому, забыл дома свою любовь к спорам.

— Вас что-то удручает?

— От родителя моего унаследовал я жестокую меланхолию, — ответил он.

— Когда вам больше двадцати пяти лет, сваливать вину на родителей не разрешается, — отрезала Марта, словно цитируя девиз компании.

Джонсон звучно рыгнул, разразился астматическим кашлем и взревел:

— Пустоголовка проклятая!

— Вас не устраивают ваши коллеги по работе? Есть какие-то нелады? С Босуэллом уживаетесь?

— Он надобен, чтобы его стул не пустовал, —

мрачно ответил Джонсон.

— Может быть, проблема в еде?

— Еда такова, какова только может быть дурная еда, — отвечал доктор, так встряхнув головой, что челюсти заходили. — Дурно откормлена, дурно забита, дурно сохранена и дурно разделана.

Все это Марта сочла риторическими преувеличениями, если не подготовительной фазой кампании за повышение зарплаты и улучшение условий труда.

— Давайте возьмем быка за рога, — заявила она. — Тут у меня целый экран жалоб на вас. Вот, к примеру, мсье Даниэль из Парижа. Он пишет, что внес отдельную плату за «Обед в „Чеширском сыре“», ожидая услышать из ваших уст перлы высочайшего английского юмора, но за весь вечер вы проронили едва ли дюжину слов, ни одно из которых не стоит повторения.

Джонсон, надрывно кашляя и сморкаясь, заворочался на стуле.

— Француз не может не говорить без умолку — и о том, в чем смыслит, и о том, в чем не смыслит. Англичанин довольствуется тем, что ничего не говорит, когда ему нечего сказать.

— В теории это все прекрасно, — возразила Марта, — но деньги мы вам платим совсем за

другое. — Она перевернула электронную страницу. — А мистер Шалкер из Амстердама пишет, что на протяжении обеда от двенадцатого числа прошлого месяца он задал вам ряд вопросов, но вы его абсолютно проигнорировали.

— Джентльмены не расспрашивают, а собеседуют, — с ядовитой снисходительностью изрек Джонсон.

Нет, это как воду в ступе толочь. Марта открыла контракт доктора Джонсона. Так-так… давно надо было обратить внимание на одну зловещую подробность. Подлинное имя актера в документах не фигурировало, ибо он давным-давно официально сменил его на «Сэмюэл Джонсон». Итак, Сэмюэлу Джонсону было поручено играть Сэмюэла Джонсона. Вот где собака зарыта…

Внезапно раздались скрип, треск, бурчание — и глухое «бух»: Джонсон, упав на колени, запустил свою медвежью лапу под стол и на удивление ловким движением стащил туфлю с правой ноги Марты. В испуге она уставилась на макушку его грязного парика, торчащую над столешницей.

— Что вы такое затеяли? А ну-ка объяснитесь! — вскричала она.

Но Джонсон не реагировал. Уставившись на ее ногу, он невнятно бормотал себе под нос. Марта

расслышала знакомые слова: «…во искушение, но избави нас от лукавого…»

— Доктор Джонсон! Сэ-эр!

Этот властный окрик вывел его из транса. Поднявшись с колен, он навис над ней, пошатываясь и пыхтя.

— Доктор Джонсон, вы должны взять себя в руки.

— Ну, если я *должен*, сударыня, у меня нет выбора.

— Вы не понимаете, что такое контракт?

— Отнюдь, сударыня, — ответил Джонсон, внезапно взглянув на нее осмысленными глазами. — Сие есть, во-первых, всякий акт с участием двух сторон; во-вторых, акт обручения мужчины с женщиной; и в-третьих, письменный документ, в коем условия сделки перечислены бывают.

Марта даже опешила.

— Согласна, — произнесла она. — Но и вы, со своей стороны, должны согласиться, что ваша… впечатлительность или меланхолия, как ее ни назови, неприятна вашим соседям по обеденному столу.

— Сударыня, вы не можете получить теплое солнце вест-индских стран без громов, молний и землетрясений.

Елки, как же достучаться до этого господина? О «вживании в образ по Станиславскому» она слышала немало, но с таким тяжелым случаем еще не сталкивалась.

— Когда мы взяли на работу доктора Джонсона, — начала она… И замялась.

Его массивное тело отбрасывало на стол черную тень.

— Когда мы вас наняли…

Нет, тоже не годится. Она больше не гендиректор, не деловая женщина… и даже не дитя своей эпохи. Она наедине со своим братом — человеком. Сердце заныло от странной, неслыханно простой боли.

— Доктор Джонсон, — произнесла она, без какого-либо усилия смягчив тон, когда ее взгляд, взобравшись по ряду массивных пуговиц и преодолев белый шейный платок, добрался до его широкого, изрубцованного, измученного лица. — Мы хотим, чтобы вы были «доктором Джонсоном». Как только вы не понимаете…

— Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, — ответил он, уставившись затуманенными глазами куда-то на стену за ее спиной, — зрю я одну лишь пустошь тщетно потраченного времени, чреду телесных недомоганий да сонм близких

к безумию душевных мук, кои, тщу надеяться, Создатель мой почтет за оправдание многим порокам моим и извинение бесчисленных моих недостатков.

И спотыкающейся походкой арестанта в ножных кандалах побрел к двери.

— Доктор Джонсон.

Он замер, обернулся. Марта встала из-за стола, чувствуя, что кренится набок: одна нога боса, другая обута. Она чувствовала себя маленькой девочкой, затерянной в странном мире. Доктор Джонсон был не только на два века старше ее, но и двумя веками мудрее. И без всякого стеснения она спросила:

— А как же любовь, сэр?

Нахмурившись, он положил руку себе на грудь — наискосок, прикрывая сердце.

— Воистину, нет на свете ничего, что так искушало бы бдительность разума, как мысль провести жизнь с милой тебе женщиной, и, если б только все грезы любящего воплощались, я затруднился назвать бы другое земное счастье, коего стоило бы добиваться.

Его глаза теперь смотрели зорко — и прямо на нее. Марта почувствовала, что смущенно краснеет. Боже, как нелепо. Сто лет назад разучилась

краснеть. И все же сейчас, краснея, она не чувствовала себя нелепо.

— Но?

— Но любовь и супружество — разные состояния. Те, кому приходится вместе страдать от бед и часто страдать ради друг друга, вскоре утрачивают ту нежность взгляда и то благодушие разума, кои порождены бывают совместными беспечными наслаждениями и удачными увеселениями.

Сбросив вторую туфлю, Марта выровнялась и вновь взглянула на него.

— Значит, все понапрасну? Любовь — это всегда ненадолго?

— Мы уверены, что красота женщины не вечна; мы не уверены, что вечна ее добродетель. — (Марта опустила глаза, словно молва о ее бесстыдстве достигла даже минувших веков.) — И мужчина не в силах всю жизнь окружать ее тем почтением и усердными знаками внимательности, коими пленяет ее на месяц или на день.

С этими словами доктор Джонсон вперевалочку, спотыкаясь, вышел за дверь.

Марта поняла, что потерпела сокрушительное поражение: ей не удалось произвести на него впечатление, а он вел себя так, словно из них двоих ненастоящая — она сама. Но одновременно ей

стало легко, задорно и весело, точно она отыскала родную душу, которую давно искала.

Она села за стол, влезла в туфли и вновь стала гендиректором. Логическое мышление вернулось. Разумеется, с Джонсоном придется расстаться. В других уголках земного шара «Питко» уже бы грозили многомиллионные иски о сексуальных домогательствах, оскорбительных расистских высказываниях, невыполнении условий договора — клиентов, дескать, не сумели рассмешить — и бог весть еще о чем. К счастью, островное законодательство, другими словами, воля высшего менеджмента не признавала существования каких-либо особых контрактов между Гостями и «Питко»; в случае обоснованных нареканий проблема решалась полюбовно, что обычно предполагало выплату денежной компенсации в обмен на клятву молчать. Старая традиция «Питмен-хауса» — подписки о неразглашении — работала исправно.

И что теперь — нанять нового Джонсона? Или поставить другой «Обед» — с новым хозяином? Вечер с Оскаром Уайльдом? Идея рискованная по известным причинам. Ноэль Кауард? Та же проблема. Бернард Шоу? Как же, как же, достославный нудист и вегетарианец. Что, если он

начнет проповедовать свою веру прямо за обеденным столом? Нет, даже думать не стоит. Неужели все мудрецы Старой Доброй Англии — сплошь безумцы?

* * *

Сэра Джека не допускали на совещания руководства, но исполнять чисто декоративную роль на ежемесячных заседаниях высшего совета разрешали. Он являлся при всем своем губернаторском параде: треуголка с галунами; эполеты в форме позолоченных щеток для волос; аксельбанты толщиной с лошадиный хвост; пестрые, как белье на веревке, ордена («Награди-себя-сам», так сказать); под мышкой неизменно зажата резная офицерская трость — изделие местных сувенирных мастерских; на пояснице — шпага, вечно бьющая губернатора по коленкам. У Марты при виде этого наряда не рождалось никаких ассоциаций с хунтами и прочим тоталитаризмом; напротив, его смехотворная напыщенность была для Марты лишним подтверждением того, что губернатор смирился со своим опереточным статусом.

Раза два-три после «кокрейн-харрисоновского» переворота сэр Джек нарочно являлся на заседа-

ния с опозданием, следуя извечному закону физики «начальство задерживается»; но всякий раз он обнаруживал, что начали без него, и вынужден был пристраиваться на унизительном месте в дальнем конце стола. Дабы самоутвердиться, он расхаживал по комнате, произнося длинные речи и даже пытаясь давать конкретные указания отдельным лицам. Но, кружа вокруг стола, видел лишь беспардонные затылки. Где они — пугливо бегающие глаза, крутящиеся вокруг своей оси головы, подобострастно строчащие со свистом авторучки и тихо пощелкивающие клавиатуры лэптопов? Он по-прежнему рассыпал идеи, как гигантское «огненное колесо»; но теперь искры падали на каменистую пустыню. Все чаще сэр Джек отмалчивался, замыкаясь в себе.

Заняв свое место, Марта заметила рядом с сэром Джеком незнакомого человека. Нет, слово «рядом» тут не годится — скорее уж «в тени», ибо колоссальные габариты и кричащие благим матом одежды сэра Джека довлели над всем его ближайшим окружением. Что ж, когда-то, в годы былого высокомерия, губернатор сравнивал себя с могучим дубом, укрывающим своей сенью подчиненных. Сегодня он спасал от дождя самый настоящий гриб: вкрадчиво-серый итальянский

костюм, белая, застегнутая на все пуговицы рубашка, круглая голова с коротко остриженными седыми волосами. Стиль середины 90-х выдержан безупречно — даже очки были той же эпохи. Может, это один из крупных инвесторов, которым все еще заговаривают зубы? Когда же до них наконец дойдет, что первые дивиденды получат разве что их внуки?!

— Мой друг Джерри Бэтсон, — объявил сэр Джек, обращаясь скорее к Марте, чем ко всем остальным. — Прошу прощения, — добавил он тут же, сокрушенно качая головой, — отныне *сэр* Джерри.

Джерри Бэтсон. Фирма «Кэбот, Альбертаччи и Бэтсон». Гриб отреагировал на слово «сэр» легкой улыбкой. Он почти растворялся в воздухе, незаметный-незаметный, кроткий. Дзенский отшельник. Камушек в вечно струящемся потоке, немой колокольчик на ветру.

— Простите, — произнесла Марта, — я не совсем понимаю, в каком качестве вы здесь присутствуете.

Джерри Бэтсон знал, что самому объяснять свое присутствие ему не придется. Раздался раздраженный перезвон орденов — то вскочил сэр Джек. Да, внешность опереточная — но тон он

взял вагнеровский, вернув кое-кого из присутствующих назад в дни «Питмен-хауса-1».

— Качество Джерри, мисс Кокрейн, качество Джерри состоит в том, что он задумал, помогал задумать, оказал важнейшее содействие при подготовке замысла всего, черт подери, Проекта. В каком-то смысле. Пол подтвердит.

Марта посмотрела на Пола. К ее удивлению, он непоколебимо выдержал ее взгляд.

— Это было еще до тебя. Сэр Джерри сыграл ключевую роль в предварительной работе над Проектом. Она задокументирована.

— Мы все ему, несомненно, благодарны. Но вопрос остается вопросом: в каком качестве он здесь?

Бессловесно, выставив в умиротворяющем жесте ладони, Джерри Бэтсон воспарил над стулом — вроде бы без всякой помощи мускулов. И, еле заметно кивнув Марте, покинул комнату.

— Хамство на хамстве, — прокомментировал сэр Джек.

В тот же вечер губернатор, одетый в простую домашнюю форму — подпоясанный кожаным «сэм-брауновским» ремнем китель и короткие гетры, — уселся напротив сэра Джерри, крутя в руке бокал. Свободной рукой он вяло обвел свою

скромную гостиную. Из ее пяти окон были видны утесы и море, но баварские камины украла она, а Бранкузи униженно горбился за баром.

— Все равно что поселить адмирала флота в гардемаринский кубрик, — проворчал он. — Унижение на унижении.

— А арманьяк по-прежнему хорош.

— Предусмотрено контрактом. — В голосе сэра Джека сквозила неуверенность: он колебался между гордостью (сумел ведь пропихнуть свое условие) и печалью (до чего довели!). — Теперь у меня вся жизнь по этому гребаному контракту. Вот куда мир катится, Джерри. Боюсь, дни старых пиратов давно миновали. Мы — динозавры. «Чтобы это сделать, надо это сделать» — таков был мой вечный девиз. А нынче знаете как? И пальцем не шевельни, если у тебя нет колдунов, маркетологов и рабочих групп, которые связывают по рукам и ногам. Где дерзость, где нюх, где, черт подери, обыкновенное мужское мужество? «Навек прощайте, рыцари наживы…» — сказано печально, но верно.

— Да, так говорят. — Бэтсон всегда находил, что вернейший способ заставить сэра Джека не тянуть резину — это полный нейтралитет. Собеседникам сэра Джека активность противо-

показана.

— Но вы видите, куда я клоню?

— Я слышу, от чего вы отталкиваетесь.

— Я о ней. О… Мадам. Все пустила на самотек. Перестала следить за мячом. Никакого предвидения у этой бабенки. Когда она… когда я назначил ее гендиректором, признаюсь, я питал надежды. Надежды, что человеку, который уже не столь молод… — сэр Джек поднял руку, пресекая возражения, которых, вообще-то, все равно бы не дождался, — удастся перевести дух. Посидеть на заднем сиденье. Уступить место молодым львам и все такое.

— Но.

— Но. У меня есть свои источники. Я слышу о безобразиях, которым чуть более твердая рука не стала бы ни потворствовать, ни давать волю. Пытаюсь предостеречь. Но вы своими глазами видели, как бесцеремонно со мной обращаются на высоких совещаниях. Бывают моменты, когда мне кажется: мой великий Проект исподволь разрушают из чистой зависти и злобы. И в такие моменты, признаюсь, я виню себя. Смиренно виню себя. — Сэр Джек покосился на Бэтсона, чье невозмутимое лицо давало понять, что Бэтсон поневоле признает правоту сэра Джека; впрочем,

если подумать, то, может быть, и не признает. — А трудовые контракты, составленные «Питко», в определенных аспектах не очень удачны. Хотя подобные документы, кстати, менее непреложны, чем кажутся на первый взгляд…

Джерри Бэтсон кротко передернул плечами, что можно было интерпретировать как кивок. Значит, на философскую теорию бизнеса, созданную сэром Джеком, вышла проруха. Чтобы что-то сделать, надо это сделать — кроме тех случаев, когда ничего не поделаешь. Читай, кроме случаев, когда пороху не хватает. Выждав, Джерри пробурчал:

— Вопрос в том, какие варианты мы хотим исключить, а какие ввести. Плюс параметры.

Сэр Джек громоподобно вздохнул и шумно приложился к арманьяку. Почему он обречен вечно работать с Бэтсоном? Умный, конечно, парень — чего еще и ожидать за такие-то гонорары. Но не знает смака настоящих суровых мужских разговоров. То молчит, как имбирный пряник, то щебечет, как целый семинар желторотых студентов. Ну ладно, к делу.

— Джерри, вам открыт новый счет. — И умолк… ровно на столько секунд, чтобы подставить Бэтсону нежданную подножку. — Знаю-знаю, всеми

новыми счетами занимаются Боб и Сильвио. Очень умно с их стороны в свете их… как бы вы сказали… недостаточно экзистенциальной реальности. Не говоря уже об экзистенциальной реальности их счетов на Нормандских островах.

Смиренная улыбка уличенного Бэтсона перешла в тихий смешок. Возможно, старый волк еще не утратил хватку. Интересно, он все время знал и нарочно сдерживался или докопался лишь сейчас, от нечего делать? Впрочем, спрашивать об этом Джерри не собирался — разве сэр Джек скажет правду?

— Ладно, — заключил губернатор, — не буду я вас больше уламывать, как мальчик девочку. У вас есть клиент.

— И хочет ли этот клиент, чтобы я еще немножко помечтал?

Сэр Джек проигнорировал подсказку и прилагаемое к ней воспоминание.

— Нет. Этот клиент требует действий. У этого клиента есть проблема, четыре буквы, рифмуется со «скука». Ваша задача — найти решение.

— Решения, — эхом откликнулся Джерри Бэтсон. — Знаете, мне иногда приходит в голову, что это и есть наш профиль — я о нас как нации. Мы, англичане, заслуженно славимся своим прагма-

тизмом, но наша конструктивная гениальность проявляется именно в решении проблем. Взять мой любимый пример. Умирает королева Анна. В тысяча семьсот лохматом. С престолонаследниками — напряг. Все ее дети сами уже покойники. Парламент хочет, чтобы на трон опять сел протестант. Это не каприз — необходимость. Серьезная проблема. Колоссальная. Все возможные наследники, как на подбор, католического вероисповедания или состоят в браке с католиками, что в те времена считалось не менее дурной кармой. И что же делает парламент? Обходит пятьдесят — пятьдесят с гаком — превосходных особ королевской крови с законными, законнейшими и более чем законными притязаниями на титул и выбирает безвестного ганноверца: серый, как штаны пожарника, по-английски ни бе ни ме, зато лютеранин на все сто десять процентов. И этого типа парламент впаривает нашей нации под видом заморского спасителя. Блестяще. Виртуозный маркетинг. Столько веков прошло, а все равно глаза на лоб лезут. О да!

Сэр Джек откашлялся, прерывая поток отвлеченных рассуждений.

— Подозреваю, что в подобном аристократическом обществе моя проблема покажется вам

мелкой рыбешкой.

* * *

Весь жизненный опыт Марты убеждал ее отнестись к регрессивному психозу Джонсона как к чисто административной проблеме. Служащий нарушил контракт: увольнение, срочная высылка с Острова и немедленная замена надежным человеком, подобранным по базам данных. В отличие от истории с контрабандистами, публичное наказание тут не годится. Значит, выгнать, и все дела.

Но сердце Марты говорило «нет». Проект жил по непреложному правилу: либо ты работаешь, либо болеешь. Болен — отправляйся в Дьепп, в больницу. Но подпадает ли случай Джонсона под юрисдикцию медиков? Какой тут может быть диагноз — «впал в историю», что ли? Его запросто могут отфутболить к историкам.

У Марты голова шла кругом. Именно Остров превратил «доктора Джонсона» в доктора Джонсона, именно Остров обнажил его беспомощную душу, сорвав защитные кавычки, — но это уже не важно. Озарение, постигшее ее в тот миг, когда Джонсон нависал над ней, бормоча и кашляя, состояло вот в чем: его боль не надуманна, а

реальна. Реальна, потому что Джонсон соприкасается с истинной реальностью. Марта понимала, что этот вывод шокирует многих — того же Пола, к примеру, — своей вызывающей иррациональностью (куда там, безумием!); но ее интуиция была непоколебима. Как он сорвал с нее туфлю и, словно искупая грех, забормотал «Отче наш»; с каким лицом говорил о своих пороках и недостатках, о надеждах на прощение и спасение. Не важно, какие внешние обстоятельства привели к Марте это озарение во плоти, — она увидела существо, заключенное, как в одиночке, в самом себе, нагое живое создание, корчащееся от боли при малейшем соприкосновении с внешним миром. Сколько уже лет она такого не видывала — и не чувствовала?

Церковь Святого Альдуина, вся заросшая зеленью, находилась в одном из немногих уголков Острова, которые еще не были реквизированы под нужды Проекта. Марта пришла сюда в третий раз. Ключ у нее был, но здание, давно уже потонувшее в море нестриженого кустарника, стояло незапертое, никем не посещаемое. Пахло здесь плесенью и гнилью; на уютное убежище от мирской суеты церковь не тянула — скорее то было продолжение, да куда там, сгущение

промозглой прохлады окрестного леса. Вышитые крестиком молитвенные подушечки — холодные и влажные на ощупь; обтрепанные псалтыри воняли букинистической лавкой; казалось, будто даже свет, еле-еле просачиваясь через викторианские витражи, и тот попадает в помещение уже отсыревшим. И она, Марта, мечется пытливой рыбкой по этому резервуару с каменным дном и зелеными стенками.

Церковь не впечатляла Марту какой-то особенной красотой: ни тебе выверенных пропорций, ни лощеного шарма, ни даже забавной причудливости. Но это было только к лучшему, поскольку оставляло ее наедине с тем, что символизировало здание. Как в прошлый и позапрошлый приход сюда, она пробежала глазами список ректоров, начинавшийся с тринадцатого века. Какая разница между ректором и викарием — или там пастором, или дьячком? Все эти градации, как и прочие тонкости и загадки религии, были для нее закрытой книгой. Ее ноги оскальзывались на выемках в неровном полу — следах медной мемориальной плиты, давным-давно увезенной и секуляризированной каким-нибудь музеем. Со стены сверху вниз на нее глядел, как и в прошлый раз, все тот же номерной список псалмов

— последовательность цифр, которая обязательно выиграет в лотерее «Вечность». Она подумала о деревенских жителях, которые приходили сюда и из поколения в поколение пели одни и те же псалмы, верили в одни и те же вещи. А теперь псалмы и деревенские жители исчезли безвозвратно, словно здесь прошли люди Сталина. Сюда бы композитора, о котором рассказывал Пол в их первую встречу, — пусть сочинит новые псалмы, новую истинную веру.

Живых выставили, но с мертвецами номер не прошел — на мертвецов можно положиться. Энн Портер, возлюбленная супруга Томаса Портера, эсквайра, и мать пятерых его детей: Эстер, Уильяма, Бенедикта, Джорджианы и Саймона, также нашедших упокоение неподалеку. Прапорщик Роберт Тимоти Петтигрю, скончался от лихорадки в Бенгальском заливе февраля 23 дня лета Господня 1849, жития его было 17 лет и 8 месяцев. Рядовые Королевского Гемпширского полка Джеймс Торогуд и Уильям Петти, пали в битве при Сомме с интервалом в два дня. Гиллиамус Трентинус, умер по недоступной неучам латинской причине и с архипространной эпитафией в 1723-м. Кристина Маргарет Бенсон, чьи щедрые пожертвования сделали возможной реставра-

цию этого храма, осуществленную в 1875 году Хьюбертом Доджетом; память об этой достойной даме увековечена в маленьком витраже в апсиде, который изображает ее вензель, переплетенный с листьями аканта.

Марта не знала, зачем в этот раз принесла цветы. Могла бы заранее догадаться, что здесь их никуда не приткнешь: ни вазы, ни воды, дабы гипотетическую вазу наполнить. Положив цветы на алтарь, она повернулась лицом к выходу и неловко пристроилась на переднюю скамью. И оставь вигвам, стог и чаши, якоже мы оставляем скворушкам каши… Яко твои есть лекарство, лилии, сказка. Она вновь повторила с начала до конца свой детский стишок, давно позабытый, воскрешенный лишь бормотанием доктора Джонсона. Богохульным он больше не казался — разве что параллельной версией, альтернативным стихотворением. Продуваемый ветром, переносной вигвам ничуть не хуже сырой каменной церкви, прикованной к одному месту. Цветы — самый естественный дар, приходящий в голову человеку, символ нашей собственной бренности: тем паче эти цветочки, для которых не нашлось ни воды, ни вазы. А сказка — вполне пристойный вариант, даже лучше, чем в оригинале. Слава

— по сути, всегда сказка. Все это запросто могло бы оказаться правдой, если бы не было враньем.

Если бы не было враньем. Яростное презрение и остроумные богохульства ее школьных лет были порождены именно этим фактом, этим умозаключением: все это вранье, колоссальная ложь, которую человечество само себе навешало на уши. «Да сварится вымя Твое…»

А уже в зрелом возрасте, когда в ее голову ненадолго залетали мысли о религии, они всегда описывали одну и ту же изящную силлогическую петлю: все это неправда, а придумали ее «Они», чтобы мы не бунтовали против смерти. Это «Они» создали систему и используют ее как средство контроля над обществом, сами «Они» верят, это очевидно, но свою веру навязывают как неопровержимую истину, как краеугольный камень общественной жизни наподобие патриотизма, наследственного права на правление и объективного превосходства белых мужчин над всем остальным человечеством.

Что ж, тут и спорить не о чем — или она просто пустоголовка проклятая? Если система рухнет, если архиепископ Кентерберийский превратится в безвестную, не вызывающую доверия фигуру еще похуже доктора Макса, выпорхнет ли вера

из клетки? А если и выпорхнет, приблизится ли к истине хотя бы на шаг? Или нет? Что привело ее сюда? Скептические варианты ответа Марта знала назубок: разочарование, возраст, недовольство скудостью жизни — точнее, скудостью того, что известно ей под именем «жизнь», скудостью того, что она, Марта, выбрала. Да, и еще кое-что: затаенное любопытство, граничащее с завистью. Что они знают, все ее будущие спутники — Энн Портер, Тимоти Петтигрю, Джеймс Торогуд и Уильям Петти, Гиллиамус Трентинус и Кристина Маргарет Бенсон? Больше, чем она, или меньше? Ничего? Кое-что? Всё?

Когда она вернулась домой, Пол повел себя с наигранной непринужденностью. Пока они ели и пили, Марта чувствовала, как зреют в нем напряжение и чувство собственного превосходства. Что ж, искусством ожидания она владеет. Мимо внимания Марты не прошло, что Пол трижды хотел было что-то сказать, но все три раза поворачивал разговор в безопасную сторону. Наконец, поставив перед ней чашку с кофе, он тихо спросил:

— Кстати, у тебя что, роман?

— Нет, — облегченно рассмеялась Марта. Это взбесило его, а затем ввергло в педантизм.

— А может быть, ты в кого-то влюблена и дума-

ешь насчет романа?

— Тоже нет.

Она ходила в заброшенную церковь. Нет, туда же она ходила и раньше, когда отсутствовала неизвестно почему. Нет, она ни с кем там не встречается. Нет, она не уверовала. Нет, она ходила туда, чтобы уединиться.

Вид у Пола был почти разочарованный. Наверно, проще и гораздо тактичнее было бы сказать: да, я встречаюсь с другим человеком. Законное оправдание для пропасти, возникшей между ними, для уныния. Конечно, доктор Джонсон сформулировал лучше: они утратили нежность взгляда и благодушие разума. Да, могла бы она сказать: вини во всем меня. Этой уверткой пользуются многие женщины — и многие мужчины. Фраза: «Мне кажется, я полюбил/а другую/ого» — не так жжет самолюбие, как «мне кажется, я разлюбил/а тебя».

Потом, в темноте, опустив веки, она поднимала глаза от массивных пуговиц к белому шейному платку и выше, к широкому измученному лицу. Верно, Пол, могла бы она сказать, верно, есть человек, к которому меня тянет. Он старше меня — наконец-то. Я могу вообразить себя влюбленной в него. Имени я тебе не скажу — а то будешь

смеяться. В каком-то смысле это и вправду смешно, но ненамного смешнее, чем некоторые мои любовные опыты. И есть одна, понимаешь, загвоздка: его нет на свете. То есть он был, но уже пару веков назад как умер.

Полегчало бы от этого Полу?

* * *

Тед Уэгстафф стоял перед Мартой, как диктор «Метеоновостей», собирающийся испортить день национального праздника.

— Нечто необычное? — подала она нужную реплику.

— Ох, похоже, что да, мисс Кокрейн.

— Но вы мне об этом расскажете. Желательно сейчас же.

— Это, увы, мистер Гуд и его стрелки.

— О нет.

Стрелки Робин Гуда… Те, другие инциденты сойдут за мелкие сбои: избалованные служащие впали в манию величия, ген преступного поведения исподволь заявил о себе, непредвиденное проявление синдрома ложной личности. Ненамного серьезнее тех проделок, которые его величество, надув губки, именует «маленьким оттягом». Для судебно-исполнительной власти

— работа на пять минут. Но на Робин Гуде, как подтверждали данные отдела обратной связи с гостями, держался весь Проект. Первичный миф, репозиционированный ценой долгих споров. Персоналу шайки было велено культивировать в себе душевную утонченность; неудобные мотивы — не соответствующее современной этике отношение к дикой природе, чрезмерное потребление красного мяса — были опущены либо завуалированы. Рекламный отдел весь год напролет раскручивал Робин Гуда аршинным шрифтом. И если в Джеффовом списке Квинтэссенций он занял седьмое место, то в рейтинге популярности у гостей — уже третье, и записываться на него следовало за полгода.

Всего пару дней назад Марта заглянула в Пещеру посредством видеокамеры — и тогда все было вроде бы в порядке. Яйцевидный курган, облицованный снаружи и внутри диким камнем, смотрелся вполне средневековo; репатриированные из Саудовской Аравии дубы росли и крепли; человек, наряженный медведем, отлично вжился в образ. С двух сторон — справа и слева — к Пещере тянулись благовоспитанные очереди желающих заглянуть через смотровые окна внутрь. Таким образом Гости знакомились

с бытом и обычаями Веселых Стрелков: видели, как Мук Сын Мельника печет хлебы с отрубями и каротином, Вилл Скарлет втирает в свою багровую кожу настой ромашки, а Маленький Джон и его столь же миниатюрные собратья приятно проводят время в своих мини-покоях. Затем экскурсантам показывали тренировки в стрельбе из лука (участие гостей не только возможно, но и желательно) и вели их в Яму, где монах Тук прилежно поливал жиром жареного «быка» (охотно поясняя любопытным, что на самом деле это соевый муляж, намазанный клюквенным соком). Наконец гостей провожали на трибуны, и Настоящий Английский Шут в колпаке с бубенцами развлекал их трансэпохальными — средневековыми по форме и злободневными по содержанию — монологами, прежде чем начиналось главное действо: битва (больше похожая на назидательную мистерию) между либералами-рыночниками (Веселыми Стрелками Робин Гуда) и коварным шерифом Ноттингемским, опирающимся на коррумпированную бюрократию и вооруженную до зубов армию.

Значительный вклад Веселых Стрелков в имидж Острова вознаграждался материально. Набирая шайку, рекрутеры протралили лучшие

театры; некоторые стрелки даже выговорили себе процент от прибыли. Жили они в роскошных квартирах, а их фан-клуб имел отделения по всей планете, от Стокгольма до Сеула. Что они, с жиру бесятся?

— Говорите.

— Началось с месяц назад. Мы думали, это так, моча в голову ударила. Выпороть как следует, и все дела.

Либо у нее, у Марты, иссякает терпение, либо у Теда Уэгстаффа прогрессирует ложная личность.

— К делу, Тед.

— Извиняйте, мисс Кокрейн. Стрелки сказали, что бык им не нравится. Говорят, на вкус как дерьмо. Мы сказали: ладно, посмотрим, что можно сделать. Попробовали быка сами. Не бог весть что, но есть можно. Говорим: слушайте, сцена, где вы его режете на куски и слюнки пускаете, не такая уж длинная, неужели нельзя сделать вид? Или просто подержите во рту, потом выплюнете. Мы пообещали заняться проблемой. И *занялись*. Вплотную, мисс Кокрейн. Разработали меры. Привозим самолетом из Руана лучшего шеф-повара, чтобы попробовал придать этой штуковине мясной привкус. Не получится — пожалуйста,

есть запасной вариант: переписываем сценарий, делаем Тука никудышным поваром, чтобы стрелки имели право выплевывать мясо.

Тед взглянул на Марту, словно ожидая аплодисментов за смекалку. Марту интересовала суть.

— Но?

— Но не успели мы и глазом моргнуть, как Яма запахла совсем по-другому, стрелки обжираются до отвала и ничего не выплевывают, а из Исторического заповедника пропал овцебык Дингль.

— Это же на том краю Острова!

— Знаю.

— Разве все животные не снабжены электронными бирками?

— Бирка обнаружена в загоне Дингля. Вместе с его ухом.

— Значит, быка они себе добыли. А еще?

— Похитили одну девонскую длинношерстную овцу, пару глостерских пятнистых коров и трех лебедей. А на прошлой неделе очистили Стэкпуловский Мемориальный пруд от уток. Продукты, которые мы им подвозим, они теперь швыряют прямо в урны. Живут охотой.

— В наших заповедных парках.

— И на наших старинных английских фермах. И в наших лесах и рощах. Мерзавцы убивают сво-

ими стрелами кого ни попадя. И овощи таскают с огородов в Долине Бунгало.

— Возможно, все дело в режиме питания?

— Куда там, мисс Кокрейн. У этого Робина жалоб вагон с маленькой тележкой. Говорит, что в Шайке ни к чему некоторые представители нестандартных меньшинств — дескать, их присутствие понижает боеспособность и охотоспособность отряда. Требует заменить их «настоящими людьми» — это его выражение. Говорит, стрелки хотят иметь право на личную жизнь, так что смотровые окна они завесят. Да, я знаю, что вы сейчас скажете. Также он утверждает, что наличие гомосексуалистов в составе Шайки подрывает военную дисциплину. Театрализованные бои назвал бодягой. А не будет ли, говорит, реалистичнее, если назначить людям шерифа денежные награды за поимку стрелков, а им самим, стрелкам то есть, разрешить устраивать засады на шерифовых людей где угодно. И еще он жалуется… не обессудьте, мисс Кокрейн, сейчас скверные слова будут.

— Заранее прощаю, Тед.

— Ну-у… он сказал, что член у него совсем проржавел от безделья и чем вы думали, когда подсунули ему в жены ковырялку?

Марта изумленно уставилась на Теда. Эта новая напасть была выше ее разумения.

— Но… Тед… посудите сами, начнем с того, что дева Мэриан, как там ее зовут, Ванесса, говоря начистоту… она не лесбиянка, а только играет роль.

— По нашим сведениям, играет слишком хорошо. Наверное, вошла в образ. А скорее, просто голову ему дурит. Чтоб не приставал.

— Но… послушайте, при всем при том, насколько я помню тот легендарный доклад доктора Макса, Дева Мэриан все равно не спала с Робином.

— Что было, то было, мисс Кокрейн. А теперь у нас вот какие дела: Робин плачется, что все это несправедливо и не по-честному и вообще оскорбляет его мужское достоинство, поскольку, простите меня за его выражение, он уже полгода никого не употреблял.

На миг Марту обуяло желание позвонить доктору Максу и познакомить его с обычаями пасторальных сообществ в современном мире. Подавив искушение, она занялась практической стороной дела.

— Хорошо. С точки зрения контракта он злостный нарушитель. И все его стрелки — тоже. Но

суть в другом. Он взбунтовался, верно? Против Проекта, против нашего репозиционированного мифа, против каждого Гостя, который приходит на него поглазеть. Он… он…

— Отъявленный разбойник, мэм?

Марта улыбнулась:

— Спасибо, Тед.

Мятеж Шайки? Даже подумать страшно. На Робин Гуде все держится. Убери его, и Остров рухнет. А вдруг пример окажется заразительным? Вдруг его величество решит, что жаждет царствовать и править всерьез, или, если уж на то пошло, королева Боадицея сочтет короля наглым узурпатором, чей род приперся на готовенькое с Континента? Что, если немцы сочтут уместным выиграть «Битву за Британию»? Последствия просто невообразимы. А малиновки? Вдруг им разонравится снег?

* * *

— Нам надо поговорить, — произнесла Марта и заметила, как заиграли желваки на щеках Пола.

Оскорбленное лицо мужчины, приглашенного на сеанс выяснения отношений. Марте захотелось его успокоить. Все нормально, тот этап — когда разговаривают и/или не разговаривают

— нами пройден. Есть всякие разные ощущения, которые я не в силах выразить словами, а поскольку тебе в любом случае о них и слышать не захочется… просто замнем.

— Насчет Робин Гуда.

Пол сразу вздохнул свободно, отметила Марта. Его настроение все улучшалось и улучшалось по мере того, как они обсуждали судебно-исполнительные акты, способы укрепить доверие гостей и методы скоростной переподготовки кадров. Они были абсолютно согласны друг с другом относительно того, что: (а) над Проектом нависла серьезная угроза; и (б) проблема не по части таможенно-акцизного управления. Именно Пол предложил задействовать спецназ, именно Пол призвал решить дело в ближайшие сорок восемь часов, именно Пол вызвался отправиться к стрелкам в качестве практического координатора. Сказав: «Ну, увидимся. Наверно, не очень скоро», Пол ушел с успокоенной, увлеченной занимательными хлопотами душой.

Да, на работе им все еще была подвластна эта гармоничная стенография в четыре руки; но дома они обходились ворчливой рутиной, полной вежливых умолчаний. Когда-то он сказал, что благодаря ей стал чувствовать себя настоящим.

О чем она теперь плачет — о былой лести или былой правде?

Вот некоторые из всяких разных ощущений, которые она не в силах выразить словами:

— что он абсолютно ни в чем не виноват;

— что, несмотря на исторический скептицизм доктора Макса, в счастье она верит;

— что, говоря «я верю в счастье», она подразумевает свое убеждение, что подобное состояние существует и что к нему стоит стремиться;

— что искатели счастья делятся на две группы — те, кто в своих поисках руководствуется критериями, которые сформулированы другими людьми, и те, кто руководствуется своими собственными критериями;

— что ни один из этих двух методов поиска не является более высоконравственным, чем другой;

— но что для нее счастье завязано на верности себе самой;

— верности своей истинной природе;

— то есть верности своему сердцу;

— однако основная проблема, главная беда человеческой жизни вот в чем: «как познать свое собственное сердце?»;

— из чего вытекает смежная проблема: как

узнать, какова твоя природа?

— что большинство людей считают, что их истинная природа родом из детства: и потому, рассказывая с мечтательно затуманенным взором свою автобиографию, демонстрируя свои фотографии в юном возрасте, вроде бы стараются правдиво описать свою природу;

— вот ее фотография в детстве, она кривится под жарким солнцем, надув нижнюю губу: что ж, это и есть ее истинная природа или же неспособность ее матери к фотографии?

— но что, если эта природа не более природна, не более естественна, чем та природа, которую саркастически описывал сэр Джек, рассказывая о своей загородной прогулке?

— поскольку если твоя природа для тебя непостижима, это наверняка уменьшает твои шансы на счастье;

— а что, если докопаться до своей природы все равно что выйти к торфянику, внутренняя структура которого так и останется для тебя загадкой, а биоценоз — китайской грамотой?

— что, несмотря на благоприятные условия, на отсутствие препятствий и на тот факт, что, на ее взгляд, она почти наверняка любит Пола, счастливой она себя не чувствует;

— что сначала ей казалось: это потому, что ей с ним скучно;

— или что с его любовью ей скучно;

— и даже — что с ее собственной любовью ей скучно;

— но она не была уверена (да и какая здесь уверенность, если собственной природы не знаешь?), что загвоздка именно в этом;

— возможно, все проще — ей не любовь нужна;

— между прочим, не такой уж эксцентричный вывод, утешил бы ее доктор Макс;

— а может, причина в том, что любовь пришла к ней слишком поздно, слишком поздно, чтобы отвести от нее одиночество (если таков критерий любви); слишком поздно, чтобы сделать ее счастливой;

— что — возвращаясь к лекции доктора Макса — в Средневековье люди стремились скорее к спасению души, чем к любви, но эти два понятия не обязательно противоположны друг другу;

— просто с течением веков люди всё занижали и занижали свои притязания;

— и когда мы ищем счастья, вполне возможно, что мы гонимся за какой-то сниженной формой спасения души, хоть и не осмеливаемся употреб-

лять такие слова всуе;

— что, возможно, ее жизнь тоже подпадает под определение, которое доктор Джонсон дал своей: «пустошь тщетно потраченного времени»;

— что она едва ли приблизилась даже к самой низменной форме спасения;

— что он абсолютно ни в чем не виноват.

Облава в Пещере Робин Гуда рекламировалась шепотом как уникальный эксперимент в области синтеза эпох, допускаются только самые почетные гости при условии уплаты двойной наценки. К шести вечера U-образная трибуна ломилась от зрителей, а заходящее солнце, как по заказу, подсвечивало вход в Пещеру.

В верхнем ряду сидели Марта и другие члены совета директоров. Ситуация критическая, самые принципы Проекта — в опасности; однако, если дело кончится благополучно, в процессе улаживания проблемы могут возникнуть новые интересные задумки. Теория досуга не стоит на месте. Они с Полом уже немного пофантазировали о том, какие еще трансэпохальные и асинхронные эпизоды можно было бы ввести в историю нации. Кстати, а где же Пол? Наверно, еще за сценой, шлифует со стрелками мизансцены.

Обнаружив, что рядом с ней уселся сэр Джек, Марта была немало взбешена. Думает, это формальная церемония? Как же, как же. Кому, интересно, он выкрутил руки, чтобы узурпировать место доктора Макса? А что это у него там на мундире — никак новый ряд самопальных медалей прибавился? Когда же «Веселый Джек» обернулся к ней, улыбаясь на манер «Веселого Роджера» и задорно потряхивая головой, Марта заметила, что седые волоски в его бровях наконец-то почернели.

— Хоть режьте, не мог я такое развлечение пропустить, — проговорил он. — Но не желал бы я оказаться на вашем месте.

Марта проигнорировала его. В прежние времена она бы вскинулась; теперь же осталась безучастна. Главное — власть над «Питко». А если сэру Джеку дурь в голову ударила… Что ж, она может урезать вдвое мощность его ландо в лошадиных силах, аннулировать условие контракта насчет арманьяка или повесить ему на ухо электронную бирку овцебыка Дингля. Сэр Джек — ходячий анахронизм. Марта слегка подалась вперед, не сводя взгляда с арены боевых действий.

Спецназом Острова командовал полковник

Майкл Майклсон по кличке Безумный Майк. «На гражданке» он был частным тренером по шейпингу с опытом каскадерской работы. Его отряд состоял из гимнастов, охранников, вышибал, спортсменов и танцоров балета. Полное отсутствие армейского опыта не мешало им дважды в месяц разыгрывать «Штурм иранского посольства в 1980 году», требовавший ловкости, глазомера, умелой работы с лассо и талантливого умения драматически корчиться от боли в миг, когда взрывались гранаты с парализующим газом. Но теперь им предстояло дотоле невиданное испытание, и Безумный Майк неподдельно волновался, наставляя своих людей на спешно расчищенной бульдозером площадке перед самым носом первого ряда. Впрочем, его тревожил не исход дела: Веселые Стрелки, как и обитатели иранского посольства, должны были следовать сценарию. Нет, Майк беспокоился, что неотрепетированное представление будет выглядеть неправдоподобно. Кроме того, даже Майк знал, что дневной штурм Пещеры — грубейшая ошибка в плане военной стратегии. Лучший способ нейтрализовать шайку Робин Гуда — в смысле, будь они его настоящими врагами, — это посреди ночи ворваться в Пещеру через служебный вход

с фонариками и монтировками. Но ничего, на Майка можете положиться — он все сделает красиво, не подвели бы только господа актеры.

Как и на «Штурме», беспроводные радиомикрофоны и специальные наушники доносили до слуха зрителей каждое слово участников. Безумный Майк изложил свой план, подкрепляя слова красноречивыми жестами. Две штурмовые группы, в полном ночном камуфляже, внимали с театральным благоговением, одновременно готовясь к бою: один точил длинный кинжал, второй поигрывал кольцом гранаты, еще двое проверяли на эластичность нейлоновый шнур. Полковник закончил свою речь лаконичным (поскольку все профессиональные вводные выражения были опущены) напутствием, призывающим к дисциплинированности и хладнокровию; затем, взмахнув рукой и вскричав: «Раз-два-три-раз!!!», отправил на поле боя секстет под кодовым названием «группа „Альфа“».

Трибуны благодушно, с ощущением дежавю, граничащим с точным знанием, смотрели, как «Альфа» разделилась надвое, исчезла в лесу, а затем при помощи шкивного механизма десантировалась с деревьев на крышу Пещеры. К каменной поверхности прилипли подслушива-

ющие устройства, в жерло Пещеры спустился микрофон, и двое спецназовцев начали спускаться по тросам по бокам робин-гудовских хором.

Не успела «Альфа» отрапортовать о занятии позиций, как по трибунам прокатился хохот. Из Пещеры вылез монах Тук с огромными садовыми ножницами, снабженными длинными ручками. Бормоча всякую отсебятину, он перерезал шнур микрофона, подобрал его с земли и швырнул в сторону зрителей. Безумный Майк проигнорировал этот вульгарный, не предусмотренный сценарием выпендреж. Группа «Бета» с Майком во главе легла ничком и поползла по открытому участку к Пещере. В лучших традициях театральной войны они прикрепили к своим маскам-подшлемникам зеленые ветки.

— «Пока Бирнамский лес не вышел в бой на Дунсинан, я огражден судьбой», — возвестил сэр Джек если не на всю трибуну, то на дюжину рядов вглубь — точно. — Как изрек гениальный Вильям.

«Бете» оставалось двадцать ярдов до входа в Пещеру, когда три стрелы, просвистев над головами спецназовцев, вонзились в землю, чуть-чуть не долетев до первого ряда. Гром аплодисментов подтвердил, что за такой ювелирно выверенный

реализм двойной наценки не жалко. Безумный Майк обвел взглядом своих коллег — гимнастов и охранников — и оглянулся на трибуны, почти ожидая сигнала либо дополнительных указаний от Пола по рации. Ничего не дождавшись, он прошептал в микрофон: «Робин-Бобин-Барабек. Скушал сорок человек. Сорок секунд, ребята». И сделал импровизированный знак «Альфе» на вершине Пещеры. Четверо из шести ее бойцов уже качались на шнурах над окнами, выверяя глубину и расстояние своих гимнастических прыжков. Глянув вниз, они с удивлением узрели жирно блестящие настоящие стекла и глазам своим не поверили: ведь в посольстве окна были застеклены особой толстой пленкой, которая легко раскалывалась на безопасные тупые осколки. Что ж, наверно, технический отдел изобрел еще более правдоподобную замену…

Безумный Майк и его Номер Второй встали на колени. Каждый метнул в жерло Пещеры по гранате с нервно-паралитическим газом. Специальные тридцатисекундные взрыватели гарантировали драматическое напряжение; услышав взрывы, «альфовцы» начнут выбивать окна. «Бетовцы» лежали, уткнувшись в грязь, театрально затыкая уши, — и вдруг услышали сзади

еще один взрыв хохота во славу двойной наценки. Обе гранаты, до взрыва которых оставались считаные секунды, вылетели из Пещеры назад. Вслед прилетели три стрелы, которые вонзились в грунт, ей-богу, слишком уж близко. Гранаты громко разорвались в самой гуще «бетовцев», которые утешались лишь тем, что взрывы ненастоящие. «Ну и вонища, мать вашу», — пробурчал себе под нос Майк, совсем позабыв, что каждое его слово транслируется в уши всех толстосумов на трибунах.

В сердцах он вскочил на ноги и, крича: «Раз-два-три, РА-АЗ!», поднял отряд в атаку. Одновременно с этим четверо спецназовцев на тросах оттолкнулись от каменных стен, нацелив окованные железом носки своих ботинок на огромные окна.

Позднее было много споров о том, кто завопил от боли раньше — «альфовцы», чье соударение с двойными армированными стеклами Пещеры стоило им в общей сложности двух сломанных лодыжек и восьми осложненно вывихнутых коленных суставов, или «бетовцы», узревшие, что им навстречу летит с полдюжины стрел. Одна ранила Майка в плечо; другая застряла в бедре его Номера Второго.

— Раз-два-три, *ра-а-а-аз*! — вскричал распро-

стертый на земле полковник, меж тем как его актеры и акробаты перешли в очень реалистичное спешное отступление.

— Вашу мать, вашу *ма-а-ать*! — взревел сэр Джек.

— «Скорую», — велела Марта Кокрейн Теду Уэгстаффу, когда невидимые руки, распахнув окна Пещеры, втянули болтающихся на тросах спецназовцев внутрь.

Из Пещеры выскочила мужеподобная телохранительница девы Мэриан и уволокла Безумного Майка в свое логово.

— Раз-два-три, *ра-а-аз*! — кричал он, до последней минуты оставаясь все тем же храбрецом.

— Вашу мать, вашу *ма-а-ать*! — вторил сэр Джек. Обернувшись к Марте Кокрейн, он заявил: — Даже вы не можете не признать, что абсолютно облажались. По высшему разряду.

Марта ответила не сразу. Она ожидала, что Пол справится с делом лучше. Может быть, мизансцены были обговорены, но Робин Гуд повел двойную игру? Штурм с треском провалился, его участники выглядят незадачливой любительской труппой. И все же… и все же… Она обернулась к губернатору:

— Послушайте, как они хлопают.

И верно. Свист и ироничные аплодисменты постепенно переходили в ритмичный топот, угрожающий сохранности трибун. Очевидно, публике понравилось. Спецэффекты — превосходные; Безумный Майк, этот раненый герой, создал запоминающийся образ, а ляпы и сбои лишь подтверждали, что все без дураков. Кроме того, внезапно сообразила Марта, большинству гостей хочется, чтобы победа осталась за Веселыми Стрелками. Конечно, спецназовцы — Гордость и Опора Мировой Демократии, но лишь у иранского посольства. Здесь же они — карательный отряд, нанятый коварным шерифом Ноттингемским.

Веселых Стрелков, точно стеснительных актеров, еле выгнали из Пещеры на поклоны. Прибыл вертолет «скорой помощи», чтобы отвезти Номера Второго прямо в дьеппскую больницу, меж тем как самого Безумного Майка, скрученного толстыми веревками, демонстрировали в качестве заложника.

Овация не утихала. Определенно перспективная идея, подумала Марта. Надо ее втроем обсудить: она, Пол и Джефф. Конечно, данную Концепцию еще разрабатывать и разрабатывать; и очень жаль, что стрелки впали в излишний

раж; но война эпох явно пришлась Гостям по нраву.

Сэр Джек, откашлявшись, обернулся к Марте. Величаво увенчал себя треуголкой.

— Утром подадите мне заявление об уходе.

Он что, напрочь утратил связь с реальностью?

* * *

На следующее утро, когда Марта открыла дверь в свой кабинет, оказалось, что за ее столом, небрежно теребя свои золоченые аксельбанты, восседает сэр Джек. Он говорил по телефону или, по крайней мере, что-то произносил в телефонную трубку. За его спиной стоял Пол. Сэр Джек указал на низенькое кресло, придвинутое к столу так, чтобы сидящий оказывался точно напротив сэра Джека. Как и на том, первом собеседовании, Марта отказалась следовать указаниям.

Примерно через минуту, отдав распоряжения тому, кто находился (а может, и не находился) на том конце телефонного провода, сэр Джек нажал кнопку и произнес:

— Придержите пока все звонки. — И поднял глаза на Марту. — Удивлены?

Марта промолчала.

— Что ж, вряд ли не удивлены. — Он хихикнул,

словно над какой-то ведомой лишь посвященным аллюзией.

Марта почти догадалась, что он имел в виду, когда сэр Джек, неуклюже поднявшись, произнес:

— Но, друг мой Пол, я забылся. Кресло-то теперь *ваше*. От всей души поздравляю.

Подражая какому-нибудь придворному управителю или парламентскому швейцару, он чопорно отодвинул кресло, а когда Пол начал садиться, резко толкнул сей предмет мебели, пихнув Пола под коленки. У Пола, как не преминула заметить Марта, хватило совести хотя бы на то, чтобы смутиться.

— Видите ли, мисс Кокрейн, азбучных истин вы так и не усвоили. Вы напоминаете мне охотника, который пошел охотиться на медведя гризли. Знаете эту историю? — И, не ожидая ответа на свой вопрос, продолжил: — В любом случае ее стоит поведать вновь. По-мед-ве-дать — отлично придумано, уж простите за нечаянное балагурство. Должно быть, мне сегодня смешинка в рот попала. Итак, один охотник прослышал, что на одном островке у побережья Аляски завелся медведь. И нанял вертолет, чтобы переправиться на остров. Побродив по местности, он отыскал медведя — огромного, великолепного, мудрого

старого медведя. Охотник поймал его в прицел, наскоро выстрелил — «пи-и-и-у-у-у-у» — и совершил ужасную ошибку: не убил зверя, а всего лишь ранил. Медведь убежал в лес, а охотник бросился вдогонку. Он ходил по острову кругами и пересекал его крест-накрест, высматривал медвежьи следы на холмах и в долах. Скорее всего, мишка заполз в какую-то пещеру и отправился к своим мохнатым праотцам. Короче, ноль медведей. День уже клонился к вечеру, и охотник, решив, что хорошенького понемножку, устало побрел к ожидавшему его вертолету. Ему оставалось идти где-то ярдов сто, когда он заметил, что пилот возбужденно машет ему. Охотник замешкался, положил винтовку на землю, чтобы помахать в ответ, и именно в этот миг медведь одним ударом своей великолепной лапы… — сэр Джек изобразил жест на тот случай, если у Марты не хватит воображения, — смахнул охотнику голову с плеч.

— А потом медведь жил-был да мед пил? — не удержалась от сарказма Марта.

— Что ж, я вам, мисс Кокрейн, одно скажу: охотнику точно пришли кранты. Точно.

Сэр Джек, поднявшись на дыбы, с каждой секундой все больше омедвеживался. Он ревел, он

покачивался взад-вперед. Пол, этот восстановленный на работе подхалим, хихикал.

Игнорируя сэра Джека, она сказала новоиспеченному гендиректору:

— Я тебе предрекаю максимум полгода.

— Это что, правдивая лесть? — отрезал он.

— Я полагала… — Ладно, Марта, брось. Ты полагала, что правильно оцениваешь ситуацию. Несколько ситуаций. Оказалось, что это не так. Вот и всё.

— Простите, что докучаю вам в миг личной скорби. — Сарказм сэра Джека отдавал похотью. — Но необходимо уточнить ряд деталей. Ваше право на пенсию аннулировано согласно контракту, в связи с вашим вопиющим должностным преступлением по отношению к инциденту в Пещере Робин Гуда. Вам дается двенадцать часов на то, чтобы очистить от личного имущества ваш стол и вашу служебную квартиру. В качестве выходного пособия вы получаете билет третьего класса на паром до Дьеппа — в одну сторону. Ваша карьера оборвалась. А на тот случай, если вы с чем-то не согласны, наш иск к вам по обвинению в афере и растрате уже готов.

— Тетушка Мэй, — ответила Марта.

— У моей матери были только братья, — само-

довольно объявил сэр Джек.

Она взглянула на Пола. Тот отвел глаза.

— Улик нет, — произнес он. — Больше нет. Куда-то делись. Сгорели, наверно.

— Или медведь съел.

— Отлично, мисс Кокрейн. Рад видеть, что чувство юмора в вас неистребимо. Разумеется, я вынужден вас предупредить, что в случае, если с вашей стороны последуют публичные или приватные заявления, которые я сочту опасными для интересов моего любимого Проекта, я не колеблясь пущу в ход все свое недюжинное могущество, чтобы вам воспрепятствовать. А зная меня так, как вы меня знаете, вы наверняка осознаете, что я не удовольствуюсь одной лишь самозащитой. Это будет наступление. Полагаю, вам ясно.

— Гэри Десмонд, — ответила Марта.

— Мисс Кокрейн, вы совсем отстали от жизни. Очевидно, даже без меня дело кончилось бы безвременным уходом на пенсию. Ознакомьте ее с новостями, Пол.

— Гэри Десмонд назначен главным редактором «Таймс».

— Причем с повышенным окладом.

— Верно, мисс Кокрейн. «У всякого есть своя

цена», — говорят циники. Я не так циничен, как некоторые, здесь присутствующие. Я говорю: «У всякого есть представления о величине денежного вознаграждения, которого он заслуживает». Разве такой взгляд на жизнь не честнее? Вы сами, если мне не изменяет память, выдвинули кое-какие условия насчет оклада, когда устраивались ко мне. Должность вам нравилась, но цену назначили вы сами. Так что любая критика в адрес достопочтенного мистера Джеймса, чей журналистский опыт практически уникален, была бы обыкновенным лицемерием.

— Вам-то… — Пусть его, Марта, брось. Ну их всех.

— Сегодня утром вы изъясняетесь сплошными недоговорками, мисс Кокрейн. Наверно, стресс виноват. Традиционное лекарство — долгое морское путешествие. Увы, мы можем предложить только краткий переезд через пролив. — Сэр Джек вытащил из кармана какой-то конверт и швырнул его на стол перед Мартой. — А теперь, — заявил он, водрузив на голову треуголку и весь вытянувшись — уже не на манер разъяренного гризли, а наподобие капитана корабля, оглашающего приговор бунтовщику, — я объявляю вас персоной нон грата на Острове. Навечно.

На ум Марте пришли разные варианты ответов — но ее уст они не достигли. Одарив Пола безразличным взглядом и проигнорировав конверт, она в последний раз вышла из своего кабинета.

* * *

Она попрощалась с доктором Максом, Сельской Мышью, Язычником-Прагматиком. С доктором Максом, не искавшим ни счастья, ни спасения. Искал ли он любви? Она предполагала, что нет, но о любви у них разговор так и не зашел. Он утверждал, что стремится лишь к удовольствиям, ибо «у них есть оборотная сторона, но и она вычеканена прекрасно». Они расцеловали друг друга в щеки, и на нее пахнуло клонированной *eau de toilette.* Повернувшись, чтобы уйти, Марта внезапно ощутила укол совести. Да, доктор Макс сам себе построил блестящую раковину, но в этот миг она увидела его уязвимым, простодушным, бескожим. Кто защитит его теперь, когда ее нет?

— Доктор Макс.

— Мисс Кокрейн? — Он стоял перед ней, заложив большие пальцы рук в карманы своего эвкалиптового жилета, словно ожидая очередного студенческого вопроса, который можно отбить, как мячик.

— Послушайте, вы помните, как я вас вызвала пару месяцев назад?

— Когда планировали меня выгнать?

— О… доктор Макс…

— Планировали ведь, верно? В процессе своих научных занятий исто-о-рики приобретают определенный нюх к механике власти.

— У вас все будет нормально, доктор Макс?

— Полагаю, да. Бумаги Питмена придется еще разбирать и разбирать. Опять же биография…

Марта улыбнулась ему и укоряюще покачала головой. Укор предназначался ей самой: доктор Макс не нуждался ни в ее советах, ни в ее покровительстве.

В церкви Святого Старвиния она уставилась на столбик лотерейных номеров. Нет, Марта, и на этой неделе джекпота тебе не видать. Она присела на влажную подушечку с вышитым вензелем и вдохнула полным ртом промозглый свет. Почему ее сюда тянет? Ведь она не молиться пришла. В покаянное настроение не впала, чистенькой себя не чувствует. Неверующая, идущая по пятам Господним, как пес, богохульница, чудесно прозревшая: ее случай не следовал старому благостному поповскому сценарию. Но должны быть хоть какие-то параллели? Это доктор Макс

не верит в спасение, а она, кажется, да, чуть-чуть, и надеется найти его среди руин отправленной на слом глобальной спасательной системы.

«Ну хорошо, Марта, чего тебе надо? Мне-то можешь сказать».

«Чего мне надо? Не знаю. Возможно, хочется удостовериться, что у жизни, несмотря ни на что, хватает мощности на серьезные чувства. Правда, мне этих серьезных чувств не перепало. Как, наверно, и большей части человечества. И все-таки».

«Продолжай».

«Ну-у… предполагаю, что жизнь серьезна, когда у нее есть стержневая ось, когда над тобой есть что-то, что больше тебя».

«Мило и дипломатично, Марта. И банально. Торжествующая бессмыслица. Попробуй еще раз».

«Ладно. Если жизнь — банальность, то единственным выходом будет отчаяние».

«Лучше, Марта. Гораздо лучше. Если только ты не имеешь в виду, что ищешь Бога с целью сэкономить на антидепрессантах».

«Нет, тут другое. Ты все переиначиваешь. В церковь я сейчас не за Богом пришла. Вот и еще одна проблема: слова, серьезные слова, истерлись

до дыр, поскольку ими сотни лет пользовались всякие там ректоры и викарии, которые на той стене, да им подобные. И теперь слова не стыкуются с мыслями. Но думаю, в том незавидном во всех прочих отношениях мире было кое-что завидное. Жизнь серьезнее, а потому лучше, а потому выносимее, если она помещена в более широкий контекст».

«Да ладно, Марта, от тебя просто уши вянут. Не знаю, как там у тебя с религиозностью, но благочестия хоть отбавляй. Я предпочитаю тебя прежнюю. Хрупкий цинизм — более адекватная реакция на нашу современность, чем это… сентиментальное томление».

«Нет, не сентиментальное. Отнюдь. Я говорю, что жизнь серьезнее, и лучше, и выносимее, даже если ее контекст капризен и жесток, даже если ее законы фальшивы и несправедливы».

«А это уже называется „радости заднего ума“. Скажи это жертвам многовековых религиозных преследований. Что тебе больше понравится: висеть на дыбе или жить в чистеньком маленьком бунгало на острове Уайт? Думаю, ответ угадать легко».

«И вот еще что…»

«Но ты не ответила на мое последнее замеча-

ние».

«Что ж, возможно, ты ошибаешься. И вот еще что. Индивид утрачивает веру и нация утрачивает веру — разве это не одно и то же? Гляди, что случилось с Англией. С той, Старой Англией. Она перестала верить. Да, конечно, она еще чего-то там себе химичила. Нормально получалось. Но все это было не всерьез».

«Ага, значит, теперь речь о нациях? Чья бы корова мычала, Марта. Думаешь, нация, у которой есть серьезные убеждения, пусть даже капризные и жестокие, автоматически лучше? Вернем инквизицию, попросим на бис Великих Диктаторов, Марта Кокрейн имеет честь представить…»

«Хватит. Я не могу объяснить, не насмехаясь над собой. Слова просто следуют своей собственной логике. Как разрубить узел? Забыть слова? Пусть слова иссякнут, Марта…»

Перед ее мысленным взором возник образ, общий для тех, кто когда-то занимал эти скамьи. Конечно, Гиллиамус Трентинус и Энн Портер не в счет, но лейтенанту Роберту Тимоти Петтигрю, и Кристине Маргарет Бенсон, и Джеймсу Торогуду с Уильямом Петти он, возможно, знаком. Женщина, сброшенная с обрыва и повисшая в воздухе, женщина, ступившая одной ногой на

тот свет, перепуганная и ошеломленная — и все же в итоге благополучно возвращенная на землю. Ощущение, что падаешь, падаешь, падаешь — мы испытываем его всю жизнь, каждодневно, — вдруг уходит… и ты осознаешь, что падение замедлилось, смягчилось благодаря незримому воздушному потоку, о существовании которого никто и знать не знает. Краткий, растянувшийся на вечность миг — абсурдный, невозможный, невероятный, истинный. Яйца, лежавшие в корзинке, побились от толчка — но и только. Этот момент стал началом новой, яркой, большой жизни.

Позднее момент был приватизирован и переписан, растиражирован и опошлен; она сама приложила к тому руку. Но без опошления никогда не обходится. Жить всерьез — значит восславить чудо в его первозданном виде: вернуться в прошлое, увидеть его, вдохнуть запах. Здесь-то они с доктором Максом и расходятся. Ты и сам можешь подозревать, что чудесного события вообще не было или, по крайней мере, оно имело мало общего со своей общепринятой версией. Но пусть все неправда — славь этот образ и миг, славь, живи им, живи. Это единственный шанс привнести в свою жизнь капельку серьезности.

Она положила на алтарь новые цветы, а давешние, засохшие за неделю, хрупкие и крошащиеся, забрала. Неловко затворила за собой тяжелую дверь, но запирать ее не стала — вдруг еще кто придет. Оставь вигвам, стог и чаши.

III. Ингленд

Размеренными ударами — в воздухе так и мелькали слитые воедино рука и тусклый металл — Джез Харрис отбивал косу. У викария имелась древняя «Атко» на бензиновой тяге, но Джез предпочитал все делать по-человечески; кроме того, покосившиеся надгробия были разбросаны по кладбищу без всякого порядка, кое-где сбиваясь в хаотичные стайки, — с механической косилкой тут замучаешься. Стоя на том конце погоста, Марта смотрела, как Харрис, нагнувшись, затягивает кожаные ремешки под коленками своих бриджей. Затем, поплевав на ладони и смачно выругавшись выдуманными словами, он принялся разить пырей ползучий и розовоцветный иван-чай, васильки и вику. Пока бурьян не подрастет вновь, Марта сможет читать высеченные в камне имена своих будущих спутников и спутниц.

На дворе было начало июня, до праздника оставалась неделя, и погода-притворщица строила из себя лето. Ветер утих, и медлительные шмели не столько летели, сколько плыли сквозь густой аромат свежескошенной травы. Опушенный серебром рябчик беспечно разминулся с

бабочкой-бархатницей. И только неугомонная пеночка-кузнечик, шныряя в поисках насекомых, не снимала с себя ярмо трудолюбия. Со времен, когда Марта была маленькой, дикие птицы осмелели. На днях она чуть не наступила на дубоноса, который невозмутимо раскалывал вишневую косточку.

На погосте царила непринужденная разруха — ущерб, наносимый временем, приобретал тут смягченную, учтивую форму. Опасный крен кремнеземной изгороди скрывали водопадообразные кущи мха, прозванного «дедкиной бородкой». Рядом притулились темно-пунцовый бук — две из его усталых ветвей были подперты деревянными костылями — и покойницкая с крышей в форме циркумфлекса (каковую крышу давно уже пора было чинить). Поросшие лишайником доски скамьи, на которой сидела Марта, громко жаловались даже на тяжесть ее опасливо примостившегося тела.

«Пеночка, пеночка, ты, непоседушка, не собираешься в стаи». Откуда это? Только что пришло на ум. Нет, неверно: оно вечно хранилось у нее в голове, а теперь, воспользовавшись оказией, на миг залетело в сознание. Как уже заметила Марта, ее память все чаще выдает информацию

наобум. Разум все еще работает четко, подумала она, но стоит ему прилечь отдохнуть, как на поверхность немедленно всплывает разнообразнейший мусор от всех прожитых лет. Много лет назад, в среднем возрасте, или зрелости, или… (подставьте собственный термин), ее память была прагматичным объяснительным механизмом. Детство, к примеру, вспоминалось как последовательность инцидентов, которые объясняли, почему ты стала той, кем стала. Теперь же сбоев все больше — так цепь велосипеда соскакивает со «звездочки», — а причинно-следственных рядов все меньше. Впрочем, возможно, твой мозг просто-напросто начинает обиняками указывать на истину, от которой ты всячески отбрыкиваешься: той, кем ты стала, ты стала не в результате объяснимых причин и следствий, не из-за наложения волевых актов на обстоятельства, а так, по чистому капризу природы. Всю жизнь ты била крыльями, но куда тебя занесет, решал лишь ветер.

— Мистер Харрис?

— Можете звать меня Джезом, мисси Кокрейн, как все кличут.

Кряжистый кузнец распрямился с хрустом в коленях. Он был одет в крестьянский наряд, кото-

рый выдумал сам, — сплошные карманы, ремни и складки в самых неожиданных местах, этакая помесь фольклорных костюмов, в каких танцуют «моррис», и мазохистского прикида.

— По-моему, тут горихвостка еще сидит на яйцах, — сказала Марта. — Вот тут, за «дедкиной бородкой». Смотрите не вспугните.

— Знамо дело, мисс Кокрейн. — Джез Харрис дернул себя за длинный, свисающий на лоб вихор, отдавая дань своему амплуа комика-деревенщины. — Говорят, горихвостки приносят удачу тем, кто их гнезд не разоряет.

— Так говорят, мистер Харрис? — переспросила Марта, состроив недоверчивую гримасу.

— В нашей деревне — говорят, мисс Кокрейн, — отрезал Харрис, намекая, что сравнительно недавний приезд Марты в здешние места не дает ей права оспаривать историю.

И двинулся дальше — косить заросли бутеня одуряющего. Марта улыбнулась сама себе. Забавно, что у нее язык не поворачивается называть его Джезом — но ведь и «Харрис» в приложении к нему такая же туфта. Джез Харрис ранее был Джеком Ошински, младшим юрисконсультом одной американской фирмы по производству электроники. С наступлением Чрезвычайщины

он теоретически должен был покинуть страну — но предпочел остаться, архаизировать свое имя и технологию: ныне он подковывал лошадей, делал кольца для бочек, точил ножи и серпы, изготавливал ключи, укладывал дерн на клумбах и гнал ядовитый самогон, в который, перед тем как разливать его по стаканам, предварительно полагалось окунуть раскаленную докрасна кочергу. Женитьба на Венди Темпль смягчила и снабдила местными обертонами его чикагский акцент; не зная устали, он упоенно изображал из себя сиволапого мужичину всякий раз, когда в деревню забредал очередной антрополог, журналист или лингвист, неумело закамуфлированный под туриста.

— Скажите, пожалуйста, — начинал беседу пытливый странник в подозрительно чистеньких сапогах, — вон то скопление деревьев имеет какое-то особое название?

— Название? — орал Харрис от своего горна, наморщив лоб и колотя по пунцовой подкове, аки полоумный ксилофонист. — Название? — повторял он, уставив на любопытного свои едва заметные под лохматой гривой глаза. — Энто, значит, будет Галлеевская роща, любая недорезанная собака знает. — И презрительно швырял

подкову в кадку с водой, дабы пар и шипение придали его неприветливости особый драматический эффект.

— Галлеевская роща… Это, случайно, не связано… с кометой Галлея? — Законспирированный дегустатор лужицы, которую являла собой эта отставшая от прочего человечества страна, уже начинал жалеть, что не может достать блокнот или диктофон.

— Кометой? Какой еще кометой? Здеся отродясь комет не бывало. Или про Эдну Галлей не слыхали? Ну да, вестимо, нашенские о таком балакать не любят. Клопомор, а не дело, ежели вы меня спросите, чистый клопомор.

После чего с хорошо рассчитанной неохотой, а также ненавязчиво жалуясь на голод, кузнец Харрис, урожденный юрист Ошински, позволял угостить себя почечным пудингом в «Восходящем солнце» и, прихлебывая эль-со-стаутом, излагал намеками, воздерживаясь от прямых утверждений, истории о колдовстве и суевериях, о сексуальных ритуалах в лунном сиянии, мороках, из-за которых люди убивают собственную домашнюю скотину, и прочих обычаях совсем недавнего прошлого. До слуха прочих завсегдатаев паба доносились таинственно увядающие

на полпути фразы: Харрис то и дело осекался, тут же переходя на мелодраматический шепот. «Оно, конечно, викарий отнекивается…» — вот что они узнавали вкупе с: «Хоть всех тут опроси, любой поклянется, будто о старой Эдне не слыхивал, но она обмывала их, когда они нарождалися, и обмывала их, когда они преставлялися, да и промеж энтих двух монментов…»

Время от времени местный учитель, мистер Маллин, пытался объяснить Джезу Харрису, что фольклор — тем более вымышленный — не должно продавать за деньги либо выменивать по бартеру. Учитель был человек тактичный и несмелый, а потому не шел дальше общих слов и апелляций к принципам. Зато прочие деревенские в выражениях не стеснялись: с их точки зрения, сказительский дар и алчность Харриса были родимым пятном его неальбионского происхождения.

Как бы то ни было, упреки Харрис выслушивал с невинным видом, после чего, поминутно подмигивая и почесывая башку, радушно делал мистера Маллина персонажем своих баек.

— Не извольте беспокоиться, господин учитель, сэр. Старина Джез насчет вас с Эдной ни-ни, роток на замок, да я вот энтой самой косой себе потроха

порежу, ежели мое хлебало начнет балакать про то дело…

— Да перестаньте вы, Джез, — возражал учитель, бессознательно признавая свое поражение уже тем, что обращался к Харрису по имени. — Я просто хотел вам посоветовать, чтобы вы немного смиряли свою фантазию, когда кормите этих людей баснями. Если вам нужны местные легенды, я охотно дам вам почитать книги, у меня их множество. Это сборники фольклора.

В прежней жизни мистер Маллин торговал старинными книгами.

— Матушка Хозяюшка Дождевых Туч и все такое? Вот что я вам скажу, господин учитель, сэр, — тут Харрис строил смущенно-горделивую рожу, — я им такое тоже пытался впаривать, только дудки. Не идеть! Джезовы байки им больше по вкусу, вот вам истинный крест. Вы с мисс Кокрейн читайте вместе свои книжки при свечке…

— О господи, Джез, может быть, довольно?

— А небось пригожая бабенка была когда-то энта мисс Кокрейн, а? Говорят, у ней нижнюю юбку прям с веревки украли в подзатот понедельник, когда старый барсук Брок резвился под луной на Висельном холме…

Вскоре после этой встречи мистер Маллин, серьезный и смущенный, весь розовое лицо и кожаные заплатки на локтях, постучался в дом Марты Кокрейн с черного хода и объявил, что ровным счетом ничего не знает о краже белья, о пропаже которого не имел ровным счетом никакого понятия, пока… пока…

— Джез Харрис? — спросила Марта с улыбкой.

— Неужели вы хотите сказать?..

— Думаю, я уже немного старовата для того, чтобы моя бельевая веревка вызывала чей-то интерес.

— Ах он… ах он разбойник.

Мистер Маллин был робким, нервным человеком. Ученики прозвали его «Трясогузик». Он согласился выпить чашечку мятного чая и, уже не впервые, решился облечь свои нарекания к кузнецу в несколько более резкую форму.

— Видите ли, мисс Кокрейн, в каком-то смысле я вынужденно принимаю его сторону — как не вешать лапшу на уши всем этим соглядатаям и зевакам, которые скрывают свои истинные намерения. Пусть обманщик сам будет обманут — так, по-моему, звучит эта фраза, хотя я сейчас что-то запамятовал, кто ее автор. Может быть, Марциал…

— Однако?

— Да, спасибо, но однако я бы предпочел, чтобы он ничего не высасывал из пальца. У меня масса литературы по мифам и легендам, пусть берет, пожалуйста! Выбор богатейший. Хватит на целую экскурсию. Пусть ведет их на Висельный холм и рассказывает про Безголового Палача. Или про матушку Хозяюшку Дождевых Туч и ее Сияющих Гусей.

— Но это будут уже не его собственные истории?

— Да, это будут *наши* истории. Это будет… правда, — неуверенно проговорил Маллин. — Ну хорошо, неправда — но зафиксированная в источниках. — (Марта глядела на него без всякого выражения на лице.) — В общем, вы меня поняли.

— Я вас поняла.

— Но мне кажется, что вы на его стороне, мисс Кокрейн. Вы его одобряете, не так ли?

— Мистер Маллин, — произнесла Марта, прихлебывая мятный чай, — когда доживаешь до моего возраста, часто обнаруживаешь, что ты, в общем-то, уже ни на чьей стороне. Другими словами, что ты на стороне всех сразу. Выбирайте ту формулировку, которая вам больше нравится.

— О боже, — вздохнул мистер Маллин. — Видите ли, я-то считал, что вы — одна из нас.

— Возможно, за свою жизнь я знала слишком много ра-а-азных «мы».

Учитель вытаращился так, словно заподозрил в ней отъявленную изменницу и почти точно распознал — плохую патриотку. В классе он был весьма требователен к ученикам. Он вдалбливал в их головы местную геологию и народные баллады, происхождение топонимов и миграционные маршруты птиц, а также список королевств Гептархии (куда полегче «Графств Англии», думалось Марте). Он водил детей к северной окраине Киммериджинской формации и демонстрировал старинные приемы борьбы, которым научился по иллюстрациям в энциклопедиях.

Именно мистеру Маллину пришло в голову возродить или — поскольку достоверность исторических преданий вызывала некоторые сомнения — учредить вновь деревенский праздник. Как-то после обеда в дом Марты Кокрейн явилась официальная делегация в составе викария и учителя. Все знали, что она, в отличие от большинства нынешних жителей деревни, действительно выросла в сельской местности. Вкушая кофе из цикория и песочное печенье, они

вытягивали из нее воспоминания.

— Три морковки — длинные, — отвечала она. — Три морковки — короткие. Три морковки — произвольной формы.

— Да?

— Поднос с овощами. Поднос с овощами. Поднос разрешается украсить, но исключительно петрушкой. Цветную капусту выставлять строго со стеблями.

— Да?

— Шесть штук фасоли обыкновенной. Шесть штук фасоли огненно-красной. Шесть штук фасоли карликовой.

— Да?

— Банка варенья. Все выставляемые козы должны быть самками. Банка сыра лимонного. У неразвязанных телок фризской породы должно быть видно не более двух резцов.

Марта отыскала брошюру в поблекшей красной обложке. Гости перелистали ее. «Три георгина кактусовых, 6–8 д. — в одной вазе», — читали они. Затем: «Пять георгинов „Помпон“, менее 2 д. в диаметре». И еще: «Пять георгинов „мини-шар“». И еще: «Три георгина декоративных, выше 8 д. — в трех вазах». Хрупкий сборник списков казался осколком горшка, оставшимся от неве-

роятно замысловатой и, очевидно, прогнившей изнутри цивилизации.

— Конкурс на лучший маскарадный костюм для наездника? — задумчиво произносил преподобный Колмен. — Две кованые вешалки для одежды? Изделие из соленого теста? Лучший маленький земледелец (допускаются дети до пятнадцати лет)? Собака, которую судье захочется взять домой?

Учитель, при всем своем уважении к книжному знанию, реагировал холодно.

— Наверно, учитывая все аспекты, нам лучше начать с нуля.

Викарий кивнул в знак согласия. «Реестр номинаций премии приходского сельскохозяйственно-садоводческого общества» так и остался лежать на столе.

После их ухода Марта перелистала книжечку, в очередной раз вспоминая запах пивного павильона, и как стригли овец, и как родители раскачивали ее до самого неба. И мистера Э. Джонса, и сияние фасоли на черном бархате. Спустя целую жизнь она впервые задалась вопросом, не сжульничал ли мистер Джонс ради своего шедевра. Теперь уже не узнать: огородник и сам давно стал навозом.

С ржавых скреп брошюры соскальзывали страницы; а вот упал сухой листок. Она положила его, твердый и серый, на ладонь и лишь по фестонам на его краях догадалась, что листок дубовый. Наверно, тогда, много лет назад, она подобрала его и сохранила с конкретной целью: в такой вот день, как сегодня, напомнить себе о каком-то тогдашнем дне. Вот только что́ это был за день? Памятка не сработала; ни одно воспоминание о радости, успехе или просто удовлетворенности не вернулось к ней: ни солнечного луча, вдруг озарившего листву, ни домовой ласточки, хлопочущей под карнизом, ни запаха сирени. Такую вот свинью она подложила юной Марте, так как утратила юношескую систему ценностей. Хотя можно повернуть и по-другому: юная Марта подложила свинью старой, не сумев предвидеть старческую систему ценностей.

Джез Харрис миновал каскад «дедкиной бородки» на цыпочках, не потревожив горихвостку, обеспечив себе удачу, согласно им же придуманной новехонькой примете. Нельзя сказать, чтобы его коса и садовые ножницы придали погосту очень уж аккуратный вид, но теперь кладбище хотя бы не казалось вконец заброшенным, да и упорядоченная жизнь птиц и бабочек не

была нарушена. Взгляд Марты, а за ним — и ее мысль последовали за порхающей серницей на юг, через низину, через полоску воды, мимо меловых возвышенностей к другому кладбищу со сверкающими белокаменными стенами и чисто вымытым дерном. Туда дикую природу не допустят; будь это в человеческих силах, кладбище защитили бы от червей и даже от самого времени. Ибо ничто не должно покушаться на загробный покой первого барона Питмена де Форс.

Даже Марта не держала на сэра Джека зла за его разрыв с метрополией. Остров был его идеей и его успехом. Крестьянское восстание Пола и Марты оказалось, как засвидетельствовало время, лишь маловажной интерлюдией, давно вычеркнутой из анналов истории. Также сэр Джек быстро покончил с пагубной склонностью некоторых служащих слишком уж рьяно отождествляться с ролями. Новый Робин Гуд и его новые «Веселые стрелки» вернули разбойничью жизнь в благопристойное русло. Королю без обиняков напомнили о святости брачных уз. Доктора Джонсона отправили в дьеппскую больницу, где как психотерапевты, так и новейшие психотропные препараты оказались не в силах извести его ложную личность. Оставалось лишь назначить

ему курс сильнодействующих успокоительных, дабы купировать суицидальные тенденции.

Предсказание Марты оказалось не слишком точным — в гендиректорском кресле Пол продержался довольно долго, а именно года два; затем, немного поломавшись, пожаловавшись на свой преклонный возраст и неохоту вновь взваливать на себя неподъемное бремя, сэр Джек вновь завладел браздами правления. Вскоре после этого обе палаты парламента присвоили ему специальным голосованием титул первого барона Питмена де Форс. Решение было принято *nem con*[70], и сэр Джек заключил, что от такой чести отказался бы лишь очень тщеславный человек. Доктор Макс взрастил для нового барона правдоподобное генеалогическое древо, и особняк владыки Острова начал соперничать с Букингемским дворцом как по роскоши, так и по уровню посещаемости. Сэр Джек частенько смотрел в окно на Мэлл и королевское жилище в ее противоположном конце, говоря себе, что его последняя великая мысль, его Девятая симфония, принесла ему заслуженное богатство, мировую известность и восторженное признание со стороны бирж, сделала его феода-

[70] Сноски: 70
Nemine contradicente *(лат.)* — единогласно.

лом-землевладельцем. Нет, не зря его прозвали новатором и генератором идей.

И даже по отношению к смерти он не утратил своего бойцовского духа. Лежать на одной земле со всякой мелкой сошкой ему не очень-то хотелось. И потому основатель Острова сам спроектировал место своего последнего упокоения. Храм Святой Милдред в Уиппингхэме — домовая церковь Осборн-хауса — разобрать и возвести заново на возвышенности среди теннисоновских холмов, чьи столь милые Гостям просторы, возможно, когда-нибудь будут переименованы, но, разумеется, лишь при условии достаточно решительного волеизъявления самих островитян. Погост площадью в два акра — окружить белокаменной стеной со вставленными там и сям мраморными плитами, на которых начертать избранные, самые неувядающие афоризмы сэра Джека. В центре, на невысоком возвышении, поместить мавзолей Питмена, искусно, сообразно с его назначением, украшенный, но, в общем, изысканно-простой. Великие люди и в смерти должны быть скромны. В то же самое время было бы нецелесообразно игнорировать требования, предъявляемые Гостями к будущей крупнейшей достопримечательности Англии, Англии.

Свои последние месяцы сэр Джек провел, одним глазом следя за прогнозом погоды, а другим — инспектируя чертежи архитекторов. С каждым днем в нем укреплялась вера в знаки и предзнаменования. Как где-то обмолвился гениальный Вильям, звучный плач небес нередко предвещает кончину великого человека. Не кто иной, как Бетховен, скончался под рокот грозы прямо у него над головой. Последние слова, прозвучавшие из уст гения, были похвалой англичанам. «Да благословит их Бог», — сказал он. Будет ли со стороны сэра Джека тщеславием — или, напротив, истинным смирением? — повторить эту фразу, пока небеса будут протестовать против его собственного ухода в мир иной? Так первый барон Питмен и умер, обдумывая свою прощальную эпиграмму, удовлетворенно созерцая синее, прозрачное небо.

Похороны были сплошная напыщенность да вереницы лошадей с черными плюмажами; некоторые из пришедших горевали искренне. Но Время, а точнее, внутренняя динамика родного детища сэра Джека, его Проекта, нашло способ с ним расквитаться. В первые месяцы после кончины Самые Почетные Гости посещали мавзолей, чтобы поклониться праху покойного, почитать

настенные мудрости сэра Джека и в задумчивости удалиться. Вместе с тем они по-прежнему охотно записывались на экскурсии по питменовскому особняку в конце Мэлл — может быть, даже охотнее, чем раньше. Эта пылкая преданность лишь подчеркивала атмосферу запустения и меланхолии, царящую в здании после смерти владельца, и Джефф с Марком оба согласились, что настраивать Гостей на философский лад, конечно, следует, но вот на депрессивный… И тут логика бизнеса ниспослала им озарение, яркое, как буквы на стене Валтасарова дворца: сэр Джек должен жить, и он будет жить.

Прослушивания проходили отнюдь не гладко, но в итоге был найден Питмен, который после знакомства с историческими материалами и непродолжительных репетиций оказался не хуже старого. Сэр Джек — прежний сэр Джек — был бы в восторге от того факта, что его преемник переиграл чуть ли не все главные роли в пьесах Шекспира. Воскрешенный сэр Джек вскоре обрел популярность: выпрыгивая из своего ландо, он запросто углублялся в толпу, он читал лекции по истории Острова, он принимал в своем особняке Особо Почетных Гостей — высших руководителей турфирм. На «Обед с Питменом в „Чеширском

сыре“» Гости стекались толпами. Единственным отрицательным с коммерческой точки зрения моментом было лишь то, что посещаемость мавзолея упала столь же резко, как корзинка Бетси, — порой Гостей там бывало меньше, чем садовников. Большинству людей казалось, что утром улыбаться человеку, а вечером посещать его могилу — это как-то бестактно.

На Острове правил уже третий сэр Джек, когда Марта после многих десятилетий скитаний вернулась в Ингленд. Она стояла на носу парома, раз в три месяца отправлявшегося из Гавра; то и дело гудя, судно неуверенно входило в гавань Пула; подставив щеки мелким водяным брызгам, Марта размышляла, найдет ли пристань сама и если да, то какую. Паром причалил; с борта на пирс перекинули сходни; запрокинутые головы искали глазами кого угодно, но только не Марту. Она сошла на берег последней. Она была одета в самые старые вещи из своего гардероба; и все же таможенник с бакенбардами отдал ей честь, когда она остановилась перед его полированной дубовой стойкой. Свой староанглийский паспорт Марта сохранила и вдобавок все эти годы тайком платила налоги. Эти две предосторожности гарантировали ей редкостный статус

Санкционированного Иммигранта. Таможенник, в костюме из плотного синего сержа, в добротных сапогах-веллингтонах, поднес к глазам золотой карманный хронометр, висевший у него на поясе, и занес точное время ее репатриации в журнал с сафьяновой обложкой. Он был явно моложе Марты, но глядел на нее, словно на давно потерянную дочь. «Лучше одна заблудшая овечка, не обессудьте за дерзость, мэм». Вернув ей паспорт, он вновь отдал честь и свистнул оборванному мальчишке, чтобы тот поднес ее багаж до кеба.

Что ее удивило при наблюдении со стороны — это как быстро все развалилось. Нет, «развалилось» — это несправедливо, это в духе газеты «Лондон Таймс» (по-прежнему выходящей в Райде). Официальное мнение Острова, патриотически проповедуемое Гэри Десмондом и его преемниками, сводилось к самому элементарному злорадству. Старая Англия все стремительнее утрачивает власть, территории, богатство, влияние и население. На фоне Старой Англии светочем прогресса покажется самая отсталая провинция какой-нибудь Турции и прочей Португалии. Старая Англия, сама себе перерезав глотку, валяется в канаве под призрачным газовым фонарем, и ее единственная миссия

— служить наглядным предостережением для других наций. «Из князи в грязи» — резюмировал положение дел презрительный заголовок в «Таймс». Старая Англия потеряла свою историю, а следовательно (поскольку индивидуальность — это память, а память — это индивидуальность), напрочь потеряла себя.

Но был возможен и другой взгляд на ситуацию; будущие историки, даже самые предвзятые, несомненно, согласятся выделить два различных периода. Первый начался с рождением «Проекта „Остров“» и длился все то время, пока Старая Англия — примем для удобства этот термин — пыталась конкурировать с Англией, Англией. Для метрополии это было время неуправляемого пике. Рухнула экономика, доселе державшаяся на туризме; денежно-кредитную систему погубили биржевые спекулянты; с отъездом монаршей четы среди аристократов распространилась мода на эмиграцию, так что лучшие особняки страны скупили в качестве дач европейцы с Континента. Шотландия, сбросив с себя многовековое иго, приобрела обширные земли вплоть до старых промышленных городов Севера; и даже Уэльс раскошелился, чтобы расшириться за счет Шропшира и Херфордшира.

После нескольких попыток помочь утопающей Британии Европа отказалась выбрасывать деньги на ветер. Некоторые сочли, что Европа нарочно отступилась от государства, которое когда-то соперничало с Континентом; решила, дескать, отыграться за прошлые века. Поговаривали, что, собравшись за тайным ужином на Елисейских Полях, президенты Франции, Германии и Италии провозгласили тост: «Падающего толкнем». Ну хорошо, может, это и апокриф, но документы, с большими трудами добываемые в Брюсселе и Страсбурге, подтверждали: для многих высших государственных деятелей Европы Старая Англия — скорее аллегория нравственно-экономической греховности, чем достойный адресат безотлагательной финансовой помощи; эту страну надлежит изображать как обиталище мотов и не мешать ее падению в пропасть, дабы чересчур алчные представители других народов не очень-то зарывались. Последовали даже символические кары: «время по Гринвичу» заменили «среднепарижским временем», а английскую соль переименовали в германскую.

Начался массовый исход беженцев. Лица вест-индского и азиатского происхождения возвращались в процветающие страны, откуда

когда-то, спасаясь от голода, прибыли их прапрадеды. Другие приглядывались к Соединенным Штатам, Канаде, Австралии и континентальной Европе; но эмигрантов из Старой Англии, на чьих лицах словно лежала печать невезения, в этих государствах принимать не спешили. Европа, основываясь на одном из подпараграфов Веронского договора, лишила староангличан права на свободу передвижения по территории Евросоюза. Греческие эсминцы патрулировали Ла-Манш, перехватывая лодки с нелегалами. В связи со всем этим исход несколько замедлился.

Естественной политической реакцией на кризис было избрание Правительства Обновления, которое поклялось оздоровить экономику, хранить парламентский суверенитет и вернуть утраченные земли. Для начала оно вновь сделало основной денежной единицей старый фунт, против чего мало кто протестовал, так как английский евро все равно утратил статус конвертируемой валюты. Вторым шагом было послать на север войска для возвращения территорий, которые были официально объявлены оккупированными (хотя на самом деле их всего лишь продали). «Блицкриг» освободил почти весь Западный Йоркшир, к немалому смятению

его населения, но после того, как США поддержали решение Евросоюза о предоставлении шотландской армии неограниченного кредита и наисовременнейшего оружия, произошло сражение при Ромбальдс-Муре — и пришлось заключить позорный Уитонский договор. Тем временем французский Иностранный легион под шумок вторгся на Нормандские острова, и иск об их возвращении историческим владельцам, поданный французами, был удовлетворен Международным судом в Гааге.

После Уитонского договора дестабилизированная, обремененная репарациями страна отказалась от политики Обновления — или, по крайней мере, того, что традиционно понималось под Обновлением. Это и послужило началом второго периода, о котором еще долго будут спорить будущие историки. Одни утверждают, что в этот миг у страны просто опустились руки; другие — что среди жестоких испытаний у нее внезапно открылось второе дыхание. Однако бесспорно уже то, что традиционные, общепризнанные цели нации — экономический рост, политическое влияние, военная мощь и нравственное превосходство — были теперь забыты. Новые политические лидеры ратовали за новую самодостаточность.

Они отказались от членства в Европейском союзе — выкидывая на переговорах такие безумные фортели, что им в итоге еще и приплатили, чтобы наконец-то спровадить, — запретили торговлю с остальным миром, лишили иностранцев права владеть недвижимым и движимым имуществом на территории страны, а также распустили армию. Желающих эмигрировать выпускали; желающих иммигрировать впускали лишь в особых случаях. Отъявленные шовинисты кричали, будто эти меры превратят великую торговую державу в отшельницу, питающуюся одними орехами, но патриоты-модернизаторы чувствовали душой, что для народа, переутомленного собственной историей, это единственный реалистичный выход. Старая Англия запретила въезд туристов иначе как группами по два человека или меньше и ввела замысловатый, достойный византийской бюрократии визовый режим. Старое административное деление на графства было упразднено; страну разделили на новые провинции, в целом повторявшие королевства Англо-Саксонской Гептархии. И наконец, страна окончательно откололась от остального земного шара и Третьего Тысячелетия, сменив название на «Ингленд».

Мир начал потихоньку забывать, что слово «Англия» когда-то означало нечто иное, чем «Англия, Англия», а Остров немало потрудился, подкрепляя это ложное воспоминание; одновременно те, кто оставался в Ингленде, начали забывать о существовании мира за его пределами. Разумеется, народ обеднел, но само слово «бедность» звучит не так ужасно, когда перед глазами больше нет образчиков богатства. Если бедность не влечет за собой недоедания и ухудшения здоровья, это уже не бедность, но добровольная аскеза, а те, кому еще не надоела тщета всего сущего, могут свободно эмигрировать. Кроме того, инглендцы отказались от многих достижений в области связи, когда-то казавшихся жизненно важными. Последним писком моды стали письма на бумаге и перьевые ручки, АТС с живыми телефонными барышнями и семейные посиделки у радиоприемника в час, когда передают «Театр у микрофона»; понемногу все эти модные обычаи превратились в настоящие жизненные принципы. Города пустели; транспортные артерии были заброшены — по железным дорогам бегало лишь несколько паровозиков-«кукушек»; на дорогах царили лошади. Возобновилась добыча угля; каждое королевство стремилось не походить на

другие; возникли новые диалекты со своими новыми лексико-фонетическими особенностями.

Марта и сама не знала, чего ждать, когда одноэтажный автобус цвета сливы со сливками доставил ее в самое сердце Уэссекса, в деревню, предоставившую ей вид на жительство. Мировая пресса писала об Ингленде исключительно с голоса «Лондон Таймс», изображая страну оплотом дремучего провинциализма и помешательства на анахронизмах. Перья карикатуристов с натужным постоянством рисовали пару сиволапых мужиков: один, пользуясь ручным насосом, откачивает второго от самогонной передозировки. Писали, что преступность торжествует, несмотря на все усилия полисменов на велосипедах; злоумышленников не сдерживают даже вновь возрожденные колодки. А близкородственные браки, как считалось, породили новую, на диво безмозглую породу деревенских дурачков.

Разумеется, на землю метрополии уже много лет как не ступала нога островитянина; правда, одно время эскадрилья имени Битвы за Британию взялась развлекаться, проводя воздушную разведку над Уэссексом. Закрыв глаза плексигласовыми очками, под треск отреставрированных радиопомех в наушниках, «Джонни» Джонсон и

прочие герои в овчинных куртках с изумлением отмечали отсутствие внизу всего, о чем только можно помыслить: транспорта на дорогах, линий электропередачи, уличных фонарей, рекламных щитов — в общем, всей этой жизненно важной структуры общества. А видели они мертвые, расчищенные бульдозерами спальные районы городов, теряющиеся в кустах четырехрядные автострады, цыганские таборы, раскинувшиеся на бугристом, как подтеки вулканической лавы, асфальте. Тут и там изумрудными заплатками сияли молодые леса: одни хаотичные, природные, другие — с четкими контурами, изобличающими вмешательство человека. Жизнь внизу производила впечатление медлительной и маломерной. Целесообразные просторные поля вновь, как в старые времена, распались на узкие полоски; деловито крутились ветряные мельницы; прочищенный канал бодро отражал пестро раскрашенные баржи и впряженных в них усталых лошадей. Иногда далеко-далеко на горизонте в воздухе повисал дымный след паровоза. Летчики любили носиться на бреющем, устраивая сюрпризы деревням: испуганные лица с разинутыми, как чернильницы, ртами, жеребец, закусивший удила на мосту, у будочки сборщиков подати, и

его всадник, бессильно грозящий небу кулаком. Тогда, с самодовольным смехом, герои выписывали в небе букву «V» — знак победы, прибавляли газу пальцем в обтрепанной перчатке и брали курс на базу.

Пилоты видели то, что хотели видеть: причудливые анахронизмы, маломощность, разруху. От их внимания ускользали иные, менее заметные со стороны перемены. После многолетнего отсутствия в Ингленд вернулись первозданные времена года. Зерно вновь произрастало на соседнем поле, а не прибывало грузовыми самолетами; первая картошка по весне была экзотическим лакомством, а айва и тутовые ягоды по осени — верхом сибаритства. Распространилось убеждение, что спелые плоды — дар Фортуны, и дождливое лето означало, что чатни из зеленых помидоров будет вдоволь. Приближение зимы измерялось порчей яблок в кладовой и растущим нахальством хищных зверей. Поскольку времена года могли при случае очень подгадить человеку, их стали больше уважать, отмечая их начало трогательно-серьезными ритуалами. Много лет погода была вынуждена довольствоваться жалкой ролью предлога, оправдывающего дурное настроение; теперь же она стала важнейшим

фактором, непостижимой внешней силой, систематически посылающей награды и кары, причем вторые явно превалировали. Промышленные выбросы, всякие там горячие газы и технические воды, больше не вмешивались в ее дела, и погода властвовала своенравно, ни с кем не считаясь: скрытная, имманентная, капризная, она порой грозилась чудесами. Туманы имели свой характер и маршруты, гром вернул себе божественный статус. Реки разливались, море прорывало дамбы, а когда половодье спадало, с верхушек деревьев доставали утонувших овец.

Пейзаж отмылся от химических красок, цвета стали спокойнее, свет — чище; луна в отсутствие конкуренции восходила теперь более горделиво. В лесах и на лугах, заполонивших всю страну, без помех плодилась всякая живность. Умножилось поголовье зайцев; оленей и кабанов с ферм выпускали в леса; городские лисы вернулись к более здоровому режиму питания — кровоточащему, еще трепещущему мясу. Люди вернулись к стародавней практике землепользования; возродились деревенские общины; поля и фермы становились все меньше; вновь высаживались живые изгороди. Бабочки наглядно доказывали своим разнообразием, что старые энтомоло-

гические определители не зря были такими толстыми; перелетные птицы, много поколений назад решившие, что над ядовитым островом надо пролетать как можно быстрее и зажав клюв, теперь оставались на нем подольше, а некоторые вообще решили осесть. Домашние животные становились мельче и проворнее. Вновь стали популярными мясные блюда — и браконьерство. Детей посылали в лес по грибы, и самые храбрые, откусив на пробу маленький кусочек, объявляли, что впали в транс; другие выкапывали загадочные корни или курили косяки с сушеным папоротником, притворяясь, будто тащатся по полной программе.

Деревня, где Марта жила шестой год, была маленьким скоплением домов у развилки, где от автострады отходила дорога на Солсбери. Много десятков лет грузовики расшатывали обшитые досками фундаменты домов, а бензиновый чад коптил стены; все окна были с двойными стеклами, и только дети или пьяные переходили дорогу без особой на то необходимости. Теперь же расколотая автострадой деревня вновь срослась. По щербатому асфальту с хозяйским видом расхаживали куры и гуси; здесь же дети чертили мелом «классики»; треугольную общинную лужайку

колонизовали утки, отважно защищавшие свой маленький пруд. На чистом ветру сохло белье, прикрепленное деревянными прищепками к веревкам. Поскольку черепицы больше негде было достать, домики вновь стали крыть тростником и соломой. Поскольку транспорт отсутствовал, деревня чувствовала себя безопаснее и уютнее; поскольку не было телевидения, сельчане больше разговаривали друг с другом, хотя тем для разговора как-то поубавилось. Скрыться от любопытных глаз не удавалось никому; бродячих торговцев встречали опасливо; детей укладывали спать, распалив их воображение историями о разбойниках и цыганах, хотя мало кто из родителей видел живого цыгана, а разбойника — так вообще никто.

Деревенские не были идиллическими пейзанами — но нелепыми дистопированными горожанами их тоже нельзя было назвать. Настоящих дурней тут не водилось — самозабвенный фигляр Джез Харрис не в счет. Если глупость, многократно упомянутая «Лондон Таймс», и наличествовала, она была старомодная, основанная на незнании, то есть не чета современной, основанной на знании. Преподобный Колмен был благонамеренный зануда, рукоположен-

ный заочной семинарией по почте. Учителя мистера Маллина скорее уважали, чем слушались, — но порой и слушались. Лавка работала по иррациональному расписанию, придуманному специально, чтобы сбить с толку самых верных покупателей; пиво в паб возили из Солсбери, а жена кабатчика не умела даже сэндвич приготовить. Напротив дома Фреда Темпля, седельщика, сапожника и цирюльника, находилась живодерня для бездомных животных. Дважды в неделю тряский автобус возил деревенских в город на базар, минуя сельскую больницу и Уэссекский дом умалишенных; шофер, которого все звали просто Джорджем, всегда охотно выполнял поручения домоседов. Преступность существовала, но в культуре добровольной аскезы она редко поднималась выше кражи цыплят. Жители приучились оставлять домики незапертыми.

Вначале Марта вся таяла от сентиментальности, пока кабатчик Рэй Стаут — бывший контролер с платного шоссе — не перегнулся через стойку в своем заведении, чтобы сдобрить ее джин с тоником следующей фразой:

— Полагаю, наше маленькое сообщество вы находите весьма забавным?

Затем она впала в уныние из-за плоского ланд-

шафта и нелюбознательности сельчан, пока Рэй Стаут не вызвал ее на бой, спросив: «Ну как, соскучились уже по ярким огням, простите, если чего не так сказал?» Наконец она привыкла к мирной и неизбежной рутине, опасливости, бесконечному соглядатайству, чувству бессилия, умственным инцестам, долгим вечерам. Она подружилась с парой сыроваров — бывшими биржевыми брокерами; она заседала в приходском совете и ни разу не пропустила своей очереди украшать церковь цветами. Она взбиралась на холмы; брала книги в передвижной библиотеке, которая делала остановку на общинной лужайке каждый второй вторник. На огороде выращивала турнепс «Снежок» и капусту «Красная барабанная», салат «Батский», цветную капусту «Святогеоргиевская» и лук «Герой Рашем-Парка». В память о мистере Э. Джонсе она растила больше фасоли, чем ей требовалось: «Ножички-в-футляре» и «Крашеную леди», «Золотую масляную» и «Алого императора». Ни одна из этих фасолин, на ее взгляд, не стоила черного бархата.

Разумеется, ей было скучно, но ведь в Ингленд она вернулась не как фанатичка, а скорее как перелетная птица. Она ни с кем не спала, старела, наизусть знала контуры своего одиночества. Она

не была уверена, правильно ли поступила сама и правильно ли поступил Ингленд — может ли нация вывернуть наизнанку свои обычаи и жизненный путь? Что это, массовое помешательство на анахронизмах, как утверждает «Таймс», или черта, изначально таившаяся в натуре, в истории народа? Дивная новая идея, стремление к духовному возрождению и нравственной самодостаточности — как утверждают политики? Или всего лишь неизбежная, вынужденная реакция на экономический крах, массовую эмиграцию и месть Европы? В деревне подобные вопросы не обсуждались — и это, возможно, означало, что страна наконец-то выздоровела от своей нервной, псориазообразной рефлексии.

А со временем и сама Марта вписалась в деревню, ибо перестала терзаться своими особыми личными проблемами. Она больше не устраивала сама с собой дебаты о том, является ли жизнь банальностью, и если да, то что из этого проистекает. Но все равно не разобралась, чему обязана этим новообретенным покоем — зрелости или усталости. Теперь она ходила в церковь в качестве деревенской жительницы, среди других деревенских, которые оставляли свои зонтики на крыльце с худой крышей и высиживали беззубые

проповеди, меж тем как их желудки взывали к ноге ягненка, отданной по дороге в церковь пекарю, чтобы тот поджарил ее в своей печи. Яко твои есть лекарство, лилии, сказка: красивый стишок не хуже всех прочих.

После обеда Марта обычно выходила со своего участка через заднюю калитку, пересекала, вспугнув суетливых уток, лужайку и поднималась по извилистой тропке на Висельный холм. Пешие туристы — по крайней мере, настоящие — теперь появлялись редко, и каждую весну глубоко протоптанная тропка вся зарастала травой. Чтобы продираться сквозь шиповник, она надевала ветхие жокейские брюки и выставляла вперед локоть, отстраняя настырные ветки боярышника. Тут и там на тропинку выбегали ручьи, и кремешки у нее под ногами начинали отсвечивать пурпуром. Взбираясь в гору с терпеливостью, обретенной лишь на закате жизни, она выходила на общинный выгон, занимавший, вкупе с несколькими вязами, верхушку Висельного холма.

Марта села на скамейку, зацепившись ветровкой за ржавую металлическую табличку — напоминание о давно умершем фермере, и окинула взглядом поля, которые этот фермер

когда-то пахал. Блекнут ли цвета, когда твои глаза стареют? Или же дело в другом: в юности твое восхищение миром передается всему, что видишь, и делает цвета ярче? Ландшафт, который она рассматривала, был раскрашен в оттенки буйволовой кожи и охры, пепла и крапивы, сланца и бутылок, чалых лошадей и бурых коров. На этом фоне бродило несколько рыжеватых овец. Скудные приметы людского присутствия также соответствовали природным законам скромности, нейтральности и камуфляжа: лиловый сарай фермера Бейлиса, когда-то вызвавший на приходском совете долгий спор на тему эстетики, практически выцвел до светло-гематомного оттенка.

Марта понимала, что и сама тоже блекнет. Осенило ее внезапно: как-то раз она хорошенько пробрала маленького Билли Темпля, который посбивал хворостиной головки с розового куста в саду викария, а мальчик — с горящими глазами, непокорный, в обвисших гольфах — упрямо набычился и, удирая, крикнул через плечо: «А мой папа говорит, что вы старая дева». Марта пошла домой и взглянула на себя в зеркало: растрепанные, выбившиеся из-под заколок волосы, серая ветровка, клетчатая рубашка, деревенский

румянец, взявший реванш после многолетней обработки лица всяческими кремами, а в глазах эдакая, как ей показалось — хотя ей ли судить? — кротость, в них словно молока капнули. Что ж, старая дева так старая дева — если уж ее так воспринимают…

И все же больно уж странный зигзаг описала ее жизнь: она, столь искушенное в жизни дитя, столь трезвомыслящая взрослая дама, обернулась старой девой. Конечно, не той, традиционной, обязанной этим званием своему пожизненному целомудрию, неустанной заботе о престарелых родителях и абстрактной высоконравственности. Помнится, когда-то среди христиан, в том числе очень молодых христиан, была мода объявлять себя — отъявленная, кстати, наглость — вновь рожденными во Христе. Почему бы Марте не стать вновь рожденной старой девой? Впрочем, возможно, мораль сей басни такова: сколько ни трать на внутренние борения — хоть всю жизнь, — все равно станешь тем, кем кажешься со стороны. Это и есть твоя натура, нравится она тебе или нет.

Чем занимаются старые девы? Они одиноки, но участвуют в жизни деревни; они благовоспитанны и не выказывают ни малейшего понятия

об истории сексуальности; правда, иногда у них бывает какая-то своя история, свое минувшее, свои давние потери и разочарования, о которых они предпочитают молчать; они гуляют в любую погоду — для здоровья, знают толк в горчичных ваннах и приносят больным крапивный суп; они хранят скромные сувениры, пронзительный смысл которых не понять чужакам; они читают газеты.

Итак, Марта вроде бы оказывала услугу окружающим, одновременно принося удовольствие себе самой, когда каждую пятницу, вскипятив молока для своего утреннего кофе из цикория, усаживалась в кресло с «Уэссекскими ведомостями». Всю неделю она с нетерпением предвкушала ту густопсовую местную ограниченность, которой была пропитана вся газета. С реальностью, которую ты знаешь лично, общаться невообразимо приятно; скучновато, конечно, но свой шесток есть свой шесток. В Среднем Уэссексе уже много лет как не бывало авиакатастроф и государственных переворотов, геноцида, перехвата крупных партий наркотиков, африканского голода и голливудских браков; а потому прессой такие темы не затрагивались. Ни слова не прочтет она и об острове Уайт, как он все еще именуется в метро-

полии. Некоторое время назад Ингленд отказался от всех территориальных притязаний на владения барона Питмена. То был необходимый акт окончательного разрыва отношений, хотя мало кто оценил его красоту. «Лондон Таймс» саркастически сравнила Ингленд с промотавшимся отцом, торжественно отказывающимся платить по счетам сына-миллионера.

В метрополии все еще выходили кое-какие журналы, в которых можно было прочесть об увлекательных событиях за морями и проливами; но «Уэссекские ведомости» и их коллеги были из другого теста. «Ведомостями» они именовались не зря, так как новостей не содержали; скорее то был список принятых решений и недавних происшествий. Цены на скотину и корма; биржевые цены на овощи и фрукты; приговоры акцизных и мировых судов; подробные реестры движимого имущества, выставляемого на аукционы; золотые, серебряные и просто исполненные надежд на будущее счастье свадьбы; праздники, фестивали, дни открытых дверей в садах и парках; результаты спортивных состязаний на уровне школ, приходов, округов и королевства; рождения; похороны. Марта читала газету от корки до корки, уделяя особое внимание тем страницам,

которые вроде бы не представляли для нее никакого интереса. Она жадно впивалась глазами в списки товаров, продаваемых хандредвейтами, стоунами и фунтами за суммы, исчисляемые в фунтах, шиллингах и пенсах. Вряд ли это была ностальгия, поскольку большинство из этих мер было отменено до того, как она достигла сознательного возраста. А может, это все же была ностальгия, только иная, еще более подлинная: тоска не по вещам, которые ты видела или могла видеть в детстве, но по вещам, которые вышли из обихода задолго до тебя. Итак, с дотошностью, которая при всей своей искусственности не была натужной, Марта отмечала, что свекла твердо держится на отметке тринадцать с половиной шиллингов за хандредвейт, тогда как лопухи за неделю подешевели на шиллинг. Она ничуть не удивлялась: с чего люди вообще взяли, будто лопухи съедобны? На ее взгляд, все это ретровегетарианство объяснялось скорее модой, чем тягой к правильному питанию или бедностью. Люди просто пока не видят разницы между простотой и умерщвлением плоти.

Внешний мир попадал в «Ведомости» лишь от случая к случаю: как источник погоды, как пункт назначения перелетных птиц, покидаю-

щих сейчас Средний Уэссекс. Также еженедельно печаталась карта звездного неба. Ее Марта рассматривала не менее пристально, чем сводку сельскохозяйственной биржи. Где искать Сириус, что за тускло-красная планета висит над горизонтом на востоке, как распознать Пояс Ориона. Вот две сферы, которым должна посвящать себя человеческая душа, думалось Марте, область сугубо местного и область практически вечного. Чуть ли не всю жизнь она истратила на ту разномастную ерунду, что болтается в промежутке между этими двумя сферами: на карьеру, деньги, секс, несчастную любовь, внешность, тревоги, страхи, томление. Пусть люди скажут, что нехитрое дело — отринуть все то, что уже успел перепробовать; что теперь она старая женщина, или дева, и что будь она вынуждена собирать с грядок свеклу, вместо того чтобы лениво отслеживать ее котировки, она бы сильнее пожалела обо всем отринутом. Что ж, вероятно, так и есть. Но сколько ни отвлекайся на промежуточную ерунду — всем придется умирать. А как себя готовить к неизбежной яме на свежевыкошенном погосте — ее личное дело.

Деревенский праздник пришелся на один из типично инглендских ветреных дней раннего июня,

когда вечно грозит пойти моросящий дождик, но нервные тучи тут же уносятся, ибо им давно уже надлежит быть над соседним королевством Гептархии. Марта глядела из своего кухонного окна на пологую треугольную лужайку, где рвался с привязи засаленный шатер. Вокруг него ходил кузнец Харрис, проверяя натянутые канаты и вбивая деревянным молотком колышки поглубже в землю. Делал он это с хозяйским видом, горделиво, словно исключительное право на совершение сего священного ритуала передавалось в роду Харрисов из века в век. Марта по-прежнему не знала, что и думать о Джезе; с одной стороны, его ужимки отдавали неприкрытой фальшью; с другой стороны, этот горожанин-американец с фиглярским выговором едва ли не больше всех походил на настоящего крестьянина и истово отдавался сельской жизни.

Итак, шатер был надежно закреплен, и к нему уже скакала на лошади, разметав по ветру светлые кудри, Джеки Торнбилл, племянница Джеза. Джеки избрали майской королевой, хотя кто-то заметил, что на дворе уже начало июня, а кто-то другой возразил, что «майская королева» — это от майского дерева, а не от месяца, так ведь? Побежали советоваться с учителем Маллином,

который пообещал справиться по книгам и затем доложил, что титул происходит от цветка майского дерева, которым традиционно украшались волосы королевы, но поскольку майское дерево, по идее, должно расцветать в мае… В общем, мама Джеки сделала для дочки картонную корону и раскрасила ее золотой краской; Джеки надела корону, и дело с концом.

Право и обязанность объявить праздник открытым принадлежали викарию. Преподобный Колмен жил в старом пасторском доме, у самой церкви. Его предшественники квартировали в панельном коттедже, давно уже снесенном. Старый пасторский дом опустел с Чрезвычайщиной, когда его последний мирской владелец, французский бизнесмен, вернулся на родину. Деревенские считали естественным, что в пасторском доме должен жить священник, как курица — в курятнике, но викарию не позволяли очень уж задирать нос — не может же курица строить из себя индюшку! Пусть преподобный Колмен не думает, что с его возвращением в здание, за много столетий обжитое его предшественниками, в церковь вернулся Бог, а в жизнь деревни — христианская мораль. Вообще-то, большинство прихожан и так жили по смягченному варианту христианской

этики. Но в церкви по воскресеньям они искали скорее светского общения и мелодичных псалмов, чем советов по спасению души и обещаний жизни вечной. Викарий, человек неглупый, даже не пытался ввести какую-либо принудительную теологическую систему; жизнь вскоре научила его, что после морализаторских проповедей на серебряное блюдо сыплются только пуговки от кальсон да обесцененные евро.

И потому преподобный Колмен не позволил себе даже ритуального замечания, что, дескать, милосердный Господь в этот знаменательный день отвел от деревни дождь. Как истый экуменист, он даже у всех на виду пожал руку Фреду Темплю, наряженному красным чертом. Когда же фотограф из «Ведомостей» попросил их сняться вместе, священник лукаво наступил ногой на длиннющий хвост Фреда, а сам нарочито скрестил пальцы в суеверном, почти языческом жесте, отгоняющем нечистую силу. Затем он произнес короткую речь, в которой упомянул имена почти всех жителей деревни, объявил праздник открытым и резко — мол, валяйте поживее — махнул оркестру из четырех человек, поместившемуся рядом с грязным шатром.

Оркестр — туба, труба, детская волынка и

скрипка — начал с «Правь, Британия, морями», которую одни из местных сочли псалмом, исполненным в знак уважения к викарию, а другие — эстрадной песенкой прошлого века, кажись, ее «Битлы» пели? Затем вокруг лужайки обошла, не ведая ритма, нестройная процессия: майская королева Джеки неуклюже восседала на отмытом с шампунем тяжеловозе шайрской породы, чья грива и гирлянды развевались на ветру куда живописнее Джекиных завитых угольными щипцами волос; Фред Темпль, обмотав свой красный хвост вокруг шеи, катил на дребезжащем, неудержимо пускающем газы тракторе с миллионом приводных ремней; Фил Хендерсон, хозяин птичьего двора, гениальный механик, ухажер светловолосой Джеки, вел свой открытый «мини-купер», который отыскал в заброшенном сарае и переделал: теперь машина ездила на сжиженном бытовом газе; и наконец, после долгих шутливых уговоров, к кавалькаде присоединился полисмен Браун на своем велосипеде, высоко держа дубинку, не снимая левой руки со звонка, с прищепками на брюках и маскарадными усами над верхней губой. Этот разномастный квартет раз шесть обогнул лужайку, пока даже близкие родственники не сочли, что нахлопались доста-

точно.

Были лотки с лимонадом и имбирным пивом; предлагалось сыграть в кегли и боулинг (приз — поросенок), а также угадать вес гусыни; имелся аттракцион «Сбей орех», причем в знак уважения к древней традиции половина кокосов была приклеена к чашкам, так что деревянный шарик рикошетом отлетал прямо в метателя; деревенские охотно искали подарки в кадке с отрубями и пытались с завязанными глазами срезать яблоко. Шаткие козлы ломились от кексов с тмином и всяческих домашних консервов: варенья, джемов, маринованных огурцов и чатни. Кабатчик Рэй Стаут, с нарумяненными щеками, в съехавшем набок тюрбане, обнажавшем высокий, с залысинами лоб, сидел на корточках в темной будочке, предлагая всем погадать по цикориевой гуще. Дети могли поиграть в «приставь ослу хвост» и нарисовать себе усы и бороды жженой пробкой, а за полупенс их впускали в палатку с тремя старинными кривыми зеркалами, где маленькие зрители немели от изумления.

Праздник шел своим чередом. Состоялись «Бега трехногих», которые выиграли Джеки Торнбилл с Филом Хендерсоном; глядя на их проворство в этом малограциозном спорте, кумушки отмети-

ли, что муж да жена (а в данном случае жених и невеста) — одна сатана. Двое смущенных парней в добротных, свободного покроя льняных куртках показали приемы корнуоллской борьбы; демонстрируя всяческие «летучие кобылы», они все время косились на тренера Маллина, который стоял наготове с раскрытой энциклопедией. На конкурс карнавальных костюмов Рэй Стаут явился в облике королевы Виктории (румян он с лица не стер, но тюрбан скинул); здесь же присутствовали лорд Нельсон, Белоснежка, Робин Гуд, Боудикка и Эдна Галлей. Марта Кокрейн решила отдать свой скромный голос Эдне Галлей (она же Джез Харрис), хотя та как две капли воды была похожа на королеву Викторию в интерпретации Рэя Стаута. Однако мистер Маллин призвал дисквалифицировать кузнеца на том основании, что конкурсанты должны наряжаться реальными людьми; тут же, на немедленно созванном чрезвычайном заседании приходского совета был поднят вопрос о реальности Эдны Галлей. Джез Харрис в ответ оспорил реальность Белоснежки и Робин Гуда. Одни говорили, что реальны лишь те, кого люди видели; другие — что реальны лишь те, про кого написано в книгах; третьи — что реален всяк, в кого верит много народу. Спорщики,

воодушевленные самогоном, самоуверенные, как может быть самоуверен лишь невежда, приводили аргумент за аргументом.

Марте стало скучно. Ее внимание привлекли детские лица, на которых читалось охотное и все же далеко не примитивное доверие к реальности. Дети еще не достигли возраста недоверия и пока еще пребывают в возрасте чуда, подумалось ей, следовательно, они продолжают верить, даже когда им не очень-то верится. Для ребенка глазастый карлик с грудью-бочонком в кривом зеркале — он сам и не он сам, и оба настоящие. Малыши отлично видят, что королева Виктория — всего лишь замотанный шалью Рэй Стаут с раскрашенным лицом, но верят в королеву Викторию и Рэя Стаута одновременно. Как та старая «загадочная картинка» из психологических тестов: что это, бокал или два обращенных друг к другу профиля? Дети без труда способны переключаться с одного образа на другой или видеть оба сразу. Ей, Марте, это уже не по силам. Сколько бы она ни таращила глаза, перед ней всего лишь самозабвенно валяющий дурака Рэй Стаут.

Можно ли возродить простодушие? Или это все равно будет искусственный продукт, ветка, привитая к древнему недоверию? О чем гласят

эти детские лица — что простодушие возродимо или что она, Марта, — чувствительная дура? Полисмен Браун, набравшись самогона, опять катается по общинной лужайке, звеня в звонок и отдавая всем встречным честь дубинкой. Полисмен Браун получил свою лицензию, сто лет назад пройдя двухмесячную стажировку в частной охранной фирме; он не приписан ни к одному полицейскому участку и со дня своего приезда в деревню не изловил ни одного преступника; зато у него есть мундир, велосипед, дубинка и усы, которые вот-вот отклеятся окончательно. И похоже, этого вполне достаточно.

Марта Кокрейн покинула лужайку, когда в воздухе повис чадный дым, а танцы сделались развязнее. Поднявшись по тропке на Висельный холм, она села на скамью, обращенную к деревне. Интересно, здесь действительно была виселица? Качались ли здесь трупы, на которых сидели, деловито выклевывая глаза, вороны? Или название — лишь выдумка с туристическим прицелом и восходит оно к начитавшемуся готических романов викарию позапрошлого века? На миг Марта вообразила себе Висельный холм в качестве достопримечательности Острова. Заводные вороны? Прыжок на тарзанке с эшафота, чтобы

почувствовать себя в шкуре висельника, а затем — брудершафт с Безголовым Палачом? Гостям бы понравилось.

Внизу запылал костер, вокруг которого теперь кружила вереница танцующих конгу с Филом Хендерсоном во главе. Он размахивал пластиковым флагом с Георгиевским крестом. Святой Георгий, небесный покровитель Англии, Арагона и Португалии, вспомнила она, а также защитник Генуи и Венеции. Конга, национальный танец Кубы и Ингленда. Оркестр, подкрепившись самогоном, жарил программу сначала, точно закольцованная магнитная лента. «Британских гренадеров» сменили «Мыльные пузырики-ки-ки-ки», затем, автоматически предсказала Марта, будут «Пенни-лейн» и «Правь, Британия, морями». Вереница танцующих — червяк из пантомимы — пошатывалась и заплетала ногами, но все же каждый раз приспосабливалась под новый ритм. Джез Харрис начал запускать «джеков-попрыгунчиков», что вызвало детский визг и смех. Тихоходное облако кокетливо соскользнуло с лика идущей на прибыль луны. Под ногами у Марты что-то зашуршало. Нет, не барсук, несмотря на все красивые байки кузнеца: всего лишь кролик.

Луна снова скрылась за облаками; холодало. Ор-

кестр, в последний раз одолев «Правь, Британия», угомонился. Теперь до ее ушей доносились лишь подложные птичьи трели, а именно звонок полисмена Брауна. В небо по диагонали вознеслась неуверенная ракета. Вокруг угасающего костра обращалась вереница танцоров, укоротившаяся до трех человек. Такой день стоит запомнить. Праздник учрежден — и похоже, уже обзавелся своей историей. Ровно через двенадцать месяцев будет коронована новая майская королева и новые судьбы предсказаны по цикориевой гуще. Неподалеку вновь раздалось шуршание. И вновь это оказался не барсук, но еще один кролик, бесстрашный, бестрепетно уверенный в своих территориальных притязаниях. Понаблюдав за ним несколько секунд, Марта Кокрейн встала и начала спускаться с холма.

Примечания

ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ

Пилот-сержант — унтер-офицер, прошедший формальную летную подготовку и получивший квалификацию для управления военными самолетами. Это звание появилось для решения проблемы нехватки пилотов в военное время и позволяло квалифицированному рядовому персоналу без высшего образования выполнять важные авиационные задачи, в том числе боевые.

…ожидать появления «хейнкеля» или «дорнье»… К этому времени бомбардировщик… — «Хейнкель He 111» и «Дорнье Do 17» — немецкие самолеты, средние бомбардировщики; одни из основных бомбардировщиков люфтваффе.

Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего не известно. — Цит. по: *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 12. Письма, 1904. М.: Наука, 1983.

Сушильный шкаф — традиционный для британского дома стенной шкаф, маскирующий систему

горячего водоснабжения, тепло которой используется для сушки влажной одежды.

Зона „ти“… — область прямоугольной формы, из которой гольфист начинает игру на лунке.

Бункер — песчаное препятствие на гольф-поле.

За это проставишься на девятнадцатой. — «Девятнадцатой (лункой)» шутливо именуют бар при гольф-клубе.

Фервей — участок с коротко стриженной травой, занимающий большую часть игрового поля.

…помедлили на короткой двенадцатой (беспрецедентное действие на лунке пар-3)… — Пар — условный норматив, обозначающий ожидаемое количество ударов, которое потребуется опытному гольфисту для завершения лунки или всего поля. Здесь, соответственно, покорение лунки ожидается за три удара.

К тому же нашему иудею гольф не по нутру. — В период с 1890-х по 1960-е гг. евреи сталкивались с высоким уровнем дискриминации в британском гольфе.

Грин — участок поля с самой короткой травой непосредственно вокруг лунки.

Раф — участок поля с высокой нестриженой травой на границе фервея.

…к четырнадцатой лунке-доглег. — Лунка изо-

гнутой формы.

Каждый раз, когда драйв дяди Лесли отклонялся от своей траектории сильным слайсом… — Драйв — начальный удар по мячу, выполняемый специальной клюшкой с подставки ти. Слайс — техника удара, при которой мяч, летевший прямо, отклоняется в сторону в зависимости от лево-, правосторонней стойки игрока.

Что ж… позволю-ка я себе фри-дроп. — Возможность переместить мяч без штрафных очков при наличии искусственных препятствий, как, например, дорожки, фонтаны, ремонтные зоны; в русской традиции «релиф».

Клюшка «брасси» — устаревшее название деревянной клюшки для гольфа № 2-вуд.

Хендон — исторический аэродром в северном Лондоне, считающийся колыбелью британской авиации.

Туфли-соответчики — модель туфель на низком каблуке, выполненная из двух контрастных цветов, обычно имеющих носок и пятку, а иногда и кружевные вставки более темного цвета, чем основная часть туфли.

Бэкспин — обратное вращение мяча, которое создается при ударе.

Бенеш, Эдвард (1884–1948) — чехословацкий

государственный и политический деятель; во Вторую мировую войну занимал пост президента Чехословакии.

Даладье, Эдуар (1884–1970) — французский политик, государственный деятель; за годы политической карьеры возглавлял различные министерства, в частности Министерство обороны и Министерство иностранных дел, а также трижды возглавлял кабинет министров; от лица Франции подписал Мюнхенское соглашение (см. также примечание к с. 29, 70).

Литвинов, Максим Маскимович (1876–1951) — народный комиссар по иностранным делам СССР.

Раздавали белые перья, забивали камнями такс… — Практика вручения мужчинам, не участвующим в боевых действиях, белых перьев, традиционно для Британии символизирующих трусость, осуществлялась в знак социального порицания, а также мотивации для записи на военную службу. Во время Первой мировой войны такса, как любимая порода немецкого кайзера Вильгельма II, стала неофициальным символом Германии и подвергалась жестокому обращению в странах Антанты.

Она чувствовала себя виноватой в Мюнхен-

ском сговоре. Она чувствовала себя виноватой в аннексии Судет. — Мюнхенское соглашение 1938 г., подписанное 29 сентября Германией, Великобританией, Италией и Францией с целью мирного урегулирования кризиса, вызванного территориальными претензиями Германии к Чехословакии. Соглашение предусматривало в течение десяти дней после подписания передачу Германии входившей в состав Чехословакии Судетской области с преобладавшим немецким населением, однако уже 1 октября 1938 г. германские войска пересекли границу и аннексировали всю территорию Судет.

Уэст-Моллинг — рыночный город в районе Тонбридж-энд-Моллинг в графстве Кент.

Ни дать ни взять «Странная война»… — «Странной войной» называли период с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. на западном фронте Второй мировой войны, когда Великобритания и Франция объявили войну Германии, но, по сути, не вели активных боевых действий.

Как насчет бутерброда «Отбой воздушной тревоги»? — Рецепт бутерброда заимствован Дж. Барнсом из книги британской писательницы Рейнс Миннс «Bombers and Mash: The Domestic Front, 1939–1945» (1980) о бытовых трудностях

женщин в условиях военного времени. (В названии книги игра слов: bangers and mash — сосиски с картофельным пюре.)

Но, бывало, и случайный «фокке-вульф» подворачивался. — Истребитель «Фокке-вульф Fw 190» или самолет-разведчик «Фокке-вульф Fw 189» («Рама»).

Я настолько обалдел, что, сядь мне на хвост сто девятый… — «Мессершмитт Bf 109» — немецкий одномоторный истребитель, основной истребитель люфтваффе на протяжении Второй мировой войны наряду с «Фокке-вульфом Fw 190».

Чуток погодя он оторвался, покачал крыльями и направился к себе на базу. — Покачивание крыльями самолета — многозначный сигнал, служащий, в частности, для приветствия/прощания, начала/окончания выполнения задачи, указания на нарушение воздушных границ.

Занесло меня как-то в Истли… — Город в графстве Гемпшир.

Смотрю — взлетает малыш «скуа». — «Блэкбёрн B.24 Скуа» — британский палубный самолет времен Второй мировой войны, использовался как истребитель и бомбардировщик.

Слыхал я об одном бедолаге из Касл-Бромви-

ча. — «Теневой» авиазавод в Касл-Бромвиче — один из крупнейших производителей британской авиации в годы Второй мировой войны.

Солнце, чайки, отблески древних меловых скал — прямо как у Веры Линн. — Вера Маргарет Линн (1917–2020) — английская певица, награжденная орденом Британской империи; в годы Второй мировой войны вела концертную радиопрограмму Би-би-си «Sincerely Yours» («Искренне ваша»), адресованную британским военнослужащим на передовой. Исполняемая в эфире песня «Белые скалы Дувра» стала визитной карточкой Линн.

Как после этого хозяева будут «копать во имя победы»? — Британская военная кампания «Копать во имя победы» началась в 1939 г.: население призывали использовать любой свободный клочок земли, чтобы выращивать овощи.

Один мой приятель летал на «каталинах». — «PBY Каталина» — британское название патрульного гидросамолета, выпускавшегося американской компанией «Консолидейтид» с середины 1930-х гг.

Даже управлять не надо: почти все время «Джордж» ведет. — Распространенное в сленге военных летчиков название автопилота.

Из-под ее пера вышли «Флора мелового периода»

(в двух томах), «Растения древнего мира», «Очерк жизни растений», «Японский дневник», а также пьеса в трех актах «Наши страусы» и с десяток изданий под рубрикой «Сексология». — Имеется в виду Мэри Стоупс (1880–1958) — британская писательница, палеоботаник и активистка движения за права женщин, основательница первой в королевстве клиники по контролю рождаемости.

…про… «трещину в лютне». — Отсылка к поэме «Мерлин и Вивьен» (1859; напис. 1856) британского поэта-романтика Альфреда Теннисона (1809–1892); ср. «Где трещина есть в лютне небольшая — / Расширится она и, звуки заглушая, / Со временем убьет мелодию совсем». Цит. по: *Теннисон А.* Королевские идиллии. СПб: Азбука, 2024. Перев. О. Чюминой.

Екатерина Арагонская (1485–1536) — первая жена английского короля Генриха VIII Тюдора.

Ветер дует с Коуни-Хэтч, как я понимаю? — Коуни-Хэтч (Колни-Хэтч) — исторический район в северной части Лондона, где в XIX–XX вв. находилась крупная психиатрическая лечебница.

Усадив Джин на кушетку, она принялась заговаривать ей зубы досужей болтовней о Лондонском блице. — Бомбежки Великобритании гитлеровской авиацией в 1940–1941 гг.

…она набрала XXX… — В англоязычной дружеской и любовной переписке три икса равнозначны заключительной строке «целую» (*англ.* kisses; произносится как эксекссекс).

…вспоминал Монс или Ипр… — крупные сражения Первой мировой войны. Битва при Монсе (23 августа 1914 г.) стала первым столкновением британских и немецких войск; в районе бельгийского Ипра произошла серия столкновений (октябрь-ноябрь 1914 г., апрель-май 1915 г., июль-ноябрь 1917 г., апрель 1918 г.), печально известных активным применением химического оружия со стороны немцев.

…как только Чемберлен вернулся из Мюнхена. — Невилл Чемберлен (1869–1940) — британский государственный деятель; занимая пост премьер-министра Великобритании, подписал Мюнхенское соглашение. См. также примеч. к с. 28, 29.

Нью-Форест — национальный парк на юге Великобритании.

«Зеро» — японский легкий палубный истребитель «Мицубиси A6M Зеро» времен Второй мировой войны.

…однажды вечером он объявил, что купил «вампира»… — «Де Хэвилленд DH.100 Вампир» — бри-

танский реактивный истребитель характерной двухбалочной конструкции, состоял на вооружении в 1945–1955 гг.

Тоустер — рыночный город в графстве Нортгемптоншир; одно из старейших поселений в Англии.

Шартрский собор — католический кафедральный собор, расположенный во французском городе Шартр, шедевр архитектурной готики; построен в 1194–1260 гг.

…Наньцзин (вроде бы сейчас он назывался именно так)… — «Южная столица» Китая, традиционное русское написание — Нанкин.

…«Не стрелять, пока не увидите желтки их глаз». — Отсылка к приказу, отданному, по легенде, американским стрелкам в первом сражении Войны за независимость США, при Банкер-Хилле (17 июня 1775 г.): «Не стрелять, пока не увидите белки их глаз».

Сунь Ятсен (1866–1925) — китайский революционер и политический деятель, первый президент Китайской Республики.

Чэнду — столица провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Янчжоу — город в Восточном Китае, в провинции Цзянсу.

Уильямс — город примерно в часе езды от Большого каньона.

Золотые Ворота — висячий мост над заливом Сан-Франциско, до 1964 г. крупнейший в мире.

У кого-то было сказано, что одна из тяжелейших трагедий духа — родиться с религиозным чувством в мире, где вера более невозможна. — Мысли такого рода высказываются в трудах Фридриха Ницше (1844–1900), например «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) и «Так говорил Заратустра» (1883).

Уитби — приморский город в графстве Норт-Йоркшир на северо-востоке Англии.

По-вашему, я кто: Лорд Хо-Хо? — Прозвище, данное Уильяму Джойсу (1906–1946), нацистскому пропагандисту, автору радиопередачи «Германия вызывает», транслировавшейся на Британию.

Думая о путешествиях, он сразу вспоминал «авиатора» Кэдмена. — Роберт Кэдмен (1711–1739) — британский канатоходец; погиб в результате обрыва троса.

Шрусбери — город в графстве Шропшир.

«Остин-7» — популярный в 1930-е гг. бюджетный автомобиль.

…начала, как говаривала ее мать, «петь за ужин». — «Пой за ужин» («Sing for Your Supper») —

популярная песня из бродвейского мюзикла «Парни из Сиракуз» (1938) Ричарда Роджерса и Лоренца Харта.

Ведь сказал же кто-то, что верит в Бога, потому как это абсурдно. — «Верую, ибо абсурдно» — высказывание, приписываемое древнеримскому писателю эпохи раннего христианства Тертуллиану.

События вроде Фестиваля Британии… — Национальная выставка, проходившая летом 1951 г., была призвана поднять моральный дух граждан после Второй мировой войны.

Три мудреца — вы шутите? — В рамках контекста, в котором героиня осуждает поведение и поступки мужчин, достается и библейским волхвам — мудрецам с Востока.

Старые гольфисты не умирают, а только мячи да свои крутые яички теряют. — Восходит к крылатому выражению «Старые солдаты не умирают, они просто уходят вдаль».

Адрианов вал — бывшее оборонительное укрепление римской провинции Британия, построенное при императоре Адриане в 122–128 гг. для отражения набегов северных племен (пикты, бриганты); имел длину 117 км.

«ОКСФАМ» — объединение негосударственных

благотворительных организаций по решению проблем бедности; существует с 1942 г.

Вопрос о бессмертии — это вовсе не научный вопрос. — Исходная цитата: «Однако на деле вопрос о бессмертии — это вовсе не научный вопрос; это вопрос, относящийся к внутреннему, это вопрос, который субъект должен задать себе самому, становясь субъективным». Цит. по: *Кьеркегор С.* Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. Перев. Н. Исаевой, С. Исаева.

Говорят, что иные люди только потому и влюбляются, что наслышаны о любви… — Цит. по: *Ларошфуко Ф. де*. Максимы. Л.: Наука, 1971. Перев. Э. Линецкой.

Наверное, травили газом, как барсуков. — В 1975–1981 гг. на территории Великобритании барсуков травили цианистым водородом в связи с тем, что они являются естественными носителями инфекции, вызывающей туберкулез у крупного рогатого скота.

«Позвольте нам войти. Туман сгущается». — Последние слова Эмили Дикинсон (1830–1886); также используются Дж. Барнсом в книге «Нечего бояться». Цит. по: *Барнс Дж.* Нечего бояться. СПб.: Азбука, 2016. Перев. Д. Симановского, С. Поло-

товского.

«Всем сердцем надеюсь, что на небесах найдутся кисти и краски». — Высказывание французского пейзажиста Жан-Батиста Камиля Коро (1796–1875).

Один итальянский художник, когда его уговаривали допустить к себе священника, ответил: «Нет, мне любопытно узнать, что происходит в мире ином с теми, кто умер без последнего причастия». — Высказывание живописца эпохи Возрождения Пьетро Перуджино (1446–1524).

Некий швейцарский врач умер, нащупав собственный пульс и сообщив находившемуся рядом коллеге: «Друг мой, артерия перестает биться». — Слова швейцарского физиолога Альбрехта фон Галлера (1708–1777); также используются Дж. Барнсом в вышеупомянутой книге «Нечего бояться».

Он даже потеплел к французскому грамматисту, который объявил: «Je vas ou je vais mourir: l'un ou l'autre se dit». — Изречение Доминика Боура (1628–1702); к этой цитате Дж. Барнс также обращается в книге «Нечего бояться».

Рамо, Жан-Филипп (1683–1764) — крупнейший французский композитор и теоретик музыки XVIII в.

Ватто, Антуан (1684–1721) — французский художник, декоратор, один из основоположников стиля рококо.

У Грегори вырвался смешок в адрес американской писательницы, которая спросила in extremis: «Каков же ответ?» — и, не получив ответа, прошептала: «Тогда каков же вопрос?». — Последние слова Гертруды Стайн (1874–1946).

Франклин Пирс (1804–1869), *Миллард Филлмор* (1800–1874), *Джон Тайлер* (1790–1862), *Резерфорд Хейс* (1822–1893) — 14-й, 13-й, 10-й и 19-й президенты США соответственно.

Закари Тейлор (1784–1850), *Улисс С. Грант* (1822–1885) — 12-й и 18-й президенты США соответственно.

Болезнь Брайта — заболевание почек.

…отличная фраза насчет того, что «ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор». — Цит. по: *Ларошфуко Ф. де*. Максимы. Л.: Наука, 1971. Перев. Э. Линецкой.

…показательное самоубийство мистера Баджелла, который ушел со спектакля «Катон» по пьесе Аддисона и бросился в Темзу, оставив такое оправдание своего поступка: Что совершил Катон и Аддисон одобрил, / Ошибкой быть не может. — Юстас Баджелл (1686–1737) — английский

писатель, политик; двоюродный племянник драматурга Джосефа Аддисона (1672–1719). Римский сенатор Марк Порций Катон Младший (95–46 до н. э.) покончил жизнь самоубийством, выражая тем самым протест против диктатуры Цезаря. В трагедии Дж. Аддисона «Катон» (1713) поступок сенатора изображается не как грех, а как благородный выбор в пользу свободы.

Чуть более убедительным оказался пример шведского профессора Робека… — Йохан Робек (1672–1735) — шведско-немецкий теолог и философ.

Пантеисты — последователи пантеизма — учения о единстве/тождестве Бога и Вселенной.

Прево — Антуан Франсуа Прево, более известный как аббат Прево (1697–1763), один из виднейших французских писателей.

Мадам де Сталь (1766–1817) — французская писательница, теоретик литературы.

Другие, как, например, Монтескьё, винили в этом национальном поветрии скверный климат… — О влиянии климата на жизнь социума французский философ Шарль Луи де Монтескьё (1689–1755) писал в своем трактате «О духе законов» (1748), ср.: «…порождаемая климатом болезнь удручает душу до такой степени, что

поселяет в ней отвращение ко всему на свете, вплоть до самой жизни…». Цитируется в переводе Аркадия Горнфельда, опубликованном в 1900 г.

Менипп Гадарский (ок. 270 до н. э.) — философ-киник, сатирик, ростовщик.

Ликамб (VIII–VII вв. до н. э.) — древнегреческий аристократ; расторгнув помолвку своей дочери с поэтом Архилохом, стал жертвой Архилоховой сатиры и посмешищем для сограждан.

Лабиен — Тит Лабиен — историк, оратор, чьи сочинения с критикой императора Августа подверглись жесткой цензуре; замуровал себя в семейном склепе, отказавшись от кремации.

Демонакс (ок. 70 — 170) — древнегреческий философ-киник, снискал уважение афинян своей мудростью и умением разрешать споры, похоронен с почестями; его именем назван один из лунных кратеров.

Стильпон из Мегары (ок. 360–280 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, «великий искусник в словопрениях».

Приверженцы одной незаурядной ереси даже Христа относили к самоубийцам на том основании, что он приказал своей жизни покинуть Его и она повиновалась. — Последние слова Иисуса, произнесенные с креста. Ср.: «Иисус, возгласив

громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23: 46).

…древнекитайского философа, который написал трактат «Об уничтожении души». — Трактат китайского философа-материалиста Фань Чжэня (ок. 450–515), считавшего, что душа есть функция тела и уничтожается с его смертью; отрицая бессмертие души, философ стремится избавить людей от страха перед муками ада и подарить надежду на загробное вознаграждение.

Венская усмешка — особенностью венского юмора принято считать сочетание сарказма, острот на грани черного юмора и двусмысленных намеков.

В теории заяц никогда не догонит черепаху. — Отсылка к апории Зенона «Ахиллес и черепаха».

Еще в семидесятые годы ученые начали собирать свидетельства и вскоре установили, что основные стадии Предсмертных Впечатлений поддаются учету, подобно остановкам на Крестном пути. — Богослужение Крестного пути представляет собой воссоздание последних часов земной жизни Христа, идущего на казнь с крестом на плечах.

Невозможное всегда занимает чуть больше

времени. — Фрагмент английской поговорки «Трудное исполняется незамедлительно, невозможное всегда занимает чуть больше времени». В формулировке «Ваше величество, если это возможно, это уже сделано; если невозможно — будет сделано» приписывалась с конца XVIII в. французскому министру финансов Шарлю Александру де Калонну; в современной форме зафиксирована с 1910-х гг.

Кто-то из мыслителей прошлого описал веру как азартную игру: кто не сделал ставку, тому не светит выиграть. — Аллюзия на «Пари Паскаля» — аргумент французского математика Блеза Паскаля (1623–1662) в пользу рационализации веры.

Леммингов развенчали… — Популярный миф о массовом самоубийстве леммингов, закрепившийся из-за постановочной сцены в документальном фильме «Белая пустошь» (1953), в которой создатели фильма насильственно загоняли животных в реку.

Копролалия — непреднамеренное, не обусловленное ситуацией произнесение непристойных, оскорбительных слов.

З. Смоленская

АНГЛИЯ, АНГЛИЯ

…«Ты просто блеск», или «Соберемся у реки», или «Ночью и днем»… — «You're the Top» — песня Коула Портера из мюзикла «Anything Goes» («Все дозволено», 1934). «We'll all gather at the river» — строка христианского гимна «Shall We Gather at the River?» («Соберемся у реки?»), написанного в 1864 г. американским проповедником-баптистом Робертом Лоури. «Night and Day» — песня Коула Портера из мюзикла «Gay Divorce» («Веселый развод», 1932). — *Примеч. ред.*

…была и такая еще, «Странное, странное, самое странное дело — любовь»… — «Love is the strangest thing» — строка из песни Рэя Нобла «Love Is the Sweetest Thing» (1932), известной в исполнении Рэя Боулли. — *Примеч. ред.*

Битва за Британию — отражение Британскими ВВС авианалетов люфтваффе в 1940–1941 гг.

Или (хлоп-хлоп) «Вольф в Квебеке» (хлоп), и надо было ответить (хлоп-хлоп) «1759» (хлоп). — Британский генерал Джеймс Вольф (1727–1759), участник Семилетней войны, взял штурмом Квебек — последний французский форт в Канаде, но был в этой битве смертельно ранен. — *Примеч. ред.*

…скульптуру Бранкузи… — Константин Бранкузи (1876–1957) — румынский и французский скульптор-абстракционист. — *Примеч. ред.*

МКК — Марилебонский крикетный клуб — ведущий клуб очень популярной в Англии и Австралии командной игры в крикет; с 1814 г. МКК является законодателем крикетных правил в Англии.

«Гаррик» — «Гаррик-клуб» — лондонский клуб актеров, писателей и журналистов. Основан в 1831 г., носит имя знаменитого актера Дэвида Гаррика (1717–1779).

«Хансард» — официальный стенографический отчет о заседаниях обеих палат парламента. Выпускается с 1803 г.

…он работал с «Си-би-ай» и «Ти-ю-си»… — CBI (Confederation of British Industry) — Конфедерация британской промышленности: лоббистская организация работодателей Британии, учрежденная в 1965 г. TUC (Trades Union Congress) — Британский конгресс тред-юнионов: координационный центр британских профсоюзов, организован в 1860-х гг. — *Примеч. ред.*

Как в старой песенке: «Кого хочу, тех не имею, кого имею, не хочу». — Из кантри-песни Клода Грея, Шеба Вули и Джимми Льюиса «I Never Had

the One I Wanted», спетой Клодом Греем в 1966 г. — *Примеч. ред.*

…Джерри Льюисе, Декстере Гордоне, Бернаре Ино и ранней Анн Сильвестр… — Джерри Льюис (1926–2017) — американский комик. Декстер Гордон (1923–1990) — американский тенор-саксофонист, мастер хард-бопа. Бернар Ино (р. 1954) — французский велогонщик. Анн Сильвестр (1934–2020) — французская автор-исполнитель. — *Примеч. ред.*

Если вы посетите гобелен Байё в моей стране… — Имеется в виду музей во французском городе Байё, где хранится гобелен XI–XII вв. с изображением сцен нормандского завоевания Англии, в том числе битвы при Гастингсе.

…одного из этих старых soixante-huitards прошлого века… — От *фр.* «шестьдесят восемь» — участник событий мая 1968 г.; в переносном смысле — бунтарь.

«Все, что раньше переживалось непосредственно, — написал он, — теперь остраняется в представление». ⟨…⟩ Продолжим цитату: «За исключением некоторого наследия, пока остающегося значимым, но уже обреченного на непрерывное исчезновение и состоящего из книг или древних строений… ни в культуре, ни в природе больше

не существует ничего, что бы не было трансформировано и загажено сообразно средствам и интересам современной индустрии». — Работа Ги Дебора «Общество спектакля» (1967) цитируется в переводе С. Офертаса и М. Якубович под редакцией Б. Скуратова (М.: Логос, 2000). — *Примеч. ред.*

…выдержанный карфилли от «Пакстона и Уитфилда». — Карфилли — полутвердый английский сыр из пастеризованного коровьего молока; появился в Уэльсе в городке Карфилли в 1830 г. «Пакстон и Уитфилд» — сырная лавка, основанная в Лондоне на Джермин-стрит в 1793 г. — *Примеч. ред.*

…коллекцией прэттовского фаянса… — Компания Феликса и Ричарда Прэттов с начала XIX в. выпускала фаянсовую посуду и расписные крышки для разных фаянсовых емкостей. — *Примеч. ред.*

Англия, как заметил великий Вильгельм и многие другие, является островом. Следовательно, если наши намерения серьезны, если мы хотим предложить стопроцентно натуральный продукт, нам следует отправиться на поиски дивного, как там бишь его, в серебряной оправе этого самого. — Эрудированный сэр Джек только прикидывается, что неточно помнит цитату. А

подразумевается монолог Ганта из пьесы Шекспира «Ричард Второй» (акт II, сц. 1). Восхваляя Англию, Гант называет ее «Державный этот остров… ⟨…⟩ Сей мир особый, дивный сей алмаз в серебряной оправе океана» (перев. М. Донского).

…статьи… озаглавленной «Носил ли принц Альберт „принца-альберта“? Герменевтический экскурс в культурную историю пениса». — Принц Альберт, любивший носить облегающие лосины, изобрел особый чехольчик для привязывания пениса к бедру. Благодарное человечество нарекло это приспособление именем «принц-альберт».

…дистопированных бунгало. — Медицинский термин «дистопированный» значит «смещенный», «расположенный в аномальном месте». Известны такие аномалии, как дистопия почки и т. п.

…этот, который лепешки сжег, Альфред… — Имеется в виду общеизвестная в Англии легенда, типологически напоминающая историю о Ленине и печнике. Во время войны с датчанами король Альфред Великий (848–900; Великим он прозван не зря, так как в итоге нанес датчанам сокрушительное поражение) был вынужден, выдавая себя за простого странника, постучаться в хижину свинопаса. Хозяйка разрешила Альфреду

погреться у огня — но приказала следить, чтобы лепешки, которые она пекла, не пригорели, пока сама она сходит по делам. Молодой король, задумавшись о судьбах Англии, забыл о лепешках — а хозяйка, вернувшись, отругала его на чем свет стоит.

Гобелен из Байё, я только что вспомнил. Он как раз про битву при Гастингсе. — См. примеч. к с. 581.

Секс и Англия, кто скажет? / — «Швейцарский флот»… — Американская компания «Swiss Navy» производит лубриканты и продукты интимной гигиены. — *Примеч. ред.*

«Отец мой знал Ллойд Джорджа, Ллойд Джордж знавал отца». — Английская детская песня, состоящая только из этих двух повторяющихся строк. — *Примеч. ред.*

…подлинных народных мелодий, одни из которых были записаны Сесилом Шарпом и Перси Грейнджером, а другие сочинены полвека назад Донованом. — Сесил Джеймс Шарп (1859–1924) — английский фольклорист и педагог, стоял у истоков возрождения английского фольклора в начале XX в. Джордж Перси Олдридж Грейнджер (1882–1961) — американский композитор-авангардист австралийского происхождения, соби-

ратель английских народных мелодий. Донован (Донован Филипс Литч, р. 1946) — шотландский фолк-музыкант, автор-исполнитель. — *Примеч. ред.*

…обедают с доктором Джонсоном в «Чеширском сыре»… — «Ye Olde Cheshire Cheese» («Старый чеширский сыр») — исторический паб на Флит-стрит, перестроенный после Большого Лондонского пожара (1666). Принято считать, что завсегдатаем паба был живший неподалеку знаменитый лексикограф и критик Сэмюэл Джонсон (1709–1784). — *Примеч. ред.*

Неотмываемое в погоне за несъедобным, если разрешите скаламбурить. — «Невыразимое в погоне за несъедобным» — из пьесы Оскара Уайльда «Женщина, не стоящая внимания» (1893), действие первое. В переводе Н. Дарузес: «Английский помещик, во весь опор скачущий за лисицей, — бесшабашный в погоне за несъедобной». — *Примеч. ред.*

«Как я всегда говорю: человеку с двойным именем лучше не доверяться». Фраза попала на первые полосы трех газет и ранила Гэри Десмонда неисцелимо. — Сэр Джек имел в виду, что «Десмонд» может быть как фамилией, так и именем.

…профили Британии… — Британия, так же как

и наша Родина-мать и французская Марианна, аллегорически изображается в виде женщины.

…розы всех видов… — Красно-белая «роза Тюдоров» — традиционный символ Англии. Появилась в гербе Генриха VII по окончании тридцатилетней Войны Алой и Белой розы как символ примирения враждовавших династий Ланкастеров и Йорков, чьими символами были соответственно алая и белая розы. — *Примеч. ред.*

…типа как «Королевский турнир»… — Королевский турнир — ежегодная демонстрация военного мастерства, проводится в Лондоне.

…бессловесных статистах-заднескамеечниках… — На задних скамьях сидят рядовые члены палаты общин.

…дом викария в Хауорте… — Дом викария в йоркширском Хауорте — жилище семейства Бронте.

В ларьке Нелл сидит Конни Чаттерли. — Констанция Чаттерли — героиня романа Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» (1928). — *Примеч. ред.*

Мирное царство, ни с кем не воюя, имеет простой продукт и богатеет своими трудами… — Отсылка к картине «Мирное царство»

(1820) американского художника-самоучки и проповедника-квакера Эдварда Хикса (1780–1849). — *Примеч. ред.*

Я охотно готов возлюбить весь род человеческий… но не американца. — Здесь и далее большинство реплик «доктора Джонсона» являются дословными цитатами из двухтомника Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791). — *Примеч. ред.*

«Пока Бирнамский лес не вышел в бой на Дунсинан, я огражден судьбой». — У. Шекспир. Макбет. Акт V, сц. 3. Перев. М. Лозинского. — *Примеч. ред.*

…товаров, продаваемых хандредвейтами, стоунами… — Стоун — традиционная английская мера веса, 14 фунтов (6,35 кг). Хандредвейт — английский центнер, 8 стоунов (50,8 кг). — *Примеч. ред.*

…«Мыльные пузырики-ки-ки-ки»… — «I'm Forever Blowing Bubbles» (1918) — популярный вальс американского композитора Джона Келлетта на стихи Джеймса Кендиса, Джеймса Брокмана и Ната Винсента. С 1930-х гг. песня стала гимном английского футбольного клуба «Вест-Хэм юнайтид». — *Примеч. ред.*

С. Силакова